Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе Н. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Чхиквишвили И. И.
Шамота И. З.

ГАНС ЯКОБ КРИСТОФ ГРИММЕЛЬСГАУЗЕН

СИМПЛИЦИССИМУС

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1976

Вступительная статья, перевод и примечания
А. Морозова

И(Нем)
Г 84

Г $\frac{70304\text{-}402}{028\,(01)\text{-}76}$ подписное

© Издательство «Художественная литература», 1975 г.

Der Alte Simplicissimus
Die Meuder
Der Knan
Der Jünge Simplicius
Das fromē Ur sülle

«ЗАТЕЙЛИВЫЙ СИМПЛИЦИССИМУС» И ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА

«Симплициссимус» — книга удивительной судьбы. До середины XIX века не было даже известно подлинное имя ее автора, скрытое за хитрыми псевдонимами. Интерес к ней то разгорался, то угасал на десятки лет. Кроме филологов и любителей литературной старины, о ней знали немногие — по случайным переработкам, а еще чаще понаслышке, особенно за пределами Германии. Но вот в XX веке, после двух мировых войн, «Симплициссимус» восстал, как Феникс из пепла. Был открыт гениальный писатель, во многом созвучный нашему времени. Книга была переведена на пятнадцать языков, в том числе на польский, чешский, финский, венгерский, румынский, фламандский, японский. Образ простака Симплициссимуса, перешагнув границы времени и пространства, стран и языков, подобно Фаусту и Дон Кихоту стал вечным спутником человечества.

Но кто же все-таки был ее автор? Простой ландскнехт времен Тридцатилетней войны, «бесхитростно» рассказавший о своих похождениях, приукрасив их в простонародном духе,— как долгое время думали,— или умудренный жизненным опытом и прочитавший горы книг писатель,— как стали утверждать потом?

Вот как представляются в настоящее время важнейшие вехи его жизни.

Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен (таково его полное имя) вырос в небольшом городке Гельнгаузене (в Гессене), где, вероятно, он и родился, скорее всего, в марте 1621 года. Предки его, выходцы из Тюрингии, владели небольшой деревушкой неподалеку от Гельнгаузена, куда они переселились, обюргерились и утратили связь со своим сословием. Дед писателя Мельхиор, пекарь и винодел, даже выступал ходатаем за беднейших горожан в их тяжбах с ратушей. Отца он рано потерял, а мать в 1627 году снова вышла замуж и перебралась во Франкфурт. Мальчик остался на попечении деда и посещал латинскую лютеранскую школу. Но учиться ему долго не пришлось. В сентябре 1634 года Гельнгаузен был взят имперскими войсками и

разорен до основания. По-видимому, вместе с другими беженцами он укрылся в занятой шведским гарнизоном крепости Ганау, где комендантом был генерал Якоб Рамзай, родом из Шотландии,— одно из немногих исторических лиц, впоследствии выведенных в романе. Вероятно, в начале 1635 года Ганс Якоб был захвачен отрядом «кроатов», рыскавших в окрестностях Ганау, а затем попал к гессенцам. С осени 1637 года он находится в Вестфалии, пристав к имперским войскам под командованием графа Гёца. Документы об этом периоде не обнаружены, но мельчайшие, поддающиеся исторической проверке детали его повествования все же позволяют наметить достоверную канву его биографии.

Первые документы о Гриммельсгаузене относятся к концу 1639 года, когда он устроился писцом у коменданта города и крепости Оффенбург (в Бадене) барона Ганса Рейнхардта фон Шауенбурга и пробыл в этой должности до мая 1647 года. В конце войны он оказывается полковым писарем в Вассербурге на Инне. После Вестфальского мира (24 октября 1648 г.) возвращается в Оффенбург, где 30 августа 1649 года сочетается браком (по католическому обряду) с Катериной Хеннингер, дочерью вахмистр-лейтенанта. Когда он переменил вероисповедание — неизвестно. Перед женитьбой он устанавливает свое дворянское происхождение и отныне именует себя «фон Гриммельсгаузен», тогда как раньше его звали просто Ганс Кристоффель. Получив место управляющего родовым поместьем баронов Шауенбургов в Гайсбахе у подножья Шварцвальдских гор (в Ренхтале), он надзирал за имением, собирал подати с крепостных крестьян и обзаводился своим хозяйством. В 1653 году он перекупил пустошь Шпитальбюне у арендаторов Шауенбурга, построил два дома, причем один из них обменял на предоставленный ему ранее дом управляющего, приобретя его, таким образом, в полную собственность, и открыл там трактир «У серебряной звезды», сохранившийся и действующий и поныне. В Гайсбахе Гриммельсгаузен начинает заниматься литературным трудом.

Хозяйственные операции втянули его в долги, и, недовольный своим положением, он в 1661 году поступает на службу к страсбургскому врачу Иоганну Куферу, получившему в «залоговый лен» поместье и замок Уленбург. С важным званием бургфогта он исполняет обязанности эконома. По-видимому, эта служба принесла ему много горечи, и позднее в сатирическом облике ловкого парижского медика доктора Кантариса он вывел своего страсбургского хозяина. Но в Уленбурге была богатая библиотека, и любознательный эконом, вероятно, получил к ней доступ. В Страсбурге с 1633 года существовало учено-литературное «Честное общество под елью». Участники его, важные педанты в длинных париках, были среди пациентов доктора Куфера. Гриммельсгаузен получил возможность наглядеться на представителей «ученой литературы», которые, несомненно, относились к нему свысока.

В 1665 году Гриммельсгаузен возвращается в Гайсбах, а в 1667 году перебирается в город Ренхен, принадлежавший страсбургскому епископству. Он заступает должность претора (нем. Schultheiss), в обязанности которого

входил разбор мелких судебных дел, составление имущественных актов и сбор податей. Он должен был представить залог, которым и послужила обжитая им пустошь Шпитальбюне, оцененная в 400—500 гульденов. Ренхен был расположен в живописной местности. Война так опустошила его, что в нем осталось всего 17 семейств. Но он стоял на торговых путях из Швейцарии, Баварии и Тироля и скоро оправился. И к тому времени, когда там появился Гриммельсгаузен, городок насчитывал уже не менее 700 жителей. В Ренхене, невзирая на множество обязанностей и докучливых дел, он написал основные произведения. Последние годы жизни писателя были омрачены новой франко-немецко-нидерландской войной, в зону которой попал и Ренхен. Литературная работа пресеклась. Гриммельсгаузен заболел. 17 августа 1676 года он умер и похоронен в Ренхене, где в 1879 году ему был открыт памятник.

Достоверные портреты Гриммельсгаузена неизвестны. Предполагают, что его облик запечатлен на фронтисписе его «Вечного Календаря» 1670 года, где изображен худощавый мужчина с длинными ниспадающими на плечи волосами — якобы сам Симплициссимус. На основании документов и автобиографических признаний считают, что Гриммельсгаузен был высокого роста, огненно-рыжий, вспыльчивый, деловитый, балагур и неутомимый рассказчик. Его почерк чист и разборчив. «Трудно предположить, чтобы эта рука когда либо держала не только перо, но и мушкет»,— с удивлением писал один архивист, впервые натолкнувшийся на его документы.

«Симплициссимус» вышел в свет в 1668 году. На титульном листе, где был проставлен 1669 год (чтобы книга не сразу устарела), было обозначено, что это «Жизнеописание некоего диковинного ваганта по имени Мельхиор Штернфельс фон Фуксхейм», а издано в свет Германом Шлейфхеймом фон Зульсфортом и отпечатано в городе Момпельгарт неведомым никому типографщиком Иоганном Филлионом. На фронтисписе было изображено загадочное существо: носатое, насмешливое лицо с вышяченным подбородком и подозрительными рожками, с длинными острыми ушами. Существо стоит на двух лапах — одна кончается раздвоенным копытом, другая утиной перепонкой. Сзади виден толстый чешуйчатый хвост с плавниками, выступающий из птичьих крыльев, прикрывающих широкие бедра. Через плечо на голое тело с выпяченным животом надета тонкая шпага на перевязи. В руках большая книга с множеством изображений: можно различить корону, шутовской колпак, рапиру, рюмку, игральные кости, замковую башню, корабль, спеленатого младенца, пушку на лафете и пр. Лапы странного существа попирают разбросанные театральные маски. В стихотворной подписи оно названо Фениксом, а титульный лист заверяет, что ему полюбилось «смеясь говорить правду».

Книга пошла нарасхват. На книжном рынке появились новые издания и пиратские перепечатки. С авторским правом тогда мало считались. Гриммельсгаузен тщетно гровился «пообрезать когти» беззастенчивым издателям, «запускающим свои лапы в чужое добро». Уже в 1669 году появилось «Continuatio, или Продолжение «Симплициссимуса». В особом уведомлении,

подписанном таинственными инициалами «H. J. C. V. G. P. zu Cernheim», сообщалось, что это сочинение Самуеля Грейфензона фон Хиршфельда, ранее выступавшего под другим именем. Труд издается посмертно. Вскоре это «Продолжение» вышло вместе со всем романом, в качестве его шестой книги. А в 1671 году появилось самое полное издание «Симплициссимуса», с тремя новыми Прибавлениями, заимствованными автором из составленных им же народных календарей, двадцатью гравюрами и лубочным листом, посвященным некоему Лекарю от воображаемых болезней. Позднее Гриммельсгаузен выпустил еще четыре романа, связанных между собой общими мотивами и прикрепленных все более тонкой цепочкой к имени главного героя: «Простачку наперекор, сиречь пространное и наидиковинное жизнеописание прожженной обманщицы и побродяжки Кураже», якобы продиктованное ею некоему Филархусу Гроссусу фон Тромменхейму и напечатанное без указания года издания в Утопии Феликсом Стратиотом. А в 1670 году, вероятно, одновременно с «Кураже», роман «Диковинный Шпрингинсфельд», но якобы напечатанный уже в Филадельфии. В 1672 году появились два романа под общим названием «Чудесное птичье гнездо», но под двумя различными псевдонимами. И якобы снова напечатаны в Момпельгарте. Игра с псевдонимами была литературной модой. Псевдонимы Гриммельсгаузена оказались анаграммами его подлинного имени.

«Симплициссимус» был вершиной творчества Гриммельсгаузена. Это своеобразное и неповторимое полотно, полное горечи и юмора, отразившее бедствия и ужасы Тридцатилетней войны (1618—1648), опустошившей среднюю Европу и прежде всего Германию. Война подорвала социальные силы бюргерства и крестьянства, вызвала глубокий политический, экономический и культурный упадок. Многие деревни, особенно в Тюрингии и Гессене, вымерли, или были брошены и исчезли с лица земли. Поля поросли кустарником или превратились в болота. Одичавшие крестьяне хоронились в лесах, питались травой и падалью. Рудники и шахты были заброшены. Города захирели и обезлюдели. В стране свирепствовали ландскнехты — разноязычный и разноплеменный сброд, люди, утратившие отечество, без раздумья менявшие религиозные и политические убеждения, а часто не имевшие их вовсе, служившие тому, кто платит и дает возможность грабить и бесчинствовать. «На протяжении жизни целого поколения,— писал об этом времени Энгельс,— по всей Германии хозяйничала самая разнузданная солдатня, какую только знает история. Повсюду налагались контрибуции, совершались грабежи, поджоги, насилия и убийства. Больше всего страдал крестьянин там, где в стороне от больших армий действовали на собственный страх и риск и по своему произволу мелкие вольные отряды или, вернее, мародеры»[1]. «Симплициссимус» и открывается такой типической картиной — появлением отряда кирасир в глухой усадьбе крестьянина, где они чинят чудовищные насилия. В романе рассыпано множество подробностей,

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 341.

подтверждаемых документами, в том числе и такими, что были недоступны Гриммельсгаузену. Подробности эти восходят к его личным наблюдениям или почерпнуты из достоверных свидетельств. Но «Симплициссимус» не хроника и не бытописательный роман. Это не собрание сцен лагерной, походной, городской и деревенской жизни. Ни один из решающих военных эпизодов, ни одно значительное историческое лицо не выведены в книге. Тридцатилетняя война служит лишь грозным фоном, исторической обстановкой, совокупностью обстоятельств, определяющих судьбу и поведение героя.

«Симплициссимус» не прикреплен наглухо к исторической действительности. Даже автобиографические черты и признания занимают в нем весьма скромное место, проступая сквозь литературную призму, и чем далее, тем неопределенней. Гриммельсгаузен делает Симплициссимуса на год моложе себя, заставляя родиться не в городе, как он сам, а в лесной глуши после битвы при Хёхсте (22 июня 1622 г.), и таким образом исключает мысль, что он мог учиться в школе. Он не рассказывает о себе, а создает литературного героя — живое воплощение времени. Гриммельсгаузен все же стремился прикрепить своего героя к реальной исторической обстановке и конкретным историческим событиям. Однако его «историзм» условен и подчинен сюжетному развитию. В «Симплициссимусе» повествование ведется от первого лица. Так же изложены история Херцбрудера (IV, 11—12), «исповедь» Оливье (IV, 18—21), реляция голландского капитана (VI, 24—27) и даже приключения аллегорического Подтирки (VI, 11—12). Ближайшая традиция такого повествования идет от плутовского романа. Симплициссимус повествует, оглядываясь на пройденный им путь, но и сохраняя то непосредственное ви́дение мира, которое было свойственно ему в молодости. Это открывает возможность для личного тона и личного отношения к вещам, событиям и самому себе. Иногда он как бы переводит дух и перебивает течение рассказа учеными рассуждениями, не смущаясь тем, что они вложены в уста мальчика, выросшего в лесной глуши.

«Симплициссимус» врос глубокими корнями в литературу своего времени. Гриммельсгаузен хорошо знал немецкие народные книги XVI века: «Мелузину» (1474), «Фортуната» (1509), сборники шванков вроде «Дорожной книжечки» Викрама (1555) или историек о проделках шута Эйленшпигеля (1515), далекого предтечи его героя. Он черпал из них волшебно-сказочные и сатирические мотивы, анекдотические ситуации и готовые «остроумные ответы». Но мы не можем считать Гриммельсгаузена простым продолжателем этой демократической литературы, которая не открывала перед ним путей для создания нового художественного синтеза. Писатели, близкие к народу и отражавшие его мировоззрение, уже не могли довольствоваться тем, что было создано самим народом или находилось в его распоряжении.

Гриммельсгаузен сложился и развивался в пределах господствовавшего стиля барокко, создавая его народный вариант. Барокко явилось художественным отражением бурной и противоречивой эпохи первоначального накопления и колониальной экспансии, острого кризиса феодализма, религи-

озных войн и социальных потрясений. Оно охватывало все виды искусства и оказало существенное влияние на различные формы культуры и быта. Не порывая с идейным и художественным наследием Ренессанса и своеобразно преломляя его, барокко обращалось к напряженному искусству средних веков, вырабатывая экстатические и экспрессивные формы, отвечавшие взбудораженному сознанию и внутреннему беспокойству, вызванному исторически неразрешимыми конфликтами [1].

Характерным для барокко было сочетание условного и отвлеченного с живописной конкретностью, даже натурализмом, стремление к синтезу и взаимодействию различных видов искусств, причудливый метафоризм, однако не порывающий с логикой в самом образовании метафоры, риторический пафос. Это была пристрастная, патетическая литература, стремившаяся убеждать, привлекать на свою сторону, заражать политическими и религиозными страстями. Она обращалась к разуму и чувству, создавая эмоциональное и интеллектуальное напряжение. Искусство барокко, даже плафонная живопись и музыка, подчинялись риторической цели. Риторика, опирающаяся на схоластическую логику, стала общим достоянием культуры. Выработанные искусными проповедниками риторические приемы и аллегорические уподобления усваивались широкими кругами и становились средством народного красноречия. В литературу нахлынули публицистические, дидактические и естественно-научные сочинения, обработанные в духе барочной эстетики и отражавшие общее мироощущение барокко. Литература перестала быть только «художественной». Проза жадно поглощала «нейтральный», «нелитературный» материал, отчего становилась рыхлой и громоздкой.

Народные варианты барокко возникали и развивались под знаком активности бюргерства и отчасти крестьянства. Писатели, социально чуждые аристократическим тенденциям барокко, вводили в свое творчество только еще формирующиеся новые элементы стиля или, напротив, возвращались к старым традициям, более отвечающим их мировоззрению, приспособляя их для выражения новых идей, чувств и представлений.

«Симплициссимус» наполнен всяческой ученостью. То и дело приводятся примеры из древней истории, свидетельства античных писателей, сведения из естественных наук и медицины, астрологии и даже демонологии, выбранные с пристрастием ко всему причудливому и поражающему воображение. Еще больше скрытых цитат и заимствований, лишь впоследствии открытых дотошными исследователями. Гриммельсгаузен пытался связать эту ученость с сюжетным развитием, прикрепить к личности Симплициссимуса. Так, например, рассуждение о памяти (II, 8) следует за эпизодами, описывающими, каким испытаниям подвергли Симплициссимуса, чтобы лишить его памяти и превратить в «дурня» (II, 5—6).

---

[1] Подробнее см.: А. А. Морозов. Проблемы европейского барокко.— «Вопросы литературы», 1968, № 12; его же: «Маньеризм» и «барокко» как термины литературоведения.— «Русская литература», 1966, № 3.

Гриммельсгаузен был серьезно начитан, особенно для своей социальной среды. Среди его источников называют исторические хроники и реляции путешественников, испанские плутовские романы («Гусман из Альфараче» Матео Алемана и др.), «Сновидения» Кеведо в переработке немецкого сатирика Мошероша («Филандер фон Зиттевальд»), а также «Франсион» Сореля. Ему были известны составленные Георгом Филиппом Харсдёрфером сборники: «Великое позорище прежалостных и смертоубийственных историй» и «Великое позорище отдохновительных и поучительных историй», содержавшие обильный новеллистический материал, заимствованный у Боккаччо, Банделло, Сервантеса, Жана Камю (де Белле) и многих других. Особенностью этих сборников была сжатость изложения, стянутого до основного зерна сюжета. Гриммельсгаузен охотно обращался к подобным «каталогам» «готовых» мотивов. Он брал большими кусками и черпал пригоршнями мелкую россыпь цитат и афоризмов, отчасти уподобляя свое произведение гигантской мозаичной картине. Но картина получилась новая и необычайная.

Не следует, впрочем, преувеличивать образованность Гриммельсгаузена. Эрудиция его простонародна. Многое он брал из вторых рук, различных популярных сочинений, среди которых надо особо упомянуть книгу Томмазо Гарцони «Piazza universale, сиречь Всеобщее Позорище, или Торжище и Сходбище всех профессий, искусств, занятий, промыслов и ремесел», вышедшую в 1585 году в Венеции и переведенную впервые на немецкий язык в 1619 году. Это была настольная книга Гриммельсгаузена. Только в «Симплициссимусе» отмечено по меньшей мере шестнадцать использованных им дискурсов (рассуждений) Гарцони и его предисловие. Гриммельсгаузен заимствует затерянное в книге Гарцони рассуждение о знати (дискурс XIX) с выпадом против «ничтожных людей», кичащихся благородным происхождением. Он разрывает эту цитату — первая часть составляет начало романа с добавлением насмешливых слов о «конце света» и упоминания о «цехе» мошенников в Праге (что, в свою очередь, заимствовано из немецкой переделки новеллы Сервантеса «Ринконете и Кортадильо»), вторая часть цитаты сатирически переосмыслена в описании «шляхетской резиденции» «батьки» Симплициссимуса, «ратоборствующего со всей землей», и таким образом переадресована к другому сословию — мужицкому роду, «от самого Адама ведущемуся». Гриммельсгаузен не только переосмысляет заимствованный материал, но и переводит безличный текст в сказочную форму, придает ему пластичность. Сухое и отвлеченное рассуждение Гарцони наполняется горечью и иронией, превращается в патетическую метафору.

Точно также поступает он, заимствуя обширное рассуждение из моралистического сочинения испанского писателя Антонио Гевары, занявшее почти полностью две заключительные главы пятой книги «Симплициссимуса». Трактат Гевары «Тяготы придворной и блаженство сельской жизни» проповедует уход от суетной жизни при дворе в уединение загородного поместья, горацианскую идиллию. Он чужд Гриммельсгаузену прежде всего в социальном отношении. Но Гриммельсгаузен, заимствовав у Гевары пате-

тическую тираду, вытравил из нее всякое упоминание о дворе и придворной жизни, немилости князя, зависти фаворитов, долгах и подагре. Он оставляет только общее, обращенное ко всем людям и погрязшему в суете миру. Найденная тирада врастает в роман, ибо подготовлена его предшествующим содержанием. Связь с сюжетом, переосмысление заимствованного текста, почти при полной его сохранности сглаживали его чужеродность и облегчали естественность его включения в роман. В этом проявлялось великое художественное мастерство Гриммельсгаузена.

Гриммельсгаузен преодолевал ограниченность литературы своего времени, но не порывал с нею. Он даже написал два «галантных» романа на псевдоисторические темы: «Дитвальд и Амелинда» (1670) и «Проксимус и Лимпида» (1672), которые, в отличие от прочих произведений, выпустил под подлинным своим именем. Сочинил он и два «библейских» романа: «Целомудренный Иосиф» (1667) и служащий его продолжением «Музаи» (ок. 1670 г.) — о продувном слуге Иосифа, наделенном чертами пикаро.

Гриммельсгаузен стремился к глубокому постижению мира, грандиозному обобщению времени. Достиг он этого только в «Симплициссимусе», для чего обратился ко всем художественным средствам, которые ему могла предложить эпоха. Он строил «Симплициссимус», отправляясь от образцов высокой литературы барокко, используя его поэтику и стилистику для создания новой «большой формы»: тайна (рождения), неожиданные встречи и узнавания и другие композиционные приемы героико-галантных романов использованы для сюжетных связей, уплотнения повествования. Но он опрокидывал привычные схемы. Узнав от своего «батьки» тайну своего рождения, Симплициссимус не возносится в высший свет согласно традициям «галантного» романа. Он не порывает со своим «батькой». Шут берет верх над кавалером. Точно также и стилевые средства высокой литературы приобретают у Гриммельсгаузена иное назначение и социальное звучание. Используя их, он нарушает и смещает стилевые соотношения, пародирует сравнения и эпитеты, когда, например, описывает наружность некой модной девицы (II, 9). Ее изображению противопоставляется портрет юного Симплиция с оскаленными от голода зубами, причем в самом подборе красок для него выворачивается наизнанку эстетика барочной живописи (I, 21).

Высокая литература барокко была вне живых реальных отношений. Действие галантных и пастушеских романов происходит в условной, оторванной от действительности среде. Все происходящее является как бы проекцией идеализированного феодального общества. Восточные властелины, рыцари, библейские герои, аркадские пастушки — персонажи придворного маскарада. Гриммельсгаузен слишком близко стоял к народу, чтобы поддаться буколической лжи. Пастушеский роман претерпевает у него удивительные превращения. Маскам аркадских пастушков он придает сатирический смысл. Идиллия пастушеской жизни развертывается на страшном фоне Тридцатилетней войны, она сочетается с идеализацией отшельничества и пантеистической лирикой (песня «Приди, друг ночи, соловей!») (I, 7).

И наконец, он прямо пародирует мотивы пасторали, когда слушает в лесном уединении пение соловьев и встречается с «пастушкой», которая потом самым бесстыдным образом его околпачивает (V, 7—8).

«Симплициссимус» сохраняет условность изображения, действия, времени и даже физического пространства, в котором совершаются события. Условные приемы изображения подчеркивают ужас исторической действительности. Гриммельсгаузен создает на условном пространстве, своего рода «сценической площадке», мнимую одновременность событий, сгущая и собирая, как в фокусе, страдания и жестокости, которые несет война. В почерненной копотью хижине «батьки» Симплициссимуса неожиданно оказывается дорогая утварь, появляются челядинцы и служанки, которых подвергают пыткам и насилиям. Зрительная неоспоримость описания оправдывает условность композиции. Те же принципы «оптического реализма» мы видим на старинных гравюрах. На офорте Жака Калло из цикла «Большие бедствия войны» (1633) солдаты творят все мыслимые бесчинства: расхищают имущество, насилуют женщину, режут скот и птицу, пытают и угрожают оружием. На небольшом пространстве, представляющем одновременно кухню, кладовую, спальню, словом, весь дом, размещено тридцать две фигуры, подчиненные композиционному заданию. Офорт может служить иллюстрацией к четвертой главе первой книги «Симплициссимуса». А может быть, Гриммельсгаузен и знал его? Как бы там ни было, их роднит способ видения эпохи. С точки зрения наивно-документального «реализма» такие изображения неправдоподобны. Но они-то и были высшим проявлением подлинного реализма эпохи барокко.

Реализм Гриммельсгаузена заключался в верности действительности в целом, а не в мнимо достоверном изображении отдельных сцен и эпизодов. И здесь он сам преподал урок своим будущим истолкователям. Долгое время считалось едва ли не самым ярким проявлением его реализма (в упрощенном понимании) описание битвы при Виттштоке 4 октября 1636 года, свидетелем, а возможно, и участником которой был он сам. Но вот не столь давно было открыто, что для описания этого события Гриммельсгаузен воспользовался английским пастушеским романом Филиппа Сиднея «Аркадия» (1590), переведенным на немецкий язык Мартином Опицем[1]. Лишенное исторической конкретности условное описание сражения Гриммельсгаузен, едва прикоснувшись к заимствованному тексту, вмонтировал в свой роман, наполнив его энергией и динамизмом, передающими неистовство боя, во время которого «жалобные стоны умирающих» сопровождали «веселые крики тех, кто еще бился со всей храбростью» (II, 27). Великолепный рассказчик, вместо того чтобы поведать о том, что он видел своими очами, прибег к литературному заимствованию, ибо оно отвечало поставленной им худо-

[1] H. Geulen. «Arcadische» Simpliciana. Zu einer Quelle Grimmelshausens und ihrer strukturellen Bedeutung fur seinen Roman.— «Euphorion», Bd. 63, 1969, Heft 4, S. 426—437.

жественной цели. И совершенно не случайно в главе, следующей за описанием битвы при Виттштоке, Гриммельсгаузен, пользуясь военным языком, помещает пародийную сцену «кровопролитной битвы», которую Симплициссимус ведет с полчищем одолевавших его насекомых. Патетическое описание битвы при Виттштоке, вытканное Гриммельсгаузеном на чужой канве, предваряя пародию, более отвечало художественному замыслу, нежели реально-историческая картина, даже написанная очевидцем.

Само обращение к высокой книжности было необходимо для создания особой сказовой манеры повествования, обеспечивающей возникновение резкого контраста между языком и стилем, каким описываются события, и тем, что происходит в действительности. Смешение разнородных элементов не нарушает единства повествования, а создает трагическое напряжение или усиливает комизм. Возникает сложная полифония чувств и ассоциаций, иронии и отчаяния. Таким именно путем выражено горестное недоумение Симплициссимуса перед злом мира, с которым он столкнулся. Завидев отряд кирасир, он принимает коня и всадника «за единую тварь», «подобно тому как жители Америки испанских всадников», и при этом думает, что ему повстречались волки, о которых ему нарассказал «батька», и посему собрался «ужасных сих кентавров» прогнать игрой на пастушеской волынке. Условное повествование подчеркивает ужас его положения.

Контраст внешне спокойного эпического повествования с чудовищной действительностью создает своеобразное «видение со стороны»: «Непроглядная ночь укрыла меня, оберегая от опасности, но, по моему темному разумению, она не была достаточно темною, а посему схоронился я в чаще кустарников, куда доносились до меня возгласы пытаемых крестьян и пение соловьев, каковые птички, не взирая на крестьян, коих тоже подчас зовут птицами, не дарили их сочувствием, и сладостное то пение не смолкало несчастия их ради, посему и я прилег на бок и безмятежно заснул».

Личность Симплициссимуса, по замыслу автора, необычайно проста. Это персонифицированная «tabula rasa» древних — чистая восковая доска, на которой жизнь чертит свои письмена, назидательный пример риторической проповеди. И вот одни исследователи рассматривали его как выросшую до исполинских размеров застывшую «фигуру» из народного календаря, тогда как другие видели в нем героя «романа воспитания» и подыскивали к нему параллели от «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха до «Вильгельма Мейстера» Гете. Нельзя рассматривать Симплициссимуса только как носителя готовых повествовательных форм и мотивов, передвигающегося из одной ситуации в другую, причем меняются только кулисы, а он сам остается постоянной маской. Но столь же неверно представлять «Симплициссимус» наподобие «нравственно-описательного» или «воспитательного» романа XVIII века, с подробно разработанной психологией персонажей.

Проходя через превратности жизни, Симплициссимус пытается ее постичь. Его мысль обращена не вовнутрь себя, а во внешний мир, на который он взирает с ужасом или насмешкой. Но он сознает себя как личность и

особый характер. «Не будь я истый Симплициссимус!» — восклицает он, указывая на своеобразие своей натуры и своего понимания вещей. Его наряд, хотя и сшитый из пестрых, даже чужих лоскутов, слился с его обликом. И он во многом ушел вперед и от народных шутов, и от героев плутовского романа, где «угол преломления» действительности и «поправка на рассказчика» сравнительно невелики. Пикаро любит прихвастнуть, преувеличить свои подвиги, свою находчивость и отвагу. Симплициссимус также не отличается особой скромностью и с упоением повествует о своей смелости и ловкости, старается представить себя во всей роскоши и великолепии. Его не покидает внутренняя тревога. Он стремится сохранить этические принципы и честное отношение к жизни и людям, хотя по слабости натуры и в силу обстоятельств ему это не всегда удается. Он податлив, в то же время удивительно устойчив. Как ни ломала его жизнь, он сохраняет чуточку наивности. И у него более глубокая и здоровая народная основа, чем у деклассированного пикаро, недавнего конкистадора и обедневшего дворянчика. Впервые герой, еще стоящий на почве плутовского романа, в такой мере входит в мир крестьян и проникается сочувствием к угнетенному и разоряемому народу. Симплициссимусу чужд дух бродяжничества и социального паразитизма. Он не ищет приключений, а попадает в них, втягивается роковыми событиями или бесчестными происками испорченных людей, становится жертвой обмана и коварства. Он видит изнанку жизни, насилие и жестокость, но не теряет веры в жизнь и людей. Но стоит ему довериться им, как его подстерегает циничный подвох. Его то и дело дурачат, несмотря на весь накопленный им жизненный опыт. «Недобровольность» его приключений придает им неожиданность и фантастичность. Жизнь, как огромная река, несет его на своих волнах. Он говорит о себе: «Я — мяч преходящего счастья, образ изменчивости и зерцало непостоянства жизни человеческой» (VI, 15). Эта метафора реализуется в реальной картине, когда бурный поток увлек его на середину Рейна, «то подбрасывал вверх, то тащил в бездну» (IV, 10). Но среди всех злоключений и бедствий Симплициссимус обретает жизненную устойчивость, способность выжить и выстоять. Он сродни и Дон Кихоту и Санчо Пансе. И у него были свои «ветряные мельницы», когда он, несмышленый юнец, вдруг задался целью образумить людей и отвратить их от зла. И также стал всеобщим посмешищем. И он простодушен, не лишен здравого смысла и находчивости, как Санчо Панса. Мудрые решения, которые выносит Санчо Панса — губернатор, под стать «остроумным ответам» юного Симплиция.

Симплициссимус выступает в романе носителем здравого смысла. Он связан с народным опытом и полон насмешливого оптимизма. Он взирает на мир, то приближая его к себе, то словно издалека, перевертывая изобретенную им «перспективную трубку». Его личный опыт дополняется и как бы раздвигается аллегорическими картинами, позволяющими переступить границы непосредственно познаваемого мира и прорваться к его сущности. Иногда аллегория предваряет это познание. Перед тем как вступить в мир,

ничего не ведающий о нем Симплиций видит в аллегорическом сне некое «древо», олицетворяющее феодальное устройство общества (I, 15—17).

Символические изображения сословного древа известны со средних веков. Гриммельсгаузен актуализирует старые мотивы, применяя их к суровой действительности Тридцатилетней войны. Он заимствует три стихотворные подписи к гравюрам из эмблемического сборника Юлиуса Цинкгрефа (1624) и включает их в «дискурс», который ведут старый фельдфебель и «дворянский прихвостень». На первой гравюре был изображен молодой бычок во главе послушного ему стада. На второй — большая лампа, подвешенная к потолку, что поясняют слова философа Анаксагора, сказанные им Периклу: «Кому нужна лампа, тот наливает в нее масло». На третьей — могучий дуб с обломленными сучьями, перенесший жестокую бурю. В «Симплициссимусе» первое стихотворение отражает точку зрения «дворянского прихвостня», второе — психологию ландскнехтов, а последнее — отношение к войне самого Гриммельсгаузена.

Гриммельсгаузен пользовался всем арсеналом риторических средств барокко, начиная от ораторского строя речи и кончая сложными аллегориями, притчами и назидательными житейскими примерами. Аллегорическое осмысление действительности проходит через весь роман о Симплициссимусе. Аллегорический отсвет ложится и на личность его главных героев. Возникает дидактический триптих, в центре которого находится сам Симплициссимус, а крылья образуют Херцбрудер, олицетворяющий жизнь праведника, отрешившегося от всего земного под влиянием бедствий войны и собственных несчастий, почти бесплотный, и кровавый Оливье — устрашающий пример закоснелого злодея и нераскаянного грешника. Он также порождение войны и деморализации общества. Между ними, как двумя извечными началами добра и зла, и качается, словно маятник, Симплициссимус — обыкновенный смертный, попавший в водоворот войны. Плавая по житейскому морю, он выработал лукавые и гибкие правила поведения и морали. Он не способен усвоить аскетические идеалы Херцбрудера, но и не доходит до полного морального падения, как Оливье.

Аллегорические элементы врастают в художественную ткань романа, становятся его плотью. Возникают два аспекта восприятия: условно-метафорический (аллегорико-эмблематический) и реалистический. Эта двойственность придает роману глубину, стереоскопичность, вызывает богатство литературных и бытовых ассоциаций. Непосредственная жизнь врывается в роман, воздействует на аллегорику и подчиняет ее своим целям.

Проведя своего героя через реальное многообразие жизни, Гриммельсгаузен пытается обобщить и объективировать его жизненный опыт, для чего снова прибегает к серии аллегорических картин в шестой книге романа, которую нельзя рассматривать как своего рода привесок, разрушающий стройность и законченность первоначальной композиции, «подобной античной трагедии», как утверждал голландский филолог Ян Схольте. Напротив, такое построение наиболее типично для прозы барокко, особенно в ее народном

варианте. Не замкнутая композиция, а «открытая форма», допускающая уход «за раму» повествования. Аллегоризация жизненных и социальных отношений и сатирическое их осмысление восходит к средним векам. Гриммельсгаузен проецирует традиционные аллегории на актуальные вопросы войны и мира, как в дискурсах, которые ведут между собой обитатели Ада (VI, 3). Аллегорические олицетворения пороков проходят на реальном фоне, раскрываются социальные характеры, как в истории английского богача Юлия и его слуги Авара (VI, 6—8). Гриммельсгаузен не только развертывает красочные аллегорические картины, но и противопоставляет их друг другу, предлагая различные аспекты истолкования действительности. И если мрачная история Подтирки олицетворяет тщетность человеческих надежд и усилий, то встреча Симплициссимуса с Бальдандерсом (по-русски можно было бы сказать «На-перемену-скор»), своего рода немецким Протеем, история которого была поведана еще Гансом Саксом,— утверждает вечную изменчивость бытия, неизбежный процесс самой жизни, проникнута народным отношением к смерти. Грозная идея «Vanitas» — тщетности земного существования, простершая свои крылья над литературой и мироощущением барокко, теряет свое религиозно-аскетическое содержание. Превращения Бальдандерса жизнерадостны, хотя и не лишены веселого сарказма.

Аллегорические сцены в «Симплициссимусе» напоминают одновременно представления «школьного» дидактического театра иезуитов и ярмарочные зрелища. Гриммельсгаузен не остался чужд театральности барокко. Не случайно у ног странной фигуры на фронтисписе романа разбросаны театральные маски, а сам Симплициссимус в Париже участвует в оперном представлении, причем играет Орфея. Театральная иллюзия сталкивается с низменным маскарадом жизни, когда он встречается с тремя дамами в масках уже в роли наемного любовника (IV, 5). Изображаемый Гриммельсгаузеном мир, при всем своем непостоянстве и изменчивости, не обманчивый мираж, не театральная иллюзия, не сон и не фантасмагория, как его часто понимала высокая литература барокко. Жизнь ценна сама по себе и не является приуготовлением к смерти, как уверяла церковная проповедь. Симплициссимусу чуждо чувство безысходности и обреченности. Он устремлен в жизнь, но мир до отвращения неустроен, несправедлив и коварен. И он то отрекается от него, проникаясь идеалами созерцательного отшельничества и, поселившись на высокой горе, взирает на людскую суету, то переносится на необитаемый остров, где ведет деятельную жизнь Робинзона (на полстолетия раньше героя Дефо). Но мир снова зовет его к себе.

Исполненная благочестия жизнь Симплициссимуса на острове напоминает католический лубок. Его отшельничество не только носит земной характер, но и подсвечено лукавыми огоньками. Юмор не покидает его, когда он якобы отрешился от всего земного. Наряду с благочестивыми размышлениями он сочиняет шутливую эпитафию над прахом своего товарища по несчастью, погибшего в результате излишнего увлечения пальмовым вином. И хотя в романе часто заходит речь о боге, Гриммельсгаузен проявляет

почти полное равнодушие к богословским вопросам. Он отличается удивительной по тем ожесточенным временам веротерпимостью. Устами Симплициссимуса он даже заявляет, что не стоит ни за Петра, ни за Павла, то есть ни за католиков, ни за протестантов. С него довольно, что он христианин (III, 20). Это идеализированное христианство, воспринятое им от отшельника, Симплициссимус противопоставляет миру, который «во зле лежит», и людям, только по имени называющим себя христианами. Противоречия провозглашенных христианством принципов и реального поведения людей — вот что больше всего мучает Симплициссимуса, когда он попадает в мир.

Его трезвый ум не захватили ни различные мистические движения, религиозные реформаторы, розенкрейцеры и визионеры, ни бродячие проповедники и прорицатели, возвещавшие близкий конец света, ни политические пророчества и фантастические рецепты переустройства мира, во множестве появлявшиеся в это время. Всю тщету и бесплодие утопических программ «спасения человечества» Гриммельсгаузен воплотил в гротескной фигуре «архисумасброда» Юпитера, подобранного в лесу Симплициссимусом. Недавний шут, по его собственным словам, теперь обзавелся «собственным шутом» (III, 8). И Симплициссимус занимает ироническую позицию по отношению к разглагольствованиям Юпитера. И не случайно, что он развивает свою политическую и социальную программу среди гогочущих ландскнехтов. Только некоторые мысли Юпитера кажутся здравыми и отражают незрелые чаяния народных масс, их помыслы о мире, прекращении религиозных распрей, изгнании мелких деспотов, восстановлении единства страны. Но проекты их осуществления изложены издевательски (в частности способ воссоединения церквей). «Немецкий герой», который объединит под своей властью сперва германские народы, а потом покорит весь мир, наделен шутовским мечом. Присматриваясь к ожившей императорской легенде, Гриммельсгаузен не присоединяется к ней, а развенчивает ее. Мечта о мировом господстве — бред жалкого безумца!

Гриммельсгаузен сочетает аллегорию с утопией и сатирой. Он нередко обращается к традиционным средствам народной сатиры. Ему были известны забавные картинки «мира навыворот», в котором смещаются привычные представления о вещах, о чем он упоминает в «Вечном Календаре». Но уже не ликующие звери тащат на палке связанного охотника, как на картине Поттера (в Государственном Эрмитаже в Ленинграде). У Гриммельсгаузена в кривом зеркале «мира навыворот» полный насилия и несправедливости мир принимает личину совершенства. На дне озера Муммельзее Симплициссимус издевательски сообщает наивным и доверчивым сильфам, что на земле все идет наилучшим образом, всюду царит мир, благоденствие, а главное, справедливость (V, 15). Утопическое царство сильфов, лишенных человеческих страстей и радостей, безликих и послушных, механически трудящихся для общего блага (в том числе и земных людей, о которых у них весьма смутное представление), явно не по сердцу Симплициссимусу.

Утопия Муммельзее не только несбыточна, но и обманчива, даже ко-

варна, как весь аллегорический маскарад на дне океана. Покидая царство сильфов и возвращаясь в земной мир, Симплициссимус заполучил волшебный камень, который должен пробуравить источник целебных минеральных вод. Он уже размечтался, как станет владельцем модного курорта, разбогатеет, и начал обдумывать мельчайшие детали его устройства, не пренебрегая мелкими плутнями и уловками для привлечения публики. Но все пошло прахом! Источник забил в лесной глуши и оказался никому не нужен. А когда он захотел облагодетельствовать им крестьян-лесовиков, то те только насмерть перепугались. Стоит прознать об этом господам, как они всем воспользуются, а крестьянам только прибавится тягот и барщины (V, 18). Резким рывком читатель возвращается к мрачной реальности феодально-крепостнического общества.

Симпатии Симплициссимуса не завоевывает и реальная, осуществленная на земле Утопия — община «перекрещенцев», якобы виденная им в Венгрии (V, 19) — захиревший осколок великих крестьянских движений. Он отмечает у них относительное довольство, разделение труда, развитие ремесел, заботу о детях. Во всем царит «приятная гармония». Но он не проникается их идеалами, почувствовав ограниченность социального кругозора замкнутых и разрозненных сектантских общин, и, следуя сатирическому принципу «мира навыворот», подчеркивает, что «настоящие христиане» живут далеко не так, как эти «еретики».

Политические воззрения Гриммельсгаузена не отличались ни зрелостью, ни последовательностью. Но он мучительно размышлял вместе со своим героем о неустройстве мира, бессмысленных войнах и социальной несправедливости. Реального выхода он не видел. После разгрома крестьянских движений XVI века и разорения, принесенного Тридцатилетней войной, в Германии образовались очаги феодальной реакции, тянувшей страну вспять. Было невозможно надеяться на осуществление нового социального порядка. Гриммельсгаузен слишком хорошо знал темноту, отсталость и забитость народных масс, особенно крестьянства. Еще меньше он был способен повести их за собой. Его нельзя считать выразителем идеологии немецкого крестьянства. Гриммельсгаузен не «мужицкий писатель», но он долго жил общей жизнью с народом, знал его беды, горести и страдания. Он не только наблюдал, но и на себе испытал тяготы войны. Это обострило его социальную отзывчивость. И мы знаем, что никто из писателей XVII века не защищал человеческие права, честь и достоинство крестьянина с такой убежденностью и горячностью, как Гриммельсгаузен.

Гриммельсгаузен — народный писатель, ибо выразил лучшие чаяния и стремления своего народа и создал грандиозное и неповторимое художественное полотно, с большой силой запечатлевшее его эпоху. Но он был и народным рассказчиком, талант которого особенно раскрылся в романах, служивших продолжением «Симплициссимуса» — «Кураже» и «Шпрингинсфельд». Они также опалены горячим дыханием Тридцатилетней войны. Кураже — типичная маркитантка и авантюристка. Она выросла в богемском

городке Прахатиц. Когда ей минуло тринадцать лет, город был захвачен и разорен имперскими войсками. Чтобы спасти Либушку (так, собственно, ее звали) от разнузданности ландскнехтов, ее переодевают мальчиком. Под именем Янко она становится пажем ротмистра, а когда открылся ее пол, его любовницей. Она испытывает множество приключений, несколько раз выходит замуж — за полковника, лейтенанта, мушкетера и маркитанта, следует за войском, сама участвует в схватках, сводничает и наконец пристает к цыганам. Эгоизм и приверженность ко всему земному придает ей жизненную силу и цепкость, но она идет только вниз. Она завистлива, корыстна, мстительна и бессердечна. Ее истинное пристанище — лагерь, где она слоняется в мужском костюме, торгует табаком и водкой и подпадает всем случайностям военной фортуны. Свои «мемуары» она пишет назло Симплициссимусу, так как встречалась с ним и провела его за нос (V, 6). Книга написана в традициях плутовского романа. Бертольт Брехт трансформировал образ Кураже, раскрыв его трагическую подоснову в пьесе «Матушка Кураж и ее дети».

«Шпрингинсфельд» — роман о судьбе храброго, находчивого и веселого сотоварища Симплициссимуса во времена их молодости. Теперь он снискивает себе пропитание игрой на скрипке и кукольными представлениями. Его спутница, молоденькая лютнистка, еще более бесстыжая, чем Кураже, нагло его обманывает. Он покорно следует за ней, «не помышляя ни о какой чести». Лютнистка находит «чудесное птичье гнездо», которое делает ее невидимкой. Она бросает Шпрингинсфельда и пользуется находкой для обогащения и всяческих проделок, что приводит ее к гибели. Шпрингинсфельд пристает к венецианским вербовщикам и помогает им игрой на скрипке завлекать рекрутов, странствует, теряет ногу, нищенствует и опускается — жалкая и типическая участь ландскнехта. Дальнейшие два романа повествуют о судьбе «чудесного птичьего гнезда», переходящего из рук в руки. Они красочны, занимательны и изобилуют сказочными мотивами и метко подмеченными бытовыми подробностями. И в этих романах Гриммельсгаузен не отказался от использования книжного и особенно фольклорно-сказочного материала. Пожалуй, они превосходят «Симплициссимус» живостью и легкостью изложения, но заметно уступают ему в художественном напряжении, трагизме и социальной значимости. Но не эти романы, а «Симплициссимус» обессмертил Гриммельсгаузена. Только в нем запечатлел он всю боль и всю горечь своего сердца, выразил неумирающий протест против гнета и насилия. Он сумел бросить суровое обвинение прямо в лицо зачинщикам феодальных войн, нетернимости и несправедливости. Он указал не только на кровавую жестокость войны, но и на ее развращающее влияние на целые поколения, моральное одичание и запустение культуры. Не разрешив политических и социальных задач своего времени, не созрев для этого исторически, Гриммельсгаузен поднялся до общечеловеческих этических проблем и поисков морального оправдания бытия.

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ

ВНОВЬ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ УПОРЯДОЧЕННЫЙ
И ПОВСЮДУ МНОГАЖДЫ ИСПРАВЛЕННЫЙ

ЗАТЕЙЛИВЫЙ СИМПЛИЦИУС СИМПЛИЦИССИМУС

То есть:

ПРОСТРАННОЕ, НЕВЫМЫШЛЕННОЕ И ВЕСЬМА ПРИСНОПАМЯТНОЕ *ЖИЗНЕОПИСАНИЕ* НЕКОЕГО ПРОСТОСОВЕСТНОГО, ДИКОВИННОГО И РЕДКОСТНОГО БРОДЯГИ, ИЛИ ВАГАНТА, ПО ИМЕНИ

МЕЛЬХИОР ШТЕРНФЕЛЬС ФОН ФУКСХЕЙМ,

КАК, ГДЕ, КОГДА И КОИМ ИМЕННО ОБРАЗОМ ЯВИЛСЯ ОН В МИР, КАК ОН В НЕМ ПОСТУПАЛ, ЧТО ВИДЕЛ ПРИМЕЧАНИЯ ДОСТОЙНОГО, ЧЕМУ НАУЧИЛСЯ И ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ, КАКИЕ И ГДЕ ИСПЫТАЛ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ТЕЛЕСНОГО ЗДРАВИЯ, А ТАКЖЕ ЧЕГО РАДИ, ПО ДОБРОЙ СВОЕЙ ВОЛЕ И НИКЕМ К ТОМУ НЕ ПОНУЖДАЕМ, ПРЕЗРЕЛ СЕЙ МИР. ОСОБЛИВО ПРИЯТНОЕ И ОТДОХНОВИТЕЛЬНОЕ, А ТАКЖЕ ВЕСЬМА ПОЛЕЗНОЕ И ГЛУБОКОМЫСЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ, 20 ИЗРЯДНЫМИ ГРАВЮРАМИ НА МЕДИ И ТРЕМЯ CONTINUATIONES

ИЗДАЛ:

ГЕРМАН ШЛЕЙФХЕЙМ ФОН ЗУЛЬСФОРТ

МНЕ ПО ДУШЕ ДОБРО ТВОРИТЬ,
СО СМЕХОМ ПРАВДУ ГОВОРИТЬ.

МОМПЕЛЬГАРТ

НАПЕЧАТАНО ТИПОГРАФСКИМ ТИСНЕНИЕМ У ИОГАННА ФИЛЛИОНА В НЮРНБЕРГЕ, А В ПРОДАЖЕ НАХОДИТСЯ У В.-Э. ФЕЛЬСЕКЕРА

1671

Как Феникс, рожден я из пламени был.
Я ввысь воспарял, но себя не сгубил,
Бродил я по странам, в морях я бывал,
Отрады в скитаниях мало знавал,
О том же, что делалось в жизни моей,
Поведал читателю в книжице сей.
Пусть в жизни он следует ныне за мной:
Бежит неразумья, вкушает покой.

БЛАГОРАСПОЛОЖЕННОЕ НАПОМИНОВЕНИЕ ДОБРОХОТНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

Высокочтимые, благосклонные, предорогие
и любезные соотечественники!

Сим издается в свет совершенно новым набором и тиснением мое утешно-занимательное и весьма глубокомысленное Жизнеописание, украшенное изрядными гравюрами на меди, изготовленными по моей инвенции, а также моего батьки, матки, Урселе и сына Симплиция, к чему понуждает меня дерзкий и поистине наглый перепечатник, который, уж не ведаю, по зависти ли себялюбивого сердца или, как мне скорее думается, по бесстыдному подстрекательству неких недоброхотов, вознамерился пренаглым образом вырвать из рук и совершенно незаконно присвоить себе высокопохвальные труды, издержки, прилежание и усердие моего господина издателя, употребленные на добропорядочное и благопристойное издание сего моего сочиненьица, ему одному только препорученного и переданного со всею проистекающею из сего прибылью. Такое бесчинное предприятие, когда я о нем уведомился, повергло меня в прежестокую опасную болезнь, от коей я и по сей день не оправился. Однако ж велел я возлюбленному моему сыну Симплицию составить вместо меня и разослать любезным моим соотечественникам, а также довести до слуха Юстиции трактатец, на титуле коего обозначено:

ЗАПУСКАЮЩЕМУ ЛАПЫ В ЧУЖОЕ ДОБРО БЕЗЗАКОННИКУ
ПО ПРАВУ ОБРЕЗАННЫЕ КОГТИ

Надеюсь, что сие сочиненьице будет вам не докучливо, ибо в нем содержатся такие arcana [1], которые дают в руки превосходное средство сохранить свое добро в надежном покое и приятной безопасности. Меж тем пусть сие издание моей книги, на коем обозначено имя моего издателя, будет предпочтено всем прочим; ибо другие экземпляры, кои выпущены противною стороною, я, не будь я Симплициссимусом, не только не признаю своими произведениями, но и стану их всячески преследовать до последнего дыхания, и, где только ни увижу, велю пустить на обертку, и не премину послать образчик господину Перетырщику. Впрочем же, не могу также не уведомить, что мой издатель с великим прилежанием и издержками намедни выпустил в свет мой «Вечный неизменный Календарь», также многие другие презанимательные сочинения, както: «Черное и Белое, или Сатирический Пильграм», «Побродяжка Кураже», «Затейливый Шпрингинсфельд», «Целомудренный Иосиф и его верный слуга Музаи», приятная для чтения «Любовная гистория и жизнеописание Дитвальда и Амелинды» и еще «Двуглавый Ratio status» [2], за коими в будущем должна последовать, ежели я и сын мой Симплиций будем живы, небольшая ежегодная настольная книга или календарь в кварту, содержащий Continuatio, сиречь продолжение моих диковинных приключений, дабы оказать вам, любезные соотечественники, некоторое удовольствие. А буде объявится наглый и охочий до чужого добра мошенник, который вознамерится и сие перепечатывать и присваивать, то я учиню ему такую баню или отместку, что он до конца дней своих не забудет Симплициссимуса. И сие, прошу вас, господа соотечественники, где бы вы ни пребывали, не оставлять без внимания. Я же, напротив, служу вам, чем только могу и умею, и остаюсь

Вашим покорным слугою

Симплициусом Симплициссимусом.

---

[1] тайны *(лат.)*

[2] Государственная польза *(лат.)*.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОЙ ГЛАВЫ СЕЙ ПЕРВОЙ КНИГИ

1-я гл. Симплиций толкует о знатном роде,
Попеже давно он славен в народе.

2-я гл. Симплиций пастушеский сан приемлет,
Сей же никто у него не отъемлет.

3-я гл. Симплиций дудит на волынке пузатой,
Покуда его не схватили солдаты.

4-я гл. Симплициев дом — солдатам награда,
Нигде их разбою не видно преграды.

5-я гл. Симплиций в лесу, что малая птаха,
Колотится сердце его от страха.

6-я гл. Симплиций в лесу отшельника слышит,
Повергся в ужас, сам еле дышит.

7-я гл. Симплиций находит себе кров и пищу,
С отшельником вместе живет, словно нищий.

8-я гл. Симплиций в беседе с отшельником сразу
Выводит наружу дурацкий свой разум.

9-я гл. Симплиций становится христианином,
А жил он доселе скотина скотиной.

10-я гл. Симплиций писать и читать обучен,
В мыслях с пустыней вовек неразлучен.

11-я гл. Симплиция повесть о жизни в пустыне,
Что им служило столом и периной.

12-я гл. Симплиций смерть зрит, какою бывает,
Отшельника тело в земле погребает.

13-я гл. Симплициус хочет пустыню покинуть,
Где ему привелось едва не погинуть.

14-я гл. Симплиций видит, как солдаты-черти
Пятерых мужиков запытали до смерти.

15-я гл. Симплиций уснул, не насытивши чрева,
Зрит в сонном виденье пречудное древо.

16-я гл. Симплициус грезит о солдатской доле,
Где младший у старших всегда под неволей.

17-я гл. Симплиций не может взять себе в толк,
Чего ради охотно дворян берут в полк.

18-я гл. Симплиций в лесу письмецо сбретает,
Пустыню затем не к добру покидает.

19-я гл. Симплициус ищет лучшую долю,
А сам попадает в злую неволю.

20-я гл. Симплиций понуро шагает в тюрьму,
По счастью, священник попался ему.

21-я гл. Симплициус после тяжких невзгод
Нечаянно зажил средь важных господ.

22-я гл. Симплициус слышит, как после сраженья
Отшельник в пустыне обрел утешенье.

23-я гл. Симплициус жизнь начинает наново,
Становится пажем у коменданта в Ганау.

24-я гл. Симплиций казнит беззаконие мира,
Где каждый избрал себе злого кумира.

25-я гл. Симплиций не может в злом мире ужиться,
А мир сердито на него косится.

26-я гл. Симплиций взирает ребяческим оком,
Каким солдаты подпали порокам.

27-я гл. Симплиций зрит, как крапивное семя
Добро наживает в недоброе время.

28-я гл. Симплиций в гаданье теряет кураж,
Его надувает проказливый паж.

29-я гл. Симплиций, соблазном смущен, ненароком
Проворно съедает телячье око.

30-я гл. Симплиций впервой зрит пьяных солдат,
Вздурились за чаркой, сам черт им не брат.

31-я гл. Симплицпус ставит на пробу куншток,
Едва тут ему не случился каюк.

32-я гл. Симплицпус зрит: на пиру кавалеры
Священника потчуют сверх всякой меры.

33-я гл. Симплиций относит на кухню лисицу
С приказом сготовить на ужин с корицей.

34-я гл. Симплиций на странных танцоров дивится,
От страху в глазах у него все двоится.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплиций толкует о знатном роде,
Понеже давно он славен в народе.

В наше время (когда толкуют, что близится конец света) нашло на людей подлого звания поветрие, при коем страждущие от него, коль скоро им удастся награбастать и набарышничать только, что они, помимо немногих геллеров в мошне, обзаведутся еще шутовским платьем по новой моде с шелковыми лентами на тысячу ладов или же иным каким случаем прославятся и войдут в честь, тотчас же восхотят они объявить себя господами рыцарского сословия и людьми благородного состояния предревнего роду; а как частенько оказывается и прилежными поисками подтверждение находит, деды-то их были трубочисты, поденщики, ломовики и носильщики, двоюродные их братья погонщики ослов, фокусники, фигляры и канатные плясуны, братья — палачи и сыщики, сестры — швеи, прачки, метельщицы, а то и потаскушки, матери — сводницы или даже ведьмы и, одним словом, весь совокупный род их в тридцать два предка столь загажен и обесчещен, сколь это повсегда лишь цеху сахароваров в Праге быть возможно; да и сами они, новоиспеченные эти дворяне, нередко столь черны, как если бы они родились в Гвинее и воспитаны там были.

Я не хочу вовсе уподобить себя таким шутовским людям, и, хотя не скрою правды, сам не без того, и частенько мнил, что беспременно происхожу от некоего вельможного барина или, по крайности, от простого дворянина, ибо от природы питаю склонность к дворянскому ремеслу,— будь у меня на то достаток и снаряжение. Однако ж мое происхождение и воспитание не шутя можно сравнить и с княжеским, ежели не пожелать усмотреть в них великое различие. Чего? У моего батьки (ибо так зовут отцов в Шпессерте) был собственный дворец, такой же, как и у прочих, притом краси-

вый, какого ни один царь в свете, будь он еще более могуществен, чем великий Александр, не сумеет построить своими руками и от того на веки вечные заречется; оный дворец был расписан глиною и заместо бесплодного шифера, холодного свинца и красной меди покрыт соломою от благородных злаков; и дабы он, мой батька, своим высокочтимым и знатным родом, от самого Адама ведущимся, и своим богатством достойно мог величаться, повелел он воздвигнуть вкруг замка стены, да не из камня, что находят на дороге или выкапывают из земли в бесплодных местах, а тем паче не из тех никудышных печеных кампей, кои в короткое время изготовлены и обожжены быть могут, как это в обычае у иных важных господ; вместо того взял он бревна от дуба, каковое полезное и благородное древо (ибо на нем произрастают окорока и колбасы), чтобы прийти в совершенный возраст, требует не менее ста лет. Найдите монарха, который тако же поступил бы! Найдите венценосца, который возмечтал бы сие в дело произвести! Батька мой повелел все компаты, залы и покои почернить дымом того только ради, что то — самая неотменная краска в мире и подобная роспись более времени для своего исполнения требует, нежели искусный живописец для изряднейших своих картин. Обои там были самой тонкой на земле ткани, ибо та, кто ее нам изготовила, в древности осмелилась с Минервой самой в прядении состязаться. Окошки там были посвящены святому Николе Бесстекольному, не по иной какой причине, кроме той, что ему было ведомо, сколько труда и времени положить надобно на совершенное изготовление стекла из конопли, либо льняного семени,— много более, нежели на самое лучшее и прозрачное стекло из Мура́но, ибо достоинство батьки позволяло ему полагать, что все великим трудом добытое потому именно и великую цену имеет и тем дороже бывает, а то, что дорого, знатным людям более всего приличествует и достоинству их подобает. Заместо пажей, лакеев и конюхов были от него поставлены овцы, козлы и свиньи, весьма искусно наряженные в подобающую им природную ливрею; они частенько услужали мне на пастбище, пока я, утружденный их службой, не отошлю их от себя и не загоню домой. Оружейная палата, или арсенал, вдосталь и наилучшим образом снабжена была плугами, кирками, мотыгами, топорами, лопатами, навозными и сенными вилами, с каковым оружием батька мой каждодневные упражнения имел. Лес валить и корчевать — вот в чем была его disciplina militaris [1], как у древних римлян в мирные времена; волы в упряжке составляли его команду, над которой он был капитаном, вывозить навоз было его фортификацией, а пахотьба его походом, рубка дров каждо-

[1] военное искусство *(лат.)*.

дневным exercitio corporis [1], подобно тому как очистка хлева благородной забавой и турниром. Сим образом ратоборствовал он со всей землей, сколько мог ее захватить, и каждой жатвой отбивал у нее богатую добычу. Все сие оставляю и нисколько тем превознести себя не хочу, дабы никто не имел причины осмеять меня и иных, подобных мне, из новой той знати, ибо я почитаю себя не выше моего батьки, коего помянутое жилище стояло на веселом месте, то есть в Шпессерте, где по ночам подвывают волки: «Покойной ночи!» Ради любезной мне краткости не объявил я еще о происхождении, родословии и прозвании моего батьки, наипаче же потому, что тут и без того не идет речь о дворянском установлении, которое я должен был бы подтвердить под присягою; довольно, когда знают, что я родом из Шпессерта!

Как во всем домоустройстве моего батьки благородство весьма приметно было, то всякий разумеющий отсюда легко заключить может, что и мое воспитание тому сходствовало и подобало; и, кто так рассудит, тот не ошибется, ибо в десять лет я уже постиг помянутые principia [2] благородных батькиных упражнений. Зато в обучении наукам я шел наравне с прославленным Амплистидом, о ком говорит Свида, что он не умел сосчитать дальше пяти; но, как видно, батька обладал чрезмерным умом и того ради последовал употребительному обычаю нынешнего времени, по коему многие знатные господа не утруждают себя учеными упражнениями, или, как они то называют, школьной дуростью, ибо держат пачкунов, которые марают за них бумагу. Впрочем, я изредка игрывал на волынке жалостные песни Ялема, в чем не уступал и славному Орфею, и как тот отличился на арфе, так и я преуспевал перед всеми чрез свою игру на волынке. А что касается до теологии, то во всем христианском мире не сыскалось бы тогда другого, который в моем возрасте со мной поравняться бы мог, в том меня не переспоришь; ибо не было у меня тогда понятия ни о боге, ни о людях, ни о небе, ни о преисподней, ни об ангелах, ни о чертях, и я не знал, как отличить добро от зла. Посему нетрудно усмотреть, что с помощью такого богословского образования жил я, как прародители в раю, кои в своей беспорочности не знали о болезнях, смертном одре и смерти и еще того меньше о воскресении из мертвых. О, сколь господское житие (прескотское, мог бы ты воскликнуть), когда не надобно печалиться о медицине! Тем же родом можно уразуметь, сколь превосходен был мой опыт в studio legum [3] и других искусствах и науках, какие только есть на земле. И я пребывал в столь

---

[1] телесным упражнением *(лат.)*.
[2] основы *(лат.)*.
[3] изучении законов, юриспруденции *(лат.)*.

полном и совершенном неведении, что не мог постичь даже того, что ничего не знаю. И еще раз скажу: «О, сколь господское житие было тогда моим уделом!» Но батьке моему не было угодно оставить меня наслаждаться сим благополучием, и он по справедливости рассудил, что сообразно с моим благородным рождением подобает мне жить и поступать также благородно; для того и стал он привлекать меня к постижению высоких предметов и задавать мне нелегкие уроки.

ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплиций пастушеский сан приемлет,
Сей же никто у него не отъемлет.

Он даровал мне высокий сан, который учрежден не только при его дворе, но и во всем мире, то есть древнее достоинство пастуха. Первым делом вверил он мне свиней, затем коз и напоследок все стадо овец, дабы я их стерег, нас и охранял от волков с помощью волынки (звук которой, по словам Страбона, сам по себе понуждает жireть овец и ягнят в Аравии); в те времена походил я на Давида, разве только что у него вместо волынки была всего лишь арфа; сие нехудое начало было добрым предзнаменованием, что со временем и я, ежели подвернется счастье, прославлюсь на весь мир. Ибо от сотворения мира пастухами бывали знатные особы, как мы сами читали в Священном писании про Авеля, Авраама, Исаака, Иакова, его сыновей и Моисея, который стерег овец тестя до того, как стал предводителем и законодателем 600 000 мужей Израиля. Да, может статься, кто захочет меня упрекнуть, что то-де были святые праотцы, а не деревенский мальчишка из Шпессерта, который даже ничего не слыхал о боге. Должен признать это и не стану запираться; но разве тогдашняя моя простота в том повинна? И среди древних язычников находят такие примеры, как и у народа, избранного богом: так, из римлян, нет сомнения, принадлежали к знатным родам — Бубульки, Статилии, Помпонии, Витулии, Вителии, Аннии, Капери и др., кои все так наречены были, потому что ходили за скотиною, а может статься, и пасли ее. Право, Ромул и Рем и те были пастухами; пастухом был Спартак, столь ужасавший владык Рима. Да что там! Сын царя Приама Парис и Анхис, отец троянского князя Энея, были пастухами, как о том говорит Лукиан в «Dialogus Helenae». Пастухом был и прекрасный Эндимион, к коему вожделела сама непорочная луна, также и свирепый Полифем, да и сами боги, как говорит Форнутус, не стыдились этого занятия. Аполлон стерег коров Адмета, царя Фессалии. Меркурий, его сын Дафний, Пан и Протей были изрядными пасту-

хами, того ради до сего дня в устах безрассудных поэтов они именуются покровителями пастухов; пастухом был Меза, царь моавитян, о чем можно прочесть во второй Книге царств; Кир, могущественный царь персов, не только был воспитан Митридатом, но и сам пас скот. Гигес был пастухом и с помощью своего перстня стал царем. Исмаил Сефи, персидский шах, также в юности своей пас скот; так, Филон Иудей изрядно о том судит в «Vita Moysis» [1], когда говорит: «Пастушество приуготовляет к принятию власти; ибо как bellicosa и martialia ingenia [2] прежде упражняются и совершенствуются на охоте, так должно и тех, кому вручена будет власть, сперва наставить, как пасти с миром скот». Батька мой должным образом уразумел все сие, ибо имел он изрядный капитолиум на плечах и весьма проницательный ум, того ради вперил он в меня немалую и до сего часа не оставившую меня надежду на будущее величие.

Однако же, возвращаясь к моему стаду, пусть будет ведомо, что волков я знал столь же мало, как и свою простоту: того ради батька мой в своих наставлениях весьма прилежен был. Он сказал: «Малой, держи ухо-то востро, смотри за овцами-то, чтоб не разбежались, играй веселей на волынке, не ровен час, набежит волк да натворит бед, то такой четвероногой плут и вор, жрет людей и скот, а коли ты недосмотришь, то я тебя отдую». Я ответил ему с тою же приятностию: «Батько, скажи-ко, какой-такой волк-то, волка-то я еще никогда не видывал».— «Ах ты, дурень глупый,— ответствовал он,— дураком проживешь, дураком помрешь, диву даешься, что с тобой станется, вырос большою орясиною, а того не знаешь, что за плут о четырех ногах, волк-то».

Также преподал он мне иные многие наставления и под конец возмутился духом, поелику ушел с неким ворчанием, полагая, что мой простой и неотесанный ум еще не довольно вылощен и не может постичь столь субтильных наставлений и еще к тому не способен.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Симплиций дудит на волынке пузатой,
Покуда его не схватили солдаты.

Тут зачал я на своей волынке так всех потчевать, что на огороде жабы могли передохнуть, так что от волка, кой не выходил у меня из ума, мнил я себя в совершенной безопасности; и тем временем вспомнилась мне матка (ибо так зовут матерей в Шпессерте

[1] «Жизнь Моисея» *(лат.)*.
[2] воинственные гении *(лат.)*.

Ich würde durchs Fewer wie Fœnix geborn,
Ich flog durch die Lüffte / würd doch nit verlorn,
Ich wandert durchs Wasser / Ich reiß über Land,
in solchem Umbschwermen mach ich mir bekandt,
was mich offt betrübet und selten ergeht,
was war das? Ich habs in dis Büche gelegt,
damit sich der Leser gleich wie ich ihn thue
entferne der Thorheit und lebe in Ruhe

«Затейливый немецкий Симплициссимус».

п Фогельсберге), как она частенько говаривала: ей забота, как бы куры от моего пения не попередохли, и было мне любо петь, дабы remedium [1] против волков имел еще большую силу, и притом пел я ту самую песню, какую я перенял от матки:

Презрен от всех мужичий род,
Однако ж кормит весь народ.
Достоин ты премногих хвал
Для всех, кто истину познал.
Когда б Адам пахать не стал,
То б целый свет жить перестал.
С мотыгой землю он прошел,
Чтоб следом князь на трон взошел.
Все, что земля приносит нам,
Возделал ты, презренный хам!
Тобою жатва собрана,
Которой кормится страна.
И даже царь, что богом дан,
Прожить не может без крестьян.
Твой хлеб мужицкий ест солдат,
Хоть от него тебе наклад.
Вино для барского стола
Земля трудом твоим дала.
Земля приносит все плоды,
Когда рожать понудишь ты!
Весь свет давным-давно б поник,
Когда б не жил на нем мужик.
Пустыней стала бы земля,
Когда бы не рука твоя.
А посему тебе и честь,
Зане даешь ты всем нам есть.
Натурой ты исполнен сил
И бог тебя благословил.
Подагра, что дворян разит,
Ногам мужицким не грозит.
Что в гроб низводит богачей,
То не мрачит твоих очей.
А чтоб тебя не ела спесь,
С начала века и доднесь —
Тебе ниспослан тяжкий крест
Нести до самых горних мест.
Твое добро берет солдат
Тебе ж на благо — будь же рад.
Тебя он должен грабить, жечь,
Дабы от чванства уберечь...

До сих пор и не долее продолжал я сие сладостное пение, ибо в тот миг окружил меня и мое стадо отряд кирасир, которые заплутались в частом лесу, а моя музыка и пастушеские клики вывели их на верную дорогу. «Ого,— подумал я,— так вот они, голубчики!

[1] лекарство, средство *(лат.)*.

Так вот они, четвероногие плуты и воры, о которых говорил тебе батька»,— ибо сперва почел я коня и мужа за единую тварь (подобно тому как жители Америки испанских всадников) и полагал, что то не иначе, как волки, и захотел я ужаснейших сих кентавров протурить и от них избавиться. Но едва успел я надуть мех своей волынки, как один из них поймал меня за шиворот и столь жестоко швырнул на крестьянскую лошадь, которая вместе с многими другими досталась им в добычу, что я перекинулся через нее и упал прямо на милую мою волынку, зачавшую тогда взывать столь жалостно, как если бы она хотела пробудить весь свет к милосердию: но было то напрасно, хотя и скорбела она о моем несчастии до последнего вздоха,— видит бог, я принужден был снова взгромоздиться на лошадь, чего бы там моя волынка ни пела и ни сказывала; а всего более досаждало мне, что всадники уверяли, будто я в падении зашиб волынку, того ради она так безбожно и завопила. Итак, кляча моя везла меня вперед равномерной, как primum mobile [1], рысью до самого батькиного двора.

Диковинные воображения и тарабарские вздоры наполнили ум мой и понеже я восседал на таком звере, какого отродясь не видывал, а тех, что меня увозили, почел за железных, то возомнил, что и сам я в подобного железного детину метаморфизироваться должен. Но понеже такого превращения не последовало, то взбрелись мне на ум иные дурачества: я полагал, что сии чужие гости напоследок для того лишь явились, чтобы помочь мне загнать домой овец, поелику ни единую из них не пожрали, а, напротив того, в совершенном согласии и прямой дорогой поспешили ко двору моего батьки. Того ради оглядывался я весьма прилежно, высматривая батьку, не пожелают ли он и матка тотчас выйти нам навстречу с приветливым словом; но тщетно, он и матка, вместе с ними Урселе, которая была единственной возлюбленной дочерью моего батьки, сбежали через заднюю калитку, дали тягу и не захотели тех беспутных гостей ожидать.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Симплициев дом — солдатам награда,
Нигде их разбою не видно преграды.

Хотя и не расположен я вести миролюбивого читателя вслед за той бездельнической ватагой в дом и усадьбу моего батьки, ибо там случится много худого, однако ж добрый порядок моей повести, которую оставлю я любезному потомству, того требует, чтобы

[1] Здесь: изначальное движение *(лат.)*.

поведал я, какие мерзкие и поистине неслыханные свирепости чинились повсюду в нашу немецкую войну, и особливо своим собственным примером свидетельствовал, что таковые напасти часто ниспосланы нам благостным провидением и претворены нам на пользу. Ибо, любезный читатель, кто бы сказал мне, что есть на небе бог, когда бы воины не разорили дом моего батьки и через такое пленение не принудили меня пойти к людям, кои преподали мне надлежащее наставление? До того мнил я и не мог вообразить себе иначе, что мой батька, матка, Урселе и прочая домашняя челядь только и живут одни на земле, понеже иного какого человека я не видывал и о другом человеческом жилье, кроме описанной перед тем шляхетской резиденции, где я тогда дневал и почевал, не ведал.

Но вскорости узнал я, каково происхождение людей на сем свете, что нет у них постоянного пристанища, а весьма часто, прежде всякого чаяния, принуждены они покинуть сию юдоль; был я тогда только по образу своему человек и по имени христианин, а в остальном совершенно скот. Однако ж всевышний, взирая милостивым оком на мою простоту, пожелал привести меня вместе к познанию его и самого себя. И хотя были у него к тому тысячи различных путей, нет сомнения, восхотел избрать тот, на коем батька мой и матка в назидание другим за нерадивое воспитание должным образом наказаны будут.

Первое, что учинили и предприняли те всадники в расписанных копотью покоях моего батьки, было то, что они поставили там лошадей; после чего всяк приступил к особливым трудам, кои все означали сущую погибель и разорение. Ибо в то время, как некоторые принялись бить скотину, варить и жарить, так что казалось, будто готовится тут веселая пирушка, другие свирепствовали во всем доме и перешарпли его сверху донизу, так что не пощадили даже укромный покой, как если бы там было сокрыто само золотое руно Колхиды. Иные увязывали в большие узлы сукна, платья и всяческую рухлядь, как если бы сбирались открыть ветошный ряд, а что не положили взять с собою, то ломали и разоряли до основания; иные кололи шпагами стога соломы и сена, как будто мало им было переколоть овец и свиней; иные вытряхивали пух из перин и совали туда сало, сушеное мясо, а также утварь, как будто оттого будет мягче спать. Иные сокрушали окна и печи, как если бы их приход возвещал нескончаемое лето; сминали медную и оловянную посуду, после чего укладывали ее погнутой и покореженной; кровати, столы, стулья и скамьи они все пожгли, хотя на дворе лежало сухих дров довольно. Напоследок побили все горшки и миски, либо оттого, что с большей охотой ели они жаркое, либо намеревались тут всего один раз оттрапезовать.

Со служанкой нашей в хлеву поступили таким родом, что она не могла уже оттуда выйти, о чем, по правде, и объявлять зазорно. А работника они связали и положили на землю, всунули ему в рот деревянную пялю да влили ему в глотку полный подойник гнусной навозной жижи, кою называли они «шведский напиток», что, однако ж, не пришлось ему по вкусу и произвело на лице его удивительные корчи, через то принудили они его свести некоторых из них в иное место, где взяли людей и скот и пригнали на наш двор, а были там посреди них мой батька, моя матка и наша Урселе.

Тут стали они отвинчивать кремни от пистолетов и на их место ввертывать пальцы мужиков и так пытали бедняг, как если бы хотели сжечь ведьму, понеже одного из тех пойманных мужиков уже засовали в печь и развели под ним огонь, хотя он им еще ни в чем не признался. Другому обвязали голову веревкой и так зачали крутить палкой ту веревку, что у него изо рта, носа и ушей кровь захлестала. Одним словом, у каждого из них была своя хитрость, как мучить крестьян, и каждый мужик имел свою отличную от других му́ку. Однако ж батька, по тогдашнему моему разумению, был всех счастливее, понеже он смеючись признавался во всем, что иные принуждены были сказать с болью и жалостливыми воплями, и такая честь случилась ему, нет сомнения, для того, что он был хозяин, ибо они связали его по рукам и ногам так, что он не мог пошевелиться, посадили к огню и натерли ему подошвы мокрой солью, а наша старая коза ее тотчас же слизывала, через что происходило щекотание, так что он, казалось, мог лопнуть со смеху. Сие показалось мне столь приятным и любезным (понеже я моего батьку в таком долгом смехе никогда не видывал и не слыхивал), так что и я ради доброго кумпанства либо отого, что не слишком много разумел, принужден был от всего сердца рассмеяться. С тем смехом признал он свою вину и объявил сокрытое сокровище, где золота, жемчуга, драгоценных каменьев было больше, чем можно было надеяться сыскать у мужика. О захваченных женах, дочерях и служанках не могу особливо ничего сообщить, ибо воины не допускали меня смотреть, как они с ними поступали. Однако ж я довольно знаю, как инде в различных уголках были слышны ужасающие вопли, почитай что и моя матка, и наша Урселе не избежали той общей участи. Посреди такого несчастия вертел я жаркое на роженьке и ни о чем не заботился, ибо я еще всего того надлежащим образом не разумел; пополудни я помогал поить лошадей, каким средством и привелось мне попасть в хлев к нашей служанке, которая была диковинным образом вся растрепана; я не узнал ее, она же сказала мне хворым голосом: «Малой, удирай-ко отсюдова, а не то заберут тебя те всадники, норови как бы уйти, видишь, как тут худо». Сверх того не смогла она ничего сказать.

ПЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций в лесу, что малая птаха,
Колотится сердце его от страха.

И тут только впервые размыслил я о том бедственном положении, какое предстало моему взору, и стал обдумывать, как бы это мне половчее выкрутиться и удрать. А куда? Мой скудный ум не пришел мне на помощь. Однако ж к вечеру мне удалось сбежать в лес, а милую мою волынку я не покинул даже в беде и крайности. А что ж тепе́рь? Поелику дороги и лес столь же мало были мне знаемы, как и путь через Ледяное море от Новой Земли до Китая. Непроглядная ночь укрыла меня, оберегая от опасности, но, по моему темному разумению, она не была достаточно темною; а посему схоронился я в чаще кустарников, куда доносились до меня возгласы пытаемых крестьян и пение соловьев, каковые птички, не взирая на крестьян, коих тоже подчас зовут птицами, не дарили их сочувствием, и сладостное то пение не смолкало несчастия их ради; посему и я прилег на бок и безмятежно заснул. А едва утренняя звезда возжглась на востоке, увидел я дом батьки, охваченный пламенем, и не было никого, кто бы желал потушить пожар. Я отправился туда в надежде повстречать кого-либо с нашего двора, но тотчас же пять всадников заприметили меня и закричали: «Беги сюда, малец, а то, черт подери, пальнем так, что у тебя пар из глотки пойдет». Я же остолбенел и стоял разинув рот, ибо не знал, что тем всадникам было надобно, и как я смотрел на них, ровно кот на новые воротá, однако ж они не могли перейти ко мне по болоту и, нет сомнения, были оттого в превеликой досаде, и тогда один из них разрядил в меня свой карабин; внезапный огонь и неожиданный треск, повторенный многократным эхом, стали оттого еще ужаснее, чем я так настращался, ибо никогда ничего похожего не видывал и не слыхивал, что тотчас же упал на землю, растянулся во весь рост и не мог шелохнуться от страху; хотя всадники ускакали своей дорогой и, нет сомнения, почли меня за мертвого, во весь тот день я не собрался с духом, чтоб приподняться или часом оглядеться по сторонам. А когда снова застигла меня ночь, я встал и пошел лесом, покуда не приметил вдалеке мерцания гнилого дерева, отчего напал на меня новый страх; того ради я опрометью бросился назад и шел столь долго, покуда вновь не завидел мерцающие гнилушки, и так же обратился от них в бегство и подобным образом провел ночь, кидаясь туда и сюда от одного гнилого дерева до другого. Наконец любезное утро поспешило ко мне на помощь, повелев деревьям не смущать меня в

его присутствии; однако ж от этого весьма мало было мне пользы, ибо сердце мое трепетало в великой тоске и робости, ноги подкашивались от ослабления, пустой желудок был набит голодом, рот полон жаждой, мозг дурацкими воображениями, а в глазах стоял сон.

Невзирая на то, я шел все вперед, однако ж не ведая куда. Чем глубже я заходил в лес, тем более удалялся от людей: тогда претерпел и почувствовал я (неприметно для себя) действия неразумия и неведения; и безрассудный зверь на моем месте скорее нашел бы, как ему надлежит поступить для сохранения жизни. Однако же я был столь смышлен, что когда ночь опять застигла меня, то залез в дупло, прилежно схоронил любезную мою волынку и так приуготовил себя ко сну.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

Симплиций в лесу отшельника слышит,
Повергся в ужас, сам еле дышит.

Едва приуготовил я себя ко сну, достиг моего слуха глас: «О, неизреченная любовь к неблагодарным людям! О, единственная моя отрада, упование мое, сокровище мое и бог мой!», а также иные подобные слова, чего не мог я ни запомнить, ни уразуметь. Такие речи по справедливости должны были доброго христианина, который бы оказался в тех обстоятельствах, в коих я находился, ободрить, развеселить и утешить. Однако ж, о, простота и невежество! То был для меня дремучий лес и невразумительный язык, какого я не токмо не мог постичь, но и от такой его странности пришел в трепет. А когда услыхал я, что говоривший сие утолит голод и жажду, надоумил меня нестерпимый голод и едва не ссохшийся от недостатка пищи желудок пригласить самого себя к столу; того ради собрался я с духом и отважился вылезти из дупла и приблизиться к тому гласу. Тут приметил я человека рослого, у коего предлинные черные волосы, подернутые сединой, спадали ниже плеч в великом беспорядке; борода у него всклокочена и кругла, почти как швейцарский сыр. Лик изжелта-бледен и худ, однако ж довольно приятен; долгий его кафтан покрыт превеликим множеством различных заплат, насаженных одна на другую, а шея и стан обвиты тяжелой железной цепью, ровно как у святого Вильгельма, впрочем, вид его в моих глазах был столь гнусен и устрашителен, что я задрожал, как мокрый пес. Но что умножило мой страх, так это распятие, примерно в шесть футов длины, которое прижимал он ко груди, и так как в уме своем не

имел я о нем никакого понятия, то не мог иного возомнить, кроме того, что седой этот старик, нет сомнения, волк, о ком мне незадолго перед тем сказывал батька. В таком страхе выскокнул я из дупла с моей волынкой, кою, единственное мое любезное и многоценное сокровище, я спас от всадников; я задудел, подал голос и дал о себе знать весьма зычно, дабы ужасного сего волка прогнать; столь внезапной и необычной музыкой в таком диком месте пустынник поначалу немало был изумлен, нет сомнения, полагая, что явилось ему бесовское наваждение тревожить его и смущать в благочестивых помыслах, как то случалось с Антонием Великим. Но едва пришел он в себя, тотчас же стал глумиться надо мной, как над своим искусителем, скрывшимся в дупле, куда я снова забрался; да и столь ободрился, что наступал на меня, насмехаясь над врагом рода человеческого. «Эй, эй,— говорил он,— да ты, добрый товарищ, под стать святым без божьего произволения», и много иного, чего я не мог уразуметь, ибо приближение его произвело во мне такой испуг и ужас, что я лишился всех чувств и поник без памяти.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций находит себе кров и пищу,
С отшельником вместе живет, словно нищий.

Чьей помощью пришел я в себя, не знаю, но то верно, что, очнувшись, находился я уже не в дупле и голова моя лежала у старика на коленях, а ворот куртки был отстегнут. Когда я отудобел, то, видя пустынника в такой к себе близости, поднял немилосердный вопль, словно он в ту самую минуту собирался вырвать у меня из груди сердце. Он же, напротив, говорил: «Сын мой, молчи, я не причиню тебе зла, успокойся»,— и многое другое. Но чем более утешал он меня и ласкал, тем отчаяннее я вопил: «О, ты сожрешь меня! Ты сожрешь меня! Ты волк и хочешь меня сожрать!» — «Вестимо же нет,— сказал он,— успокойся, я не съем тебя». Подобное барахтанье и ужасающий вой продолжались еще долго, покуда я не дозволил отвести себя в хижину, где сама бедность была гофмейстером, голод поваром, а недостаток во всем кухмистером. Там желудок мой усладился овощами и глотком воды, а помрачненный дух мой под утешительной лаской старца прояснился и воспрянул, того ради уступил я сладкому побуждению ко сну, отдавая долг натуре. Отшельник, приметя мою нужду, уступил мне свое место в хижине, ибо улечься там мог всего один человек. Около полуночи пробудился я и услышал следующую песнь, какой несколько времени спустя и сам научился:

Приди, друг ночи, соловей,
Утешь нас песнею своей!
Пой, милый, веселее!
Воспой творца на небесах,
Уснули птицы на древах,
Один ты всех бодрее!
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Хоть солнца луч погас давно,
Но нам и ночью петь вольно,
И тьма нам не помеха!
Восславить бога средь щедрот
И им ниспосланных доброт —
Отрада и утеха.
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Пой нежно, как поют в раю,
Подхватит эхо песнь твою —
В ней неземная сладость.
Кто бренной жизнью утомлен,
Воспрянет, песнею взбодрен,
И впидет в сердце радость!
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Безмолвны звезды в небесах,
Но ведом звездам божий страх —
Во славу бога светят!
В лесу сова в полночный час,
Хвалы заслышав сладкий глас,
Хоть воем, да ответит.
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Так пой, любезный соловей!
Баюкай песнею своей!
Заснем мы сном блаженным!
А поутру зари восход
Отраду сердцу принесет
В лесу преображенном!
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!

Среди такого продолжающегося пения поистине мнилось мне, как если бы соловей, также сова и далекое эхо соединились с ним в лад, и, когда бы мне довелось услышать утреннюю звезду или

умел бы я передать ту мелодию на моей волынке, я ускользнул бы из хижины, дабы подкинуть и свою карту в игру, ибо гармония та казалась мне столь сладостной, но я заснул и пробудился не ранее того, как настал полный день и отшельник, стоя возле меня, говорил: «Вставай, малец, я дам тебе поесть и укажу путь из лесу, чтобы ты вышел к людям и до ночи пришел в ближнюю деревню».— «А что за штука такая люди и деревня?» Он сказал: «Неужто ты никогда не бывал в деревне и даже не ведаешь о том, что такое люди или, иным словом, человеки?» — «Нет,— сказал я,— нигде, как здесь, не был я, но ответь мне, однако, что такое люди, человеки и деревня?» — «Боже милостивый! — вскричал отшельник,— ты в уме или вздурился?» — «Нет,— сказал я,— моей матки и моего батьки мальчонка, вот кто я, и никакой я не Вуме, и никакой я не Вздурился». Отшельник изумился тому, со вздохом осенил себя крестным знамением и сказал: «Добро! Любезное дитя, по воле божьей решил я наставить тебя лучшему разумению». Засим начались вопросы и ответы, как то откроется в следующей главе.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций в беседе с отшельником сразу
Выводит наружу дурацкий свой разум.

Отшельник. Как зовут тебя?

Симплициус. Меня зовут мальчонка.

Отш. Я и впрямь вижу, что ты не девочка, а как звали тебя родители?

Симпл. А у меня не было родителей!

Отш. А кто же тогда дал тебе эту рубашку?

Симпл. А моя матка!

Отш. А как звала тебя твоя матка?

Симпл. Она звала меня мальчонка, а еще плут, осел долгоухий, болван неотесанный, олух нескладный и висельник.

Отш. А кто был муж твоей матери?

Симпл. Никто.

Отш. А с кем спала по ночам твоя матка?

Симпл. С батькой.

Отш. А как звал тебя батька?

Симпл. Он тоже звал меня мальчонка.

Отш. А как звали твоего батьку?

Симпл. Батькой.

Отш. А как кликала его матка?

Симпл. Батькой, а еще хозяином.

Отш. А иначе как она его не прозывала?

Симпл. Да, прозывала.

Отш. Как это?

Симпл. Пентюх, грубиян, нажравшаяся свинья, старый дристун и еще по-иному, когда бушевала.

Отш. Ты совсем невинный простак, когда не знаешь ни имени родителей, ни своего.

Симпл. Да ты ведь тоже не знаешь.

Отш. А ты умеешь молиться?

Симпл. Нет, я давно перестал мочиться в постель.

Отш. Я не о том тебя спрашиваю, а знаешь ты «Отче наш»?

Симпл. Я-то! Знаю!

Отш. Ну, так скажи!

Симпл. Отче наш любезный, иже еси небеси, святится имя, царство твое прииде, воля твоя будет небеси, яко земли, отпусти нам долги, како мы отпущаем должникам, не вводи нас во зло, но избави нас от царства, силы и славы. Во веки аминь!

Отш. А ты ходил когда в церковь молиться всевышнему?

Симпл. Да, я люблю все вишни — лазаю по деревьям и набирал их полную пазуху.

Отш. Я не о вишнях говорю, а о церкви!

Симпл. Ага! Черпкие! Да, ведь это дикие сливы, ладно?

Отш. Ах, все в твоей воле, господи. Ужели ты ничего не знаешь о вышнем боге?

Симпл. Да, он стоял у нас в доме наверху над дверями. Матка принесла его с ярманки и прилепила туда.

Отш. Преблагий боже! Днесь вижу я, сколь неизреченна милость и благодать, кому дано познать тебя, и о, сколь ничтожен тот человек, кому не дано этого от тебя. Подай мне, господи, тако чтить твое святое имя, дабы я достоин стал возблагодарить тебя за дарованную мне великую милость, с толикою ревностью, сколь велика была щедрость твоя ниспослать мне ее. Слушай, Симплициус, ибо иначе я не могу тебя назвать, когда ты читаешь «Отче наш», то должен говорить так: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Симпл. Ладно, а еще сыра?

Отш. Ах, любезное дитя, молчи и научайся, сие надобно тебе первее сыра. Ты в самом деле нескладный, как говорила твоя матка. Таким мальчикам, каков есть ты, не приличествует вовсе пе-

ребивать старших, а, напротив того, молчать, слушать и поучаться. Когда бы я точно знал, где живут твои родители, я с охотою отвел бы тебя к ним, дабы так же наставить их, как надлежит воспитывать детей.

Симпл. Я не знаю, куда мне деваться: дом наш сгорел, и матка убежала, и вернулась вместе с Урселе, и батька мой с ними, и девка заболела, и лежала в хлеву, где сказала мне бежать прочь — да во всю прыть.

Отш. А кто же сжег дом?

Симпл. Га! Пришли такие дюжие, железные, сидели на таких штуках, больших, как быки, да без рогов. Эти железные покололи овец, и коров, и свиней, разорили окна и печи. Я тогда и сбежал, а после сгорел дом.

Отш. А где тогда был твой батька?

Симпл. Га! Те железные его привязали, а наша старая коза лизала ему ступни, батька тогда засмеялся и дал тем железным много белых грошей, больших и малых, и другие красивые, желтые, и опричь того такие хорошие блестящие штуки, а еще красивые снизки и на них белые зернышки.

Отш. Когда это случилось?

Симпл. А как мне дали стеречь овец; они еще хотели отнять у меня волынку.

Отш. А когда тебе дали стеречь овец?

Симпл. Али ты не слыхал? А когда те железные пришли, а потом наша лохматая Анна сказала, чтобы я бежал оттуда, а не то волки заберут меня с собой, она так думала о тех, железных, а я и удрал тогда и зашел сюда.

Отш. А теперь ты куда пойдешь?

Симпл. О том, правда, не знаю. Хочу остаться у тебя.

Отш. Удержать тебя здесь нет надобности ни тебе, ни мне. Ешь, потом я отведу тебя к людям.

Симпл. А ты скажи сперва, что за штука такая люди?

Отш. Люди суть человеки, как ты и я; твой батька, твоя матка и ваша Анна суть человеки, и коли их много вкупе, то зовут их тогда люди.

Симпл. Ага!

Отш. Теперь иди и ешь.

Таково было наше собеседование, во время коего отшельник нередко взирал на меня с глубочайшими вздохами,— не знаю, происходило ли сие оттого, что он преисполнен был великим состраданием к моей чрезвычайной простоте и глупому неведению, или по причине, о какой я узнал лишь по прошествии нескольких лет.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций становится христианином,
А жил он доселе скотина скотиной.

Тут начал я есть и перестал лопотать, что продолжалось не долее, пока я не утолил голод, и старец не сказал мне, что надо уходить. Тогда я стал выискивать нежнейшие слова, какие только могла подсказать мне мужицкая моя грубость, дабы склонить отшельника, чтобы он оставил меня у себя. И хотя мое досадительное присутствие было ему в тягость, однако ж он определил терпеть меня при себе более для того, чтобы наставить меня в христианской вере, нежели затем, чтобы я услужил ему в старости. Великая была ему забота, что в столь нежном возрасте, каков был мой, долгое время никак невозможно снести суровую и весьма трудную жизнь.

Некоторое время, примерно три недели, длилось мое испытание, как раз в ту пору, когда святая Гертруда хозяйничала на полях, так что и я в том ремесле употреблен был. Я вел себя столь исправно, что весьма угодил отшельнику, хотя и не самой работой,— к чему я и до того был приучен,— а тем, что он видел, как я с тою же ревностью внемлю его наставлениям, с какой являю чистую табулу и мягкий воск моего сердца, готового к восприятию оных. По этой причине стал он с еще большим усердием наставлять меня добру. Поначалу преподал он мне отпадение Люцифера, затем перешел в рай, и, когда мы вместе с нашими прародителями были оттуда исторгнуты, он, пройдя через закон Моисеев, научил меня посредством десяти заповедей господних с их толкованием (о чем он сказал: «Поистине есть то путеводная нить к постижению воли божьей», и что оной надо руководствоваться, дабы вести жизнь, угодную богу) различать добродетели от пороков, творить добро и отвращаться от зла. Наконец, приступил он к Евангелию и поведал мне о рождении, страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа и заключил Страшным судом, представив моим очам рай и ад, все с приличествующими обстоятельствами и подробностями, однако ж не чрезмерными; но, как ему сдавалось, я наилучшим образом смогу все понять и уразуметь. Справившись с одной материей, он переходил на другую и умел, порою с великим терпением, столь искусно направлять мои вопросы и так со мной поступать, что лучшим образом и нельзя было все сие в меня втемяшить. Жизнь и речи его были для меня беспрестанной проповедью, которая ум мой, кой был не столь уж тяжел и неповоротлив, по божьей милости не оставила без взращенного плода, понеже все, что должно знать христианину, я не

только уразумел в помянутые три недели, но и воспылал такою любовию к моему наставнику и его наставлениям, что не мог оттого спать по ночам.

С того времени неоднократно размышлял я о том и нашел, что Aristot., lib. 3. de anima изрядно заключает, уподобляя душу человеческую доске, на коей можно начертать разного рода письмена, и что сие преблагим творцом для того учинено, дабы оная доска через прилежное надавливание и упражнение была покрыта рисунками и доведена до полного перфекта и совершенства. Отсюда и Commentator Averroes lib. 2. de anima (когда философ говорит, что способность ума, сиречь интеллектус, не что иное есть, как potentia [1], коя ничем in actum [2] произведена быть не может, кроме как чрез scientia [3], а сие значит, что человеческий разум объять все предметы способен, однако же не может достичь того без прилежного в том упражнения) то непреложное заключение выводит, что оная scientia, или упражнение, и есть совершенствование, или perfectio [4], души, которая сама собой ничего того в себе не имеет. Сие подтверждает Cicero, lib. 2. Tuscul. quaest., уподобляя душу человека без учения, науки и упражнения такому полю, которое, хотя от натуры и плодородно, однако когда не обработано и не засеяно, то и не приносит плодов.

Все сие подтверждаю я собственным своим примером, ибо то, что я скоро мог воспринять все преподанное мне благочестивым отшельником, произошло оттого, что ему довелось найти ровную табулу моей души совершенно чистой, без единого оттиснутого на ней изображения, а иначе произвести подобное нельзя было без помехи. Однако ж как моя совершенная противу других людей простота все еще во мне оставалась, то (понеже ни ему, ни мне настоящее мое имя было неведомо) прозвал он меня Симплициусом.

Также от него научился я творить молитву; и, когда он мое упрямое намерение не расставаться с ним решил удовольствовать, построили мы из земли, ветвей и сучьев для меня хижину, наподобие той, что была у него самого, сложенную почти как в поле палатки у мушкетеров или, лучше сказать, в некоторых местах шалаши на огородах у крестьян, правда, столь низкую, что я едва мог в ней сидеть, не согнувшись. Постель моя состояла из сухой листвы и сена и занимала как раз всю хижину, так что я не знаю, назвать ли мне подобное жилище или нору крытым ложем или же хижиною.

---

[1] сила *(лат.)*.
[2] в действие *(лат.)*.
[3] науку *(лат.)*.
[4] образование, совершенствование *(лат.)*.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций писать и читать обучен,
В мыслях с пустыней вовек неразлучен.

Когда впервые увидел я отшельника за чтением Библии, то никак не мог вообразить себе, с кем же он ведет такую тайную и, по моему рассуждению, весьма важную беседу. Я неотменно видел движения его губ, а также слышал бормотание, тогда как супротив него я никого, кто бы мог говорить с ним, не усмотрел и не почуял, и хотя ничего не знал я о чтении и письме, однако ж по его глазам приметил, что он какое-то с оной книгой имел дело. Я заприметил сие и после того, как отшельник отложил книгу, подобрался к ней, и, когда раскрыл как раз на первой главе Книги Иова, тотчас же представилась моим очам стоящая там фигура, искусно резанная по дереву и притом весьма красиво раскрашенная. По моему простому разумению, я стал вопрошать сии диковинные картинки о совсем нескладных вещах. Но понеже на то не последовало от них ответа, то впал в нетерпение и в то самое время, когда отшельник неслышно стал за моей спиной, говорил с ними так: «Эй вы, малые нерадеи, али у вас языки поотсохли? Разве вы не довольно болтали с моим отцом (ибо так тогда должен был я звать отшельника)? Я-то вижу, что вы угнали у бедного батьки овец и подожгли дом. Ну погодите! Я затушу тот огонь и вас обуздаю, чтобы не было больше от вас вреда». С тем поднялся я, дабы пойти за водой, ибо мнилось мне, что в том была нужда. «Куда, Симплициус?» — спросил внезапно отшельник, ибо я не знал, что он стоит позади меня. «Отец,— сказал я,— да ведь это воины, у них овцы, и они вознамерились угнать их прочь, они забрали беднягу, с которым ты давеча говорил. Вот горит полымем его дом, и когда я его скоро не затушу, то сгорит вовсе». С такими словами указал я ему перстом на то, что видел. «Постой,— сказал отшельник,— в том еще нет беды». Я отвечал с присущей мне учтивостью: «Аль ты ослеп? Погляди-ко, чтоб они не угнали овец, а я воды притащу».— «Полно,— сказал отшельник,— изображения сии не живут живой жизнью, а только затем сделаны, чтобы давным-давно приключившиеся события представить очам нашим». Я отвечал: «А ведь ты давеча говорил с ними, отчего же они тогда не живут?»

Отшельник принужден был противу своей воли и обычая на такую ребяческую мою глупость и глупое ребячество рассмеяться и сказал: «Любезное дитя! Изображения сии говорить не умеют. А что до их существа и деяний, то узнаю я о том по черным этим знакам, что называется чтением, и когда я таким образом читаю,

то мнится тебе, что я говорю с изображениями, однако ж того нет». Я отвечал: «Когда я такой же человек, что и ты, то должно и мне уметь видеть по тем черным строкам, что ты умеешь. Как мне в тот твой разговор вступить? Любезный отец! Наставь меня по справедливости, как мне разуметь сие?» На что отвечал он: «Добро, сын мой! Я научу тебя с оными изображениями беседовать столь же внятно, как и я сам, и ты будешь разуметь, что они означают. Однако ж на то надобно время, к коему от меня терпение, а от тебя прилежание приложатся». После того начертал он на березовой коре для меня азбуку, подобную печатной, и когда я узнал буквы, то стал учиться их складывать, то есть читать, и под конец писать лучше, чем то умел сам отшельник, ибо я все выводил по-печатному.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиция повесть о жизни в пустыне,
Что им служило столом и периной.

Около двух лет, покуда не умер отшельник, и немного долее полугода после его смерти пробыл я в том лесу; того ради полагаю уместным поведать пытливому читателю, который частенько и о малейших вещах непременно все знать желает, наши труды, наше житье-бытье и провождение времени.

Пищей служили нам различные огородные растения, репа, капуста, бобы, горох, чечевица, просо и тому подобное; также не пренебрегали мы буковыми орехами, дикими яблоками, грушами, вишней, да и желуди нередко утоляли наш голод. Хлеб, или, вернее сказать, лепешки, пекли мы из толченой кукурузы в горячей золе. Зимою ловили птиц в силки и тенета; весною и летом посылал нам бог птенчиков прямо из гнезда. Нередко довольствовались мы улитками и лягушками; также были охочи ловить удочками и вершами рыбу, ибо неподалеку от нашего жилища протекал ручей, где в изобилии водились рыба и раки, все сие должно было конвоировать грубые овощи в нашу утробу. Однажды мы поймали молодого кабана, коего посадили в загон, взрастили на буковых орехах и желудях, откормили и напоследок съели, ибо отшельник знал, что не может быть греха, когда вкушают то, что господь бог сотворил на потребу человеческого рода и предназначил к такому концу. Соли потребляли мы мало, а пряностей и вовсе никаких, дабы не пробуждать в себе охоты к питью, так как у нас не было винного погреба. Необходимую нам соль давал священник, живший примерно в трех милях от нас, о котором мне еще много придется говорить.

А что до утвари, то было ее у нас довольно; ибо имели мы лопату, кирку, топор, топорик и еще железный котелок для варева, коп все, правда, не принадлежали нам, а были взяты у сказанного священника. У каждого было по стершемуся тупому ножу; они-то и составляли все наше имение, а опричь того ничего у нас не было. Нам были не надобны миски, тарелки, ложки, вилки, горшки, сковороды, решетки для жаркого, роженьки, солоницы или иная какая столовая и кухонная посуда, ибо наш котелок служил нам миской, а руки заменяли вилки и ложки. Когда же мы испытывали жажду, то утоляли ее из родничка с помощью тростинки или припадая к воде, как воины Гедеона. А что до всякой там одежды, шерсти, шелку, хлопчатой бумаги и полотна, потребного для постели, скатертей и обоев, то у нас не было ничего, кроме того, что носили на себе, ибо полагали, у нас всего вдоволь, коли можем укрыться от дождя и холода. Впрочем, мы не наблюдали в домоводстве нашем особых правил или порядка, кроме как в дни воскресные и праздничные, когда собирались в путь с полуночи, дабы поранее и ни от кого не замеченными прийти к помянутому священнику в церковь, что стояла в сторопе от деревни, и ждать начала богослуже́ния. Там забирались мы на разбитый орган, с какого места отлично могли видеть как алтарь, так и кафедру. Когда впервые увидел я священника, всходящего на кафедру, то спросил отшельника: «Чего ради он залез в этот большой ушат?» После отпускной молитвы мы так же тайком, как и приходили, возвращались домой и, после того, как усталые телом и едва волоча ноги достигали нашего жилища, принимали скудную пищу с великою жадностью; остальное время отшельник проводил в молитве и наставлял меня божественным предметам.

В будни делали мы то, в чем сильнейшая была нужда, как случалось и требовалось по времени года и нашим обстоятельствам. То работали мы в саду, то собирали тучную землю по тенистым местам и в дуплах деревьев, дабы заместо навоза удобрить ею наш сад. А то плели корзины или верши, или запасали дрова, ловили рыбу, или заняты были иным каким делом, чтоб не предаваться праздности. И посреди всех таких трудов не оставлял отшельник изрядно поучать меня всему доброму. Меж тем в той суровой жизни научился я переносить голод, жажду, зной, холод и великие труды и всяческие тяготы, а прежде всего был приведен к познанию бога, как ему истинно служить надлежит, что было самым важным. Правда, любезный мой отшельник не восхотел допустить меня к большему знанию, ибо полагал, что христианину для достижения его назначения и цели довольно и того, когда он молится и работает прилежно; того ради проистекло, что хотя я в

духовных материях был парочито сведущ, изрядно понимал Христову веру и немецкую речь вел столь приятно, как если бы сама Орфография ее выговаривала, однако же оставался прост, как дрозд, и, покидая лес, являл собою несчастнейшего в свете простофилю, такого, что несмышленого щепка не сумел бы провесть.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплициус смерть зрит, какою бывает,
Отшельника тело в земле погребает.

Около двух лет провел я таким образом и едва приучил себя к суровому пустынническому житию, как лучший в свете друг мой, взяв заступ, а мне вручив лопату, повел меня за руку в сад, где мы по каждодневному нашему обыкновению творили молитву. «Ну, вот, Симплициус, любезное дитя! — сказал он.— Понеже, слава богу, пришло время оставить мне сей мир, воздать долг натуре и покинуть тебя в сем мире, а наипаче как предвижу я грядущие события твоей жизни и хорошо знаю, что ты недолго пробудешь в пустыне, то хочу укрепить тебя на стезе добродетели и преподать тебе в назидание единственное наставление, руководствуясь коим как надежным правилом к достижению вечного блаженства должен ты расположить свою жизнь, дабы вкупе со всем сонмом избранных удостоиться в жизни вечной созерцать лице божие».

Сии слова затопили глаза мои, как перед тем вражья выдумка город Филлинген, и были мне столь непереносны, что я их не мог стерпеть, однако ж сказал: «Любезный отче, ужели восхотел ты покинуть меня одного в дремучем лесу, тогда должен ты...» Сверх того не смог я ничего вымолвить, ибо сердечные муки от неизреченной любви, какую я питал к верному моему отцу, так стеснили мне грудь, что я, словно мертвый, поник к его стопам. Он же, напротив, подняв меня, утешал, как только дозволяло время и обстоятельства, и вместе с тем укорял меня, спрашивая, уж не вознамерился ли я противиться предначертанию вышнего. «Неужто ты не знаешь,— продолжал он,— что ни небу, ни аду сие не по силам? Так вот, сын мой! Почто же хочешь ты обременять еще мое слабое тело (которое само жаждет покоя)? Вознамерился ли ты принудить меня жить долее в сей юдоли скорби? Ах нет, сын мой, дозволь мне умереть, понеже и без того ни стенаниями, ни еще менее по собственной охоте не склонить меня остаться долее в сей юдоли, когда я призван отсюда по непреложной воле господа и днесь с превеликою радостию приуготовляю я себя к тому, чтобы последовать сему повелению господню. Вместо бесполезных воплей сле-

дуй моему последнему наставлению, по коему должен ты час от часу все совершеннее познавать самого себя; и хотя бы достиг ты мафусаиловых лет, не отвращай сердца своего от сего упражнения. Ибо наибольшая часть людей подпадает осуждению вечному по той причине, что не ведали они, кем были и кем могли или должны были сделаться». Засим преподал он мне неложный совет во всякое время остерегаться худого товарищества, ибо пагуба от него поистине неизреченная. И он привел тому пример и сказал: «Когда ты единую токмо каплю мальвазии пустишь в сосуд с уксусом, то она тотчас претворится в уксус; но когда, взяв столько же уксуса, вольешь в мальвазию, то и он также растворится в ней. Любезный сын,— продолжал он,— паче же всего будь тверд духом; не допускай отвращать тебя от тяжкого креста, который ты возложил на себя в предпринятом тобою похвальном деле; ибо претерпевший до конца спасется. А ежели случится против всякого моего чаяния, что и ты подпадешь человеческой слабости, то не ожесточайся во зле, а тотчас же воспрянь духом в честном покаянии!»

Сей попечительный благочестивый муж преподал мне только сие немногое не оттого, что не знал большего, а потому что полагал, что я по причине моей младости не способен буду уразуметь многое, а, кроме того, немногие слова лучше сохраняются в памяти, нежели обильные пустые речи, особливо же когда в тех словах заключена сила и важность, отчего по размышлению проистекает от них большая польза, чем от долгой проповеди, которую, едва уразумев, спешат забыть.

Сии три правила: познавать самого себя, убегать худого товарищества и пребывать твердым — почитал сей благочестивый муж добрыми и необходимыми, нет сомнения, потому что и сам упражнялся в них, в чем ему не было неудачи, ибо когда он познал самого себя, то устранился не только от худого товарищества, но и от всего света, в каковом намерении оставался тверд до конца, от коего, нет сомнения, начиналось вечное блаженство; а коим образом, читай о том дальше. Преподав мне вышереченные правила, принялся он собственною своею мотыгою копать собственную свою могилу, в чем я, по его повелению, помогал ему так хорошо, как умел, однако не мог уразуметь, куда сие клонится. Тем временем сказал он мне: «Любезный мой и поистине единственный сын (ибо я не взрастил во славу творца ни единой живой твари, кроме тебя), когда отыдет душа моя во горнии, воздай телу моему последний долг и последнюю честь; закидай меня той же землею, что выкопали мы сегодня из этой ямы». Засим заключил он меня в объятья и, целуя, прижал к груди крепче, чем, судя по виду, было ему по силам. «Любезное дитя,— сказал он,— я предаю тебя под покров вышнего и умру с тем большею радостию, ибо надеюсь, что он при-

мет тебя под свою защиту». Я же, напротив, мог только вопить и сетовать; я повис на его вервгах, которые он носил на себе, и хотел удержать его таким образом, чтобы он не покидал меня. Он же молвил: «Сын мой! Оставь меня, мне надо посмотреть, довольно ли велика для меня могила»,— сложил затем с себя вериги и платье и лег в могилу, подобно тому когда кто приготовляет себя ко сну, сказав: «О всеблагий боже! Прими мою душу, кою ты даровал мне. Господи! В руци твоя предаю дух мой!» Засим сомкнул он неслышно уста и смежил очи: я же стоял нем как рыба и не разумел, что его любезная душа навсегда оставила тело, ибо в подобных восхищениях нередко видывал его и прежде.

Я провел, каков был в подобных обстоятельствах мой обычай, несколько часов у могилы в молитве. А когда любезный мой отшельник не восхотел из нее подняться, то спустился к нему в могилу и начал его трясти, целовать и миловать, однако ж в нем не осталось больше жизни, ибо лютая неумолимая смерть похитила у злополучного Симплиция его блаженного сотоварища. Я орошал или, лучше сказать, бальзамировал бездыханное тело моими слезами и долго метался туда и сюда с горестными воплями и рвал на себе волосы, пока наконец не приступил к погребению, причем испускал больше тяжких вздохов, нежели кидал полных лопат; и едва покрыл лицо отшельника, снова сошел в могилу и разгреб землю, чтобы еще раз узреть и облобызать его. Так провел я весь день, покуда не управился со всем и не окончил сих funeralia, exequias и luctus gladiatorios [1], понеже и без того не было тут ни одра, ни гроба, ни савана, ни свечей, ни носильщиков, ни провожающих, ни даже клириков, которые бы отпели мертвого.

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций хочет пустыню покинуть,
Где ему привелось едва не погинуть.

Спустя несколько дней, как преставился дорогой мой и любезный отшельник, пошел я к помянутому священнику и поведал ему о смерти моего господина, а также просил у него совета, как мне надлежит теперь поступить. И невзирая на то что он накрепко отсоветовал мне оставаться долее в лесу, указав на очевидную опасность, коей я подвергал себя, однако же я смело пошел по стопам моего предшественника, понеже целое лето соблюдал все то,

[1] погребальных обрядов, заупокойных молений... поминальных игр гладиаторов *(лат.)*.

что набожному монаху соблюдать должно. Но подобно тому как все меняется со временем, так и скорбь моя об отшельнике, которую я носил в себе, мало-помалу утихла, и жестокая внешняя стужа потушила вдруг внутренний жар твердых моих намерений. Чем более клонился я к непостоянству, тем небрежнее творил молитву, ибо, вместо того чтобы созерцать божественные и духовные предметы, я попустил одолеть меня желанию узреть мир, и как таким образом не было больше никакой пользы от дальнейшего моего пребывания в лесу, то решил я снова пойти к помянутому священнику, дабы услышать, не подаст ли он мне, как было перед тем, совета оставить лес. Для того направился я к нему в деревню, и когда я пришел туда, то увидел, что она охвачена пламенем, ибо в самое то время ватага всадников разграбила ее и подожгла; крестьян же частью порубили, многих прогнали, а некоторых забрали в плен, а среди них и самого священника. О, боже правый! Сколь жизнь человеческая полна скорбей и напастей! Едва минет одно несчастье, подоспеет другое. Я нимало не дивлюсь, что языческий философ Тимон Афинский воздвиг множество виселиц, где люди должны были сами надевать себе петли, чтобы через короткое мучение положить конец бедственной своей жизни. Всадники как раз уезжали и уводили священника на веревке, как бедного грешника. Многие кричали: «Пристрелим плута!» Другие же хотели получить от него деньги. Он же простирал руки и молил о пощаде и христианском милосердии, заклиная Страшным судом; однако напрасно, ибо один из них, наскочив, поверг его наземь и вписал ему такой параграфум в голову, что из нее тотчас пошел красный сок, и старик упал наземь и распростерся, вручая душу свою богу. Прочим полоненным крестьянам было нимало не лучше.

Когда же казалось, что всадники в своей тиранической свирепости вовсе лишились рассудка, поднялась из лесу такая туча ополчившихся крестьян, как если бы кто разорил осиное гнездо. Тут зачали они столь гнусно вопить, столь люто разить и палить, что все власы мои ощетинились, понеже па такой ярмарке я еще не бывал ни разу; ибо мужики из Шпессерта и Фогельсберга, подобно гессенцам, зауерландцам и шварцвальдцам, мало охочи допускать кого шевелить их навоз. Оттого-то всадники и дали тягу, не только оставив захваченную скотину, но и побросав все мешки и узлы, и пустили таким образом по ветру свою добычу, чтоб самим не стать добычею мужиков; однако часть их попала в лапы к мужикам, и с ними обошлись весьма худо.

Сия потеха едва не лишила меня охоты оставить пустыню и узреть мир, ибо я думал, когда в нем все так ведется, то пустыня куда приятнее! Однако ж восхотел я также услышать, что скажет о том священник. Он же был совсем слаб, немощен и бессилен от

припятых ран и ушибов; но все же сказал, что не может подать мне ни совета, ни помощи, ибо впал сам в такую нужду, что принужден будет нищенствовать, снискивая себе пропитание, и ежели я вознамерился и далее оставаться в лесу, то не могу уповать на его вспоможение, ибо вот перед глазами моими стоят церковь и дом его, объятые пламенем. С тем и отправился я, весьма опечаленный, в лес к моему жилью, и так как на сем пути весьма мало обрел утешения, однако ж тем сильнее укрепился в благочестии и решил в сердце своем никогда не покидать пустыню, а провождать жизнь, подобно моему отшельнику, в созерцании божественных предметов и уже помышлял о том, как бы прожить мне без соли (какую до того уделял мне священник) и совсем обойтись без людей.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций видит, как солдаты-черти
Пятерых мужиков запытали до смерти.

Дабы последовать сему решению и стать настоящим пустынножителем, облачился я в оставшуюся после отшельника власяницу и препоясал себя цепями; правда, не ради того, что испытывал в них нужду для умерщвления необузданной моей плоти, но затем, чтоб не только жизнью, но и обличием с ним сравняться, а также чтобы этой одеждой лучше защитить себя от жестокой зимней стужи.

На другой день, как была разграблена и сожжена помянутая деревня, в то самое время, когда сидел я в хижине, творил молитву и поджаривал себе на пропитание морковь, окружило меня сорок или пятьдесят мушкетеров; они, хотя и подивились диковинному обличью моей особы, однако ж пронеслись бурею по моей хижине и со всем тщанием переворошили все до дна в поисках того, чего там не было; ибо ничего-то у меня не водилось, кроме книг, кои все они пошвыряли, раз от них не было им проку. Наконец, когда они меня получше разглядели и по перьям моим приметили, что за никудышную птицу они словили, то легко могли рассудить, что от меня худая пожива. А посему дивились на мою суровую и весьма строгую жизнь и сожалели мою нежную младость, особливо же офицер, который ими командовал; он даже оказал мне честь и потребовал, вместе с тем как бы упрашивая, чтобы я указал ему и его людям дорогу из лесу, где они уже долго блуждали. Я нимало тому не противился и, чтобы поскорее отделаться от неласковых сих гостей, повел их ближайшей дорогою к деревне, где так худо поступили с помянутым священником,

понеже, впрочем, иной дороги я и не ведал. Когда вышли мы на опушку, то завидели с десяток крестьян, часть коих была вооружена пищалями, а остальные трудились, что-то закапывая. Мушкетеры напустились на них с криками: «Стой! Стой!» Те же ответствовали им из пищалей. И когда приметили, что солдаты берут верх, то разбежалися кто куда, так что усталые мушкетеры ни одного из них не смогли словить. Того ради захотели они откопать то, что зарыли крестьяне. И сие было тем легче произвести, ибо лопаты и заступы лежали тут же рядом, брошенные мужиками. Но едва мушкетеры взмахнули раза два лопатами, как заслышали снизу голос, вопивший: «Ах вы, окаянные плуты! Ах вы, преподлые злодеи! Ах вы, проклятущие бездельники! Али вы вздумали, что небо не покарает вас за безбожную вашу жестокость и бесчестные проделки? Э, нет! Немало еще на свете честных ребят, которые так воздадут вам за вашу бесчеловечность, что никто из ваших ближних не будет больше принужден облизывать вам задницы!» Тут стали солдаты переглядываться, ибо не знали, как им поступить. Иные возомнили, что услышали привидение, я же полагал, что грежу. Офицер же их храбро повелел копать дальше. Они тотчас же наткнулись на бочку, разбили ее и нашли в ней детину, у коего недоставало носа и ушей, но он все еще был жив. Как только он немного отудобел и признал некоторых мушкетеров из той ватаги, то поведал, что во вчерашний день, когда несколько солдат из его полка добывали фураж, мужики захватили в полон шестерых из них и не далее, как час тому назад, поставив их в затылок, пятерых застрелили, а так как он стоял шестым и последним, то пуля его не достигла, ибо раньше прошла пять туловищ, а посему они отрезали ему уши и нос, но до того принудили его (s. v.[1]) облизать пятерым задницы. А когда он узрел себя в таком поношении от тех, забывших бога и честь плутов, то, хотя они и были в намерении оставить ему жизнь, осыпал он их самыми наинепотребными словами, какие только мог измыслить, и честил их полным голосом в надежде, что хоть один из них в нетерпеливом гневе наградит его пулею. Но все напрасно; однако когда он их сильно ожесточил, то запихали они его в эту самую бочку и так похоронили заживо, приговаривая, что коли он столь усердно домогается смерти, то желают они, потехи ради, его в том не удовольствовать.

Меж тем, как сей детина жаловался на претерпетое им несчастье, другой отряд пеших солдат пересек лес; они повстречали помянутых мужиков и пятерых захватили в плен, остальных же застрелили. Среди захваченных было четверо, кои незадолго до

[1] S. v. (salva venia) — да простит читатель *(лат.)*.

того так постыдно обошлись с изувеченным рейтаром. Когда оба отряда по окликам признали, что тут свои, то сошлись вместе и вновь выслушали от самого рейтара, что приключилось с ним и его товарищами. Да, тут было на что подивиться, как пытают и терзают крестьян. Некоторые пожелали тотчас же прикончить их единым махом, а другие говорили: «Э, нет! Надобно сперва хорошенько помучить негодных сих пташек и отплатить им за все то, что они учинили этому рейтару». Меж тем расточали они мушкетами такие удары под ребра, что мужики захаркали кровью. Под конец выступил вперед солдат и сказал: «Господа, понеже все войско опозорено, что над этим бездельником (разумея тут рейтара) пять мужиков столь жестоко надругались, то будет справедливо, когда мы позорное сие пятно смоем и принудим этих плутов по сто раз облизать у рейтаров». Другой возразил: «Сей малый не стоит того, чтобы ему воздать такую честь; не был бы он такой продажной шкурой, то скорее бы согласился тысячу раз принять смерть, чем всем добрым солдатам в поношение свершить столь постыдное дело». Под конец единодушно порешили, что каждый из тех подчищенных мужиков сие самое произведет на десятерых солдатах, каждый раз приговаривая: «Тем самым смываю я и вытираю стыд, кой, по их мнению, приняли солдаты, когда продажная шкура подлизывала нам задницы». А после того как мужики исполнят чистую эту работу, хотели рассудить о том, как поступить с ними далее. Засим перешли они к делу; однако же мужики были столь строптивы, что нельзя их было к тому принудить ни посулом оставить им жизнь, ни различными пытками. Один из солдат отвел пятого мужика, который не был облизан, в сторону и сказал ему: «Ежели ты отречешься от бога и всех святых его, то я отпущу тебя, куда захочешь». На что мужик отвечал, что он всю свою жизнь не якшался со святыми, да и не водил особого знакомства с богом и поклялся в том soleniter [1], что знать не знает бога и не желает царствия небесного. На что солдат всадил ему в лоб пулю, отчего, однако ж, было столько же эффекту, как если бы ее попытались вогнать в стальную гору. Тут солдат выхватил палаш и сказал: «Ага, так вот ты какого разбору! Я обещал пустить тебя, куда захочешь; смотри, как я посылаю тебя в ад, когда ты не пожелал в рай»,— и с теми словами рассек ему голову до зубов. А когда тот упал, сказал солдат: «Вот как надобно отомщать за себя и карать негодных этих плутов и в сей жизни, и в будущей».

Тем временем прочие солдаты прибрали к рукам четверых оставшихся мужиков, тех, которые были облизаны; они привяза-

[1] торжественно *(лат.)*.

ли их за руки и за ноги к повалившемуся дереву так ловко, что (s. v.) задницы как раз торчали кверху, после чего содрали с них штаны и, взяв несколько клафтеров твердого фитиля, насадили на него пуговицы и зачали пилить им задницы столь яро, что из них пошел красный сок. «Так,— говорили они,— надобно вам, плутам, вычищенные задницы подсушить». Мужики, правда, вопили прежалостно, однако ж не было им милости, а солдатам одна потеха, ибо они не переставали пилить, пока кожа и мясо не сошли с костей. А меня они отпустили домой в мою хижину, ибо последний помянутый отряд хорошо знал дорогу. Так я и не знаю, что в конце концов сталось с теми крестьянами.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций уснул, не насытивши чрева,
Зрит в сонном виденье пречудное древо.

А когда я воротился домой, то увидел, что мое огниво и вся утварь вместе со всем запасом жалкой моей снеди, которую взрастил я на огороде за целое лето и припас на будущую зиму себе на пропитание, все разом исчезло. «Куда деваться?» — подумал я. Тут научила меня нужда богу молиться. Я собрал весь скудный свой разум, чтобы рассудить, что же мне теперь делать и как поступить. Но как опыт мой в сем весьма был худ и ничтожен, то и не мог я прийти к надлежащему заключению: и лучше всего было, что я предал себя воле божией и возложил на него все упование мое, а не то бы я, нет сомнения, отчаялся и погиб. Сверх того беспрестанно отягощали ум мой пораненный священник и те пятеро столь мерзко распиленных мужиков, коих я в тот день слышал и видел; и я не столько помышлял о съестных припасах и своем пропитании, как о той антипатии, что заложена меж солдат и крестьян; однако по своей дурости много заключить не мог и в то твердо уверовал, что коли они друг друга столь немилосердно преследуют, то беспременно существуют на свете два рода людей, а не один от Адама,— дикие и кроткие, как и среди прочих неразумных тварей.

Посреди таких мыслей заснул я в печали и холоде с пустым желудком. Тогда привиделось мне, подобно как во сне, будто все деревья, произраставшие вокруг моего жилища, внезапно изменились и возымели совсем иной вид. На каждой вершине сидело по кавалеру, а сучья заместо листьев убраны были молодцами всякого звания; некоторые из них держали долгие копья, другие мушкеты, пищали, протазаны, знамена, а также барабаны и трубы.

Зрелище сие было весьма увеселительно, ибо все в строгом порядке расположилось по рядам и ярусам. Корень же был из незначащих людишек, ремесленников, поденщиков, а большею частию крестьян, и подобных таких, кои тем не менее сообщали тому древу силу и давали ему ее вновь, коль скоро оно теряло ее; и они даже заменяли собою недостающие опавшие листья, себе самим еще на бóльшую пагубу! Также сетовали они на тех, кто стоял на ветвях, притом не облыжно, ибо вся тяжесть того древа покоилась на корнях и давила их такою мерою, что вытягивала из их кошельков все золото, будь оно хоть за семью печатями. А когда оно переставало источаться, то чистили их комиссары скребницами, что прозывают военною экзекуциею, да так, что исторгали у них из груди стоны, из глаз слезы, из-под ногтей кровь, а из костей мозг. Однако ж были среди них люди, коих прозывали пересмешниками; они печаловались о немногом, принимали все с легким сердцем и даже крест был им не в утешение, а служил для издевки.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплициус грезит о солдатской доле,
Где младший у старших всегда под неволей.

Итак, корни сего древа обречены были на одни токмо тяготы и сетования, те же, что поместились на нижних сучьях, осуждены с великим усердием сносить и претерпевать великие труды, лишения и невзгоды, однако были они завсегда весельше первых, а сверх того непокорливы, жестоки, по большей части безбожны и во всякий час составляли нестерпимое для корней бремя. К сему суть вирши:

Холод и зной, бедность и труд,
Голод терпят, от жажды мрут,
Грабят, насилуют, жгут —
Вот как ландскнехты живут!

Вирши сии тем менее вымышлены, понеже они с делами ландскнехтов весьма согласуются; ибо жрать и упиваться, глад терпеть и от жажды изнывать, таскаться и волочиться, кутить да мутить, в зернь и карты играть, других убивать и самим погибать, смерть приносить и смерть принимать, пытать и пытки претерпевать, гнать и стремглав удирать, стращать и от страху пропадать, разбойничать и от разбоя страдать, грабить и ограбленными бывать, боязнь вселять и в боязнь впадать, в нужду ввергать и нужду сносить, бить и побитыми уходить, и в совокупности одну только пагубу и вред чинить, и паки, и паки себя погублять и повреж-

дать, и таковы все их деяния и самая сущность: и ни зима — ни лето, ни снег — ни лед, ни зной — ни стужа, ни дождь — ни ветр, ни холм — ни лог, ни луг — ни топь, ни рвы, ни ущелья, ни моря, ни вода, ни огонь, ни крепостные валы и стены, ни отец, ни мать, ни брат и сестра, ни ущерб для их телесного здравия, душевного спасения или совести, ни утрата самой жизни, или же царствия небесного, или же иной какой вещи — как она там не зовись — не могут им в том воспрепятствовать. И движутся они в таких подвигах неусыпно вперед, покуда мало-помалу в битвах, осадах, штурмах, походах, а то и на постоях (кои, впрочем, для солдата рай земной, особливо же когда им доведется напасть на жирного мужика) попропадут, повымрут, посгинут, попередохнут, исключая тех немногих, кои в старости, ежели они только борзо не нахватают и не наворуют себе, становятся последними побродягами и попрошайками.

Чуть повыше этих бедняг сидели старые травленые жохи, кои многие годы провели в превеликой опасности на нижнем суку, выстояли и обрели счастье уйти на толикую высоту от смерти. По виду они были повальяжнее и поавантажнее, нежели нижние, ибо поднялись на градус выше. Над ними возвышались еще другие, которые и более возвышенные имели воображения, понеже начальствовали над нижними; их прозывали Обломайдубинами, ибо битьем, плевками и бранью начищали они копейщикам спины и головы, а мушкетерам заливали масло за шкуру, чтобы было чем смазывать мушкеты. Выше на стволе сего древа шло гладкое место или коленце без сучьев, обмазанное диковинными материями и странным мылом зависти, так что ни один молодец, будь он даже дворянин, ни мужеством, ни ловкостию, ни наукой не сумеет подняться по стволу, как бы он там — упаси бог! — ни карабкался, ибо отполирован тот ствол ровнее, нежели мраморная колонна или стальное зеркало. Над сим местом сидели те, что со знаменами; одни были юны, а другие в преклонных летах; юнцов вытянули наверх сватья да братья, а старики частию взобрались сами либо по серебряной лесенке, кою прозывают Подмазалия, либо на ином каком снаряде, сплетенном для них Фортуною из чужой неудачи. Получше расселись те, что были еще выше, у коих также были свои труды, заботы и напасти, однако ж они наслаждались той корыстью, что кошель у них наилучшим образом был нашпигован тем салом, какое они вырезали ножом, прозываемым ими Контрибуция, из корней оного древа; а всего статочнее и удобнее было для них, когда являлся комиссар и вытряхал над древом, дабы оно лучше благоденствовало, целую кадку золота, так что они там наверху подхватывали все лучшее и почитай что ничего не оставляли нижним. А посему-то нижние и мерли с голоду

чаще, нежели гибли от неприятеля, от каковой опасности высшие, казалось, были уволены. Того ради происходило на сем древе беспрестанное карабкание и копошение, понеже всяк желал красоваться на том верхнем благополучном месте. Однако были там и такие нерадивые и беспутные остолопы, которые не стоили и того расхожего хлеба, что на них уходил; они мало печалились о возвышении, а отправляли свою должность, где приведется. Нижние, коих обуревало честолюбие, вздыхали о падении верхних, дабы засесть на их место, и когда одному из десяти тысяч посчастливится столь высоко забраться, то происходит сие в столь досадительных летах, что ему впору завалиться на печку, а не залечь в поле, дабы отразить неприятеля; а ежели кто исправляет свое дело рачительно и доблестно оказывает себя во всякой опасности, тот облеплен завистью, а то, того и гляди, в дыму непредвиденного несчастного случая лишен чина и самой жизни. Нигде не было такого ожесточения, как на помянутом ровном месте, ибо тот, у кого был стоющий фельдфебель или сержант, неохотно с ним расставался, что, однако, было неминуемо, когда бы его произвели в прапорщики. Того ради заместо старых солдат куда охотнее производили в должности подчищал, камердинеров, подросших пажей, бедных дворянчиков, свойственников или просто подлипал и голодранцев, которые у тех, что заслужили по праву, рвут куски прямо из глотки и сами становятся прапорщиками.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций не может взять себе в толк,
Чего ради охотно дворян берут в полк.

Сие столь раздосадовало некоего фельдфебеля, что он зачал изрядно ругаться, на что дворянский прихвостень сказал: «Али тебе неведомо, что ныне и повсегда к военной должности определялись благородные особы, кои к сему наиболее способны? От седых бород на войне прок невелик, а то иначе бы на врага можно было послать стадо козлов. Сказано ведь:

Приставлен к стаду юный бык,
Хоть молод, да не шалый.
Пасет он лучше, чем старик,
Годами обветшалый.
И пастуху теперь легко,
Спокойно спит под елкой,
От молодого далеко
Не разбредутся телки.

Скажи-ка, старый хрыч, разве войско не больший имеет решпект к офицерам благородного рождения, нежели к тем, кои сами до того были простыми ландскнехтами? А что станется с воинской дисциплиной, когда не будет надлежащего решпекту? Ужели не смеет полководец оказать более доверия кавалеру, нежели какому-нибудь мужицкому сыну, который сбежал от плуга отца своего и даже собственным своим родителям добра не желает? Истинный дворянин скорее с честию умрет, чем чрез неверность, побег или иной какой подобный поступок запятнает свой род. Посему и приличествует знати иметь всегда преимущество, как то видно из leg. honor. dig. de honor. Иоанн Платеа говорит о том внятно, что при определении к должности надо преимущество давать знатным и по справедливости предпочесть благородных плебеям, да и сие обычно для всякого права и находит подтверждение в Святом писании, ибо глаголет Сирах в главе десятой: «Beata terra, cujus rex nobilis est» [1]. И сие превосходное свидетельство тому, что знати преимущество иметь подобает. И ежели один из вас добрый солдат, который понюхал пороху и во всякой перепалке отличную являет сноровку, то от этого он еще не способен командовать другими и поступать с надлежащею осмотрительностью, напротив того, дворянство в сей добродетели рождено или с юных лет к ней приобыкло. Сенека говорит: «Habet hoc proprium generosus animus, quod concitatur ad honesta, et neminem excelsi ingenii virum humilia delectant et sordida», что значит: «Геройский нрав сам по себе имеет то свойство, что ищет славы, точно так же дух возвышенный не благоволит к предметам ничтожным и непотребным».

Сие и Faustus Poëta изъясняет в таком двустишии:

Si te rusticitas vilem genuisset agrestis,
Nobilitas animi non foret ista tui [2].

Сверх того знать располагает средствами воспомоществовать своим подчиненным деньгами, а порядочный отряд пополнить людьми, не то что крестьянин. Так что и по известной пословице, не гоже сажать мужика впереди дворянина, и мужики бы весьма заспесивились, ежели бы их так прямо ставили господами, ведь говорится же:

Коль господином стал мужик,
Острей не наточить ножи.

Когда бы крестьяне, подобно знати, по издавна ведущемуся похвальному обычаю завладели военными и другими должностями, то, верно, не скоро бы допустили к ним дворянина; к тому же,

[1] «Блаженна страна, царь которой благороден» *(лат.)*.

[2] Если бы сельская простота родила тебя столь низменным,
То такое благородство не было бы свойственно твоей душе *(лат.)*.

хотя вам, солдатам Фортуны (как вас прозывают), частенько желают помочь в достижении высоких почестей, да к тому времени вы уже так подряхлеете, что когда испытают вас и лучших готовы наградить по заслугам, то берет сомнение, повышать ли вас чином; ибо юный жар охладел и помышляете вы, по крайности, о том, как бы понежить и потешить немощное ваше тело, изнуренное множеством перенесенных превратностей и уже мало пригодное для воинских тягот, а там уж — и пособи бог тому, кто сражается и добывает себе честь; напротив того, молодой пес куда резвее в охоте, нежели старый лев».

Фельдфебель отвечал: «Какой же дурак захочет тогда служить и подвергать себя очевидной смертельной опасности, ежели он не смеет надеяться через свою отвагу достичь повышения и тем за свою верную службу быть награжденну. Черт побери такую войну! Оным манером, так все равно, кто как ведет себя в схватке, кто врага хватает за горло, а кто труса празднует. Не раз слыхивал я от нашего старого полковника, что он не хотел бы держать в полку солдата, который не забил бы себе в голову, что через свою доблесть станет генералом. Весь свет должен признать, что те нации, которые облегчают произвождение простым, но истым солдатам и награждают их храбрость, обыкновенно одерживают славные виктории, что видно на примере турок и персов. К сему сказано:

Лампада светит нам; но пищу дать ей надо.
Иссякнет сок олив, и свет ее потух.
Где плата хороша, там и ландскнехт петух,
Полезет он в огонь, коль ждет его награда».

Дворянский прихвостень отвечал: «Когда приметят честного мужа надлежащих качеств, то уж, конечно, им не пренебрегут, ибо многих ныне находим, кои от плуга, портняжной иглы, сапожничьей колодки и пастушеского посоха взялись за мечи, отличились доблестию и через такую геройскую отвагу и достохвальное бесстрашие воспарили превыше простых дворян прямо в графское и баронское состояние. Кем был имперский полководец Иоганн де Верд? Кем шведский Штальганс? Кем маленький Якоб и Сант Андреас? Немало еще известно им подобных, коих я ради краткости не намерен всех перечислять. Ну, а то, что нынешним временам не в диковинку, останется и на будущее: что люди низкого звания, однако ж усердные на войне достигают высоких почестей, как то бывало и в древности. Тамерлан стал могущественным властелином, наводившим страх на вселенную, а до того пас свиней. Агафокл, тиран Сицилии,— сын горшечника; Телефас, возница, стал царем Лидии; отец императора Валентиниана был канатный мастер; Маврикий Каппадокиец — крепостной, а после Тиберия

стал императором; Иоанн Цимисхий сменил школьную указку на скипетр. Флавий Вописк свидетельствует, что император Боноз был сыном бедного учителя, Гиперболус, сын Гермидуса, сперва был фонарщиком, а потом князем в Афинах; Юстинус, правивший перед Юстинианом, до того, как стать императором, пас свиней; Гуго Капет, сын мясника, впоследствии король Франции; Писарро также свинопас, а потом маркграф Вест-Индии, бочками меривший золото».

Фельдфебель отвечал: «Все сие слышать мне весьма любо, однако ж вижу я, что все лазейки, через кои могли бы мы достичь того или другого высокого чина, закрыты от нас знатью. Дворян, едва они вылупились на свет, тотчас сажают на такие места, на которые мы и в мыслях посягать не смеем, хотя бы того больше заслужили, нежели иной дворянчик, коего ныне производят в полковники. И подобно тому как среди мужиков гибнет много благородной остроты ума, ибо по недостатку средств они не упражняются в науках, также дряхлеет под своим мушкетом иной добрый солдат, что по справедливости заслужил быть полковником и может оказать полководцу многие полезные услуги».

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций в лесу письмецо обретает,
Пустыню затем не к добру покидает.

Долее слушать старого сего осла я не захотел, а пожелал ему всего того, на что он сетовал, ибо он частенько лупил бедных солдат, словно собак. И я снова воззрел на деревья, коими вся местность была покрыта, и увидел, как они трепещут и сшибаются друг с другом; тогда сыпались с них градом молодцы, разом треск и падение, вдруг жив и мертв, за единый миг, кто без руки, кто без ноги, а иной без головы. И когда я сие узрел, то возомнилось мне, что совокупные те деревья были единым только древом, простершим сучья свои над всею Европою, а на вершине его восседал бог войны Марс. И, как я полагал, то древо могло своею тенью покрыть весь мир; но понеже зависть и злоба, подозрительность и недоброхотство, спесь, гордыня и скупость, а также иные схожие с ними добродетели обдували его, подобно суровым северным ветрам, то казалось оно весьма жиденьким и реденьким, а посему на стволе написаны были следующие вирши:

Могучий дуб от бури надломился
И, сучья потеряв, к погибели склонился.
Когда в усобице на брата брат пойдет,
Весь свет в сумятице вверх дном перевернет.

Пресильный шум вредоносных сих ветров и треск обламываемых сучьев пробудили меня ото сна, и увидел я, что нахожусь один в хижине. А посему начал снова размышлять и раскидывать своим умишком, что же мне надлежит предпринять. Оставаться в лесу было мне никак невозможно, ибо все начисто было унесено, так что я не мог далее себя прокормить; и вокруг только и было, что несколько разбросанных и валявшихся как ни попадя книг. И когда я весь в слезах собирал их снова, призывая в мыслях господа, да направит он меня и руководит мною на том пути, коим надлежит мне следовать, то нечаянно обрел письмецо, написанное отшельником еще при жизни, и оно гласило: «Любезный Симплициус, как только найдешь ты сие письмо, тотчас же оставь лес и спасай себя и священника от нынешних бед, ибо он содеял мне много добра. Бог, на·коего ты должен всегда взирать с упованием и прилежно ему молиться, приведет тебя к месту, где будет тебе благо. Однако никогда не отвращай взора твоего от господа и прилежай к тому, чтобы всечасно служить ему, как если бы ты все еще был со мною в лесу. Пещись и непреложно поступай по сему последнему моему совету и тем спасешься. Vale!» [1]

Бессчетное число раз оцеловал я письмо и могилу моего отшельника и без дальнейших промедлений отправился в путь искать людей, покуда не найду; и так шел два дня прямою дорогою вперед и, где заставала меня ночь, искал дуплистое дерево, чтобы залезть в него на ночлег, а пищею служили мне буковые орешки, которые я собирал дорогою. На третий день вышел я неподалеку от Гельнгаузена в открытое поле; там роскошествовал я, словно на брачном пиру, ибо повсюду лежали тучные снопы, которые крестьяне по счастию для меня не успели свезти, ибо их рассеяла знаменитая битва при Нёрдлингене. В один из этих снопов я и забрался на ночь, ибо стояла жестокая стужа, и утолил голод, вылущив из колосьев пшеничные зерна, что было для меня деликатнейшим блюдом, ибо ничего подобного я уже давно не едал.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплициус ищет лучшую долю,
А сам попадает в злую неволю.

А когда рассвело, то, подкрепившись снова пшеничными зернами, отправился я первым делом в Гельнгаузен и нашел врата его открытыми, частию погоревшими и, однако, еще наполовину ошанцеванными навозом. Я прошел их, но нигде не приметил ни

[1] Прощай! *(лат.)*

единой живой души; напротив того, улочки повсюду были усеяны мертвыми телами, причем некоторые были догола раздеты. Бедственное сие зрелище представило очам моим ужасающий spectaculum [1], как то каждый себе вообразить может; по моей простоте, не мог я уразуметь, каким несчастьем это место приведено в такое состояние. Но вскорости я узнал, что имперские войска захватили тут врасплох веймарских и столь жестоко их отделали. Не прошел я по городу самой малости, на два швырка кампем, как уже досыта на все насмотрелся; того ради обратился вспять и вышел через ближайший луг на добрую проезжую дорогу, которая и привела меня к знатной крепости Ганау. Едва только заприметил я стражу, то решил дать стрекача, но меня тотчас же настигли два мушкетера, схватили и сволокли в караульню.

Прежде чем приступлю я к рассказу, что сталось со мною далее, должен я описать читателю тогдашнее куриозное мое обличье, ибо платье мое и ухватки были до чрезвычайности странны, диковинны и претительны, так что губернатор даже повелел намалевать меня красками. Во-первых, волосы мои за полтора года ни на греческий, ни на немецкий, ни на французский лад не были ни стрижены, ни причесаны, ни завиты, ни взбиты, а торчали во все стороны в природном своем беспорядке, усыпанные заместо пудры, муки или тупейного порошку (каковое дурачество в заводе у щеголей и щеголих) более чем годовалою пылью, с таким изяществом, что выглядывал я из-под них, словно сыч, норовивший укусить или подстерегавший мышь. И так как я всегда ходил с непокрытою головою, а волосы от природы были у меня кучерявыми, то приняли такой вид, как если бы я напялил турецкий тюрбан. Да и все прочее одеяние с главным тем украшением было согласно; ибо на мне был кафтан отшельника, когда бы только я мог еще его называть кафтаном, коль скоро сукно на первом платье, которое из него скроили, совершенно истлело, и ничего от него не осталось, кроме одной только формы, каковая и являла себя очам из несчетного множества лоскутов различного цвета и всяческих заплаток и наставок, сшитых вместе и насаженных одна на другую. Сверх сего выношенного и многократ чиненного кафтана носил я заместо епанчи власяницу (отпоров рукава и употребив их заместо чулок); тело мое было обвито железными цепями, уложенными крест-накрест на груди и лопатках, очень красиво, как обыкновенно изображают святого Вильгельма, так что я, почитай, был схож с теми, кто побывал в плену у турок и странствует по земле, собирая подаяния на выкуп своих друзей. Башмаки мои были вырезаны из дерева, а завязки к ним сплетены из лыка;

[1] зрелище *(лат.)*.

Antiquissima
Nobilitas
So stellet seines Adels Zier
Und Stamm-Haus recht der
Simplex hier
Den Groß-Einbildungs
Narren für.

«Симплициссимус». Книга первая, глава первая.

а ноги такие красные, как вареные раки, словно на них надели модные испанские чулки или выкрасили фернамбуком. Мнится мне, что попади я тогда к какому-нибудь фигляру, площадному лекарю или бродяге и объяви он меня самоедом или гренландцем, то повстречал бы немало дураков, которые, раззевавшись на меня, оставляли бы по крейцеру. И хотя всякий разумный человек по моему тощему, изголодавшемуся виду и нерадивому платью без труда заключить мог, что я не сбежал ни с поварни, ни из девичьей, ни со двора какого-нибудь знатного господина, однако я строжайшим образом был допрошен в караульне, и подобно тому как солдаты пялили на меня глаза, так и я таращился на нелепый наряд их офицера, перед коим должен был речь и ответ держать; я не знал, то ли это он, то ли она, ибо волосы и бороду носил он на французский манер; долгие косы висели на обе стороны, словно кобыльи хвосты, бороденка была так прежалостно обкорнана и ободрана, что только и остались под носом торчать несколько волосков, таких коротких, что едва можно было их приметить. Не меньше того повергали меня в сомнение — какого же все-таки он пола — его широченные шаровары, которые представлялись мне скорее женскою юбкою, нежели мужскими штанами. Я помыслил про себя: когда мужеск пол, то должна у него быть настоящая борода, ибо сей шут не столь молод, как хочет то показать. А когда он женск пол, то отчего у старой потаскухи на роже так много щетины? Вестимо, то баба, ибо ни один честной муж не дозволит так непотребно окорнать и изуродовать свою бороду; ибо даже козлы, ежели им подрежут бороды, от превеликой стыдливости не пристают к чужому стаду. А посему пребывал в сомнении и не ведал, что ныне пошла такая мода, решил, что то мужчина и женщина в едином лице.

Сей женомуж, или мужежен, как он мне мнился, велел меня всего обыскать, однако ж ничего не нашли, одну только книжицу на бересте, куда я вписывал каждодневные свои молитвы и куда была также положена цидулка, оставленная мне на прощание благочестивым отшельником, как о том сообщалось в предыдущей главе. Сию книжицу он отобрал у меня, но так как я ни за что не хотел с нею расстаться, то пал ему в ноги, обхватил его колени и сказал: «Ах, любезный мой гермафродит, оставь мне мой молитвенник».— «Ты дурень,— ответствовал он,— какого черта ты взял, что я зовусь Германом?» Затем повелел он двум солдатам отвести меня к губернатору, передав им и сказанную книжицу, понеже сей фантаст, как я тотчас приметил, сам ни читать, ни писать не разумел.

Итак, меня отвели в город, и всяк бежал за мною следом не иначе, как если бы везли напоказ морское чудо; и подобно тому

как всяк хотел получше меня увидеть и точнейшим образом рассмотреть диковинную мою фигуру, так каждый и судил обо мне особливо. Иные почитали меня шпионом, другие безумцем, а некоторые дикарем, а то и призраком, привидением и еще невесть каким чудом, означающим что-нибудь особое. Были и такие, что приняли меня за дурня; и они-то, пожалуй, и впрямь попали бы в цель, когда я ничего не знал бы о преблагом боге.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций понуро шагает в тюрьму,
По счастью, священник попался ему.

Когда я был приведен к губернатору, то спросил он меня, откуда я пришел. Я же ответил, что не знаю. Он спросил далее: «А куда ты путь держишь?» Я же опять ответил: «Не знаю».— «Какого же ты беса знаешь? — воскликнул он.— Что у тебя за промысел?» Я отвечал, как и прежде, что не знаю. Он спросил: «А где твой дом?», и когда я снова ответил, что не знаю, то переменился в лице, только вот я не понял, от ярости или удивления. Но как всякий имеет обыкновение подозревать недоброе, особливо же вблизи неприятеля, который только что, как было сказано, прошлой ночью овладел Гельнгаузеном и истребил там полк драгун, то запала ему в ум та же мысль, как и другим, которые почли меня предателем и лазутчиком, а посему приказал он меня обыскать. А когда он узнал от солдат, которые меня к нему привели, что сие уже было произведено и при мне ничего не найдено, кроме некоей книжицы, каковая ему тотчас была представлена, и он, прочитав в ней несколько строк, спросил, кто мне ее дал. Я же ответил, что она с самого начала была моею, ибо я сам ее смастерил и переписал. Он спросил, почему именно на бересте. Я отвечал, что кора от других деревьев к сему непригодна. «Ты бездельник,— сказал он,— я спрашиваю, чего ради ты не писал на бумаге?» — «Эва,— ответил я,— да ведь бумаги-то у нас в лесу не было». Губернатор спросил: «Где, в каком это лесу?» Я же снова ответил на старый лад, что не знаю.

Тогда губернатор обратился к нескольким офицерам, которые его дожидались, и сказал: «Либо он превеликий плут, либо вовсе дурень. Хотя дураком он быть не должен, коли так пишет». И меж тем, говоря сие, столь усердно листал книжицу, чтобы показать мой почерк, что из нее выпало письмецо отшельника. Губернатор велел его поднять; я же побледнел, ибо оно было величайшим моим сокровищем и святынею, что губернатор отлично приметил,

и оттого еще больше возымел подозрение, что тут не без предательства, особливо же когда раскрыл письмо и прочел; тогда он сказал: «Я знавал этот почерк и знаю, что это рука хорошо мне известного офицера, только вот не припомню которого». Также и содержание письма показалось ему весьма странным и невразумительным, ибо он сказал: «Сие, нет сомнения, условленная речь, которую никто понять не может, кроме тех, кто о ней условился». Меня же он спросил, как звать, и как только я ответил: «Симплициус», то сказал: «Да, да, ты и впрямь изрядное зелье! Убрать его с глаз долой, заковать по рукам и ногам в кандалы, чтобы повытянуть из него потом что-нибудь другое». Итак, отправились со мною оба помянутых выше солдата к новому, уготованному для меня убежищу, сиречь в темницу, и препоручили меня смотрителю, который, согласно приказу, украсил мои руки и ноги железными браслетами и цепями, как если бы мне недовольно было тех, коими я уже препоясал свое тело.

Сего начала, коим приветствовал меня мир, было недовольно, ибо вскорости пришли палач и помощники профоса с ужасающими орудиями пыток, кои, невзирая на то, что я уповал на свою невиновность, прежестоко усугубили бедственное мое положение. «О боже! — сказал я самому себе.— Поделом мне сие! Симплициус того ради ушел в мир, оставив служение богу, дабы сей монстр христианства достойную принял награду, которую заслужил своим безрассудством. О, ты злополучный Симплициус! Куда заведет тебя твоя неблагодарность? Смотри, едва бог вразумил тебя к познанию его и служению ему, как убегаешь ты от сего служения и обращаешься к нему спиною! Разве не было у тебя вдоволь желудей и стручков, чтобы, питаясь ими, невозбранно служить создателю своему? Разве не знал ты, что твой праведный отшельник и наставник бежал от мира и избрал себе пустыню? О безглавый чурбан! Ты покинул пустыню в надежде удовольствовать постыдную свою страсть узреть мир. Но вот смотри, когда мнил ты, что будешь услаждать взор свой, принужден ты в опасном сем лабиринте пропасть и погибнуть. Разве ты, неразумный простак, не мог наперед помыслить, что покойный твой предшественник не променял бы радостей мира на суровую жизнь в пустыне, когда чаял бы в нем достичь истинного мира, надежного покоя и вечного блаженства? О, бедный Симплициус! Теперь ступай и прими награду за тщеславные свои помыслы и дерзостное сумасбродство! И не смеешь ты ни сетовать на оказанную тебе несправедливость, ни утешаться своею невиновностию, ибо сам себе ты стал палачом и поспешил на сретенье уготованной тебе смерти и сам накликал себе предстоящее несчастье!» Так пенял я на самого себя, молил бога о прощении и предавал ему свою душу.

Меж тем приблизились мы к воровской башне, и когда нужда особо велика, то и помощь близка. Ибо когда я, окруженный стражниками, при великом стечении народа стоял перед темницею, дожидаясь, когда ее отворят и введут меня туда, то и священник, чья деревня недавно была разграблена и сожжена, захотел поглядеть, что тут происходит (ибо и он сам недавно был взят под стражу). И когда он выглянул в окошко и завидел меня, то закричал во все горло: «О, Симплициус! Ты ли это?» А когда я услышал и увидел его, то иначе не мог, как воздеть к нему руки и завопить: «Отче! Отче! Отче!» Он же справился, что я натворил. Я отвечал, что не знаю; верно, привели меня сюда за то, что я убежал из лесу. А когда он узнал от стоявших вокруг, что меня принимают за лазутчика, то попросил повременить со мною, покуда он не уведомит о моих обстоятельствах губернатора, ибо сие может послужить равно как моему, так и его освобождению и избавить от кары, грозящей нам обоим, ибо он знает меня лучше, нежели кто другой на свете.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплициус после тяжких невзгод
Нечаянно зажил средь важных господ.

Ему дозволили пойти к губернатору, а по прошествии получаса потребовали также и меня и отвели в людскую, где уже ожидали двое портных, сапожник с башмаками, торговец со шляпами и чулками и еще купец с различным платьем, чтобы поскорее меня приодеть. Тут совлекли с меня мой до лохмотьев изношенный и повсюду залатанный пестрыми лоскутами кафтан вместе с цепями и власяницею, чтобы портной мог снять с меня надлежащую мерку. Потом явился цирюльник с едким щелоком и благовонным мылом; но едва только он собрался показать на мне свое искусство, как вышел новый приказ, повергший меня в жестокий страх, ибо гласил, что должен я немедля сызнова облачиться в старое свое одеяние. Однако ж в том не было худого умысла, как я того опасался; ибо тут подошел живописец с предметами своего ремесла, а именно: суриком и киноварью для моих век, лаком, индиго и лазурью для моих кораллово-красных уст, аурипигментом, сандараком и свинцовой желтью для моих белых зубов, оскаленных от голоду, сосновой сажею, углем и умброй для белокурых моих волос, белилами для страшных моих глаз и множеством еще иных красок для пестроцветного моего кафтана; также был у него целый ворох кистей. Сей зачал меня оглядывать, обрисовывать, кон-

туровать, отводя голову в сторону, дабы пристальней сравнить свою работу с моим обликом. То подправлял он глаза, то волосы, то дорисовывал ноздри, одним словом, все то, что поначалу было сделано им неисправно, покуда наконец не удалось ему запечатлеть натуральнейший образ Симплициуса, каким он был, так что даже я сам, глядючи на отвратительный свой облик, немало ужасался. Тогда только дозволили подступить ко мне цирюльнику; он вымыл мне голову и добрых полтора часа приводил в порядок мои волосы, а потом подрезал их по тогдашней моде, ибо они были у меня в преизбытке. Затем отвел он меня в горенку для мытья и очистил мое тощее и заморенное тело от более чем трех- или четырехгодовалой нечистоты. Едва покончил он с этим делом, как принесли мне белую рубаху, башмаки и чулки, также брыжи или воротник, шляпу и перо; штаны были искусно сшиты и отделаны позументами, недоставало только камзола, над коим трудился с великой поспешностью портной. Повар принес укрепляющую похлебку, а погребщица напитки. И сидел господин Симплициус разряжен в пух и прах, как некий граф. Я смело поедал все, что мне ни подавали, невзирая на то, что не знал, что со мной потом будет, ибо не ведал тогда еще о последнем обеде перед казнью. А посему, вкушая сие великолепное начало, испытывал я толикую приятность и отраду, что не мог бы того никому довольно изъяснить, нахвалить и прославить. И я не думаю, что когда-либо в жизни получил бóльшую усладу, нежели тогда. Как только камзол был готов, напялил я его на себя, являя в новом сем платье столь неловкую фигуру, словно некий трофеум или разряженная огородная жердь, ибо портные постарались сшить его пошире в надежде, что я в короткое время раздобрею, в чем они и не ошиблись, ибо от столь приятного столования и лакомых кусков толстел я прямо на глазах. А лесное мое одеяние вместе с веригами и всем прочим было помещено в кунсткамеру наряду с другими редкостными вещами и древностями, а рядом выставлен мой портрет во весь рост.

После ужина уложили господина (коим был я) в постель, в какой никогда не доводилось мне почивать ни у моего батьки, ни у отшельника; однако мое брюхо ворчало и роптало во всю ночь, так что не давало мне спать, может статься, не по какой иной причине, как оттого, что не разумело еще, что благо, либо изумлялось доставшимся ему новым приятным кушаньям. Я же беспрестанно ворочался всю ночь, покуда вновь не засияло любезное солнце (ибо было холодно), и размышлял о диковинных испытаниях, выпавших мне в последние дни, и как преблагий бог оказал мне столь попечительную помощь и привел меня в надежное сие место.

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплициус слышит, как после сраженья
Отшельник в пустыне обрел утешенье.

Тем же утром велел мне гофмейстер тамошнего губернатора пойти к сказанному священнику и узнать от него, о чем говорил с ним его господин. Со мной отрядили стражника, который и проводил меня к священнику; тот же провел меня в свой кабинет, или музеум, сел и, усадив также меня, сказал: «Любезный Симплициус! Отшельник, с коим ты жил в лесу, был не только свояк здешнего губернатора, но и лучший его споспешествователь в делах военных и ближайший друг. И как это было угодно губернатору, поведал он мне, что сей муж от самой своей юности никогда не отступал ни от геройской доблести солдата, ни от набожности и благочестия, присущих скорее служителю бога, каковые две добродетели весьма редко вместе обретаются. Духовные помыслы и неблагоприятные события стеснили наконец его на пути мирского благополучия, так что он презрел знатный свой род и наследованные им богатые имения в Шоттенландии и оставил их, ибо нашел он, что все дела мира тщетны, суетны и преходящи. Одним словом, он уповал сменить нынешнее величие на будущую славу, понеже его высокий дух наскучил всем временным великолепием, и все чаяния и помышления его были устремлены к той бедственной жизни, какую он вел в лесу, когда ты повстречал его и был ему сотоварищем до самой его смерти. По моему разумению, склонило его на то чтение многих папистских книг о житии древних отшельников (или так же изменчивое и превратное счастье).

Я не хочу также утаить от тебя, как он попал в Шпессерт и, следуя своему желанию, прилепился к тому бедственному пустынножительству, дабы и ты в будущем мог поведать о том другим людям. На следующую ночь, после того как была потеряна кровопролитная битва при Хёхсте, пришел он один-одинехонек к моему приходскому дому, как раз под утро, когда я только что уснул вместе с женою и детьми, ибо от превеликого шума в той местности, какой обыкновенно подымают в подобных случаях бегущие и преследующие, всю прошлую и половину этой ночи мы прободрствовали. Он сперва чинно постучал, а потом и довольно нетерпеливо, покуда не пробудил меня и заспанную челядь; и когда я после его просьбы и немногих слов, взаимно учтивых, отворил дверь, то увидел кавалера, слезавшего с доброго коня; его дорогое платье было столь же залито вражеской кровью, как и убрано золотом и серебром, и так как он все еще сжимал в руке обнаженную шпагу, то объял меня страх и трепет. Когда же он вложил меч в ножны и не изъявил ничего, кроме редкостной учтивости,

то подал и мне причину изумиться, как это столь знатный господин у столь ничтожного деревенского священника так приветливо просит пристанища. По его красивой стати и великолепному виду почел я его за самого Мансфельда. Он же сказал, что на сей раз он не только сравнялся с ним в злополучии, но и превзошел его. Три предмета оплакивал он, а именно: 1) потерянную жену, брюхатую на последнем месяце, 2) потерянную битву и 3) что ему не выпало счастье, подобно многим другим честным солдатам, во время этой битвы лечь костьми за святое Евангелие. Я хотел его утешить, но вскоре приметил, что его великодушие не нуждается в утешении; а посему поделился я с ним всем, чем только располагал мой дом, и велел постелить ему солдатскую постель из свежей соломы, ибо он не пожелал почивать ни на какой иной, хотя и весьма нуждался в покое. На следующее утро он первым делом подарил мне своего коня и деньги (ибо имел он при себе немало золота), а также роздал моей жене, детям и челядинцам несколько драгоценных перстней. Я же не знал, как мне о том рассудить, и не мог сразу с ним сообразоваться, ибо у солдат в обыкновении скорее брать, нежели давать; того ради колебался в мыслях, следует ли мне принимать столь богатые подношения, и приводил в извинение, что вовсе того не заслужил и заслужить не сумею; к тому еще присовокупил, что когда увидят у меня и моих домашних такое богатство, особливо же дорогого коня, коего и скрыть невозможно, то многие верно подумают, что я его ограбил, а то и пособил убить. Он же сказал, что я должен о том отложить попечение, ибо он отвратит от меня подобные наговоры, удостоверив все собственноручным письмом; и он даже захотел оставить в моем доме свою рубашку, не говоря уже об остальном платье. И с тем открыл он мне свое намерение стать отшельником. Я же противился ему из всех сил, ибо мне мнилось, что такое предприятие отдает папежством, и я увещевал его, напоминая, что он лучше может послужить Евангелию своим мечом. Но тщетно, ибо он так долго меня упрашивал и уламывал, покуда я не уступил ему во всем и не снабдил его теми книгами, изображениями и утварью, которые ты у него видел, хотя он пожелал за все, что он мне пожаловал, получить одно только шерстяное одеяло, коим он укрывался в ту самую ночь, когда спал у меня на соломе; из него-то он и велел сшить себе кафтан. Также принужден был я мою тележную цепь, которую он потом беспрестанно влачил на себе, сменить на его золотую, а на ней носил он портрет возлюбленной своей жены, так что не осталось у него больше ни денег, ни чего-либо, стоящего денег. Мой работник отвел его в самую чащу леса и пособил поставить там хижину. А как провождал он там свои дни и в чем я ему иногда подавал руку помощи и ссужал его, знаешь ты

довольно, а то и лучше, нежели я сам. После того как недавно была проиграна битва при Нёрдлингене и я, как ты знаешь, начисто был ограблен и притом еще и покалечен, то бежал сюда в поисках безопасности, ибо и без того уже хранил здесь лучшие свои вещи. И когда у меня разошлись наличные деньги, то взял я три кольца и сказанную золотую цепь с висевшим на ней медальоном, которые все получил от твоего отшельника, понеже тут был и его перстень с печатью, и отнес к одному еврею на продажу; он же ради искусной работы предложил их купить губернатору, а тот сразу признал герб и портрет, послал за мною и спросил, откуда у меня такие драгоценности. Я поведал ему всю правду, представил собственноручную грамоту, или дарственное письмо, отшельника и рассказал по порядку все, как было, также и о жизни его в лесу, и о смерти. Однако губернатор ничему тому не захотел поверить и посадил меня под арест до тех пор, покуда он не разузнает всю правду; и меж тем как он собирался выслать разъезд, чтобы достоверно осмотреть хижину отшельника и доставить тебя сюда, как увидел я, что тебя ведут в башню. И понеже у губернатора отныне нет причины сомневаться далее в моих словах, ибо я указал место, где жил отшельник, item сослался на тебя и многих других живых свидетелей, особливо же на моего пономаря, который часто еще до рассвета впускал вас обоих в церковь, а к тому же еще и письмецо, которое нашел он в твоем молитвеннике, не только подтвердило всю правду, но и послужило изрядным свидетельством святости покойного отшельника, то и решил он ради блаженной памяти свояка сотворить нам добро и щедро позаботиться о нас, сколь только ему возможно. Ты должен теперь рассудить, что тебе пожелать, дабы он это для тебя исполнил. Захочешь ты упражнятьсяся в науках, он покроет все необходимые к тому издержки; возымеешь ты охоту обучиться какому-либо ремеслу, он велит обучить тебя; а пожелаешь ты остаться у него, то взрастит он тебя, как родное дитя, ибо он сказал, что, когда бы у покойного его свояка остался хотя бы пес и пришел к нему, он приютил бы и пса». Я же ответил, что мне все едино: как поступит со мною господин губернатор, так мне и будет любезно и придется по нраву.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Симплициус жизнь начинает наново,
Становится пажем у коменданта в Ганау.

Прежде чем отправиться со мною к губернатору, чтобы сказать ему о моем решении, священник промешкал в наемном своем покое до десяти часов, чтобы попасть на обед, ибо губернатор дер-

жал открытый стол. Крепость Ганау находилась тогда в осаде, и время для простых людей, особливо же для беженцев, укрывшихся за ее стенами, было столь стесненное, что даже те, кои немало мнили о себе, не гнушались подбирать мерзлые очистки от репы, которые иногда выбрасывали в переулках богачи. И ему посчастливилось занять место рядом с самим губернатором, я же прислуживал с тарелкою в руках, как мне указал гофмейстер, в чем был столь же ловок, как осел в шахматах или свинья на варгане. Однако священник своими речами восполнил то, чего не дозволяла неуклюжесть моего тела. Он сказал, что я, взращенный в пустыне, никогда не был среди людей, а посему вполне простительно, что еще не уразумел, как надлежит себя вести; верность, которую я оказал отшельнику, и суровая жизнь, какую я претерпел с ним, поистине удивления достойны и уже по одному тому заслуживают не только того, чтобы терпеливо сносить мое неуклюжество, но и предпочесть меня самому благовоспитанному пажу. Далее поведал он, что я был единственной отрадой и утешением отшельника, и тот весьма благоволил ко мне, ибо, как он часто говаривал, я был весьма схож лицом на его возлюбленную жену и он нередко дивился моему постоянству и непоколебимой воле оставаться с ним в пустыне и еще многим другим добродетелям, которые он у меня находил и прославлял. Короче, не находил слов, чтобы передать, с какой душевной горячностью препоручил он меня ему, священнику, и открыл ему, что любит меня столь же сильно, как свое родное чадо. Сие столь приятно было моему слуху, что я почел себя довольно вознагражденным за все, что когда-либо перенес, живя у отшельника. Губернатор же спросил, разве его блаженной памяти свояк не знал, что он теперь командир в Ганау? «Конечно,— отвечал священник,— я сам сказал ему. Однако он выслушал это столь холодно (правда, с лицом радостным и со слабою улыбкою), как если бы никогда не знавал Рамзая, так что я, когда размышляю о сем предмете, то дивлюсь постоянству сего мужа и твердому его намерению, как он мог столь совладать со своим сердцем и не только отречься от мира, но и от своего лучшего друга, находившегося в такой близости, и даже выбросить его из ума». У губернатора, который во всем прочем вовсе не отличался бабьим мягкосердечием, а был храбрым и доблестным солдатом, глаза были полны слез. Он сказал: «Когда бы я знал, что он еще жив и где его можно сыскать, то велел бы доставить его сюда против его воли, дабы вознаградить его за его добрые дела, но коль скоро счастье мне в том не благоприятствует, то хочу я заместо него позаботиться о Симплициусе и таким образом оказать себя благодарным хотя бы по смерти отшельника. Ах,— промолвил он далее,— сей честный кавалер изрядную имел причину оплакивать беременную свою

жену, ибо она была взята в плен во время погони отрядом имперских всадников и как раз в Шпессерте. Когда я об этом услышал и полагал, что мой свояк пал в битве при Хёхсте, то немедленно выслал к противнику трубача, чтобы справиться о сестре и предложить выкуп, однако ж не добился этим ничего, а только узнал, что сказанный отряд всадников был рассеян в Шпессерте крестьянами и в том сражении сестра моя была ими потеряна, так что я и посейчас не ведаю, куда она подевалась».

Сии и подобные речи вели губернатор и священник, вспоминая во время застольной беседы об отшельнике и возлюбленной его жене, каковая супружеская чета тем большего сожаления была достойна, что соединены они были всего один год. А я стал пажем губернатора и столь важной птицей, что люди, особливо простые мужики, когда я должен был доложить о них моему господину, уже величали меня господин Мальчик, хотя и редко можно увидеть малого, который был бы господином, куда скорее господина, который до того был малым.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Симплиций казнит беззаконие мира,
Где каждый избрал себе злого кумира.

В то время не было у меня большего сокровища, нежели чистая совесть и прямодушный благочестивый нрав, чему сопутствовала и прилежала простота и благородная невинность. О грехах я знал не более того, что довелось мне услышать или прочитать, и когда узрел их воочию, то было это для меня делом диковинным и устрашительным, ибо я был взращен и приобык к тому, чтобы непрестанно созерцать присутствие бога и прилежно следовать его святой воле; и понеже я знал ее, то и судил по ней о поступках и помыслах людей. И в сем упражнении мнилось мне, что вижу я одну только суетную мерзость. Боже правый! Как изумлялся я поначалу, когда размышлял о Ветхом и Новом завете и всех пеложных увещаниях Спасителя и в противность им созерцал дела тех, кто объявлял себя его учениками и последователями! О, горе! Вместо прямодушного мнения, какое должно быть у всякого христианина, нашел я у всех преданных плотским помыслам мирян одно лишь суетное притворство и несчетное множество всяких иных дурачеств, так что усомнился, впрямь ли вижу перед собою христиан или нет. Ибо с легкостию мог приметить, что многие знают строгую волю господа, однако ж видел, что никто строго ей не следует.

Итак, родились в уме моем тысячи различных воображений и диковинных мыслей, и я впал в великий соблазн и преступил заповедь господню, которая гласит: «Не судите, да не судимы будете». Тем не менее пришли мне на память слова апостола Павла в послании к галатам в пятой главе: «Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распря, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, обжорство и иные тому подобные, от коих я вас предостерегал прежде и предостерегаю теперь, что поступающие так царствия божия не наследуют!» Тут я помыслил: «Сие творит ведь почти всяк явно, для чего же не положиться мне чистосердечно на слова апостола, что не всякий наследует жизнь вечную?»

Наряду с гордыней и корыстью и их достопочтенными приспешниками каждодневным упражнением людей с достатком было пьянство и обжорство, распутство и волокитство; более же всего ужасала меня такая мерзость, что многие, особливо же простые солдаты, коих не имели обыкновения строго карать за пороки, вменяли в шутку и свое безбожие, и самое пречистую волю господню и нарочито геройски над нею глумились. К примеру, услышал я однажды прелюбодея, который еще хотел похвалиться содеянным и говорил такие безбожные слова: «Поделом терпеливому рогоносцу, что он мною рогами изукрашен, и, по правде, я свершил сие скорее ему в досаду, нежели его женке в усладу, чтобы ему порядком отомстить».— «О, низкая месть! — возразила ему честная душа, что стояла рядом.— Через то сквернят собственную свою совесть и получают постыдное имя прелюбодея!» — «Чего, прелюбодея? — отвечал он с поносительным смехом.— Да я для одного того не прелюбодей, сиречь браколом, что не ломал, а только малость погнул. А прелюбодеи-то те, о которых речет шестая заповедь, когда запрещает залезать в чужой сад и заламывать непочатую вишенку допрежь хозяина». Итак, объявил он, согласно своему Катехизису дьявола, надобно разуметь седьмую заповедь, которая сие положение изъясняет явственно, когда речет: «Не укради». Такие хулы извергал он во множестве, так что я украдкой вздохнул и подумал: «О богохульствующий грешник! Ты именуешь самого себя бондарем браков, который их гнет в обручи, а всеблагого бога называешь браколомом, ибо он смертию разлучает мужа и жену!» «Да рассудил ли ты,— воскликнул я с чрезвычайной горячностью и досадою, хотя и был он офицером,— что такими безбожными словами ты грешишь больше, нежели самим прелюбодеянием?» Он же ответил мне: «Заткни глотку, прохиндей! Уж не надавать ли тебе оплеух?» И полагаю, нахватал бы немало горячих, когда б сей малый не побаивался моего господина. Я же примолкнул, а

впоследствии увидел, что то вовсе не в диковину, когда холостые зарятся на замужних, а замужние на холостых и, опустив все удила и поводья, предаются похотливым утехам.

Когда я еще вместе с отшельником изучал путь к вечному спасению, то дивился, чего ради запретил бог Израилю идолослужение, грозя столь суровыми карами, ибо полагал, что кто однажды познал истинного предвечного бога, тот никогда не сотворит себе иного кумира, не поклонится и не послужит ему; итак, заключил по глупому своему разумению, что заповедь сия ненадобна и дана напрасно. Но ах! Я, дурень, не ведал того, о чем размышлял; ибо едва только вступил в мир, то приметил, что (невзирая на сию заповедь) чуть ли не всяк тут избрал себе особливого кумира; а у некоторых было куда больше, нежели у самых древних и новых язычников. Одни хранили его в ларцах, возлагая на него все свои упования и надежды; другие нашли его при дворе, где стал он единственным их прибежищем, хотя был всего лишь фаворит, а то и просто беспутный вертопрах, как и его поклонник, ибо вся непрочная его божественность покоилась на одном только благоволении принца, изменчивом, как апрельский ветер. Иные обретали его в почестях и мирской славе, и коль скоро их достигали, то мнили и самих себя полубогами. А еще иные поселили своего кумира в собственной голове, те именно, коим бог истинный даровал здравый ум, так что они способны были постичь различные науки и художества. Сии пренебрегали милостивым подателем всего и полагались на один только дар в надежде, что он доставит им всяческое благополучие. Было и много таких, кому идолом служило собственное их брюхо, коему они каждодневно приносили преизобильные жертвы, как в древние времена язычники Бахусу и Церере; а когда оно на что-либо досадовало или объявлялась еще иная какая телесная немощь, то страждущие ставили себе кумиром медика и с превеликим нетерпением и десперацией искали спасения жизни в аптеках, хотя там им нередко споспешествовали обрести смерть. Иные дурни творили себе кумиров из пригожих потаскушек, коих они нарекали другими именами, поклонялись им денно и нощно со многими вздохами и слагали для них песни, где ровно ничего не было, кроме похвал им и смиренных молений,— да смилостивятся они над их сумасбродством и возжелают также стать дурами, подобно тому как они сами стали дураками.

Напротив того, находились женщины, которые нередко избирали своим божеством собственную красоту. «Сия-то,— помышляли они,— уж, верно, доставит мне мужа, как бы там ни рассудилось богу вышнему». И сего кумира заместо прочих жертвоприношений каждодневно чтили и ублажали румянами, притираниями, примочками, присыпками и всякими там еще мазями. Я видел лю-

дей, которые почитали божеством дома, расположенные на бойком месте, ибо они уверяли, что, пока живут там, счастье и довольство не покидает их, а деньги словно сыплются в окошко, каковому дурачеству я весьма дивился, ибо ведал причину, по которой жители оных домов получают добрую прибыль. Я знавал одного малого, который лишился на несколько лет сна ради табачной торговли, ибо отдал ей свое сердце, чувства и помыслы, кои должны быть посвящены единому токмо богу; он же денно и нощно бессчетное число раз вздыхал по своему кумиру, ибо через него обогатился. А чем кончилось? Сей фантаст помер и сам исчез, как табачный дым. Тогда помыслил я: «О ты, жалкий человек, ты, яко дым ничтожный, исчезнувший! Когда бы ты столь же усердно прилежал к спасению твоей души и почитанию бога истинного, как и своему кумиру в образе бразильца со свитком табаку под мышкой и трубкою во рту, что был выставлен напоказ в твоей лавочке, то я неотменно уверен, что в жизни вечной ты унаследовал бы венец праведных». А еще у одного хвастливого пОсла были и вовсе непутевые божества; ибо когда в некоем обществе каждый рассказал, каким родом он во время столь ужасной дороговизны и прежестокой голодовки жил и добывал себе пропитание, то он не обинуясь признался на внятном немецком языке, что улитки и лягушки были его божеством, а не будь их, то он принужден был бы помереть с голоду. Я же спросил сего дерьмоеда, а чем же был для него сам господь бог, который послал ему на пропитание оных insecta [1]. Однако пентюх не знал, что на это ответить, и я должен был тому еще более удивиться, ибо мне еще не доводилось нигде прочитать, чтобы у древних идолопоклонников в Египте или у новейших американцев когда-либо подобные гадины были объявлены божествами, как то учинил сей шут.

Однажды зашел я с неким благородным господином в кунсткамеру, где были собраны изрядные древности и редкости. И среди картин ничто мне так не полюбилось, как Ecce Homo [2], ради прежалостного изображения, которое тотчас же восхищает зрителя к состраданию. А рядом висело бумажное полотнище, размалеванное в Китае, где во всем своем великолепии восседали китайские божества, часть коих была чертям подобна. Хозяин дома спросил меня, какой предмет в кунсткамере всего более мне полюбился? Я показал на помянутое Ecce Homo. Он же заметил, что я ошибаюсь; китайская картина реже и того ради дороже, он не променял бы ее за десяток таких Ecce Homo. Я ответил: «Господин! Глаголят ли уста ваши от чистого сердца?» Он сказал: «Уж я-то

---

[1] насекомых *(лат.)*.
[2] Се Человек *(лат.)*.

знаю!» На что я молвил: «Итак, бог вашего сердца тот, чье изображение уста ваши признают самым драгоценным».— «Фантаст! — сказал он.— Я эстимирую раритеты!» Я ответил: «Что же есть реже и достойнее удивления сына божьего, пострадавшего за нас, как представляет нам сия картина?»

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций не может в злом мире ужиться,
А мир сердито на него косится.

И насколько чтили сих и великое множество всяких иных кумиров, настолько же пренебрегали истинным величием божиим; ибо ежели мне не доводилось повстречать никого, кто бы пожелал соблюсти слово и заповеди бога, то, напротив того, видел многих, кои во всем им противились, так что и мытарей (почитавшихся в те времена, когда Христос еще ходил по земле, самыми нераскаянными грешниками) превзошли в беззаконии. Христос же речет: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; да будете сынами отца вашего небесного; ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так ли поступают и мытари?» Однако я не сыскал никого, кто пожелал бы сей заповеди Христовой последовать, но всяк поступал как раз напротив и делал все прямо наперекор. Сказано ведь: «Всякий сват — собаке брат!» И я нигде не встречал столько зависти, злобы, недоброхотства, раздоров и свары, как промеж братьев, сестер и других кровных родственников, особливо же когда им доведется делить наследство; тогда грызутся они целый год с таким ожесточением, что своею бешеною лихостию намного превосходят татар и турок.

Также и люди одного ремесла повсеместно ненавидят друг друга, что я мог увидеть воочию и посему заключить, что явные грешники, откупщики податей и мытари, которые за свою злобу и безбожие были от многих столь презираемы, и те в делах любви к ближнему намного превзошли нас, нынешних христиан, ибо сам Христос свидетельствует, что между собою жили они в полюбовном согласии. А посему я рассудил, что ежели мы лишены небесной награды за то, что не любим наших врагов, то какой же заслуживаем мы казни за то, что ненавидим наших друзей. Где надлежало быть великой любви и верности, там обрел я наибольшую измену и жесточайшую ненависть, раздор, гнев, вражду и несогла-

сне. Иной господин бесчестил своих верных слуг и подданных; напротив того, многие подданные бесчестно плутовали у добросердечных господ. Непрестанные распри замечал я между супругами; иной тиран обходился с честною своею женою хуже, нежели с собакой; а иная беспутная потаскушка почитала своего добропорядочного мужа дураком и ослом. Многие наглые господа и мастера обманывали усердных своих слуг при выплате заслуженного ими жалованья и обделяли их в харчах; напротив того, видел я и много бессовестных челядинцев, которые воровством и небрежением разоряли добронравных своих господ. Купцы и ремесленники, словно наперегонки, выколачивали проценты ростовщическими алебардами и различными фортелями и увертками выжимали мужиков до седьмого пота. Напротив того, и мужики нередко были столь безбожны, что когда с них не спускали шкуры, то так и норовили, прикинувшись простаками, насолить погорше ближним и даже самим господам. Однажды я увидел, как солдат отвесил другому здоровенную оплеуху, и вообразил, что побитый тотчас же подставит ему также и другую ланиту (ибо мне еще ни разу не привелось видеть драку). Но я заблуждался, ибо обиженный вытащил из ножен что надобно и рассек обидчику голову. Я закричал во весь голос: «Друг, что ты сотворил?» — «Черт подери! — воскликнул он.— Тот шкура барабанная, кто сам не отомстит за себя или не лишится жизни! Эге, надо быть вовсе бесчестным человеком, чтобы дозволить так втоптать себя в грязь». Шум, поднятый сими двумя дуэлянтами, все умножался, ибо вступились дружки того и другого, а затем ввязались все, что стояли вокруг или сбежались на тот случай, и пошла свалка; тут услышал я такую легкомысленную божбу и такие клятвы душевным спасением, что не мог поверить, чтобы они дорожили своею душою, как драгоценным сокровищем. Но все то еще было детской забавой; ибо дело не застряло на столь ничтожных и ребяческих клятвах, а за ними тотчас же последовало: «Разрази меня гром, ударь молния, побей градом! Да раздери меня нечистый, да не раз, а сто тысяч раз кряду и провали в тартарары!» Святое причастие призывалось не то что семижды, а без числа и счету, так что им можно было доверху набить целые бочки, галеры и завалить городские рвы, отчего у меня волосы стали дыбом. Я подумал: «Ежели они впрямь христиане, то где же заповедь Христова, в коей он речет: «А я говорю вам — никогда не клянитесь ни небом, ибо оно престол божий, ни землею, ибо она подножие стопам его, ни Иерусалимом, ибо он город великого царя; также не должен ты клясться своею головою, ибо не можешь ни единого волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да, нет, нет; а что сверх того, то от лукавого». Все сие, а также все, что видел и услышал, я прилежно рассмотрел и решил

твердо, что сии драчуны вовсе не христиане, а посему стал искать себе другую компанию. Наиужаснее всего было для меня, когда доводилось слышать велеречивых хвастунов, похваляющихся своими злодеяниями, грехами, пороками и бесчестьем, ибо в различное время и притом каждодневно велись такие речи: «Тьфу! Кровь из носу! Как мы вчера нализались!»; «Я за один день упился три раза и столько же раз проблевал!»; «Тьфу! Провал возьми! Как мы этих плутов мужиков помучали!»; «Тьфу! Пропасть! Вот это была добыча!»; «Тьфу! Дьявола в печень! То-то была потеха с бабами да девками!»; item «Я его так рубанул, как градом пришиб!»; «Я в него так пальнул, что глаза на лоб вылезли!»; «Я его столь вежливенько перекинул через порог, что черти подбирали косточки!»; «Я ему так ногу подставил, что он чуть шею не сломал!»; «Я его так пытал, что он кровью захаркал!». Сии и подобные нехристианские речи беспрестанно наполняли слух мой, а сверх того видел и слышал я, как совершают грехи, поминая имя божие, что весьма сожаления достойно. Особливо же ввели то в обычай на войне, а именно когда говорили: «Идем с богом в набег, грабить, разорять, убивать, повергать, нападать, поджигать, в полон брать!», и что там еще составляет ужасные их труды и подвиги. Также и барышники вели свою торговлю во имя божие, дабы по дьявольскому корыстолюбию лучше обирать и обдирать. И я видел двух пройдох, болтавшихся на виселице, которые однажды ночью отправились воровать, а когда они, поминая имя божие, приставили лестницу, чтобы по ней взобраться, то попечительный хозяин, поминая черта, сбросил их вниз, отчего один из них сломал ногу и был пойман, а через несколько дней вздернут вместе со своим камрадом.

И когда я видел или слышал что-либо подобное и пускался по своему обыкновению увещевать Священным писанием или чистосердечно отговаривать от таких поступков, то почитали меня люди за сущего дурня или сумасброда; так что я за свои добрые намерения столь часто подвергался осмеянию, глуму и всяческим издевкам, что под конец сам осердился и дал зарок совсем замолчать, чего, однако, по христианской любви не мог соблюсти. Как я желал, чтобы всякий воспитан был моим отшельником, тогда, мнилось мне, многие узрели бы сущность мира очами Симплиция, какими я на него тогда смотрел. И я не был еще настолько смышлен, чтобы сообразить, что когда на свете жили бы одни только Симплициусы, то, верно, и не открылось бы зрелище стольких пороков. Меж тем истинно, что человек, привыкший ко всем грехам и безумствам мира сего и сам их творящий, не может и малой доли того почувствовать, на сколь опасную стезю вступил он вместе со всеми.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА

Симплиций взирает ребяческим оком,
Каким солдаты подпали порокам.

Когда же я возомнил, что имею причину сомневаться, обретаюсь ли я среди христиан, то пошел к священнику и поведал ему все, что я слышал и видел и что было у меня о сем в мыслях, а именно, что почитаю я этих людей хулителями Христа и его учения, а вовсе не христианами, и просил, да поможет он мне выйти из сего наваждения, дабы я знал, за кого надлежит мне принимать моих ближних. Священник ответил: «Вестимо, они христиане, и я не советую тебе называть их как-либо иначе».— «Боже ты мой! — воскликнул я.— Как то возможно? Ведь когда я укажу тому или иному на проступок, содеянный им против заповедей господних, и обращаю мысль его ко благу, то все меня подымают на смех и глумятся надо мною».— «Тому не удивляйся,— отвечал священник,— я полагаю, ко́гда бы благочестивые первохристиане, что жили во времена Спасителя, да и сами апостолы ныне восстали из гроба и пришли в мир, то вместе с тобою задали бы тот же вопрос, и в конце концов их, как и тебя, всяк почел бы глупцами. Все, что ты доселе слышал и видел,— обыкновеннейшее дело и ребячьи забавы по сравнению с тем, как тайно и явно прегрешают против бога и людей и какие злодейства чинят в мире. Но не ожесточайся в сердце своем! Таких христиан, как блаженной памяти господин Самуель, сыщешь ты немного!»

Меж тем, как мы так беседовали, провели через площадь несколько человек, захваченных в плен у противника, что расстроило наш дискурс. Когда мы среди прочих также смотрели на пленных, то довелось мне узнать о таком безрассудстве, какое я не посмел бы даже увидеть во сне. То была новая мода встречать и приветствовать друг друга. И вот один из нашего гарнизона, который до того служил также и в имперских войсках и знавал одного из сих пленников, подошел к нему, подал руку, чистосердечно и с полной радостью пожал ее, воскликнув: «Разрази тебя громом (право слово!), так ты еще жив, брат! Да провались ты пропадом, как черт свел нас вместе! Да я, лопни мои глаза, уже думал, ты давно болтаешься в петле!» На что тот отвечал: «Тьфу ты, пропасть! Браток! Да ты ли это или не ты? Черт тебя задери! Да как ты сюда попал? В жись не подумал бы, что тебя повстречаю; я завсегда полагал, что тебя давно уволокли черти!» И когда они снова расстались, то сказал один другому вместо «Сохрани тебя бог!» «Счастливо висеть! Завтра, быть может, сойдемся снова, то-то налижемся вдрызг и потешимся всласть».

«Сие ли не отрадный благочестивый привет? — спросил я священника.— Не изрядное ли то христианское напутствие? Не святое ли возымели они намерение на завтрашнее утро? Кто же захочет признать их христианами или будет внимать их речам без удивления, когда они по христианской любви так привечают друг друга, то что же начнется, когда они повздорят? О, господин священник, когда сии агнцы Христовы, вы же их пастырь, то подобает вам выгнать их на иное, лучшее пастбище».— «Ах! — отвечал священник.— Любезное дитя! Среди безбожных солдат и не ведется иначе. Боже, умилосердствуй! Ежели я даже принялся бы их усовещевать, то от этого было бы столько же проку, как от проповеди перед глухими, и я навлек бы на себя одну только погубительную их ненависть». Я весьма тому изумился и, покалякав еще малость с ним, пошел услужать губернатору; меня отпускали на некоторое время посмотреть город и потолковать со священником, ибо господин мой учуял мою простоту и полагал, что моя дурь уляжется, когда я пошатаюсь всюду, кое-что повидаю, послушаю, буду многими вышколен или, как говорят, обтесан и выструган.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Симплициус зрит, как крапивное семя
Добро наживает в недоброе время.

Благоволение господина моего ко мне день ото дня все умножалось и возрастало, ибо я не только на его сестру, что была за отшельником, но и на него самого все более похож становился; меж тем как добрые харчи и ленивые дни скоро умягчили мои волосы, а лицо мое исполнили приятности. Подобное же благоволение оказывал мне всяк, ибо кто имел какую-либо нужду к губернатору, тот изливал свое расположение и на меня, особливо же доброхотствовал мне секретарь; а как надлежало ему еще обучать меня счету, то была тут немалая потеха по причине моей простоты и неведения. Он только недавно окончил учение, а посему был еще битком набит школьными дурачествами, отчего казалось иногда, что у него на чердаке не все ладно. Он нередко уверял меня, что черное есть белое, а белое — черное, из чего проистекало, что сперва я верил ему во всем, а под конец ни в чем. Однажды похулил я грязную его чернильницу, он же отвечал, сия-де самая распрекрасная вещь во всей канцелярии, ибо из нее достает он все, что пожелает: блестящие дукаты, платья и, одним словом, все, в чем был у него достаток, выудил он из нее мало-помалу. Я не хотел верить, чтоб из такой столь малой и презренья достойной ве-

щицы столь великолепные предметы извлечь было можно. «Напротив,— сказал он,— сие способен производить spiritus papiri[1] (так прозвал он чернила), и чернильный прибор оттого и зовется прибором, что немалые вещи через него к рукам прибирают». Я спросил: «А как же можно их вытащить, когда туда разве что два пальца и просунуть-то возможно?» Он же ответил: у него-де такое в голове есть хватало, какое сию работу и справляет; он располагает, что вскорости выловит себе пригожую богатую невесту, а ежели посчастливится, то надеется вытащить также поместье с людишками, и что все сие вовсе не ново, а и в старину довольно бывало. Я принужден был таким искусным хитростям изумиться и спросил: «Есть ли еще какие люди, которые бы оным искусством владели или постичь его были способны?» — «Разумеется,— отвечал он,— все канцлеры, докторы, секретари, прокуроторы или адвокаты, комиссары, нотариусы, купцы и торговые гости и несчетное множество всяких других, которые, ежели они только прилежно ловят и усердно блюдут свой интерес, становятся богатыми господами». Я сказал: «Так, значит, крестьяне и прочие работящие люди не столь остры умом, что в поте лица добывают себе пропитание и не обучаются сему ремеслу». Он отвечал: «Иные не разумеют пользу сего искусства, а посему и не стремятся ему научиться; другие с радостью ему обучились бы, да им недостает в голове хватала или еще каких средств; некоторые изучают сие искусство и довольно имеют чем хватать, но не знают всех надобных для того хитростей, чтобы через него набогатиться; а есть и такие, что все знают и могут, что сюда надлежит, да только живут они не на везучем месте и не имеют, подобно мне, к тому случая, чтобы в оном искусстве должным образом упражняться».

Когда мы таким образом беседовали о чернильнице (коя неотменно напоминала мне кошель Фортуната), попался мне нечаянно в руки титулярник; в нем по тогдашним моим понятиям всяческих глупостей было больше, чем доселе мне доводилось повстречать. Я сказал секретарю: «То ведь все адамовы чада и одного между собою рода, а по правде от праха и пепла! Откуда же повелось столь великое различие? Святейший, Непобедимейший, Светлейший! Не суть ли то свойства божии? Здесь Ваша милость, там Ваша строгость, и к чему еще тут Урожденный? Ведь довольно известно, что никто с неба не падает, из воды не возникает и на земле, подобно капусте, не растет. Почто тут одни токмо Пре-Высоко-Благородные, а нет двоюродных, троюродных, четвероюродных? Что это за дурацкое слово — Предусмотрительный? Разве

[1] бумажный дух *(лат.)*.

у кого-нибудь глаза на затылке?» Секретарь принужден был, глядя на меня, рассмеяться и взял на себя труд пояснить, что означает тот или иной титул, и растолковать каждое слово особливо; я же упрямо стоял на том, что титулы даются не по праву; куда похвальнее титуловать кого-либо Ваше Благорасположение, нежели Ваша Строгость; item ежели слово «благородный» само по себе означает высокую добродетель, так почему же когда соединяют его со словом «высокородный» (которое означает князя или графа), то сие новое слово «Высокоблагородный» умаляет княжеский тот титул, ибо прилагается к людям незнатным? Да и само слово «Благородие» не сущая ли нелепость? Сие засвидетельствует мать любого барона, ежели ее спросят, благо ли ей было во время родов.

Меж тем как я таким образом все высмеивал, то невзначай произвел столь жестокий выстрел легкого пороху, что оба, секретарь и я сам, сильно испугались. Сей немедленно возвестил о себе нашим носам и разнесся по всей комнате с такой крепостью, словно еще не довольно было, что мы перед тем его слышали. «Проваливай, свинья! — закричал на меня секретарь.— В свиной хлев ко всем прочим свиньям, с коими ты, болван, скорее придешь к согласию, нежели в конверсации с людьми почтенными». Однако ж и он сам принужден был убраться с того места, оставив его во владение ужасающей вони. Итак, доброе знакомство, которое я свел в канцелярии, я сам по известной пословице себе испортил.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций в гаданье теряет кураж,
Его надувает проказливый паж.

Однако сия напасть приключилась со мною неповинно, ибо непривычные кушанья и лекарства, какие я получал каждодневно, дабы привести в разум мой ссохшийся желудок и сморщившиеся кишки, возбуждали в животе моем свирепые вихри и прежестокие ветры, порядком меня терзавшие, когда они неистово рвались на волю; и так как у меня и в мыслях не было, что я поступаю плохо, когда таким образом снизойду к природе, поелику такой внутренней силе долго противиться и без того было невозможно, да и мой отшельник (ибо оные ветры негусто были у него посеяны) никогда не наставлял меня о том, и мой батька не заказывал мне преграждать путь подобным детинам, так что я пустил их на вольный воздух и выпустил все, что просилось наружу, пока не лишился сказанным манером у нашего секретаря всякого кре-

диту. Утрата сей милости была бы мне не столь тяжела, когда избавился бы я тем от еще горших злоключений; ибо со мною происходило все так же, как с благочестивым мужем, пришедшим ко двору княжескому, где ополчались Змий на Назика, Голиаф на Давида, Минотавр на Тесея, Медуза на Персея, Цирцея на Улисса, Эгист на Менелая, Палудус на Кореба, Медея на Пелия, кентавр Несс на Геркулеса, ну, и кто там еще, Алтея на собственного сына своего Мелеагра.

Кроме меня, служил у моего господина в пажах некий прожженный плут и прехитрый пролаза, который состоял в сей должности уже два года; ему-то я и открыл свое сердце, ибо был он со мною одинаких лет. Я мнил: сей есть Ионафан, а ты Давид. Он же ревновал меня по причине того великого благоволения, какое оказывал мне день ото дня все более наш господин, и опасался, что я перебью у него все блага, и того ради смотрел на меня втайне завистливым и недоброхотным оком, измышляя, каким бы средством подставить мне ногу и через такое мое падение самому возвыситься. Я же обладал очами горлицы, и у меня было совсем иное на уме; и я поверил ему все мои тайности, кои, правда, состояли ни в чем ином, как в ребяческой простоте и благочестии, а посему он никак не мог под меня подкопаться. Однажды долго болтали мы в постели, прежде чем заснули; и, когда речь зашла о ворожбе и гаданье, пообещал он обучить меня сей премудрости даром и велел сунуть голову под одеяло, уверяя, что таким именно родом и надлежит ему передать свое искусство. Я старательно его послушался и с большим вниманием ожидал сошествия на меня прорицательного духа. Тьфу, пропасть! Сей не замедлил вступить мне в нос, и столь люто, что от нестерпимой вони не смог я долее оставаться под одеялом и принужден был высунуть голову. «Что это?» — спросил мой наставник. Я отвечал: «Ты подпустил!» — «А ты,— объявил он,— угадал, а значит, научился сему искусству». Я же не принял того за издевку, ибо не было тогда еще во мне желчи, а только домогался узнать, каким родом оные ветры испускать можно без шуму. Товарищ мой отвечал: «Искусство то немудреное, тебе только надобно поднять левую ногу, как собака, что прыскает на угол, и притом тихонько молвить: je pète, je pète, je pète, да и понатужиться изо всех сил, так они и выйдут погулять безо всякого шума, как тати».— «Добро,— сказал я,— а когда потом разнесется вонь, то подумают, что собаки испортили воздух, особливо же если я подыму левую ногу на приличную высоту». Ах, подумал я, когда б сегодня в канцелярии я знал про это искусство!

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций, соблазном смущен, ненароком
Проворно съедает телячье око.

На следующий день задал мой господин своим офицерам, а также всем другим добрым друзьям княжеский пир, ибо получил приятную ведомость, что наши взяли замок Браунфельс, не потеряв при сей оказии ни единого человека; тут надлежало мне, по моей должности, как и другим, услужающим за столом, помогать разносить кушанья, наливать чарки и прислуживать с тарелкою в руках. В первый же день поручили мне нести большую жирную телячью голову (про каковое блюдо обыкновенно говорят: «Этот кус не для бедных уст»), и как была она гораздо разварена, то один глаз со всею принадлежащею до него субстанциею изрядно свисал наружу, что было для меня зрелищем умильным и соблазнительным. И понеже свежий запах сальной подливки и толченого имбиря разжигал меня, то восчувствовал я такой аппетит, что у меня слюнки потекли. Одним словом, глаз тот подмигивал и моим очам, и моему носу, и моим устам, как бы упрашивая, не возжелаю ли я принять его в сообщество моего обуреваемого голодом желудка. Я не дозволил себя долго мурыжить, а последовал своему желанию и на ходу столь ловко вылущил глаз ложкою, которую и дали-то мне впервые в тот самый день, и столь проворно и без заминки спровадил его в уготованное место, что ни одна душа не приметила, покуда не пришел черед подавать на стол сие кушанье благородных судейских, и тут-то оно и выдало себя и меня. Ибо как только почали рушить жаркое и открылось, что недостает самый лакомый кусок, то мой господин тотчас же приметил, чего ради замешкался кравчий. Губернатор, по правде, не мог спустить такую проделку, чтобы ему кто-либо посмел подать телячью голову об одном глазе. Повара потребовали к столу, а вместе с ним допросили и тех, кто разносил кушанья; под конец все вышло наружу и про бедного Симплиция, что именно ему поручили нести к столу телячью голову, в коей оба глаза были на месте; а что там с нею случилось далее, про то никто не знал. Мой господин спросил меня с ужасающей миной: куда я подевал телячье око? А я вовсе не испугался столь угрюмого его вида, а проворно вытащил из сумки ложку и подцепил ею другой глаз, показав на деле все, что от меня узнать хотели, ибо в одно мгновение съел его, подобно первому. «Par dieu! [1] — вскричал мой господин,— сие зрелище посмачнее десяти телячьих очей!» Все присутствующие господа при-

[1] Клянусь богом! *(франц.)*

шли в восторг от этого изречения, а мой поступок, который я совершил по простоте своей, называли хитрейшей выдумкой и предвестником будущей отваги и неустрашимой твердости, так что я через повторение как раз того, чем заслужил наказание, не только вовсе от него избавился, но и стяжал похвалы от многих застольных балагуров, подлипал и лизоблюдов, уверявших, что я поступил мудро, когда соединил оба глаза вместе, дабы они как в сем мире, так и в будущем могли друг другу пособлять и составить добрую компанию, к чему они были сызначала предназначены самой натурою. Мой же господин сказал, чтобы в другой раз я не смел вытворять что-либо подобное.

ТРИДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций впервой зрит пьяных солдат,
Вздурились за чаркой, сам черт им не брат.

К сему пиру (я полагаю, что такое ведется и на других) приступили совсем по христианскому обычаю; застольная молитва была прочитана в подобающей тишине и, по всей видимости, весьма благоговейно. И сие благоговейное молчание продолжалось все время, пока подавали суп и другие первые блюда, словно они заседали в конвенте капуцинов. Но едва только каждый успел три или четыре раза провозгласить: «Благослови, бог!», как стало гораздо шумнее. Я не в силах описать, как мало-помалу голос каждого в отдельности крепчал и возвышался, но хотел бы только уподобить все совокупное общество оратору, который начинает тихонько, а под конец мечет громы. Принесли блюда, прозванные «перекуска», ибо они приправлены были пряностями и назначены как лакомство перед питием, чтобы оно тем легче проходило в глотку; item заедки, ибо они во время пития на вкус не противны, не говоря уже о всяких там французских похлебках, гишпанских олла потрида, кои все множеством различных искусных ухищрений и неисчислимых приправ такою мерою проперчены, просолены, перетерты и перемешаны и так приготовлены к питию, что через все те пряности и различные примеси приобрели совсем иную субстанцию, нежели та, что была им определена природою, так что их не мог бы распознать и сам Эней Манлий, когда только что воротился из Азии и держал при себе лучших своих поваров.

Я подумал: «Разве не могут сии кушанья у человека, который ими лакомится, запивая вином (для чего, собственно, они и изготовлены), точно так же повредить чувства и разум и переменить всю его натуру, а то и превратить его в неразумного зверя?

Кто знает, не те ли самые средства употребила Цирцея, когда обратила в свиней спутников Улисса?» Я видел, что гости на этом пиру пожирали приносимые кушанья, словно свиньи, упивались, как скоты, ломались притом, как ослы, и под конец блевали, как псы кожевника. Благородное гохгеймерское, бахерахское и клингенбергское вливали они себе в глотку преогромными стеклянными кубками, так что оно сразу же бросалось им в голову; тут было мне на что подивиться, как все переменились, а именно: самые благоразумные люди, кои незадолго перед тем в полном здравии владели всеми пятью чувствами и вели изрядную беседу, внезапно начали поступать безрассудно и вытворять пренелепейшие дурачества. Глупости, которые они отмачивали, и чарки вина, которые они осушали, становились все больше, словно там бились об заклад, кто кого перещеголяет; под конец превратилось сие ратоборство в мерзостное свинство. Не было зрелища более странного, ибо я не знал, откуда нашла на них такая дурь, понеже действие вина или опьянение мне еще вовсе было неведомо; оттого-то при самом прилежном размышлении не взошло мне на ум ничего, кроме забавных предположений и вздорных фантазий; я отлично видел их диковинные мины, однако же не знал о причине такого их состояния. До сих пор всяк с должным аппетитом выпоражнивал посуду, а когда желудки наполнились, то все пошло куда хуже, чем у возчика с тяжелой упряжью, что по ровному полю бежит резво, а в гору ни тпру ни ну. Но как только в голову им ударила дурь, то преодолели они сию невозможность, кто почерпнув кураж в вине, кто желая оказать сердечное расположение другу, а кто по немецкому чистосердечию, дабы оказать честь благородному напитку. Но как и тут долго нельзя было устоять, то пустился один заклинать другого осушить чарку за здоровье важных господ, или любезных друзей, или за его возлюбленную, отчего у иного глаза на лоб лезли и выступал холодный пот, однако ж принужден был пить. Да так, что под конец подняли превеликий шум с барабанным боем, свистом и струнною игрою и зачали палить из мушкетов, нет сомнения, для того, чтобы силою вогнать в желудки вино. Я же дивился, куда они могут все поместить, ибо не знал еще, что не успеет оно у них как следует согреться, как с превеликими муками извергается из того же самого места, куда они его незадолго до того влили с крайнею опасностию для своего здравия.

Знакомый мне священник также был на сем угощении, что было ему любо, как и всем другим, ибо и он, подобно другим, был человеком и пошел бы противу своей воли, когда бы от того отступился. Я подошел к нему и спросил: «Господин священник, чего ради сии люди вытворяют такие диковины? Отчего это слу-

чилось, что они шатаются из стороны в сторону? Мне так мнится, что они не в своем уме. Они все досыта наелись и клялись, что черт их задерет, ежели они могут проглотить хоть капельку, а сами не перестают себя накачивать. Принуждены ли они так поступать или по доброй воле наперекор богу бесполезно все расточают?» — «Любезное дитя! — ответил священник.— Вино в голову — ум из головы! Но все сие ничто перед тем, что еще будет. Завтра поутру будет им еще горше, когда придет время расходиться, ибо, когда у них разопрет животы, будет им не так весело».— «А не полопаются у них животы, когда они их столь безмерно набивают? И как только могут их души, кои суть подобие божие, обитать в таких откормленных на убой свиных тушах, в коих они без малейшего благочестивого помысла томятся, как в мрачной темнице и кишащем насекомыми воровском каземате? О вы, души высокие,— сказал я,— как попускаете вы себя на такое мучение? Чего ради остаетесь вы заключенными в такой вонючей клоаке? И разве чувства, коими надлежит располагать душе, не погребены во чреве неразумного зверя?» — «Попридержи язык,— воскликнул священник,— а не то жестоких нахватаешь оплеух! Здесь не время читать проповеди, а иначе я исправил бы сие получше тебя!» Когда я это услышал, то стал уже молча взирать, как своевольно погубляли кушанья и напитки, не взирая на бедного Лазаря во образе многих сот толпившихся у порога изгнанников из Веттерауера, у которых от голода глаза пучило и коих можно было бы подкрепить всей той снедью, ибо худо жить тому, у кого ничего нет в дому.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплициус ставит на пробу куншток,
Едва тут ему не случился каюк.

Когда я таким образом прислуживал с тарелкою в руках, а дух мой был смущен различными воображениями и беспокойными мыслями, то и брюхо мое не оставляло меня в покое; оно ворчало, урчало и роптало беспрестанно, давая тем уразуметь, что заключенные в нем детины хотят выйти до вольного воздуха; я же замыслил пособить самому себе, дабы избавиться от несносного сего бурчания и приоткрыть дверцу, употребив на тот случай свое искусство, которому меня прошлой ночью обучил мой товарищ. Согласно оному наставлению, отвел я левую ногу и окорочек на возможную высоту и понатужился изо всех сил, что у меня было, и только собрался трижды проговорить тайком заклинание «je pète», как в миг преужасная та запряжка выкатилась

из заднпцы против всякого моего чаяния, и с таким превеликим грохотом, что я уже и не ведал, что творю; я так оробел, как если бы стоял на лесенке под самой виселицею, а палач вот-вот накинет мне петлю на шею, и в таком внезапном страхе пришел я в такое смятение, что уже не мог далее распоряжаться членами собственного своего тела, понеже во внезапном сем шуме уста мои также возмутились и не захотели уступить первенство заднице и дозволить ей одной держать слово, а им, сотворенным для речей и криков, проворчать свое втайне. Того ради заднице наперекор исторгли они то, что я собирался произнести тайком, прегромогласно и столь ужасно, как если мне резали бы глотку. И чем несноснее рокотали исподние ветры, тем страшнее извергалось сверху «je pète», как если бы вход и выход моего желудка бились об заклад, кто из них двоих сумеет прогреметь наиужаснейшим гласом. От всего того получил я немалое облегчение во внутренностях, зато немилостивого господина в лице наместника. От столь нечаянного вопля, трубного звука и задней пушечной пальбы почитай что все его гости протрезвели, а я понеже не смог, невзирая на все свои труды и усилия, совладать с теми ветрами, был разложен на кобыле и так распарен, что и посейчас вспомнить жарко. То были первые побои, которые я получил с тех пор, как в первый раз вдохнул в себя воздух, ибо я столь мерзко его испортил, меж тем как мы должны дышать им сообща. Тут принесли курильницы и свечи, а гости вытащили свои мускусные флаконы и бальзаминники и даже нюхательные табаки, однако же и лучшие ароматы не могли перебить той вони. Итак, спектакль, в коем играл я лучше, чем самый изрядный комедиант на свете, доставил брюху моему мир, горбу — палки, гостям — полные ноздри вони, а слугам — попечение водворить в покоях добрый запах.

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплициус зрит: на пиру кавалеры
Священника потчуют сверх всякой меры.

А когда сие миновало, то должен был я снова прислуживать, как и прежде. Священник же еще находился здесь и, как все прочие, был понуждаем к питию; он же отнекивался и сказал, что не охотник напиваться по-скотски. Напротив, возразил ему некий добрый гуляка, это он, священник, пьет, как скот, а он, питух, и прочие присутствующие здесь пьяницы, как человеки. «Ибо,— сказал он,— скотина выпивает столько, сколько ей по нутру и потребно для утоления жажды, так как не ведает, какое благо вку-

шать вино; нам же, людям, весьма любо, что мы обратили его себе на пользу и пропускаем в глотку благородный сок виноградной лозы, как поступали наши предки».— «Добро! — сказал священник,— однако приличествует мне держаться меры».— «Добро! — отвечал питух.— Честный муж держит слово»,— и с тем велел налить полною мерою здоровенный кубок, который, пошатываясь, поднес священнику. Но тот убежал, оставив питуха с полным ведерком в руках.

Как только спровадили священника, все пошло ходуном и явило такое позорище, как если бы сие угощение доставляло удобный случай и было назначено к тому, чтобы отмещевать друг другу, спаивая, с ног сваливая и всякому глуму подвергая, ибо как только накачают кого-либо, так что он уже не может ни сесть, ни стать, ни шагу ступить, то сие называлось: «Теперича мы квиты! Ты меня намедни допек, так я сегодня тебя допарил, вот и на тебя пришла отплата», и т. д. Тот же, кто мог выстоять и пить долее всех прочих, весьма тем похвалялся и мнил, что он немаловажная птица; под конец такой поднялся содом, словно все белены объелися. Глядеть на них было столь же диковинно, как на масленичное представление, хотя и не было там никого, кроме меня, кто бы тому удивился. Кто пел, кто плакал; один смеялся, другой горевал, один хулил бога, другой молился; иной прегромко кричал: «Эх, кураж!», а у иного язык присох к гортани; один спал и немотствовал, а иной тараторил без умолку, так что никто не мог и словечка вставить. Один повествовал о своих любовных проказах, а другой об устрашительных военных подвигах; иные толковали о церкви и божественных предметах, а иные обсуждали ratio status, политику, всесветскую и имперскую торговлю; некоторые перебегали с места на место, подобно ртути, и не могли нигде задержаться, а другие лежали в лежку, так что и пальцем пошевелить не могли, не говоря уже о том, чтобы ходить или прямо стоять на ногах; иные жрали, как молотильщики, словно целую неделю страдали от голодухи, а иные выблевывали снова все, что проглотили за целый тот день. Словом, все их деяния и поступки были столь забавными, дурацкими, странными, а притом еще греховными и безбожными, что против них отлучившийся от меня худой запах, за который я был столь немилосердно избит, мог почесться сущею шуткою. Под конец разгорелась на конце стола сурьезная перепалка; тут как зачали швырять друг другу в голову стаканами, кубками, блюдами и тарелками и драться не только кулаками, но и стульями, ножками от стульев, шпагами и чем ни попадя, так что у иных по ушам потек красный сок; однако ж мой господин тотчас же унял потасовку.

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Симплиций относит на кухню лисицу
С приказом сготовить на ужин с корицей.

А когда снова водворилось спокойствие, то перебрались искусные те пьяницы, забрав с собою бабенок и музыкантов, в другой дом, где покои были назначены и посвящены иным дурачествам. Мой же господин опустился на софу, ибо почувствовал колику не то от гнева, не то от пресыщения. Я оставил его лежать там, где он прилег, чтобы он мог успокоиться и заснуть; но едва дошел до дверей, как он пожелал меня подозвать, да не сумел. Он крикнул только: «Симпл!..» Я подскочил к нему и увидел, что у него глаза заходят, как у скотины, когда ее колют. Я стоял перед ним, как пень, и не знал, что делать; он же показал на поставец для напитков и пролепетал: «Пр...при...ы...ыы...неси... мне...ее...е..., по...оо...длец, ...бо...о...о...льшой... тааз..., мне...е...е... на-аадо... вы... пу...у...у...стить ли...ы...ыы...сицу!» Я поспешил сие исполнить и принес ему умывальный таз, но, когда я к нему подошел, щеки у него расперло, как барабан. Он проворно схватил меня за руку и приспособил так, что я принужден был держать тот таз у самого его рта. Сей разверзся внезапно с мучительными толчками, словно идущими от самого сердца, и исторг в помянутый таз столь свирепую материю, что я от нестерпимой вони едва не лишился чувств, особливо же (s. v.) оттого, что мокрые комочки брызнули мне в лицо. Я чуть сам туда не подбавил, но когда увидел, что он позеленел, то отложил сие намерение из страха и опасения, что душа его расстанется с телом вместе с той скверною, ибо выступил у него на челе холодный пот, а лицом он стал похож на умирающего. Когда же он очнулся, то приказал мне принести свежей воды, чтобы выполоскать рот и очиститься от винного перегару.

Засим велел он бурую ту лисицу унести прочь, что мне, ибо она наполняла серебряный таз, не показалось зазорным, а мнилось, что то блюдо с отменною закускою на четырех персон, которое вылить попусту никак не подобало. К тому же знал я твердо, что господин мой не худые яства собрал у себя в желудке, а, напротив, отменные и деликатные паштеты, также всевозможные печенья, птицу, дичину, домашнюю убоину, что все еще хорошо различить и узнать было можно. Я выкатился с этим блюдом, да не знал, куда нести его дальше и как тут поступить надлежит, спросить же у моего господина не осмеливался. Я пошел к гофмейстеру; ему объявил я сей прекрасный трактамент и спросил, как мне поступить с этой лисицей. Он же ответил: «Дурень, ступай и отнеси ее скорняку, пусть выделает из нее мех». Я спросил: «А где скорняк?» — «Нет,— сказал он, приметив мою простоту,— лучше

отнеси доктору, дабы он определил по ней, каково здоровье нашего господина». Я и впрямь отправился бы туда, подобно как с первым апреля, ежели бы гофмейстер не побоялся, как это еще обернется; а посему велел мне отнести тот сосуд на кухню с приказом, чтобы девки сию лисицу поскорее приготовили с перцем и корицей, что я с полным рачением исправил, чего ради те негодницы весьма меня поносили.

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Симплиций на странных танцоров дивится,
От страху в глазах у него все двоится.

А когда избавился я от того сосуда, господин мой уже вышел со двора; я догнал его возле некоего большого дома, где увидел залу, полную мужей, жен и всякой холостежи, которые столь проворно прыгали и мотали ногами, что все кругом так и кипело. Тут поднялся такой топот и гомон, что я возомнил, будто все они вздурились, ибо никак не мог догадаться, что они в таком бесновании и неистовстве замышляют. Да и облик их показался мне столь свирепым, страшным и ужасающим, что все власы мои ощетинились, и я не мог подумать иначе, что все они, кто ни на есть, повредились в разуме. Когда же мы подошли ближе, то я увидел, что то наши гости, которые еще до полудня были в своем уме. «Боже ты мой! — подумал я.— Что же такое вознамерились предпринять сии бедные люди? Ах, верно, обуревает их безумие!» А вскоре пришло мне на ум, что то, может статься, адские духи, кои, приняв сию личину, таким бездельническим скаканием и обезьянством глумятся надо всем родом человеческим; ибо полагал, что когда бы в них заключена была душа живая и носили они в себе подобие божие, то так не по-людски не поступали бы. А когда мой господин вошел в сенцы и направился в залу, то беснование как раз стихло, хотя они еще не переставали покачивать и потряхивать головами, скользить и чертить по полу башмаками, так что мне сдавалось, что они вознамерились истребить следы свои, которые оставили во время сего беснования. Пот, струившийся по их лицам, и тяжелое пыхтенье дозволяли мне заключить, что они сильно притомились, однако ж радостные их лица давали уразуметь, что оные труды были им не в тягость.

Меня разбирала превеликая охота узнать, куда столь дурацкое дело завести может; а посему спросил я у моего товарища и чаемого непритворного, надежного и сердечного друга, который незадолго перед тем обучил меня ворожбе, что сия ярость означает или к чему сие топтанье и мотанье клонится. Он же поведал

мне за чистую правду, что все присутствующие собрались тут единственно затем, чтобы сообща проломить пол в этой зале. «А не то, рассуди,— сказал он,— чего ради стали бы они еще так доблестно куролесить? Али ты не видишь, что от этой потехи стекла в окошках повыбиты? Точно так же будет и с этим полом».— «Господи боже! — воскликнул я.— Так ведь и мы принуждены тогда будем провалиться и в таком падении переломать ноги и свернуть шею?» — «Вестимо,— сказал мой товарищ,— к тому дело идет, и оттого-то им сам черт не брат. Ты еще увидишь, что когда они вдадутся в сию гибельную опасность, то каждый схватит пригожую бабенку или девицу; ибо говорят, что когда такая парочка сцепится, то вдвоем мягче падать». И так как я всему тому поверил, то напал на меня такой страх и такая боязнь перед смертию, что я уже не знал, куда мне деваться; а как музыканты, коих я до той поры не приметил, к сему подали голос и молодцы побежали к дамам, ровно солдаты на свои посты и к оружию, когда барабаны забьют тревогу, и всяк подхватил себе по бабенке, то представилось мне, что передо мной уже разверзается пол и я вместе со всеми прочими лечу вверх тормашками и вот-вот сломаю шею. А как зачали они скакать, да так, что все строение задрожало, ибо стали отплясывать потешную уличную, то подумал я: «Тут тебе и карачун пришел! Ну, Симплиций, глядишь ты на свет во последний раз!» Я полагал, что не иначе как разом рухнет все здание, а посему в прежестоком страхе ухватил внезапно некую даму знатного рода и отменных добродетелей, с коей господин мой в то самое время вел беседу, как медведь, за руку и повис на ней, словно репей. Но так как она дернулась прочь и не могла понять, что за дурацкие воображения взбрели мне на ум, то впал я в дикую десперацию и от преисполнившего меня отчаяния завопил, как если бы меня собирались умертвить. Однако и того еще было недовольно, ибо ушло из меня в штаны нечто, что издало такую чрезвычайную вонь, какую моему носу давненько чуять не доводилось. Музыканты внезапно смолкли, плясуны и плясуньи стали как вкопанные, а достохвальная дама, у коей я повис на руке, нашла, что ей нанесен афронт, ибо возомнила, что мой господин все сие подстроил ей в издевку. За что господин велел меня высечь, а потом запереть, куда ни есть, понеже в тот самый день я уже немало натворил всяких дурачеств. Помощники фурьеров, коим надлежало произвести экзекуцию, не только возымели ко мне сожаление, но и не могли учинить сего по причине лихой вони; а посему уволили меня от порки и заключили под лестницу в гусятник. С того времени неоднократно размышлял я о сем предмете и заключил, что excrementa, кои исходят от испуга и страха, более мерзкий источают запах, нежели когда кто примет проносное лекарство.

1-я гл. Симплиций в хлеву глядит исподтиха,
Как гусаку пособляет гусиха.

2-я гл. Симплиций речет, в кою пору мыться,
Дабы вреда не могло приключиться.

3-я гл. Симплиций пажу отплатил за пауку,
Поведав, какую сыграл он с ним штуку.

4-я гл. Симплиций взирает, с коликим нахальством
В Ганау надули большое начальство.

5-я гл. Симплиций чертями в геенну ведом,
Где потчуют бесы гишпанским вином.

6-я гл. Симплиций внезапно в рай попадает,
Телячье обличье там принимает.

7-я гл. Симплиций в телячьем чине исправен,
Стал меж людьми и скотами славен.

8-я гл. Симплиций о памяти слышит прение,
Потом суждение про забвение.

9-я гл. Симплиций многим на забаву лицам
Похвальную речь сочиняет девицам.

10-я гл. Симплиций речет о героях смелых
И о мастерах, в ремесле умелых.

11-я гл. Симплиций о жизни всетрудной тужит
Того господина, коему служит.

12-я гл. Симплиций приводит схолию ту,
Что ум неразумному дан скоту.

13-я гл. Симплиция речи кто ведать желает,
Пусть тот прилежно сие читает.

14-я гл. Симплиций беспечно резвится на льду,
Попал он к кроатам себе на беду.

15-я гл. Симплицию пало на злую долю
Беды и горя у кроатов вволю.

16-я гл. Симплиций скитается в темных лесах,
На двух злодеев наводит страх.

17-я гл. Симплиций зрит ведьм на шабаш сборы,
И сам попадает в бесовские своры.

18-я гл. Симплиций просит о том не мыслить,
Что льет он пули, лишь только свистни.

19-я гл. Симплициус снова играет на лютне,
Готов он приняться за старые плутни.

20-я гл. Симплиций с наставником ходит по лагерю,
Где в кости ландскнехты играют сполагоря.

21-я гл. Симплиций заводит с Херцбрудером дружбу,
Сослужит она им немалую службу.

22-я гл. Симплициус видит, как злым наговором
Невинного друга ославили вором.

23-я гл. Симплициус брату дает сто дукатов,
Дабы откупился от злобных катов.

24-я гл. Симплиций речет про два предсказанья,
Кои сбылись наглецу в наказанье.

25-я гл. Симплиций становится честной девицей,
Но видит, что то никуда не годится.

26-я гл. Симплициус схвачен как хитрый колдун,
Вот-вот придет ему злой карачун.

27-я гл. Симплициус спасся в сумятице битвы,
Видит, как профос убит без молитвы.

28-я гл. Симплициус зрит: победой увлечен,
Херцбрудер и сам попадает в полон.

29-я гл. Симплиций толкует тут о солдате,
Как в Парадиз затесался он кстати.

30-я гл. Симплиций был егерем, ан солдатом стал,
Солдатскую жизнь дотошно узнал.

31-я гл. Симплиций толкует, как дьявол сало
Скрал у попа и что потом стало.

ritas
Luperum Ra
pacitas.
Schau die gemen ſchte-
Wölff allhier
Wie hie der Simplex ſtellet für
Als Wolffs-verwildte Men
ſchen-Thier.

«Симплициссимус». Книга первая, глава четвертая.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплиций в хлеву глядит исподтиха,
Как гусаку пособляет гусиха.

Сидючи в гусятнике, рассудил я о сем предмете и составил себе мнение, равно как о танцах, так и о пьянстве, что было уже мною изложено в первой части «Черного и Белого», и того ради нет нужды здесь более о том распространяться. Однако ж не могу умолчать, что тогда я еще был в нерешимости, впрямь ли те танцоры столь взъярились, что намеревались проломить пол, или же сие было мне только втолковано. Теперь же надлежит мне поведать, как я выбрался из гусятника. Битых три часа, а именно до тех пор, как окончился Praeludium Veneris [1] (пречестный танец, должен я заметить), принужден был я высидеть в собственной своей скуке, покуда не подкрался кто-то тишком и не зачал побрякивать засовом. Я затаился, словно свинья, что брыжжет в лужу; детина же, возившийся возле дверей, не только открыл их, но и сам проскочил внутрь, и с таким проворством, с каким бы я охотно выскочил наружу; сверх того волочил он за собою сюда за руку женку, подобно тому как довелось мне видеть во время танцев. Я не мог знать, что тут поведется; но понеже в тот самый день привелось дурацкому моему разуму повстречаться со множеством диковинных приключений, то малость к ним приобык и предался на то, чтоб впредь терпеливо и безропотно сносить все, что ниспошлет мне судьба; а посему притулился у двери со страхом и трепетом, ожидая, чем все то кончится. Тотчас же возник промеж них шепот, из коего я, вправду, уразумел только, что одна сторона сожалела о лихой вони в сем месте (каковая точно происходила из моих штанов), другая ж сторона, напротив, утешала первую. «По чести, прекрасная дама,— сказал он,— я неотменно

[1] Прелюдия Венеры *(лат.)*.

от всего сердца сокрушаюсь, что завистливая планета не благоприятствовала нам вкусить наслаждение от плодов любви в ином достойнейшем сего месте. Однако ж всем могу вас уверить, что сладостное ваше присутствие производит в мерзостном сем закуте более приятностей, нежели в самом парадизе их имеется». Засим услышал я поцелуи и приметил диковинные позитуры; но не знал, что то было или должно было бы означать, того ради еще более затаился и так тихо, словно мышь. А как поднялся, кроме того, некий забавный шум, и гусятник, сколоченный под наружной лестницей из одних только досок, зачал гораздо и продолжительно трещать, особливо же как бабенка прикидывалась, что при том упражнении соделалась ей немалая боль, то подумал я: «Сие суть двое от тех бешеных людей, кои пособляли проломить пол, а теперь пришли сюда, дабы и здесь одинаково с тем поступить и лишить тебя жизни!» Коль скоро эти мысли полонили мой разум, столь же скоро устремился я к двери, чтобы уйти от смерти, через то и выскочил я со столь жестоким криком, какой, естественно, был подобен тому, что привел меня в сие место; однако ж был я столь проворен, что задвинул за собой засов и стал искать в дому отпертых дверей. То была первая свадебка из тех, на коих довелось мне на своем веку когда-либо гулять, невзирая на то что я не был к ней приглашен и не осмелился поднести подарок, хотя впоследствии новобрачный тем дороже вписал мне ту пирушку в счет, какой я своим чередом честно оплатил. Благосклонный читатель, я поведал сию историю не затем, чтобы ты вдосталь над ней посмеялся, но для того, чтобы рассказ мой был отменно полон и ты, читатель, уразумел, какие честные плоды от танцев ожидать можно. И в том я точно уверен, что во время танцев производят такие негодные и бездельнические сделки, коих потом вся честная кумпань принуждена стыдиться.

ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплиций речет, в кою пору мыться,
Дабы вреда не могло приключиться.

Хотя таким образом я преблагополучно утек из гусятника, однако ж теперь только приметил свое несчастье, ибо штаны мои были полнехоньки, и я не ведал, куда с такой проносной кашей деваться. В покоях моего господина было все тихо и сонно; а посему я не осмелился приблизиться к страже, что стояла перед домом; а в главной караульне, или corps de garde [1], меня бы не потерпели,

[1] кордегардии, гауптвахте *(франц.)*.

ибо от меня шла непомерная вонь; оставаться в проулке было невмочь от холода, так что я не знал, куда притулиться. Было далеко за полночь, когда взошло мне на ум, что надобно поискать прибежище у многократно помянутого священника. Следуя сему благоизобретению, застучал я в дверь и был столь досадителен, что под конец служанка нехотя меня впустила. Но когда она расчухала, с чем я пришел (ибо долгий ее нос тотчас же донес ей о моей тайности), то стала еще сердитей. Того ради зачала она со мной лаяться, каковую перебранку скоро заслышал священник, который к тому времени почитай что уж выспался. Он кликнул нас обоих и велел подойти к постели, как если бы и сам пожелал приобщиться к доброму тому запаху. Но коль скоро он приметил, где раки зимуют, то наморщил нос, сказав, что, невзирая на все предписания календарей, нет ничего лучшего в моем теперешнем состоянии, как помыться. Он приказал служанке, вместе с тем как бы ее упрашивая, выстирать, покуда не настал полный день, мои штаны и повесить возле печи в каморке, а меня уложить в постель, ибо видел, что я совсем закоченел от морозу. Едва я обогрелся, как начало светать, и священник поднялся с постели, чтобы проведать, как мне можется и как справлены мои дела, ибо моя рубаха и штаны были еще мокрехоньки и я не мог встать и подойти к нему.

Я поведал ему обо всем и объявил споначалу о том искусстве, какому обучил меня мой товарищ и сколь худо оно оборотилось. Далее рассказал я, что гости, после того как он, священник, отошел прочь, совсем вздурились и (поелику меня в том уверил мой камрад) вознамерились проломить в доме пол; item какому устрашительному подпал я страху и каким родом пытался спастись от погибели, за что, однако, был заточен в гусятник, а также какие речи и деяния довелось мне в оном слышать от тех двоих, что меня снова освободили, и каким образом я их обоих вместо себя там запер. «Симплиций,— вскликнул священник,— вшивое твое дело! Тебе тут изрядно повезло, однако ж я в опасении, ахти как я опасаюсь, что ты все пустил по ветру. А ну, скорехонько вылезай из постели да проваливай отсюдова, чтобы и мне не попасть вместе с тобой в немилость к твоему господину, когда накроют тебя в моем доме». Итак, принужден был я уйти в мокром платье и впервые испытать, в какой чести у всякого тот, кто приобрел благоволение своего господина, и как, напротив того, все глядят на него косо, когда милость сия поколеблена или пошла прахом.

Я отправился в покои моего господина, где все еще спали непробудным сном, кроме повара и нескольких служанок. Сии последние прибирали комнаты, в коих вчера шла пирушка, а повар пережаривал остатки на завтрак или, лучше сказать, на закуску.

Допрежь всего забрел я к девушкам: там повсюду было навалено битое стекло как рюмочное, так и оконничное, а кое-где полно тем, что выходило у гостей верхом и низом, а в иных местах стояли превеликие лужи от расплеснутого вина и пива, так что пол уподоблялся некоей ландкарте, на коей изображены и представлены очам различные моря, острова и надежные сухие материки, куда может ступить стопа человека. Вонь же стояла во всем покое куда несноснее, нежели в моем гусятнике; того ради пребывание мое там было недолгим; я отправился на кухню досушивать у огня свое платье прямо на теле, со страхом и трепетом ожидая, как-то обернется ко мне Фортуна, когда господин мой проспится. При сем размышлял я о глупости и неразумии мира, представляя себе все, что приключилось со мной прошедшим днем и сей ночью, а также все, что довелось мне, кроме того, видеть, слышать и испытать. И сии мысли произвели во мне то, что я пожелал воротить себе ту скудную и бедственную жизнь, которую я вел с отшельником и теперь почитал за счастливейшую.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Симплиций пажу отплатил за науку,
Поведав, какую сыграл он с ним штуку.

А когда господин мой поднялся с постели, то послал лейб-егеря привести меня из гусятника; сей принес ведомость, что нашел двери раскрытыми, а позади засова прорезана ножом дыра, посредством коей заключенный и освободил себя. Однако ж еще до того, как пришло сие известие, проведал мой господин от других, что я уже давненько сижу на кухне. Меж тем повсюду были разосланы слуги, чтобы собрать к завтраку вчерашних гостей, в том числе и священника, коему было велено явиться поранее прочих, ибо господин мой пожелал иметь с ним обо мне беседу до того, как все усядутся за стол. Сперва спросил он священника, как, по его разумению: смышлен я или с придурью, или же столь прост, или же, напротив, столь злонравен, и поведал ему затем все, сколь бесчинно вел я себя прошедшим днем и вечером как за столом, так и во время танцев, что́ некоторые из его гостей дурно приняли и в худую сторону истолковали,— будто бы все сие с умыслом и к нарочитому их афронту было подстроено; item что он, дабы обезопасить себя от подобной насмешки, какую я еще мог учинить, велел запереть меня в гусятник, откуда я, однако, выбрался и теперь обретаюсь на кухне, словно дворянчик, коему не надлежит больше ему прислуживать; отродясь не доводилось ему перенесть такую

шутку, какую сыграл я над ним в присутствии толикого множества почтенных людей, а посему поступит со мной не иначе, как задав мне хорошую порку, и так как я кажусь ему теперь столь глупым, то и прогонит меня ко всем чертям.

Меж тем как господин мой так на меня жаловался, мало-помалу собрались гости. А когда он все выговорил, то священник ответил, что ежели господину губернатору будет угодно уделить ему короткое время и выслушать его с малым терпением, то он мог бы порассказать о делах Симплиция немало забавного, чудней чего и придумать нельзя, а притом не только откроется совершенная его невинность, но и те, кои по причине его поступков почли себя оскорбленными, отложат все неправые мысли. Сие было ему дозволено, однако ж с тем, чтобы произошло это за столом, дабы вся кумпань получила надлежащую от того потеху.

Когда наверху в покоях шла обо мне беседа, то на кухне поладил со мною сумасбродный фендрик, кой сам друг заперт был в гусятнике заместо меня, и угрожающими словами, а также талером, сунутым мне в руку, добился того, что я обещал ему помалкивать о его делишках. Стол был накрыт и, как в прошедший день, уставлен кушаньями, а за ним полным-полно гостей. Полынное, шалфейное, девятисиловое, квитоловое и лимонное вино вместе с гиппократовой настойкой должны были вновь ублажать их головы и желудки; ибо были они почитай что все чертовы мученики. Первая их беседа пошла о самих себе, а именно, как они вчера изрядно друг друга накачали, однако ж не сыскалось среди них ни одного, кто б захотел сознаться, что был полон до краешков, хотя повечеру и клялись они, подчас даже черным словом, что не могут боле в себя вместить, и паки и паки восклицали: «Вино — мой господин!» Некоторые, правда, признавались, что они под изрядным хмельком, другие же уверяли, что как только малость захмелели, то уже больше не упивались. Когда же прискучило им толковать и слушать о собственных дурачествах, то пришлось претерпеть и бедному Симплицию; губернатор сам напомнил священнику, что ему надлежит объявить о различных забавных вещах, как он обещал.

Сей сперва попросил не поставить ему в вину, ежели он принужден будет употребить слова, кои могут быть почтены не приличествующими его духовному сану, и повел свой рассказ спочалу о том, по какой естественной причине терзали меня внутренние ветры, и какую учинил я через то непристойность секретарю в канцелярии, и какому искусству вместе с ворожбою был обучен, и как худо поставил его на пробу; item сколь странными показались мне танцы, понеже ничего подобного я никогда не видывал; и какое на вопрос о сем получил я от моего камрада объяснение,

по какой причине я вцепился в благородную даму и попал в гусятник. Все сие, однако ж, изъяснил он благопристойнейшим образом, так что все чуть не полопались от смеху, оправдав притом мою простоту и неразумение столь обходительно, что я снова вошел в милость у моего господина и был допущен прислуживать за столом; однако ж о том, что приключилось со мною в гусятнике и каким образом я из него выбрался, он не захотел сказывать, ибо опасался, как бы не ожесточились против него некие сатурнические бараньи лбы, кои мнят, что духовным всегда подобают одни только кислые мины. Напротив того, мой господин, чтобы позабавить гостей, спросил меня, чем же я заплатил моему товарищу за то, что он обучил меня опрятному сему искусству, а как я ответил: «Ничем», то он сказал: «Ну, так я ему уплачу сполна за твое ученье»,— и велел тотчас же разложить его на кобыле и всыпать ему горячих тем же родом, как было со мною прошедшим днем, когда я испытывал сие искусство и нашел его неверным.

Теперь господин мой был довольно уведомлен о моей простоте, а посему пожелал так меня настроить, чтобы еще больше потешить себя и своих гостей; он изрядно усмотрел, что музыканты и в грош не идут, покуда я под рукой, ибо дурацкими своими выходками я мог за́ пояс заткнуть целый оркестр. Он спросил, чего ради я, сидючи в гусятнике, прорезал дверь и дал тягу. Я ответил: «То, верно, соделал кто другой». Он спросил: «Кто ж тогда?» Я сказал: «Верно, тот, кто ко мне пришел».— «А кто к тебе пришел?» Я ответил: «О том я никому не смею сказать». Мой господин был проворен разумом и отлично видел, как меня провести: того ради опередил он меня в мыслях и спросил: «Кто же тебе заказал сие сказывать?» Я не медля отвечал: «Сумасбродный фендрик!» Однако ж по общему смеху тотчас же приметил, что сделал большую промашку, а сидевший вместе со всеми сумасбродный фендрик стал красен как рак, и когда бы я не пожелал болтать дальше, то он бы мне сие охотно дозволил. Но моему господину стоило только вместо приказа кивнуть сумасбродному фендрику, и я уже смело мог объявить обо всем, что знал. Потом спросил меня господин: «За каким делом пришел сумасбродный фендрик к тебе в гусятник?» Я ответил: «Он привел туда девицу».— «А что же учинил он далее?» — спросил господин. Я ответил: «Мнится мне, что он собирался в том хлеву помочиться». Мой господин спросил: «А что при сем творила девица? Неужто она не застыдилась?» — «Вестимо нет, господин,— сказал я,— она задрала юбку и захотела к сему (мой высокочтимый, скромность, целомудрие и добродетель возлюбивший читатель, прости неучтивому моему перу, что пишет оно столь грубо, как я тогда молвил) подложить». Через то поднялся среди всех присутствующих такой хохот, что господину моему не

стало возможности меня слышать, не говоря уже о том, чтобы выспрашивать далее; правда, то было более и не надобно, ибо тогда честная и благонравная девица (scil.) [1] также подпала бы насмешкам.

Засим гофмейстер объявил за столом, что я намедни воротился с болверка, или крепостного вала, и сказал, что мне ведомо, как произвесть гром и молнию; я-де видел на таких полутелегах большие стволы, изнутри полые; в них-де запихали луковичные семена вместе с такой белой морковкой, у коей обрезан хвост, после чего стволы малость пощекотали зубчатым колышком, отчего спереди вылетели дым, гром и адское пламя. Они немало еще навыдумывали подобных шуток, так что, почитай, во весь завтрак ни о чем другом, как только обо мне, не говорили и ни над кем другим не смеялись. Сие привело ко всеобщему заключению на мою погибель, что ежели меня как следует допечь, то со временем сделаюсь я редкостным застольным шутом, коим можно развеселить могущественного властелина и распотешить простого смертного.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Симплиций взирает, с коликим нахальством
В Ганау надули большое начальство.

А когда собрались все снова, чтобы по вчерашнему пировать и бражничать, то объявили стражники со вручением письма губернатору об ожидавшем у ворот комиссариусе, что был уполномочен повелением от Военной коллегии короны шведской произвесть смотр над гарнизоном и визитацию всей крепости. Сие отравило все шутки, и радостный смех вдруг ослабел, как пузырь у волынки, откуда дух вышел. Музыканты и гости рассеялись, исчезая, словно табачный дым, кой оставляет после себя один только запах; мой господин вместе с адъютантом, несшим ключи, поспешно выкатился к воротам в сопровождении отборного отряда стражников и множества факелов, дабы самому принять чернильную крысу, как он его называл. Он сулил, чтобы черт тысячу раз свернул ему шею, прежде чем тот войдет в крепость. Но как только он его впустил и приветствовал, стоючи на внутреннем подъемном мосту, то малого недоставало, чтобы он сам не подхватил стремена, дабы явить совершенную преданность, и взаимные почести в тот миг достигли того, что комиссариус спешился и пошел с моим господином к его ложементу, и тогда каждый пожелал идти по левую

[1] Scil, (scilicet) — разумеется *(лат.)*.

руку. «Ах,— подумал я,— сколь удивительно лживый дух управляет людьми, и как он одного с помощью другого обращает в дурня». Мы приблизились таким образом к главной караульне, и часовой окликнул: «Кто там?», хотя и видел, что то был мой господин. Сей не пожелал ответить, уступая честь другому; того ради еще усерднее прикидывался караульный, повторяя свои крики. Напоследок, на последний оклик: «Кто там?», сказал швед: «Тот, кто дает деньги». А как мы миновали караульню, и я плелся позади, то довелось мне услышать помянутого часового, который был новобранцем, а до сего по ремеслу своему достаточным молодым крестьянином из Фогельсберга, как он проворчал: «Видать, ты прожженный лгунище! Тот, кто дает деньги! Живодер, что берет деньги, вот ты кто! Ты у меня столько их повытянул, что я желаю, чтоб тебя градом побило до того, как ты снова выедешь из городу». С того часу возымел я в мыслях, что сей чужой господин в коротком бархатном камзоле, должно быть, святой, ибо не только не задевают его проклятья, но и ненавидящие его оказывают ему всяческую честь, любовь и приятство; в ту самую ночь его изрядно угостили, напоили до умопомрачения и еще к тому уложили спать в прекрасную постель.

В последующие дни на смотру происходила изрядная кутерьма. Даже я, несмышленый простофиля, был довольно проворен, чтобы мудрого комиссариуса (каковые чины и должности поистине не малым детям вручаются) обмануть и провести за нос, чему я скорее чем в час обучился, понеже и все то искусство в том состояло, чтобы счесть до пяти и до девяти и оное выбивать на барабане, ибо был я еще мал ростом, чтобы презентовать собою целого мушкетера. На сей случай вырядили меня в заемное платье (ибо мои короткие штаны к такому делу не сгодились) и выставили с заемным барабаном, нет сомнения, для того, что и сам-то я весь был заемный; с тем и прошел я смотр благополучно. Но понеже не полагались на мою простоту, что я удержу в памяти непривычное имя, на которое надобно мне откликнуться и выступить вперед, то должен был я остаться Симплициусом; прозвище сочинил мне сам губернатор и повелел внести в списки Симплициуса Симплициссимуса, поставив меня, словно блядина сына, первым в роде, хотя, по собственному его признанию, лицом я был схож на родную его сестру. Я и впоследствии, до тех пор, пока не узнал настоящее, удержал сие имя и прозвище, под каким нарочито хорошо и сыграл свою роль к немалой выгоде губернатора и невеликой потере для шведской короны, что было единственной службой, какую сослужил я ей за всю свою жизнь, того ради и враги ее не имеют причин на меня злобиться.

ПЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций чертями в геенну ведом,
Где потчуют бесы гишпанским вином.

По отбытию комиссариуса призвал меня тайно в наемный свой покой помянутый священник и сказал: «О Симплиций, я сокрушаюсь о твоей юности, и будущее твое злополучие подвигает меня к состраданию. Внемли, сын мой, и знай точно, что вознамерился господин твой лишить тебя всякого разумения и соделать из тебя дурака, поелику уже повелел он на сей случай изготовить для тебя платье. Поутру будешь ты принужден вступить в ту школу, где назначено тебе оставить разум; в оной, нет сомнения, станут тебя столь жестоко пытать, что ты, когда только бог и естественные средства тому не воспрепятствуют, нет сомнения, станешь сумасбродом. Но понеже таковое ремесло сумнительно и опасно, расположился я ради благочестия твоего отшельника и собственной твоей простоты по нерушимой христианской любви оказать тебе необходимым советом и спасительным средством вспоможение и вручить тебе настоящее лекарство. А посему следуй моему наставлению и прими сей порошок, кой такою мерою укрепит мозг твой и память, что ты, не повреждая разума, обретешь силу преодолеть все с легкостию. И еще вот тебе бальзам, натри им себе виски, темя и затылок, а также ноздри, и употреби оба средства вечером, отходя ко сну, поелику ни в едином часе не можешь ты быть уверен, что тебя не подымут с постели. Однако ж смотри и прилежно примечай, чтобы о сем предостережении и переданном тебе снадобье никто не проведал, а не то нам обоим придется худо. И когда подвергнут тебя проклятому сему лечению, не всему внемли и не во все веруй, в чем захотят тебя убедить, однако ж прикидывайся, как если бы ты всему и впрямь верил. Говори мало, дабы приставленные к тебе не приметили, что обмолачивают пустую солому, а не то продлят они твою муку, хотя и не могу я знать, каким родом станут они с тобой обходиться. Однако ж, как обрядят тебя в дурацкое платье и шутовской колпак, то снова приди ко мне, чтобы я мог послужить тебе дальнейшим советом. Меж тем хочу я помолиться всевышнему, дабы сохранил тебе разум и телесное здравие!» После сего вручил он мне порошок и бальзамическую мазь, с чем я и отправился восвояси.

Как сказал о том священник, так и случилось. По первом сне явились к моей постели четверо в ужасающих бесовских личинах; сии скакали вокруг, словно фигляры и масленичные скоморохи; один с раскаленными вилами, другой с факелом; а двое остальных

кинулись на меня, сволокли с постели, поплясали со мною несколько времени и силою напялили на меня платье. Я же прикидывался, как если бы почитал их за всамделишных натуральных чертей, поднял прежалостнейший вопль и произвел на лице испуганные кривлянья; но они возвестили мне, что должен я за ними последовать. Затем обвязали они мне голову полотенцем, так что не мог я ни видеть, ни слышать, ни кричать. И повели они меня, бедного простака, дрожавшего, как осиновый лист, различными окольными путями по многим лестницам то вверх, то вниз и под конец завели в погреб, где полыхал большой огонь, и когда развязали меня, то начали потчевать гишпанским вином и мальвазией. Они изрядно втолковали мне, что я помер и днесь нахожусь в преисподней, понеже я прилежно прикидывался, будто я всему тому верю, что они мне налгали. «Пей веселей,— восклицали они,— ведь тебе суждено навеки у нас остаться. А коли не захочешь пристать к доброму кумпанству, то принужден будешь идти в настоящий огонь!» Бедняги притворно меняли голоса и речь, дабы я не мог их узнать; однако ж я тотчас приметил, что то господина моего фурьеры, но не показал виду, а посмеивался себе в кулак, что те, кому надлежит обратить меня в дурня, сами принуждены быть передо мной дураками. Я пил налитое мне гишпанское вино, однако ж они упивались более меня, понеже оный небесный нектар не часто достается подобным детинам, и я могу еще в том поклясться, что они скорей налились до краешек, нежели я. А когда, по моему разумению, настало надлежащее время, представил я, что шатаюсь туда и сюда, как довелось мне намедни видеть у гостей моего господина, и под конец вовсе не желал пить, а только спать; напротив того, подкалывали они меня вилами, кои во все время лежали у них в огне, и гоняли по погребу из одного угла в другой, так что мне мнилось, как будто сами они вздурились, ибо должен был я больше пить или, по крайности, совсем не спать. И когда я в такой травле свалился с ног, как я тогда нередко поступал с умыслом, то сгребли они меня снова и прикидывались, будто вознамерились кинуть в огонь. Итак, выпала мне доля сокола, коего неволят без сна, что было для меня тяжким крестом. Правда, в рассуждении упития и сна я бы отлично мог противу них выдержать, однако ж они не оставались все вместе, а сменяли друг друга; того ради под конец привелось мне быть внакладе. Три дня и две ночи провел я в дымном сем погребе, где не было иного света, кроме как от разложенного там огня; оттого голова моя зачала бродить и яриться, как если бы восхотела она лопнуть, так что под конец должен был я измыслить хитрость, чтобы освободиться от той муки и моих мучителей; я поступил, подобно лисице, что брызжет мочой

в глаза собакам, когда иначе не надеется уйти от них: и понеже как раз побуждала меня натура отправить нужду (s. v.), в то ж время засунул я палец в глотку, возмутив тем в себе рвоту таким образом, что я сразу учтиво наполнил (моим добром) штаны и заблевал весь камзол, отплатив за ту пирушку нестерпимой вонью, так что, казалось, и черти мои не смогли долее при мне оставаться. Тут завернули они меня в холщовую простыню и прибили столь безжалостно, что у меня чуть было все внутренности и вместе с ними душа не полезли наружу, от чего я толико ослабел и лишился всех чувств, что лежал, подобно мертвому; и я не знаю, что было со мной далее, как если бы лишился я жизни.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

Симплиций внезапно в рай попадает,
Телячье обличье там принимает.

А когда пришел я в себя, то обретался уже не в пустом погребе с чертями, а в изрядном зале на попечении трех старух наискареднейшего вида, каких только когда-либо земля носила. Поначалу, едва приоткрыв глаза, почел я их за натуральных исчадий адовых, однако ж, как я уже перед тем читывал древних языческих поэтов, то принял их за Эвменид или, по крайности одну из них, за Тисифону самолично, коя прибыла из геенны, дабы лишить меня разума, подобно Атаманту, ибо наперед знал, что я для того и был тут, чтобы обратиться в дурня. Глаза у нее были словно блуждающие огни, а меж ними торчал долгий костлявый ястребиный нос, коего конец или острие не иначе как доставал до нижней губы. В пасти ее усмотрел я всего только два зуба, однако были они столь совершенны, длинны, круглы и толсты, что любой из них по виду едва ли не с безымянным пальцем, а по цвету с багряным золотом сравнить было возможно. Одним словом, кости тут имелось довольно на целый рот зубов, только весьма худо ее разделили. Лицом сия старуха походила на кусок кордуанской кожи, а белые ее космы свисали странно всклокоченные, как если бы только что подняли ее с постели. Долгие ее груди ни с чем иным сравнить не умею, как только с двумя ослабелыми и обвислыми бычачьими пузырями, из коих выпущены две трети заключенного в них духу; в конце каждой свисал бурый сосок в полпальца длиной. Поистине вид ужасающий, кой ничем иным послужить не мог, как изрядным средством от безрассудной горячности похотливых козлов. Другие две были нимало не красивей, не считая сплюснутых обезьяньих носов и несколько пристойнее надетых платьев. А когда я малость

отудобел, увидел я, что то наша судомойка, а те две фурьерские женки. Я притворился, будто разбит всем телом и не могу пошевелиться, как и вправду не было у меня тогда охоты пуститься в пляс, когда сии честные старые мамушки догола меня раздели и, словно новорожденного младенца, омыли от всякой скверны. Однако ж производили сие с отменной мягкостью; во время какой работы оказали они великое терпение и преизящное милосердие, так что я им чуть не объявил, как ладно еще обстоят мои дела. Однако ж помыслил: «Э, нет, Симплиций! не должно иметь тебе доверенность ни к одной старой бабе, а подумать надобно, что и то будет немалая victoria [1], когда сможешь ты при своей младости провести трех прехитрых старых потаскух, коим только с чертями в свайку играть; и в случае сем почерпнешь упование, что, возрастая в летах и придя в совершенный возраст, достигнешь ты еще большего». А как тем временем покончили они со мной, то уложили в изрядную постель, где я и уснул без всякого укачивания; они же пошли и унесли с собою вместе с моим платьем и прочими нечистотами бадейки и прочую утварь, в чем они меня обмывали. По моему рассуждению, провел я в беспрестанном сне более суток; и когда я вновь пробудился, у изголовья моего стояли два крылатых отрока в белых рубахах, великолепно изукрашенных тафтяными лентами, жемчугом, драгоценностями, золотыми цепями и другими взрачными предметами. Один держал золоченый умывальный таз, наполненный доверху вафлями, блинчиками, бисквитами, марципанами и разными другими заедками, а у другого в руках был золоченый кубок. Сии ангелы, как они себя объявляли, восхотели меня уверить, что отныне я обретаюсь в раю, ибо столь счастливо претерпел в чистилище и от черта вместе с его матушкой навеки избавился; того ради надлежит мне только требовать, чего душа моя желает, поелику, что только мне любо, всего у них вдосталь или же в полной их власти сюда доставить. Жажда обуревала меня, и понеже видел я перед собой кубок, то пожелал только пития, что и было мне подано более чем благосклонно. Однако ж было то не вино, а приятный сонный напиток, который я неукоснительно проглотил, и оттого снова заснул, как только он во мне согрелся.

На следующий день пробудился я вновь (ибо спал до той самой поры), однако же обрел себя уже не в постели, не в прежнем зале с ангелами и еще того менее в самом царствии небесном, а в моем старом гусятнике. И была там паки тьма кромешная, как в недавнем погребе; и сверх того было на мне платье из телячьей шкуры шерстью наружу; штаны были на польский или швабский лад,

[1] победа *(лат.)*.

а камзол еще того нарядней и сшит на дурацкий манер. А сверху напялили на меня до самой шеи колпак наподобие монашеского капюшона, украшенный парой красивых больших ослиных ушей. Я сам принужден был рассмеяться на злосчастную мою планету, ибо по гнезду и перьям тотчас приметил, какой птицей надлежит мне стать. Тогда-то впервые начал я размышлять о самом себе и о лучшем своем уделе, и как было у меня довольно причин, дабы возблагодарить вышнего за то, что сохранил он мне разум в полном здравии, а также с великим усердием обратиться к нему с молением, чтобы и впредь он меня охранял, направлял и провождал. Я положил намерение придерживаться шутовства, как только возможно, и терпеливо ожидать, что еще ниспошлет мне судьба.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций в телячьем чине исправен,
Стал меж людьми и скотами славен.

Посредством дыры, кою прежде сего прорезал в двери сумасбродный фендрик, легко мог бы я освободить себя; но, понеже надлежало мне быть дурнем, оставил я сие втуне и не только поступил, как дурак, который не столь смышлен, чтобы уйти самому, но и прикинулся голодным телятей, что скучает по матери. Мое мычание вскорости было услышано теми, кто к сему был приставлен, ибо двое солдат подошли к гусятнику и спросили: «Кто там?» Я отвечал: «Вы, дурни, али не слышите, что здесь теленок?» Они отперли хлев, вывели меня наружу и дивились, что теленок может речь вести, и сие пристало им, как принужденные ужимки новоиспеченному неискусному комедианту, когда он персону, которую надлежит изобразить, не весьма-то ловко представляет, так что я подумывал, не должен ли я им в той шутке прийти на помощь. Они посоветовались, что надлежит предпринять, и согласились на том, чтоб поднести меня губернатору, а он их богаче одарит, нежели б заплатил им за меня мясник, ибо я разумею говорить. Они спросили, ладно ли идут мои дела. Я ответил: «Отменно худо!» Они спросили: «Отчего ж?» Я сказал: «Да оттого, что здесь в обычае честных телят запирать в гусятник! Надлежит вам, детинам, ежели того хотите, ведать, что предстоит мне вырасти достославным быком, так что и воспитать меня должно, как то честному тельцу приличествует». По окончании краткого сего дискурса отвели они меня проулком прямо в губернаторов дом; за ними следовала превеликая толпа мальчишек, и так как они, подобно мне, мычали по-телячьему, то слепец на слух заключить мог, что мимо гонят

стадо телят; однако ж по виду было то сборищем старых и молодых дурней.

Итак, двое тех солдат презентовали меня губернатору, как если бы во время фуражировки заполучили меня в добычу. Он одарил их деньгами на пропой, мне же посулил, что я получу от него еще лучшие вещи. Я помыслил, как малый у золотаря, и сказал: «Добро, господин, однако ж не следует замыкать меня в гусятник, ибо мы, телята, того не сносим, когда надлежит нам возрасти в добрую рогатую скотину!» Губернатор наилучшим образом обнадежил меня и почел себя великим искусником, что сотворил из меня презабавного дурака; я же, напротив, думал: «Эге, любезный мой господин, помедли малость; я претерпел огненную пробу и в ней закалился; теперь давай испытывать, который из двух проведет другого за нос!»

Меж тем некий злополучный мужик гнал скотину на водопой; как только я сие увидел, то оставил губернатора и поспешил с телячьим мычанием за коровами, как если бы захотел сосать вымя. А те, едва я к ним приблизился, ужаснулись меня сильнее, нежели волка, хотя и был я облачен в ихнюю шкуру. И они так всполошились и разбежались во все стороны, как если бы в августе бросили посреди их гнездо, полное шершней, так что хозяин уже не смог согнать их вместе, что произвело немалую потеху. В мгновение ока сбежалась толпа народу, чтобы поглазеть на шутовское сие представление, и мой господин смеялся так, что чуть не лопнул, а потом сказал: «От одного дурня сотня других родится». Я же помыслил: «Ухвати за нос, да самого себя, ибо ты как раз тот, о ком речь держишь».

Подобно тому как всяк с того времени называл меня Теля, так и я, в свой черед, величал каждого особливым насмешливым прозвищем; оные были, по мнению многих, а паче всего по рассуждению моего господина, весьма метки, ибо каждого окрестил я, как то требовало его свойство. Одним словом, всяк почитал меня за неразумного дурня, а я каждого за отменного дурака. Сей обычай, как я приметил, употребителен еще и поныне, поелику всякий доволен своим умом и мнит себя разумнейшим среди всех прочих, хотя и не лживо сказано: «Stultorum plena sunt omnia» [1].

Сказанная потеха, какую учинил я с мужиковым стадом, скоротала нам и без того короткое утро; ибо стояла тогда зима как раз у самого солнцеворота. За обеденным столом прислуживал я, как и прежде, но вместе с тем выкидывал диковинные коленца; и как пришел черед меня накормить, то никто не мог меня прину-

[1] «Всюду полно глупцов» *(лат.)*.

дить отведать какого-либо блюда или напитка, что на потребу людям: я просил только травы, какую достать в то время было никак невозможно. Господин мой повелел принести от мясника две свежие телячьи шкуры и обрядить в них двоих отроков. Сих подсадил он ко мне за стол и угостил нас по первому блюду зимним салатом, приказав нам оказать над ним свою храбрость; также повелел он привести живого теленка и с помощью соли приохотить его к салату. Я уставился оцепенелыми очами, как если бы весьма тому дивился, но стоявшие вокруг увещевали меня к сему присоединиться. «Добро,— говорили они, видя такую мою непреклонность,— в том ведь нет новости, когда телята жрут мясо, рыбу, сыр, масло и пр. Чего? Подчас доводится им и допьяна напиваться. Теперь скотам довольно ведомо, что́ есть добро».— «Да,— сказали они засим,— ныне уж до того дело дошло, что меж ними и людьми весьма малое различие находят: чего ради захотел ты один тому не последовать?»

Я тем скорее дозволил себя в том уверить, что меня томил голод, а не для того только, что я сам довольно уже видел, как частию люди здесь были грязнее свиней, свирепее львов, похотливее козлов, завистливее собак, необузданнее кобыл, бесстыжее ослов, невоздержаннее в питии быков, хитрее лисиц, прожорливее волков, дурачливее обезьян и ядовитее змей и жаб, однако ж все вкушали человеческую пищу и только обликом своим отличались от зверей, наипаче же не доставало им невинности теляти. Я вместе с собратьями моими телятами уписывал за обе щеки, как повелевал мне аппетит, и когда б какому чужестранцу ненароком довелось увидеть нас, сидящих рядышком за столом, он, нет сомнения, вообразил бы, что вновь воскресла старая Цирцея и обращает людей в скотов, каковое искусство мой господин знал и в оном тогда упражнялся. Тем же порядком, каким свершил я обед, был мне собран и ужин. И подобно тому как мои сотрапезники, или объедалы, оказывали над кушаньями свою храбрость, дабы и я примеру их следовал, также принуждены были они отправиться со мною в постель, ибо господин мой не соглашался, чтобы я снова ночевал в хлеву; и я поступил так, дабы те, что возомнили, будто им удалось обратить меня в дурака, сами довольно были мною подурачены, и твердо из того заключил, что всеблагий бог каждому человеку в том звании, к какому он его назначил, столько дает и ниспосылает ума, сколько для того надобно, дабы он сохранил себя, а посему иные ученые мужи совсем напрасно воображают, они-де одни умны и ко всякой бочке затычка; ну, нет: и за горами, за лесами тоже сами с усами!

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций о памяти слышит прение,
Потом суждение про забвение.

Поутру, когда я пробудился, обеих моих сотеляток и след простыл; того ради поднялся я с постели, и когда адъютант взял ключи, чтобы отпереть городские ворота, то проскользнул в дверь и отправился к сказанному священнику. Ему поведал я обо всем, что со мной приключилось как на небе, так и в преисподней. И он, узрев, что меня обуревает раскаяние, ибо я, прикинувшись дурнем, обманул стольких людей и особливо моего господина, сказал: «О сем нимало не печалуйся, глупый свет с великою охотою вдается в обман. Ежели ты еще сохранил ум, то обрати его себе во благо и возблагодари господа, что ты все превозмог, каковой дар бывает ниспослан не всякому. Вообрази себе, что ты, подобно Фениксу, возродился из огня от Неразумия к Разуму и, следовательно, к новому человеческому житию. Но памятуй, что ты еще не вышел сухим из воды, а лишь с опасностию для твоего рассудка схоронился под дурацкую эту личину; времена ныне настали шаткие, никто не может поручиться, доведется ли тебе с этой личиною расстаться, не утратив при сем и самой жизни. Скоро и споро провалиться в преисподнюю, а вот чтобы выкарабкаться оттуда, потребно немало попотеть да попыхтеть. Ты ведь еще гораздо юн и неискушен, чтобы избежать предстоящих тебе опасностей, как ты, видать, уже вообразил. А посему осторожность и рассудок тебе еще более надобны, нежели в то время, когда ты еще не различал, что есть Разум и что есть Неразумие. Положись на волю божию, молись прилежно, пребывай в смирении и терпеливо ожидай грядущих превратностей».

Сей дискурс его со мною был нарочито столь несхож с прежнею его беседою, что я подумал, уж не написано ли у меня на лбу, сколь возомнил я о себе, раз мне удалось с помощью его искусства учинить столь мастерский обман и проскочить невредимым. Я же, напротив того, заключил по его лицу, что он в гневе и в немалой на меня досаде; да и какой ему был от меня прибыток? Того ради переменил и я свою речь и принес ему великое благодарение за превосходное средство, какое он вручил мне для сохранения разума, и я даже давал несбыточные обещания со всею благодарностью вознаградить его за все, в чем только был перед ним в долгу.

Сие польстило ему и привело в иное расположение духа; ибо он тотчас же стал изрядно выхвалять свое снадобье и поведал мне, что Симонид Меликус изобрел, а Метродор Сцепсий немало положил трудов, дабы привесть в лучшее совершенство такое ис-

кусство, посредством коего он может научить людей все, что они единый раз слышали или прочитали, повторить слово в слово, а это, сказáл он, без того крепительного для головы лекарства, какое он мне дал, никак невозможно. «Эва,— помыслил я,— любезный отче, в бытность мою у отшельника я в собственных твоих книгах читывал совсем иное, в чем состоит Сцепсиево искусство изощрения памяти!» Однако ж был настолько лукав, что о том не обмолвился; ибо когда дело доходило до правды, то я, с тех пор как мне назначено было сделаться дураком, стал смышлен и в речах своих опаслив. Он же, священник, продолжая свою речь, сказывал, что Кир каждого из 30 000 своих воинов звал по настоящему его имени. Люций Сципион мог поименовать всех граждан Рима, а Киней, посол Пирров, на другой же день по прибытию в Рим мог надлежащим образом перечислить имена всех сенаторов и всадников. «Митридат, царь Понта и Вифинии,— уверял священник,— властвовал над народами, глаголящими на двадцати двух языках, и мог, как о том пишет Сабелик, lib. 10, cap. 9, всем и каждому порознь оказать справедливость на их наречии. Ученый грек Хармид говорил наизусть всем, кто желал узнать что-либо из книг, наполняющих целую Вифлиофику, когда бы только один раз бегло прочитал их. И Люций Сенека мог перечислить наизусть две тысячи имен и в том же порядке, как они перед тем ему насказаны, и также, по словам Равизия, двести стихотворений, прочитанных перед ним двумястами школяров, от последнего до первого. Ездра, как о том пишет Euseb. lib. temp. fulg. lib. 8, cap. 7, знал наизусть Пятикнижие Моисеево и мог диктовать его слово в слово переписчикам. Фемистокл изучил персидский язык за один год. Красс в Азии отменно говорил на пяти различных греческих наречиях и мог на них судить своих подчиненных. Юлий Цезарь в одно и то же время читал, диктовал и давал аудиенцию. Об Элии Адриане, Порции Латроне и других римлянах и не буду ничего говорить, скажу только о святом Иерониме, что он знал еврейский, халдейский, греческий, мидийский, арабский и латинский. Пустынножитель Антоний с одного только слуха знал наизусть всю Библию. Также приведено в Colerus, lib. 18, cap. 23 из сочинений Марка Антония Муретуса о некоем корсиканце, который, выслушав шесть тысяч человеческих имен, мог затем в надлежащем порядке быстро их все повторить».

«Все сие говорю я для того,— сказал далее священник,— дабы ты не почел несбыточным, что с помощью медицины память человеческая изрядно укреплена и сохранена быть может, как и, напротив того, различным образом ослаблена или даже истреблена вовсе, понеже Plinius, lib. 7, cap. 24 изъясняет, что ничем так не слаб человек, как памятью, и что от болезней, испуга, страха,

забот и скорбей она либо исчезает вовсе, либо теряет бóльшую часть своей силы.

Так об одном ученом афинянине можно прочесть, что он, после того как на него упал камень, перезабыл все, чему когда-либо научен был, даже азбуку. А другой свалился с башни и стал через то столь забывчив, что не мог назвать по имени друзей и близких родственников. А еще один был ввергнут болезнью в такое беспамятство, что позабыл имя слуги своего; Мессала Корвин не помнил своего собственного имени, а обладал прежде изрядной памятью. Шрамханс в fasciculo Historiarum, fol. 60[1], пишет (однако ж тут столько прилгано, как если бы то писал сам Плиний), что некий священник пил собственную свою кровь и через то разучился писать и читать, прочую же память сохранил неповрежденною; и когда он по прошествии года на том же самом месте и в то же самое время паки испил той же крови от жил своих, то снова мог писать и читать, как и прежде. По правде, более с истиною схоже, что пишет Иоганн Вирус в de praestigiis daemon., lib. 3, cap. 18, будто тот, кто съест медвежьи мозги, преисполняется толикими бреднями и превеликими фантазиями, что ему мнится, будто он сам медведем сделался, и сие подтверждает пример испанского дворянина, кой, после того как их отведал, скрылся в лесную чащу и не мнил о себе иначе, как о медведе. И когда бы, любезный Симплициус, твой господин знал бы о сем искусстве, то скорее, подобно Каллисто, превратил бы тебя в медведя, нежели, подобно Юпитеру, в тельца».

Подобных вещей священник насказал мне немало и снова дал мне некую толику лекарства, наставив, как вести себя впредь. С тем я и отправился восвояси, приведя с собою, почитай, сотню мальчишек, которые бежали за мной следом и мычали, как телята; того ради господин мой, только что пробудившийся, подошел к окну и, увидев зараз стольких дурней, изволил от всего сердца рассмеяться.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций многим на забаву лицам
Похвальную речь сочиняет девицам.

Едва я воротился домой, как должен был пойти в губернаторовы покои, ибо у моего господина находилась благородная госпожа, коя превеликую возымела охоту повидать и услышать новоиспеченного дурня. Представ перед ними, я воззрился, словно не-

[1] пучке рассказов *(лат.)*.

мой, а посему той девице, которую намедни ухватил во время танцев, подал причину сказать, ей-де наговорили, что теленок сей умеет речь вести, а теперь она примечает, что то неправда. Я ж отвечал: «А я, супротив того, думал, что обезьяны не могут речь вести, теперь же изрядно слышу, что в том ошибся».— «Неужто,— воскликнул мой господин,— ты почитаешь сих дам обезьянами?» Я ответил: «Когда они не обезьяны, то вскорости ими сделаются: кто знает, что может стрястись; я ведь тоже не знал, что стану теленком, а вот ведь стал!» Мой господин спросил, из чего же я заключаю, что они должны сделаться обезьянами. Я ответил: «У нашей обезьяны оголена задница, а у этих дам уже груди, тогда как честные девицы обыкновение имеют их прикрывать».— «Ах ты, бездельник! — воскликнул мой господин.— Ты глупый теля, оттого такое и болтаешь. Сии по справедливости дают зреть то, что зрения достойно, обезьяна же нага оттого, что ей негде взять одежи. Живо искупи свою вину, в чем нашкодил, а не то я попотчую тебя плетьми и велю затравить собаками в гусятник, как поступают с теми телятами, что не умеют вести себя подобающе. Дай услышать, можешь ли ты воздать достойную хвалу даме и описать ее красоту, как то ей подобает?» Засим оглядел я ту даму с ног до головы и опять с головы до пят, она же взирала на меня столь пристально и с такою приятностию, словно я собирался на ней жениться или еще раз обхватить. Наконец я сказал: «Господин, теперь я неотменно вижу, в чем тут промашка, во всем виноват плут портняжка; он всю материю, что назначена была для шеи и должна была прикрыть грудь, пустил в юбку, оттого-то она и влачится сзади; надобно нерадивому плуту поотрубать руки, ежели он не горазд шить лучше. Девица,— сказал я, обратившись к ней самой,— гони его в шею, когда не след ему тебя так уродовать, да постарайся сыскать портного моего батьки, зовут-то его мастер Павел, он ладно справил моей матке, нашей Анне да Урселе такие-то юбчонки, подолом ровненьки, да все в складках и не волочились по грязи, как твои. Ты и не поверишь, какие нарядные платья мог он шить кичливым потаскушкам, в коих они красовались, словно Бартель». Мой господин спросил: а были ли Анна и Урселе у моего батьки красивее этой девицы? «Вестимо нет, господин! — сказал я.— Ведь у сей девицы волосы такие желтые, словно пеленки замаранные, а пробор на голове такой белый и прямой, словно на кожу наклеили белую свиную щетину; да волосы у нее так красиво скручены, что схожи с пустыми трубками, или как если бы кто понавешал с обоих боков по нескольку фунтов свечей или по дюжине сырых колбас. Ах, гляньте только, какой красивый, гладкий у нее лоб; разве не выступает он нежнее, чем

самая жирная задница, и не белее ли он мертвого черепа, много лет под дождем провисевшего? Вот жалость, что нежная ее кожа столь мерзко загажена пудрою, ибо когда б увидали ее люди, не имеющие о сем понятия, то, верно, возомнили бы, что девица эта шелудивая от рождения и оттого кожа у нее так шелушится, что было бы еще большею бедою для ее глаз, кои, по правде, чернеют и мерцают яснее, чем сажа на челе батькиной печи, а она так и сверкала, когда Анна растапливала печь соломою, словно было в ней заключено чистое пламя, готовое зажечь весь свет. Щеки сей девы так-то славно румяны, однако ж не столь красны, как намедни новые шнуры да ремни у швабских возчиков из Ульма. Однако ж краска на ее устах и ту далеко превосходит, а когда она смеется или что промолвит (прошу, господин, только взглянуть на нее со вниманием), то в пасти у нее торчат два ряда зубов, один к одному, все-то белые как сахар, словно их настрогали из редьки. О, дивное творение, я не верю, что ты можешь причинить кому-нибудь боль, когда укусишь! А шея-то у нее, почитай, такая же белая, как стоялое кислое молоко, а груди, что пониже, такого же цвета и, нет сомнения, такие же тугие, как козье вымя, от молока раздувшееся. Уж, верно, не такие дряблые, как у тех старух, что намедни, когда я был на небе, обмывали мне задницу. Ах, господин, гляньте только на ее руки и пальцы, они такие-то тонкие, такие-то длинные, такие-то гибкие, такие-то проворные и так искусны, натурально, как намедни у цыганок, чтобы ловчее было запустить в карманы, когда надумают что-нибудь выудить. Но что все это супротив самого тела, хотя я и не видел его нагим! Разве оно не столь нежно, прелестно и субтильно, как если бы ее восемь недель кряду несла матушка Катарина?» Тут поднялся столь зычный смех, что уже нельзя было ни мне говорить, ни меня услышать, с тем я и притих, словно голландец, и до тех пор дозволял над собою потешаться, покуда мне это не прискучило.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций речет о героях смелых
И о мастерах, в ремесле умелых.

Засим последовал обеденный стол, во время коего я снова изрядно показал себя, ибо положил за правило порицать все дурачества и казнить всякую суетность, к чему тогдашнее мое положение весьма было удобно; ни одного сотрапезника не оставил я без того, чтобы не упрекнуть и не укорить его пороками, и когда кому сие было не по нраву, то его еще подымали на смех другие или же

мой господин ему указывал, что ни один мудрец на дурака не досадует. Сумасбродного фендрика, который был злейшим моим врагом, я тотчас же вытащил на свет божий и прокатил на осле. Однако ж первый, кто по знаку моего господина возразил мне с разумением, был секретарь; ибо когда я нарек его кузнецом титулов и, высмеивая суетные титулы, спросил, а как титуловать праотца всех людей, он отвечал: «Ты болтаешь, как неразумный теля, ибо не ведаешь, что после первых наших прародителей жили различные люди, кои редкостными добродетелями, мудростью, геройскими деяниями, а также изобретением добрых художеств себя и род свой толико возвысили, что и другие вознесли их превыше всех земных вещей и даже звезд, до самых небожителей. Был бы ты человек или же, по крайности, читал бы, как человек, историю, то уразумел бы различие, которое существует меж людьми и охотно придавал бы всякому надлежащий ему честной титул; но понеже ты теленок и человеческой чести не причастен и не достоин, то и рассуждаешь о сих вещах, как глупый теля, и не воздаешь благородному человеческому роду того, что исполняет его веселием». Я отвечал: «Я был человеком, таким же, как и ты, и порядком читывал в книгах, а посему могу заключить, что ты сам либо не вник в спор надлежащим образом, либо твоя корысть понуждает тебя говорить иначе, чем ты разумеешь. Скажи мне, какие надобно совершить геройские деяния и похвальные изобрести художества, дабы их достало на несколько сот лет возвеличить целый род после смерти самого героя или художника? И разве то и другое: сила героя, мудрость и высокое разумение художника не умирают вместе с ними? И коли ты сего не разумеешь, а доблести родителей на детей переходят, то принужден я заключить, что отец твой был палтусом, а мать камбалою».— «Ба,— ответствовал секретарь,— коли на то пошло, коли нам честить друг друга, то я мог бы укорить тебя, что твой батька был грубый шпессертский мужик, и хотя в родне и на родине твоей изрядных пентюхов уродилось довольно, однако ж, сделавшись неразумным телятею, ты и вовсе себя унизил».— «Вот дело! Тут-то я тебя и прищучил,— сказал я,— да ведь сие как раз и есть то, что я доказать хочу, что добродетели родителей не всегда на детей переходят, а посему и дети почетных титулов родителей своих не всегда достойны. По правде, мне нет в том сраму, что я стал теленком, ибо в сем случае выпала мне честь самому могущественному царю Навуходоносору последовать. Кто знает, не будет ли угодно богу, чтобы и я, как он, снова стал человеком и притом еще больше возвысился, нежели мой батька? Для того прославлю я тех, кто через собственную свою добродетель учинили себя благородными».— «Допустим,

но не признаем,— рек секретарь,— что дети не всегда честные титулы родителей своих должны наследовать, все же тебе надлежит признать и в том неотменно со мною согласиться, что те, кто сами доблестными своими деяниями учинили себя благородными, всяческой похвалы заслуживают. А коли так, то отсюда следует, что и детям родителей их ради по справедливости воздают почести, ибо яблочко от яблони недалеко падает. Кто бы ни восхотел в потомках Александра Великого, ежели бы он одного хоть оставил после себя, прославить доблестного пращура их на войне отвагу? Сей в юности, когда еще был не способен носить оружие, выказал страсть свою к ратным подвигам слезным сокрушением, что отец его всем завладеет, а ему ничего завоевать не оставит. Разве не покорил он целый свет, не достигши и тридцати лет, и еще не насытился подвигами? Разве в битве с индийцами, будучи покинут своими воинами, не вспотел он от гнева кровавым потом? И разве не сиял его лик, словно вокруг него горели языки пламени, так что устрашенные варвары принуждены были борючись отступить? Кто же не пожелает возвысить и возвеличить его над всеми людьми, ибо Квинт Курций свидетельствует о нем, что дыхание его было подобно бальзаму, пот мускусу, а мертвое тело его источало благовоние, будто драгоценные курения? Здесь приличествует также упомянуть Юлия Цезаря и Помпея, из коих один, не считая славнейших побед, одержанных им в гражданских усобицах, пятьдесят раз сражался в открытом поле и 1 152 000 воинов положил в битвах. Другой же, помимо 940 захваченных у морских разбойников кораблей, завоевал и покорил 876 городов и сел от самых Альп до крайних пределов Гишпании. Я умолчу о славе Марка Сергия и лишь упомяну о Люции Сиккио Дентате; он был цеховым старшиною в Риме, когда Спурий Турпей и Авл Этерний были бургомистрами. Сей отличился в 110 битвах и по восемь раз кряду побеждал тех, кто его вызывал на бой; он мог показать на своем теле сорок пять рубцов от ран, принятых в сражениях, все лицом к лицу,— и ни одной сзади; с девятью полководцами шествовал он в триумфах, которые они получили своим мужеством. А воинская доблесть Манлия Капитолиния была бы не меньше, когда бы он сам при скончании жизни ее не умалил; ибо он также мог показать тридцать три шрама, не считая того, что он один спас от галлов Капитолий со всеми сокровищами. Где библейские герои — Иосия, Давид, Иоав, Маккавеи и множество иных, из коих первые завоевали обетованную землю, а последние вновь даровали ей свободу? Item могучий Геркулес, Тезей и др., коих славные подвиги и бессмертную хвалу изречь и описать невозможно! Или они в потомках своих не должны быть прославлены?

Но оставляю брань и оружие и обращаюсь к различным художествам, кои, правда, кажутся не столь знатны, тем не менее мастера в оных немалую себе приобретают славу. Коликая способность была у Зевксиса, чья скорая на выдумки голова и преискусная рука обманывали птиц в поднебесье? Item у Апеллеса, который написал Венеру так натурально, красиво и превосходно и во всех линиях столь субтильно и нежно, что в нее влюблялись юноши. Плутарх пишет, что Архимед одною только рукою на одном единственном канате протащил через торжище в Сиракузах большой корабль, груженный купецкими товарами, как если бы он провел на узде смирную скотину, что и двадцати быкам, не говоря уж о двухстах подобных тебе телятах, было бы не под силу. Разве сии достохвальные мужи не должны почтены быть особливыми титулами соразмерно своему искусству? Кто не захочет отличить перед всеми другими людьми тех, кои для персидского царя Сапора изготовили стеклянный сосуд, столь широк и велик, что он мог, воссев посреди его, наблюдать под ногами течение светил? Разве не заслуживает хвалы Архит, делавший деревянных голубей с таким искусством, что они летали по воздуху, подобно прочим птицам? Альбертус Магнус отлил из меди голову, которая могла явственно выговаривать разумное слово. Так же и Мемнонов столп, когда озаряло его восходящее солнце, испускал зычный глас или ворчание. Помянутый Архимед изготовил зеркало, с помощью коего посередь моря зажигал вражеские корабли. Вспомянем также диковинное зеркало Птолемея, в коем отражалось столько ликов, сколько часов составляло день. Кто не почтет благородной искусную руку того писца, который всю «Илиаду» Гомерову в сто тысяч стихов уместил на столь малой бумаге, что ее можно было спрятать в ореховой скорлупе, как о том свидетельствует Плиний. А другой искусник сделал целый корабль со всеми надлежащими к нему снастями столь хитроумно, что пчела могла укрыть его под своим крылом. Кто не захочет прославить того, кто первый изобрел азбуку? И кто не захочет поставить превыше всех других искусств того, кто изобрел благородное и для всего света полезное искусство книгопечатания? Когда Церера, ибо она изобрела хлебопашество и мельницы, почитаема была богинею, то будет ли несправедливым, ежели, согласно другим ее качествам, воздадут ей хвалу почетным титулом? По правде, невелика забота, уразумеешь ли ты, нескладный теля, все сие своими неразумными бычачьими мозгами или нет. Ты подобен псу, который, лежа на стоге сена, не подпускал к нему быков, ибо сам не мог им полакомиться; ты не причастен никакой чести, а посему отказываешь в ней тем, кто ее достоин».

А когда меня так раззадорили, я отвечал: «Превосходные геройские деяния надлежало бы вельми прославить, когда бы не были они соединены с погибелью и разорением прочих людей. Какая же то слава, когда она столь обильно кровью невинных осквернена? И какое же это благородство, что погибелью многих тысяч людей завоевывается и доставляется? А что касаемо до художеств, то что они такое, как не сущее безрассудство и суета? Да они столь же пусты, тщетны и бесполезны, как и сами титулы, что к одному из них прилагаются, ибо служат они либо корысти, либо сластолюбию, либо роскоши, либо на пагубу другим людям, как те страшные штуки, что я видел намедни на двуколках. Также можно обойтись без тиснения книг и сочинений, по слову и мнению одного святого мужа, утверждавшего, что весь необъятный мир довольно служит ему книгою, дабы дивиться чудесам создателя и познать благостное его всемогущество».

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций о жизни всетрудной тужит
Того господина, коему служит.

Господин мой также захотел пошутить надо мной и сказал: «Я неотменно примечаю, что ты не надеешься приобрести себе благородство, оттого и ставишь ни во что честные дворянские титулы». Я отвечал: «Господин! Когда б мне надлежало тотчас заступить благородную твою должность, я бы никак на то не согласился». Господин мой сказал со смехом: «Я думаю, ибо быку пристойна овсяная солома. Но ежели бы ты обладал высоким разумением, какое надлежит иметь благородным душам, то прилежно снискивал бы себе чины и почести. По мне, так вовсе не худо, коли счастье возносит меня над другими». Я же сказал со вздохом: «Ах, сколь многотрудное блаженство! Господин! Я уверяю тебя, что ты наизлополучнейший человек во всем Ганау».— «Как это так? Теля! — воскликнул господин.— Скажи мне, с чего это ты взял, я за собою того вовсе не ведаю». Я отвечал: «Когда ты того не знаешь и не чувствуешь, что ты в Ганау губернатором и того ради обременен несчетными хлопотами и беспокойствами, значит, ослепила тебя чрезмерная жадность к почестям или сотворен ты из железа и вовсе бесчувствен. Правда, ты можешь повелевать, и всяк, кто б ни попался тебе на глаза, должен тебе повиноваться; но разве делают они сие занапрасно? Разве не слуга ты для них всех? Разве не должен ты пещись о каждом? Гляди, теперь ты обложен со всех сторон врагами, и сохранение всей крепости на

одного тебя возложено. Ты должен стремиться причинить противнику своему урон, а притом доглядеть, чтобы умысел твой не выведали лазутчики. Разве не приходится тебе частенько самому стоять на карауле, словно простому солдату? Сверх того принужден ты заботиться, чтобы на счету не открылось какой недостачи в деньгах, амуниции, провианте и войске и того ради беспрестанными экзекуциями и насильством собирать со всей округи контрибуцию. Пошлешь за таким делом своих, так у них нет иной работы, как только разбойничать, грабить, красть, жечь и убивать; вот совсем недавно разграбили они Орб, взяли Браунфельс и Штаден да сожгли дотла. Правда, они получат от сего добычу, ты же тяжкий на себя примешь ответ перед господом. Я допускаю, что, быть может, наряду с честью также и прибыток доставляет тебе приятность, но знаешь ли ты, кто насладится теми сокровищами, которые ты стяжал? И положим (как то ни сумнительно), что сие богатство у тебя останется, все же ты будешь принужден покинуть его, и ты ничего не возьмешь с собою, кроме греха, коим приобрел его себе. А ежели тебе посчастливится употребить добычу себе на пользу, то расточаешь ты пот и кровь бедняков, которые сейчас страждут в скудости или же вовсе погибают и мрут с голоду. О, сколь часто наблюдал я, как под бременем твоей должности мысли твои приходили в великое рассеяние, тогда как я и другие телята беззаботно почием мирным сном. А ежели ты так не поступаешь, то можешь поплатиться головою, когда упустишь что необходимо для сбережения подначального тебе войска и обсервации крепости. Гляди, от коликих печалей я избавлен! И понеже я знаю, что самой натурой положено мне умереть, то не печалюсь, что кто-либо возьмет приступом мой хлев или что я принужден буду вести перестрелку за свое пастбище. Умру я во младости, так минует меня тяжкое ярмо вола; твоей же погибели, нет сомнения, ищут многоразличными способами. И посему вся твоя жизнь не что иное, как беспрестанная забота и сну помеха; ибо принужден ты опасаться и друзей и врагов, коих, нет сомнения, замышляют, как бы лишить тебя жизни, либо денег, либо репутации, либо команды, либо еще чего-нибудь, что ты и сам не прочь учинить с другими. Враг нападает на тебя явно, а мнимые твои приятели в тайности завидуют твоему счастию; но и от подначальных ты не всегда в безопасности. Я уже не говорю о том, что всякий день терзают тебя пламенные вожделения и ты бросаешься туда и сюда, помышляя, как бы приобресть себе еще бóльшую славу и честь, выйти в еще большие чины, стяжать еще большее богатство, провести похитрее врага, одолеть его, разорить то или другое селение, одним словом, сотворить все то, от чего другим людям будет скорбь, твоей душе пагуба, а божественному

величию неугодность. Но наигоршее зло, что ты ласкателями своими столь испотворен, что не знаешь самого себя, и столь ими пленен и отравлен, что не можешь узреть пагубную стезю, на которую ступил; ибо все, что ты ни сделаешь, они нарекут благом и все пороки твои восхвалят и обратят в сущие добродетели. Лютость твою они объявят справедливостью, а когда ты приказываешь разорять страну и народ, они уверяют, что ты бравый солдат, подстрекая тебя, таким образом, на пагубу другим людям, дабы сохранить твое благоволение, да потуже набить свою мошну».

«Ах ты, лежебок! Негодник! — сказал мой господин.— Да кто это подучил тебя так проповедовать?» Я отвечал: «Милостивый господин! Разве я говорю неправду, что ты своими ласкателями и потатчиками столь испотворен, что тебе уже пособить невозможно? Напротив, другие люди тотчас же видят твои пороки и осуждают тебя не только в вещах важных и значительных, но и сыскивают их довольно в самых наиничтожных, чтобы порицать тебя. Али мало тебе примеров о великих мужах, что жили в давние времена? Афиняне роптали на Симонида за то только, что у него был зычный голос; фиванцы жаловались на своего паникулума, что он рыгал; лакедемоняне бранили Ликурга за то, что он всегда ходил с наклоненной головой; римляне полагали, что не приличествует Сципиону столь громко храпеть во сне; им казалось отвратительным, что Помпей чешется одним ногтем; над Юлием Цезарем они насмехались, ибо он не умел складно и нарядно надеть пояс; жители Утики бранили доброго Катона за то, что он, как им мнилось, с непомерной жадностью уписывал за обе щеки; а карфагеняне злословили о Ганнибале, ибо он всегда ходил с обнаженной грудью. Как теперь мнится тебе, милостивый мой повелитель? Все ли еще полагаешь ты, что должен я поменяться с тем, у кого наряду с дюжиной, или тринадцатью, застольных друзей, объедал и подлипал, почитай, больше ста, а то и десять тысяч тайных и явных врагов, хулителей и недоброхотных завистников? Да и какое блаженство, какое веселие и радость могут быть у того, под чьим попечением, покровом и защитой живет столько людей? Разве не надобно тебе за всем доглядеть, обо всем печалиться и всякую жалобу и ябеду выслушивать? Разве от сего одного не довольно докуки, даже если бы не было у тебя ни врагов, ни завистников? Изрядно вижу, сколь несладко твое житье и коликими ты обременен тяготами. А какая, милостивый господин мой, напоследок ожидает тебя награда? Ответствуй мне, что приобретешь ты от сего? А ежели ты того не знаешь, то обратись к греку Демосфену, коего, после того как он доблестно и верно служил и споспешествовал общему благу и правлению

афинскому, вопреки всякому праву и справедливости, словно мерзостного злодея, выслали из отечества и обрекли на изгнание. Сократ был изведен ядом; Ганнибал был столь дурно награжден соотечественниками, что принужден был скитаться по свету. То же случилось с римлянином Камиллом; и тем же родом отплатили греки Ликургу и Солону, из коих первого побили камнями, а другому выкололи глаз и напоследок изгнали из отечества, словно убийцу. Точно так же Моисей и другие святые мужи подпадали ярости и неистовству черни. Того ради оставайся при своей команде и своем жалованье, какое ты заслужил; тебе не надобно будет им со мною делиться; ибо когда будет с тобою все благополучно, то, по крайности, ты не приобретешь себе ничего больше, кроме нечистой совести. А ежели начнешь ты внимать велениям своей совести, так тебя тотчас же отрешат от команды как неспособного не иначе, как если бы ты вроде меня стал несмышленым телятею».

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций приводит схолию ту,
Что ум неразумному дан скоту.

Посреди такого моего дискурса всяк взирал на меня с изумлением, и все присутствующие дивились, что я способен вести такие речи, чего, как они уверяли, и для разумного человека было бы довольно, когда бы мог он безо всякого предварительного размышления так говорить. Я же заключил речь свою такими словами: «Посему-то, милостивый господин мой, и не желаю я с тобою поменяться! По правде, мне в том нет ни малейшей нужды; ибо заместо твоего дорогого вина родник доставляет мне полезный напиток, а тот, по чьей воле я стал теленком, благословит мне на потребу плоды земные, кои мне, как Навуходоносору, весьма сгодятся в пищу и для поддержания жизни. Натура снабдила меня также изрядною шубою, тогда как, напротив, тебе нередко претит самая лучшая снедь, вино помрачает голову и тебя посещают различные немощи».

Мой господин отвечал: «Право, не знаю, что мне о тебе и подумать: для теленка, сдается мне, ты слишком разумен; чую я, что под телячьей шкурой кроется изрядный плутяга». Я притворился рассерженным и сказал: «Али вы, люди, и впрямь почитаете нас, зверей, дурнями? Зря забрали вы это себе в голову! Я стою на том, что, когда бы твари постарше меня могли, как я, речи говорить, они не остались бы у вас в долгу. А ежели вы полагаете, что мы

совсем глупы, то скажите, кто научил сизого голубя, жаворонка, черного дрозда и рябчика прочищать себе кишки лавровым листом? А горлиц, турманов и кур пользовать себя львиным зевом? Кто научил собак и кошек есть траву по росе, когда им надо очистить переполненные желудки? Кто научил черепаху врачевать укушенные места болиголовом? А оленя, когда он подстрелен, лечить себя бадьяном или диким полеем? Кто наставил сусликов употреблять руту, когда на них нападает летучая мышь или змея? Кто показал кабанам плющ, а медведям мандрагору и втолковал им, что сие надежное для них лекарство? Кто присоветовал орлу искать орлиный камень и употреблять его, когда приходит время класть яйца? Кто надоумил ласточек врачевать больные глаза птенцов чистяком? Кто внушил змеям, что, готовясь к линьке или чтобы прогнать из глаз темную воду, надлежит им употреблять укроп? Кто обучил аиста ставить себе клистиры, пеликана отворять себе жилу, а медведя дозволять пчелам пускать себе кровь? Чего? Да я осмелюсь утверждать, что вы, люди, переняли свои науки и художества от нас, зверей! Вы жрете и упиваетесь до недугов и смерти; того с нами, скотами, не бывает. Лев либо волк, когда он безмерно разжиреет, то соблюдает пост, покуда снова не спадет с тела и не станет вдоров и весел. Но каковая тварь разумнее всех? Воззрите на птиц поднебесных! Рассмотрите искусное строение чудных гнезд! И понеже никто не сможет подражать им в работе, то должны вы признать, что они превосходят вас, людей, равно как в разумении, так и в художестве. Кто говорит перелетным птицам, когда время лететь к нам по весне и выводить птенцов? А по осени, когда снова отправляться на зимовье в теплые страны? Кто присоветовал им определять для сего особливое сборное место? Кто ведет их или указывает им путь? Или, может быть, вы, люди, ссужаете их мореходным своим компасом, дабы они не заблудились в пути? Нет, любезные человеки, они знают дорогу и без вас, знают, сколь долго принуждены они будут странствовать, когда надлежит им подняться с того или иного места, и так они не нуждаются ни в компасах ваших, ни в календарях. Воззрите также на прилежного паука, чье непрестанное плетение едва ли нельзя почесть чудом! Сыщете ли вы хотя бы единственный узел во всей его работе? Какой охотник или рыбак научил его плести сети, а потом как расставить их и подстерегать дичину либо из темного уголка, либо в самом средоточии своего плетения сидючи? Вы, люди, дивитесь ворону, о коем свидетельствует Плутарх, что кидал он камни в сосуд до тех пор, покуда вода не поднялась настолько, что мог он с легкостью утолить жажду. Что бы вы, люди, стали делать, когда б довелось вам пожить среди зверей и вместе с ними и вы видели бы и наблюдали все прочие их дея-

ния, повадки и обычаи? Тогда только признали бы вы, что, судя по всему, все звери как бы наделены своими особливыми природными силами и добродетелями, кои проявляются во всех их affectionibus [1] и склонностях духа, в осторожности, крепости, ласке, пугливости, дикости, в обучении и воспитании. Звери ведь узнают друг друга, они отличают себя от других, они перенимают то, что им на пользу, остерегаются того, что им во вред, убегают опасности, собирают сообща то, что им надобно для пропитания, а иногда и обманывают вас, людей. А посему многие древние философы, все сие изрядно взвесив и рассмотрев, не почитали зазорным рассуждать и диспутировать о том, не обладают ли неразумные твари и вправь умом? Но зачем городить огород? Разве сам мудрый Соломон не поучает нас, когда глаголет в «Притчах», гл. 30: «Четыре же суть малейшие на земле, сии же суть мудрейшие из мудрых: муравьи — народец несильный, однако ж летом заготовляют пищу себе на зиму; хирогулли — народец слабый, однако ж ставят домы свои на скалах; у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно; паук лапками цепляется, но живет в чертогах царевых».

Я не хочу более рассуждать о сем предмете; ступайте и воззрите на пчел, как приготовляют они воск и мед, и тогда поведаете мне суждение ваше».

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиция речи кто ведать желает,
Пусть тот прилежно сие читает.

Засим последовали различные обо мне суждения сотрапезников моего господина. Секретарь стоял на том, что надлежит почесть меня дурнем, коль скоро я самого себя объявляю и величаю неразумною тварью, ибо те, коим недостает в голове заклепки, а они все же мнят себя умниками, бывают самыми наидиковинными и замысловатыми дурнями. Другие говорили, когда б отнять у меня такое воображение, что я теленок, или же втолковать мне, что я снова сделался человеком, то можно было б почесть меня довольно разумным или смышленым. Господин мой сказал: «Я почитаю его дурнем, ибо он каждому не страшась говорит правду; однако ж дискурсы его таковы, что не под стать никакому дурню». Все сие говорили они по-латыни, дабы я не мог уразуметь. Он спросил меня, не штудировал ли я различные ученые предметы,

[1] волнениях *(лат.)*.

когда еще был человеком. «А я не знаю, что такое штудировать,— сказал я ему в ответ.— Однако ж, любезный мой господин, растолкуй мне, что это за штуды, коими штудируют. Не зовешь ли ты так кегли, которые сшибают?» На что сумасбродный фендрик сказал: «Зряшные растабары с этим молодчиком! Али не видите, что в ём бес засел; он одержимый, вот бес из него и брешет!» Того ради возымел господин мой причину спросить меня, поелику сделался теперь я теленком, то не оставил ли обыкновение творить молитву, как творил до сего, подобно другим людям, и уповаю ли я достичь небесного блаженства. «Вестимо! — ответствовал я.— Ведь осталась же во мне бессмертная моя душа, коя, как ты с легкостью уразуметь можешь, вовсе не стремится попасть в ад, особливо когда мне там довелось столь худо. Я токмо лишь переменился, как прежде Навуходоносор, и могу еще со временем опять стать человеком».— «Желаю тебе того»,— сказал господин мой с приметным вздохом, почему я легко заключить мог, что его посетило раскаяние, ибо по его соизволению и сделался я дурнем. «Однако ж мы хотим послушать,— продолжал он,— как ты молишься!» Тут я пал на колени, воздел руки и возвел очи горе, как подобает честным отшельникам, и понеже раскаяние господина моего изрядно умилило мое сердце, то не мог удержаться от слез, и по прочтении «Отче наш» с величайшей истовостью творил молитву за всех христиан, за друзей и врагов моих, да сподобит меня всевышний по благости своей провести жизнь не постыдно и мирно, дабы мог я и был достоин прославить его в селении праведных,— ибо отшельник научил меня творить молитвы благочестивыми, подобранными в уме словами. Отчего некоторые из взиравших на сие принялись почти что плакать, ибо преисполнились ко мне большим сожалением; да и у самого моего господина стояли в глазах слезы, коих он, сдается мне, сам стыдился, а посему сказал в извинение, что сердце у него готово было разорваться в груди, когда в такой прежалостной фигуре явственно представилась очам его покойная сестра.

После обеда послал мой господин за помянутым священником, поведал обо всем, что я учинил, и дал уразуметь, что он в опасении, все ли со мною ладно и не замешан ли тут нечистый, ибо до сего обнаружил я совершенную простоту и неведение, а теперь рассуждаю о таких предметах, что только диву даешься. Священник, наилучшим образом знавший все мои обстоятельства, отвечал, что надобно было о сем помыслить прежде, чем соделать из меня дурня; люди — подобие божие, и с ними, особливо в столь нежной юности, не следует учинять потеху, как со скотами. Однако ж он никогда не поверит такому попущению, что злой дух мог сюда замешаться, поелику я во всякое время с молитвою при-

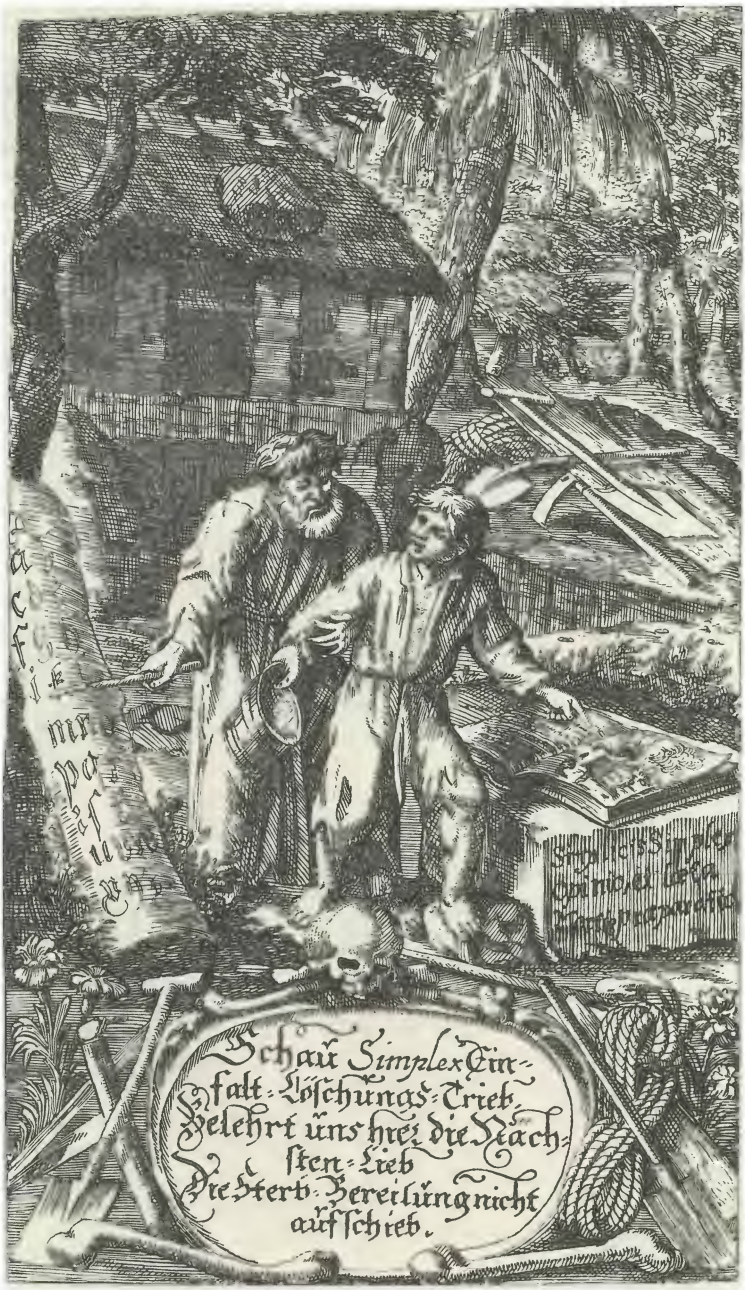
лежно вверял себя богу. А ежели, паче чаяния, и было такое попущение и определение, то тем тяжелее будет ответ перед господом, ибо и без того нет греха горшего, нежели отнять у ближнего разум, а через то лишить его возможности возносить хвалу и служить вышнему, для чего, собственно, и сотворен человек. «Я и допрежь сего уверял, что он довольно остер умом, а не мог обыкнуть в сем мире по той причине, что был взращен и воспитан в совершенном неведении сперва своим батькой, мужиком неотесанным, а затем в пустыне — вашим свояком. Когда б поначалу малое на него употребили терпение, то со временем он сделался б куда складнее; то было богобоязненное, простодушное дитя, еще не ведавшее ни о чем в сем злобном мире. Однако ж я нимало не сомневаюсь, что ему пособить невозможно, ежели не отнять у него этого мечтания и не добиться того, что он перестанет верить в свое телячество. Писано бо в книгах про одного, кой непреложно уверовал, что сделался глиняным кувшином, того ради наказывал своим домашним ставить его наверх, дабы он не разбился. А другой возомнил, что он не кто иной, как петел; сей кукарекал в своей болезни день и ночь. А еще иной полагал, что он не иначе как помер и бродит по земле привидением, и того ради отстранял от себя лекарство, и пищу, и питие, и никому не удавалось его к тому преклонить, покуда один умный врач не подговорил двух молодцов, кои якобы также вообразили себя привидениями, но, невзирая на то, оказывали над кушаньями всяческую храбрость и, подбившись к нему в товарищи, уверили его, что в нынешние времена и привидения не пренебрегают кушаньями и напитками, чем его и поставили на ноги. У меня самого в приходе был больной мужик; когда я посетил его, он пожаловался мне, что в брюхе у него скопилися три или четыре ведра воды; коли эту воду из него выпустить, то уповал он, что придет в совершенное здравие, почему и просил меня либо взрезать ему живот, чтобы вся жидкость вытекла, либо подвесить в коптилке, чтобы его хорошенько высушить. На что приступил я к нему с увещанием и убедил его, что сумею избавить от водянки иным способом; засим взял я кран, который употребляю для винных или пивных бочек, навязал на него кишку, приладил другой конец к выступу большой кадки, которую велел дополна налить водою, и притворился, будто вставил тот кран ему в брюхо, обвязанное тряпками, в опасении, как бы оно не лопнуло. Засим открыл я кран, пустил воду из кадки, чему пентюх от всей души радовался и по исправлении оной процедуры поснимал с себя все тряпки, а через короткое время он пришел в совершенное здравие. Тем же манером пособили и другому, который возмечтал, что в брюхе у него запрятана конская сбруя, удила и другие подобные вещи; сему дал доктор про-

носное питье и положил под стульчак означенные предметы, дабы малый уверился, что все сие сошло на низ у него самого. Также сказывают о некоем фантасте, который вообразил, что нос его столь велик, что достает до земли; сему привесили к носу колбасу, от коей мало-помалу отрезали по куску, покуда нож не коснулся тела, так что носач закричал, что его нос обрел прежний свой вид; посему заключаю, что и доброму Симплициусу, как и тем людям, пособить можно».— «Охотно верю сему,— отвечал мой господин,— однако ж смущает меня, что он, пребывая доселе в толиком неведении, теперь рассуждает о различных предметах, представляя их с таким совершенством, как это и у старых, опытных книгочиев за редкость почесть можно. Он насказал мне о многих свойствах животных и описал мою собственную персону столь искусно, как если бы всю жизнь свою провел в свете, так что я тому дивуюсь и готов почесть сии речи за оракул или знамение божие».— «Господин,— ответствовал священник,— сие могло произойти естественным образом. Я знаю, что малый весьма прилежен к чтению, ибо он вместе с отшельником перечел все мои книги, коих было у меня немало, и понеже память у него изрядная, то днесь, когда дух его празден и он не помнит самого себя, то и выкладывает все, что прежде запало в его мозги. Я уповаю, что со временем он и вовсе поправится». С такими словами священник оставил губернатора колеблющимся меж страхом и надеждою; он предстательствовал за меня наилучшим образом и доставил мне благополучное житие, а себе благоволение моего господина. Напоследок они порешили, что надобно еще некоторое время смотреть за мною; и сие производил священник более ради своей собственной, нежели моей пользы; ибо беспрестанно приходил то с тем, то с другим, как если бы он утруждал себя великим обо мне попечением, подбиваясь тем в милость к губернатору; того ради пожаловал сей последний его должностию и назначил капелланом при гарнизоне, что в те стесненные времена было не безделицей и чему я от всей души за него радовался.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций беспечно резвится на льду,
Попал он к кроатам себе на беду.

С того времени милость, щедроты и благоволение господина моего меня не оставляли, чем по справедливости могу похвалиться; ничто не препятствовало моему счастью, кроме как то, что я еще летами не вышел, а из телячьего платья повырос, хотя сам я


Schau Simplex Ein-
falt-Löschungs-Trieb
Belehrt uns hie die Nächs-
sten-Lieb
Die Sterb-Bereitung nicht
auffschieb.

«Симплициссимус». Книга первая, глава десятая.

того не разумел. Также и священник не очень-то хотел, чтобы я пришел в совершенный разум, понеже ему мнилось, что для сего еще не приспело время и ему это не послужит на пользу. Однако ж господин мой, приметив во мне склонность к музыке, велел меня обучать оной и приставил ко мне превосходного лютниста, чье искусство я вскорости постиг довольно изрядно и превзошел его тем, что мог лучше, нежели он, сопровождать свою игру пеньем. Итак, служил я моему господину для его утехи, забавы, увеселения и дивования. Все офицеры оказывали мне свое благоволение, именитые горожане являли мне почтение, а челядинцы и солдаты мне доброхотствовали, ибо видели расположение ко мне моего господина. Каждый одаривал меня то тем, то этим, ибо они знали, что лукавые шуты нередко входят у своих господ в большую силу, нежели человек правосудный, а посему и склоняли меня подарками, иные, чтобы я не повредил им, снаушничав, а иные, напротив, чтобы я как раз учинил сие ради их корысти, таким-то образом зашибал я немало денег, которые по большей части отдавал сказанному священнику, ибо еще не ведал, на что они годны. И как никто не осмеливался поглядеть на меня косо, то и я ниоткуда не чаял себе напасти, заботы или кручины. Все свои помыслы устремил я к музыке или направлял к тому, как половчее казнить дурачества своих ближних. А посему возрастал я, катаючись, как сыр в масле: рожа моя лоснилась, а телесные силы приметно прибывали; вскорости по мне стало видно, что я не умерщвляю свою плоть в лесу, питаясь желудями, буковыми орешками, корнями и травами, запивая все это ключевою водою; мне пошел впрок лакомый кусок да еще с глотком рейнского вина или ганауского крепкого пива, что в столь скудные времена за великую милость божию почесть надо было; ибо вся Германия тогда была снедаема жестоким пламенем войны, чумой и голодом, так что и сама крепость Ганау была обложена неприятелем, но все сие мне нисколько не досаждало. По снятии осады господин мой порешил в мыслях презентовать меня либо кардиналу Ришелье, либо герцогу Бернгарду Веймарскому; ибо, помимо того, что он надеялся подобным подарком получить великую благодарность, ему, как он сам признавал, было непереносно видеть долее, как я в столь дурацком одеянии всякий день представляю его очам облик его пропавшей сестры, с коей я час от часу все более схож становился. Сие отсоветовал ему священник, ибо он утверждал, что придет время, когда он сотворит чудо и снова обратит меня в разумного человека, а посему подал губернатору совет припасти две телячьи шкуры и обрядить в них еще двух мальчиков. Засим отрядить к ним третью персону или особливого человека, который, явившись

в образе лекаря, пророка или бродячего скомороха, снял бы с диковинными церемониями с меня и со сказанных двух мальчиков наше дурацкое одеяние, уверяя, что может превращать скотов в людей, а людей в скотов. Подобным образом буду я снова приведен в полный разум, и мне без особливых трудов втолковать будет можно, что я, равно как и другие, снова стал человеком. И как губернатор дал на сие соизволение, то и пересказал мне священник все, о чем он столковался с моим господином, и легко уговорил меня на то согласиться. Однако ж завистливая Фортуна не возжелала дозволить мне с толикою легкостию выскользнуть из дурацкого моего платья и наслаждаться долее благополучным и превосходным сим житием! Ибо покудова скорняк и портной трудились над изготовлением потребных для оной комедии нарядов, резвился я с несколькими ребятами на льду перед крепостью; внезапно, и уж не знаю, какая нелегкая нанесла на нас отряд кроатов, которые нас сцапали, посадили на порожних лошадей, только что перед тем отнятых у мужиков, и увезли всем скопом. Правда, сперва они были в сумнении, брать ли меня с собою, покуда один не сказал по-моравски: «Mih weme doho Blasna sebao, bowe deme no gbabo Oberstwoi». Сему отвечал другой: «Prschis am bambo ano, mi no nagonie possadeime, wan rosumi niemezki, won bude mit Kratock wille sebao». Итак, принужден я был сесть на лошадь и познать, что един неурочный час может похитить все благополучие и лишить всего счастья и блаженства, за коими иной гоняется всю жизнь.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплицию пало на злую долю
Беды и горя у кроатов вволю.

И хотя в крепости тотчас же подняли тревогу, повскакали на коней и начали с теми кроатами перепалку, чем их малость приостановили и задержали, однако ж не смогли у них ничего отбить, ибо сия легкая прыткая ватага вскорости улизнула от погони и направила путь свой на Бюдинген, где они накормили лошадей и отдали на выкуп тамошним горожанам взятых в плен богатеньких сынков из Ганау, а также распродали похищенных лошадей и другие товары. Отсюда поднялись они прежде, чем разгулялась настоящая ночь, не говоря уже о том, чтобы занялось утро, и пересекли бюдингенский лес, направляясь к аббатству Фульда и забирая по пути все, что только могли увезти с собою. Грабежи и разбой нимало не препятствовали скорому их походу, ибо

они уподоблялись самому черту, о коем обыкновенно говорят, что он может в одно и то же время бежать и (s. v.) дристать, нимало не мешкая, по дороге, понеже мы тем же вечером прибыли с большою добычею в аббатство Хиршфельд, где были у них квартиры; тут все пошло в дележ, я же достался полковнику Корпесу.

Все претило мне и казалось весьма несуразным при дворе сего нового господина: лакомые яства Ганау переменились на грубый черный хлеб и постную говядину или, когда дела шли хорошо, на кусок краденого сала. Вино и пиво превратились в воду, а вместо мягкой постели привелось мне довольствоваться соломою подле лошадей. А что до игры на лютне, коей услаждал я все совокупное общество, то вместо ее принужден я был, подобно другим мальчишкам, забиваться под стол, лаять по-собачьи и получать тычки шпорами, что было для меня невеселой потехой. Вместо променадов в Ганау отправлялся я на фуражировку, чистил скребницами лошадей и вывозил навоз. Фуражировать же означало не что иное, как с великим трудом и заботами, а частенько с опасностью для жизни и здравия рыскать по деревням, молотить, молоть, печь, красть и брать все, что сыщешь, пытать и разорять мужиков, позорить их служанок, жен и дочерей, для каковой работы я был еще юн летами. А когда бедные мужики показывали свое неудовольствие или же набирались такой дерзости, что тому или иному фуражиру, захватив посреди таких его трудов, возьмут да и пообломают лапы, что в те времена в Гессене с такими гостями случалось нередко, то зарубали тех мужиков насмерть, как только они попадутся, или же, по крайности, пускали на дым их хижины. У господина моего не было жены (ибо подобные вояки не имеют обыкновения таскать за собою жен, коль скоро первая встречная всегда может заступить их место), не было у него ни пажа, ни камердинера, ни повара, зато при нем находилась целая ватага конюхов и отроков, кои имели попечение разом и о нем, и о его лошадях, да и он сам не считал для себя зазорным оседлать коня или засыпать ему корму. Спал он завсегда на соломе, а то и на голой земле, укрываясь меховым плащом, а посему частенько можно было узреть странствующих по его платью бекасов, чего он нимало не стыдился, а еще посмеивался, когда кто-нибудь снимал их с него. Он носил короткие волосы и широченные усы, как у швейцарцев, что было ему весьма кстати, ибо он имел обыкновение переодеваться в мужицкое платье, когда отправлялся что-либо поразведать. И хотя он не задавал пирушек, как это ему приличествовало бы, однако ж всем, кто только его знал, как своим, так и чужим, внушал любовь, страх и уважение. Мы никогда не жили спокойно, а рыскали повсюду, то напа-

дали сами, то нападали на нас; не было нам угомону, пока можно было трепать гессенцев; также и Меландер не давал нам ни отдыха, ни срока, ибо отбивал у нас всадников и отсылал в Кассель.

Сия беспокойная жизнь была мне вовсе не по нутру, а посему я частенько, но тщетно вздыхал по Ганау. Самый тяжкий крест, который мне был ниспослан, состоял в том, что я не мог толком объясниться с этими молодцами, а был принужден сносить от всех и каждого тычки, пинки, побои и всяческое помыкание. Наибольшая потеха, какую я доставлял моему господину, заключалась в том, что я пел перед ним по-немецки и, подобно другим конюшенным, должен был трубить в трубу, что, по правде, случалось редко; но тогда получал я столь жестокие оплеухи, что шла кровь, что мне надолго было памятно. Напоследок, ибо и без того было видно, что меня еще нельзя было посылать на фуражировку, стал я приучаться к стряпне, а также чистить моему господину оружие, о чем он весьма заботился. Сие исправлял с таким рачением, что наконец приобрел расположение моего господина, ибо он приказал сшить мне из телячьей шкуры новое дурацкое платье с ослиными ушами, куда более длинными, нежели раньше; и понеже господин мой был в кушаньях не весьма привередлив, то тем меньше надобно было мне оказывать проворство в поваренном искусстве. А как частенько недоставало мне соли, сала и приправ, то сие ремесло мне прискучило; того ради я беспрестанно размышлял, как бы мне добрым манером отсюда убраться, особливо же потому, что я снова дожил до весны. А когда я решил сие исполнить, то принялся собирать и оттаскивать подале от наших квартир валявшиеся повсюду овечьи да коровьи кишки и черева, дабы они не распространяли столь гнусный запах, что пришлось ему по нраву. А когда я с тем управился, то напоследок, как только стемнело, отлучился совсем и улизнул в ближайший лес.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций скитается в темных лесах,
На двух злодеев наводит страх.

Однако ж, судя по всему, мое житье-бытье час от часу становилось все несноснее, и было столь худо, что я вообразил, будто рожден для злополучия; ибо не успело пройти несколько часов, как я сбежал от кроатов, а я уже попал в лапы к разбойникам. Сии, нет сомнения, полагали, что словили важную птицу, ибо темной ночью не разглядели моего шутовского наряда, и тотчас же

отрядили двух молодчиков отвести меня в уреченное место в самой чаще леса. А когда они завели меня в глубь леса, а темень была хоть глаз выколи, то один из них вознамерился без дальних околичностей повытрясти из меня денежки. Итак, сложил он кожаные свои перчатки и самопал наземь и принялся меня ощупывать, спросив: «Кто таков? Где у тебя деньги?» Но едва только почувствовал он под руками мохнатое мое платье и долгие ослиные уши на моей шапке (кои почел рогами), да еще к тому же увидел перебегающие по мне светлые искорки (как обыкновенно можно приметить на звериных шкурах, ежели их в темноте погладить), то обуял его такой страх, что он весь затрясся. Сие я тотчас же смекнул; того ради, прежде чем он снова отудобел или опамятовался, принялся я обеими руками из всех сил тереть свое платье, да так, что оно все засверкало, как если бы я внутри был начинен горящею серою, и ответствовал ему ужасающим гласом: «Я черт и сейчас сверну тебе и твоему товарищу шею!», чем сих двоих так устрашил, что они оба стремглав бросились от меня, словно их настигал адский пламень. Темная ночь не умедлила скорого их бега, и хотя они нередко спотыкались о пенья, камни, коряги и поваленные деревья и еще чаще падали кувырком, однако ж проворно вскакивали на ноги. Так мчались они, покуда я не перестал их слышать; я же похохатывал им вслед столь зычно, что весь лес отзывался, и сие, нет сомнения, в таковом безлюдье наводило на них немалый ужас.

Когда я собрался уйти прочь, то запнулся о самопал; я прихватил его с собою, ибо кроаты уже научили меня, как надлежит обращаться с оружием. А когда я зашагал дальше, то наскочил на ранец, сшитый, как и мое платье, из телячьей шкуры; я также его подобрал и увидел, что снизу к нему привязан еще патронташ с пулями, свинцом и прочим нарядом. Я навесил все это на себя, вскинул самопал на плечо, как заправский солдат, и схоронился неподалеку в густом частом кустарнике в намерении малость поспать. Но едва занялось утро, как вся шайка воротилась на сказанное место, чтобы сыскать брошенный самопал и сумку; я же навострил уши, словно лисица, и затаился, как мышь. Но как они ничего не нашли, то подняли на смех тех двоих, которые от меня улепетывали. «Эх вы, трусливые простофили,— укоряли они,— не стыдно вашим бельмам, что вы двое дозволили одному-единственному малому так вас настращать, прогнать и завладеть вашим оружием!» Но один из них поклялся, чтоб черт его побрал, когда то не был сам черт; он ведь хорошо расщупал его рога и грубую шкуру. Другой же кобенился весьма нескладно и сказал: «По мне, будь то хошь черт, хошь его матушка, мне бы только сыскать свой ранец». А один из них, коего я почел старшим,

отвечал ему: «Как ты полагаешь, на кой черт западобились черту твой ранец и самопал? Да я готов прозакладывать голову, когда их не уволок с собою тот малый, который обратил вас в столь постыдное бегство». Но сему прекословил другой товарищ, сказывая, что-де весьма статься может, что уже после того бродили тут крестьяне, которые нашли и подобрали сии вещи. Наконец все согласились с таким мнением, и вся ватага твердо уверовала, что они захватили самого черта, особливо же потому, что тот самый малый, который в потемках ощупал меня, не только подтверждал сие ужасною божбою, но и сумел нарассказать им, жестоко все размалевав, про грубую сыплющую искрами шкуру и два рога как несомненный признак дьявольской натуры. Сдается мне, что ежели бы тогда я ненароком объявился снова, то вся орава бросилась бы врассыпную.

Напоследок долгонько поискав и ничего не нашедши, отправились они своим путем; я же раскрыл ранец, намереваясь позавтракать, но едва запустил руку, как достал кошель, в коем находилось примерно триста шестьдесят дукатов. И хотя нет нужды спрашивать, был ли я такою находкою обрадован, однако ж, да поверит мне читатель, котомка сия более увеселяла меня тем, что должным образом была набита провизиею, нежели тем, что я обрел в ней изрядный куш золота. И как у подобных молодчиков среди простых солдат в карманах гуляет ветер и такой куш таскать им с собою не за обычай, то я решил, что сей малый только в последней переделке промыслил себе тайком эти денежки и проворно засунул их в ранец, чтобы не пришлось поделиться с товарищами.

Засим я беспечально позавтракал, а вскорости обрел веселый родничок, возле коего славно прохлаждался и пересчитывал любезные дукаты. Но коли мне следовало бы объявить, в какой стране или местности я тогда пребывал, я, хоть убей, не мог бы о том ничего сказать. Сперва я обретался в лесу, покуда доставало мне провианту, с коим я весьма скупился. Но когда ранец мой стал пустехонек, погнал меня голод к мужичьему жилью: по ночам прокрадывался я к погребам и кухням и забирал все съестное, все, что только мог там сыскать и унести с собою; все это я тащил в лес, в самую глухую чащу. Там я вновь обратился к былой отшельнической жизни, какую вел прежде, кроме разве того, что теперь я много крал и тем меньше молился, а также не было у меня постоянного пристанища, и я бродил по всему лесу. Мне было весьма кстати, что такая жизнь повелась у меня с начала лета, а также что мог я стрелять из самопала, когда только хотел.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций зрит ведьм на шабаш сборы,
И сам попадает в бесовские своры.

Посреди таких странствий доводилось мне встречать в лесах то там, то сям блуждающих мужиков; однако ж они всегда от меня убегали, уж не знаю, по той ли причине, что они и без того были войною напуганы, рассеяны и, почитай, никогда не обреталисъ дома, или же разбойники повсеместно разнесли молву о том приключении, какое было у них со мною, так что те, кому случалось меня потом ненароком увидеть, тотчас же полагали, что злой дух и впрямь рыщет в той стороне. Однажды проплутал я несколько дней в лесах и того ради стал весьма опасаться, что все припасы мои переведутся и я впаду в превеликую крайность и принужден буду снова питать себя травою и кореньями, отчего я уже давненько отвык. Посреди таких мыслей заслышал я двух дровосеков, что меня весьма обрадовало; я пошел на стук, и когда их завидел, то вынул из кошеля целую пригоршню дукатов, подкрался близко к ним и, показывая прельстительное злато, сказал: «Голубчики, коли вы меня тут поджидали, то вознамерился я вам подарить эти денежки!» Но едва они увидели, что у меня в руках засверкало золото, как сами тотчас же засверкали пятками, побросав кувалды и клинья, а заодно и мешок с хлебом и сыром. Сей снедью набил я ранец, углубился в лес и почти что отчаялся, что когда-либо снова стану жить среди людей.

По долгом размышлении о сем предмете сказал я себе: «Кто знает, какая уготована тебе судьбина; у тебя завелись денежки, и когда ты схоронишь их в надежном месте у добрых людей, то сможешь долго прожить беспечально». Итак, взошло мне на ум, что надобно их зашить; того ради сшил я из моих ослиных ушей, которые нагоняли на всех страх, два зарукавья и, присовокупив мои ганауские дукаты к разбойничьим, заточил их в сказанные зарукавья, подвязав изнутри выше локтя. Ухоронив таким образом свое сокровище, я стал снова наведываться к мужикам, добывая себе из их запасов все, в чем у меня была нужда и что я мог утащить. И хотя я еще был простак простаком, однако ж у меня достало хитрости, чтобы никогда не возвращаться на то место, где мне привелось чем-нибудь поживиться; а посему в плутнях мне была велпкая удача и никому еще не удавалось меня изловить с поличным.

Однажды в конце мая, когда вознамерился я сим обычным для меня, хотя и запретным, способом добыть себе пропитание и на

такой конец пробрался на некий крестьянский двор, то тихонько зашел на кухню, однако ж вскоре приметил, что там были еще люди (nota: а туда, где были собаки, я не заглядывал вовсе); а посему растворил я настежь кухонную дверь, что вела во двор, дабы в случае опасности прямехонько дать стрекача, и затаился, словно мышь, ожидая, покуда люди не угомонятся, меж тем приметил я в кухонной ставенке, что выходила в покои, щелку; я подкрался туда, чтобы поглядеть, скоро ли те люди улягутся спать. Однако ж моя надежда была пустой, ибо они только что оделись и заместо свечи стояла там у них на лавке светильня, мерцавшая голубым серным пламенем, при свете коего мазали они помела, метлы, вилы, скамьи и стулья и один за другим вылетали, сидючи на них, в окошко. Сие повергло меня в ужасающую оторопь и вселило немалый страх, но понеже я приобык и к еще более устрашительным позорищам, да и отродясь не доводилось мне еще слыхивать или читывать про таких ведьмаков, наипаче же оттого, что все сие свершилось весьма чинно, то я не особливо остерегался, а напротив, когда все повыскакали, зашел в тот покой, размышляя, что бы мне унести и где еще пошарить, и посреди таких мыслей присел я верхом на скамеечку. Но едва я оседлал ее, как поехал, да что там, взвился с треском и вылетел вместе со скамейкою в окошко, оставив ранец и самопал там, где их положил, возле скляницы с притираниями и прочих колдовских мазей. Сесть, взлететь и сойти долой — все учинилось во мгновение ока! Ибо я, как мне мнилось, в ту же минуту очутился посреди превеликой толпы народа, а быть может, со страху не приметил, сколько времени провел я в дальнем сем пути. Все тут отплясывали диковинные танцы, коих я отродясь не видывал; ибо они, взявшись за руки и выворотив спины, подобно тому, как изображают граций, так что лица их были все наружу, водили хороводы в несколько кругов, один заключенный в другом. Во внутреннем кругу было примерно семь или восемь персон; в следующем за ним, верно, вдвое больше, а в третьем больше, чем в сих обоих, так что в наружном кругу было их свыше двухсот. И так как один круг, или хоровод, скакал влево, а другой возле него вправо, то и не мог я хорошенько разглядеть, сколько было всего таких кругов, и что стояло там посреди, вокруг чего они плясали. Все сие было весьма странно и устрашительно, ибо головы их преуморительно мелькали перед очами. И сколь странен был сам танец, такова же была их музыка; также сдается мне, всяк припевал к сему танцу еще от себя, что составляло диковинную гармонию. Скамья, на которой я прилетел, опустилась возле музыкантов, стоявших поодаль от того круга, или хоровода; у некоторых из них заместо флейт, флейт-траверсов и свирелей были ехидны, ужи и гадюки, на коих они превесело гу-

дели. Иные же стояли с кошками, которым они дули в задницы, перебирая по хвосту пальцами; и сие звучало, подобно волынкам. А другие водили смычками по конским черепам, словно по наилучшей дискантовой скрипке, а иные ударяли по коровьим остовам, какие можно видеть на живодерне, как по струнам арфы. Был среди них и такой молодец, который держал под мышкой суку; он вертел ей хвост, как рылейщик, перебирая лады на сосках. А к сему трубил дьявол через нос, так что раздавалось по всему лесу, а как сей танец скоро пришел к концу, то принялась вся адская кумпань бушевать, кричать, шуметь, греметь, выть, яриться и неистовствовать, как если бы они все вздурели и взбесились. Тут всякий легко рассудить может, в каком я пребывал тогда страхе и ужасе.

Посреди скаредного сего шума и мерзостного гомона приблизился ко мне молодчик, зажимавший под мышкою преогромную жабу, величиной, почитай, с добрую литавру; все кишки у нее были выворочены из заду наружу и снова запиханы в глотку, что имело вид столь гнусный, что я зачал блевать. «Подыми очи, Симплициус,— сказал он,— ведомо мне, что ты изрядно играешь на лютне, так повесели же и нас своим искусством». Я так испугался, что едва не упал, ибо молодчик назвал меня по имени, и в таком страхе вовсе онемел, возомнив, что мне привиделся худой сон, и того ради усердно помолился в сердце своем всемогущему богу, дабы ниспослал он мне пробуждение и пособил от несносного сего сна избавиться. Однако ж молодчик с жабою под мышкой, с коего я не сводил оцепенелого взора, зачал вбирать и выпускать свой нос, подобно калькутскому петуху, и напоследок толкнул меня в грудь, так что я едва не задохнулся. Того ради стал я громко призывать имя божие, восклицая: «Господь Иисус Христос!» И едва произнес я сии могущественные слова, как исчезло все воинство. В миг соделалась кромешная тьма, и у меня так замерло сердце, что я повалился наземь, без счету осеняя себя крестным знамением.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций просит о том не мыслить,
Что льет он пули, лишь только свистни.

Так как бывают люди, а среди них встречаются также благородные и ученые мужи, кои не верят в то, что на свете есть ведьмы или колдуны, не говоря уже о том, чтобы они носились и летали по воздуху, то я не сомневаюсь, что сыщутся и такие, которые скажут: «Ну, и мастак же Симплициус отливать пули!» Я не охот-

ник заводить споры с такими людьми, ибо лить пули в нонешнее время стало уже не искусством, а почитай что заобыкновеннейшим ремеслом, да и признать должен, что из меня вышел бы худой спорщик, как я был еще тогда порядочный простофиля. Однако ж те, что отрицают полеты ведьм, пусть вспомнят одного только Симона Волхва, который силою злого духа поднялся на воздух и по молитве святого Петра низвергнулся вниз. Николай Ремигий, муж доблестный, ученый и разумный, по чьему повелению в герцогстве Лотарингском была сожжена не одна ведьма, повествует о некоем Иоганне Хембахе, что его мать, которая была ведьмой, на шестнадцатом году его жизни стала брать его с собою на шабаш, где он, будучи обучен играть на дудке, должен был доставлять музыку к их танцу. Для сего взобрался он на дерево и дудел на дудке прилежно, взирая на сей танец (быть может, потому что все казалось ему весьма диковинным, понеже и впрямь там все ведется дурацким образом); напоследок сказал он: «Помилуй бог, откуда собралось тут столько дурацкой и безрассудной сволочи?» Но едва только вымолвил он сии слова, как тотчас же сверзился с дерева, вывихнул плечо и стал взывать о помощи; но там, кроме него, никого не было. А как потом он расславил на весь мир о сем приключении, то многие почли это за басню, покуда через короткое время не была схвачена за чародейство Катарина Превоция, которая также присутствовала на сем танце: она объявила обо всем, что там велось, хотя ничего не знала о всеобщей молве, которую распустил Хембах. Майолус, епископ, приводит два примера о батраке, неотступно следовавшем за своею госпожою, и о некоем прелюбодее, который взял скляницу своей любушки и намазался ее мазью, и так оба они попали на шабаш ведьм. Рассказывают также об одном батраке, который встал спозаранок и стал мазать телегу; но понеже в потемках подвернулась ему не та банка, что следовало ему взять, то вся телега поднялась на воздух, так что пришлось их обратно тянуть на землю. Олаус Магнус в lib. 3. Hist. de gentibus septentrional. I, cap. 19, повествует, что Хадингус, король Дании, после того как он был изгнан некими бунтовщиками из своего королевства, снова возвратился в него по воздуху, будучи перенесен через море духом Одина, принявшим облик коня. Также довольно известно, каким образом женки и незамужние девки в Богемии понуждают своих хахалей совершать с ними по ночам далекий путь верхом на козлах. Пусть-ко почитают, что рассказывает Торквемада в своем «Гексамероне» об одном школяре. Также Гриландус пишет о некоем знатном господине, который, приметив, что жена его натирается мазями и потом пропадает из дому, однажды принудил ее взять его с собою на колдовское сбо-

рище. А когда они там трапезовали и не случилось соли, то стал он просить, чтобы ему ее подали и, получив после долгих проволочек, воскликнул: «Слава те господи, вот и соль пожаловала»,— как разом погасли огни и все исчезло. А когда занялся день, узнал он от пастухов, что обретается неподалеку от города Беневенто в Неаполитанском королевстве, а значит, более чем в ста милях от своей родины. Того ради, хотя и был он богат, принужден был попрошайничать, чтобы добраться до дому; а когда он воротился, тотчас же объявил перед управителями, что его жена чародейка, каковую затем и сожгли. А как доктор Фауст и многие другие, которые, однако ж, не были чародеями, перелетали по воздуху с места на место, довольно известно из его «Истории». Также можно прочитать у Боккаччо о некоем дворянине из Ломбардии, чей отец, сам того не ведая, приютил у себя египетского султана; а когда сей дворянин был захвачен в плен и приведен к султану и тот его узнал, то повелел уложить его в великолепную постель и положить рядом с ним много золота и затем с помощью одного чародея сонного перенести в Павию, где и опустить в соборе. Да и я сам знавал одну госпожу и ее служанку, кои, однако ж, в то самое время, когда я это пишу, давно уже померли, хотя отец девки еще жив. Так вот эта девка, однажды стоя у очага, мазала башмаки своей хозяйки, а когда она с одним башмаком покончила и отставила в сторону, чтобы приняться за другой, как тот башмак, что был намазан, внезапно вылетел в каминную трубу; но сие дело замяли. Все сие привожу я для того только, дабы доподлинно знали, что колдуны и чародейки по временам отправляются на свои сборища в телесном виде, а вовсе не затем, чтобы беспременно уверовали, что и я сам, как было о том рассказано, там бывал; ибо мне все едино, поверит ли кто или нет, а кто не верит, пусть-ко измыслит, каким иным путем был я препровожден из аббатства Хиршфельд или Фульда (ибо я сам не знаю, в каких я тогда блуждал лесах) в епископство Магдебургское.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплициус снова играет на лютне,
Готов он приняться за старые плутни.

Приступаю снова к моей истории и хочу уверить читателя, что я так и пролежал на животе, покуда не занялся светлый день, ибо мне недоставало храбрости подняться; к тому же был я еще в сомнении, не привиделись ли мне все сказанные чудеса во сне. И хотя находился я еще в изрядном страхе, однако ж был столь

смел, что уснул, ибо рассудил, что не могу обретаться в более лихом месте, нежели в глухом лесу, где я провел большую часть времени с тех пор, как покинул своего батьку, а посему довольно к тому приобык. Было примерно девять часов утра, когда наехал на меня отряд фуражиров, которые меня и разбудили; тут только увидел я, что лежу посреди открытого поля. Фуражиры увезли меня с собою к ветряным мельницам, а затем, смолов там все зерно, отправились в лагерь под Магдебургом, где представили меня пред ясные очи некоего полковника. Сей спросил меня, откуда я взялся и какому господину принадлежал. Я пересказал все досконально, и понеже не знал, как мне назвать кроатов, то описал их по платью и привел их любимые словечки, а также, что от этих людей я дал тягу; однако ж промолчал о своих дукатах; а все, что я наговорил о полете на шабаш ведьм, почли за вздорные выдумки и дурацкую болтовню, особливо же как пустился я в такие разглагольствования, что прямо уши вяли. Меж тем собралась вокруг меня превеликая толпа народу (ибо не зря сказано, что от одного дурня тысяча других родится); а среди них прилучился тут один, который о прошлом годе был в плену в Ганау и записался там в службу, однако снова перебежал к имперским. Он признал меня и тотчас воскликнул: «Эге! Да ведь это комендантов теля из Ганау». Полковник тотчас стал расспрашивать его о многих касающихся меня обстоятельствах; но сей малый ничего более обо мне не знал, как только, что я умею играть на лютне, item что меня захватили перед крепостью и увели из гарнизона в Ганау кроаты и что сказанный комендант сожалел о такой потере, ибо я был весьма забавный дурень. Засим полковница послала к другой полковнице, которая изрядно играла на лютне и того ради беспрестанно возила сей инструмент с собою, и попросила одолжить ей. Лютню принесли и вручили мне с повелением показать свое искусство. Я же рассудил, что сперва надлежит утолить голод, ибо впалый живот и пузатая лютня произведут худую гармонию. Так и случилось; а когда я изрядно набил зоб и пропустил добрый глоток цербстского пива, то показал свое искусство в игре на лютне и в пении, как только мог, а притом еще болтал все, что ни взбредет на ум, и таким образом без особливых трудов вселил в них уверенность, что я сам того же разбору, как и смешное мое телячье платье. Полковник спросил меня, куда я намерен податься, а как я ответил, что мне все едино, то мы скоро порешили, что я останусь у него и буду служить ему пажем. Он пожелал также узнать, куда подевались мои ослиные уши. «Эва,— ответил я ему,— когда ты знал бы, где они, то пришлись бы и тебе как раз впору». Однако ж сумел промолчать, в чем тут сила, ибо в них заключено было все мое богатство.

За короткое время узнали меня все высшие офицеры как в саксонском, так и в имперском лагере, а особливо женщины, которые украшали шелковыми лентами различных цветов мой колпак, рукава и обкорнанные уши, так что порой думаю, верно уж некоторые щеголи переняли отсюда теперешнюю моду. А все деньги, коими одаривали меня офицеры, я снова щедро расточал, ибо тратил их до последнего геллера, потягивая с добрыми приятелями гамбургское и цербстское пиво, каковые сорта мне более всего пришлись по вкусу, невзирая на то что всюду, куда бы я ни пришел, я мог вдоволь попировать на дармовщину.

А когда мой полковник обзавелся собственною лютнею, ибо вообразил, что я буду при нем находиться до скончания века, то мне уже не дозволяли больше таскаться из одного лагеря в другой и приставили ко мне наставника, дабы он за мною надзирал, а я оказывал ему послушание. Сей муж был по моему нраву, смирен, разумен, изрядно учен, однако ж не весьма искусен в речах и, что превыше всего, необычайно богобоязнен, начитан и знаток всяких наук и художеств. Ночь должен был я провождать в одной с ним палатке, а днем я не смел отлучаться от его глаз. Был он у некоего славного князя советником и чиновником и в то время весьма богат, но как его вконец разорили шведы, а жену унесла смерть, и его единственный сын по бедности не мог далее совершенствоваться в науках и служил писарем в саксонском войске, то и он обрел пристанище у сказанного полковника, у коего согласился стать шталмейстером, дабы переждать, покуда не переменится опасное течение войны у берегов Эльбы и не воссияет вновь солнце прежнего его благополучия.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций с наставником ходит по лагерю,
Где в кости ландскнехты играют сполагоря.

Понеже наставник мой был скорее в преклонных летах, а не молод, то не мог он уже спать всю ночь напролет, и сие было причиною того, что ему в первую же неделю открылись все мои тайности, и он несомнительно уразумел, что я вовсе не такой дурень, каким прикидываюсь, хотя он еще и раньше кое-что приметил и по лицу моему распознал, что все обстоит иначе, ибо он был сведущ также и в физиогномике. Однажды пробудился я около полуночи и стал размышлять о собственной жизни и бывших со мною диковинных приключениях и восстал с ложа своего и возблагодарил всевышнего, исчислив все щедроты, которые он излил на

меня, и все великие опасности, от коих он меня избавил, а также с ревностным благоговением препоручил богу все свои будущие дела и начинания; и просил его не только отпустить мне все мои прегрешения, содеянные мною под дурацкою личиною, но и милостиво избавить меня от моего дурацкого обличья, дабы и я был сопричастен ко всем прочим разумным людям; засим с тяжкими воздыханиями улегся я снова в постель и тотчас уснул.

Наставник мой слышал все, однако ж притворился, что крепко спит, и так повелось несколько ночей кряду, покуда он не уверился, что у меня больше разума, нежели у иных старцев, которые премного мнят о себе, но он ничего не сказал мне в палатке, ибо стены ее были слишком тонки, и он по известной причине не хотел, чтобы раньше времени, прежде чем он совершенно убедится в моей невинности, кто-нибудь другой проник в сию тайну. Однажды пошел я погулять за лагерь, что он охотно мне дозволил, дабы я подал ему повод отправиться на поиски и улучить случай поговорить со мною наедине. Он нашел меня, согласно своему желанию, в уединенном месте, где я давал аудиенцию собственным мыслям, и сказал, обратившись ко мне: «Любезный друг! Понеже я пекусь о твоем благе, то весьма рад, что могу потолковать здесь с тобою наедине. Я знаю, что ты не такой дурень, каким притворяешься, а также, что ты вовсе не желаешь провождать жизнь свою в сем плачевном и смеха достойном состоянии. Когда тебе дорого твое благополучие и ты всем сердцем стремишься к тому, о чем всякую ночь молишь бога, и пожелаешь вверить ся мне как честному мужу, то можешь поведать мне обо всех твоих обстоятельствах; я же в свой черед пособлю тебе, сколь возможно, советом и делом выбраться из шутовского твоего платья».

Тут пал я ему на шею и от чрезвычайной радости повел себя не иначе, как если бы он был ангел или по крайности пророк, ниспосланный с неба, дабы избавить меня от дурацкого моего колпака. И когда мы присели на землю, поведал я ему всю свою жизнь; он же поглядел на мои ладони и подивился как бывшим со мною, так и грядущим диковинным приключениям, однако ж присоветовал мне ни в коем случае не скидывать вскорости дурацкое мое платье, ибо он, как сказывал, посредством хиромантии узрел, что мой рок уготовляет мне темницу с превеликою опасностию для моего здравия и самой жизни. Я поблагодарил его за расположение ко мне и преподанный совет и молил бога вознаградить его за такое добросердечие, а его самого просил (ибо я был покинут от всего света) стать и пребывать вовеки моим отцом и другом.

Засим поднялись мы и пошли на игорную площадь, где сражаются в кости и громоздят божбу на божбу, изрыгая такие хулы, что хоть ими мости крепостные рвы, на галеры грузи да вон вывози. Сия площадь была примерно столь же велика, как старый рынок в Кельне, и вся усеяна плащами и заставлена столиками, окруженными игроками. У каждой компании было по три костяных шельмеца, коим вверяли они свое счастье, ибо сии кубики делили их деньги, вручая одному то, что отняли у другого. Под каждым плащом или возле каждого стола стоял посредник, или хозяин, сего обиралища (игралища, хотел я сказать, да обмолвился). Сия должность состояла в том, что им надлежало быть судьями и доглядывать, чтобы не было никакого плутовства; также ссужали они плащами, столиками и костьми, за что получали свою мзду и долю от выигрыша, и обычно прихапывали себе большую часть денег, только они не шли им впрок, ибо они обыкновенно снова проигрывали все дотла; а когда им все же приводилось скопить малую толику, то доставались эти денежки маркитанту или хирургу, ибо весьма часто им проламывали головы.

Скопище сих дурней являло весьма диковинное позорище, ибо все они возмечтали выиграть, что вовсе было невозможно, ибо каждый должен был получить барыш из чужого кармана, и хотя все они питали такую надежду, но дело шло по пословице: «Сколько голов, столько умов», ибо всякая голова подумакивала о своем счастье, так что иным была удача, а иным незадача, одни выигрывали, другие продувались. А посему иные ругались, иные изрыгали проклятья, иные плутовали, а иных обдирали, как липку. И того ради выигравшие смеялись, а проигравшие кусали губы; кто спускал платье и продавал все, что было дорого, а кто и снова отыгрывал свои денежки, иные орали, чтобы им подали безобманные кости, а другие, напротив, воздыхали о фальшивых и неприметно подсовывали их в игру, а третьи их выхватывали, разбивали и разгрызали зубами и рвали в клочья плащи содержателей сего обиралища. Среди фальшивых костей были «нидерландцы», их надобно было пускать понизу с раскатцем, ибо у них были острые горбовины, словно хребты тощих деревянных ослов, на которых сажали провинившихся солдат; на них-то и были означены «пятерки» и «шестерки». А еще были там «оберландцы», им надобно было показать баварские горы, коли норовишь сорвать изрядный куш. А некоторые были поделаны из оленьего рогу, легки сверху и тяжелы снизу; другие же налиты ртутью или свинцом, а иные начинены рубленым волосом, губками, соломою и толченым углем; у одних были острые ребра, а у других, напротив, совсем сточены; одни вытянулись, как бочонки, а другие расплющились, как черепахи. И все были изготовлены не для чего иного, как для обману;

и они делали свое дело, к какому и были предназначены, все едино, брякали ли их с размаху или пускали скользить тихохонько; супротив таких костей уже не могло пособить никакое проворство, не говоря уже о таких, где были по две пятерки или шестерки или, напротив, по два раза очко или по две двойки; с помощью оных шельмецов выуживали, выманивали и похищали они друг у друга деньги, которые, быть может, сами промыслили себе разбоем, или, по крайности, добыли с превеликою опасностию для жизни и здравия, либо приобрели каким-либо тяжким трудом и заботою.

А когда я стоял, разинув рот, и глядел на сию площадь, на игроков и все их дурачества, наставник мой спросил меня, любо ли мне то, что тут деется. Я отвечал: «То, что тут так ужасно сквернят имя божие, мне непереносно, а что до всего прочего, худо оно или хорошо, то я этого не касаюсь, ибо сие дело мне неведомо, и я его еще никак не разумею». На что сказал мне мой наставник далее: «Так ведай, что сие самое скаредное и мерзкое место во всем лагере; ибо здесь посягают на чужие деньги, а теряют свои. И когда кто-нибудь ступит хоть один шаг сюда в намерении предаться игре, то уже тем самым он переступает десятую заповедь, коя повелевает нам: «Не пожелай ничего, что елико суть ближнего твоего». А почнешь играть и выиграешь, особливо же с помощью обмана и фальшивых костей, то переступишь седьмую и восьмую заповедь. И может случиться, что ты станешь убийцею того, кого обыграешь, ежели потеря его будет столь велика, что ввергнет его в бедность, крайнюю нужду и отчаяние или иной какой пагубный порок, и тут не поможет отговорка, когда ты скажешь: «Я ведь ставил и свои деньги и, значит, честно выиграл»; ибо ты плут и пошел на игорную площадь с намерением обогатиться на чужой беде. А проиграешь, то не искупишь своей вины тем, что лишишься своего достояния, а будешь строгий ответ держать перед господом, подобно богачу, ибо ты бесполезно расточал то, что было даровано тебе на пропитание твое и твоих сродников! Кто отправляется на игорную площадь, дабы предаться игре, тот вдается в опасность лишиться не токмо своих денег, но и телесного здравия и своей жизни и, что ужаснее всего, душевного спасения. Я говорю это тебе, любезный Симплициус, для твоего сведения, ибо ты уверяешь, что тебе неведомо, что такое игра,— дабы ты всю свою жизнь остерегался такой пагубы».

Я спросил: «Любезный господин! Когда сия игра столь ужасна и погубительна, то чего ради дозволяют ее начальники?» Мой наставник ответил: «Я не хочу сказать, что сие происходит оттого, что многие офицеры сами привержены к той же игре, а потому, что солдаты не захотят да и не смогут от нее отстать, ибо тот, кто

единожды начал играть и предался сей привычке, или, лучше сказать, демону игры, тот мало-помалу (невзирая на то, проигрывает он или выигрывает) так в ней увязнет, что отрешиться от нее ему труднее, чем от естественного сна, ибо, как мы тут видим, иные гремят костями всю ночь напролет и готовы проиграть самые лучшие кушанья и напитки и даже уйти отсюда без рубахи. Уже много раз запрещали сию игру под страхом телесного наказания и даже смертной казни, и по приказу генералитета надлежало румормейстеру, профосу, палачам и ярыжкам открыто с оружием в руках возбранять ее и не допускать до нее силою. Однако ж все сие нисколько не помогло; игроки сходились вместе где-либо в укромных местах за плетнями, обыгрывали друг друга, заводили ссоры и проламывали один другому головы, так что по причине такого душегубства и смертоубийства, особливо же потому, что многие проигрывали своих коней и оружие, да и свой скудный рацион, то не только публично дозволили сию игру снова, но даже принуждены были отвести для нее особую площадь неподалеку от главного караула для предотвращения всякого несчастья, которое могло там случиться, чему, однако, не всегда удается помешать, и то здесь, то там кого-либо да уложат на месте. И понеже сия игра возникла по инвенции самого препакостного дьявола и доставляет ему немалый улов, то он назначил к ней особливых игорных бесов, кои ничего иного не творят, как только шныряют по свету и подстрекают людей к игре. Сии бесы совращают различных безрассудных молодчиков и заключают с ними некие союзы и договоры, по коим должны они всегда выигрывать; и все же среди десяти тысяч игроков редко сыщешь хоть одного богатого, а напротив того, они повсеместно бедны и неимущи, ибо их барыш подбит ветром, а посему либо тотчас же уходит в проигрыш, либо расточается в беспутстве. Отсюда-то и повелась весьма справедливая, но слишком уж огорчительная пословица, что черт не покидает игрока, покуда не оставит его голехоньким; ибо он похищает его добро, мужество и честь и не расстается с ним до тех пор, покуда в конце концов (да не оставит его бесконечное милосердие божие!) не лишит его душу вечного блаженства. А когда игрок от природы своей доброго гумору и столь веселого нрава, что никакое несчастие или потеря не могут ввергнуть его в меланхолию, задумчивость, уныние, печаль и прочие происходящие из сего пагубные пороки, то коварный и злокозненный враг рода человеческого насылает ему беспрестанную удачу, дабы через мотовство, спесь, обжорство, пьянство, распутство и всякие иные бездельнические поступки наконец уловить его в свои сети».

Я осенил себя крестным знамением и ужаснулся такому попущению, что в христианском войске творятся подобные дела по

умыслу дьявола, особливо же когда столь очевидна и осязаема как временная, так и вечная погибель и всяческие протори, которые из сего воспоследуют. Но мой наставник сказал, что он поведал мне далеко не все; тот же, кто захочет описать всю пагубу, которая проистекает от игры, возложит на себя непосильное бремя, ибо говорят, что всякий швырок, как только разожмешь руку, подхватит черт; так что я не иначе как вообразил, что с каждой костяшкой (когда игрок мечет ее на плащ или на столик) выскакивает бесенок, который ее направляет и открывает столько очков, сколько надобно к выгоде его принципала. И притом я рассудил, что черти, конечно, не напрасно столь усердно пекутся об этой игре и, нет сомнения, получают от нее немалую выгоду. «При сем заметь еще, что возле игорной площади обычно толкутся торгаши и евреи, которые задешево скупают у игроков кольца, платья и драгоценные вещи, те, что они выиграли или же намерены проиграть, обратив их в деньги, и тут также подстерегает их дьявол, чтобы сим закоснелым игрокам, невзирая на то, выиграли они или проиграли, внушить и вверить новые мысли, пагубные для их душевного спасения. Удачливых игроков он тешит несбыточными химерами, а тем, от кого бежит Фортуна и чей дух и без того смятен и расстроен и потому отверст для пагубных наущений, вселяет он лишь такие умыслы и намерения, кои все, нет сомнения, ведут их к вечной погибели. Уверяю тебя, Симплиций, что я намерен посвятить сей материи целую книгу, как только снова обрету себе покой под родным кровом; в ней скажу я о потере благородного времени, которое бесплодно расточается на эту игру; также не премину сказать и об ужасных хулах, коими тогда сквернят имя божие. Я поведаю о тех мерзких ругательствах, какими они бесчестят друг друга, и приведу немало устрашительных примеров и историй, что приключились во время этой игры со всем, что до нее касается; при сем я не забуду ни о дуэлях, ни о смертоубийствах, которые из-за нее учиняют. И я хочу самыми живыми красками изобразить и со всею очевидностию представить скупость, гнев, зависть, ревность, лукавство, обман, корыстолюбие, мошенничество и, одним словом, все безрассудства и дурачества игроков в зернь и карты, дабы у того, кто хотя бы единожды прочитает сию книгу, возникло такое отвращение к игре, как если бы он отведал свиного молока (которое и дают без их ведома одержимым сей страстию, дабы отвратить от нее), так что весь христианский мир узрит, что одна единственная кумпань игроков более сквернит пречистое имя божие, нежели целая армия ему услужить может». Я похвалил такое его намерение и пожелал, чтобы ему поскорее представился случай осуществить его на деле.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплиций заводит с Херцбрудером дружбу,
Сослужит она им немалую службу.

Наставник мой час от часу оказывал мне все большую приязнь, а я ему; однако ж мы таили нашу взаимную доверенность. Я, правда, строил еще дурня, но не отмачивал срамных и нелепых шуток, так что мои речи и выходки, хотя и были довольно простоваты, однако ж являли больше остроумия, нежели глупости. Полковник мой, будучи превеликий любитель до ловли птиц, взял однажды меня с собою ловить рябчиков наволочною сетью, именуемою «тираса», каковое изобретение мне весьма полюбилось. Но так как собака, делавшая стойку, была чересчур горяча и бросалась на птицу прежде, чем успеют накинуть на нее тирасу, то наловили мы на сей раз неяро, тут я и подал полковнику совет спарить негодную эту суку с орлом или соколом, подобно тому как обыкновенно случают лошадей и ослов, когда пожелают завести мулов, получить от нее крылатый приплод и с подросшими тварями ловить рябчиков прямо в поднебесье. Также приметив, что мы замешкались с осадою Магдебурга и нерадиво ведем дело, подал я совет, как снести с лица земли сию крепость, для чего надобно только изготовить длинный канат толщиною в добрую бочку вина, эдак на полфудера, да обвязать им крепостные стены, а затем, собрав в обоих лагерях всех людей и скотов, впрячь их в упряжку и за один день сволочить город в другое место. Подобные дурацкие и замысловатые балясы точил я во множестве каждый день, ибо таково уж было мое ремесло и мой верстак не стоял праздно. А служивший у полковника переписчик, продувной плут и превеликий пакостник, доставлял мне для сего обильную материю, так что я кое-как перебивался, не покидая стези, коей обычно все такие шуты и дурни шествуют, ибо то, что мне втолковывал сей пересмешник, я не только принимал сам на веру, а спешил сообщить другим, когда встревал в диспут или применялся к беседе.

А когда однажды спросил я у сего переписчика, что это за человек наш полковой капеллан, ибо он столь отличен платьем от всех прочих, то услышал в ответ: «Сей господин прозывается «Dicis et non facis» [1], что по-немецки примерно означает: «Сам другим жен раздает, а себе ни одной не берет». Он заклятый враг всем мошенникам, ибо они никогда не говорят, что творят, а он

[1] «Ты говоришь и не делаешь» *(лат.)*.

же, напротив, всегда объявляет, чего не делает. Да и мошенникам он не особенно люб, ибо обыкновенно они сводят с ним близкое знакомство, когда их ведут на виселицу». А когда впоследствии я назвал так достопочтенного нашего патера, то все подняли его на смех, а меня почли за лукавого злого плута и по сему случаю хорошенько попотчевали лозою. Далее уверил он меня, что вольные непотребные дома в Праге, те самые, что за городскою стеною, снесены и сожжены дотла, а разлетевшиеся оттуда искры и пепел разнеслись по всему свету, подобно семенам дурной травы; item что меж солдат достигают царствия небесного не мужественные герои и отважные воины, а одни только придурковатые олухи, трусливые разини, слабодушные пентюхи, отпетые лежебоки и им подобные, которые довольствуются своим жалованьем; точно так же не политичные новомодные кавалеры и галантные дамы, а одни лишь долготерпеливые иовы, подкаблучные мужья, прескучные монахи, унылые попы, богомолки, бедные попрошайки и всяческое отребье, которые ни богу свечка, ни черту кочерга, вкупе с несмышлеными младенцами, что повсюду напускают лужи и мараются. Так же налгал он мне, что хозяева постоялых дворов потому называются трактирщиками, что, занимаясь своим ремеслом, прилежно трактуют о том, кто из постояльцев достанется богу, а кто дьяволу. А о военном деле втолковывал он мне, что порою стреляют золотыми пулями и, чем они дороже, тем больше наносят урон. «Да что там! — продолжал он.— Подчас уводят в плен на золотой цепи целое войско со всею артиллериею, амуницией и обозами». Далее уверил он меня о женщинах, что больше половины их носит штаны, хотя это и не видно, и что хотя они и не умеют ворожить и не богини, подобно Диане, однако ж многие насадили своим мужьям на головы пребольшие рога, подобно тем, что носил Актеон; item что многие из них живут в браке, оставаясь незамужними, а я всем словам его верил, ибо был неразумным дурнем.

Напротив того, наставник мой, когда мы оставались наедине, вел со мною совсем иные беседы. Он также познакомил меня со своим сыном, который, как о том было помянуто раньше, служил в саксонской армии писарем и обладал совсем иными достоинствами, чем копиист моего господина полковника, а посему последний не только благоволил к нему, но и помышлял откупить его у начальствовавшего над ним капитана и поставить его полковым секретарем, на каковую должность метил и сказанный копиист.

С этим-то писарем, который так же, как и его отец, прозывался Ульрих Херцбрудер, вошел я в такую приязнь, что мы побратались навеки и дали клятву никогда не покидать друг друга

ни в счастье, ни в злополучии, ни в горе, ни в радости. И когда сей союз был заключен с ведома его отца, то тем тверже и непоколебимей мы в нем укрепились. А посему мы больше всего помышляли о том, каким бы средством с честию избавить меня от дурацкой моей личины, дабы могли мы прямо и несокровенно служить друг другу, на что, однако ж, старый Херцбрудер, коего я чтил, как родного отца, и ставил себе в пример, не дал своей апробации, а несомнительно объявил, что когда я вскорости переменю свое состояние, то засим воспоследует для меня тягостное заточение в темницу с превеликою опасностию для жизни и здравия. И как провидел он также себе самому и своему сыну превеликое поругание, то по сей причине подал совет жить с тем большею осмотрительностию и опаскою, и тем менее желал он вмешиваться в дела того, кому, как то было открыто его взору, предстояла великая опасность. И еще был он озабочен тем, чтобы не разделить со мною мое несчастие, когда я откроюсь, ибо он уже задолго до того уведал мои тайности, да и во всем прочем знал меня вдоль и поперек, однако ж не объявил полковнику о всех моих обстоятельствах.

Вскоре после того приметил я еще явственнее, что копиист нашего полковника прежестоко завидует моему названому брату, ибо весьма опасается, что тот заступит должность секретаря; ибо я отлично видел, как он порою скрежещет зубами от досады на немилость и утеснение и что он всякий раз погружается в тяжкую задумчивость, как только завидит старого или молодого Херцбрудера. Посему заключил я и несомнительно уверился, что он строит планы, как бы подставить ножку моему брату и привести его к падению. Я по неложному чувствованию и дружественной обязанности поведал ему все, о чем возымел подозрение, дабы он немного поостерегся сего Иуды. Однако ж брат мой выслушал меня с легким сердцем по той причине, что лучше сего копииста владел не токмо пером, но и шпагою, а к тому же еще полагался на великое благоволение и милость к нему полковника.

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплициус видит, как злым наговором
Невинного друга ославили вором.

Как повелось на войне обыкновение ставить профосами старых испытанных солдат, то и в нашем полку был подобный жох, и притом еще такой тертый прожженный плут и злыдень, о ком по правде можно было сказать, что он куда больше всего изведал, чем

было надобно, ибо был он завзятый чернокнижник, умел вертеть решето и заклинать дьявола, и не только сам был крепок, как булат, но и других мог сделать неуязвимыми, а вдобавок напустить в поле целые эскадроны всадников. Наружностию своею он всего более подходил к тому, как поэты и живописцы представляют нам Сатурна, окромя костылей и косы. И хотя бедные пленные солдаты, попадавшие в безжалостные его руки, от таких его повадок и беспрестанного присутствия почитали себя еще злополучнее, все ж находились и такие люди, которые охотно водили знакомство с сим выворотнем, особливо же Оливье, наш копиист; и чем более распалялся он завистью к молодому Херцбрудеру (который был весьма беспечного нраву), тем сильнее стакивался он с профосом. А посему не велик был мне труд расчислить по конъюнкции Сатурна и Меркурия, что сие для нашего прямодушного Херцбрудера не предвещает ничего доброго.

Как раз в то самое время наша полковница разрешилась от беремени сыном и крестинная похлебка была сварена прямо покняжески, а услужать на этой пирушке пригласили молодого Херцбрудера; и как он по своей учтивости с охотою согласился, то Оливье и улучил давно ожидаемый случай произвести на свет свою плутню, кою он столь долго носил под сердцем; и вот, как только отошла пирушка, хватились золотого кубка, принадлежащего нашему полковнику, чему не так просто было пропасть, ибо сей кубок был налицо и после того, как разбрелись все посторонние гости. Паж, правда, уверял, что последний раз видел кубок у Оливье, однако тот отперся. Затем, дабы должным образом рассудить о сем деле, призвали профоса и приказали ему, ежели он может, с помощью своего искусства открыть вора так, чтобы о нем стало ведомо одному только полковнику, который, ежели сей проступок учинил кто-либо из его офицеров, не охотно подверг бы его такому сраму.

Но как всякий знал свою невиновность, то мы все весело собрались в большую палатку полковника, где ворожей приступил к своим трудам. Тут каждый стал прилежно примечать за другим и хотел знать, чем все обернется и где объявится похищенный кубок. Едва только чародей пробормотал несколько слов, как почитай что у каждого повыскакивали из карманов, рукавов, ботфорт, прорешек, словом, отовсюду, где только были прорези и отверстия, сразу по две, по три, а то и больше молоденьких собачонки, которые проворно забегали по палатке и всюду совали свой нос; а были они все весьма красивенькие, самых различных мастей, а притом еще каждая изукрашена на особый манер, так что прямо загляденье. И этих самых щенят было столько напущено в мои узкие кроатские штаны, что я принужден был их вовсе ски-

нуть, а так как моя рубаха за бытность в лесу давно истлела на теле, то и стоял я голешенек, открывая взору спереди и сзади все, что там было. Под конец у молодого Херцбрудера прямо из прорешки выскочила собачонка, самая шустрая из всех, в золотом ошейнике; она пожрала всех других щенят, коими кишела вся палатка, так что и ступить было некуда. А когда она всех их одну за другой убирала, то сама вытягивалась и становилась все меньше, а ошейник на ней зато все больше, покуда наконец не превратился в застольный кубок нашего полковника.

Тут не только полковник, но и все совокупное общество уверилось, что не кто иной, как юный Херцбрудер и похитил кубок; того ради полковник сказал: «Вот каков ты, неблагодарный гость! Неужто за все мои благодеяния заслужил я такое бездельничество, какого никогда не ожидал от тебя? Гляди! Уже завтра поутру собирался я поставить тебя своим секретарем, а теперь ты заслуживаешь, чтобы я еще сегодня приказал тебя повесить, что непременно бы случилось, когда бы я не щадил твоего честного старого родителя. Проваливай поскорее из моего лагеря и до скончания дней своих не смей показываться мне на глаза!» Юный Херцбрудер хотел вымолвить что-то в свое оправдание, однако никто не пожелал его выслушать, ибо содеянное им представлялось всем самоочевидным; и когда он пошел прочь, то добрый старый Херцбрудер лежал в полном беспамятстве, так что было довольно хлопот, чтобы он оправился, и сам полковник немало утешал его и говорил, что добропорядочный отец не расплачивается за вину злонравного своего сына. Итак, Оливье с помощью дьявола получил то, чего давно домогался, но не мог достичь путем праведным.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Симплициус брату дает сто дукатов,
Дабы откупился от злобных катов.

Как только капитан, у коего был под началом молодой Херцбрудер, узнал о сем происшествии, то тотчас же отставил его от писарской должности и вручил ему пику; с какового времени стал он так презрен, что собаки, когда б только хотели, могли подымать над ним ногу, и оттого нередко призывал он на себя смерть. А отец его так сокрушался, что впал в тяжкий недуг и собрался умирать. Особливо же, как он сам еще раньше предсказывал, что 26 июля (и сей день уже стоял у порога) предстоит ему великая опасность для жизни и здравия, то испросил у полковника разрешения пови-

даться и побеседовать с сыном, который всеми покинут, чтобы открыть ему свою последнюю волю. Они не таились от меня, и я был третьим сопечальником их встречи. Тут увидел я, что сыну нет нужды оправдываться перед отцом, ибо тот хорошо знал его нрав и доброе воспитание и посему был поистине уверен в его невиновности. И он как муж премудрый, глубокомысленный и разумный, взвесив все обстоятельства, без труда заключил, что Оливье с помощью профоса устроил сию баню его сыну; но что мог он предпринять против такого чародея, ибо был в опасении еще горших бед, ежели тот умножит свою мстительность. Сверх того провидел он приближение смерти, но не мог окончить с миром, оставив сына в таком бесчестии. Однако и сын не хотел больше жить в презрении и потому тем сильнее желал умереть прежде отца. И взирать на горесть сих двух было столь тяжко, что я от всего сердца заплакал. Под конец пришли они к единодушному нераздельному согласию терпеливо положиться на волю божию, а сыну искать способ и средство отойти от своего отряда и поискать счастья где-либо еще на белом свете. Но когда они трезво рассудили обо всем, то открылась препона в деньгах, коих недоставало, чтобы откупиться у капитана, и они размышляли и сокрушались о том, в какое злополучие повергла их бедность, так что оставили всякую надежду на облегчение своей участи; тут только и вспомнил я про дукаты, все еще зашитые в ослиных моих ушах, и того ради спросил, сколько надобно денег, чтобы пособить им. Юный Херцбрудер ответил: «Когда б сыскался кто и дал мне сотню талеров, то полагаю, что буду избавлен от всех бед!» Я сказал: «Брат! Когда тем тебе пособить возможно, то мужайся, ибо я дам тебе сто дукатов».— «Ах, брат! — воскликнул он.— С чего это ты? Или ты и впрямь отменный дурень, или столь легкомыслен, что смеешься над нами в нашей печали и крайности?» — «Да нет же! — возразил я.— Я и впрямь хочу отсыпать тебе денег». Засим, скинув камзол, вытащил из рукава ослиное ухо, распорол его и отсчитал молодому Херцбрудеру сто дукатов, оставив прочие у себя, причем сказал: «А сии намерен я употребить, чтобы ухаживать за твоим больным отцом, ежели ему это будет надобно». Тут пали они мне на шею, целовали и не помнили себя от радости, называли меня ангелом, ниспосланным богом для их утешения, а также хотели составить письменное обязательство, по коему я должен был наследовать старому Херцбрудеру вместе с его сыном, а ежели они с помощью божией доберутся до своих, то с превеликою благодарностию возвратят мне всю сумму вместе с причитающимся интересом, от чего я наотрез отказался, вверяя себя лишь неотменной их дружбе. Засим молодой Херцбрудер хотел принести клятву

отомстить Оливье или сложить свою голову! Но отец воспретил ему сие, уверяя, что тот, кто убьет Оливье, в свой черед примет смерть от меня, Симплициуса. «Однако,— заключил он,— мне неотменно ведомо, что ни один из вас не умертвит другого и что вы оба не погибнете от оружия». Затем предложил он нам поклясться в любви и верности по самую смерть, и что мы будем стоять друг за друга в любой беде. Молодой Херцбрудер поладил с капитаном на тридцати рейхсталерах и получил от него честную отставку, а с остальными деньгами при первом удобном случае отправился в Гамбург, где купил двух лошадей и, экипировавшись таким образом, поступил в шведскую армию, вверив моему попечению нашего отца.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Симплиций речет про два предсказанья,
Кои сбылись наглецу в наказанье.

Никто из челядинцев нашего полковника не умел лучше меня приноровиться к болезни старого Херцбрудера и ходить за ним, а так как и сам болящий был весьма мною доволен, то полковница, которая оказывала ему много добра, и возложила всецело на меня сию должность; и при столь добром уходе, а также будучи утешен участью своего сына, стал он крепнуть день ото дня, так что еще перед самым 26 июля пришел почитай что в совершенное здравие. Однако ж почел за благо повременить в постели и сказаться еще больным, покуда не минует помянутое число, коего он приметно страшился. Меж тем посещали его различные офицеры из обоих лагерей, кои все хотели проведать у него о грядущем своем счастье или злополучии, ибо был он добрый математик и разумел течение светил, а также изрядный физиогномист и хиромант, так что его предсказания редко не сбывались; и он даже назначил день, в который потом случилась битва при Виттштоке, ибо к нему являлись многие, коим как раз в это время угрожала насильственная смерть. Полковнице же он предвестил, что ей придется после родов вылежать шесть недель еще в лагере, ибо раньше этого срока нашим не удастся взять Магдебург. Лицемерному Оливье, который нагло подбивался к нему, он сказал твердо, что тот умрет не своею смертию и что я, Симплициус, когда б сие ни случилось, отомщу за него и лишу жизни его убийцу, по каковой причине Оливье с тех пор стал оказывать мне почтение. Мне же старый Херцбрудер поведал все дальнейшее течение моей жизни с такою обстоятельностию, как если бы она уже окончилась, а он во все время со мною не разлучался, на что я, однако, тогда мало взирал, хотя

потом и не раз вспоминал о многих вещах, сказанных им мне наперед, когда они уже сбылись или оказались справедливыми; особливо же предостерегал он меня от воды, ибо опасался, что я найду тут себе погибель.

А когда наступило 26 июля, то просил он верою и правдою и неоднократно напоминал мне и фурьеру (приставленному к старому Херцбрудеру, по его просьбе, на тот день полковником), чтобы мы никого не пускали к нему в палатку. Итак, лежал он там одинодинешенек и беспрестанно творил молитву; но вот уже после полудня прискакал из рейтарского лагеря лейтенант, который спросил, где шталмейстер нашего полковника. Он направился к нам, но мы тотчас же ему отказали, он же не дозволил себя спровадить и принялся упрашивать фурьера со всяческими посулами, чтобы его допустили к шталмейстеру, с коим ему непременно надобно переговорить еще сегодняшним вечером. Но как сие нимало ему не помогло, то начал он изрыгать проклятья, рвать и метать и орал, что он уже не раз приезжал сюда ради его милости шталмейстера и никогда не заставал его дома, а теперь, когда он тут обретается, то не хочет оказать ему такой чести перемолвиться с ним одним словом; засим он спешился и, нимало не задумываясь, отстегнул полу палатки, причем я укусил его за руку, за что был награжден крепкою оплеухою. Как только вошел он в палатку и узрел моего старика, то сказал: «Господин не откажет в извинении, что я дозволил себе такую вольность, чтобы молвить ему несколько слов?» — «Добро! — ответил шталмейстер.— Но что же все-таки угодно господину?» — «Ничего иного,— сказал лейтенант,— как только обременить господина просьбою, не соблаговолит ли он составить мой гороскоп». Шталмейстер возразил: «Ласкаю себя надеждою, что высокочтимый господин простит мне ради теперешнего моего недуга, ежели я на сей раз не исполню его желания, ибо для такой работы потребны многие исчисления, коих слабая моя голова не сможет нынче совершить; но ежели только ему будет угодно повременить до завтра, то чаятельно, что тогда смогу я должным образом его удовольствовать».— «Господин,— сказал на то лейтенант,— так погадай мне, по крайности, хоть по руке!» — «Господин мой,— ответил старый Херцбрудер,— искусство сие весьма обманчиво и ненадежно и того ради прошу меня от него уволить; поутру же я охотно свершу все, что господин от меня требует». Однако лейтенант не захотел удалиться ни с чем, а подступил к самой постели моего названого отца, протянул ему руку и сказал: «Господин! Прошу только вымолвить накоротко, какая ожидает меня кончина, и уверяю, что ежели она хоть в малом постыдна, то я послушествую речам господина, как предостережению

божьему, дабы тем лучше блюсти себя и остерегаться дурного; а посему заклинаю господина именем божьим откровенно сказать мне об этом и не утаить от меня правды!» На что прямодушный старик сказал ему коротко: «Ну что ж, пусть господин поостережется, чтобы его сим часом не повесили».— «Чего? Ах ты, старый плут! — вскричал лейтенант, который перед тем изрядно выпил.— Да как ты посмел сказать такие слова кавалеру?» — обнажил саблю и заколол в постели моего любимого старого Херцбрудера. Я и фурьер тотчас же подняли шум и завопили «караул», так что все побежали к оружию; лейтенант же, не мешкая, дал тягу и, нет сомнения, ускакал бы и ушел от возмездия, когда бы как раз в то самое время не проезжал мимо собственною персоной в сопровождении многочисленной свиты курфюрст Саксонский, который и приказал его нагнать. И когда курфюрст узнал, как обстояло дело, то обратился к Мельхиору фон Хатцфельду, который был нашим генералом, и сказал только всего: «Худая, должно быть, дисциплина в имперском лагере, ежели и больной в постели от смертоубийства не безопасен». То была острая сентенция и вполне достаточна, чтобы лишить лейтенанта жизни, ибо наш генерал тотчас же распорядился накинуть веревку на его разлюбезную шею и непромедлительно вздернуть высоко в воздухе.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций становится честной девицей,
Но видит, что то никуда не годится.

Из сей правдивой истории заключить можно, что не все прорицания должны быть тотчас же отвергнуты, как поступают некоторые дурни, которые и вовсе им не веруют. Так же отсюда явствует, что человеку трудно предотвратить свой жребий, когда ему задолго или недавно предвещено подобное злополучие. А ежели кому доведется спросить: надобно ли, полезно ли и к добру ли, что люди гадают о будущем и заказывают себе гороскопы, я отвечу одно: старый Херцбрудер насказал мне так много всего, что я нередко желал и посейчас еще желаю, лучше бы он о том умолчал, ибо я не мог избежать ни одного из тех злосчастий, которые мне были предвозвещены, а те, кои мне еще предстоят, тщетно мрачат мой ум, ибо они неотменно приключатся со мною, как и те, что уже приключились, все равно, остерегусь я или нет. А что касается до счастливых случаев, которые кому-либо были предсказаны, то полагаю, что они более обманчивы, или, по крайности, сбываются не столь полной мерой, как то бывает при злополучных

предвещаниях. Чем пособило мне, что старый Херцбрудер всем на свете божился, будто я рожден от благородных родителей и воспитан был ими, ежели я не знал никого другого, кроме своего батьки и матки, неотесанных мужиков из Шпессерта? Item чем пособило Валленштейну, герцогу Фридландскому, пророчество, что под сладостную музыку возложат ему на главу королевскую корону? Али не знают, как его угомонили в Эгере? А посему пусть над этим ломает себе голову кто хочет, я же вновь возвращаюсь к своей истории.

Когда я сказанным образом лишился обоих Херцбрудеров, опостылел мне весь лагерь под Магдебургом, который я и без того имел обыкновение называть холщовым и соломенным городком с земляными степами. И я был так намаян и досыта употчеван шутовским своим платьем и должностью, как если бы хлебал одними железными уполовниками; и вот однажды замыслил я не дозволять более всем и каждому надо мной глумиться и решил скинуть дурацкий свой наряд, а там — рассуди бог, сбыться ли тому, что предвещал мне Херцбрудер, даже если бы оттого я лишился жизни и здравия. И сие намерение я тотчас же произвел в дело и весьма безрассудно, как о том будет поведано, ибо не представлялось иного лучшего способа.

Оливье, секретарь, который после смерти старого Херцбрудера стал моим наставником, частенько дозволял мне выезжать с солдатами за фуражом. И когда мы однажды прискакали в большую деревню, где была назначена рейтарам поклажа, и все разбрелись по домам пошарить, нельзя ли тут чем-нибудь поживиться, то улизнул и я поразнюхать, не сыщется ли и для меня какого-нибудь мужицкого обноска, дабы сменить на него шутовской свой наряд. Однако ж ничего не нашел по себе и принужден был довольствоваться женским платьем. Оглядевшись и никого вокруг не приметив, я облачился в него, а свое спустил в нужник, возомнив, что отныне избавился от всех зол и напастей. Вырядившись таким манером, направил я свои стопы в проулок к стоявшим там офицерским женам и так мелко семенил, словно Ахиллес, когда его мать вела к Ликомеду. Но едва вышел из-под крыши, как завидели меня наши фуражиры, чем тотчас же придали мне больше прыти. Они кричали: «Стой! Держи!», а я мчался, словно палимый адским пламенем, и раньше их поспел до помянутых офицерш, пал перед ними на колени и стал умолять ради женского целомудрия и добродетели защитить мое девство от похотливых сих срамников, так что просьба моя не только была уважена, но одна ротмистерша взяла меня в прислуги, и я обретался у нее, покуда наши не взяли Магдебург, а затем шанцы у Вербера, Хавельберг и Перлеберг.

Сия ротмистерша, уже не дитятко, хотя еще была молода, так врезалась в мое гладкое лицо и стройный стан, что после долгих подходцев и напрасных околичностей дала мне уразуметь чересчур откровенно, где ей припекло. Я же в ту пору был слишком совестлив и поступал так, словно вовсе того не примечал, показывая всеми своими поступками девицу отменного благонравия. Ротмистр и его конюх страждали тем же недугом; и того ради ротмистр велел жене одеть меня попригляднее, чтобы мое скаредное крестьянское платье не принуждало ее стыдиться. Она исполнила больше, нежели ей было наказано, и вырядила меня, как французскую куклу, что только подлило масла в огонь, так что напоследок все трое так распалились, что господин и конюх ревностно домогались от меня того, в чем я никак их не мог удовольствовать, и даже самой госпоже учтивейшим образом отказывал. Напоследок вознамерился ротмистр улучить случай и добиться силою того, чего ему, однако ж, от меня получить было невозможно. Сие приметила его жена, и как она все еще надеялась меня уломать, то перебегала ему дорогу и упреждала все его умыслы так, что он был в опасении, что сойдет от этого с ума или совсем вздурится. Однако ж из всех трех жалел я более всего бедного простофилю, нашего конюха, ибо госпожа и господин могли взаимно утолить необузданную свою похоть, а сей дурень ничем не располагал. Однажды, когда ротмистр и его жена почивали, сей молодец очутился перед повозкой, где я спал каждую ночь, и, заливаясь горючими слезами, принялся сетовать на свою любовь и столь же умильно просить о благоволении и милости. Я же выказал себя жесточе камня и дал ему уразуметь, что хочу сохранить девство свое до брака. Когда же он несчетное число раз обещал мне жениться и не хотел ни о чем другом слышать, сколько я его ни уверял, что мне с ним соединиться в браке невозможно, впал он в такое отчаяние или, по крайности, искусно в том притворился; ибо он извлек шпагу, приставил острие к груди, а эфес к повозке не иначе, как если бы вознамерился тотчас себя заколоть. Я помыслил: «Лукавый силен»,— того ради стал его ободрять и сказал в утешение, что завтра поутру объявлю ему окончательный ответ. Сим он был умягчен и пошел спать, я же, напротив, не смыкал очей, ибо размышлял о своем диковинном положении. Я довольно уразумел, что течение времени не приведет меня к добру, ибо чем далее, тем нецеремонливей будет приступать со своими прелестьми ротмистерша, тем отважнее сделается в своих домогательствах ротмистр и в тем горшее отчаяние впадет конюх от своей неизменной любви; однако ж не знал, как мне из такого лабиринта выбраться. Частенько приводилось мне ловить блох на моей госпоже, дабы мог я видеть ее белые, как мрамор, груди и осязать ее нежное тело, что мне,

понеже и я был из плоти и крови, час от часу становилось все трудней переносить. А когда госпожа оставляла меня в покое, то принимался меня терзать ротмистр, а когда я собирался отдохнуть от них обоих ночью, то мне докучал конюх, так что женское платье показалось мне куда несноснее, нежели моя дурацкая личина. Тогда-то (однако слишком поздно) вспомнил я предсказание и предостережение покойного Херцбрудера и вообразил не иначе, что я и впрямь уже заточен в темницу и мне грозит опасность для жизни и здравия, как он мне предвещал, ибо женское платье держало меня в заточении, понеже я не мог из него выскочить, и ротмистр обошелся бы со мною весьма худо, когда бы узнал, кто я такой, и застал у своей прекрасной супруги во время ловли блох. Но как надлежало мне поступить? Напоследок положил я намерение, едва минет ночь и забрезжит утро, открыться во всем конюху, ибо я помыслил: «Его любовная горячность тогда утихнет, и когда ты вдобавок уделишь ему некую толику любезных дукатов, то он поможет тебе раздобыть мужское платье и пособит во всех прочих твоих напастях». То была бы отменная выдумка, когда бы в ней способствовало мне счастье; но оно пошло мне наперекор.

Мой дуралей принял полночь за ясный день, и едва только я хорошенько разоспался, ибо, почитай, всю ночь бодрствовал, размышляя о своем положении, стал ломиться в повозку, дабы услышать о моем согласии. Он принялся звать меня, пожалуй, слишком уж громко: «Сабина! Сабина! Сокровище мое! Подымайся и сдержи свое обещание»,— так что допрежь меня пробудил ротмистра, ибо его палатка стояла рядом с моей повозкою. У него, нет сомнения, от ярости завертелись зеленые и желтые круги перед глазами, ибо он и без того уже начал ревновать; однако ж он не вышел из палатки, чтоб не спугнуть нас, а лишь встал с постели поглядеть, что меж нами поведется. Наконец конюх своей нецеремонливостью пробудил меня, приневоливая либо выйти к нему из повозки, либо пустить к себе; я же выбранил его и спросил, неужто почитает он меня за потаскуху; мое вчерашнее обещание покоится на добром супружестве, помимо чего он меня получить не сможет. Он же отвечал, что мне все равно надобно вставать, уже светает и пора приготовить пищу для всей челяди; а он наносит дров и воды и к тому же разведет огонь. Я отвечал: «Покуда ты со всем управишься, то я могу тем дольше поспать; ступай-ко туда, я скоро за тобой последую». Но как сего глупца не удалось мне спровадить, то я поднялся скорее для того, чтобы исправить свою работу, нежели вступать с ним в конверсацию, ибо мне показалось, что вчерашнее дурацкое отчаяние его оставило. Я довольно мог в походе сойти за девицу, ибо научился у кроатов

стряпать, печь хлебы и стирать, а прясть в походе у солдатских женок не было в обыкновении. А что до прочего, что я не умел исправлять, как это делают служанки, к примеру, чистить щеткою (причесывать) и укладывать (заплетать) косы, то моя госпожа ротмистерша охотно мне это спускала, ибо довольно знала, что я тому не обучен.

А когда я с засученными рукавами сошел вниз с повозки, то мой подстреленный амурной стрелой дуралей, завидев мои белые руки, так воспламенился, что никак нельзя было его удержать, чтобы не поцеловал меня; а так как я и не особенно тому противился, то ротмистр, на глазах коего все сие происходило, не мог того снести и выскочил из палатки с обнаженною шпагою, намереваясь заколоть моего бедного полюбовника, но он дал стрекача и позабыл воротиться. А ротмистр сказал: «Непотребная тварь! Ужо я тебя проучу!» Промолвить что-либо еще не дозволила ему ярость. Однако ж он бросился на меня, как если бы совсем потерял разум. Я начал кричать, так что он должен был перестать, чтобы не учинить аларму, понеже обе армии, саксонская и имперская, стояли тогда друг против друга, ибо шведы под начальством Банера приближались.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА

Симплициус схвачен как хитрый колдун,
Вот-вот придет ему злой карачун.

А когда наступил день, выдал меня господин ротмистр на потеху рейтарам как раз в тот час, когда поднялись обе армии; то было скопище всякого сброда, а посему тем горше и ужаснее должна была быть травля, которая мне предстояла. Они поспешили со мной в кусты, чтобы удобнее утолить скотскую похоть, как у такого дьявольского отродья в обычае, когда им подобным родом отдают женщин. Следом за ними, однако ж, пошли четверо парней, которые видели сие прежалостное зрелище, а среди них был и мой дуралей. Он не упускал меня из виду, и когда приметил, какая уготована мне участь, то вознамерился спасти меня силою, хотя бы это стоило ему головы. У него сыскались заступники, ибо он сказал им, что я его нареченная невеста. Они возымели сожаление ко мне и к нему и пожелали оказать ему помощь. Однако ж сие пришлось не по вкусу рейтарским молодчикам, ибо они возомнили, что у них больше на меня права, и не хотели упускать из рук столь лакомую добычу. Тут принялись они тузить друг друга, и такая поднялась кутерьма и шум, что сбежалось мно-

жество народу, так что все, почитай, смахивало на турнир, где всякий отличается в честь прекрасной дамы. Их ужасающие крики привлекли начальника караула, который пришел как раз в то самое время, когда они, волоча меня в разные стороны, разодрали на мне все платье и увидели воочию, что я за девица. Сие водворило мертвую тишину, ибо его боялись больше, нежели самого черта; также утихомирились все, кто принимал участие в потасовке; он коротко обо всем уведомился, и в то время, как я надеялся, что он избавит меня от всех напастей, он, напротив того, взял меня под арест, ибо то было нестаточное и весьма сумнительное дело, что мужчина в армии захвачен в женском платье. Таким образом шествовали он и его караульный со мною мимо полков (которые все выстроились в поле, готовясь выступить в поход) в намерении передать меня генерал-аудитору или генерал-профосу. Когда же мы поравнялись с полком моего полковника, то меня узнали, окликнули, немудро приодели по приказу полковника и передали пленником нашему старому господину профосу, который наложил на мои руки и ноги оковы.

Мне было весьма не сладко маршировать в цепях и узах; и у меня бы изрядно подвело живот, когда бы не щедрость секретаря Оливье; ибо я не осмеливался вытащить на белый свет свои дукаты, которые мне до сих пор удалось сохранить; я ведь все равно тогда бы их лишился да в придачу навлек бы на себя еще горшую опасность. Помянутый Оливье поведал мне в тот же вечер, чего ради учинено мне столь жестокое пленение, а наш полковой экзекутор получил приказ непромедлительно меня допросить, чтобы тем скорее представить мое показание генерал-аудитору, понеже меня почли не только за опасного лазутчика и шпиона, но еще и такого, который умеет ворожить, ибо вскоре после того, как я оставил полковника, было сожжено несколько колдуний, которые признались и на том стояли по смерть, что видели меня во время своих сборищ, когда замыслили высушить Эльбу, чтоб тем легче врагу было захватить Магдебург.

Пункты, на которые мне надлежало дать ответ, были следующие:

Первое, учился ли я в школе или, по крайности, умею ли писать и читать.

Второе, чего ради явился к лагерю под Магдебургом в дурацком платье, когда на службе у ротмистра, равно как и ныне, нахожусь в довольном разуме.

Третье, по какой причине вырядился я в женское платье.

Четвертое, бывал ли я среди прочей нечисти на шабаше ведьм.

CONFUSION
Regionum querela et tutela.
Der schöne Lände-
Baum gedrücket
Wird so von Raupen ab-
gepflücket,
Und also wider Krafft-
erquicket.

«Симплициссимус». Книга первая, глава пятнадцатая.

Пятое, где мое отечество и кто были мои родители.

Шестое, где я обретался до того, как пришел в лагерь под Магдебургом.

Седьмое, где и с каким намерением обучился женской работе — стирать, печь хлебы, стряпать, item играть на лютне.

На сие вознамерился я поведать о всей моей жизни, дабы все обстоятельства диковинных моих приключений достодолжным образом объяснены были и на все те вопросы можно было дать искусный и вразумительный ответ по всей правде. Однако ж полковой экзекутор не был столь любопытен, а утомлен походом и сердит; того ради потребовал отвечать ему коротко и без обиняков на то только, о чем спрошено. Сообразно тому я и отвечал так, что ничего доподлинно и толком уразуметь было невозможно, а именно:

На первый вопрос: я, правда, не учился в школе, однако умею читать и писать по-немецки.

На второй: понеже не было у меня никакого другого платья, принужден я был облачиться в дурацкое.

На третий: понеже мне прискучило мое дурацкое платье, а мужское не сыскалось.

На четвертый: да, однако ж, не по своей доброй воле туда отправился, а ворожить не умею.

На пятый: отечество мое в Шпессерте, а родители мои крестьяне.

На шестой: в Ганау у губернатора и у кроатского полковника, прозываемого Корпес.

На седьмой: у кроатов принужден был я против своей воли научиться стирать, печь хлебы и стряпать, а в Ганау играть на лютне, к чему у меня была большая охота.

Когда мои показания были все записаны, экзекутор сказал: «Как можешь ты отрицать и отнекиваться, что не учился в школе, когда ты, почитаемый всеми за дурня, во время мессы на слова священника: «Domine, non sum dignus» [1], также изрек по-латыни, что ему бы не след это говорить, когда он о том наперед знает».— «Господин,— ответствовал я,— меня подучили тогда другие люди, уверив, что это слова молитвы, которую творят во время мессы, когда отправляет богослужение наш капеллан».— «Так, так,— сказал полковой экзекутор,— я довольно примечаю, что тебе надобно развязать язычок под пыткой». Я помыслил: «Помоги, боже, когда дурацкой голове придется худо».

---

[1] «Господи, я не достоин» *(лат.)*.

На другой день рано поутру был прислан нашему профосу приказ от генерал-аудитора наблюдать за мной хорошенько, ибо он был намерен, как только армии станут лагерем, допросить меня сам, при каком случае, нет сомнения, не миновать мне пытки, ежели богу не будет угодно расположить все иначе. В этом тюремном заточении я непрестанно вспоминал о священнике в Ганау и о покойном старом Херцбрудере, ибо они оба предсказывали, что со мною станет, когда я скину свою дурацкую личину. Я размышлял также, сколь трудно и невозможно бедной девице во время войны соблюсти и сохранить неповрежденным свое девство.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Симплициус спасся в сумятице битвы,
Видит, как профос убит без молитвы.

Тем же вечером, едва мы расположились лагерем, отвели меня к генерал-аудитору; перед ним лежали мои показания, а рядом был письменный прибор; и мне был учинен строжайший допрос; я же, напротив, поведал о своих делах, как они и впрямь велись. Однако ж мне не было веры, и генерал-аудитор не мог решить, кто же тут — дурень или прожженный злодей, ибо вопросы и ответы так складно подходили друг к другу, а все дело само по себе представлялось весьма замысловатым. Он велел мне взять перо и писать, дабы убедиться, что я сие умею, а также разведать, не известен ли мой почерк и нельзя ли будет, судя по нему, что-либо открыть. Я схватил перо и бумагу столь ловко, как если бы в том каждодневные упражнения имел, спросив, что же мне надлежит писать. Генерал-аудитор (который был в превеликой досаде, быть может, оттого, что мой экзамен затянулся до глубокой ночи) ответил: «Ну, пиши: твоя мать потаскуха!» Я в точности так и написал, а когда сии слова были прочтены, то дело мое обернулось хуже, ибо генерал-аудитор сказал: теперь-то он уразумел, что я за птица! Он спросил профоса, был ли учинен обыск и не нашли ли при мне каких подозрительных бумаг. Профос отвечал: «Нет! Чего его обыскивать, когда начальник караула доставил его нам нагишом!» Но ах! Сие не помогло; профос принужден был меня осмотреть в присутствии всех, а когда произвел то с прилежанием, то — о, злополучие! — сыскал оба ослиных уха с зашитыми в них дукатами, обвязанные вокруг моих рук. А сие значило: «Какие надобны нам еще доказательства? Этот предатель, нет сомнения, подослан учинить превеликую плутню; ибо иначе чего ради разумный залезет в дурацкое платье или мужчина притворит

себя женщиною! Что разумелось тут еще, с каким намерением снабдили его столь знатной суммой денег, как не затем, чтобы произвести что-либо ужасное? Разве не признался он сам, что у губернатора Ганау, наипродувного солдата во всем свете, он обучился играть на лютне? Рассудите господа, в каких еще хитростных проделках мог навостриться он у этого лукавца? Скорая ему дорожка отправиться завтра на пытку, как он того и заслужил, да поспешить к огоньку, понеже он и без того обретался среди чародеев и ничего лучшего не достоин». Каково было тогда у меня на душе, каждый с легкостью вообразить себе может; правда, я знал о своей невинности и твердо уповал на бога, однако ж видел предстоящую мне опасность и оплакивал потерю красивых дукатов, которые генерал-аудитор засунул к себе в карман.

Но прежде чем сия строгая процедура была надо мной произведена, на наших навалилось войско Банера; поначалу сражались обе армии за выгодные позиции, а там уже дело пошло из-за больших пушек и мортир, которые наша армия разом все потеряла. Правда, наш нежный и так славно умевший вилять хвостом господин профос вместе со своими стражниками и узниками держался далеко от главной баталии, однако ж мы были столь близко от нашей бригады, что могли узнать каждого по платью, даже со стороны спины, и когда шведский эскадрон схватился с нашими, то и мы вместе со сражающимися находились в смертельной опасности, ибо во мгновение ока воздух наполнился поющими пулями, так что мнилось, что в честь нас произведен салют, отчего сгорбились боязливые, как если бы хотели спрятаться в самих себя; те же, кто обладал храбростью и чаще бывал в подобных переделках, пропускали пули пролетать мимо, не мертвея лицом. Однако ж в самой схватке каждый старался предупредить смерть, зарубив первого, кто на него покушается. Прежестокая пальба, стук панцирей, треск копий, вопли раненых и нападающих вместе с трубными звуками, барабанным боем и свистом производили ужасную музы́ку! Тогда ничего не было видно, кроме густого дыма и пыли, как если бы хотели они прикрыть всю скаредную мерзость ран и мертвецов. Посреди сего слышимы были жалостные стенания умирающих и веселые крики тех, кто еще бился со всею храбростию; казалось, что и лошади чем долее, тем со все большей горячностью защищают своих всадников; столь ярились они, исполняя все то, к чему их понуждали. Некоторые рушились мертвыми под своими господами, приняв неповинно множество ран за свою верную службу; другие по той же причине падали на своих всадников и таким образом через смерть удостаивались чести взгромоздиться на тех, кто взгромождался на них в течение всей их жизни.

Иные же, освободившись от мужественной ноши, коя ими командовала, оставляли людей, предающихся неистовству и ярости, вырывались от них и искали в открытом поле свою прежнюю свободу. Земля, у которой в обычае покрывать мертвых, тогда сама была покрыта мертвыми телами, кои все лежали на свой лад: головы, потерявшие своих природных хозяев, и, напротив того, тела, коим недоставало голов; у иных же прежалостным и ужасающим образом вывалились внутренности, а у иных размозжены черепа, так что и мозги разбрызгало. Там можно было видеть безжизненные тела, лишенные всей собственной крови, и, напротив, живых, облитых чужою кровию. Там лежали оторванные руки, на коих еще шевелились пальцы, как если бы они все еще хотели участвовать в схватке: напротив того, молодцы, которые еще не пролили ни капли крови, давали стрекача. Там валялись отделенные от тела бедра, кои, будучи освобождены от тяжести туловища, которое они поддерживали, были, однако ж, тяжелее, чем прежде. Там можно было видеть изувеченных солдат, просивших ускорить им смерть, невзирая на то что они и так были к ней близки; напротив того, находились другие, которые молили о пощаде и даровании жизни. Summa summarum [1] сие было не что иное, как прежалостное и прежалкое зрелище! Победоносные шведы погнали наше разбитое войско с того места, где оно столь злополучно сражалось, после того как его разъединили и скорым преследованием совершенно рассеяли, при каковых обстоятельствах наш господин профос со своими узниками также обратился в бегство, хотя мы со всем тем, чем располагали для своей защиты, не могли навлечь на себя неприязнь победителей; меж тем, как профос, угрожая смертию, понуждал нас удирать вместе с ним, прискакал молодой Херцбрудер с еще пятью всадниками и приветствовал его выстрелом из пистолета: «Гляди ж, старый пес! — воскликнул он.— Разве не самое время тебе еще наплодить щенят? Вот я тебе воздам за труды!» Однако ж выстрел столь же мало повредил профосу, как стальной наковальне. «Ах, вот ты какого разбора? — сказал Херцбрудер.— Ну, я не зря и не для твоей потехи сюда явился; ты, собачий сын, должен будешь умереть, даже если твоя душа к тебе приросла»,— прибавил он, понудив вслед затем одного мушкетера из стражи, сопровождавшей профоса, чтобы он, коли хочет получить пощаду, зарубил его топором. Итак, профос получил по заслугам; я же, едва Херцбрудер меня признал и освободил от уз и цепей, тотчас был посажен на его лошадь и отправлен вместе с его слугой в безопасное место.

---

[1] В итоге *(лат.)*.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Симплициус зрит: победой увлечен,
Херцбрудер и сам попадает в полон.

В то время как слуга моего избавителя увозил меня от дальнейшей опасности, господин его, напротив, был столь увлечен жаждой славы и добычи, что, сражаясь, заехал так далеко, что и сам попал в плен. А посему когда победоносные победители делили добычу и погребали своих мертвецов, мой же Херцбрудер нигде не объявился, то его ротмистр получил в наследство в придачу к слуге и лошадям также и меня, после чего я был приставлен на конюшню; он обнадежил, что ежели я буду исправен и приду в совершенный возраст, то поставит он меня рейтаром, а покуда я должен буду все сносить терпеливо.

Вскорости мой ротмистр был произведен в подполковники; я же получил от него должность, какую в старые времена исправлял Давид у Саула, ибо на постое играл я на лютне, а в походе принужден был возить за ним кирасу, что было для меня беспокойным делом. И хотя оружие того, кто его носит, оградить должно от вражеских козней, однако ж со мною приключилось противное, ибо меня мои же молодчики, коих я взрастил, тем усерднее донимали под его покровом. Тут-то и пойдет у них беготня, забавы да потехи без всякой помехи, словно я носил латы не для своей, а для их защиты, ибо я не мог пустить в ход руки, чтобы внести среди них смятение. Солдатская песенка на старинный лад к сему как раз подошла, вот она:

Затяну я песенку для солдатских ушей,
У меня по левому плечу ползет тыща вшей,
По правому того боле,
А на спине целое войско вышло в поле!

Я беспрестанно ломал голову над стратагемой, как мне истребить эту великую армаду; но у меня не было ни времени, ни удобного для сего случая прибегнуть к огню (как то производят в жарких печах), к воде или к яду (ибо я отлично знал, что к тому пригодна ртуть), дабы их перевести; тем менее располагал я каким-либо средством раздобыть себе другое платье или рубаху и был принужден таскаться со всем этим воинством, отдав ему на милость свою плоть и кровь. И как они меня под латами томили и точили, то извлек я пистолет, будто вознамерился затеять с ними перестрелку, однако ж взял только шомпол и совал его под

панцирь, дабы отогнать от брашна. Напоследок изобрел я такую уловку: обертывал шомпол в лоскуток меха и прилаживал к нему еще красивую мелкую сеточку; и когда я такую удочку для вшей спускал за панцирь, то всякий раз вылавливал их из тихой заводи целыми дюжинами; среди них попадали в плен и весьма жирные знатные персоны, с коими я, впрочем, обращался, как с простолюдинами, и сбрасывал их с коня долой; жаль только, что это мало пособляло.

Однажды мой подполковник был отправлен с надежным отрядом в разъезд по Вестфалии, и когда бы у него в отряде было столько рейтаров, сколько у меня вшей, он устрашил бы весь свет; но, понеже сего не было, он был принужден продвигаться с большой осторожностью и хорониться в Геммер-Марке, как прозывают лес между Гаммом и Зустом. Вот когда мне пришлось от моих минеров и вовсе худо; они мучили меня и вели подкопы столь жестоко, что я был в опасении, не собираются ли они расположить свои ложементы между моей шкурой и мясом. Не диво, что жители Бразилии, ярясь от гнева и жажды мести, пожирают вшей, когда они их так допекают! Однажды, уверившись, что долее не в силах сносить толикую муку, отошел я, когда из рейтаров кто чистил коней, кто спал, а кто был на карауле, немного в сторону под дерево, чтобы зачать битву с моими врагами. На сей случай снял я с себя латы, невзирая на то что иные надевают их, готовясь к сражению, и тут учинил я такое побоище и смертоубийство, что оба меча на больших пальцах были залиты кровью и увешаны мертвыми телами или, лучше сказать, кожурами; тех же, кого я не пожелал умертвить, оставил в нужде и крайности делать променад под деревом. Тут помыслил я о второй строфе старинной песенки, что мне довелось слышать:

Повел я тут битву — с ногтей кровь не смоешь.
Рекла вошь другой: «Себя от смерти не скроешь!»
Кабы не вышла смертушка в поле,
Гуляло б войско по своей воле.

Как только взойдет мне на ум сия строфа, у меня начинает почесываться вся шкура, как если бы я все еще находился в самом разгаре того сражения. Я, правда, думаю, что мне не следовало бы столь жестоко казнить свою собственную кровь, подобно царю Ироду, особливо же своих верных слуг, которые вместе со мной пошли бы на виселицу и подверглись четвертованию, да еще служили заместо мягкой перины, когда мне доводилось почивать в чистом поле на голой земле. Я так свирепствовал, словно жестокосердный тиран, что и не приметил, как имперские всадники сца-

пали моего подполковника, а затем добрались и до меня, ужаснув бедных моих вошек, а самого меня забрав в плен; ибо их нимало не устрашило мое мужество, с коим я незадолго перед тем уложил тысячи, превзойдя тем храброго портняжку, побившего семерых одним махом. Я достался одному драгуну, и самая большая добыча, захваченная у меня, была кираса моего подполковника, которую драгун преблагополучно продал коменданту в Зусте, где они стояли на квартирах. Итак, во время этой войны у меня сменился шестой господин, ибо я должен был стать его отроком.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций толкует тут о солдате,
Как в Парадиз затесался он кстати.

Наша хозяйка вовсе того не желала, чтобы я захватил весь ее дом под постой моим молодчикам, так что она принуждена была меня от них избавить, и она без дальних околичностей сунула мою одежонку в горячую печь, да и выжгла их так-то чистенько, ровно старую трубку, после чего зажил я без сих насекомых, словно в розариуме; да никто и вообразить не может, какое я получил облегчение, избыв муку, кою претерпевал несколько месяцев, словно сидючи посреди муравейника. Но тут достался на мою долю новый крест, ибо господин мой принадлежал к числу тех солдат, которые надеялись живыми попасть на небо, и положил за правило неотменно довольствоваться только своим жалованьем и больше ни о ком не печалиться; все его благополучие зиждилось на том, что он заслужит на караулах да накопит от своего еженедельного жалованья. И хотя оное было весьма мизерно, он трясся над ним, как иной над восточным жемчугом; каждый бломайзер зашивал он в полу своего платья, а дабы он мог наскупердяйничать себе малую толику, должны были ему в том пособлять я и его бедная лошадь. Посему привелось мне ломать зубы о черствый ржаной хлеб, запивать его водою, а ежели посчастливится, пробавляться жиденьким пивом, что мне было не по нутру, понеже сухой черный хлеб драл мне глотку, и я сильно спал с тела, так что и вовсе отощал. А когда мне хотелось пожрать получше, принужден я был поворовывать, да только с приличествующей сему скромностью, дабы он о том не проведал. Ради него не завели бы виселицу, палачей, ослиное седло, тюремщиков и цирюльников, а также не было бы маркитантов и барабанщиков, что выбивают зорю на барабанах, ибо всем своим житием удалялся он от обжорства, пьянства, игры и всяческих дуэлей. Когда же его отправляли куда-

нибудь в конвой, разведку или еще какой разъезжий отряд, он волочился за ним, как старая баба с клюкой. Также сдается мне несомнительно, что ежели бы сей добрый драгун не обладал столь геройскими воинскими доблестями, то я и не достался бы ему в плен, ибо он не обратил бы внимания на обовшивевшего мальчишку, а погнался бы за моим подполковником. Я не мог разжиться у него какой-либо одежонкой, ибо и сам-то он ходил совсем оборванный, почитай, не лучше моего отшельника. Седло его и вся сбруя едва ли стоили больше трех монеток с медведем, а лошадь такая утлая, что ни швед, ни гессенец не мог страшиться ее погони.

Все сие побудило нашего полковника отправить его в Парадиз, как прозывался женский монастырь, нести там сторожевую службу, правда, не столько ради того, что в том была нужда, сколько затем, чтобы он мог нагулять себе жирок и произвести изрядную экипировку, особливо же потому, что монахини просили отрядить к ним воина благочестивого, добросовестного и кроткого. Итак, он потрусил туда верхом, а я поплелся рядком, ибо на беду у него была всего одна лошадь. «Черт побери! Симпрехт! (Ибо он никак не мог упомнить имя Симплициус.) Попадем в Парадиз, вот уж где отожремся!» Я отвечал: «В названии добрый знак. Пошли-то, боже, чтобы сие местечко было с ним схоже. Amen».— «Вестимо,— сказал он (ибо толком не уразумел моих слов),— коли мы каждый день тамо выдуем по два ама хорошего пива, то нас от него не отвадишь! Только веди себя хорошо, я решил вскорости справить себе изрядный новый плащ, тогда получишь мой старый, из него выйдет тебе порядочная одежонка». Он по праву назвал его старым, ибо, я полагаю, что сей плащ помнил еще битву при Павии, так он весь обтрепался и повылинял, что тем посулом я был мало обрадован.

Парадиз и впрямь оказался таким, как мы его себе намечтали, и даже того более; заместо ангелов были там прекрасные девы, так потчевавшие нас различными яствами и питиями, что я вскорости снова наел себе гладкую рожу; ибо там ставили на стол добрейшее пиво, наилучшую вестфальскую ветчину и копченую колбасу, вкусное и весьма нежное мясо, которое варили в соленой воде и подавали холодным. Там научился я намазывать на черный хлеб соленое масло в палец толщиной, да еще поверху накладывать сыр, дабы все лучше проходило в глотку; а когда я добирался до бараньего окорока, нашпигованного луком, да еще рядышком стояла кружка крепкого пива, то мое тело и моя душа испытывали такое блаженство, что я позабывал все перенесенные мною напасти. Одним словом, сей Парадиз пришелся мне по нраву, как если бы он был доподлинным раем; у меня

не было иной заботы, кроме того, что я знал, что это не будет длиться вечно и что я принужден ходить в отрепье, лоскутах и лохмотьях.

Но подобно тому как раньше беды и напасти наваливались на меня всем скопом, то и возомнилось мне, что теперь решила вступить в игру сама Фортуна. Ибо когда мой господин послал меня в Зуст доставить все его пожитки, то по дороге я нашел сверток, а в нем добрый отрез шарлаху на плащ, да еще красный бархат на подбой. Я прихватил находку и поменял в Зусте у суконщика на обыкновенное зеленое сукно на платье вместе со всем прикладом с условием, что он сошьет его на свой счет да еще в придачу даст мне новую шляпу. А так как недоставало мне еще рубахи и башмаков, то отдал я ветошнику серебряные пуговицы и галуны, кои надлежали к плащу, за это он снабдил меня всем, в чем я еще нуждался, и таким образом вырядился я на славу. Итак, воротился я разодетый в Парадиз к своему господину, который рвал и метал, что я не принес ему находку; он даже пригрозил меня высечь и отобрал бы все до нитки (когда бы этого не стыдился и мое платье было бы ему впору), раздел бы меня и сам бы все носил, хотя мне мнилось, что я поступил по праву.

Меж тем сей жалкий скряга и скупердяй принужден был устыдиться, что его слуга одет лучше, чем он сам; того ради поскакал он в Зуст, занял деньги у своего полковника и наилучшим образом экипировал себя, обещав выплатить все из своего еженедельного жалованья за сторожевую службу, что он добросовестно исполнил. Он, правда, и сам располагал для сего достаточными средствами, однако ж был слишком хитер, чтобы выдать себя, ибо стоило только ему так поступить, как он лишился бы теплой берлоги в Парадизе, куда залег на эту зиму, а на его место определили бы какого-нибудь другого голыша. Таким родом принужден был полковник и вовсе его там оставить, ежели желал получить обратно свои ссуженные денежки. С того времени повелась у нас самая разлежебокая жизнь, что ни на есть на свете, когда самой тяжелой у нас работой было сшибать кегли. А когда я, бывало, вычищу, накормлю и напою бегунца своего драгуна, то приступал к дворянскому ремеслу и совершал променады. На сторожевую службу в монастыре был отряжен также и гессенцами, нашими противниками, захватившими Липпштадт, один мушкетер; сей по своему ремеслу был скорняк, а притом еще не токмо изрядный певец, но и превосходный фехтовальщик; и, дабы не позабыть сего искусства, упражнялся он со мной от скуки каждодневно со всяким оружием, в чем я стал так ловок, что не боялся сразиться с ним, когда он того хотел. Мой драгун заместо фехтования играл

с ним в кегли, правда, не на что иное, как только на то, кто за столом больше выпьет пива; так что за каждый проигрыш расплачивался монастырь.

Монастырь сей владел собственным угодьем для охоты, а посему при нем находился егерь; и понеже я был одет во все зеленое, то пристал к нему, обучившись той осенью и зимой всем его хитростям, особливо же тому, что касалось звериной ловли. По этой причине, а также потому, что имя Симплициус было непривычно и простым людям было трудно его упомнить или выговорить, то всяк звал меня «Егерек». Тут вызнал я все пути и тропы, что мне потом весьма пригодилось. А когда ради худой погоды не бродил я по лесам и полям, то читал без разбору книги, которые давал мне монастырский управляющий. Однако ж, коль скоро благородные монахини узнали, что я, помимо того что обладаю приятным голосом, еще умею играть на лютне и даже на спинете, то стали наблюдать за мною прилежнее, а как сюда еще приспело статное телосложение и взрачное лицо, то по всем манерам, складу, делам и поступкам почитали меня благородным, достолюбезным юношей, собяюдающим во всем пристойность. Таким образом, я ненароком стал любезным дворянчиком, приводившим всех в удивление тем, что обретаюсь в услужении у столь беспутного драгуна.

А покуда я таким образом роскошествовал всю зиму, мой господин был отрешен от должности, каковое отлучение от привольной жизни привело его в такую досаду, что он занемог; а как к сему присоединилась прежестокая лихорадка и открылись старые болячки, нахватанные им за всю его походную жизнь, то все сие скоро его свернуло, понеже мне через три недели довелось его хоронить. Я сочинил ему такую эпитафию:

Здесь скряга погребен, прехрабрейший солдат,
Он кровь не проливал, но выпивке был рад.

По праву и обычаю коня и оружие должен был наследовать полковник, а остальные пожитки фендрик; но как я уже довольно подрос, был крепким малым, который со временем сумеет за себя постоять, то и предложили мне все отдать, когда я запишусь в солдаты заместо покойного господина. Я тем охотнее согласился, ибо знал, что мой драгун зашил в старых штанах порядочно дукатов, которые он наскреб за всю жизнь; и когда я дал привести дело к такому окончанию, назвал свое имя, а именно Симплиций Симплициссимус, то полковой писарь (которого звали Кирияк) никак не мог его написать по всем правилам орфографии и воскликнул: «Ни у одного дьявола в преисподней нет такого имечка!»

И как я его проворно спросил, а нет ли в аду такого, какой бы звался Кирияк, а тот не нашелся, что ответить, хотя и корчил умника, то сие так понравилось полковнику, что он поначалу составил обо мне высокое мнение и получил добрую надежду увидеть в будущем примеры моей доблести.

ТРИДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций был егерем, ан солдатом стал,
Солдатскую жизнь дотошно узнал.

Понеже у коменданта в Зусте на конюшне не доставало конюха, а я, как мнилось ему, к сему был пригоден, то было ему не по сердцу, что я стал солдатом, и он пытался меня все еще удержать, выставляя предлогом мою юность и не желая допустить, чтобы меня признали совершеннолетним. И когда все это выговорил он моему господину, то послал за мной и сказал: «Послушай, Егерек, ты должен поступить ко мне в услужение». Я же спросил, в чем будет состоять моя должность? Он же ответствовал: «Ты должен будешь водить лошадей на водопой».— «Господин,— сказал я,— мы не сойдемся: по мне, так лучше иметь господина, у которого на службе будут лошадей водить за мною; а коли я не могу приобрести такого, так уж лучше останусь солдатом». Он сказал: «У тебя еще борода не выросла!» — «Ан нет! — отвечал я.— Берусь поспорить со стариком, которому минуло восемьдесят лет, борода выросла, ума не вынесла, а не то бы козлы в превеликом у всех были решпекте». Он же сказал: «Когда твоя храбрость не уступает похвальбе, я не буду противиться твоей апробации». Я же отвечал: «Сие можно будет испытать в первой же стычке»,— и дал ему тем уразуметь, что не намерен дозволить употребить себя на конюшне. Итак, он оставил меня в прежнем положении, сказав, что дело мастера боится и вскорости будет видно, совершу ли я что-либо, как о том возомнил.

Засим вытащил я старые штаны, оставшиеся после драгуна, и произвел над ними анатомию, извлекши из их внутренностей добрую солдатскую лошадь и самое лучшее оружие, какое только мог достать, так что все у меня блестело, как зеркало. Я снова приоделся во все зеленое, ибо прозвание «Егерь» мне весьма полюбилось, а старое платье, из коего я вырос, отдал своему отроку. Итак, разъезжал я повсюду, как заправский молодой дворянин, да и впрямь возмечтал, что я не лыком шит. Я был столь дерзок, что украсил свою шляпу диковинным султаном из перьев, словно

офицер; а посему скоро приобрел недоброхотов и завистников, с которыми у меня доходило до весьма чувствительных слов, а под конец и до затрещин. Однако ж стоило мне показать одному, другому, чему я научился у скорняка в Парадизе и что я привык возвращать удары, какие они мне отсчитывали, то меня не только все оставили в покое, но еще каждый стал искать моего расположения. А сверх того меня можно было отрядить на рекогносцировку равно конным или пешим, ибо я одинаково хорошо сидел в седле и был скор на ноги, как никто; а когда дело доходило до схватки с неприятелем, я бросался туда, как черт в прорубь, и всегда хотел быть впереди всех. Посему стал я через короткое время известен друзьям и врагам и столь знаменит, что те и другие были обо мне весьма высокого мнения, ибо мне стали поручать самые опасные предприятия, а при случае мне доверяли командовать целыми отрядами. Тут принялся я грабить, как богемец, а когда подцеплю что-либо стоящее, то уделял своим офицерам на их долю столь жирный кусок, что мог заниматься оным ремеслом даже там, где это было запрещено строго-настрого, ибо мне везде была потачка. Генерал граф фон Гёц оставил в Вестфалии три неприятельских гарнизона, а именно: в Дорстене, в Липпштадте и Косфельде; им был я весьма докучлив, ибо, почитай, каждый день появлялся с небольшим отрядом у них под самыми воротами и захватывал изрядную добычу; а как мне всегда все счастливо сходило с рук, то разнесся слух, будто я могу становиться невидимкой и столь неуязвим, как железо и сталь. Посему меня боялись, как чумы, так что и тридцать человек неприятелей не стыдилось обратиться в бегство, когда я появлялся поблизости всего с каким-нибудь полуторадесятком. Напоследок дело дошло до того, что где только ни понадобится наложить контрибуцию или стребовать ее с мешкотных контрибуентов через рискованную военную экзекуцию, то все сие возлагалось на меня. Оттого мой кошелек стал столь же увесист, как и моя репутация; все мои офицеры и камрады любили Егеря; самые отчаянные разъезды противника ужасались; местные жители милостью и страхом были привлечены на мою сторону, ибо я умел наказывать строптивых и щедро вознаграждать тех, кто оказал мне хотя бы наималейшую услугу, так что едва не половину своей добычи вновь раздавал или тратил на своих соглядатаев. По этой-то причине ни один разъезд, ни один конвой, ни одна вылазка противника не могли проскользнуть мимо, чтоб меня не известили; тогда разгадывал я их намерения и сообразно сему располагал свои предприятия, и как мне в том почти всегда сопутствовало счастье, то всяк дивился моей юности, так что даже многие офицеры и храбрые солдаты противника только и желали меня повидать. Притом оказывал я моим

пленникам всяческое благоволение, так что нередко их содержание обходилося мне дороже, нежели вся моя добыча; и когда я мог своему противнику, особливо же офицерам, даже если их не знал вовсе, показать свое вежество, я не упускал к тому случая, если то можно было учинить, не нарушая воинского долга и службы.

При таком поведении я неотменно был бы вскорости произведен в офицеры, когда б не препятствовала тому моя юность; ибо тот, кто в таком возрасте, как у меня, домогался получить прапорец, должен был, по крайности, принадлежать к дворянскому роду; к тому же мой полковник не мог произвести меня, ибо в полку у него не было надлежащей вакансии, а уступить меня кому-нибудь другому — значило потерять не одну дойную корову; однако ж я был объявлен Освобожденным от караульной службы. Сия честь, что я был предпочтен иным старым солдатам, хотя и была сама по себе ничтожна, а также похвалы, кои мне каждодневно расточали, действовали на меня, подобно шпорам, побуждая стремиться к еще большим подвигам. День и ночь я ломал голову, что бы такое мне учинить, дабы еще более себя возвеличить, прославить и привести всех в удивление; так что от таких дурацких умствований частенько не мог даже уснуть. И понеже видел я, что мне недостает случая показать на деле, сколь велико мое мужество, то сокрушался, что не каждый день доставляет мне повод сразиться с неприятелем. Я часто мечтал для себя о Троянской войне или осаде Остенде, и я, дурень, не помышлял о том, что повадится кувшин по́ воду ходить, там ему и голову сломить. Однако ж все идет своим чередом, а не иначе, когда молодой безрассудный солдат наделен деньгами, счастьем и храбростью; ибо следом за ними приходит кичливость и чванство, и ради такой спеси держал я при себе заместо одного отрока двух конюхов, коих изрядно приодел и снабдил лошадьми, чем навлек на себя зависть всех офицеров, с превеликим неудовольствием взиравших на то, что они по недостатку мужества не могли приобрести сами.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплиций толкует, как дьявол сало
Скрал у попа и что потом стало.

Должен я поведать одну или несколько историй о том, что иногда со мною приключалось до того, как я покинул драгун; и хотя сии повести не столь уж авантажны, все же будет весело их послушать, ибо я не только совершал великие дела, но не прене-

брегал и малыми, ежели мог предположить, что они возбудят в людях удивление и послужат к моей славе. Однажды мой полковник был отряжен с полусотней пехотинцев к крепости Реклингузен для некоего предприятия; и понеже мы полагали, что, прежде чем мы сие дело произведем, придется нам денек, а то и более хорониться в лесной чаще, то каждый из нас взял с собой на восемь дней провианту. Но как богатый караван, который мы подстерегали, к назначенному сроку не явился, то у нас вышел весь хлеб, который мы не могли достать реквизицией, дабы не выдать себя и не погубить тем замышленного предприятия; посему нас жестоко томил голод. Также и у меня не было здесь, как в иных местах, верных людей, которые могли бы что-нибудь доставить нам тайно; по такой причине принуждены мы были промыслить себе провиант другим манером, когда не хотели воротиться с пустыми руками. Мой камрад, латынщик-подмастерье, лишь недавно удравший из школы и завербовавшийся в солдаты, понапрасну вздыхал по ячменной похлебке, какую варивали ему в родительском доме, он же ее презрел и покинул; и как он раздумывал о былых кушаньях, то вспомнил и свою школьную суму, не разлучаясь с коей он был сытехонек. «Ах, брат,— сказал он мне,— не стыд ли мне будет, что я не настолько понаторел в разных премудростях, посредством коих мог бы прокормить себя в теперешних обстоятельствах? Братец! Я знаю revera [1], когда бы мог я пробраться к попику вон в той деревне, то можно было бы у него учинить изрядный convivium [2]». Я поразмыслил малость над его словами и прикинул, в каком мы находимся положении, и понеже те, кому ведомы все пути и тропы, не могут высунуть носа, чтоб их не признали, а те, кого не знают, не располагают случаем что-нибудь тайно промыслить или купить, то я и расположил весь свой умысел в надежде на этого студента, доложив сие дельце полковнику. И хотя наличествовала помянутая опасность, однако ж его доверенность ко мне была столь велика, а наши дела обернулись столь худо, то и склонился он к моему плану и, несколько помедлив, дал соизволение.

Я поменялся платьем с одним из наших и потащился вместе со студентом в сказанную деревню далеким кружным путем, хотя до нее было рукой подать. Когда мы туда пришли, то, завидев ближайший дом к церкви, решили, что в нем обитает священник, ибо дом сей был выстроен по-городскому и примыкал к стене, которая шла вокруг всего церковного двора. Я дал студенту инструкцию, что ему надлежит говорить, ибо у него еще сохранилась

---

[1] на самом деле, действительно *(лат.)*.
[2] Здесь: пир *(лат.)*.

потрепанная студенческая одежонка; а себя объявил подмастерьем живописца, рассудив, что в деревне не будет мне надобно показывать свое искусство, ибо у мужиков не часто повстречаешь расписные палаты. Духовный отец встретил нас учтиво; а когда мой товарищ засвидетельствовал ему глубочайшее уважение по-латыни, да еще приврал к сему целый короб небылиц, каким-де образом его во время путешествия ограбили солдаты и похитили у него все, что было на пропитание, то он тотчас же сам предложил ему хлеба с маслом и глоток вина; я же притворился, что иду сам по себе, и сказал, что направляюсь в корчму чем-нибудь перекусить, а затем зайду к нему, чтобы еще засветло отмахать добрую часть пути. Итак, я отправился в корчму не столько затем, чтобы утолить голод, сколько поразведать, что тут можно будет раздобыть той же ночью. Дорогой мне посчастливилось приметить мужика, который залеплял глиною печку, а в ней посажены на целые сутки большие ржаные ковриги, дабы хорошенько выпеклись. Я помыслил: «Лепи, лепи! Мы все равно доберемся до этого изрядного провианта». Я не мешкал у корчмаря, ибо и без того знал, где поживиться хлебом. Купил несколько колобашек (как зовут там белый хлеб) для моего полковника, а когда воротился во двор священника напомнить своему камраду, что пора собираться в путь, он уже досыта набил себе зоб и насказал священнику, что я живописец и направляюсь в Голландию, чтобы привести там свое искусство в полное совершенство. Священник сему весьма обрадовался и стал просить меня пойти с ним в церковь, где хотел показать мне несколько картин, которые надлежало подправить. Он провел нас через кухню, и когда отпер висячий замок на тяжелой дубовой двери, что вела на церковный двор,— o, mirum! o, диво! — тут узрел я под черным небом черным-черно от развешанных лютней, флейт и скрипок — я разумею, конечно, окорока, копченые колбасы и лопатки, подвешенные в камине. Я окинул их умильным взором, ибо мне показалось, что они посмеиваются вместе со мною, и пожелал, но тщетно, чтобы они отправились к моим камрадам в лес; они были столь упрямы, что мне в досаду остались висеть. Тут принялся я обдумывать способ, как бы их присоседить к той печи, что набита хлебом, однако ж не мог ничего измыслить, понеже, как выше было о том поведано, церковный двор был обнесен стеною, а все окна надежно защищены железными решетками; также лежали на дворе два преогромных пса, кои, как я опасался, наверное, не будут спать ночью, когда норовят украсть то, что причитается им самим получить в награду за верное стережение. И вот, когда мы пришли в церковь и стали молоть всякую всячину о картинах и рядиться со священником, который непременно хотел некоторые из них поновить, а я всячески отнекивался под тем

предлогом, что мне надобно продолжать свое путешествие, то находившийся тут ризничий или звонарь сказал: «Эй, малый, ты скорее похож на беглого солдата, нежели на подмастерье-живописца». Я хотя и не привык к подобным речам, однако принужден был стерпеть; я только легонько тряхнул головой и отвечал ему: «Эй, малый, подавай сюда, да попроворней, кисть и краски. Я во мгновение ока намалюю тут дурня, каков ты есть и какой во всем будет с тобою схож и тебе подобен». Священник обратил все сие в шутку, заметив, что не приличествует вступать в пререкания в столь святом месте, а тем дал понять, что он нам верит; дал нам еще пропустить по глотку вина и отпустил идти своим путем. Сердце же мое пребывало там, где висели окорока и колбасы.

Еще до наступления ночи вернулись мы к нашим товарищам, тут я снова надел свое платье и взял оружие, рассказал полковнику о своем замысле и выбрал шестерых молодцов, которые должны были помогать тащить хлеб. Около полуночи пробрались мы в деревню и тихонько вынули ковриги из печи, так как с нами был один малый, который умел укрощать собак; и когда мы проходили мимо церковного двора, то я не мог превозмочь сердца и пойти дальше, не прихватив сала. Я замер как вкопанный и прилежно стал наблюдать, нет ли какой возможности пробраться на поповскую кухню, однако ж не приметил другого входа, как только через дымовую трубу, которая должна была стать с сего часа моей дверью. Мы отнесли хлеб и оружие на церковный двор, сложили все это в часовенке, забрали в одном из сараев на дороге лестницу и канат, и так как я умел карабкаться вверх и вниз не хуже любого трубочиста (чему я с юности научился, лазая по высоким деревьям), то я тотчас же сам поднялся на крышу, которая к великому удобству для исполнения моего намерения была в два ряда выложена полыми черепицами. Я завязал пучком свои длинные волосы и, взяв конец каната, спустился к любезному мне салу, а там, не долго думая, принялся навязывать на канат окорок за окороком и одну свиную лопатку за другой, что затем добрым порядком выудил на крышу и передал другим, чтобы они отнесли в часовенку. Черт побери, вот невезение! Когда я уже со всем покончил и собрался вылезти наружу, лесенка опрокинулась, и бедняга Симплициус брякнул вниз, и злополучный Егерь сам попал, как в мышеловку. Мои камрады, остававшиеся на крыше, спустили мне вниз канат, чтобы меня вытащить, но и он оборвался прежде, чем они меня подняли. Я помыслил: «Ну, Егерь, теперь тебе придется выдержать травлю, в которой тебе самому порвут шкуру, как некогда Актеону». Тогда священник, пробужденный моим падением, велел кухарке тотчас же зажечь свет. Она вышла

ко мне на кухню в одной рубахе, набросив юбку на плечо, и стала так близко от меня, что едва меня не задевала; она взяла уголек и, поднеся светильницу, принялась дуть; я же зачал дуть еще сильнее, чем она сама, отчего сия добрая душа так напугалась, что вся задрожала и затряслась от страху, побросала жар и светильню и ретировалась к своему господину. Итак, получил я передышку, чтобы подумать, каким средством мне отсюда выбраться, однако ж мне ничего на ум не всходило. Мои камрады через дымовую трубу дали мне знать, что они намерены вломиться в дом и меня выручить; я же не дал на то согласия, а велел им сходить за оружием, а на крыше оставить одного Шпрингинсфельда и дожидать, сумею ли я выбраться, не подымая суматохи и шума, дабы все наше предприятие не уничтожилось; а ежели сие произвести не удастся, тогда уж они должны будут употребить все свое старание. Меж тем духовный отец сам зажег свет; кухарка же поведала ему, что на кухне объявился ужасающий призрак о двух головах (ибо она, вероятно, почла пучок моих волос за особливую голову). Я все сие слышал, а потому принялся грязными руками тереть сажей, пеплом и углем себе лицо, так что, нет сомнения, не стал схож с ангелом (как меня прежде называли в Парадизе монахини), а ризничий, когда бы он меня видел, должен был бы признать меня преискусным живописцем. Я учинил на кухне ужасающий стук и грохот, зачав несносно шуметь и греметь, швырять и бросать куда ни попадя кухонную посуду; под руку попался таган, я надел его на шею, а кочережку держал в руках, дабы защитить себя в крайней нужде. Однако все сие не совратило благочестивого попа с пути истинного; ибо он пришел на кухню с целой процессией, в коей приняла участие его кухарка, несшая две восковые свечи и кропильницу со святой водой, висевшую на руке. Сам же он был облачен в стихарь вместе со сто́лою и вооружен кропилом в одной руке и книгою в другой: по ней-то он и стал меня заклинать, вопрошая, кто я таков и с какою целью явился. Понеже он почел меня за самого черта, то и я рассудил, что будет вполне пристойно, ежели и я поведу себя, как взаправдашний черт, и пособлю еще тому ложью; того ради ответил ему: «Аз есмь черт и намерен тебе и твоей кухарке свернуть шею!» Он же продолжал свои экзерциции и объявил мне, что я ни ему, ни его кухарке ничего худого учинить не волен, и заклял меня наисильнейшими заклятьями отправиться туда, откуда я пришел. Я же отвечал ужасающим голосом, что сие невозможно, хотя я сам того желаю. Меж тем Шпрингинсфельд, который был прожженным плутом и не разумел по-латыни, учинил на крыше диковинный spectaculum, ибо слышал, какая кутерьма поднялась на кухне и что я выдаю себя за черта, каковым почитает меня и духовная

особа, а посему заухал, как сова, залаял, как собака, заржал, как лошадь, заблеял, как козел, закричал, как осел, а затем то примется визжать, как спарившиеся мартовские кошки, а то заквохчет, как курица перед тем, как снести яйцо, ибо сей молодец умел подражать голосам всех животных и, когда того хотел, мог так натурально выть, как если бы тут собралась целая стая волков. Сие повергло священника и его кухарку в немалый страх, мне же было совестно, что меня заклинают, как черта, за какового он меня и впрямь принимал, ибо где-то вычитал или услышал, что черти охотнее всего являются в зеленом платье.

Посреди таких обоюдных страхов, которым особливо предавалась бедная кухарка, я на свое счастье приметил, что дверь, которая вела на церковный двор, не была заперта на замок. Я проворно отодвинул задвижку, проскользнул наружу (где все мои товарищи встретили меня, разинув рот), предоставив попу сколько влезет заклинать черта. А когда Шпрингинсфельд принес шляпу, которую я оставил на крыше, и мы набили мешки провиантом, то отправились к себе в лес, ибо в деревне нам больше нечего было делать, после того как мы потихоньку положили на место позаимствованную лестницу и веревку.

Весь отряд подкрепился тем, что было нами накрадено, и никто даже не поперхнулся — столь благословенные мы были люди! Также вдосталь посмеялись все моей проделке; только студенту не понравилось, что обокрали попа, который дал ему кус на солдатский вкус; и он даже с великою божбою уверял, что охотно бы заплатил ему за это сало, когда бы у него только были под рукой деньги, а притом уписывал за обе щеки, как если бы взял на то подряд. Итак, залегли мы еще на два дня в том же месте и дожидались тех, кого мы уже так долго подстерегали. Мы не потеряли в схватке ни единого человека, тогда как захватили более тридцати пленных и такую обильную добычу, какую мне еще не доводилось видеть на дележке. Мне за мою храбрость и доброе поведение положили двойную долю, понеже я употребил все свое старание: то были три превосходных фрисландских жеребца, навьюченных различным купеческим товаром, какой только можно скоро увезти; и когда б у нас было довольно времени хорошенько пошарить добычу и надежно ухоронить ее, то каждый получил бы на свою долю немалое богатство, ибо мы больше побросали, нежели взяли с собою, понеже принуждены были со всем тем, что сумели захватить, с превеликою поспешностию оттуда убраться; итак, ретировались мы ради большей безопасности в Ренен, где подкрепились и поделили добычу, ибо там стояли наши, хотя это и не было нам по пути. Тут снова вспомнил я о попе, у коего

похитил сало. Читатель может рассудить, какая отчаянная, дерзновенная и тщеславная была у меня голова, ежели мне было не довольно обокрасть и столь жестоко напугать благочестивого священника, а я еще вознамерился приобрести тем себе честь и славу. Того ради выбрал я золотое кольцо с сапфиром, что недавно подцепил вместе с другою добычею, и отослал из Ренена с неким посыльным помянутому священнику со следующим письмецом:

«Ваше преподобие! Когда бы на сих днях в лесу было у меня вдосталь провианту, то и не было бы у меня причины покрасть у Ваш. препод. сало, чрез что, чаятельно, Вы были весьма напуганы. Свидетельствую перед Вышним, что Вы претерпели толикий страх противу моей воли, того ради надеюсь тем скорее заслужить прощение. Что же касаемо до самого сала, то по справедливости надлежит за него заплатить, посему посылаю вместо уплаты прилагаемое кольцо, кое отдано теми, по чьей милости и были взяты товары, с прилежною просьбою к Его преподобию соблаговолить тем себя удовольствовать; заверяя при сем, что в прочем при всех обстоятельствах найдет готового к услугам и верного слугу в том, кого его ризничий не почел живописцем и кого в остальном называют

Егерь».

Мужику же, у коего я опустошил пекарню, отряд послал 16 рейхсталеров из общей добычи в уплату за его караваи; ибо я наставлял их, что таким образом они привлекут на свою сторону крестьянина, который частенько может выручить отряд из всякой беды или, напротив, предать, продать и выдать головой. Из Ренена держали мы путь на Мюнстер, а оттуда на Гамм, а затем домой в Зуст на наши квартиры, где я по прошествии нескольких дней получил от священника ответ, который гласил:

«Благородный Егерь! Когда бы тому, у кого Вы похитили сало, было ведомо, что Вы явитесь к нему в образе черта, то не испытывал бы он столь частого желания повидать повсеместно прославленного Егеря. Но понеже взятые на веру мясо и хлеб оплачены с излишнею щедростию, тем легче будет избыть претерпетый страх, особливо же как он был причинен столь знаменитою особою противу ее воли, за что всеконечно получает прощение с просьбою обращаться всякий раз без боязни к тому, кто не побоялся заклясть самого черта. Vale!»

Так поступал я повсюду, через что и приобрел великую славу, и чем больше я раздавал и награждал, тем бóльшая ко мне притекала добыча, так что я полагал, что сие кольцо, хотя оно и стоило примерно 100 талеров, было употреблено с пользою. Однако ж на сем кончается вторая книга.

1-я гл. Симплиций-Егерь повсюду рыщет,
Берет с избытком, чего ни сыщет.

2-я гл. Симплиций, как егерем в Зусте был,
Лжеегеря здорово проучил.

3-я гл. Симплиций Юпитера в плен берет,
О гневе богов от него узнает.

4-я гл. Симплиций внемлет — Юпитер глаголет:
Немецкий герой весь мир приневолит.

5-я гл. Симплиций внемлет: не ведая меры,
Немецкий герой поравняет все веры.

6-я гл. Симплициус зрит, что блохи учинили —
Юпитера тело до костей источили.

7-я гл. Симплиций-Егерь себе добыл дичи,
В Зуст воротился и рад добыче.

8-я гл. Симплиций арапа обрел в конуре,
Думал — сам черт укрылся в ларе.

9-я гл. Симплиций в неравном хитрит поединке
И наглого рейтара бьет без заминки.

10-я гл. Симплиций подстроил в осаде мороку,
Да вышло ему от сего мало проку.

11-я гл. Симплиций, не ведая, в чем тут утеха,
Заводит амуры скорее для смеха.

12-я гл. Симплиций находит в погребе клад,
Что некогда был колдуном заклят.

13-я гл. Симплиций страшится покражи денег,
Не хочет остаться без них худенек.

14-я гл. Симплициус, Егерь, в плен снова захвачен,
Но не дает он себя околпачить.

15-я гл. Симплиция шведы на волю пустили,
Споначалу о том его думы и были.

16-я гл. Симплиций решил, что с Фортуной сдружился,
Не успел оглянуться, опять оступился.

17-я гл. Симплиций раскинул умом и смекалкой,
Снова свел шашни со старой гадалкой.

18-я гл. Симплиций пустился в отчаянный блуд,
А девки стадами к нему так и льнут.

19-я гл. Симплиций заводит бессчетных друзей,
Но слышит укоры он дружбе сей.

20-я гл. Симплиций попу насказал всяких врак,
А сам потихоньку смеется в кулак.

21-я гл. Симплиций торчит под окошком светлицы,
В ловушку попал из-за этой девицы.

22-я гл. Симплиций болтает о свадьбе своей,
Каких ни назвал на нее он гостей.

23-я гл. Симплиций, женившись, решает дельно
Деньги забрать, что положены в Кельне.

24-я гл. Симплициус ловит зайца на рынке,
Домой отсылает в хозяйской корзинке.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплиций-Егерь повсюду рыщет,
Берет с избытком, чего ни сыщет.

Благосклонный читатель из предшествовавшей книги вполне заключить мог, сколь честолюбив был я в Зусте и что я снискивал и находил себе честь, славу и благоволение такими поступками, кои всякому иному принесли бы наказание. Теперь же намерен я поведать, как я продолжал чинить всяческие безрассудства, чрез что жил в непрестанной опасности получить увечье или лишиться жизни. Я был (как уже о том упомянуто) столь одержим погонею за славой и почетом, что лишился от этого сна; и когда мне сие втемяшится и я ночь напролет проведу, размышляя всякие уловки и хитрости, всходили мне на ум диковинные затеи. Таким образом изобрел я особого рода башмаки, которые можно было надевать задом наперед, так что каблуки приходились на место пальцев. Сих велел я нашить на свои протори тридцать пар различной величины, и когда я роздал их своим молодцам и отправился с ними в разъезд, то было невозможно нас выследить; ибо мы обували то эти, то настоящие башмаки, а другие носили в ранцах; и когда кто-либо попадал на то место, где я приказывал переменить башмаки, то по следам можно было увидеть не иначе, как если бы там повстречались два отряда, которые потом вместе исчезли. А когда я оставался при новосшитых башмаках, то можно было подумать, что я только что отправился туда, где я уже был, или что я пришел оттуда, куда я еще направляюсь. А так как и без того мои пути, коль скоро доходило до следов, были еще более запутаны, нежели в каком-нибудь лабиринте, так что тем, кому надле-

жало бы дознаться обо мне по следам или же настичь, никак невозможно было меня поймать и залучить в свои сети, то частенько находился я в самой малой близости от противника, который полагал, что меня надо искать где-либо далеко, а еще чаще за много миль пути от того перелеска, который они со всех сторон окружили и насквозь изъездили, чтобы меня изловить. И, подобно тому как поступал я с пешим отрядом, так же я учинял и когда выезжал верхом; ибо мне было не в диковинку на распутье или перекрестке невзначай приказать спешиться и перековать задом наперед лошадей. А что до простых уловок, которые употребляют, когда хотят, чтобы о слабом отряде по следам заключили, как о сильном, или о многочисленном рассудили, что он малолюден, то они были для меня делом столь обыкновенным, что я не вижу нужды о сем рассказывать. А притом измыслил я некий Инструмент, с помощью коего мог я ночью, в безветерье, услышать, как за три часа пути от меня затрубит труба или за два часа заржет лошадь, или пролает собака, или за час пути переговариваются люди. Каковое искусство держал я в превеликой тайне, приобретая тем себе уважение, ибо всяк почел бы сие невозможным.

Днем же сказанный Инструмент (который я обыкновенно носил вместе с перспективной трубкой в кармане штанов) не мог принести мне много пользы, разве только в каком пустынном тихом месте; ибо тогда приходилось слышать всех, кто только шевелился и подавал голос в целой округе, начиная от лошадей и коров до самой неприметной птахи в небе и лягушки в воде, что производило гомон не иначе, как если бы кто очутился посреди превеликого скопища людей и животных (как в толчее базара), где каждый кричит свое так, что один не может уразуметь другого.

Правда, я хорошо знаю, что в нынешнее время сыщутся люди, которые не поверят тому, что я только что рассказал; однако ж, хотят они верить или нет, все же это правда. С помощью своего Инструмента мог я ночью отличить по голосу человека, когда он говорит не громче, чем это у него в обыкновении, хотя бы он был так далеко от меня, что днем я мог бы его узнать лишь по платью через перспективную трубку. Но я не могу пенять ни на кого, кто не поверит тому, что сейчас пишу; ибо мне не верил никто из тех, кто своими собственными очами видел, как я многократно употреблял сей Инструмент и говорил им: «Я слышу, скачут рейтары, ибо кони у них подкованы; я слышу, едут мужики, ибо лошади у них без подков; я слышу, гремит повозка, но это крестьяне,— я распознал их по говору; вот приближаются мушкетеры, примерно столько-то их, о чем заключаю по громыханью их бандельеров; за

той горушкой или лесом находится деревенька, я слышу, кричат петухи, лают собаки и пр.; а там гонят стадо, я слышу, как блеют овцы, мычат коровы, верезжат свиньи», и т. д. Мои собственные камрады спервоначалу почитали такие речи шуткой, дурачеством и бахвальством, а когда они и впрямь убедились, что всякий раз я говорю правду, то все стали приписывать это колдовству, а то, что я им сообщил, было-де поведано мне самим чертом или его матушкой. Итак, полагаю, что и любезный читатель думает не иначе. Тем не менее мне таким образом частенько доводилось счастливо и весьма ловко удирать от противника, когда тот получал обо мне ведомость и намеревался захватить меня врасплох; также полагаю, когда бы я открыл сию хитрость, то она бы с тех пор вошла у многих в обычай, понеже весьма пригодна на войне, особливо же во время осады, ибо осаждающие и осажденные одинаково могли бы употребить ее себе на пользу. Однако ж я возвращаюсь к своей истории.

А когда я не отправлялся с отрядом, то принимался красть так, что ни лошади, ни коровы, ни свиньи, ни даже овцы в омшаниках не были от меня в безопасности, коих я уводил за несколько миль; рогатому скоту и лошадям, дабы их не могли выследить, я умел прилаживать сапожки или башмаки, пока прогоню до проезжей дороги. После чего я перековывал лошадей задом наперед; или когда это были коровы и быки, то надевал им башмаки, которые для того нашил, и так доставлял в надежное место. Больших жирных свиных особ, которые по причине лени не хотели утруждать себя ночным переездом, умел я также искусно понуждать к сему, хотя они хрюкали и артачились. Я замешивал на муке и воде хорошо просоленную кашицу и пропитывал ею банную губку, обвязанную крепкой бечевкой, а после давал тем, кого приваживал, сожрать эту сочную губку, а шнур держал в руке, после чего они без дальней перебранки покорно шли за мной, расплачиваясь за доставленную им пирушку окороками и колбасами; и когда я доставлял что-либо подобное, то честно делился как с офицерами, так и с моими камрадами. Посему и дозволялось мне снова выходить на поживу; а когда мое воровство бывало обнаружено или выслежено, то они искусно помогали мне выпутаться. В остальном же я был слишком высокого о себе мнения, чтобы красть у бедняков, ловить кур или подбирать, как мышь, какие-либо крохи. А посему начал я предаваться в пище и питии эпикурейству, ибо позабыл наставления отшельника и никого не было, кто бы руководил моей юностию или служил бы мне примером; ибо мои офицеры были соучастниками, когда у меня прихлебательствовали; и те, кому бы надлежало меня увещевать и наказывать, еще более меня подзадоривали ко всяческим беспутствам.

Оттого стал я наконец столь безбожен, дерзок и нечестив, что не было такой плутни на свете, которую бы я не осмелился учинить. Напоследок приобрел я себе тайных завистников, особливо же среди своих камрадов, что удачливее других ворую, а среди офицеров оттого, что своей отвагой и фортуной во время разъездов вошел в бóльшую славу и честь, нежели они. Я также был вполне убежден, что мной бы скоро пожертвовали, если бы я не был столь щедр.

ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплиций, как егерем в Зусте был,
Лжеегеря здорово проучил.

Когда я таким образом хозяйничал и был озабочен тем, чтобы изготовить несколько бесовских личин и принадлежащие к сему устрашительные одеяния с лошадиными и коровьими копытами, дабы с помощью оных вселять страх врагам, а при случае неузнанным отнимать у друзей их достояние, к чему мне подало мысль приключение с покражей сала, получил я ведомость, что некий молодчик, стоявший в Верле и весьма удачливый в набегах, оделся во все зеленое и повсюду рыщет под моим именем, особливо же появляясь среди тех, кто платил нам контрибуцию, причем чинил всякие непотребства, грабежи и насильничал женщин, по какой причине на меня стали возводить мерзкие обвинения, так что мне пришлось бы жестоко расплачиваться, если бы я не мог несомнительно доказать, что в то самое время, когда он учинял, сваливая на мою голову, различные проделки, я находился в совершенно другом месте. Я вовсе не собирался спустить ему такие поступки, а еще менее сносить, чтобы он долее прикрывался моим именем и под моим обличьем получал добычу, повреждая поносно мою репутацию. С ведома коменданта в Зусте я пригласил его сразиться в чистом поле на шпагах или пистолетах; но как у него недостало духу явиться, то я оповестил, что намерен учинить ему хороший реванш и что сие будет произведено в Верле, в округе того самого коменданта, который его за это не подверг наказанию. И я говорил открыто, что ежели застигну его во время разъезда, то обойдусь с ним, как с врагом! Сие произвело, что я не только забросил мысль о личинах, с помощью коих вознамерился было совершить великие дела, но изрубил на мелкие куски и публично сжег в Зусте свой зеленый егерский наряд, невзирая на то что одно только мое платье без перьев и конского убора стоило более ста дукатов. И в такой ярости я поклялся, что первый, кто отныне

назовет меня Егерем, либо убьет меня, либо должен будет погибнуть от моей руки, хотя бы мне самому это стоило головы! Также не хотел больше принять команду ни над одним разъездом (к чему и без того не был обязан, ибо меня еще не произвели в офицеры), покуда не отомщу моему противнику из Верле. Итак, я отстранился и больше не нес никакой солдатской службы, кроме караулов, а когда меня отряжали куда-либо нарочито, то я исправлял это весьма нерадиво, как и другие сонные пентюхи. Весть об этом скоро разнеслась по всему околотку, отчего разъезды противника так обнадежились и осмелели, что, почитай, каждый день появлялись у наших шлагбаумов, что мне становилось долее непереносно. Больше всего мне досаждало, что егерь из Верле все еще продолжал выдавать себя за меня и под моим именем захватывал порядочную добычу.

Меж тем, как всяк полагал, что я, подобно медведю, залег на спячку в берлогу, из коей не так уж скоро выберусь, разведывал я о делах и поступках своего противника из Верле и узнал, что он не только перенял мое имя и платье, но также имеет обыкновение свершать кражи по ночам, когда может чем-нибудь поживиться; того ради я неожиданно пробудился ото сна, в чем и заключался весь мой умысел. Двоих моих конюхов я мало-помалу натаскал, как легавых собак; и они были мне так преданы, что в случае нужды каждый без оглядки прыгнул бы в огонь, ибо у меня было для них полное раздолье в кушаньях и вине, да и получали они изрядную поживу. Я и подослал в Верле к моему противнику одного из сих молодцов; сей выставил предлогом, что я, который был раньше его господином, зажил теперь, как лежебок и молокосос, поклявшись никогда больше не бывать в разъездах, вот он и не захотел долее у меня оставаться, а пришел служить ему, ибо он, облачившись вместо прежнего господина в егерское платье, ведет себя, как подобает заправскому солдату. Он-де в той стране знает все дороги и тропы и может ему присоветовать, как напасть на хорошую добычу, и т. д. Мой неразумный простофиля и впрямь поверил этому конюху и дал себя уговорить, что примет его к себе и в уреченную ночь отправится вместе с ним и своим камрадом в некую овчарню подцепить себе жирных барашков,— что я все со Шпрингинсфельдом и другими молодцами заранее высмотрел и подкупил пастуха, чтобы он привязал собак и дозволил пришельцам безо всякой помехи подкопаться под сарай, где я намеревался попотчевать их доброй баранинкой. А когда они проделали дыру в стене, то егерь из Верле захотел, чтобы мой конюх тотчас же полез туда первым. Он же отвечал: «Э, нет, там может быть засада, и кто-нибудь еще стукнет меня по башке; теперь-то я вижу, что ты не очень ловок на такие проделки, сперва надо поразве-

дать»; засим вытащил он шпагу, повесил на острие свою шляпу, сунул несколько раз в дыру и сказал: «Вот так-то надобно сперва увериться, дома ли святой Влас или нет». Когда сие было учинено, то егерь из Верле сам полез первым. Но Шпрингинсфельд тотчас же схватил его за руку, в которой тот держал шпагу, спросив его, не запросит ли он пардону. Сие услышал его сообщник и хотел удрать; я же не ведал, кто из них егерь, и, будучи проворней его, кинулся за ним и в два прыжка его поймал. Я спросил: «Что за люди?» Он отвечал: «Имперские». Я спросил: «Какого полка? Я тоже имперский. Плут тот, кто отрекается от своего господина!» Тот отвечал: «Мы драгуны из Зуста и пришли раздобыть себе баранины; братец, коли ты тоже имперский, то, надеюсь, нас отпустишь». Я спросил: «Кто вы такие будете в Зусте?» Он отвечал: «Мой камрад в омшанике — Егерь».— «Плуты вы! — сказал я.— Чего ради грабите вы собственные свои квартиры? Егерь из Зуста не такой дурень, чтобы дозволить захватить себя в омшанике». «Ах, из Верле, хотел я сказать»,— ответствовал тот мне снова; и как мы таким образом вдвоем диспутировали, пришли снова мой конюх и Шпрингинсфельд вместе с моим противником. «Видишь, честна́я птаха,— сказал я,— разве мы не повстречались? Когда бы я не имел решпекта к имперскому оружию, кое дано тебе, чтобы сражаться против врагов, то я бы тотчас же всадил в твою башку пулю! Я Егерь из Зуста, был им доселе, я тебя почитаю плутом, пока ты не выберешь себе шпагу и не переведаешься со мною по доброму солдатскому обычаю!» Меж тем мой конюх (который, как и Шпрингинсфельд, напялил мерзкую бесовскую личину с бараньими рогами) положил у наших ног две совершенно одинаковые шпаги, захваченные мною из Зуста, и предложил егерю из Верле взять одну из них, какую ему угодно, что так напугало беднягу егеря, что с ним приключилось то же самое, что со мною в Ганау, когда я испортил танец. Ибо он напустил полные штаны, да так, что рядом с ним никто не мог стоять; он и его камрад дрожали, как мокрые псы, они упали на колени и молили о пощаде. Но Шпрингинсфельд словно с цепи сорвался, налетел на него и сказал егерю: «Дерись, а не то я тебе сверну шею».— «Ах, достопочтенный господин черт,— отвечал тот,— я пришел сюда совсем не для драки; господин черт, избавь меня от этого, и я сделаю все, что ты захочешь». Среди таких сбивчивых речей мой конюх дал ему шпагу, а мне другую; он же так дрожал, что не мог удержать ее в руке. Месяц светил ясно, так что пастух и подпасок могли все превосходно видеть и слышать из своих шалашей. Я подозвал его подойти, дабы у меня в этой тяжбе был свидетель. Сей же, когда подошел, притворился, как будто он тех двух, что были в бесовских личинах, и не приметил, и спросил, чего ради я затеял

такую долгую перебранку с этими молодцами; коли у меня есть до них дело, то надобно мне убираться отсюда в иное место, ему же до нашей перепалки нет нужды; он платит исправно каждый месяц контребуху, а посему хочет жить спокойно у своей овчарни. Тех же двух он спросил, чего ради они дозволяют мне так себя мучить и меня не прикончат. Я сказал: «Ты, пентюх, они хотели покрасть твоих овец». Мужик ответил: «Ну, коли так, тогда пусть оближут у меня и моих овец задницы», и с теми словами отошел прочь. Засим понуждал я лжеегеря снова биться на шпагах; но бедняга едва держался на ногах от страха, так что был мне весьма жалок, да он и его камрад повели столь жалобные речи, что под конец я им все простил и их помиловал. Однако ж Шпрингинсфельд был тем недоволен и принудил егеря одну из трех овец (ибо столько замыслили они украсть) поцеловать под хвостом, а вдобавок расцарапал ему рожу столь мерзко, как если бы он жрал с кошками из одной миски, каковая потеха пришлась мне по вкусу. Этот егерь скоро исчез из Верле, так как не знал, куда деваться от стыда, ибо его камрад раззвонил повсюду и уверял, подтверждая свои слова ужасными клятвами, что при мне в услужении и впрямь состоят два взаправдашних черта, отчего я стал внушать к себе еще больший страх и тем меньшую любовь.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Симплиций Юпитера в плен берет,
О гневе богов от него узнает.

Сие вскорости я хорошо приметил; того ради я оставил прежнее свое безбожное житие и смиренно вступил на стезю добродетели. Правда, я, как и раньше, отправлялся в разъезды, однако ж обходился с друзьями и врагами столь ласково и учтиво, что все те, кому доводилось попадать ко мне в лапы, принуждены были обо мне думать совсем иначе, нежели прежде обо мне наслышались; сверх того отвратился я от безрассудного расточительства и скопил себе порядочно отличных дукатов и драгоценностей, каковые все прятал в зустовской лощине по дуплам деревьев, как мне присоветовала знакомая ворожейка, уверяя, что у меня больше недругов в самом городе и нашем полку, нежели за его стенами и во вражеских гарнизонах, и все-то зарятся на мои деньги. И меж тем едва разнесется весть, что Егерь улизнул, и некоторые начнут этим себя тешить, я ненароком падал им, как снег на голову; и прежде чем куда-нибудь дойдет слух, что я где-либо в другом месте учинил вред, как уже сам там объявлюсь, ибо повсюду носил-

ся, как буря, появляясь то здесь, то там, так что обо мне шло больше толков, нежели раньше, когда еще один молодец выдавал себя за меня.

Однажды засел я с двадцатью пятью мушкетерами неподалеку от Дорстена, подстерегая с нарочитой осторожностию конвой, сопровождавший фуры, которые должны были прийти в Дорстен. По своему обыкновению я сам стоял на карауле, ибо мы находились поблизости от неприятеля. Тут вышел один-одинешенек некий человек, одетый с приличествующею скромностию; он беседовал сам с собою и своей гишпанской тростью производил диковинные фехтовальные упражнения. Я не мог ничего уразуметь, когда он сказал: «Я хочу, наконец, покарать мир, пусть тогда мне откажут в моей божественности», отчего и предположил, что то, верно, какой-нибудь могущественный властелин, который, переменив платье, странствует повсюду, дабы проведать о жизни и нравах своих подданных, и вознамерился их (понеже они в чем-нибудь преступили его волю) надлежащим образом наказать. Я помыслил: «Когда сей муж из вражеского стана, то это сулит добрый выкуп; а коли нет, то надобно обойтись с ним с толикой вежливостью и так умягчить его сердце, чтобы в будущем тебе на всю жизнь сопутствовала фортуна», а посему выскочил вперед, наставил мушкет с взведенным курком и сказал: «Да соблаговолит господин последовать со мною в кустарник, где его не будут трактовать как неприятеля». На что он с превеликой серьезностью ответил: «Такая трактация мне подобным не приличествует». Я же вежливо подталкивал его, говоря: «Господин не соизволит противиться тому, чтобы на сей раз примениться к обстоятельствам!» И когда я провел его в кустарник к моим молодцам и назначил караул, спросил я его, кто он таков. Он же отвечал весьма великодушно, что мне до того нет нужды, ибо я это и сам уже знаю; он ведь великий бог. Я подумал, быть может, он меня знает, это, мол, какой-нибудь дворянин из Зуста и так говорит, чтобы меня подразнить, ибо вошло в обычай дразнить жителей Зуста, поминая их Распятого бога и его золотое опоясание, однако ж скоро убедился, что заместо какого-нибудь князя захватил в плен архисумасброда, который заучился выше головы, а притом еще чрезмерно ударился в поэзию; ибо когда он у меня малость обогрелся, то объявил себя Юпитером.

Я, правда, желал, чтобы мне такая дичина лучше бы не попадалась вовсе; но, раз уж дурень ко мне попал, принужден я был его у себя оставить до тех пор, пока мы оттуда не уберемся, а как и без того мне пережидать время порядком прискучило, то решил я настроить этого молодца, дабы обратить себе на пользу его таланты, а потому сказал: «Ну, вот, любезный Йове, как же это слу-

чилось, что твоя высокая божественность оставила свой небесный трон и снизошла к нам на землю? Прости, о Юпитер, что задаю тебе вопросы, которые ты можешь почесть докучливыми; ибо мы ведь тоже несколько сродни небесным богам и многие сильваны рождены фавнами и нимфами, от коих эти тайности, по справедливости, не должны быть сокровенны».— «Клянусь Стиксом,— ответствовал Юпитер,— ты не узнал бы о сем ничего, даже если бы доводился родным сыном самому Пану, когда бы не был столь похож на моего виночерпия Ганимеда, ради коего я и поведаю тебе, что превеликий вопль о пороках сего мира проник через облака и достиг моего слуха, о чем в совете всех богов решено было, что я, по справедливости, могу, как во времена Ликаона, истребить все на земле, наслав на нее потоп. Но понеже я к роду человеческому благоволю с особливою милостию, да и без того всегда прибегаю скорее к добру, нежели к жестокому обращению, то вот брожу и скитаюсь теперь повсюду, дабы самому проведать людские дела и обычаи; и хотя все здесь ведется куда пакостнее, нежели мне мнилось, все же я не намерен искоренить всех людей без разбору, а покарать только тех, кто кары заслуживает, а потом взрастить тех, кто останется по моему изволению».

Хотя меня разбирал смех, однако ж я постарался удержать себя, сколько мог, и сказал: «Ах, Юпитер, все твои труды и старания непременно пойдут прахом, ежели ты снова, как некогда, не пройдешь весь мир с водою или даже с огнем. Ибо нашлешь ты на него войну — то сбегутся отовсюду отчаянные злыдни, которые будут только терзать и мучить миролюбивых людей; нашлешь голод — сие послужит желанным случаем для всех лихоимцев, ибо тогда подорожает зерно; а коли нашлешь мор — то будет прибыль жадным и корыстным людям, ибо они тогда много получат в наследство; того ради истреби весь мир с корнем и сердцевиною, ежели впрямь хочешь его покарать».

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Симплиций внемлет — Юпитер глаголет:
Немецкий герой весь мир приневолит.

Юпитер отвечал: «Ты рассуждаешь о вещах, как природный человек, как если бы тебе не было ведомо, что мы, боги, властны так все устроить, что только злые будут наказаны, а добрые пощажены. Я хочу пробудить немецкого героя, который призван остротою своего меча все исполнить; он истребит всех нечестивцев, а людей благочестивых сохранит и возвысит». Я сказал:

«В таком разе сей герой принужден будет набрать солдат, а где солдаты, там и война, а где война, там достается правым и виноватым».— «А разве земные божества так же думают, как и земные люди,— сказал в ответ Юпитер,— и вовсе ничего уразуметь не могут? Я хочу ниспослать такого героя, которому не было бы нужды держать солдат и который все же должен переменить порядок во всем свете; в час его рождения я дарую ему статное и сильное тело, подобное тому, каким обладал Геркулес, которое с избытком будет украшено предусмотрительностью, мудростью и пониманием; сама Венера наградит его прекрасным лицом, так что он превзойдет красотою даже Нарцисса, Адониса и моего Ганимеда; ко всем его добродетелям прибавит она еще особливую приятность, взрачность и пригожество, что соделает его любезным всему свету, понеже я по той же причине тем благосклоннее буду взирать на констелляцию звезд при его рождении. А что до Меркурия, то ему надлежит снабдить его несравненным быстрым разумом, и непостоянный месяц будет ему не только ни в чем не вредительным, но и полезным, ибо Меркурий вперит в сего героя неимоверное проворство. Паллада взрастит его на Парнасе, а Вулкан должен в hora Martis [1] выковать ему оружие, особливо же меч, коим он покорит весь мир и повергнет в прах всех нечестивцев без всякой помоги хотя бы от единственного человека, который служил бы ему солдатом; он не должен нуждаться ни в какой помощи. Всякий большой город должен трепетать при его приближении, и каждая крепость, даже самая неприступная, в первые же четверть часа должна ему покориться и принять его иго; напоследок он станет повелевать всеми великими монархами на всем свете и установит такое правление на земле и на море, что боги, равно как и люди, будут им весьма удовольствованы».

Я сказал: «Как же можно без кровопролития повергнуть в прах всех нечестивцев и получить команду над всем светом без того, чтобы не употребить особливую силу и власть жестокой руки? О Юпитер! Я признаюсь тебе без утайки, что, будучи смертным человеком, не могу сего постичь!» Юпитер отвечал: «Сие не диво, ибо тебе еще не ведомо, какой редкостной силой наделен будет меч моего героя. Вулкан изготовит его из той же самой материи, из коей он делает для меня громовые стрелы, а добрые свойства сего меча таковы, что стоит только моему великодушному немецкому герою его обнажить и только один раз взмахнуть им по воздуху, как слетят головы у целой армады, даже если она укрыта от него горою за целую швейцарскую милю, так что они даже не

[1] Часы Марса *(лат.)*.

Schaudie Politsche Ei-
telkeit,
Simplex legt ab. das Ordens
Kleid,
Bekommt Hofdienst wird
Conte: feyt.

«Симплициссимус». Книга первая, глава двадцать первая.

сумеют узнать, что с ними приключилось! А когда он только выйдет в поход и подойдет к какому-нибудь городу или крепости, то он поступит по примеру Тамерлана и выставит белый прапорец в знак того, что он тут объявился ради мира и всеобщего благоденствия. Ежели выйдут ему навстречу и покорятся, хорошо; а нет, то он извлечет из ножен помятый меч, силой коего у всех колдунов и ворожеек, какие только есть в городе, будут снесены головы, и тогда он выставит красный прапорец; а ежели и тогда никто не явится, то сказанным образом лишит он жизни всех убийц, ростовщиков, воров, плутов, прелюбодеев, потаскух и мошенников, после чего выставит черный прапорец. Когда же те, кто еще остался в городе, со смирением к нему не придут и не явятся, то истребит он весь город и его жителей, как жестоковыйный и непокорный народ, однако ж и тут казнит лишь тех, кои отвращали других от повиновения и послужили причиною того, что народ ранее не предался его власти. И так будет он шествовать от одного града к другому и каждому городу передаст для мирного управления прилежащую к нему страну, и от каждого города по всей Германии возьмет он по два умнейших и ученейших мужа, из коих составит парламент и навеки соединит вместе все города; он упразднит по всей германской земле крепостную неволю вместе со всеми пошлинами, налогами, податями, оброками и питейными сборами и заведет такие порядки, что больше уже никто не услышит никогда о барщине, караулах, контрибуциях, поборах, войнах и о каком-либо отягощении народа, а все поведут жизнь еще блаженнее, нежели в Елисейских полях. Тогда,— продолжал Юпитер,— я буду часто собирать весь сонм богов и спускаться на землю к любезным германцам, дабы блаженствовать вместе с ними среди виноградных лоз и смоковниц; тогда я перенесу Геликон в их пределы, и музы вновь обретут там благоденствие; а три грации уготовят моим германцам неисчислимые утехи. Я ниспошлю Германии во всем изобилие большее, нежели в Счастливой Аравии, Месопотамии или окрестностях Дамаска. Я отрешусь тогда от греческого языка и буду говорить только по-немецки, одним словом, окажу себя столь добрым немцем, что наконец дозволю им, как некогда римлянам, простереть свою власть над всем светом». Я сказал: «Высочайший Юпитер, а что скажут к сему князья и государи, когда грядущий герой вознамерится столь незаконным образом отнять у них имение и передать под начало городам? Неужто не воспротивятся они тому силою или, по крайности, не обратятся к суду божескому и человеческому?» Юпитер отвечал: «О сем герой не будет много печалиться! Он разделит всех великих мира сего на три части и тех, кто живет беспутно и нечестиво,

покарает, как и простолюдинов, ибо никакая земная сила не может противиться его мечу; остальным же предоставит он на выбор — либо остаться в стране, либо покинуть ее. Те, кои, любя свое отечество, пожелают остаться, будут жить наравне с простыми людьми; однако приватная жизнь немцев тогда будет проходить в большем довольстве и благоденствии, нежели ныне жизнь и бытие самого короля, так что каждый немец станет сущим Фабрицием, который не пожелал разделить с царем Пирром его царство, ибо любил свое отечество столь же сильно, как честь и добродетель; так будет с другими. Третьи же, которые восхотят остаться господами и повелителями, будут через Венгрию и Италию отвезены в Молдавию, Фракию, Грецию, а там и через Геллеспонт в Азию, и пусть они заберут с собою всех наемных головорезов из всей Германии, дабы они завоевали им эти страны и понаделали их истыми королями. Засим он в один день возьмет Константинополь и всем туркам, которые не обратятся в Христову веру или не будут послушны, приставит головы к задницам; тогда восстановит он Священную Римскую империю германской нации и вместе с членами парламента, который он, как о том уже поведано, составит, взяв по двое от каждого немецкого города, и наречет их предстоятелями и отцами немецкого отечества, построит посреди Германии город, кой будет обширней Маноа в Америке и более блистать золотом, нежели Ерусалим во времена Соломона; крепостные валы его можно будет уподобить Тирольским горам, а рвы по ширине — морскому проливу между Испанией и Африкой. Внутри же воздвигнет он храм из чистых алмазов, рубинов, смарагдов и сапфиров; и в кунсткамере, кою он учредит, будут собраны со всего света диковинные редкости из богатейших подарков, которые ему пришлют властелины Китая, Персии, Великий Могол восточной Индии, великий хан татар, священник Иоанн в Африке и великий царь в Москве. Турецкий султан будет всех усерднее, понеже сказанный герой не отнимет у него царства и сделает его ленником римского императора».

Я спросил Юпитера, что же при этом будут делать и исполнять христианские короли. Он ответил: «Те, что в Англии, Швеции и Дании, поелику они немецкой крови и происхождения, останутся, те же, что в Испании, Франции и Португалии, понеже в древности немцы занимали помянутые страны и ими правили, получат свои короны, королевства и входящие в них земли от немецкой нации по доброй воле в ленное владение, и тогда воцарится вечный нерушимый мир между всеми народами по всему свету, как во времена Августа».

ПЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций внемлет: не ведая меры,
Немецкий герой поравняет все веры.

Шпрингинсфельд, который также слышал наши речи, едва не прогневил Юпитера и чуть не испортил всю потеху, ибо сказал: «И тогда в Германии жизнь пойдет, как в стране Пролежибока, где дождик моросит чистым мускатом, а крейцерпаштеты вырастают за одну ночь, как сыроежки! Вот когда я буду уписывать за обе щеки, словно молотильщик, и так упиваться мальвазией, что глаза на лоб полезут».— «Всенепременно,— ответствовал Юпитер,— особливо когда я дарую тебе му́ку Эрисихтона, ибо ты, как мне сдается, насмехаешься над моим величеством». Обратясь же ко мне, он сказал: «Мне мнилось, что я нахожусь среди сущих сильванов; однако ж вижу, что повстречал завистливого Мома или Зоила. И таким предателям возвещать о том, что решено на небесах, метать под ноги свиньям благородный бисер! Да, конечно! Наложил себе на горб кучу дерьма!» Я помыслил: «Се диковинный и грязный сквернавец, ибо наряду со столь высокими предметами обращается со столь мягкою материею». Я отлично приметил, что смех ему не по нутру, а посему крепился изо всех сил и сказал: «Преблагий Юпитер, ведь ты из-за нескромности неотесанного фавна не утаишь от своего второго Ганимеда, что поведется далее в Германии».— «О нет! — ответствовал он.— Однако ж сперва накажи сему Феону, чтобы он впредь держал на привязи свой гиппонаксов язычок, пока я его (как Меркурий Баттума) не превращу в камень. Ты же признайся мне, что ты мой Ганимед и не прогнала ли тебя в мое отсутствие ревнивая Юнона из небесной обители?» Я пообещал ему рассказать обо всем, как только услышу от него, что мне так хотелось бы узнать. На что он сказал: «Любезный Ганимед (только не отнекивайся больше, ибо я отлично вижу, что это ты), к тому времени в Германии алхимическое златодельство станет столь достоверным и заобычным, как ремесло горшечника, так что едва ль не каждый постреленок на конюшне будет таскать повсюду lapidem philosophorum» [1]. Я вопросил: «А как же водворится в Германии столь нерушимый мир, когда столько различных вер? Разве не будут разноверные попы подстрекать свою паству и не сплетут друг на друга новую войну ради своей религии?» — «О нет,— ответствовал Юпитер,— мой герой мудро предотвратит сие опасение и беспременно соединит вместе все христианские религии во всем свете». Я сказал: «О, чудо из чудес! То

[1] философский камень *(лат.)*.

было бы превеликим, радостным и поистине превосходным делом! Как же сие совершено будет?» Юпитер отвечал: «Открою тебе это с превеликою охотою. После того как мой герой установит универсальный мир на всем свете, обратится он ко всем духовным и светским правителям и главам различных христианских народов и различных церквей с весьма умилительным предиком, изрядно представляя им прежнее пагубное несогласие в делах веры и приводя их разумными доводами и неопровержимыми аргументами к тому, что они сами возжелают сего повсеместного соединения и препоручат ему дирижировать, согласно светлому своему разумению. Засим соберет он со всех концов земли наиострейших, ученейших и богобоязненнейших теологов всех исповеданий и повелит поставить им келии в привольной, однако ж тихой местности, как некогда Птолемей Филадельф семидесяти двум толковникам, дабы они могли беспрепятственно размышлять о важных предметах, снабдить их там кушаньем и питием, а также всем другим необходимым на потребу и наказать им, дабы они, елико возможно скорее, однако ж со всею рачительностию и основательностию рассмотрели совокупные распри, какие ведутся между их исповеданиями, и сперва уладили, а потом с достодолжным единомыслием и согласно Священному писанию, древнейшим преданиям и опробованному учению святых отцов письменно расположили правую, истинную святую христианскую религию. Тут-то Плутон и почешет хорошенько у себя за ухом, ибо ему придется опасаться умаления своего царства; и он примется измышлять всяческие уловки, каверзы, хитрости и коварства, дабы вставить свое «que» [1] и, если не повернуть вспять всего дела, то, по крайности, отложить его ad infinitum или indefinitum [2], чего он будет изо всех сил добиваться. Он будет подбиваться к каждому богослову, выставляя перед ним его интересы, его сан, его спокойную жизнь, его жену и детей, его репутацию и все прочее, что может склонить его к особливому мнению. Но мой доблестный герой также не будет лежать на боку; он велит все время, покуда продолжается сей консилиум, звонить во все колокола во всем христианском мире и тем непрестанно призывать христиан к молитве Вышнему о ниспослании духа правды. Но ежели он приметит, что тот или иной поддастся Плутону, то он начнет морить голодом всю конгрегацию, как ведется на конклаве; а когда они все еще не захотят поспешествовать сему великому делу, то прочитает им всем небольшую проповедь о виселице или покажет им свой чудесный меч; итак, сперва добром, потом строгостию, испугом и угрозою приведет их к тому, что они приступят

[1] «но» (в значении «привести возражение») *(лат.)*.
[2] до бесконечности и неопределенности *(лат.)*.

ad rem [1] и своими жестоковыйными, ложными мнениями не будут больше дурачить весь мир, как то они чинили доселе. По достижении согласия устроит он высокоторжественный праздник и распубликует по всему свету новую просветленную Религию, а кто и тогда будет веровать прекословно, то надлежит учинить им изрядный martirium [2] смолою и серою или же, обвязав самшитовыми прутьями, подарить на Новый год Плутону. Теперь, любезный Ганимед, ты знаешь обо всем, что знать пожелал; так поведай же мне, по какой причине ты покинул небесную обитель, где частенько подносил мне чашу драгоценного и превосходного нектара».

ШЕСТАЯ ГЛАВА

Симплициус зрит, что блохи учинили —
Юпитера тело до костей источили.

Я помыслил: «Малый-то, быть может, вовсе не такой дурень, каким себя выставляет, а заговаривает мне зубы, как я сам проделывал в Ганау, чтобы тем ловчее было ему от нас улизнуть». Того ради вознамерился испытать его гневом, ибо подлинного дурня тем легче всего распознать можно, и сказал: «Причина, по которой я покинул небо, та, что я соскучился по тебе и потому взял крылья Дедала и полетел на землю тебя искать. Но где бы я о тебе ни справлялся, повсюду о тебе шла худая слава, ибо Зоил и Мосх тебя и всех прочих богов обнесли перед всем светом столь злочестивыми, распутными и мерзкими, что вы лишились у людей всякого кредита. Да и ты сам, сказывают они, не кто иной, как заеденный площицами похотливый блудодей. По какой такой справедливости собираешься ты казнить мир за подобные грехи? Вулкан-де, терпеливый рогоносец, отпустил прелюбодеяние Марса, не воздав достойного мщения; какое же после этого оружие будет ковать хромой балбес? А Венера-де ради своего сластолюбия — наинепотребнейшая потаскуха во всем свете; какую же милость и благоволение может она оказать другим? Марс-де — душегуб и разбойник, Аполлон — бесстыжий распутник, Меркурий — суетный пустослов, вор и сводник, Приап — вместилище скверны, Геркулес — изверг с помутившимися мозгами, одним словом, вся совокупная кумпань небожителей столь злочестива и распутна, что надлежит отвести им квартиры для постоя ни в каком ином месте, кроме как в авгиевых конюшнях, которые и без того воняют на

[1] к делу *(лат.)*.
[2] мучение *(лат.)*.

весь свет».— «Ах! — ответствовал Юпитер.— Диво ли, что я отложу свою доброту и обрушусь громом и молнией на сих злоязычных беззаконников и богохульствующих клеветников? Как полагаешь ты, мой верный и наилюбезный Ганимед? Должен ли я сих пустословов казнить вечною жаждою, как Тантала? Или должен я повелеть перевешать их всех на горе Торакс подле самонравного пустомели Дафита? Или истолочь их в ступе вместе с Анаксархом? Или засунуть их в раскаленного быка Фалариса в Агригенте? Нет, нет! Ганимед! Всех этих совокупных казней и мучений слишком мало! Я хочу снова наполнить ларец Пандоры и высыпать его на этих бездельников, на нечестивые их головы; Немезида должна пробудить и наслать на них Алекто, Мегеру и Тисифону, а Геркулес позаимствовать у Плутона Цербера и травить с ним этих злых негодников, как волков. А когда я их таким образом довольно погоняю, помучаю и поистязаю, то повелю их привязать в адских чертогах к колонне подле Гесиода и Гомера, чтобы Эвмениды безо вякого наималейшего сожаления терзали их там веки вечные». Меж тем, как Юпитер грозил своею немилостию, спустил он при мне и в присутствии всего отряда безо всякого стыда штаны и принялся вытряхивать из них блох, кои, как хорошо было видно по его испещренной расчесами коже, ужаснейшим образом его тиранили. Я не мог догадаться, что тут поведется, покуда он не сказал: «Проваливайте-ко прочь отсюдова, маленькие лиходеи! Клянусь Стиксом, что до скончания века вы не получите того, о чем столь старательно имеете хождение». Я спросил его, что разумеет он под сими словами. Он отвечал, что блошиный народ, проведав, что он сошел на землю, отрядил к нему депутацию для принесения надлежащего комплимента. Сии сделали ему представление, что хотя он и определил им жительствовать на собачьих шкурах, однако ж иногда, частию по причине неких свойств, присущих женской коже, частию же по оплошности, доводится им досаждать женщинам; и вот они, бедные заблудшие простофили, терпят от женщин столь жестокое обращение, что их не токмо подвергают пленению и умерщвлению, но еще перед тем прежалостнейшим образом растирают между перстами и подвергают таким мукам, что даже бесчувственный камень можно подвигнуть к состраданию! «Да,— сказал далее Юпитер,— они представили мне все дело столь трогательно и умилительно, что я возымел к ним жалость и обещал им заступление, однако ж с уговором, что прежде должен я также выслушать женщин. Блохи же отнекивались от сего, выставляя предлогом, что ежели женщинам будет дозволено держать прекословные речи и публично им возражать, то наперед известно, что они-то уж сумеют либо вовсе заговорить мою незлобивость и доброту своими ядовитыми собачьими языками и

перекричать самих блох, либо обольстить меня ласковыми словами и своею красою, и таким образом привесть меня к несправедливому, им же, блохам, весьма вредительному приговору; а потом просили дозволить им изъявить мне верноподданническое свое усердие, каковое они повсегда мне оказывали и надеются оказывать и впредь, ибо они во всякое время ближе всех присутствовали и лучше всех знали, что происходило между мною и Каллисто, Ио, Европой и многими другими, однако ж никогда не переносили о том вести и ни единым словом не обмолвились перед Юноной, хотя также имели обыкновение пребывать и у нее, и поелику они с таким рачением соблюдали молчаливость, то и по сей день ни один человек (невзирая на то, что они при всех полюбовниках весьма близко находятся) нисколько о том не проведал, подобно тому, как Аполлон через своего ворона. А ежели мне будет угодно выдать их головою женщинам, так что сим будет дозволено их ловить и казнить согласно лесному праву, то их нижайшая просьба — учредить такой порядок, чтобы их предавали геройской смерти, либо сражая топором, как быков, либо стреляя, как лесную дичь, а не столь поносно растирали между перстами и колесовали, уподобляя тем самым собственные члены, коими женщины частенько осязают и нечто иное, орудиям палача, что и для всякого честного мужчины сущий срам и неизгладимое поругание. Тут я сказал: «Ну, вы, господчики, должны их ужасть как мучить, понеже они вас столь жестоко тиранят!» — «Это уж конечно! — объявили они в ответ.— Они, впрочем, столь досадуют на нас, быть может оттого, что берет их забота: мы видим, слышим и ощущаем слишком много, как если бы они не довольно обнадежены были нашею молчаливостию. Как же теперь быть? Ведь они не оставляют нас в покое даже на нашей собственной территории, ибо многие из них с помощью щеток, гребешков, мыла, щелока и прочих вещей так вычесывают своих постельных собачек, что мы поневоле принуждены покидать свое отечество и искать себе другие квартиры, невзирая на то, что сии дамы могли бы употребить то самое время с большею пользою, обирая вшей со своих собственных чад». На сие представление дозволил я им поселиться у меня, дабы земное мое тело могло познать их присутствие, обычаи и повадки, так что я смогу составить о сем надлежащее суждение и вынести свой приговор. Тут принялась вся эта сволочь так меня допекать, что я принужден был их спровадить, как вы это и видели. Я велю прибить им на нос привилегию, согласно коей женщины могут их рвать, терзать и меж перстами растирать, сколько душе угодно; да и когда мне самому доведется захватить с поличным такого злого молодчика, то я и сам обойдусь с ним не лучше».

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций-Егерь себе добыл дичи,
В Зуст воротился и рад добыче.

Мы не осмеливались смеяться зычно, ибо должны были хорониться в тиши, да и потому, что Фантасту сие было не по сердцу, так что Шпрингинсфельд готов был лопнуть и разорваться на куски. В то самое время наши караульные, сидевшие на высоком дереве, подали знак, что завидели кого-то вдалеке. Я поднялся к ним и увидел через першпективную трубку, что там и вправду движется тот самый обоз, который мы подстерегали; однако же с ними не было ни одного пешего, а их конвоировало примерно человек с тридцать всадников. Посему я легко мог прикинуть, что они не поедут лесом, где мы засели, а будут держаться в открытом поле, дабы нам не иметь над ними перевесу, хотя в тех местах была прескверная дорога, которая тянулась по равнине примерно в шестистах шагах от нас и около трехсот шагов от опушки леса или горы. Мне вовсе не хотелось долго прохлаждаться в тамошних местах или заполучить в добычу одного дурня, того ради измыслил я другую хитрость, которая мне и удалась.

В том месте, где мы залегли, шла вниз к открытому полю по ущелью водомоина (удобная для проезду верхом). Я приказал занять этот выход двадцати молодчикам и сам присоединился к ним, оставив Шпрингинсфельда на том же самом месте, где мы перед тем находились, занимая выгодное положение; я велел своим молодцам, чтобы, когда конвой приблизится, каждый неотменно взял на себя по человеку, также каждому наказал, кому стрелять, а кто должен держать выстрел про запас. Некоторые бывалые жохи ворчали, чего это я удумал и уж не возомнил ли, будто конвой пойдет этими местами, где вовсе нечего делать и куда за сто лет не забредал ни один мужик. Другие же, из тех, что верили, что я умею колдовать (ибо в то время шла обо мне такая слава!), полагали, что я приворожу неприятеля прямехонько к нам в лапы. Однако ж мне вовсе не надобно было полагаться на бесовское искусство, а на одного только Шпрингинсфельда; ибо как только конвой, который был порядком силен, поравнялся с нами, намереваясь следовать далее, как Шпрингинсфельд, исполняя мое повеление, зачал страшно рычать, словно бык, и ржать, словно жеребец, так что отозвалось по всему лесу и всяк бы поклялся, что тут бродит целое стадо коров и табун лошадей. А как только конвоиры сие заметили, то возмечтали поживиться какой-нибудь добычею, что в той местности было мудрено, ибо весь край был весьма пусты-

нен. Они поскакали всем скопом прямо в нашу засаду и столь поспешно и нестройно, как если бы каждый из них хотел опередить всех прочих, дабы заполучить наилучшую взбучку, каковая и была учинена им вскорости столь исправно, что с первым же приветствием, посланным нами, сразу же опросталось тринадцать седел, а к тому же еще несколько человек из них было покалечено.

Вслед за сим Шпрингинсфельд выскочил прямо на остальных и побежал вдоль ущелья, крича: «Охотники, сюда! Сюда, охотники!», отчего те молодцы перепугались еще более и пришли в такое замешательство, что не знали, куда им податься верхом, а посему соскочили с коней и бросились бежать пеши; но я забрал в плен всех семнадцатерых вместе с лейтенантом, который ими командовал, и затем устремился к повозкам, отпряг две дюжины лошадей и захватил только несколько кусков шелка да голландского полотна; ибо не мог употребить столько времени, чтобы обобрать мертвецов, не говоря уже о том, чтобы хорошенько обыскать повозки, так как возницы, едва началась перепалка, ускакали прочь, по какой причине обо мне могли узнать в Дорстене и перехватить по дороге. Едва только мы снарядились в путь, как прибежал из лесу Юпитер и погнался за нами вслед, вопя: неужто Ганимед его покидает? Я ответил ему: конечно, ибо он не захотел даровать блохам чаемую привилегию. «По мне,— отвечал он снова,— так пусть они все вместе провалятся на дно Кокита»,— чем немало меня рассмешил; а так как у нас оставались еще порожние лошади, то я велел посадить дурня, но понеже он умел ездить верхом не лучше, чем пустой орех, то я должен был распорядиться, чтобы его привязали к лошади. Тогда изрек он, что наша стычка напомнила ему о той битве, какую вели лапифы с кентаврами на свадьбе Перифоя.

А когда все миновалось и мы с нашими пленниками убрались оттуда с такою поспешностию, как будто за нами гнались по пятам, спохватился плененный лейтенант, какую грубую свершил он ошибку, что столь неосмотрительно завел во вражеские сети отличный конный отряд и послал на убой тринадцать отважных молодцов, и того ради впал в полную меланхолию и отказался от пардона, который я ему дал, и он даже возымел намерение склонить меня к тому, чтобы я приказал его застрелить, ибо он не только возомнил, что его оплошность принесла ему великое бесчестие и будет непростительна, но и полагал, что она послужит помехой его дальнейшему произвождению в чинах, ежели только он не избавится от сего, заплатив головой за понесенный урон. Я же увещевал его и напоминал ему, что многим честным солдатам непостоянное счастие коварно подставляло ногу; однако мне еще

никого не доводилось видеть, кто бы от сего унывал или даже впадал в отчаяние. Его намерение — знак малодушества; храбрые же солдаты помышляют о том, как бы возместить и вновь наверстать принятые убытки; меня бы он никогда не привел к тому, чтобы я нарушил картель или учинил столь постыдное деяние, противное всякому праву и похвальному солдатскому обычаю и обыкновению. А когда он уверился, что я на сие не согласен, зачал он меня ругать поносной бранью в надежде привести меня в гнев и сказал, что я не сражался с ним в честном и нелукавом бою, а поступил, как плут и разбойник, прячущийся в кустах, похитив жизнь у находившихся под его командой солдат, как вор и прожженный подлец, каковыми словами его собственные молодцы, коих мы забрали в плен, были весьма напуганы, а мои камрады столь же сильно разгневаны, так что непременно изрешетили бы его пулями, когда бы только я им это дозволил, понеже мне пришлось довольно их от того удерживать. Я же нимало не склонился на его речи, а только призвал друзей и врагов быть свидетелями, что тут происходит, и затем велел его, лейтенанта, связать и стеречь, как рехнувшегося; обещал также ему, лейтенанту, что, как только мы прибудем к нашим постам и мой офицер даст на то соизволение, я снаряжу его моими собственными лошадьми и оружием, которое он сам себе изберет, и ему пистолетом и саблею публично докажу, что употреблять на войне хитрость против своего противника дозволено милитерским правом; отчего же он не остался при возах, охранять кои он был приставлен, или, коль скоро ему вздумалось проведать, что скрывается в лесу, отчего же он прежде не распорядился произвести необходимую рекогносцировку, что ему более бы приличествовало, нежели сейчас вытворять безрассудные дурачества, на кои уж, верно, никто не обратит ни малейшего внимания. На что как друзья, так и враги оказали мне справедливость, объявив, что им никогда не доводилось повстречать в целой сотне разъезжих отрядов такого человека, который бы в ответ на такие поносные речи не только бы не застрелил лейтенанта, но и не предал бы смерти всех пленников. Итак, на следующее утро доставил я преблагополучно свою добычу и пленников в Зуст, снискав себе в сей операции более чести и славы, нежели когда-либо прежде. Всяк говорил: «Объявился новый юный Иоганн де Верд!», что весьма льстило моему тщеславию; однако ж наш комендант отнюдь не соглашался дозволить мне переведаться с лейтенантом на пистолетах или на тесаках, сказывая, что я его уже дважды одолел. И чем более умножалась таким образом моя слава, тем все сильнее возрастала зависть тех, кто и без того не доброхотствовал моему счастию.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций арапа обрел в конуре,
Думал — сам черт укрылся в ларе.

Мне никак не удавалось избавиться от Юпитера, ибо комендант вовсе не стремился его заполучить, понеже тут нечем было поживиться, а посему объявил, что дарит его мне. Итак, приобрел я теперь своего собственного шута, которого мне не надо было покупать, хотя всего за год до того сам я принужден был дозволять обходиться с собою так же. Столь удивительно счастье и переменчивы времена! Недавно еще точили меня вши, а теперь получил я власть над самим блошиным богом! Всего за полгода перед тем служил я у негодного драгуна конюхом; ныне же повелеваю двумя слугами, которые называют меня господином. Не прошло и года, как за мной гналися рейтары, покушавшиеся на мое девство, теперь же сами девицы из любви ко мне готовы были за мной гоняться. Итак, довелось мне заблаговременно узнать, что нет на свете ничего более постоянного, как само непостоянство. А посему надлежало мне поостеречься, когда переменчивое счастье начнет строить мне козни и заставит меня жестоко расплачиваться за нынешнее благополучие.

В то самое время граф фон дер Валь, военный губернатор всей Вестфалии, собирал понемногу людей изо всех гарнизонов, чтобы снарядить кавалькаду, которая бы через Мюнстерское архиепископство прошла на Фехт, Меппен, Линген и окрестные местечки, особливо же разделалась с двумя отрядами гессенских драгун, засевших в Падерборнском монастыре, в двух милях от Падерборна, причиняя там нашим немалое беспокойство. Я был назначен в команду с нашими драгунами, и когда отдельные отряды собрались в Гамм, то поспешно отправились в поход и напали на квартиры сказанных конников, каковые были расположены в городишке, находившемся под весьма худым призором, покуда его не заняли наши. Они сумели удрать, но мы загнали их опять в их логово. Им был предложен свободный пропуск без лошадей и оружия, однако со всем тем, что можно схоронить за поясом; но они не захотели на то согласиться и палили из самопалов, как мушкетеры. Итак, дело дошло до того, что я еще в ту самую ночь должен был испытать свое счастье во время приступа, ибо драгуны напали первыми; и я в сем так преуспел, что вместе с Шпрингинсфельдом в числе первых совершенно неповрежденным ворвался в городишко. Мы скоро очистили улицы, ибо все, у кого было оружие, были побиты, а горожане не оказывали нам сопротивления; так было во всех домах. Шпрингинсфельд присоветовал занять

дом, перед которым лежала большая куча навозу, ибо в таких-то домах и обретаются самые богатые и зажиточные скупердяи, у которых и располагаются на постой офицеры. Вслед за сим мы и захватили такой дом, в коем Шпрингинсфельд учинил визитацию конюшне, а я жилью с таким уговором, что мы поделим друг с другом все, что каждый из нас добудет. Итак, зажгли мы свои восковые колодки, я кликнул в доме хозяина, однако ж не получил ответа, ибо все попрятались; меж тем забрел я в некую каморку, где ничего не нашел, окромя пустой кровати да запертого ларя, который я взломал в надежде сыскать что-либо ценное: однако ж едва приподнял я крышку, как из ларя выметнулась во весь рост черная как уголь фигура, кою я почел за самого Люцифера. Могу в том поклясться, что за всю жизнь я еще не был так напуган, как в ту минуту, когда я столь нечаянно завидел черного сего дьявола. «Провались ты пропадом!» — сказал я в толиком страхе и схватил топорик, которым разбил ларь, однако ж не собрался с мужеством треснуть его по черепу. Он же опустился на колени, воздел руки и пролепетал: «Богом прошу, добрый господин, даруй мне жись!» Тут внял мой слух, что то был не сам черт, ибо он поминал имя божие и просил за свою жизнь, а посему велел ему выбраться из ларя. Он учинил сие и пошел со мною наг, каким его сотворил господь. Я отрезал свечу от восковой колодки и дал ему мне посветить; он учинил сие смирнехонько и провел меня в комнатушку, где я нашел хозяина со всею челядью, который, взирая на веселое сие позорище и трепеща всем телом, униженно молил о пощаде и даровании ему жизни. Сие получил он с легкостью, ибо нам и без того было запрещено чинить утеснение горожанам, и он вручил мне все пожитки ротмистра, среди коих был порядком набитый запертый кожаный чемодан, уведомив меня, что ротмистр и его слуги, кроме одного конюха и находящегося здесь арапа, отправились на свои посты, как положено в обороне. Меж тем Шпрингинсфельд поймал на конюшне сказанного конюха с шестью оседланными дородными лошадьми; мы завели их в дом, заперли на засов и велели арапу одеться, хозяину же приказали объявить все, что он знает о ротмистре. Но когда снова были отперты городские ворота, установлены посты и прибыл наш генерал-фельдцейхмейстер господин граф фон дер Валь, занял он под квартиру тот самый дом, где мы находились; а посему принуждены были мы темною ночью искать себе другое пристанище. Сие обрели мы у своих камрадов, которые также участвовали в приступе и занимали городок; у них мы расположились на славу и провели остаток ночи, пируя и бражничая в полное раздолье, после того как я и Шпрингинсфельд поделились друг с другом своею добычею. Я получил на свою долю арапа и двух превосходных лошадей, из

коих одна была гишпанской породы, так что на ней только и оставалось гарцевать перед противником, чем я впоследствии немало чванился. А из чемодана получил я многоразличные драгоценные кольца и в золотой коробочке, усаженной рубинами, поясной портрет принца Оранского, ибо все остальное я оставил Шпрингинсфельду; итак, на мою долю пришлось, ежели бы я пожелал все обратить в деньги за полцены, с лошадьми и всем прочим более чем на двести дукатов; а что касается арапа, который доставил мне наибольшую докуку, то генерал-фельдцейхмейстер, которому я его презентовал, пожаловал меня за него всего двумя дюжинами талеров. Оттуда направились мы поспешно в Эмс, однако ж немного разведывая по сторонам; и как случилось, что мы проходили также и мимо Реклингузена, то испросил я дозволение отлучиться, дабы вместе со Шпрингинсфельдом посетить священника, у коего незадолго перед тем покрал сало. С ним я изрядно повеселился, рассказав ему, что арап отплатил мне таким же страхом, какой недавно испытал он сам и его кухарка; поднес ему также, как дружественный Valete, отличные часы с боем для ношения на цепочке, которые я извлек из ротмистрова чемодана; итак, имел я обыкновение обращать в своих друзей тех, у кого в ином случае была причина меня ненавидеть.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций в неравном хитрит поединке
И наглого рейтара бьет без заминки.

Мое высокомерие умножалось вместе с моим счастием, из чего под конец могло воспоследовать не что иное, как мое падение. Мы стояли лагерем примерно в получасе пути от Ренена, когда я вместе с моим лучшим камрадом стал просить об отпуске, чтобы сходить в этот городишко и произвести там кое-какую починку нашего оружия, что нам и было дозволено. Но так как мы сошлись в мыслях, что следовало бы хоть разок повеселиться на славу, то и завернули в самую наилучшую корчму и велели позвать музыкантов, дабы под их скрипки вино и пиво без скрипа проходило в глотку. Тут все пошло in floribus [1], и ни за чем дело не стало, что помогло бы порастрясти денежки; я наприглашал разделить со мною компанию молодчиков из других полков и корчил из себя юного принца, который владеет целой страной и народом и всякий год расточает уйму денег. Того ради нам услужали с большим про-

[1] Здесь: вдоволь, в изобилии *(лат.)*.

ворством, нежели компании рейтаров, бражничавших в той же корчме, ибо они не столь жестоко куролесили, как мы; сие произвело в них немалую досаду, и они зачали нас поругивать. «Откуда,— толковали они между собой,— у этих сигай-через-плетень (ибо они почли нас мушкетерами; понеже не сыскать другой такой твари на сем свете, которая больше бы походила на мушкетера, нежели драгун, и когда драгун свалится с лошади, то подымется мушкетер), откуда у них завелись денежки?» Другой отвечал: «А вон тот сосунок беспременно деревенский дворянчик, коему матушка послала малость деньжат из своей кубышки, а он не скупится на угощение своих камрадов, дабы они его по нужде вытащили из кучи навоза или перенесли через канавку». Такими речами они метили в меня, ибо принимали меня за молодого дворянина. Все сие насказала мне в уши корчемная служанка; но понеже я сам того не слышал, то и не мог предпринять ничего другого, как тотчас же налил вином большую пивную кружку и пустил ее по кругу во здравие всех честных мушкетеров, а к сему каждый учинил от себя такой трезвон, что нельзя было расслышать ни единого слова. Сие привело наших соседей в еще большую досаду, а потому они стали говорить нам в лицо: «Какого черта так разбушевались эти сигай-через-плетень?» Шпрингинсфельд отвечал: «А тебе, замарай-голенище, какая до этого нужда?» И, видать, это его чувствительно задело, ибо при сих словах он поглядел столь свирепо и строил столь страшные и угрожающие мины, что никому не следовало бы его задирать. Однако ж тех так и подмывало, особливо же одного дюжего молодца, который сказал: «А где им, брустверным дристунам (он полагал, что мы залегли где-либо в гарнизоне, ибо наша одежда не столь выгорела, как у мушкетеров, которые принуждены день и ночь проводить в поле), сидючи на своем дерьме, еще разгуляться, чтобы себя показать? Довольно всем ведомо, что любой из них в открытом бою да в чистом поле станет нашей добычей, как голубь у сокола». Я сказал в ответ: «Мы должны брать города и крепости, которые нам потом вверяют охранять, вы же, рейтары, напротив, не выманите ни одного шелудивого пса из самого захудалого крысиного гнезда. Так чего же нам вдосталь не повеселиться в том месте, которое нам принадлежит боле, нежели вам?» Рейтар отвечал: «Кто побеждает в поле, тому покоряются крепости; но как мы должны выигрывать сражения в открытом поле, то из сего следует, что я таких трех дитяток, каков ты есть, вместе с вашими мушкетами не только не страшусь, а еще насажу парочку на шляпу заместо перьев, и только третьего спрошу, где ещё такие водятся? А сидел бы я с тобой,— добавил он и вовсе уж глумливо,— то я надавал бы дворянчику с гладкой рожей еще хороших затрещин для подкрепления истины!»

Я отвечал ему: «Полагаю, что у меня тоже сыщется пара пистолетов, как и у тебя, и хотя я не рейтар, а стою, как гермафродит, посредине меж вами и мушкетерами, гляди-ко! У дитяти достанет храбрости с одним мушкетом в открытом поле да еще пешим сразиться с таким хвастуном, каков есть ты, на коне, при всем твоем оружии».— «Ах ты, coujon [1],— закричал молодчик,— я почту тебя пренегодным трусом, коли ты, как подобает честному дворянину, тотчас же не подтвердишь своих слов делом!» На сии слова бросил я ему перчатку и сказал: «Смотри, коли ты не подашь ее мне снова в открытом поле пешим, к чему принудит тебя мой мушкет, то в твоей силе и власти почитать и объявить меня повсюду тем, кем обозвала меня твоя наглость». После чего расплатились мы с корчмарем, и рейтар, мой супротивник и антагонист, приготовил карабин и пистолеты, а я мушкет; и когда он отправился со своими камрадами в назначенное нами место, то сказал Шпрингинсфельду, что ему-де надлежит загодя припасти мне могилу. Тот же отвечал, это уж его печаль заблаговременно распорядиться, чтобы его камрады вырыли ему могилу; мне же он выговаривал за мою отчаянную дерзость и сказал без утайки, что опасается, как бы я не сыграл на дуде. Я засмеялся ему в ответ, ибо давно обдумал, как надлежит встретить сего хорошо экипированного рейтара, ежели он вражески нападет на меня пешего в чистом поле, а я буду вооружен одним мушкетом. И когда мы пришли на то самое место, где должна была пойти куролесица, то я уже зарядил мушкет двумя пулями, насыпал свежий затравочный порох и смазал салом крышку на полке, как то в обыкновении у предусмотрительных мушкетеров, когда они в дождливую погоду хотят уберечь от воды затравку и порох на полке.

Прежде чем мы пошли друг на друга, определили между собой наши камрады, что нам надлежит сойтись в чистом поле и на такой конец занять отведенное место одному на востоке, а другому на западе, и тогда пусть каждый употребит все старание, чтобы поразить другого, как то подобает доброму солдату, когда он таким образом завидит перед собою неприятеля. Также не должен никто с обеих сторон ни перед схваткой, ни во время ее, ни после не покушаться пособлять своему камраду или отмещевать его смерть или понесенные им увечья. А когда они дали в том слово и руку, также я и мой противник подали друг другу руки и простили друг другу свою смерть; в толикой наибезрассуднейшей глупости, какую когда-либо мог совершить разумный человек в надежде доказать преимущество одного рода солдат перед другим, как если бы от исхода нашего дьявольского и в высшей степени бесчинного

[1] трус, подлец, сосунок *(франц.)*.

предприятия зависела честь и репутация тех или других. А когда я стал на назначенном месте на уреченном поле с двумя зажженными фитилями лицом к лицу перед моим противником, то сделал вид, что засыпаю старый затравочный порох; чего я, однако ж, не произвел, а только потрогал порох на крышке мушкетной полки да взял щепотку двумя пальцами, как то в обыкновении; и, прежде чем мой противник, который также хорошо за мной примечал, мог завидеть белое облачко, приложился я к мушкету и поджег впустую свой обманный порох на крышке. Мой бешеный противник возомнил, что мушкет мне отказал и у меня заложило затравку, и того ради с алчностью кинулся на меня напрямки в намерении отплатить за мою дерзость и дать мне последний карачун. Но не успел он оглядеться, как я открыл полку и снова ударил и приветствовал его таким родом, что выстрел и падение свершились разом.

Засим отправился я к своим камрадам, кои встретили меня, так сказать, с лобызаньями; противниковы же товарищи высвободили его из стремян и поступили с ним и нами, как то надлежит честным людям, понеже прислали мне с превеликою похвалою обратно мою перчатку. Но, как только почувствовал я себя на вершине славы, явилось из Ренена двадцать пять мушкетеров и заключило под стражу меня и моих камрадов. На меня же вскорости наложили цепи и узы и отправили на суд генералитета, ибо всякие дуэли были запрещены под страхом телесного наказания и даже смертной казни.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций подстроил в осаде мороку,
Да вышло ему от сего мало проку.

Понеже наш генерал-фельдцейхмейстер имел обыкновение наблюдать строжайшую военную дисциплину, то был я в немалом опасении, что не сносить мне головы. Меж тем не покидала меня и надежда как-нибудь выкрутиться, ибо уже в столь ранней юности я всегда оказывал храбрость против неприятеля и снискал себе немалую славу и честь. Однако же сия надежда была зыбкой, ибо таковые повседневные стычки неотменно требовали острастки надлежащим примером. Наши как раз в то самое время обложили укрепленное крысиное гнездо и потребовали сдачи, но получили отказ, ибо осажденные знали, что у нас нет осадных пушек. Того ради граф фон дер Валь двинулся против сказанного места всем войском и, выслав трубачей, вновь потребовал сдачи, угрожая штурмом; однако ж и на это не воспоследовало ничего иного, кроме нижеследующего послания:

«Высокородный граф и прочая, и прочая, и прочая. Из присланного мне вашим графск. спят. сделалось мне известно, чего Оный домогается именем его велич. имп. св. Римск. импер. Однако ж вашему Высокографск. спят. по ваш. высокому разумению изрядно ведомо, сколь бесчестно и непотребно для солдата, когда бы он без особливой крайности передал противнику такое место, как это; чего ради Оный, чаятельно, не будет в претензии, ежели я буду стараться того не допустить, покуда оружие вашего спят. к сему не склонит. Но ежели вашему спят. представится случай в чем-либо, не относящемся к моей должности, потребовать от моего ничтожества повиновения, пребуду

Вашего сиятельства
всепокорнейший слуга
N. N.».

Засим последовали у нас в лагере различные толки и споры; ибо оставить сие предприятие вотще было бы неблагоразумно, а брать укрепленное место приступом, не пробив бреши, стоило бы много крови, да к тому же не без сумнительства, удастся ли одержать верх или нет. Тащить же сюда из Мюнстера или Гамма пушки со всем снаряжением, до них надлежащим, значило б употребить на сие слишком много трудов, времени и издержек. Меж тем, как всяк от большого до малого тщился пособить тут своим советом, пришло мне в голову обратить сию оказию себе на пользу, чтобы освободиться. Итак, собрал я весь свой ум и все свои пять чувств и поразмыслил хорошенько, как бы мне обмануть врага, ибо недоставало нам только пушек. И как мне тотчас же взошло на ум, что тут надлежит предпринять, довел я до слуха моего подполковника, что измыслил способ, как заполучить ту крепость безо всякого труда и иждивения, ежели только получу пардон и свободу. Некоторые старые и бывалые солдаты посмеивались и говорили: «Висельник и за веревку хватается! Молодчик задумал от беды отбрехаться!» Однако ж сам подполковник и другие, кто меня знал, приняли мои слова как символ веры, вследствие чего он самолично отправился к генерал-фельдцейхмейстеру и доложил ему о моем умысле, насказав ему при этом обо мне все, что он мог рассказать. А как граф и прежде сего слышал о Егере, то распорядился привести меня и на то время снять с меня оковы. Когда я пришел, у графа как раз шла трапеза, и подполковник рассказывал ему, что прошедшей весною я первый раз стоял в карауле у ворот святого Якова в Зусте, как внезапно пошел сильный ливень с превеликим громом и ураганом, так что всяк, кто обретался в поле или саду, спасался бегством в город, отчего в воротах учинились стеснение и давка от бегущих и всадников, и у меня уже в то

время достало смекалки призвать стражу к оружию, ибо в такой сумятице всего легче захватить город, что не всякому бы и старому солдату взошло на ум. «Под конец,— сказал далее подполковник,— прибрела к воротам старуха мокрым-мокрехонька, которая, идучи мимо Егеря, молвила: «У меня эта погодушка уже две недели в спине свербела!» Когда Егерь услышал сии слова, а в руках у него был батожок, то ударил ее по загривку и сказал: «Ах ты, старая ведьма! Ужель ты не могла пораньше ее выпустить? Али тебе надобно было дожидаться, покуда придет мой черед идти в караул?» А как его офицер за ту старуху заступился, то сказал: «Поделом ей! Старая карга целый месяц слышала, как всяк молил о хорошем дождике, чего же она раньше добрых людей не удовольствовала? Тогда, быть может, лучше уродились бы ячмень и хмель!», чему генерал-фельдцейхмейстер, хотя во всем прочем был господин сурьезный, изрядно посмеялся. Я же подумал: «Ежели подполковник рассказывает графу о таких дурачествах и проказах, то уж, верно, не умолчал о том, что я еще натворил!» Но тут я получил аудиенцию.

А когда генерал-фельдцейхмейстер спросил меня, в чем же состоит мое представление, я отвечал: «Милостивый господин! Хотя мой поступок и справедливый приказ и указ вашей светлости навлекают на меня смертную казнь, однако ж всепокорнейшая верность, кою, не щадя живота, надлежит мне оказывать моему всемилостивейшему государю Его Римскому императорскому величеству, повелевает мне любыми путями и средствами, какие только откроются моему ничтожеству, чинить вред неприятелю и способствовать пользе и успехам оружия Его высокореченного Римского императорского величества». Граф перебил меня, спросив: «А не ты ли намедни доставил мне арапа?» Я ответил: «Вестимо, милостивый господин!» Тогда он сказал: «Твое усердие и верность, может статься, заслуживают того, чтобы даровать тебе жизнь, но в чем же все-таки состоит твой умысел выкурить неприятеля из сего укрепленного места без особливой потери времени и войска?» Я ответил: «Понеже местечко сие не способно устоять противу тяжелой артиллерии, то ничтожество мое посему заключает, что неприятель скоро запросит пардону, коли уверится в том, что мы обзавелись осадными пушками».— «Дурацкие это речи,— заметил граф,— да кто ж сумеет их так убедить, чтобы они тому поверили?» Я отвечал: «Их собственные глаза! Я наблюдал в перспективную трубку за их караулами; их можно обмануть, ежели поставить на телеги с сильной упряжкой колоды, похожие на колодезные трубы, и вывезти в поле, то им сразу померещится, что это тяжелая артиллерия, особливо когда ваше графское сиятельство еще прикажет пошанцевать кое-где в поле, как если бы хотели

укрепить там пушки».—«Любезный мой юпец!—возразил граф.—Там засели не дети; они не поверят такой блазни, а захотят услышать, как грохочут эти пушки». «А ежели сия проделка не удастся,— сказал он, обратившись к стоящим вокруг офицерам,— то станем мы посмешищем всего света». Я ответил: «Милостивый господин! Я-то уж произведу в их ушах пальбу из пушек, стоит только мне раздобыть несколько добрых пищалей да порядочной величины бочку; а иначе, конечно, без пальбы не достичь никакого эффекту. А когда, паче чаяния, дело не выгорит и ничего, кроме осмеяния, не получится, то я, по чьей инвенции сие учинено было, как мне уже и без того надлежит умереть, прихвачу с собой эту насмешку на виселицу и пущу на́ ветер вместе с моей жизнью». И хотя граф не хотел давать на то своего согласия, однако мой подполковник склонил его к сему, представляя, что я весьма удачлив в подобных проделках, так что он почти не сомневается, что мне посчастливится учинить и такую потеху. Того ради повелел ему граф распорядиться по своему усмотрению всем, что надлежит, добавив в шутку, что вся слава, которую он добудет в этом деле, ему одному и достанется.

Итак, разыскали три колоды, какие были надобны, и перед каждою впрягли по двадцать четыре лошади, хотя и пары было бы довольно, а под вечер провели их на виду у неприятеля; меж тем промыслил я также три пищали и пороховую бочку, которую добыли в замке, и, устроив все, как того хотел, ночью же доставил к нашей диковинной артиллерии. В пищали вложил я двойной заряд и приказал стрелять через сказанную бочку (у коей выбили переднее донце), как если бы надлежало подать три сигнальных выстрела; и сие так возгремело, что всяк бы накрепко побожился, что то были фальконеты или полукартауны. Наш генерал-фельдцейхмейстер, глядючи на такую дурацкую мороку, принужден был от всего сердца рассмеяться, однако ж велел снова предложить неприятелю договориться о сдаче, присовокупив, что ежели они в тот же вечер не покорятся, то поутру им придется куда солонее. Засим вскорости прибыли от обеих сторон посланцы, заключен договор, и еще в ту же самую ночь отворены городские ворота, что доставило мне особливую приятность, ибо граф тотчас же не преминул показать, сколь высоко он меня ценит; он не только даровал мне жизнь, коей я в силу его строжайшего запрещения должен был лишиться, но и повелел в ту же самую ночь предоставить мне полную свободу, приказав в моем присутствии подполковнику, чтобы он вручил мне первый же прапор, который окажется праздным, что тому было весьма неспособно, ибо у него водилось такое множество зятьев и свойственников, подыскивавшихся к такой чести, что я никогда не мог бы раньше их сего дождаться.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций, не ведая, в чем тут утеха,
Заводит амуры скорее для смеха.

Во время этого похода мне не повстречалось больше ничего, примечания достойного. А когда я воротился в Зуст, то гессенцы из Липпштадта угнали у меня с луга вместе с конем и конюха, которого я оставил на постое стеречь мои пожитки. От него-то противник и выведал все мои дела и поступки; а посему они возымели ко мне еще большее почтение, нежели прежде, ибо, наслушавшись всеобщей молвы, и впрямь уверовали, что я умею колдовать. Он также объявил им, что был одним из тех чертей, которые до смерти напугали в овчарне егеря из Верле. А когда помянутый егерь об этом узнал, то так устыдился, что снова дал тягу и переметнулся к голландцам. Но для меня было большим счастьем, что конюх мой попал в плен, как станет известно из дальнейшего течения моей истории.

Возымев знатную надежду вскорости получить прапор, я начал пещись о своей репутации и вести себя более чинно, нежели прежде. Мало-помалу стал я водить компанию с офицерами и молодыми дворянами, кои метили как раз на то же, что, как я возомнил, мне скоро достанется. По этой причине сделались они злейшими моими врагами, хотя, напротив того, казали вид, будто они лучшие мои друзья; также и подполковник был не очень-то ко мне благосклонен, ибо получил приказ произвести меня в обход своих родичей. А полковник охладел ко мне, оттого что лошади, платье и оружие были у меня куда великолепнее, нежели у него самого, и я больше не подносил старому скупердяю таких щедрых подарков, как раньше. И он охотнее поглядел бы, как мне на днях снесли бы голову, нежели услышал, что мне обещан прапорец, ибо помышлял о том, чтоб унаследовать моих лошадок; а лейтенант мой возненавидел меня за одно только слово, которое я безрассудно вымолвил. А случилось это так. Во время последнего разъезда мы были назначены вместе в отводной караул. А когда я заступил караул (в который, невзирая на темную ночь, пришлось залечь), то лейтенант приполз ко мне на брюхе, словно змея, и сказал: «Часовой, ты что-нибудь приметил?» Я отвечал: «Да, господин лейтенант!» — «Что такое? Что такое?» — зашептал он. Я отвечал: «Я приметил, что господину боязно». С того времени лишился я всякого его благоволения, и там, где было всего жарче, туда-то меня в первую голову и посылали; везде и всюду искал он случай и повод вышибить из меня дух, прежде чем я сделаюсь фендриком, ибо против его происков не мог я себя ничем защитить. Не менее того злобились на меня и все фельдфебели, ибо я

был предпочтен им всем. А что до простых рейтаров, то их любовь и дружба также поколебались, ибо, по всей видимости, можно было заключить, будто я их презрел, ибо, как о том было уже сказано, меньше водил с ними компанию, а подбивался к большим господам, коим не стал оттого любезней. Горше всего было то, что не сыскалось ни одного человека, который открыл бы мне, как всяк на меня досадует; а сам я того не мог приметить, ибо тот, кто говорил мне в лицо самые лучшие слова, охотнее всего увидал бы меня мертвым. А посему жил я, все равно как слепой, и час от часу становился все заносчивей, и хотя уже знал, что тому или другому не по сердцу, когда я превосходил в роскоши знатных и благородных офицеров, однако ж сие меня не удерживало; и я не устыдился, как только стал разводящим, напялить на себя колет цепою в шестьдесят рейхсталеров, красные кармазиновые штаны и белые атласные рукава, сплошь расшитые золотом и серебром, как в те времена было в обычае у высших офицеров, чем всякому колол глаза. Был я тогда ужасным молодым дурнем, который выпускал зайцев из кармана, заместо того чтобы вести себя толком, и ежели бы денежки, которые я из простой спеси и без всякой пользы навешивал на себя, истратил бы на то, чтобы подмазать, где следовало, то не только вскорости получил бы прапор, но и не нажил бы себе такое множество врагов. А вдобавок я на этом не остановился, а убрал лучшего своего коня, того самого, которого Шпрингинсфельд добыл у гессенского ротмистра, таким седлом, сбруей и оружием, что когда я восседал на нем, то меня можно было почесть за второго святого рыцаря Георгия. Ничто так не досаждало мне, как то, что я не могу облачить моего конюха и слуг в собственную ливрею. Я помыслил: «Всему свое начало: когда у тебя есть герб, то у тебя будет и своя ливрея; а когда ты станешь фендриком, то сможешь обзавестись собственною печатью, хотя ты и не дворянин». Я недолго томил себя такими мыслями, как схлопотал себе через comitem Palatinum [1] герб: три красные личины на белом поле, а на шлеме поясное изображение молодого дурня в телячьем одеянии с парой заячьих ушей, украшенных спереди бубенцами, ибо полагаю, что сие всего более подходило к моему имени, ибо звали-то меня Симплициусом. Такое употребление вознамерился я дать моему шутовству, чтобы, достигнув будущего высокого положения, прилежно и неотступно вспоминать, что за птица был я в Ганау, дабы не слишком-то вдаваться в спесь, ибо я уже и сейчас возомнил, что гусь свинье не товарищ. Итак, наконец-то приобрел я впервые надлежащее имя, родословие и герб, и ежели кому-либо взошло бы на ум меня тем

[1] Здесь: герольдия *(лат.)*.

укорить, то, нет сомнения, предложил бы я ему на выбор либо шпагу, либо пару пистолетов.

Хотя я в то время еще не помышлял о женщинах, однако ж отправился вместе с теми дворянчиками, которые посещали неких девиц, во множестве обитавших в городе, дабы покрасоваться и покичиться красивыми своими локонами, платьем и султаном. Должен признаться, что за мое обличье меня предпочитали всем прочим, но притом доводилось и слышать, как развращенные потаскухи сравнивали меня с красивой, хорошо обструганной деревянной куклой, у коей, кроме наружной красоты, нет ни силы, ни сока; ибо, помимо того, не было у меня ничего, что пришлось бы им по вкусу. Итак, я, кроме игры на лютне, ничего не мог учинить или произвести, что доставило бы им приятность, ибо еще ничего не ведал о любви. А когда те, что увивались возле девок, дабы снискать их благоволение и похвастать своим красноречием, насмехались над моею неловкостью и одеревенелостью, то я возражал, что мне довольно, когда я могу потешить себя блестящей саблей и добрым мушкетом. А когда под конец и девки одобрили такие мои речи, то сие так раздосадовало молодцов, что они тайно поклялись предать меня смерти, невзирая на то, что среди них ни у кого не достало мужества послать мне вызов или подать повод к тому, чтобы я вызвал одного из них, для чего довольно было бы нескольких оплеух или чувствительных слов; а как я еще швырял деньгами, то девки рассудили, что я достойный юноша, а также говорили не обинуясь, что ради моего обличья и достохвального образа мыслей одно мое слово больше значит для девицы, нежели все прочие комплименты, которые когда-либо изобретал Амур, что еще больше озлобляло всех присутствующих.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций находит в погребе клад,
Что некогда был колдуном заклят.

У меня было два отменных коня, которые в то время составляли всю мою радость на свете. Во все дни выезжал я на них на манеж или просто на прогулку, когда был свободен; и поступал так не для того, что еще была надобность объезжать лошадей, а чтобы люди могли подивиться, какие добрые твари принадлежат мне. А когда я во всем великолепии гарцевал по какому-нибудь переулку или, вернее, конь вытанцовывал там со мною и глупый народ пялил на меня глаза и толковал между собой: «Гляди-ко, да это Егерь! Ах, вот так лошадь! Ах, какой красивый султан!», или:

«Провал возьми! Вот изрядной детина!», то я изо всех сил навастривал уши и так услаждал свой слух, как если бы сама царица Савская Никаула уподобила меня премудрому Соломону в его высоком присутствии. Но я, дурень, не слышал, как, быть может, в то же самое время судили обо мне разумные и опытные люди и что говорили мои недоброжелатели. Сии последние, нет сомнения, желали, чтоб я сломил себе шею и ноги, ибо ни в чем не могли со мною сравняться. Иные же, наверно уж, полагали, что ежели бы всяк получал по заслугам, то я так бешено не разъезжал бы. Одним словом, самые умные несомненно почитали меня молодым дуралеем, чья спесь недолговечна, ибо покоится на худом фундаменте и держится одной ненадежной добычей. И коли мне надлежит сказать все по правде, то должен признаться, что сии последние судили не несправедливо, хотя я этого тогда не разумел, ибо мог своему противнику или антагонисту задать хорошенько перцу, подобно простому доброму солдату, хотя тогда я был еще сущим ребенком. Но я вознесся столь высоко по той причине, что в теперешнее время ничтожнейший мальчишка с конюшни может убить наихрабрейшего в целом свете героя; не был бы до сего времени изобретен порох, так я сидел бы смирехонек.

Когда я таким образом разъезжал повсюду, вошло у меня в обыкновение обрыскивать все дороги и тропы, все рвы, болота, кустарники, холмы, ручьи и озера, старательно все примечать и удерживать в памяти, дабы в будущем, когда в том или ином месте случится стычка с неприятелем, мог бы с пользою сообразоваться с местностью ровно как в offensive, так и в defensive. С таким намерением проезжал я однажды невдалеке от города мимо старых развалин, на месте коих некогда стоял дом. Я тотчас же подумал: «Вот удобное местечко, где можно устроить засаду или куда ретироваться, особливо же нам, драгунам, когда нас одолеют рейтары или принудят к бегству». Я въехал в покосившийся двор, чтобы посмотреть, можно ли в случае нужды там укрыться с лошадьми или обороняться спешившись. И когда я, чтобы хорошенько все высмотреть, вознамерился проехать к погребу, стены которого еще хорошо сохранились, то конь мой задичился, и ни лаской, ни жестокостью не смог я его побудить повернуть куда надо, хотя обыкновенно он не обнаруживал ни малейшего страха. Я колол его шпорами, так что мне даже стало его жалко, но ничто не помогало, и он не двигался с места. Я сошел с коня и взял поводья в руку, чтобы свести его вниз по обсыпавшимся ступеням, чего он боялся, с тем, чтобы снова его туда направить. Но он изо всей мочи отпрянул назад; все же под конец ласковыми словами и поглаживанием удалось мне свести его вниз, и когда я его ласкал и гладил, то приметил, что он от испуга покрылся потом и неотступно смот-

рел в угол погреба, куда совсем не желал идти и где я не видел ничего, что могло бы вспугнуть самую норовистую лошадь. А когда я стоял так в изумлении, взирая на коня, который дрожал от страха, на меня самого напал такой ужас, не иначе как если бы кто внезапно схватил меня за волосы и вылил на меня полный ушат холодной воды. Однако ж я не мог ничего рассмотреть; конь же повел себя еще диковиннее, так что я уже не мог помыслить ничего иного, как только то, что, быть может, буду тут вместе с ним околдован и найду себе конец в сказанном погребе. Того ради решил я повернуть назад, но конь мой и тут заартачился, отчего мой ужас еще умножился, и я так обомлел, что едва понимал, что делаю. Под конец положил я на руку пистолет и привязал коня к крепкой бузине (которая росла посреди погреба) в намерении выйти наружу и поискать поблизости людей, которые бы помогли мне вывести лошадь; и меж тем, как я обретался в погребе, взошло мне на ум: а не схоронен ли в этих старых стенах какой-нибудь клад, отчего тут и нечисто. Я поверил такой догадке, прилежно огляделся вокруг и тотчас же в том самом углу, куда ни за что не хотел идти конь, приметил, что часть стены примерно такой ширины, как обыкновенный домашний сундук, по своему цвету и кладке с другими стенами была не во всем схожа. Но когда я вознамерился туда пойти, то со мной повторилось то же самое, так что волосы мои ощетинились, но сие еще больше укрепило и утвердило меня в догадке, что именно тут, должно быть, сокрыт клад.

Десять, да что там, и сто раз охотней побывал бы я в перестрелке, нежели выстоять такой страх. Меня мучили, а я не знал кто, ибо ничего не видел и не слышал. Я взял с седла и другой пистолет и хотел уйти, оставив лошадь, однако ж не мог подняться по ступенькам, ибо, как мне померещилось, навстречу мне пахнул сильный ветер; вот тут-то и впрямь мне словно кошка вцепилась в загривок. Под конец взошло мне на ум разрядить оба пистолета, чтобы работавшие поблизости мужики прибежали ко мне на выручку и пособили советом и делом. Так я и поступил, ибо больше не было у меня ни средства, ни способа, ни надежды как-нибудь вырваться из этого страшного заколдованного места. Я так разозлился или, вернее, так перетрусил (ибо я и сам не знал, что со мною творится), что, стреляя, направил свои пистолеты прямо на то место, где, как я предполагал, была заложена причина моего странного приключения, и всадил в помянутую часть стены две пули с такою силою, что пробил дыру, в которую можно было просунуть два кулака. А когда раздался выстрел, то заржал мой конь и навострил уши, что меня сердечно утешило; уж не знаю, то ли чудище или привидение исчезло, либо бедная животина так обрадовалась выстрелу, но у меня разом отлегло от сердца, и я без

всякого страха и препятствия подошел к отверстию, которое пробили мои пули. Тут начал я рушить стену, покуда не обрел столь богатый клад серебра, золота и драгоценных камней, что мне и по сей день жилось бы хорошо, когда б сумел я надлежащим образом его сохранить и употребить. Тут было шесть дюжин серебряных застольных кубков старинной работы, большой золотой бокал, несколько стаканов для игральных костей, четыре серебряные и одна золотая солонка, старинная золотая цепь, различные алмазы, рубины, сапфиры и смарагды как в кольцах, так и в других драгоценных уборах; item целый ларец, полнехонек окатистым жемчугом, только все зерна испорчены или иссохли; еще в заплесневевшем кожаном мешке восемьдесят старейших ефимков чистого серебра, затем 893 золотых с французским гербом и орлом, а какие это монеты, никто не мог распознать, ибо, как уверяли, нельзя было прочесть, что на них написано. Все эти монеты, кольца, драгоценности насовал я в карманы, сапоги, штаны и пистольную сумку, и так как не взял я с собою мешка, ибо выехал ради одной забавы, то срезал с седла чепрак (который был сшит с подкладкой, так что мог служить заместо мешка) и запихал в него остальную серебряную утварь, повесил себе на шею золотую цепь, сел весело на коня и поскакал к нашим квартирам. А когда я выезжал со двора, то приметил двух мужиков, которые, завидев меня, хотели удрать; я же с легкостью догнал их, ибо три пары ног да чистое поле весьма тому способствовали; и спросил их, отчего они пустились наутек и чего ради обуял их такой страх. Тогда признались они, что им померещилось, будто я тот самый призрак, который обитает в здешнем запустелом барском дворе и прежестоко отделывает тех, кто слишком близко к нему подступится. А когда я стал далее расспрашивать обо всех обстоятельствах, то они отвечали, что из страха перед этим чудищем никто по многу лет не заглядывал на сказанный двор, разве что заблудится и ненароком забредет туда какой-нибудь чужеземец. По всеобщей молве, там спрятан железный сундук, полный денег, который стерегут черный пес и проклятая дева; и, как гласит древнее предание, да и они сами слыхивали от дедов, должен объявиться в той местности чужеземный дворянин, который не ведает ничего о своем отце и матери, освободить деву, отпереть огненным ключом железный сундук и завладеть спрятанными деньгами. Подобных нелепых историй насказали они мне немало, присовокупив, что еще не слыхивали, чтобы кто-нибудь без вреда или какого приключения там побывал и счастливо возвратился, не натерпевшись чрезвычайного страху, который нагнало на него ужасное чудище. Правда, еще на их памяти некоторые бродячие подмастерья и заклинатели бесов отправились туда копать клад, однако ж были столь странно

встречены и спроважены, что с тех пор ни у кого не стало охоты искать там сокровище, особливо как пошел слух, что опо дастся в руки лишь тому, кто ни разу не отведал женского молока. Я сказал, так, верно, придется ему лежать там до скончанья мира. «А кто же сказал вам, что там обитает проклятая дева?» Мужики отвечали: «Несколько лет тому назад девчонка из их деревни пасла на луговине неподалеку от того места коз. А когда одна из них отбилась и забежала в сказанный двор, девчонка, которая ничего не знала о чудище, погналась за нею, чтобы вернуть в стадо; тут к ней вышла дева и спросила, что ей тут надобно, и когда девчонка ответила, что хотела разыскать козу, которая сюда забрела, то дева показала ей полный короб вишен, промолвив: «Ступай и возьми то, что видишь перед собою, и уведи козу; но не возвращайся и не оглядывайся назад, чтобы с тобою не приключилась беда!» Эти слова напугали девчонку, и в таком страхе схватила она семь вишен, которые, как только она вышла из развалин, превратились в монеты».

Засим спросил я у мужиков, а что им обоим тут было надобно, когда они все равно бы не посмели заглянуть в развалины. Они ответили, что слыхали выстрел и громкий крик, вот и прибежали посмотреть, что тут творится. А когда я сказал им, что я выстрелил в такой надежде, что люди придут ко мне на помощь, ибо и мне также стало довольно страшно, однако ж я не слышал никакого крика, то они ответили: «Долгонько пришлось бы стрелять в этом замке, покуда прибежал бы сюда кто-нибудь из соседей; и, по правде, здесь повелись столь затейливые чудеса, что мы ни за что не поверили бы молодому барину, будто он там побывал, ежели б не увидели своими глазами, как он оттуда выехал». Засим захотели они выведать у меня множество вещей, особливо же что там внутри творится и видал ли я деву и черного пса возле железного сундука, так что когда я пожелал бы прихвастнуть, то мог бы им наврать с три короба всяких диковин; однако ж я не поведал им даже самой малости, особливо же что обрел драгоценный клад, а поскакал своей дорогой к нашим квартирам, посматривая на свою находку, которая меня сердечно радовала.

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций страшится покражи денег,
Не хочет остаться без них худенек.

Те, кому ведомо, в какой цене деньги, и посему почитают их своим богом, не имеют к тому и малейшей причины, ибо если кто в целом свете познал их силу и божественные добродетели, так

это я. Я знал, как чувствует себя тот, у кого их порядочный запасец; но не раз доводилось мне также испытать, каково на сердце у тех, у кого нет ни единого геллера. И я даже берусь утверждать, что деньги обладают большею силою и способностями, нежели все добродетели и свойства, коими наделены драгоценные камни; ибо, подобно алмазу, они рассеивают всяческую меланхолию, подобно смарагду, возбуждают охоту и любовь к ученым занятиям, а посему сынки богачей и становятся чаще студентами, нежели дети бедняков. Подобно рубину, они уничтожают робость и делают людей веселыми и счастливыми; подобно гранату, могут нередко отнять сон и, напротив, подобно гиацинту, способны доставить сон и покой; они укрепляют мужество и прогоняют все напрасные тревоги, вселяют в сердце радость, бодрость, благонравие и милосердие, подобно сапфирам и аметистам; они прогоняют дурные сновидения, веселят, острят разум и помогают, как сардус, одержать победу в тяжбах, особливо ежели хорошенько подмазать судью. Они усмиряют похоть и нецеломудренные желания, особливо ежели с их помощью заполучить хороших бабенок. Одним словом, всего и не перечислишь, чего можно достичь, обладая любезными денежками, ежели только уметь правильно их держать и расходовать, как о том мне уже доводилось писать в трактате «Черное и Белое».

А что до меня надлежит, то все добытое мною как грабежом, так и обретением сего клада, было диковинного свойства, ибо сделало меня еще более заносчивым, нежели прежде, и во мне вызвало превеликую досаду, что я должен носить одно только имя Симплициус. Сие лишало меня сна, подобно как от действия аметиста; и я целые ночи напролет прикидывал, что бы такое устроить и приобрести еще больше. Все сие сделало меня искусным арифметиком, ибо я подсчитывал, сколько может стоить серебро и золото, которое было у меня не в монетах; складывал все это с тем, что было припрятано у меня в различных местах, и еще с тем, что я держал при себе в мешке; в итоге же, не считая драгоценных камней, получалась изрядная сумма. Сие богатство дало мне изведать все свое врожденное плутовство и злую природу, должным образом растолковав мне пословицу: у кого всего много, тот всегда желает еще большего, так что превратило меня в совершенного скупердяя, которого всяк должен был возненавидеть. И оно-то втемяшило в меня различные дурацкие затеи и диковинные мечтания, однако ж ни единому из тех замыслов я не последовал. Как-то взошло мне на ум, что должен я рассчитаться с войною, где-либо осесть до поглядывать из окна, высунув свое неумытое рыло. Но я тотчас же раскаялся в таких мыслях, особливо же когда рассудил, какую расприволь ную жизнь я веду и какую питаю

надежду со временем стать большим барином. «Эге, Симплиций, возведи себя в дворянство, навербовав из своего кошелька отряд драгун императору — вот и готов молодой господин, который со временем вознесется еще выше!» Но когда я принимал в соображение, что мое величие может разлететься в первой же неудачной схватке или вскорости быть низвергнутым вместе с войною при заключении мира, то у меня пропала к тому всякая охота. Тогда принялся я мечтать, как бы скорее прийти в совершенный мужской возраст. «Вот когда ты возмужаешь,— сказал я самому себе,— то возьмешь красивую, молодую, богатую жену, а там купишь какое ни есть дворянское поместье да и заживешь на покое». Я собирался разводить скот и честным путем получать большой барыш; но коль скоро мне было известно, что я для того еще слишком молод, то принужден был оставить и сие намерение. Сих и подобных тому замыслов было у меня немало, покуда наконец я не решил лучше схоронить свои вещи где-либо в хорошо защищенном городе у надежного человека и с твердостию ожидать, что далее пошлет мне Фортуна. Тогда я еще держал при себе Юпитера, ибо никак не мог от него отделаться; он же по временам вел весьма субтильные речи и несколько недель был в полном разуме, а также безмерно полюбил меня, ибо я сделал ему немало добра; и как теперь он видел меня в беспрестанной задумчивости, то и обратился ко мне с такими словами: «Любезный сын! Раздари-ка ты лучше свое награбленное богатство со всем золотом и серебром!» Я сказал: «А чего ради, любезный Иове?» — «А для того,— ответствовал он,— чтобы приобрести себе таким образом друзей и избавиться от бесполезных забот». Я же сказал, что охотней бы приумножил и то, что имею. «Как знать, на что мне оно пригодится?» Он же сказал: «Гляди, сын, где ты больше приобретешь; но на такой стезе не обретешь ты до конца дней ни друзей, ни покоя. Оставь скупость старым скрягам, ты же веди себя, как надлежит бравому молодцу; тебе куда более надо печалиться, что ты оскудел друзьями, нежели деньгами». Я помыслил о сем и хотя нашел, что Юпитер рассудил справедливо, но скупость уже так одолела меня, что вовсе не хотел что-либо раздаривать. Все же под конец я преподнес коменданту несколько серебряных и позолоченных стакапчиков для игры в кости, моему полковнику несколько серебряных солонок, чем не достиг у них ничего, как только растравил их жадность к тому, что у меня оставалось, ибо то все были редкостные старинные вещи. Моему верному камраду Шпрингинсфельду презентовал я двенадцать рейхсталеров; он же мне присоветовал схоронить богатство где-либо подальше, а не то ждать себе беду, ибо офицеры косо посматривают, когда у простого солдата заводится денег

больше, чем у них. Также доводилось ему видеть, как ради денег один камрад тайком убивал другого; а до сего времени я мог с легкостью хранить в тайне то, что удавалось нахватать и накопить из добычи, ибо всяк думал, что я все снова растранжирил на платье, коня и оружие, теперь же я не мог никому втереть очки или убедить в том, что у меня не осталось денег, ибо всяк воображал найденный клад куда больше, чем он был на самом деле, а вдобавок я стал куда меньше швырять деньгами, нежели прежде. И ему, Шпрингинсфельду, доводилось слышать, какая молва шла среди драгун; на моем-де месте он дозволил бы войне идти своим чередом, а сам поселился бы, где безопаснее, да положился на волю божию. По его мнению, не следовало мне долее испытывать Фортуну, довольно добыл я себе чести и всякого добра и так преуспел во всех своих делах, как это удавалось едва ли одному из тысячи. Я отвечал: «Послушай, брат! Как же могу я так легко расстаться с надеждой сделаться фендриком?» — «Вот, вот,— сказал Шпрингинсфельд,— да пропади я пропадом, когда ты получишь прапор; другие, кто так же, как и ты, к нему тянутся, сто раз пособят тебе сломать шею, когда увидят, что один освободился и ты должен его получить. Не учи меня ловить карпов, у меня самого отец был рыбак! Уж положись, братец, на меня! Я-то больше повидал, как все ведется на войне, нежели ты! Али не видишь, что иной фельдфебель поседел возле своей алебарды, хотя и отличался перед прочими в походах; али ты полагаешь, что они не такие молодцы, чтобы на что-нибудь надеяться? К тому же им и по праву приличествует такое произвождение, что ты и сам признаешь». Я принужден был смолчать, ибо Шпрингинсфельд с такою преданностию от всего чистого немецкого сердца сказал мне сущую правду и ни в чем не лицемерил; но втайне я стиснул зубы, ибо премного тогда возомнил о себе.

Все же я прилежно рассмотрел его слова, а также речи моего Юпитера, помыслив, что нет у меня ни одного закадычного друга, который подоспел бы ко мне на помощь в нужде, а коли меня убьют, так тайно или явно отомстил бы за мою смерть. Также с легкостью мог я принять в соображение все обстоятельства, каковы они были на самом деле; однако ж ни мое честолюбие, ни жадность к деньгам и еще более того надежда возвыситься не дозволяли мне расквитаться с войною и обрести себе покой; но я утвердился в прежнем своем намерении, и, так как в то самое время представился случай побывать в Кельне (ибо я был нанят вместе с сотней драгун конвоировать туда купцов с товарами из Мюнстера), уложил я свои найденные сокровища, забрал их с собой и отдал на хранение тамошнему самому богатому купцу, от коего получил особливую законную расписку. Там было

чистого нечеканного серебра на семьдесят четыре марки, пятнадцать марок золотых, восемьдесят ефимков, да в особливом запечатанном ларце кольца и драгоценные вещи, всего со всем золотом и каменьями восемь с половиной фунтов весом, вместе с восьмьюстами девяноста тремя старинными золотыми монетами, из коих каждая весила столько же, сколько полтора золотых гульдена. Моего Юпитера я также захватил с собою, ибо он этого весьма желал и в Кельне у него были знатные родственники. Перед сими последними выхвалял он благодеяния, которые я ему оказывал, и побудил их принять меня с превеликою честью. Мне же он не переставал твердить, что надлежало лучше употребить деньги и приобрести себе друзей, кои доставили бы мне больше пользы, нежели золото в ларе.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплициус-Егерь в плен снова захвачен,
Но не дает он себя околпачить.

На возвратном пути обдумывал я на все лады, как надлежит мне поступить, чтобы все благоволили ко мне, ибо Шпрингинсфельд запустил мне в ухо пребеспокойную блошку, уверив, что всяк мне завидует, как оно, по правде, и было. Также вспомнил я, что мне присоветовала знаменитая ворожейка в Зусте, отчего меня стало одолевать еще большее раздумье. И вот подобными размышлениями изострил я свой ум и убедился, что человек, который живет без забот, почти подобен скотине. Я доискивался, по какой причине тот или иной должен был меня возненавидеть, и принимал в соображение, как мне к каждому из них подступиться, дабы вернуть его благоволение, и немало дивился иным притворщикам, кои, не питая ко мне никакой любви, осыпáли меня словами чистейшего расположения. Того ради умыслил я притворяться, как и другие, и говорить всякому то, что ему больше всего по нраву и доставляет приятность, а также оказывать каждому почтение, хотя бы к нему у меня вовсе не лежало сердце; особливо же я уразумел, что собственная моя заносчивость по большей части и обременяла меня врагами. Посему почел я, что надобно вновь прикинуться тихоней, хотя им и не был, якшаться по-прежнему с простыми солдатами, держать шляпу пониже перед высшими, да поменьше роскоществовать в нарядах, покуда не переменю своей должности. У купца в Кельне я взял сто талеров, которые должен был возвратить ему с интересом, когда он мне снова вручит мои сокровища; половину этих денег я намеревался

раздать конвою, ибо наконец-то понял, что скупостью не приобретешь себе друзей. Подобным же образом решил я переменить свою жизнь и положить начало сему еще на дороге. Но я вознамерился устроить пирушку без хозяина, и все мои замыслы разом пошли прахом. Ибо когда мы проезжали горной дорогой, то нас подстерегли в особливо удобном для сего месте восемьдесят мушкетеров и пятьдесят рейтаров, как раз когда я с отрядом всего в пять душ вместе с капралом был послан вперед произвести рекогносцировку. Когда мы поравнялись с засадою, то неприятель затаился и пропустил нас вперед, чтобы, напав на нас, не предупредить конвой до тех пор, пока сами не нападут на него; но послали вслед за нами корнета с шестью рейтарами, которые не упускали нас из виду, покуда остальные не напали на конвой, а мы поворотили назад, чтобы показать и свою отвагу. Тут-то они и устремились на нас и закричали, не хотим ли мы к ним на постой. Что до меня, то я был хорошим наездником и подо мной был лучший из моих коней, но я не захотел пускаться наутек, а скакал вокруг по небольшой равнине, высматривая, нельзя ли тут чем-нибудь заслужить честь. Меж тем я тотчас же смекнул по залпу, которым встретили наших, какая поднялась заваруха, и посему решил обратиться в бегство, однако корнет все предусмотрел и сразу отрезал мне путь; и когда я захотел пробиться вперед, то он, приняв меня за офицера, снова предложил пойти на постой. Я помыслил: «Сохранить жизнь лучше, чем идти на ненадежный риск», а потому спросил, хочет ли он взять меня на постой, как честный солдат? Он ответил: «Да, по справедливости!» Итак, презентовал я ему свою шпагу и сдался в плен. Он тотчас же спросил меня, кто я такой, ибо почел меня за благородного, а следовательно, за офицера. А когда я ему ответил, что меня прозвали Егерем из Зуста, то он сказал: «Ну, так тебе повезло, что ты не попался нам недельки за четыре; тогда бы я не смог предоставить тебе квартиру, ибо у нас тебя еще все почитали отъявленным колдуном!»

Сей корнет был доблестным молодым кавалером и старше меня не более чем двумя годами. Он невесть как обрадовался, что ему выпала честь взять в плен знаменитого Егеря, а посему весьма добросовестно сдержал свое обещание на манер голландцев, у коих было в обычае не залезать в пояс к пленным гишпанцам и ничего у них не брать; и он был так учтив, что ни разу не подверг меня визитации, я же был столь деликатен, что сам извлек денежки из сумы и предложил им устроить дележку; а также сказал тишком корнету, пусть он потщится, чтобы ему достался мой конь, седло и сбруя, ибо в седле он найдет еще тридцать дукатов, а конь у меня и без того такой, что подобного ему навряд

сыщешь. От этого корнет стал ко мне так благорасположен, как если бы я доводился ему родным братом; он сразу же вскочил на моего коня, а мне дозволил ехать на своем. Наш же конвой потерял не более шести человек убитыми, да тридцать были взяты в плен, из них восемь раненых; остальные же пробились, но у них недостало мужества попытаться отбить добычу в чистом поле, что они могли бы довольно легко совершить, ибо все были на лошадях.

Когда поделили добычу и пленников, шведы и гессенцы в тот же вечер разошлись в разные стороны, ибо они были из разных гарнизонов. Меня, капрала и еще трех драгун получил корнет, так как взял нас в плен; после чего препроводил в крепость, расположенную меньше чем в двух милях от нашего гарнизона. И так как я в тех местах раньше немало набедокурил, то имя мое было там хорошо известно, и меня больше боялись, нежели любили. Когда мы завидели город, то корнет выслал вперед рейтара, чтобы известить коменданта о своем прибытии, а также доложить, как было дело и кто взят в плен, что произвело в городе такую суматоху, что и сказать нельзя, ибо всяк хотел поглядеть на Егеря, умевшего вытворять всякие чудеса. Тут кто говорил обо мне одно, кто другое, и все было не иначе, как если бы какой-нибудь великий потентат вздумал туда пожаловать.

Мы, пленники, были тотчас же приведены к коменданту, который весьма дивился моей юности. Он спросил меня, не служил ли я когда у шведов и где моя родина. А когда я ему сказал по правде, то захотел узнать, нет ли у меня желания снова перейти на их сторону. Я отвечал, что мне все едино, но понеже я учинил присягу августейшему императору, то думаю, что подобает ее хранить. Засим повелел он отвести нас к смотрителю, однако разрешил корнету устроить на своем иждивении нам вечером пирушку, ибо я раньше подобным же образом угощал своих пленников, среди которых был и его брат. А когда наступил вечер, то различные офицеры, как благородные кавалеры, так и солдаты Фортуны, сошлись все вместе у корнета, который велел позвать меня и капрала; и должен признаться, по правде, они потчевали меня с величайшей учтивостью. Я так веселился, как будто ничего не потерял, и вел такую откровенную и дружескую беседу, как если бы находился среди лучших друзей, а не был пленником у врагов; при сем старался я соблюдать приличествующую скромность, насколько мне сие удавалось, ибо легко мог себе представить, что коменданту снова донесут о моем поведении, что и случилось, как я потом узнал.

На другой день все мы, пленники, поодиночке предстали перед полковым судьею, который учинил нам допрос. Капрал был

Schauhnei. gest. Simplex
klüge Gaben
Verstellt in Thiers-Gestalt
vergraben
So will die Welt nur Narren
haben.

«Симплициссимус». Книга вторая, глава пятая.

первым, я вторым. Едва я вошел в залу, как стал он дивиться моей молодости и сказал с укоризною: «Дитя мое! Чем тебя обидели шведы, что ты стал с ними воевать?» Это весьма меня раздосадовало, особливо же, как я приметил, у них столь же юных солдат, как я сам, а посему отвечал: «Шведские солдаты отняли у меня глиняные шарики или пульки, а мне хотелось заполучить их обратно». А когда я ему таким родом отрезал, устыдились некоторые, сидящие с ним офицеры, ибо один из них заговорил по-латыни, что надлежит поговорить со мною о серьезных делах, он довольно наслышался, что перед ним не ребенок. Тут я приметил, что его зовут Евсебиус, ибо так называл его помянутый офицер. Тогда судья спросил меня о моем имени, и когда я назвался, то заметил: «Ни одного черта в преисподней не зовут Симплициссимусом!» На это я отвечал: «Чаятельно, в аду нет никого, кто бы звался Евсебиусом!» Таким образом изрядно отплатил ему, как некогда нашему полковому писарю Кирияку, что, однако ж, не пришлось по вкусу офицерам, ибо они заметили, что мне надлежит памятовать, что я нахожусь в плену и призван к ним не для шуток. Но сие напоминовение не заставило меня покраснеть или просить у них прощения, а побудило сказать в ответ, что ежели они считают меня пленным солдатом, а не дитятей, которого надо отпустить домой, то мог бы ожидать, что они надо мной не станут подшучивать, словно над младенцем; как меня спрашивали, такой я и ответ держал, однако же надеюсь, что мне не будет за то оказано несправедливости. Затем спрашивали они меня о моем отечестве, происхождении и роде, особливо же, не служил ли я прежде на стороне шведов, item как обстоят дела в Зусте, сколь велик там гарнизон и о всяких других вещах. Я отвечал на все скоро, коротко и внятно, а о Зусте и его гарнизоне ровно столько, чтобы за это не быть в ответе, однако ж почел за благо умолчать о своем шутовском ремесле, чего уже и сам стыдился.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиция шведы на волю пустили,
Споначалу о том его думы и были.

Меж тем проведали в Зусте, чем кончилось дело с конвоем и что меня вместе с капралом и прочими захватили в плен, а также куда нас отвели; того ради на другой же день явился барабанщик, чтобы нас выручить; с ним были отпущены капрал и трое других, а также передано нижеследующее письмо, которое комендант послал мне для прочтения:

«Monsieur, через возвращающегося сего барабанщика вручено мне было ваше послание, в ответ на каковое с получением выкупа отправляю при сем к вам капрала вместе с тремя остальными пленными; а что касается Симплициуса, то оный, как служивший ранее на нашей стороне, не может быть снова отпущен на противную. Но ежели в чем-либо остальном, не относящемся к моей должности, могу удовлетворить господина, то оный найдет во мне усерднейшего слугу, коим являюсь и пребываю

готовый к услугам
Н. де С. А.».

Сие послание не пришлось мне по нутру, однако ж я принужден был поблагодарить за то, что мне его сообщили. Я пожелал поговорить с комендантом, но получил в ответ, что он сам пришлет за мною, как только отправит барабанщика, что случится рано поутру, а покамест я должен запастись терпением.

Когда уже давно прошло назначенное время, комендант прислал за мною, что случилось в обеденную пору. Тут впервые выпала мне честь сидеть с ним за одним столом. Покуда шла трапеза, он изрядно потчевал меня вином и ласково беседовал, ни словом не обмолвившись, как он намерен поступить со мною, да и мне не пристало о том заговаривать. А когда мы отобедали и я порядком захмелел, сказал он: «Любезный Егерь! Из моего письма тебе ведомо, под каким предлогом я тебя удержал, и, по правде, не учинил я ничего незаконного или же противного военному праву и обычаю, ибо ты сам признался мне и полковому судье, что прежде служил на нашей стороне при главной армии, того ради следует тебе решиться перейти на службу под мою команду; тогда со временем, ежели ты поведешь себя должным образом, я буду споспешествовать твоему произвождению, да так, что ты, будучи у имперских, никогда не посмел бы даже мечтать о чем-либо подобном. В противном же случае не пеняй, ежели я снова отошлю тебя к тому самому подполковнику, у которого тебя увели в плен драгуны». Я отвечал: «Высокочтимый господин полковник (ибо в то время еще не было обыкновения солдат Фортуны величать «Ваша милость!», хотя бы они даже были полковниками)! Понеже я никогда не присягал ни шведской короне, ни ее союзникам, ни тем более реченному подполковнику, а был только помощником у конюха, то не обязан вступать в шведскую службу и нарушить присягу, данную мною августейшему императору; того ради наипокорнейше прошу высокочтимого господина полковника, не будет ли ему угодно избавить меня от такого домогательства».—

«Что? — вскричал полковник.— Значит, ты презираешь шведскую службу? Тебе надобно помнить, что ты у меня в плену, и, вместо того чтобы отпустить тебя в Зуст служить противнику, я скорее учиню над тобой новый суд или сгною в тюрьме; вот о чем надлежит тебе прежде всего поразмыслить». Я хотя и был напуган такими словами, однако ж и не помыслил о капитуляции, а отвечал: «Да хранит меня бог от такого презрения, как и от нарушения клятвы. В прочем пребываю во всеподданнейшей надежде, что господин полковник, следуя своей хорошо всем известной учтивости, поступит со мной, как с солдатом».— «Да, да,— сказал он,— я-то отлично знаю, как надлежит с тобой поступить, ибо намерен провести процедуру со всею строгостию, но лучше поразмысли хорошенько, чтобы у меня не было причины учинить тебе кое-что похуже!» Засим я снова был отведен в каземат.

Всяк с легкостью заключить может, что в ту ночь я не много спал, а предавался различным мыслям. Утром зашли ко мне несколько офицеров вместе с полонившим меня корнетом под тем предлогом, чтоб скоротать время, а по правде сообщить мне, что полковник якобы вознамерился учинить надо мною суд по обвинению в колдовстве, ежели я не переменю своего намерения; они хотели, значит, меня застращать и разведать, что тут за мной кроется. Но понеже я черпал утешение в чистой совести, то принял все с холодным спокойствием и был довольно молчалив, заметил только, что вся загвоздка не иначе как в том, что полковнику не любо, если я ворочусь в Зуст, ибо он легко может себе вообразить, что когда я освобожусь, то не захочу расстаться с тем местом, где чаю себе произвождения и где у меня еще остались два славных коня и немало всяких дорогих вещей. На следующий день призвал меня комендант снова к себе и спросил сурово, к какому я пришел решению. Я же отвечал: «Вот, господин полковник, мое решение: лучше принять смерть, нежели согласиться нарушить присягу! Но если мой высокочтимый господин полковник соблагоизволит освободить меня и не будет принуждать вступить в военную службу, то я готов всей честью поручиться господину полковнику, что в течение шести месяцев не приму и не подыму оружия против шведов и гессенцев». Сии слова весьма полюбились полковнику, так что он сразу протянул мне руку и тотчас же подарил мне следовавший за меня выкуп, также повелел секретарю составить двойной реверс, который мы оба и подписали, где он обещал мне покров, защиту и полную свободу, покуда я буду находиться в оной крепости. Я же, напротив того, обязался, согласно упомянутым двум пунктам, покуда буду пребывать в оной крепости, не чинить никакого вреда и ущерба, а скорее споспешествовать их пользе и прибыли, всякий же ущерб по возможности отвращать, также еже-

ли сие место будет атаковано неприятелем, то надлежит мне пособлять в обороне.

Засим он снова оставил меня отобедать и оказывал мне такую честь, о какой я у имперских не смел бы и помыслить. Подобным образом он мало-помалу так расположил меня к себе, что я не захотел возвращаться в Зуст, хотя он уже меня туда отпускал и хотел освободить от данного ему обещания. Вот это и означало нанести урон неприятелю без пролития крови, ибо с тех пор зустовские разведчики ровно ничего не стоили, так как меня там не было, о чем следует сказать, хотя и не в укор им или в похвалу самому себе.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций решил, что с Фортуной сдружился,
Не успел оглянуться, опять оступился.

Уж ежели чему быть, то все тому способствует. Я возомнил, что вступил в брак с самою Фортуною или, по крайности, коротко с нею сошелся, так что даже наинеприятнейшие приключения служат к моему благополучию, когда, сидючи за столом у коменданта, узнал, что мой конюх явился ко мне из Зуста с двумя лучшими лошадьми. Но не ведомо было мне (в чем я в конце концов убедился), что изменчивое счастье подобно сиренам, кои всегда сладостнее представляются тем, кого особливо хотят погубить, и по сей причине тем выше его возносят, чтобы тем глубже потом низвергнуть.

Сей конюх (которого я незадолго перед тем взял в плен у шведов) был чрезвычайно мне предан, ибо я оказал ему много добра, а посему каждый день седлал он обоих моих коней и выезжал из Зуста далеко вперед навстречу барабанщику, который послан был нас выручать, дабы не пришлось мне возвращаться после долгого пути не только одному, а, чего доброго, нагишом или в лохмотьях (ибо он полагал, что меня раздели). Итак, повстречал он барабанщика и возвращавшихся пленников и уже вынул лучшее мое платье, но, как только увидел, что меня нет, и уведомился, что я оставлен противником, чтобы начать у него службу, то пришпорил лошадей и сказал: «Прощай, барабанщик, и ты, капрал, где мой господин, туда и я!» Итак, ушел он от них и явился ко мне как раз в то время, когда комендант обещал мне свободу и оказывал превеликую честь. Он промыслил для моих лошадей постоялый двор, покуда я не расположусь по своему желанию, и превозносил как особливое счастье верность моего конюха; также дивился, что я, простой драгун, да еще в столь юных летах, мог обзавестить та-

кими красивыми и превосходными конями, да еще так их снарядить; а когда я распрощался с ним и отправился к сказанному постоялому двору, то выхвалял одного коня столь усердно, что я сразу смекнул, что он с большою охотою у меня его купил бы. Но понеже он из учтивости не предложил мне купли, то я сказал, когда б я мог надеяться на такую честь, что ему полюбится мой конь, то он всецело к его услугам. Он же наотрез отказался, больше всего потому, что я был под хмельком, и он не хотел, чтобы пошла молва, будто он облестил пьяного, который сболтнул, что он легко расстанется с благородным конем, о чем, протрезвившись, быть может, горько сетовал бы.

В ту ночь размышлял я, как мне в будущем получше устроить свою жизнь; того ради решил пробыть шесть месяцев там, где я был, и, значит, провести зиму, которая уже стучалась в ворота, в покое, на что у меня достало бы денег, ибо я еще не затронул своего сокровища в Кельне. «За это время,— раздумывал я,— вырастешь ты сполна и обретешь совершенную силу, так что сможешь потом с еще большею доблестию отправиться в поход с имперским войском».

Рано поутру произвел я анатомию моему седлу, которое было нашпиговано не в пример лучше, нежели то, которое получил корнет; потом велел я привести лучшего моего коня к полковничьей квартире и сказал: «Так как я решил шесть месяцев, в течение коих я не должен принимать участие в войне, провести здесь на покое, под покровом господина полковника, то лошади мои простоят без пользы, и будет весьма сожалительно, ежели они испортятся, и того ради не будет ли ему угодно дозволить поместить этого солдатского бегунка среди своих копей и не в тягость принять его от меня как знак благодарной признательности за оказанную мне милость». Полковник поблагодарил меня с величайшей учтивостью и куртуазными приношениями и, дабы показать свое особое благоволение, в тот же самый день пополудни послал мне со своим гофмейстером откормленного живого быка, двух жирных свиней, бочку вина, четыре бочки пива, двенадцать возов дров, приказав все сие доставить к моему новому дому, который я нанял на полгода, и сказать мне, что как только он уведомился, что я вознамерился обзавестись хозяйством и попервоначалу может случиться какой недостаток в провизии, то он посылает на новоселье глоток винца и кусок мясца да малость дровец для очага, присовокупив, что ежели он может мне в чем-либо содействовать, то не приминет сие совершить. Я же поблагодарил его с такою учтивостию, как только мог, пожаловал гофмейстеру два дуката и попросил его наилучшим образом рекомендовать меня своему господину.

А как увидел я, что своею щедростию снискал столь великую честь у полковника, то вознамерился приобрести почтение и добрую славу также и у простых солдат, чтобы не почли меня негодным увальнем, а посему позвал в присутствии хозяина дома своего конюха и объявил ему: «Любезный Никлас! Ты соблюдал мне такую верность, какой ни один командир не смеет ожидать от своего солдата; однако ж теперь, когда я не знаю, как тебя вознаградить, ибо не состою ни у кого под началом и, следовательно, не принимаю участия в войне и лишен какой-либо добычи, чтобы заплатить тебе, как это приличествует, наипаче же ради того, что отныне я вознамерился вести тихое житие и решил больше не держать конюха, то даю тебе заместо жалованья вторую лошадь вместе с седлом, сбруей и пистолетом; прошу тебя, довольствуйся сим и поищи себе другого господина. А ежели впоследствии смогу тебе в чем-либо помочь, то тебе вольно во всякое время ко мне обратиться!» Тут добрый мой Никлас залился слезами и сказал: «Ах, господин! Я не заслужил столько всего за какую-то четверть года, что провел у вас; оставьте лучше этого коня у себя, да и меня вместе с ним, ежели вам сие угодно; да я с большею охотою буду у вас сносить голод, нежели жить в довольстве у другого господина, ежели только буду знать, что смогу тем хорошо услужить вам».— «Нет! — воскликнул я.— Не могу я держать при себе слугу, когда сам не могу жить, как господин; поищи себе место повыгоднее, ибо я не хочу, чтобы ты стал сотоварищем моего неблагополучия». Он же целовал мне руки и от слез почти не мог говорить, и ни за что не соглашался принять коня, а уверял, что будет лучше, ежели я разменяю его на серебро и употреблю на свое пропитание. Под конец мне удалось его уговорить принять все, после того как я пообещал ему взять его к себе снова на службу, ежели мне кто-нибудь понадобится. Сие прощание так разжалобило хозяина дома, что глаза у него были полны слез, и подобно тому как мой конюх раструбил всей солдатне о таком моем поступке, также и хозяин отзывался обо мне с превеликою похвалою и превозносил меня среди горожан как небывалое чудо. Комендант же почитал меня наичестнейшим молодцом, чье слово надежнее любого замка́, ибо я не только свято соблюдал присягу, данную императору, но и крепко держал уговор, который подписал с ним, так что даже отдал своему верному слуге прекрасного коня и оружие. Итак, стал я господин самому себе, подобно всякому нищему, который не находится ни у кого под командой. Так и течет все в этом превратном мире, где другие должны приносить присягу, когда вступают в военную службу,— я же должен был дать слово, когда ее оставил.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций раскинул умом и смекалкой,
Снова свел шашни со старой гадалкой.

Сдается мне, что нет на свете человека, у которого не было бы своего дурачества, ибо мы все ведь скроены на один лад, так что я по своей груше хорошо примечаю, когда созрели другие. «Ну, пострел! — могут мне возразить.— Коли ты сам дурень, то не потому ли и мнишь, что все другие таковы же?» Нет, я этого не говорю; то были бы совсем напрасные речи. Я только полагаю, что один лучше скрывает свое дурачество, нежели другой. И посему нельзя всякого почесть дурнем, хотя бы у него были дурацкие выдумки, ибо в юности мы все обыкновенно на одну колодку; но кто сие дурачество выпускает наружу, тот и слывет дурнем, ибо другие либо вовсе его скрывают, либо обнаруживают лишь наполовину. Те, кто его совсем задавили, сущие угрюмые быки; тех же, кто по временам и при случае дозволяют ему высунуть уши и перевести дух, чтобы совсем не задохнуться, почитаю я самыми лучшими и разумными людьми. Что до меня надлежит, то я слишком далеко его выставил, когда почувствовал такую вольность, да еще при деньгах, понеже принял к себе на службу детину, которого обрядил, ровно благородного пажа, в платье дурацких цветов, а именно: фиолетовый и желтый, что должно было знаменовать мою ливрею, ибо мне так полюбилось; сей малый должен был мне прислуживать, как если бы я был важным бароном, не то что незадолго перед тем простым драгуном, а еще за полгода вшивым мальчишкой на конюшне.

То была первая глупость, какую я совершил в этом городе, и хотя она была великонька, однако ж ее никто не приметил, а еще менее того похулил. Но к чему сие приводит? Свет до того набит дурачествами, что уже больше никто их не замечает, не осмеивает и не дивится, ибо так с ними и родится. Вот также и я вошел в славу как умный и добрый солдат, а не как молодой дурень, у которого еще молоко на губах не обсохло. Я столковался с хозяином, что буду у него столоваться вместе со слугою, отдав в уплату с превеликой уступкой в цене все мясо и дрова, коими почтил меня комендант за мою лошадь; а что надлежит до напитков, то ключом от них владел мой малый, так как я охотно давал прикладываться всем, кто меня посещал, ибо был я не бюргер и не солдат и никто не мог разделить со мною общество на равных правах, посему и водил я компанию как с теми, так и с другими, так что, почитай, всякий день обретал с избытком товарищей, которые не покидали

меня, не угостившись. Горожане помогли мне свести знакомство с тамошним органистом, ибо я весьма любил музыку и (можно сказать без похвальбы) обладал превосходным звучным голосом, которому не дозволял оскудеть. Органист научил меня, как надлежит сочинять музыку, item как бренчать на инструменте, а также на арфе; а как я и без того был мастер играть на лютне, то завел себе собственную и почитай каждый день с нею забавлялся. А когда мне прискучит музицировать, то, бывало, призову того самого скорняка, который еще в Парадизе обучал меня управляться со всяким оружием; с ним я усердно упражнялся, дабы достичь еще большего совершенства. Также упросил я коменданта, чтобы один из его канониров, сведущий в артиллерийском искусстве и отчасти в пороховом деле, обучил меня сему за надлежащую плату. Во всем прочем жил я тихо и скромно, так что всяк дивился, видя, что я беспрестанно сижу за книгами, словно студент, хотя приобык к разбою и кровопролитию.

Мой хозяин был у коменданта заместо ищейки и вместе с тем мой сторож, понеже я приметил, что все мои деяния и поступки становятся тому известны. Правда, я не могу это вменить в зазор полковнику, ибо будь я на месте коменданта и будь у меня такой гость, каким меня почитали, то и сам поступил бы точно так же. Однако ж я ловко сумел все обернуть себе на пользу, ибо ни разу не помянул о военной службе, и когда о ней заводили речь, то вел себя так, словно никогда и не был солдатом, а живу здесь лишь для того, чтобы исправлять каждодневные упражнения, за которые только что взялся. Я, правда, изъявил желание, чтобы условленные шесть месяцев протекли поскорее, но никто не мог понять, кому я потом захочу служить. Всякий раз, когда я приходил на поклон к полковнику, он приглашал меня к столу; тут иногда заводилась беседа, чтобы выведать мои мнения, умыслы и намерения; я же всякий раз отвечал с такою осторожностию, что нельзя было узнать, каких я держусь мыслей, так что все его подходцы оставались втуне. Однажды он сказал мне: «Ну, как дела, Егерь? Ты все еще не надумал перейти к шведам? У меня как раз вчера помер фендрик». Я отвечал: «Высокочтимый господин полковник, пристало ли бабе сразу после смерти мужа идти под венец? Так отчего бы и мне не потерпеть полгодика?» Подобными речами отходил я всякий раз и чем далее, тем больше приобретал расположение полковника, так что он даже дозволял мне бродить повсюду как в самой крепости, так и за ее стенами; да что там, под конец я мог охотиться на зайцев, рябчиков и прочую птицу, чего он не разрешал даже собственным своим солдатам. Также рыбачил я в Липпе, да так счастливо, что можно было подумать, будто я привораживаю в воде рыбу и раков. На сей предмет заказал я себе дешe-

вое егерское платье, в коем шнырял по ночам (ибо знал все пути и тропы) в окрестностях Зуста, где откапывал спрятанные мною то здесь, то там клады и перетаскивал их в помянутую крепость и делал вид, будто решил навсегда остаться у шведов.

Тем же путем пришла ко мне ворожейка из Зуста, которая сказала: «Гляди-ко, сын мой! Я ли тебе не присоветовала схоронить свои денежки подальше от Зуста? Могу тебя уверить, тебе здорово повезло, что ты попал в плен; ежели бы ты воротился, тебя прикончили бы на охоте молодцы, которые поклялись предать тебя смерти, ибо некие девицы оказывали тебе предпочтение». Я отвечал: «Как может кто-нибудь меня ревновать, когда я в девицах несведущ?» — «Вестимо,— молвила она,— ежели ты не переменишь своих теперешних мыслей, то женщины прогонят тебя с глумом и срамом на все четыре стороны. Ты всегда подымал меня на смех, когда я тебе что-нибудь предвещала; захочешь ли ты мне поверить, когда я тебе еще что-нибудь скажу? Разве там, где ты сейчас, не обрел ты людей, более расположенных к тебе, нежели в Зусте? Клянусь тебе, что ты им весьма полюбился и сия чрезвычайная любовь обратится тебе во вред, ежели ты не поведешь себя надлежащим образом». Я отвечал, что ежели ей так много ведомо, как она о себе наговаривает, то пусть-ка объявит мне, что сталось с моими родителями, повстречаю ли я их когда-нибудь снова, да не темными словами, а внятным немецким языком. На сие сказала она, что мне надлежит справиться о родителях, когда я ненароком повстречаю своего воспитателя, который ведет на веревочке мою молочную сестру, и смеялась чрезвычайно громко, присовокупив к тому, что она по доброй воле открыла мне больше, нежели тем, которые ее об этом просили. Впредь же я немного от нее узнаю; но напоследок она хочет все же мне объявить, что ежели я желаю себе благополучия, то надобно мне расщедриться на подмазку и заместо бабенок прилепиться к бранному оружию. «Ах ты, старая колотушка,— сказал я,— да ведь я так и поступаю!» Засим она проворно убралась прочь, так как я стал над ней насмехаться, особливо же как перед тем я пожаловал ей несколько талеров, ибо не охотно носил при себе серебро. У меня тогда скопилась немалая толика денег, да еще много дорогих колец и всяких драгоценностей; ибо как только случилось мне среди солдат, или во время разъездов, или иначе узнать, что где-либо водятся драгоценные камни, как я приобретал их себе, да к тому же нередко за половинную цену против того, что они стоили. И они взывали ко мне непрестанно, что желают снова возвратиться к людям; мне надобно их выпустить на волю, ежели я хочу быть в чести. Я последовал сему с превеликой охотой, ибо возымел немалую спесь, чванился своим богатством и без опасения показывал его хозяину,

который потом нарассказал повсюду куда больше, нежели было на самом деле. Люди же дивились, откуда я его достал, ибо уже разнесся слух, что я оставил найденный мною клад на сохранение в Кельне, так как корнет, взявший меня в плен, прочитал расписку, данную мне тамошним купцом.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций пустился в отчаянный блуд,
А девки стадами к нему так и льнут.

Мое намерение за эти шесть месяцев изучить в совершенстве артиллерийское дело и фехтовальное искусство было похвально, и я это разумел. Однако ж сего было не довольно, чтобы совсем уберечь меня от праздности, что бывает причиной многих зол, особливо как не было никого, кто бы мог повелевать мною. Правда, я прилежно сидел за различными книгами, откуда почерпнул много доброго, но попались в мои руки и такие, кои были мне столь же надобны, как собаке трава. Бесподобная «Аркадия», по коей я хотел научиться красноречию, была первой, склонившей меня от правдивой истории к любовным сочинениям и от истинных происшествий к героическим поэмам. Подобного рода книжицы добывал я, где только мог, и когда мне удавалось заполучить такую, то я не отрывался от нее, покуда не прочту до конца, хотя бы пришлось просидеть над нею день и ночь. Они наставили меня заместо риторики ловить на клейкий прут перепелочек. Однако ж у меня сей порок тогда не приобрел еще такой силы и горячности, чтобы можно было назвать его вместе с Сенекой божественным неистовством или, следуя описанию, сделанному Томасом Томеи в его «Вертограде мира», докучливой болезнью: ибо там, куда меня влекла любовь, я с легкостью и без особливых трудов получал все, чего домогался, так что у меня вовсе не было причины сетовать на судьбу, подобно другим любовникам и волокитам, кои битком набиты диковинными мечтаниями, заботами, вожделением, тайными страданиями, гневом, ревностию, жаждой мести, слезами, бешенством, досадой, угрозами, а также бесчисленными иными дурачествами и от нетерпения призывают на себя смерть. У меня были деньги, и я не давал им заплесневеть, а сверх того обладал приятным голосом и упражнялся на различных инструментах вместо того, чтобы предаваться танцам, к коим я никогда не был расположен, ибо не мог в них наловчиться, да и без того почитал их бессмысленным дурачеством, а свой стройный стан я показывал, когда вместе с помянутым скорняком упражнялся в фехтовании. Сверх

того было у меня гладкое красивое лицо, и я приучил себя к ласковой обходительности, так что женщины, хотя я особливо о них не печалился, сами льнули ко мне (подобно тому как Аврора преследовала Клита, Цефала и Титона, Венера Анхиса, Атиса и Адониса, Церера Глаукуса, Улисса и Ясиона, а сама целомудренная Диана своего Эндимиона) куда больше, нежели я того домогался.

Около того времени подошел день святого Мартина; тогда у нас, немцев, начинают пировать и бражничать почитай что до самой масленицы. Тогда многие, как офицеры, так и горожане, стали приглашать меня в гости отведать мартынова гуся. И тогда порой, бывало, кое-что содеется, ибо при таких обстоятельствах я заводил знакомство с женщинами. Моя лютня и пение побуждали каждую поглядеть на меня, и когда они пялили глаза, то я сопровождал новые любовные песенки, которые сам и сочинял, такими умильными взорами и ухватками, что иная пригожая девица вовсе дурела и нечаянно оказывала мне свою благосклонность. А чтобы не прослыть скрягою, задал я два пира: один для офицеров и другой для горожан, чем приобрел благоволение тех и других и получил к ним доступ, ибо всех великолепно угощал и изрядно потчевал. Все сие я учинял ради одних только милых девиц, и хотя я то у одной, то у другой и не получал того, что искал (ибо бывали и такие, которые еще могли себя соблюдать), однако же обходился со всеми одинаково, дабы те, кои оказывали мне больше милости, не подпали бы никакому злому подозрению, как то и подобает честным девушкам, а все должны были полагать, что также и с ними я веду одни только беседы. И я уговаривал каждую из них особливо, так что она думала не иначе, как будто она одна только мною владела.

А у меня было как раз шестеро, которые меня любили, а я их взаимно, однако ж ни одна из них не владела всем моим сердцем или мной одним; у одной нравились мне только ее черные очи, у другой золотистые волосы, у третьей милое приятство, а у остальных тоже что-нибудь, чего нет у прочих. Когда же я, кроме этих шести, посещал еще и других, то происходило сие либо по сказанной причине, либо потому, что мне это было ново и в диковину, а я и без того не упускал и не презирал ничего, меж тем как не собирался оставаться в том месте навсегда. У слуги моего, отъявленного плута, было довольно хлопот сводничать и таскать туда и сюда любовные цидулки, а так как он умел держать язык за зубами и сохранять втайне мои распутные шашни то с одной, то с другой, все и оставалось шито-крыто, чем я вошел в немалый фавор у потаскушек и что мне обходилось дорогонько, ибо таким образом расточал я свое добро, так что вполне мог сказать: «То, что взял

под барабанный бой, уходит от тебя с дудой». Притом свои делишки я обделывал в такой тайности, что мало бы кто смекнул бы, что я веду распутную жизнь, не считая священника, у которого я уже не брал для чтения так много духовных книг, как прежде.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций заводит бессчетных друзей,
Но слышит укоры он дружбе сей.

Когда изменчивое счастье вознамерится кого-нибудь низвергнуть, то сперва вознесет его превыше небес, и преблагий бог так верно предостерегает каждого от его падения. Так приключилось и со мною, однако я не внял сему предостережению. Я совершенно уверился в том, что тогдашнее мое благополучие покоится на столь прочном основании, что его не поколеблет никакое несчастие, ибо всяк, особливо же сам комендант, был ко мне весьма расположен. Благосклонность тех, кто был у него в большой чести, приобретал я всяческими изъявлениями почтительности; его верных слуг склонял я на свою сторону щедростию и подарками; с теми же, которые стояли чуть выше меня, братался я за чарою вина и клялся им в нерушимой верности и дружбе, а простые бюргеры и солдаты благоволили ко мне, ибо я с каждым из них говорил ласково. «Что за любезный малый этот Егерь,— говаривали они частенько друг другу,— ведь он и потолкует с младенцем на улице, и не прогневит старца!» А случалось мне поймать зайца или рябчика, я посылал его на кухню к тем людям, чью дружбу хотел снискать, а напросившись в гости, доставлял также и добрый глоток вина, которое в тех местах стоило дорого, словом, устраивал так, что все расходы ложились на меня. А когда на такой пирушке я заводил с кем-либо беседу, то говорил лишь о том, что было ему любо слушать, выхваливал каждого, да только не самого себя, и напускал на себя такое смирение, как если бы никогда не был обуян гордыней, хотя и знал, что на войне это не бесчестие. Поелику приобрел я себе таким образом общее благоволение и всяк судил обо мне весьма высоко, то я и не помышлял, что мне может приключиться какое-либо несчастие, особливо же потому, что мой кошелек был набит еще довольно туго.

Я часто посещал жившего в том городе престарелого священника, который щедро ссужал меня книгами из своей библиотеки, а когда я возвращал их, то вел со мною собеседования о многоразличных вещах; и мы так хорошо сошлись, что с большою охотою толковали друг с другом. А когда не только прошло время

мартынова гуся и супа с колбасой, но и миновало рождество, то преподнес я ему на Новый год бутылку страсбургской водки, которую он охотно потягивал по вестфальскому обычаю с леденцами, и, явившись к нему, застал его как раз за чтением моего «Иосифа», переданного ему моим хозяином без моего ведома. Я побледнел от мысли, что столь ученый муж заполучил в свои руки мое сочинение, особливо же потому, что, как полагают, лучше всего можно узнать человека по его почерку, он же пригласил меня подсесть к нему и с похвалою отозвался о моей инвенции, однако ж похулил за то, что я столь пространно описываю любовные ухищрения Зелихи (коя была женою Потифара). «Чем сердце полно, то и льется через уста,— сказал он далее,— когда бы молодой господин сам не знал, что творится на душе у распутника, то не мог бы описать или представить нашему взору любовную страсть сей женщины». Я отвечал, что все написанное придумано не мною самим, а взято от скуки из других книг, из коих я и составил подобные экстракты ради упражнения в письме. «Так, так,— сказал он,— сему я охотно верю (scil.), но пусть он не сомневается, что я о нем больше знаю, нежели он воображает!» Услышав такие слова, я испугался и подумал: «Уж не святой ли Фельтен тебе это открыл?», и так как он приметил, что я изменился в лице, то продолжал вести свои речи: «Господин свеж и молод, он красив и празден, живет без забот и, как я слышал, во всяческой роскоши; того ради прошу и предостерегаю его именем Вышнего помыслить, в каком опасном он сейчас положении; и ежели он заботится о своем счастии и вечном спасении, то да остережется опасного зверя в юбке. Правда, господин может рассудить: «Какое дело этому попу, что я творю и как поступаю (а я как раз подумал: «Да, ты угадал!»), или как смеет он мне что-либо указывать?» То правда, но ведь я пастырь духовный! И я могу уверить господина и моего благодетеля, что мне, по христианской любви и милосердию, столь же дорого его временное благополучие, как если бы он был собственным моим сыном. Достойно жалости, и ты не сможешь держать ответ перед отцом небесным, отцом в Вечности, почто напрасно зарыл в землю талант свой, который он даровал тебе, и повредил благородный ingenium [1], который узрел я в сем сочинении. И мой неотложный и отеческий совет тебе: приложи свою юность и свои средства к учению, дабы рано или поздно они послужили богу, людям и тебе самому, оставь военные дела, к коим, как довелось мне слышать, ты приобрел большую охоту, покуда не получишь нечаянно шлепка от Фортуны и на тебе не сбудется пословица: «С молоду солдат, под старость нищий». Я слушал сию сентенцию

[1] дарование *(лат.)*.

с превеликим нетерпением, ибо не привык внимать подобным речам, однако ж повел себя совсем иначе, чем было у меня на сердце, чтобы не потерять своей славы учтивого кавалера, каким меня почитали; посему возблагодарил его за чистосердечие и обещал поразмыслить обо всем, что он мне присоветовал, сам же подумал про себя, словно малый у золотаря, что б там ни наговорил поп, как мне устроить свою жизнь, ибо я в то время превознесся весьма высоко и вовсе не был расположен отказываться от изведанных мною любовных утех. И вот не иначе случается со всеми подобными предостережениями, когда юность отвыкает от узды и шпор добродетели и во весь опор скачет навстречу своей погибели.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций попу насказал всяких врак,
А сам потихоньку смеется в кулак.

Я еще не совсем погряз в чувственных удовольствиях и не так вздурился, чтобы не стараться сохранить дружбу с каждым человеком, покуда намеревался пробыть в сказанной крепости, а именно до конца зимы. Точно так же я хорошо разумел, сколько дерьма навалится на того, кто навлечет на себя ненависть духовенства, которое у всех народов, какой бы они ни были религии, пользуется немалым кредитом; того ради я навострил уши и на следующий же день отправился по свежим следам к помянутому священнику и налгал ему с три короба, да все ученными словами, каким родом решил я последовать по его стопам, чему он, как я мог заключить по его мине, от всего сердца возрадовался. «Вот,— сказал я,— мне доселе, также и в Зусте, ничего так недоставало, как такого небесного советчика, какого я повстречал в лице моего высокоученого господина. Когда б поскорее кончилась зима или погода стала благоприятней, чтобы я мог отсюда уехать!» Просил его также и в дальнейшем споспешествовать мне добрым советом, в какую мне направиться академию. Он отвечал, что касается его, то он обучался в Лейдене, мне же хочет присоветовать Женеву, ибо у меня верхненемецкое произношение. «Иисус-Мария! — вскричал я.— Да Женева дальше от моей родины, нежели Лейден!» — «Что я слышу? — воскликнул он с превеликим изумлением.— Я неотменно примечаю, что вы, сударь, оказывается, папист! Бог ты мой, сколь жестоко был я обманут!» — «Как так, как так, господин священник? — спросил я.— Неужто я сделался папистом, оттого что не захотел поехать в Женеву?» — «О нет! — ответствовал он.— Я заключил сие потому, что ты призвал имя Мариам».

Я сказал: «А разве не подобает христианину произносить имя матери нашего спасителя?» — «Всеконечно,— ответил он,— но я увещеваю и прошу тебя, ради всего святого, сказать правду перед лицом Всевышнего и открыть мне, какой ты держишься веры. Весьма сомневаюсь, что ты следуешь святому Евангелию (хотя и видел тебя каждое воскресенье у себя в церкви), ибо в прошедший праздник рождества Христова ты не подходил к престолу господнему ни у нас, ни у лютеран». Я отвечал: «Господин священник, да будет вам ведомо, что я христианин, и когда не был бы им, то не стал бы так часто слушать проповедь и присутствовать на богослужении; в прочем же признаю, что я не следую ни Петру, ни Павлу, а верую по своей простоте, согласно двенадцати правилам всеобщей христианской веры, и не склонен всецело прилепиться к одному толку, покамест те или другие с помощью надежных аргументов не убедят меня, что только они одни перед прочими исповедуют правую, истинную и спасительную религию».— «Теперь-то,— сказал он,— я убедился, что у тебя храброе солдатское сердце, чтоб со всей отвагой лезть в пекло, ибо ты осмеливаешься жить без религии и богослужения, уповая на старого императора, закинув в шанцы свое вечное блаженство! Боже мой! Как может смертный, которого ожидает либо осуждение, либо вечное блаженство, оказывать себя столь дерзким? Разве господин взращен в Ганау и нигде не получил христианского наставления? Поведай мне, чего ради не последовал ты по стопам своих родителей в чистой христианской религии? Или чего ради не склонился к той или другой вере, коей основания с такой непреложной очевидностью покоятся на началах натуры и Священного писания, так что ни папист, ни лютеранин за целую вечность не смогут ее поколебать?» Я отвечал: «Господин священник! То же самое объявляют и все другие о своей религии; кому же надлежит мне верить? Или господин полагает, что это сущая безделица, если я доверяю свое вечное спасение одному толку, который бесчестит оба других и обвиняет их в лжеучении? Пусть взглянет он (но только моими беспристрастными очами), что издают в свет в публичном тиснении Конрад Феттер и Иоганн Наз против Лютера и, напротив того, Лютер и его присные против папы, особливо же что пишет Шпангенберг против Франциска, коего несколько сот лет кряду почитали святым и благочестивым мужем. Какой же стороне должен я отдать предпочтение, когда каждая поносит другую, да так, что ни на волос не обретет в ней ничего доброго? Или господин священник полагает, что я худо поступаю, отложив о сем попечение до той поры, когда приду в совершенный разум и смогу отличить черное от белого? Должен ли мне кто-либо советовать плюхнуться туда с размаху, словно муха в горячую кашу? Э, нет! Чаятельно, сие господин

священник мне по совести не присоветует. Необходимо заключить, что одна религия истинная, а две другие ложные; но должен ли я без зрелого размышления признать одну из них правильной, ведь таким образом я могу неправую веру получить заместо истинной, о чем потом буду сокрушаться в вечности. Да я скорее останусь на распутье, нежели вступлю на неправую стезю; к тому же немало есть еще церквей в одной только Европе, как-то: армянская, коптская, греческая, грузинская и другие подобные, и бог весть, какой именно я последую, так что я еще принужден буду вкупе с моими единоверцами диспутировать со всеми прочими. А ежели только господин священник захочет стать моим Ананием, то я с превеликой благодарностью ему последую и приму религию, которую он сам исповедует».

На сие он сказал: «Господин жестоко заблуждается и весьма приблизился к душевной своей погибели; но я уповаю на господа, что он просветит его своим светом и извлечет из трясины; для того намерен я утвердить перед ним наше исповедание веры, покоящееся на Святом писании, так что и врата ада не одолеют ее». Я сказал, что сие отвечало бы сокровенному моему желанию, про себя же помыслил: «Когда бы ты не укорял меня больше моими любушками, то я вполне согласился бы с твоей религией». Посему читатель заключить может, каким был тогда я безбожным и злым малым, ибо доставил доброму священнику много напрасного труда затем только, чтобы он не мешал мне продолжать беспутную жизнь, помышляя притом: «Покуда ты управишься со своими доводами, я, чего доброго, уже уберусь ко всем чертям!»

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплиций торчит под окошком светлицы,
В ловушку попал из-за этой девицы.

Насупротив моей квартиры жил подполковник, ожидавший себе должности; у него была дочь чрезвычайной красоты, которая поступала во всем совершенно по-благородному. Я охотно свел бы с ней знакомство, невзирая на то что поначалу она не показалась мне такой, чтобы я мог полюбить ее одну и сочетаться с ней навеки; все же я частенько прогуливался у нее под окнами и еще чаще бросал на нее ласковые взоры; однако она находилась под столь надежной охраной, что мне, как я того желал, ни разу не удалось заговорить с нею, также не смел я бессовестно вломиться к ним в дом, ибо не был знаком с ее родителями, а сие место для малого столь низкого происхождения, которое я знал за собой, казалось

слишком высоким. Скорее всего мог я подбиться к ней при входе или выходе из церкви; тут я так наловчился примечать удобное время, что нередко мог приблизиться к ней, испуская нежные вздохи, на что я был мастер, хотя и шли они от неверного сердца. Она встречала их с такою холодностию, что я должен был вообразить, что ее не так-то легко ввести в соблазн, как дочек худородных горожан; и когда я думал о том, с каким превеликим трудом она мне достанется, то сие еще более распаляло мои желания.

Моя звезда, которая впервые привела меня к ней, была той же самой, какую носили в то время года повсюду школяры, знаменуя приснопамятный день, когда три волхва, ведомые подобным светилом, пришли в Вифлеем, что поначалу почел я добрым предзнаменованием, ибо она горела в покоях помянутой девицы, когда ее отец сам послал за мною. «Monsieur,— сказал он мне,— нейтралитет, который вы соблюдаете между солдатами и бюргерами, послужил причиною тому, что я пригласил вас к себе, так как я собираюсь уладить тут одно дело между обеими сторонами, для чего надобен беспристрастный свидетель». Я полагал, что он замышляет учинить что-то чрезвычайно важное, ибо на столе были письменный прибор и бумага, того ради всеусерднейше предложил ему свои услуги в любом честном предприятии с присовокуплением особливого комплимента, что я именно почту для себя превеликой честью, когда мне выпадет счастье сослужить ему службу. Однако ж это было не что иное, как устройство «Царства» (как то во многих местах в обычае), ибо как раз наступил день трех волхвов, притом надлежало мне наблюдать за порядком и раздавать по жребию должности, невзирая на то, какой персоне они достанутся. К сему делу, к которому был также приставлен секретарь коменданта, велел помянутый подполковник доставить вина и конфект, ибо он был изрядный запивоха, да и время уже было послеужинное. Секретарь писал жеребья, я выкликал имена, а вкоренившаяся в мое сердце девица тащила цидулки, родители же взирали на все это; мне неохота обстоятельно рассказывать, как все пошло и я все-таки свел тогда знакомство с этим семейством. Они посетовали на долгие зимние ночи и дали мне уразуметь, что я, дабы лучше их скоротать, мог бы завернуть к ним на огонек, ибо без того у них не столь уж много дела. А это было как раз то, чего я давным-давно желал.

С того самого вечера (хотя я лишь совсем мало узнал эту девицу) зачал я снова гоняться с клейким прутом за перепелкой и балансировать на дурацком канате, так что и сама девица, и ее родители должны были вообразить, что я клюнул на приманку, хотя я и наполовину не вытворял того всерьез, а старался лишь о том, чтобы сыграть свадебку, оставаясь холостым. К ночи, когда

я собирался идти к ней, я всегда начищал себя, как ведьма, а днем возился с любовными книжками (бреднями), составляя по ним нежные письма к своей возлюбленной, как если бы жил от нее за сто миль или не встречался с нею много лет кряду. Под конец повел я себя там совсем запросто, ибо родители ее не особенно препятствовали мне волочиться, а еще и упрашивали меня обучить их дочь играть на лютне. Тут я получил свободный доступ в ее покои как днем, так и по вечерам, так что перекроил на новый лад свои старые вирши:

Я да летучая мышь
Любим ночную тишь,—

сочинив песенку, в коей прославлял свое счастье, даровавшее мне не только несколько приятных вечеров, но и отрадные дни, когда я в присутствии возлюбленной могу усладить очи и отчасти доставить утешение сердцу. Напротив, в той же песне сетовал я на свое несчастье, которое наполняет горечью мои ночи и не дозволяет проводить их, так же как и дни, в любовных забавах! И хотя это было несколько вольно, я все же напевал моей милой сию песенку, сопровождая ее нежными вздохами и дразнящей мелодией, чему отлично пособляла лютня, и неотступно умолял девицу, дабы и она споспешествовала тому, чтобы я мог проводить ночи столь же счастливо, как и дни. Однако ж я получил довольно твердый отказ, ибо она была остра разумом и могла отменно вежливо отвратить все хитрости, какие только я употреблял иногда с немалой учтивостью. Я решил на будущее держать ухо востро, чтобы не заикнуться о свадьбе, и так как о том уже заходила речь, то я все свои слова держал на привязи. Сие скоро приметила замужняя сестра моей девицы и посему стала чинить мне и моей милой всяческие помехи, чтобы мы больше не оставались вдвоем так часто, как бывало, ибо она хорошо видела, что ее сестра возлюбила меня всем сердцем и что таковое дело рано или поздно добром не кончится.

Нет нужды обстоятельно описывать все сумасбродства, коим предавался я, волочась за той девицей, ибо подобными дурачествами полны все любовные сочинения. Довольно, ежели благосклонный читатель узнает, что сперва я достиг того, что поцеловал мое нещечко, а под конец осмелился и на различные другие дурачества; сие желанное продолжение моего благополучия сопровождал я всевозможными приятностями до тех пор, покуда моя возлюбленная не впустила меня к себе ночью и я славно устроился в ее постельке, как будто век к ней принадлежал. И понеже всяк знает, как и что ведется при таких приключениях, то читатель, чего доброго, вообразить может, что я учинил что-нибудь неподобающее!

Ан нет! Я хотя и отлично знал, зачем пожаловал, ибо мне было не впервой подобным образом попадать к женщинам, да и ведал, что и где надлежит искать, но все было попусту, все мои любовные ухищрения тщетны и все мои обещания напрасны. И я встретил такой отпор, какого никогда не мог ожидать от женщины, ибо все ее помыслы были устремлены на сохранение чести и честное замужество, и, хотя я самыми ужасными клятвами обещал ей жениться, она не захотела меня допустить к себе прежде брачного сочетания; однако же дозволила мне остаться лежать рядом с нею в постели, где я, совершенно измученный такою досадою, под конец тихо заснул. Но меня ожидало весьма неспокойное пробуждение, ибо в четыре часа поутру возле постели уже стоял подполковник с пистолетом в одной руке и факелом в другой. «Кроат! — закричал он во весь голос своему слуге, который также стоял рядом с обнаженною саблею.— Скорее, кроат, зови сюда попа!», от какового крика я и пробудился и тотчас приметил, в какой нахожусь опасности. «Горе мне! — подумал я.— Тебе надлежит исповедаться, прежде чем он тебя прикончит!» У меня поплыли желтые и зеленые круги перед глазами, и я не знал, открыть ли мне их пошире или закрыть вовсе. «Беспутный вертопрах! — сказал он, обращаясь ко мне.— Должен ли был я накрыть тебя за таким делом, когда ты бесчестишь мой дом? Буду ли я неправ, ежели сверну шею тебе и этой потаскухе, которая легла с тобою? Ах ты, скотина! Да могу ли я удержать себя от того, чтобы тотчас же не вырвать у тебя сердце и, изрубив его на мелкие куски, не бросить собакам?» При этом он скрежетал зубами и закашивал глаза, как неразумный зверь. Я же не знал, что сказать, а моя сопостельница, которую он также прежестоко честил, могла только плакать. Под конец, когда я немного очнулся и только хотел заикнуться о нашей невинности, как он приказал мне держать язык за зубами и не захотел услышать ни слова; итак, принужден я был молчать и предоставил вести речь ему одному, понеже он снова набросился на меня с упреками, что он мне во всем доверился, я же, напротив, поступил с величайшим вероломством, какое только мыслимо на свете. Меж тем прибежала и его жена, которая завела новехонькую проповедь, да так, что лучше бы мне лежать в терновнике; и я полагаю, она не кончила бы и через два часа, ежели бы кроат не привел священника.

Прежде чем пришел священник, я несколько раз норовил подняться, но подполковник с грозною миною заставлял меня оставаться в постели, так что мне довелось узнать, как уходит душа в пятки, когда поймают малого за неладным делом, и каково на сердце у вора, когда его схватят в чужом доме, хотя бы ему еще ни разу не довелось ничего украсть. И я вспомнил разлюбезное вре-

мечко, когда мне повстречался подполковник с двумя подобными кроатами и как я погнал их всех трех, теперь же лежал я, как и все прочие увальни, и не хватало у меня мужества пошевелить языком, не то что там кулаками. «Взгляните, господин священник! — сказал подполковник.— Вот славное позорище, к коему пригласил я вас быть свидетелем моего бесчестья!» И едва успел он толком выговорить сии слова, как снова принялся бушевать и неистовствовать, так что я только и слышал, как сворачивают шею и купают руки в крови. У него пена била изо рта, словно у кабана, так что, казалось, он вовсе повредился в уме, и я каждую минуту ожидал: «Ну, вот теперь он всадит тебе пулю в башку!» Священник же всеми правдами уверял, что не стряслось такой смертельной беды, о чем пришлось бы потом сокрушаться. «Что ж? — сказал он.— Да обратится господин подполковник к своему светлому разуму и вспомнит пословицу: «Что б ни случилось — поминай добром!» Сия прекрасная юная чета, равную коей едва ли сыщешь по всей стране, не первая и не последняя подпала непреодолимой силе любви; ошибка, которую они совершили, ибо это не что иное, как ошибка, может быть ими же с легкостью исправлена. Правда, я не считаю похвальным таким образом справлять свадьбу, однако же сия юная чета не заслужила таким поступком ни виселицы, ни четвертования, и господин подполковник не должен ожидать от этого какого-либо себе бесчестья, когда он свершенный уже поступок (о коем еще никто не знает) сохранит в тайне, простит и даст согласие сочетать их браком, скрепив его обычным порядком в церкви».— «Что? — закричал он.— Так я еще должен вместо заслуженной кары задать им свадебный пир и оказать превеликую честь? Да я, прежде чем займется день, прикажу лучше связать их обоих и утопить в Липпе! Вы должны в сей же миг сочетать их браком, понеже я того ради и посылал за вами, или я их обоих передушу, как цыплят!»

Я помыслил: «Ну, что тут поделаешь? Вот что называется «пташка пой, а то голову долой!», к тому же она такая девушка, которой тебе не следует стыдиться, а когда ты оглянешься на свое происхождение, то увидишь, что едва достоин сесть там, где она ставит свои башмаки». Все же я клялся всеми клятвами и свято уверял, что мы не учинили ничего бесчестного. Но мне ответили, что нам надобно помалкивать, дабы не могли нас заподозрить в чем-либо дурном, а такими речами мы никого не разуверим. Засим, сидючи в постели, мы сочетались браком, совершенным сказанным священником, и, как только сие произошло, принуждены были встать и покинуть дом. В дверях подполковник объявил мне и дочери, чтобы мы во веки вечные не смели показываться ему на глаза. Я же, когда опамятовался и навесил саблю, ответил словно

в шутку: «Не знаю, господин тесть, чего ради устроил ты все так безрассудно; когда другие молодожены справляют свадьбу, то ближайшие родственники провожают их в опочивальню, он же не только прогоняет меня с постели, но еще и навсегда из дому и, заместо того чтобы пожелать мне в супружестве счастья, не хочет осчастливить меня тем, чтобы я мог взирать на своего тестя и служить ему. Поистине, коли такой обычай войдет в моду, то от таких свадеб во всем свете немного поведется дружбы».

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплиций болтает о свадьбе своей,
Каких ни назвал на нее он гостей.

Все люди, жившие со мною под одним кровом, когда я привел домой эту девицу, пришли в удивление, которое еще умножилось, когда они увидели, как она безо всякой робости пошла со мной спать. И хотя шутка, которую надо мной сшутили, и наполнила ум мой досадными бреднями, все же я не был так глуп, чтобы уничижать свою невесту. Правда, я заполучил возлюбленную в свои руки, но тысячи разных мыслей теснились в голове, когда я прикидывал все барыши и убытки. То я рассужу: «Ну, поделом тебе!», а то подумаю, что мне нанесена наигоршая во всем свете обида, которую я не могу снести с честью без справедливого отомщения. А когда я вспоминал, что эта месть должна обратиться против моего тестя, а следовательно, и против моей непорочной и благонравной возлюбленной, то все мои мстительные помыслы разлетались в прах. И я так стыдился, что принял намерение затвориться и не показываться никому на глаза; признаю, однако, что тогда-то я и совершил бы самую большую глупость. Под конец я решил во что бы то ни стало вновь приобрести расположение моего тестя, в прочем же казать перед всеми такой вид, как будто бы со мной не приключилось никакой беды, и все хорошенько приготовить к свадьбе. Я сказал самому себе: «Понеже все сталось и получило свое начало самым странным и диковинным образом, то и тебе подобает устроить все на такой же лад. А ежели люди узнают, что ты досадуешь на свою женитьбу и тебя сочетали браком против твоей воли, словно бедную девицу со старым богатым хрычом, то заслужишь ты только насмешку».

С такими мыслями встал я рано поутру, хотя всегда был охотник понежиться в постели. Первым делом послал я за своим свояком, мужем сестры моей жены, коротко объявил ему, в каком мы теперь близком родстве, присовокупив просьбу, не соизволит ли он

прислать свою милую кое в чем пособить на кухне, чтобы приготовить угощение к моей свадьбе, а сам он не соблаговолит ли умилостивить нашего тестя и тещу, я же тем временем пойду созывать гостей, которые и водворят между нами окончательный мир. Он с полной готовностию и охотою согласился все сие исправить, а я побрел к коменданту. Ему я представил все в забавном и затейливом виде, какая нами, мной и моим тестем, заведена новая мода справлять свадьбы таким родом, где все идет столь проворно, что за один час свершится обручение, путь в церковь и бракосочетание; но поелику мой тесть поскупился на утреннюю похлебку для молодых, то я вознамерился заместо нее угостить всех честных людей на ужин свиным супом, к коему нижайше прошу его пожаловать. Комендант чуть не лопнул со смеху от столь веселого доклада; и когда я увидел, что пришел в надлежащее расположение духа, то еще больше приоткрыл завесу и стал приводить в извинение, что еще, должно быть, не совсем хорошо соображаю, ибо другие новобрачные четыре недели до и после свадьбы бывают не в полном уме; но по правде, у других-то новобрачных четыре недели времени, когда они могут неприметно выпустить наружу всю свою дурость и таким образом изрядно скрыть оскудение своего ума, мне же, на кого все сватовство свалилось нежданно-негаданно, придется выкинуть не одно дурачество, дабы потом тем благоразумнее жить в супружестве. Тогда он спросил меня, а как обстоит дело с брачным контрактом и сколько мой тесть отвалил мне на свадьбу рыжичков, коих у старого скупердяя водится немало. Я отвечал, что весь наш брачный договор состоял из одного-единственного пункта, который гласил, чтобы я и его дочь вовеки не смели больше показываться ему на глаза; но понеже ни нотариуса, ни свидетелей при этом не было, то я надеюсь, что он возьмет сей договор обратно, особливо же принимая во внимание, что все браки учреждены для распространения дружбы, а то получилось бы, что он отдал свою дочь в замужество, подобно Пифагору, чему я никогда не поверю, ибо по совести я его ничем не оскорбил.

Подобными шутливыми речами, каких от меня в здешних местах не слыхивали, достиг я того, что комендант пообещал прийти ко мне отведать свиного супа вместе с моим тестем, которого он хотел уломать. Он также, не мешкая, послал ко мне на кухню бочку превосходного вина и целого оленя; я же велел так все приготовить, как если бы надлежало потчевать целое скопище князей, графов и других высоких знатных персон, созвал также изрядную компанию, которая не только знатно повеселилась, но и прежде всего помирила моего тестя и тещу со мною и их дочерью, да так, что они нажелали нам куда больше счастья, нежели прошлой

ночью надавали проклятий. А по всему городу распустили слух, что наше бракосочетание было нарочито совершено на некий чужеземный лад, дабы злые люди не могли напустить на нас порчу. Мне же скоропостижная сия свадебка пошла на пользу, ибо доведись мне жениться и получить оглашение с кафедры, как то во всеобщем обычае, то уж, наверно, сыскались бы такие неугомонные потаскушки, которые сумели бы подстроить мне всякие каверзы и препятствия; ибо у меня среди бюргерских дочек водилось с полдюжины таких, которые были знакомы со мною более чем коротко, так что теперь все они остались на бобах.

Назавтра тесть мой держал стол для свадебных гостей, однако ж далеко не такой богатый, как у меня, ибо он был скупенек; тут со мной повели речи, каким-де я занят ремеслом и какое намерен повести хозяйство. Тут я впервые уразумел, что потерял свою благородную свободу и стал подневольным. Я оказал послушание и как разумный кавалер пожелал сперва выслушать добрый совет любезного моего тестя и ему во всем последовать, каковой мой ответ весьма одобрил комендант, сказавший: «Понеже он еще молодой новоиспеченный солдат, то было бы немалой глупостью, когда бы он при теперешних военных обстоятельствах взялся бы за иное какое ремесло, кроме солдатской службы; куда сподручней поставить свою лошадь в чужое стойло, нежели в своем собственном кормить чужую. Что ж до меня надлежит, то я вручу ему прапор, когда он того пожелает». Мой тесть и я поблагодарили коменданта, и я уж больше не отказывался наотрез, как прежде, однако ж предъявил ему расписку кельнского купца, который взял на хранение мой клад. «Вот что,— сказал я,— надобно мне получить прежде, чем я вступлю в шведскую службу, ибо как только проведают, что я перешел к противнику, то в Кельне мне тотчас покажут кукиш и заграбастают мое добро, которое так просто на дороге не сыщешь». Они оба со мной согласились, и мы все втроем уговорились, условились и порешили, что в ближайшие же дни я отправлюсь в Кельн, заберу там свое добро, а затем вернусь в крепость и получу прапор; присем был назначен и день, когда моему тестю будет передана под команду рота вместе с должностью подполковника в полку у нашего коменданта, а поелику граф фон Гёц обретался в то время с большим имперским войском в Вестфалии и расположил свою квартиру в Дортмунде, то комендант полагал, что предстоящей весной начнется осада, и посему старался приобрести себе надежных солдат, хотя его забота была напрасной, ибо помянутый граф фон Гёц (понеже Иоганн де Верд был разбит в Брисгау) принужден был тою же весною оставить Вестфалию и на Верхнем Рейне у Брейзаха снова тревожить князя Веймарского.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Симплиций, женившись, решает дельно
Деньги забрать, что положены в Кельне.

Всему своя участь: к одному злосчастие приходит исподволь и помаленьку, а на другого сваливается разом; мое ж получило сладостное и приятное начало, так что я и не помышлял ни о каком злополучии и почитал его величайшим своим счастием. Едва миновала неделя, которую провел я в супружестве с моею милою женою, как я, обрядившись в егерское платье и взвалив мушкет на плечи, простился с нею и ее друзьями, дабы отправиться за всем тем, что оставил на хранение в Кельне. Я благополучно пробрался туда, ибо все дороги были мне хорошо знаемы, так что в пути не повстречал никакой опасности, и мне даже не попался ни один человек, покуда не вышел я к заставе у Дютца, что расположен на правой стороне насупротив Кельна. Тут увидел я множество людей, особливо же заприметил одного мужика в одежде рудокопа, который мне неотменно напомнил моего батьку в Шпессерте, а его сына лучше всего было сравнить с Симплицием. Сей мальчишка пас свиней, и когда я хотел пройти мимо, то свинья, почуяв меня, принялась хрюкать, а парнишка ее ругать, чтоб ее разразил гром и молния и «сам черт тому пособил». Услышав такие слова, служанка принялась кричать на малого, чтоб он унялся, или она нажалуется отцу. На что мальчишка ей ответил, пусть она ему оближет задницу и «понудит к тому свою матушку». Мужик, также услышавший ругань своего сына, выскочил из дома с дубиной и заорал: «Постой, окаянный пострел, ужо я тебя отважу от божбы, разрази тебя гром да подери тебя черт!», и, схватив его за шиворот, стал дубасить, как медведя на ярмарке, приговаривая с каждым ударом: «Ах ты, бездельник! Я те поучу ругаться, черт тебя задери; я те покажу, как лижут задницу, я те поучу пудить твою мать» и т. д. Сие воспитание, естественно, напомнило мне меня самого и моего батьку, и все же я не был столь честен и благочестив, чтобы возблагодарить бога за то, что он исторг меня из толикой темноты и невежества и привел меня к лучшей науке и познанию; чего же ради счастие, кое он ниспосылал каждый день, должно было и впредь пребывать со мною? Когда я пришел в Кельн, то завернул к Юпитеру, который был тогда в совершенном чувстве и разуме. Когда же я объявил ему по тайности, зачем я сюда приехал, он тотчас же сказал, что я намерен молотить пустую солому, ибо купец, коему я вверил свое имение, обанкрутился и утек; правда, мои вещи опечатаны магистратом, а купца велено доставить обратно, но весьма сомнительно, чтоб он воротил-

ся, ибо все лучшее, что можно было унести, он забрал с собою, а покуда разберут дело, много воды утечет в Рейне. Сколь приятна мне была сия ведомость, всякий с легкостью рассудить может; я ругался похлеще ломового извозчика, да что толку? Вещей-то у меня не было, а сверх того никакой надежды получить их обратно. Вдобавок взял я с собою на пропитание не более десяти талеров, так что не мог прожить там так долго, сколько было надобно. А сверх того еще была немалая опасность там замешкаться, ибо мне следовало остерегаться, что меня выследят, так как я пристал к вражескому гарнизону, и я не только лишился бы своего имения, но еще и попал бы в немалую беду; а возвращаться ни с чем, оставив на произвол судьбы свое имение, и понапрасну сновать взад-вперед также казалось мне бесполезным, даже смешным. Под конец решил я оставаться в Кельне до тех пор, покуда не разберут дело, и известить мою милую о причине моего отсутствия; засим отправился я к стряпчему, который был нотариусом, и, поведав ему свое дело, просил по его должности пособить мне советом и хлопотами, обещав в случае скорого окончания сверх положенной платы почтить его еще изрядным подарком. А так как он надеялся кое-что из меня выудить, то принял меня с большою охотою, а также договорился, что я буду у него столоваться; на другой день отправился он к тем самым господам, коим поручено было разобрать дело о банкрутстве, вручил им засвидетельствованную копию расписки помянутого купца и представил оригинал, на что получил ответ, что нам надобно обождать до окончательного разбора всего дела, ибо вещи, перечисленные в расписке, не все в наличии.

Итак, я снова приготовился к праздности на все время, покуда не нагляжусь, как и что ведется в больших городах. Мой хозяин, у которого я столовался, был, как сказано, нотариус и стряпчий, а кроме того, держал с полдюжины постояльцев и восемь лошадей на конюшне, которых имел обыкновение сдавать внаем проезжающим, притом были у него в кучерах один немец и один итальянец, которых можно было посылать с повозкой или верхом во все стороны, куда понадобится, словно почтальонов, они же смотрели и за лошадьми, так что сим тройным или четверным ремеслом он не только хорошо зарабатывал на пропитание, но и, нет сомнения, был в больших барышах; и понеже в помянутый город не допускали тогда евреев, то ему тем легче было промышлять всякими нечистыми делами.

В короткое время, какое я провел у него, я многому научился, особливо же распознавать различные болезни, что ведь самое большое искусство для доктора медицины, ибо не зря говорится: «Хорошо распознать болезнь — значит наполовину вылечить паци-

ента». Причиной тому, что я постиг подобную науку, был мой хозяин, ибо, начав с его персоны, я стал взирать на других и примечать их комплекцию. Тут нашел я, что многие смертельно больны, хотя частенько сами не знают о своей болезни, а также и другими людьми, даже самими докторами, почитаются здоровыми. Я узнал людей, кои страждали гневом, и когда этот недуг нападал на них, то кривились в лице, как черти, рычали, как львы, царапались, как кошки, крушили все, как медведи, кусались, как собаки, и дабы представить себя более лютыми, чем бешеные звери, швыряли об землю все, что только подвернется им под руку, словно дурни. Говорят, сия болезнь происходит от желчи, я же полагаю, что она приключается, когда иного дурня одолеет спесь; того ради если услышишь, как бушует гневливый, особливо из-за какой-либо безделицы, то смело заключить можешь, что он более горд, нежели умен. От этой болезни проистекает неисчислимое множество бед как для самого недугующего, так и для других; для больного под конец паралич, подагра и безвременная смерть, если не вечная погибель! И этих больных, хотя они опасно больны, по совести нельзя назвать пациентами, ибо им-то больше всего и недостает patientiae[1]. Иных видел я подверженных зависти, о коей говорят, что она грызет собственное сердце, ибо они всегда бледны и печальны. Сию болезнь почитаю я наиопаснейшею, ибо она ведет свое начало от дьявола, хотя и возникает из чистой радости, которая обуревает врага того, кто ею страждет; и ежели кому удастся основательно излечить кого-либо от нее, тот почти вправе похваляться, что возвратил погибшего в христианскую веру, ибо сия болезнь не посещает истинного христианина, который досадует только на грех и порок. Горячность к игре я также почитаю болезнью не потому только, что в самом имени своем она содержит горячку, а потому, что те, кого она обуяет, падки на нее до остервенения. Сия болезнь ведет свое начало от праздности, а не от сребролюбия, как полагают некоторые, а когда ты отнимешь прихоть и праздность, то сия болезнь проходит сама собою. Я нашел, что чревоугодие и пьянство — также особливая болезнь, которая происходит от привычки, а не от роскоши. Бедность, правда, в сем случае пособляет, однако ж вовсе исцелить сей недуг неспособна, ибо я видел нищих обжор и богатых скряг, изнывавших от голода. Эта болезнь носит на своем горбу и лекарство от нее, которое зовется скудостию, ежели не в имении, то в остальном телесном здравии, так что под конец пациенты сами собою выздоравливают, когда, либо обеднев, либо занедужив, уже не смогут больше обжираться. Спесь почитаю я особливым родом

[1] терпения *(лат.)*.

фантазии, коя берет начало в невежестве; ибо когда кто познает самого себя и ведает, откуда он пришел и куда отыдет, то совсем невозможно, чтобы он сделался таким надутым дурнем. Когда я вижу павлина или индюка, который распустил хвост и притом еще и клохчет, то меня разбирает смех, что сии неразумные твари столь искусно насмехаются над бедными людьми, обретающимися в такой болезни. Я не мог сыскать никакого особливого лекарства против сего недуга, ибо тех, кто от него страждет, нельзя иначе лечить, как только прописав им смирение, подобно как и другим дурням. Я нашел также, что и смех — это болезнь, ибо от него умер Филемон; да и Демокрит был им заражен до самой смерти. Также по сей день еще говорят наши женщины, что вот-вот помрут со смеху! Сказывают, что он рождается в печени, однако ж я скорее поверю, что он происходит от чрезвычайной дурости, поелику изобильный смех обличает неразумного мужа. Бесполезно и не стоит труда назначать лекарство против этой болезни, ибо это не только веселый недуг, но и проходит у многих раньше, чем надоест. Не менее того приметил я, что и любопытство — это болезнь, едва ли не прирожденная женскому полу; и хотя кажется ничтожной, однако же, по правде, весьма опасна, ибо мы все еще искупаем любопытство нашей праматери. Обо всех же прочих, как-то: лености, мстительности, ревности, своеволии, любострастии и других подобных недугах и пороках я на сей раз умолчу, а возвращуся снова к моему хозяину, который и подал мне причину поразмыслить о сих прегрешениях. Он был одержим скупостью и скряга до мозга костей.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Симплициус ловит зайца на рынке,
Домой отсылает в хозяйской корзинке.

Сей, как о том было уже объявлено, сколачивал деньги различными промыслами; он никогда не разделял трапезы с постояльцами и никогда не приглашал их к своему столу; и он мог бы до отвала есть сам и питать своих челядинцев на то, что ему давали, ежели бы старый жмот тратил все на провизию; но он откармливал нас на швабский манер и здорово нагревал руки. Поначалу я столовался не вместе со всеми постояльцами, а с его детьми и челядью, ибо у меня не было довольно денег; там подавали такие тощие блюда, что моему желудку, привыкшему к вестфальской пище, казалось весьма диковинным; нам не доставалось к столу ни единого доброго куска мяса, а только то, что за неделю

перед тем подавали студентам, которые его порядком обглодали, да еще и такое серое от старости, словно праотец Мафусаил. Сверх того жена хозяина (которая сама должна была управляться на кухне, ибо он не подряжал для этого служанки) варила нам черную похлебку и дьявольски ее переперчивала; тут все косточки так чисто обгладывали, что из них тотчас же можно было вытачивать фигуры для шахмат, но и тогда их не выбрасывали, а складывали в назначенный для сего короб, и когда у нашего скряги скопится их довольно, то надлежало еще их изрубить на мелкие куски, чтобы вытопить из них жир до последней капли, и уж не знаю, клали ли потом этот жир в суп или мазали им башмаки. В постные дни, коих было предостаточно,— и все они соблюдались самым торжественным образом, ибо в сем пункте хозяин был весьма добросовестен,— принуждены были мы лакомиться вонючими копчеными селедками, солеными лещами, тухлой треской и другой порченой рыбой, ибо он покупал все самое дешевое и ради этого не ленился таскаться на рынок, где забирал то, что рыбаки намеревались побросать и выкинуть. Хлеб у нас обыкновенно полагался черный и черствый, напитком же служило жиденькое кислое пивцо, от которого у меня начиналась резь в кишках, хотя хозяин и уверял, что то самое лучшее мартовское пиво. Сверх того узнал я от его немецкого кучера, что летом кормят еще хуже, ибо тогда хлеб заплесневелый, мясо полно червей, а на ужин горстка салату. Я спросил, чего же ради торчит он у этого скупердяя, он же отвечал мне, что по большей части проводит время в дороге и потому больше рассчитывает на те деньги, которые ему дают на водку проезжающие, нежели на своего заплесневелого скупердяя. Он не доверяет даже жене и детям спускаться в погреб, ибо и себе самому почти не позволяет выпить каплю вина, одним словом — это такой жадный до денег волк, какого едва ли где сыщешь. То, что мне пока довелось увидеть, еще сущая безделица; когда тут пообживусь, то пойму, что он не постыдится за одного жирного монашка содрать шкуру с осла. Однажды принес он домой шесть фунтов требухи или говяжьих кишок и замкнул в погребе; и, к немалому счастью для его детей, форточка была не закрыта, так что они, навязав вилку на длинную веревку, выудили все по кусочкам и тотчас же с большой поспешностью съели полусырым, сказав потом на кошку. Но наш сквалыга не захотел тому поверить и поднял шум на весь дом, словил кошку, взвесил ее и нашел, что она со всей шкурой и шерстью весит меньше, чем съеденная требуха. Он не только не устыдился такой пустой шутки, но еще и похвалялся своей умной выдумкой, коей научила его скупость. Понеже он поступал с таким бесстыдством, то я не пожелал далее разделять трапезу с его домашними, а за-

хотел сесть за помянутый стол для студентов, сколько бы это ни стоило, однако же мало тем себе помог, ибо все кушанья, которые там подавали, были наполовину сырыми, отчего нашему хозяину была двоякая выгода: во-первых, на дровах, которые он сберегал, и оттого что мы не могли переварить много такой пищи. Сверх того, сдается мне, он считал у нас каждый кусок в глотке и чесал в затылке, когда мы хорошо наедались. Вино у него было порядочно разбавлено и не такого сорта, чтобы споспешествовать пищеварению; сыр, который ставили под конец каждой трапезы, обыкновенно был, как камень, голландское же масло так пересолено, что никто не мог взять ни одного лота на закуску, плоды же подавали и уносили до тех пор, покуда они не размякнут и станут не пригодны в пищу; а когда тот или иной пенял на это, он начинал прежалостную перебранку со своей женой, чтобы мы слышали; тайком же приказывал ей тянуть ту же песню. Впрочем же, в его доме было прибрано и чисто, ибо он не терпел ничего под ногами, ни малейшей соломинки или обрывка бумаги или еще чего-либо, что можно было предать огню, тотчас же подбирал сие сам или относил на кухню со словами: «Из нескольких капелек собирается ручеек», ибо думал: «И зубочисток пучок дает горячий огонек». Золу он собирал куда заботливее, нежели иной — шафран, ибо ухитрялся ее продавать. Однажды поднес ему какой-то клиент в подарок зайца, которого он подвесил в погребе, что я приметил и тотчас подумал: «Ну, вот мы и отведаем дичины»; однако кучер-немец сказал мне, что мы понапрасну точим зубы, ибо хозяин поставил в контракте, что не обязан потчевать своих постояльцев подобными деликатесами; мне только надобно пойти после полудня на рынок и поглядеть, не продает ли он там этого зайца. Засим отрезал я у зайца кусочек уха, и когда мы сидели за обедом, а нашего хозяина с нами не было, то я рассказал, что он собрался продать зайца, а я умыслил провести старого скупердяя, ежели кто-нибудь из них захочет со мною пойти, так что мы не только учиним себе потеху, но и полакомимся зайчатиною. Всяк тут охотно согласился, ибо все они давно хотели подстроить ему какую-нибудь шутку, за которую он не мог бы потянуть к ответу. Итак, пополудни отправились мы к тому месту, где, как научил меня кучер, обыкновенно становится наш хозяин, когда собирается что-нибудь продать, и наблюдает, сколько выручит продавец, дабы не упустить ни одного жирного монашка. Мы узрели его в обществе почтенных людей, с коими он вел дискурс. Я подговорил одного малого, который подошел к торгашу, продававшему зайца, и сказал: «Земляк! А заяц-то мой, и я беру его себе по праву, как украденное у меня добро; нынешней ночью его выудили у меня из окошка, и ежели ты не возвратишь мне зайца по доброй воле,

то я на твой риск и судебные протори пойду с тобою всюду, куда ты пожелаешь». Торгаш отвечал, что он охотно поглядит, что из сего получится, вон там стоит благородный господин, поручивший ему продать зайца, которого он, нет сомнения, не думал красть. Как только эти двое стали препираться, вокруг них собралась толпа, что наш скряга сразу приметил и узнал, с какой стороны загорелось, а посему подмигнул продавцу, чтобы тот отступился от зайца, ибо весьма устыдился и не захотел, чтобы пошла молва, что он продает зайчатину, когда у него столько постояльцев, а к тому же не знал, где взял зайца тот молодец, который ему его преподнес. А малый, которого я подговорил, учтиво показал всем собравшимся кусочек заячьего ушка и приставил к отрезанному месту, так что всяк признал его правоту и присудил ему зайца. Меж тем подошел я со всей компанией, словно мы все очутились там ненароком, и стал торговаться с малым, завладевшим зайцем, и когда мы с ним поладили, то вручил покупку нашему хозяину с просьбой взять ее с собой и приготовить к нашему столу, а малому, которому я поручил это дельце, дал вместо платы за зайца денег на две кружки пива. Итак, принужден был наш скряга противу своей воли угостить нас зайчатиной и не смел даже пикнуть, чему мы немало посмеялись; и ежели я пробыл бы в его доме подольше, то учинил бы там еще немало подобных проделок.

1-я гл. Симплиций в Париж обманом спроважен,
Живет поначалу не в авантаже.

2-я гл. Симплицию новый сыскался патрон,
Советом и делом помог ему он.

3-я гл. Симплиций в Париже средь важных лиц
Игрой на театре пленяет девиц.

4-я гл. Симплиций, что прозван у дам Beau Alman,
Легко поддался на Венерин обман.

5-я гл. Симплиций, неделю забыв все на свете,
Венерину гору покинул в карете.

6-я гл. Симплиций бежит из Франции прочь,
Недобрую хворь он сумел превозмочь.

7-я гл. Симплиций, Фортуну упустив оплошно,
Теряется в мыслях, сколь жить стало тошно.

8-я гл. Симплициус, странник и нищеброд,
Обманом деньги с мужиков дерет.

9-я гл. Симплициус, лекарь, немало болтал,
К имперским солдатам в лапы попал.

10-я гл. Симплиций, свалившись в бурный поток,
Дает добродетели строгой зарок.

11-я гл. Симплиций решает прибегнуть к обману,
Не хочет поверить грехи капеллану.

12-я гл. Симплиций встречает Херцбрудера снова,
Незыблемо дружбы и верности слово.

13-я гл. Симплиций попал в лихую компанью,
О ней повествует со всем стараньем.

14-я гл. Симплиций дерется с разбойником лютым,
Обоим в той схватке приходится круто.

15-я гл. Симплиций, взяв верх, узнает в изумленье,
С кем дрался в лесу он в таком озлобленье.

16-я гл. Симплиций рядится в новое платье,
Ему Оливье набивается в братья.

17-я гл. Симплиций идет с Оливье на добычу,
Не хочет одобрить безбожный обычай.

18-я гл. Симплициус слышит рассказ Оливье,
Как был тот воспитан в купецкой семье.

19-я гл. Симплициус слушает новую повесть,
Как жил Оливье, позабыв честь и совесть.

20-я гл. Симплиций узнал, сколь злые фокусы
Чинил Оливье, стакнувшись с профосом.

21-я гл. Симплициус слышит: Оливье — солдат,
Искусный наездник и тверд, как булат.

22-я гл. Симплиций дивится божьему промыслу,
Устремляет к нему все свои помыслы.

23-я гл. Симплициус зрит: Оливье сколь жесток,
Решает уйти, дай только срок!

24-я гл. Симплиций глядит: Оливье убит,
За лютую смерть люто и мстит.

25-я гл. Симплиций встречает названого брата,
Что нищим скитался в жалких заплатах.

26-я гл. Симплициус слышит про муки и беды,
Какие Херцбрудер в походах изведал.

Schau wie das Diebs
Gespenst allhier
Den frommen Pfarrer
nicht Vexier
Sieh dich für solchen
Teüffeln für

«Симплициссимус». Книга вторая, глава тридцать первая.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплиций в Париж обманом спроважен,
Живет поначалу не в авантаже.

Где чересчур остро, там и зазубрина, а когда перетянешь лук, то под конец он лопнет. Шутки с зайцем, которую я подстроил моему хозяину, показалось мне не довольно, и я учинил еще множество других, чтобы казнить его ненасытную жадность. Я научил своих сотрапезников промывать в воде пересоленное масло и удалять таким путем избыточную соль, жесткий же сыр скоблить, как пармезан, и смачивать вином, чем колол скупердяя в самое сердце. Я вытворял такие кунштюки, что за столом отделял воду от вина и сочинил песенку, в коей сравнивал скрягу со свиньей, от которой нельзя ждать проку до тех пор, покуда мясник ее не освежует. Сие пел я в сопровождении лютни и допелся до того, что подал ему повод живо отплатить мне нижеследующим коварством, ибо я вовсе не был приглашен в его дом для подобных упражнений.

Двое благородных юношей получили от своих родителей вексель и приказание отправиться во Францию, дабы научиться тамошнему языку, как раз в то время, когда кучер-немец был где-то в дороге, а итальянцу хозяин, как он утверждал, не мог доверить лошадей до Франции, ибо он его еще хорошенько не знает, и опасался, как он сказывал, что тот забудет воротиться назад и он лишится своих лошадей; того ради попросил он меня, не соблаговолю ли я оказать ему превеликую услугу и не довезу ли я на его лошадях обоих дворянчиков в Париж, ибо и без того мои дела еще не будут решены за эти четыре недели, он же, напротив того, будет со всем тщанием и верностью вести все хлопоты, на которые я его полностию уполномочил, как если бы я сам тут присутствовал. Также и дворянчики просили меня об этом, да и собственное мое любопытство подстрекало меня повидать Францию,

ибо теперь я мог бы совершить сие без особливых расходов, вместо того чтоб четыре недели кряду отлеживать бока и еще вдобавок проедать свои денежки. Итак, отправился я с этими благородными господами заместо почтальона, во время какового путешествия мне не повстречалось ничего примечательного или достойного описания. Когда же мы прибыли в Париж и завернули к тому банкиру, у коего должны были получить по векселю оба дворянина и с кем вел корреспонденцию наш хозяин, то в тот же день я был не только взят под арест вместе с лошадьми, но еще кредитор объявил, что мой хозяин задолжал ему знатную сумму денег, и с дозволения квартального комиссара отобрал и распродал лошадей, невзирая на все, что я тут только ни говорил. Итак, я сел, как каменный болван, что на мосту в Дрездене, не ведая, чем тут пособить самому себе, а еще того меньше, как пуститься в обратный столь дальний и по тем временам весьма ненадежный путь. Оба дворянина засвидетельствовали мне превеликое свое сожаление в постигшем меня гнусном приключении и тем щедрее дали на водку; также не захотели они меня отпустить от себя, покуда я не сыщу себе хорошего господина или удобный случай возвратиться в Германию. Они наняли себе покои, и я провел с ними несколько дней, прислуживая одному из них, который от непривычки к столь далеким путешествиям слегка занемог. И я ухаживал за ним с такой учтивостью, что он подарил мне свое платье, которое он снял, так как захотел приодеться по новой моде. Они посоветовали мне пробыть год-другой в Париже и научиться языку; то, что мне полагается получить в Кельне, от меня не уйдет, ибо наш прежний хозяин уж не преминет забрать это в свои рачительные руки. Пока я еще сомневался и раздумывал, что мне надлежит предпринять, услышал один медик, который пользовал больного дворянина и всякий день приходил к нам, как я играю на лютне и под ее аккомпанемент пою немецкую песенку, и сие ему так полюбилось, что он предложил мне стол и хорошее жалованье, ежели я только захочу перейти к нему обучать двух его сыновей, ибо он уже лучше меня самого знал все мои обстоятельства и что я никогда не подведу хорошего господина. Итак, мы скоро поладили, понеже и оба дворянина также сие одобрили и дали мне изрядную рекомендацию. Однако ж я условился с ним на срок не далее как от одной четверти года до другой.

Сей доктор говорил по-немецки так же изрядно, как я сам, а по-итальянски, словно то был его родной язык; а посему я тем охотнее с ним сговорился. А когда я на прощанье угощался с моими дворянами, он также был с нами; и тут полезли мне в голову недобрые мысли, ибо представилась моему воображению моя новообрачная, обещанный мне прапор и сокровище в Кельне, все, с

чем я столь легкомысленно дозволил себя разлучить их уговорами; и когда речь зашла о скупости нашего прежнего хозяина, тут взошло мне на ум нечто, и я брякнул за столом: «А кто знает, не умыслил ли наш хозяин отправить меня сюда, чтоб получить и заграбастать мое добро в Кельне!» Доктор же отвечал, что сие может статься, особливо ежели он полагает, что я малый подлого происхождения. «Э, нет,— сказал один из тех дворян,— ежели он послал его сюда затем, чтобы он тут остался, то случилось это лишь оттого, что он чересчур донимал его за скупость». Больной же заметил: «Я полагаю, что тут замешана иная причина. Когда я намедни находился в своей комнате, то наш хозяин начал громко разговаривать с кучером-итальянцем, я же полюбопытствовал, о чем там у них спор, и под конец уразумел из перековерканных речей итальянца, что он просит расчет и не будет больше смотреть за лошадьми, ибо Егерь бесчестил его перед хозяйкой, а ревнивый шут по причине невнятной и дурной речи итальянца понял его превратно и подумал о чем-то бесчестном и того ради стал уговаривать его остаться, так как Егеря он скоро ушлет. С тех пор я отлично приметил, что старый дурень стал коситься на свою жену и ссориться с нею пуще прежнего».

Доктор сказал: «По какой бы там причине сие не случилось, но я вполне допускаю, что все было так заметано, что ты принужден был здесь остаться. Но ты не давай себя сбить с толку: я же при удобном случае пособлю тебе воротиться в Германию; тебе только надобно написать стряпчему, чтобы он хорошенько наблюдал за сокровищем, а не то придется ему держать строгий ответ. И я возымел немалое подозрение, что все это приключение нарочито подстроено, ибо тот, кто объявил себя кредитором, на самом деле добрый приятель твоего хозяина и его здешнего поверенного, и я полагаю, что обязательство, по которому лошади были отобраны и распроданы, ты только теперь сюда привез».

ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплицию новый сыскался патрон,
Советом и делом помог ему он.

Мусье Канар, как звали моего нового господина, вызвался помочь мне советом и делом, чтобы я не лишился своего добра в Кельне, ибо он отлично видел, что я опечалился. Едва поместил он меня в своем доме, как тотчас же приступил ко мне, чтобы я поведал ему все обстоятельства, дабы он мог все основательно уразуметь и решить, как мне лучше всего пособить. Я хорошо

понимал, что немного буду стоить, ежели открою свое происхождение, а посему выдал себя за бедного немецкого дворянина, у которого нет ни отца, ни матери, а лишь несколько родных в крепости, занятой шведским гарнизоном, что я, однако, принужден был утаить как от моего хозяина, так и от обоих дворян, ибо они держали сторону имперских, дабы им не вздумалось захватить мое добро, как вражеское имущество. Я был такого мнения, что мне надобно написать коменданту сказанной крепости, под началом у коего находился полк, где я получил место фендрика, и не только его уведомить, каким образом я был сюда препровожден, но и попросить его, не соизволит ли он получить мое добро и до тех пор, пока я не сыщу случая воротиться в полк, вручить его моим друзьям. Канар рассудил, что мое намерение благоразумно, и обещал доставить мое письмо в назначенное место, будь то хоть в Мексике или в Китае. Засим составил я письма к своей женушке, зятю и полковнику де С. А., коменданту в Л., коему я также адресовал конверт, присовокупив туда и два остальных письма. Содержание их гласило, что я хочу вернуться к своей должности со всею поспешностью, как только получу средства на то, чтобы совершить столь дальнее путешествие, и просил обоих, моего тестя и коменданта, порадеть о том, чтобы посредством военных переговоров вернуть мое имение, прежде чем все дело быльем порастет, присовокупив к тому перечень, сколько там золота, серебра и драгоценностей. Сии письма я написал in duplo; [1] одну часть взялся доставить мусье Канар, а другую я сдал на почту с тем, что ежели одна пропадет, то дойдет другая. Итак, я снова стал беспечален и с большой легкостию давал наставление обоим сыновьям моего господина, которые были воспитаны, как юные принцы; и понеже господин Канар был весьма богат, а также весьма чванлив и всегда был не прочь показать, какой болезнью он заразился у важных господ, то он, почитай, каждый день водил знакомство с князьями и, глядя на них, обезьянил во всем, что подобает одним только могущественным властелинам. Дом свой он содержал не хуже какого-нибудь графа, так что ежели чего там недоставало, так того только, чтобы его величали милостивым государем, а воображение его было столь знатно, что и с неким маркизом, который его иногда посещал, он обходился не иначе, как с равным. Чтобы надлежащим образом пользоваться его лечением, нужно было быть принцем крови или иным каким могущественным князем и домогаться этого не одною только щедростью, но и всем своим авантажем. Он, правда, уделял кое-что из своих средств простолюдинам, но и деньги брал немалые, чаще же всего прощал

[1] с дубликатом *(лат.)*.

то, что оставались ему должны, дабы стяжать тем еще большую славу. Как он умел повсюду поспеть и себя выставить, то его приглашали нарасхват, а посему был он в превеликой чести не только что при королевском дворе и в городе Париже, но и по всей Франции, так что другие медики о нем говаривали, что, ежели он сососкребет с хлеба горелую муку и даст своим пациентам, они больше уверуют в сие средство, нежели если бы они принимали quintam essentiam. Сие приносило ему изрядные доходы, и он проживал их, как богач, в чем я был ему помощником, ибо деньги и всякие припасы валили отовсюду, так что и я мог рядом с ним покрасоваться в окошке своей чумазой рожей. Так как я был весьма любопытен и знал, что он чванится моей особой, когда я наряду с другими слугами следую за ним к больному, а также всегда помогал ему в лаборатории приготовлять лекарство, то я довольно коротко с ним сошелся, ибо он и без того охотно говорил по-немецки; того ради спросил я его однажды, почему он не упоминает в письме при своем имени дворянского поместья, которое он недавно купил себе за 20 000 крон неподалеку от Парижа, item почему он решил своих сыновей поделать докторами и понуждает их так прилежно учиться, заместо того чтобы купить им (раз уж он приобрел дворянство), подобно другим кавалерам, какую-либо должность и тем совершенно утвердиться в благородном звании? «Нет,— отвечал он,— когда я прихожу к какому-нибудь князю, то слышу: «Господин доктор, садитесь!», а дворянину говорят: «Подожди!» Я сказал: «А разве господину доктору не ведомо, что у каждого врача три различных лика: первый ангельский, когда на него взирает страждущий, второй божеский, когда он помогает, и третий дьявольский, когда кто выздоровеет и его выпроваживают? Итак, сия честь длится до тех пор, покуда в нутре у больного гуляет ветер, а когда оные ветры выйдут наружу и прекратятся колики, то приходит конец чести и тогда говорят: «Доктор! Твое место за дверью!» И разве тогда дворянину не больше чести от его стояния, нежели доктору от его сидения, ибо дворянин неотлучно находится подле своего принца и имеет честь никуда от него не отлучаться? Господин доктор намедни взял в рот нечто княжеское, дабы изведать сие на вкус; я же скорее соглашусь десять лет стоять и прислуживать, нежели захочу отведать чужие нечистоты, хотя бы меня усаживали на одни розы». Он отвечал: «Мне не надобно было сие делать, но я сделал это охотно затем, что когда князь увидит, сколь нелегко мне составить верное суждение о его здравии, так его почтение ко мне возрастет еще более. И отчего бы мне не попробовать нечистоты того, кто мне за это даст в вознаграждение несколько сот пистолей, я же, напротив, ему ничего не заплачу, когда он сожрет у меня что-

нибудь почище? Ты судишь о сем, как немец; а когда бы ты принадлежал к другой нации, то я сказал бы, что ты говоришь, как дурак». Я удовольствовался сей сентенцией, ибо приметил, что он готов осерчать, и, дабы снова привесть его в веселое расположение духа, просил его не посетовать на мою простоту, присовокупив к тому различные приятности.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Симплиций в Париже средь важных лиц
Игрой на театре пленяет девиц.

Так как мусье Канару перепадало даже больше, чем иной раз пожирали те, у кого были собственные дачи для охоты, и ему подносили куда больше домашней живности, нежели он мог съесть сам со своими домашними, то каждый день толпилось у него множество объедал, так что там все велось, как будто он держал открытый стол; однажды посетили его королевский церемониймейстер и другие важные при дворе особы, коим он предложил княжескую collationem, ибо хорошо знал, каких надобно заполучить друзей, а именно тех, кои неотлучно состоят при короле или пользуются его милостями. И дабы показать им свое величайшее благоволение и доставить им всяческую приятность, стал он меня упрашивать, не захочу ли я к его чести и удовольствию сего знатного общества усладить слух немецкой песенкой, аккомпанируя ей на лютне. Я охотно согласился, ибо как раз был в надлежащем расположении духа, как то бывает у музыкантов, подверженных самым диковинным фантазиям, а потому потщился позабавить их на славу, и так удовольствовал всех присутствующих, что церемониймейстер сказал, какая жалость, что я не знаю по-французски, а то бы он не преминул доложить обо мне королю и королеве. Мой же господин, обеспокоенный, что меня могут от него сманить, отвечал ему, что я знатного рода и не намерен долго пробыть во Франции, так что будет трудно определить меня музыкантом. На сие церемониймейстер сказал, что за всю жизнь ему еще не довелось повстречать, чтобы в одном лице соединены были столь редкостная красота, столь чистый голос и столь искусная игра на лютне; в скором времени в Лувре в присутствии короля должна быть сыграна комедия, и если бы ему представилась возможность найти мне там применение, то он питает надежду заслужить этим себе и мне немалую честь. Мусье Канар перевел это мне; я же отвечал, что когда мне объявят, какую особу должен я представить и что надлежит мне петь и играть, то я мог бы заучить мело-

дию и песни и исполнять все на лютне, хотя бы то было на французском языке; ведь легко может статься, что у меня память не слабее, чем у школяров, коих обыкновенно наряжают к сему, невзирая на то что им также сперва надобно заучить слова и все мины. Когда церемониймейстер увидел, что я весьма к тому склонен, то взял с меня обещание прийти назавтра в Лувр, дабы учинить пробу, пригоден ли я к сему делу. Итак, предстал я в уреченное время, согласно нашему уговору. Мелодии различных песен, которые мне надлежало спеть, я тотчас же ловко приноровил к своему инструменту, ибо захватил с собою табулаторную книжицу, после чего получил и французские песни, чтоб хорошенько их вытвердить вместе с произношением, а к ним также и немецкий перевод, дабы я мог сообразовать их с подобающими минами. Сие оказалось для меня весьма нетрудно, так что я управился скорее, нежели кто-либо мог ожидать, да так, что когда слушали, как я пою (понеже меня расхвалил мусье Канар), то всяк мог бы поклясться, что я прирожденный француз. И когда мы все сошлись на репетицию, то я сумел выступить со своими песнями, мелодиями и минами столь жалостливо, что все подумали, будто я и есть сам Орфей, а не только его представляю, уж так я горевал о своей Эвридике. Никогда за всю жизнь не провел я более приятного дня, чем тот, когда была представлена комедия. Мусье Канар дал мне некое снадобье, дабы мой голос звучал еще чище; и так как он хотел умножить мою красоту с помощью olei talci [1] и намеревался напудрить мои вьющиеся, мерцающие от черноты волосы, то под конец нашел, что он этим меня только портит. Я был увенчан лавровым венком и облечен в античное одеяние цвета морской воды, в коем вся моя шея, верхняя часть туловища, руки до локтей, колени от половины бедер до половины икр оставались обнаженными и открытыми взору. А сверху накинул я тафтяной телесного цвета плащ, который скорее всего можно уподобить полевому прапору. В сем одеянии увивался я возле моей Эвридики, взывал в нежной песенке к заступничеству Венеры и под конец покорил сердце возлюбленной; во время этого действия я изрядно все представлял и обращался к возлюбленной, испуская вздохи и вращая глазами. А после того как я потерял свою Эвридику, то облачился в совершенно черное одеяние, сшитое по тогдашней моде так, что моя белая кожа сияла из него, как снег. В нем я сетовал об утрате супруги и столь горестно все себе вообразил, что посреди печальной мелодии и песни выступили на глазах моих слезы и рыдания едва не прервали пение. Однако ж мне удалось с приятностию заключить эту сцену, покуда я не предстал в аду пред Плутоном и

[1] тальковой пудры, присыпки *(лат.)*.

Прозерпиною; сим представил я в умильной песне их взаимную любовь с напоминовением заключить посему, с какою великою мукою я и Эвридика были разлучены друг с другом; а посему с наиблагоговейными взорами и минами умолял их, напевая под звуки лютни, вернуть мне супругу. И когда я получил от них согласие, то возблагодарил их радостною песнею и сумел свое лицо и все свои мины исполнить такою радостию, что поверг в изумление всех присутствующих. А когда я нечаянным образом снова потерял Эвридику, то вообразил себе великую опасность, какая ведь ожидает каждого человека, отчего так побледнел, что казалось, вот-вот упаду в обморок. И понеже я стоял тогда на сцене один, а все зрители смотрели на меня, то я тем ревностнее исполнял свою роль, добывая себе честь тем, что я так искусно все представляю. Затем сел я на скалу и принялся жалостливыми словами в сопровождении печальной мелодии оплакивать утрату возлюбленной и взывать о сожалении ко всякой твари. Засим обступили меня всевозможные домашние и дикие звери, холмы, деревья и все прочее, так что поистине все возымело такой вид, как если бы с помощью волшебства было устроено сверхъестественным образом. И я не учинил ни единой ошибки, кроме как в конце представления, когда я, отрешившийся от всех женщин, был задушен Вакхом и брошен в ручей (который был так устроен, что оставалась видна только моя голова, остальное же тело помещалось в совершенной безопасности под сценою) и меня должен был сгрызть дракон; малый же, который в оного дракона был запихан, дабы им управлять, не мог видеть моей головы, а посему пасть дракона покоилась рядом с нею; сие показалось мне столь нелепым, что я не мог удержаться, чтоб не насупиться, что и было замечено дамами, которые на меня взирали.

От этой комедии получил я, кроме похвал, которые мне расточали в преизбытке, не только великое почтение, но и новое имя, ибо с того времени французы называли меня не иначе, как Beau Alman [1]. А как тогда справляли масленицу, то было дано еще немало подобных представлений и балетов, которые также не обошлись без моего участия, однако ж под конец объявилось, что мне стали завидовать, ибо я сильно привлекал к себе взоры зрителей, а особливо женщин; того ради я отступил от этого дела, наипаче же потому, что однажды получил довольно крепкий удар, когда я в образе Геркулеса, напялив на себя поверх голого тела львиную шкуру, сражался с Ахелоем из-за Деяниры и меня отделали с большею неучтивостию, нежели в подобных играх принято за обычай.

[1] Пригожий Немец *(франц.)*.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Симплиций, что прозван у дам Beau Alman,
Легко поддался на Венерин обман.

Сим образом приобрел я знакомство знатных особ, так что, казалось, передо мною снова воссияла Фортуна, ибо мне даже была предложена служба у короля, а такая удача подвалит далеко не всякому большому барину. Однажды пришел лакей, который спросил мусью Канара и передал ему письмецо касательно меня как раз в самое то время, когда я обретался в лаборатории, где производил реверберацию (ибо я по своей охоте уже научился у доктора производить перлютацию, растворение, возгонку, коагуляцию, дигерирование, кальцинирование, фильтрирование и другие подобные бесчисленные алхимические операции, с помощью коих он приготовлял свои снадобья). «Monsieur Beau Alman,— сказал он,— сие посланьице до тебя касается. За тобой посылает некий знатный господин, который желает, чтобы ты к нему пришел, ибо он намерен переговорить с тобою и узнать, не согласишься ли ты научить его сына игре на лютне. Он присовокупил весьма куртуазное обещание приличествующим образом вознаградить тебя за труды и просил меня замолвить слово, чтобы ты не вздумал отказаться от этого посещения». Я отвечал, что ежели могу кому-либо служить, кроме него (разумея мусье Канара), то готов употребить на сие все старание. На что он сказал, что мне надобно только переодеться и пойти с лакеем; меж тем, покуда я собирался, велел он приготовить мне что-нибудь поесть, ибо мне предстояло отправиться довольно далеко, так что я мог прийти в назначенное место только под вечер. Итак, хорошенько принарядившись и проглотив второпях кое-что приготовленное для вечерней пирушки, особливо же несколько маленьких деликатных колбасок, которые, как мне почудилось, изрядно разили аптекой, проплутал я более часа с помянутым лакеем различными диковинными переулками, покуда под вечер не подошли мы к садовой калитке, которая была только притворена. Лакей распахнул ее настежь, а когда я проследовал за ним, тотчас же затворил и запер на ночной замок, что был изнутри; засим повел он меня в загородный дом, стоявший в углу сада, и, когда мы прошли довольно длинной аллеей, постучал в дверь, которую сразу же открыла нам старая благородная дама. Она весьма учтиво приветствовала меня по-немецки и пригласила войти; лакей же, не разумевший немецкого языка, остался за дверью и, когда я поблагодарил его кивком головы, с глубоким поклоном удалился. Старая дама взяла меня под руку и ввела в залу, которая была увешана драгоценными гобе-

ленами, да и во всем прочем изрядно убрана; старуха пригласила меня присесть, чтобы я мог отдышаться, а также узнать, по какой причине я был доставлен в сие место. Я охотно последовал ее словам и уселся в кресло, приготовленное у камина, который тогда топили из-за порядочных холодов; она же села рядом со мною в соседнее кресло и сказала: «Мусье! Когда тебе хоть немного ведома сила любви, а именно, что она превозмогает и покоряет наихрабрейших, крепчайших и умнейших мужчин, то ты тем менее удивишься, что она одолевает слабую женщину. Тебя вовсе не приглашал сюда некий господин ради твоей лютни, как в том уверили тебя и мусье Канара, а призвала ради несравненной твоей красоты самая что ни на есть прекрасная дама в Париже, которая готова помереть, ежели вскорости не увидит твой ангельский облик и не насладится его созерцанием. Того ради приказала она мне объявить о сем господину как моему соотечественнику и умолить его, как Венера своего Адониса, чтобы он провел у нее сей вечер и дозволил налюбоваться своею красотою, в чем он, чаятельно, не откажет ей как знатной даме». Я отвечал: «Мадам! Я, право, не знаю, что и подумать, а еще того менее, что сказать. Я не знаю за собой таких качеств, чтобы дама, занимающая столь высокое положение, могла искать мое ничтожество. А сверх того всходит мне на ум, что ежели дама, которая возжелала меня видеть, столь прекрасна и знатна, как то объявляет и дает понять моя высокочтимая соотечественница, то, верно, послала бы за мной рано поутру, а не велела бы позвать меня в столь уединенное место на ночь глядя. Чего ради она не приказала прямо прийти к ней? Что мне тут делать, в этом саду? Да простит мне высокочтимая госпожа соотечественница, ежели я, одинокий чужестранец, испытываю страх, что тут нечто кроется, поелику мне было сказано, что меня зовут к некоему господину, а на деле происходит все по-иному. Но ежели я примечу, что тут столь предосудительным и злокозненным образом покушаются на мою жизнь, то уж сумею перед смертию найти применение своей шпаге!» — «Тише, тише, мой высокочтимый господин соотечественник,— сказала она,— женщины осторожны и своенравны в своих затеях, так что сразу к ним нелегко приноровиться. Когда бы та, что любит тебя паче всего, пожелала, чтобы ты все узнал об ее особе, то уж, конечно, велела бы привести тебя сперва не сюда, а прямехонько к ней. Вон там лежит капюшон (показала она на стол), который надлежит надеть господину, когда его отсюда поведут к ней, ибо она также вовсе не хочет, чтобы он узнал место, не говоря уже о том, у кого побывал; а посему прошу и заклинаю господина всем святым, чем только могу, оказать себя достойным перед сей дамой как ее высокого положения, так и той неизре-

ченной любви, какою она к нему воспылала; а ежели он рассудит по-иному и не захочет ей услужить, то да будет ему ведомо, что у нее достанет власти в тот же миг покарать его гордыню и пренебрежение. А когда он поведет себя с нею надлежащим образом, то может быть уверен, что и малейшая услуга, которую он ей окажет, не останется без награды».

Мало-помалу стемнело, и меня одолели всяческие тревоги и опасливые мысли, так что я сидел, как деревянный истукан, и не в силах был вообразить, что смогу с легкостью улизнуть оттуда; того ради согласился я на все, чего от меня желали, и сказал старухе: «Ну что ж, высокочтимая госпожа соотечественница, когда все обстоит так, как вы мне обсказали, то вверяю свою персону вашей прирожденной немецкой честности в надежде, что вы не допустите, а еще менее того поспешествуете тому, чтобы ни в чем не повинный немец попал в какую-нибудь коварную западню. Так исполняйте все, что вам было велено совершить со мною; чаятельно, у дамы, о которой вы мне говорили, глаза не василиска, чтобы от их взора свернуть мне шею!» — «Упаси бог! — воскликнула она.— Было бы жаль, когда б такой статный юноша, коим может гордиться вся наша нация, принял столь безвременную кончину. Он увидит больше всяких забав, нежели мог до сего дня помыслить!» Как только старуха получила мое согласие, то кликнула Жана и Пьера; они тотчас же выступили из-за гобелена, каждый облачен в сверкающую кирасу, вооруженные с головы до пят, с алебардами и пистолетами в руках; сие повергло меня в такой страх, что я весь помертвел. Старуха это приметила и сказала с улыбкой: «Не следует так бояться, когда идешь к женщине!» Засим велела она им обоим снять латы, взять фонари и следовать за нами с одними только пистолетами. Засим натянула она мне на голову капюшон черного бархата, взяла под мышку мою шляпу и повела меня за руку диковинными путями. Я отлично приметил, что меня провели через множество дверей, а затем мы проходили по мощеной дороге. Наконец, примерно через четверть часа, пришлось мне взойти по небольшой каменной лесенке. Тут открылась маленькая дверца; отсюда я прошел по тесному проходу и затем по винтовой лестнице вверх, затем снова несколько ступенек вниз, и тут через шесть шагов перед нами широко распахнулась еще одна дверь. Когда я наконец вошел туда, то старуха сняла с меня капюшон, и я очутился в зале, убранной с чрезвычайною роскошью. Стены были увешаны красивыми картинами, поставец полон серебряной посуды, а стоявшая там кровать убрана расшитыми золотом занавесями. Посреди же стоял великолепно накрытый стол, а у камина ванна для купания, весьма даже красивая с виду, однако ж, по моему разумению, она поганила всю залу. Старуха

сказала мне: «Добро пожаловать, господин соотечественник! Неужто и теперь ты еще станешь утверждать, что тебе готовят предательство? Так отбрось всякую досаду и веди себя так, как намедни в театре, когда Плутон возвратил тебе Эвридику. Могу тебя уверить, что здесь ты обретешь более красивую, нежели там потерял».

ПЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций, неделю забыв все на свете,
Венерину гору покинул в карете.

Из сих слов я заключил, что должен буду в сем месте не токмо дозволить собою любоваться, но и совершить нечто иное; того ради сказал престарелой своей соотечественнице, что тому, кто страждет от жажды, мало проку, когда он сидит у запретного колодца. Она же сказала, что во Франции не такие недоброхоты, чтобы запрещать пить воду из колодца, когда она льется через край. «Эх, мадам! — возразил я.— Сказали бы вы мне о том, когда я еще не был женат!» — «Вздорные выдумки! — воскликнула безбожная старуха.— Да и кто тебе нынче поверит: женатые кавалеры редко приезжают во Францию; да хотя бы и так, я все равно не поверю, что господин такой дурень, что решит скорее умереть от жажды, нежели дозволит себе испить из чужого колодца, особливо когда тут повеселее и водица повкуснее, чем у себя дома». Таков был наш дискурс, во время коего благородная девица, смотревшая за камином, сняла с меня башмаки и чулки, которые я, пробираясь в темноте, сильно замарал, ибо в то время Париж и без того был весьма грязный город. Засим тотчас последовал приказ выкупать меня перед ужином; сказанная девица забегала туда-сюда и вскорости нанесла все необходимое для мытья, отчего запахло мускусом и благовонным маслом. Простыни же были изготовлены из чистейшего полотна, вытканного в Камбре, и обшиты дорогими голландскими кружевами. Я застыдился и не захотел, чтобы старуха видела меня голым, но ничто не помогло, и я принужден был дозволить ей себя раздеть и вымыть; девушка же на сие время немного отошла в сторону. После мытья дали мне тонкую рубашку и дорогой шлафрок из фиолетовой тафты, а также пару шелковых чулок такого же цвета. А ночной колпак и туфли были расшиты золотом и жемчугом, так что после купанья восседал я так важно, словно червонный король. Меж тем старуха вытирала и причесывала мои волосы, ибо ухаживала за мною, как за князем или за малым дитятей; многократно помянутая девица вносила различные кушанья, а когда весь стол был ими застав-

лен, то вошли в залу три божественные молодые дамы, чьи белые, как алебастр, груди, пожалуй, были слишком открыты, однако ж лица совершенно сокрыты под масками. Все три показались мне изрядно красивыми, однако ж одна была куда красивей двух прочих. Я в полном молчании отвесил им глубокий поклон, и они поблагодарили меня с тою же церемонностию, и сие, естественно, имело такой вид, как если бы собрались немые, которые вздумали передразнивать говорящих. Они сели все разом, так что я никак не мог угадать, какая же из них самая знатная, а еще менее того, кому я должен буду тут служить. Первая спросила меня, не говорю ли я по-французски? Моя же соотечественница ответила: «Нет». На что другая велела передать, не угодно ли будет мне сесть. Когда сие произошло, то третья распорядилась, чтобы моя переводчица также села с нами, а я посему снова не мог заключить, какая же из них самая знатная. Я сидел рядом со старухою насупротив этих трех дам, так что, нет сомнения, моя красота тем разительнее выступала подле такого древнего шкелета. Все три дамы бросали на меня приветливые, ласковые и благосклонные взоры, и я могу поклясться, что груди их источали бесчисленные вздохи. Блеск их очей был для меня сокрыт под масками. Старуха спросила меня (ибо больше никто не мог со мной изъясняться), которую из трех я нахожу самой прекрасной. Я отвечал, что не могу ни на ком остановить свой взор. Тут она засмеялась, так что показала все четыре зуба, еще обретавшиеся у нее во рту, и спросила: «С чего бы это?» Я отвечал, оттого что я их не могу хорошенько рассмотреть, но насколько я вижу, то все три не безобразны. Все, что спрашивала старуха и что я давал в ответ, дамы тотчас же хотели знать; старуха толмачила и еще привирала, что я будто бы сказал, что каждый рот заслуживает ста тысяч поцелуев; я мог хорошо разглядеть под масками их губы, особливо же той, что сидела прямо против меня. Такой хитростию старуха возбудила во мне мысль, что эта дама и будет самая знатная, и я тем пристальней стал за ней наблюдать. В том и состоял весь наш застольный дискурс, во время коего я притворился, что не разумею ни единого слова по-французски. И понеже все шло так тихо, а подобные безмолвные вечера не особенно веселы, то мы скоро отужинали. Засим пожелали мне дамы спокойной ночи и удалились в свои покои, я же не поспел проводить их далее, чем до дверей, ибо старуха сразу за ними заперла. Увидев сие, я спросил, где же я буду спать. Она отвечала, что я должен буду вместе с ней довольствоваться той кроватью, что стоит в зале. Я отвечал, что постель была бы довольно хороша, когда бы хоть одна из тех трех в ней почивала. «Ну,— сказала старуха,— по правде, сегодня тебе ни одна не достанется, придется тебе сперва пробавляться

мною». Меж тем, как мы таким образом калякали, прекрасная дама, лежавшая в кровати, отвела полог немного назад и сказала старухе, чтоб она перестала молоть вздор и шла спать! Тут я взял у старой хрычовки свечу, чтоб поглядеть, кто лежит в постели. Она же погасила свечу и сказала: «Господин, коли тебе мила жизнь, то не отваживайся на то, что умыслил! Ложись, но будь уверен, что ежели ты и впрямь потщишься узреть сию даму наперекор ее воле, то никогда не уйдешь отсюда живым!» С такими словами прошла она через комнату и заперла за собою дверь; девушка же, смотревшая за огнем, также совсем его потушила и ушла через скрытую за гобеленом дверцу. Засим дама, лежавшая в постели, сказала: «Alle, monsieur Beau Alman, иди спать, сердце мое! Подь сюды, прижмись ко мне!» — стольким-то словам ее обучила старая немка. Я направился к постели, чтобы поглядеть, как тут обернется дело, и едва только подошел, как лежавшая там женщина бросилась мне на шею, привечая меня несчетными поцелуями, так что от нетерпеливого желания едва не откусила мне нижнюю губу, и она стала теребить мой ночной колпак и рвать на мне рубашку, привлекла к себе и так повела себя от безрассудной горячности, что и сказать невозможно. Она не знала по-немецки других слов, как только «Прижмись ко мне, сердце мое!». Все остальное она давала понять телодвижениями. Я, правда, тайком помыслил о своей милой, да чем тут пособишь? Увы, я был человек и обрел столь изрядное во всех пропорциях тело, исполненное такою приятностию, что был бы доподлинным чурбаном, когда б мог уйти оттуда непорочным; сверх того оказали свое действие и колбаски, коими угостил меня на дорогу доктор, так что мне самому представилось, как если бы я обратился в козла.

Сим образом провел я в том месте восемь дней и столько же ночей и полагаю, что и другие три возлежали со мною, ибо не все они говорили, как первая, да и не предавались такому дурачеству. И понеже меня и там потчевали точно такими же колбасками, то я уверился, что и они были приготовлены мусье Канаром, который довольно уведомлен о моих делах. Был я тогда в полном расцвете юности, черный пушок едва-едва стал пробиваться над губою. И хотя пробыл я у этих четырех дам полных восемь ден, однако ж не могу похвалиться, что мне было дозволено поглядеть хоть на одну из них иначе, как под флеровым чепчиком или когда стемнеет. По прошествии же сказанного времени, то есть восьми дней, посадили меня во дворе с завязанными глазами в карету вместе со старухою, которая дорогою мне их развязала и привезла к дому моего господина; затем кучер быстро укатил. Мое вознаграждение состояло в двухстах пистолях, а когда я спросил ста-

руху, надо ли мне из этих денег кому-либо отсчитать на водку, то она сказала: «Бога ради, не делай сего, ибо ты весьма бы тем раздосадовал наших дам, и они, чего доброго, подумали бы, будто ты возомнил, что побывал в непотребном доме, где надобно за все платить». Впоследствии у меня было немало подобных приглашений, отчего я так одеревенел, что под конец от немощи все эти дурачества мне весьма прискучили, ибо и напичканные пряностями колбаски уже почти не могли пособить, из чего я заключил, что и мусье Канар должен тут наполовину почитаться сводником, ибо он их приготовлял.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

Симплиций бежит из Франции прочь,
Недобрую хворь он сумел превозмочь.

Такими-то делами промыслил я себе столько подарков деньгами и различными вещами, что меня пронял страх, и я уже более не дивился, что женщины поступают в бордель и сие скотское распутство превращают в ремесло, ибо оно приносит столь изрядную прибыль. Однако ж я принялся размышлять и углубился в себя, правда, не по причине благочестия или побуждений совести, а из опасения, что рано или поздно меня на такой дорожке изловят и воздадут по заслугам. Того ради стал я помышлять, как бы возвратиться в Германию, а тем более что комендант в Л. мне написал, что он захватил живьем несколько кельнских купцов, коих он не собирается выпускать из своих рук прежде, чем ему не вручат принадлежащие мне вещи, item что он еще бережет для меня обещанный прапор и желал бы, чтобы я объявился еще до весны, ибо иначе, ежели я не прибуду к тому времени, он будет принужден отдать эту должность другому. При сем случае и жена моя присовокупила письмецо, наполненное милыми свидетельствами ее нетерпеливого ожидания. Но ежели бы она ведала, какую повел я тут честную жизнь, то, верно, вложила бы туда совсем иной привет.

Я с легкостью мог представить себе, что мне будет трудненько отделаться от мусье Канара, а посему умыслил уйти тайком, как только улучу к тому случай, что, на мою великую беду, мне и удалось. Ибо как только я повстречал однажды нескольких офицеров из веймарской армии, то поведал им, что я прапорщик под началом у полковника де С. А. и обретаюсь некоторое время в Париже по своим делам, ныне же возымел твердое намерение снова возвратиться в полк, и обратился к ним с просьбою принять меня

в свое общество попутчиком. Итак, открыли они мне день своего выступления в поход и охотно взяли меня с собою; я купил себе резвого клеперка и снарядился в путь так скрытно, как только мог; уложил свои деньги (примерно пятьсот дублонов, кои все были добыты мною зазорною работою у безбожных бабенок) и убрался вместе с моими камрадами, не испрашивая дозволения мусье Канара, однако ж написал ему с дороги, выставив на письме Маастрихт, дабы он подумал, что я отправился в Кельн. В сем послании я брал абшид, объявляя, что мне невозможно долее пребывать у него, ибо я больше не в состоянии переваривать его ароматные колбаски.

На втором ночном привале после Парижа приключилась со мною беда, как натурально бывает с тем, кто заболеет рожею, и голова моя причиняла мне столь ужасную боль, что невозможно было подняться. Мы остановились в прескверной деревеньке, где я не мог сыскать никакого медикуса, а всего горше было то, что не было никого, кто бы мог за мною ходить и оказать мне помощь, ибо рано поутру офицеры, следуя приказу, отправились в путь, оставив меня лежать при смерти, как человека, до коего им не было дела. Однако ж перед отъездом они поручили трактирщику меня и мою лошадь и уведомили деревенского старосту, чтобы он наблюдал за мною, как за офицером, который служит своему королю на войне.

Итак, пролежал я там несколько дней в полном беспамятстве и бредил, как помешанный. Привели ко мне попа, который, однако, не мог внять от меня ничего разумного. И понеже он увидел, что не сможет уврачевать мою душу, то обратил свои помыслы на то, что посильно помочь телу, ибо велел мне пустить кровь, дать потогонного питья и уложить в постель, дабы я хорошенько пропотел. Сие подействовало на меня столь благотворно, что в ту же ночь я опамятовался и стал понимать, где нахожусь, как туда попал и заболел. На следующее утро пришел ко мне снова помянутый священник и застал меня в полном отчаянии, ибо у меня не токмо похитили все мои деньги, но я еще возомнил не что иное, как то, что я (s. v.) нахватал любезных францей, ибо, по справедливости, они причитались мне скорее, нежели пистоли, так что по всему телу у меня пошли пятна, как у тигра. Я не мог ни ходить, ни стоять, ни сидеть, ни лежать, и у меня вовсе не было терпения сносить сие, и подобно тому как я не поверил бы, что потерянные деньги были ниспосланы мне богом, то и теперь впал в такое буйство, что полагал, будто их снова отнял у меня сам черт. От моей божбы все небо могло почернеть, и я повел себя так, словно хотел совсем изойти от отчаяния; посему доброму священнику стоило немалых трудов меня утешить, ибо башмак сильно жал

мне сразу в двух местах. «Друг мой,— сказал он,— образумься, ежели хочешь нести свой крест, как подобает честному христианину! Что ты делаешь? Неужто хочешь ты, кроме денег, лишиться также и жизни и, что еще важнее, вечного спасения?» Я возразил: «О деньгах я не печалюсь, когда б не навязал я себе на шею эту проклятую скаредную болезнь или, по крайности, попал в такое место, где мог бы ее хорошенько вылечить!» — «Тебе надобно потерпеть,— отвечал священник,— как принуждены терпеть бедные маленькие дети, коих эта болезнь в здешней деревне повалила больше полусотни!» Едва я услышал, что и дети одержимы такою же болезнью, то сразу приободрился, ибо легко мог сообразить, что помянутая мерзкая зараза не могла к ним пристать; того ради взял я кожаный свой чемодан поглядеть, что там могло еще остаться, однако в нем не нашлось ничего ценного, кроме чистого белья и медальона с изображением некой дамы, кругом усаженного рубинами, который подарила мне некая дама в Париже. Я вынул изображение, а остальное передал духовному лицу с просьбою продать в ближайшем городе, чтобы мне было на что прохарчиться. Сие привело к тому, что я едва получил третью часть того, что все это стоило; а так как мне этого не надолго хватило, то я принужден был также расстаться и с моим клепером. Так протянул я в немалой скудости до того времени, покуда не начали подсыхать струпья и мне снова не полегчало.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций, Фортуну упустив оплошно,
Теряется в мыслях, сколь жить стало тошно.

Чем кто грешит, тем и наказан. Оспа так изрябила мое лицо, что с тех пор женщины оставили меня в добром покое. Я получил такие выбоины, что стал похож на мостовину в овине, где молотили горох, и превратился в такую уродину, что мои прекрасные вьющиеся волосы, в коих запутывалось столько женщин, устыдившись меня, покинули свою родину. Заместо них отросли другие, наподобие свиной щетины, так что я с необходимостью принужден был носить парик; и подобно тому как на моей коже не осталось снаружи никакой красы, так и приятный мой голос пропал, ибо горло у меня было все в струпьях. Глаза мои, всегда сверкавшие любовным огнем, так что способны были воспламенить любую, теперь стали красны и слезились, как у восьмидесятилетней старухи, сведшей знакомство с господином Корнелиусом. А сверх того я находился в чужой стране, где не знал ни единой собаки и

ни единого человека, который бы мне доверял, не понимал языка и почитай что издержал все деньги.

Тут только поразмыслил я обо всем прошедшем, сокрушаясь об удачливых обстоятельствах, способствовавших моему благополучию, которые я беспутно и оплошно упустил. Тогда лишь я оглянулся назад и приметил, что чрезвычайное счастие на войне и обретенное мною сокровище были не что иное, как причина и приуготовление к теперешнему моему несчастию, и Фортуна никогда б не смогла низвергнуть меня столь глубоко, когда б перед тем не прельстила меня лживыми своими взорами и не вознесла бы так высоко; и я нашел, что то самое добро, которое я повстречал и почитал добром, было на самом деле злом и привело меня к крайней погибели. И не было тогда со мной ни отшельника, который чистосердечно печаловался обо мне, ни полковника Рамзая, который призрел меня в горькой нужде, ни священника, который подавал мне добрые советы, словом, ни одного-единственного человека, кто был бы ко мне расположен; а как деньги мои уплыли, то и меня погнали прочь искать пристанища где-либо в ином месте, так что я, подобно блудному сыну, должен был довольствоваться обществом свиней. Тогда-то впервые подумал я о добром совете, что подал мне тот пастор, что надобно мне приложить мои деньги и мою юность к учению; однако ж было уже слишком поздно хвататься за ножницы, чтобы подрезать крылья пташке, ибо она улетела. О, скорая и злополучная перемена! Всего месяц назад я был молодцом, который приводил в изумление князей, восхищал женщин и народ как искуснейшее творение природы, да что там, казался самим ангелом, теперь же стал столь ничтожен, что на меня мочились собаки. Я терялся в мыслях, за что бы мне ухватиться; трактирщик не захотел меня держать и вытолкал из дома, ибо я не мог больше платить. Я охотно пошел бы на даровые хлеба, да ни один вербовщик на меня не зарился, ибо я более походил не на солдата, а на шелудивого пса и обтрепанного полотняного ткача. Работать я не мог, ибо был еще слишком слаб, да и сверх того не знал никакого ремесла. Или надобно было мне снова стать пастухом, как у моего батьки, или даже нищенствовать, чего я стыдился. Ничто так не утешало меня, как то, что близилось лето и я мог, по крайности, заночевать под забором, ибо меня никто не хотел пускать в дом. У меня еще сохранилось нарядное платье, которое я сшил на дорогу, а также чемодан с дорогим полотняным бельем, однако ж никто их у меня не покупал, опасаясь, чтоб я не передал с ними болезнь. Я взвалил эти пожитки на плечи, взял шпагу в руки, а путь-дорогу под ноги, которая и привела меня в маленький городишко, где, однако же, была аптека. Я зашел туда и велел приготовить мне мазь, чтобы согнать с лица оспины;

и так как у меня не было денег, то предложил аптекарскому подмастерью красивую тонкую рубашку, а он не был столь брезглив, как другие дурни, которые не хотели брать у меня платье. Я помыслил: когда бы тебе только поскорее отделаться от гнусных пятен, то дела пойдут лучше, и твоя нужда полегчает. И когда аптекарь меня утешил, что стоит миновать неделе, как глубокие рубцы, коими меня изукрасила оспа, станут менее приметны, то я порядочно приободрился. Рядом был рынок, где я увидел зубодера, который зашибал изрядные деньги, навязывая людям всякие негодные снадобья. «Дурачина,— сказал я самому себе,— что ты делаешь, да неужто сам ты не можешь изготовить такой же хлам; коли ты не довольно прожил у мусье Канара и не обучился настолько, чтобы облапошивать глупых мужиков и тем добывать себе пропитание, то ты совсем жалкий олух».

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Симплициус, странник и нищеброд,
Обманом деньги с мужиков дерет.

Я мог тогда жрать, как молотильщик, ибо мой желудок был поистине ненасытен и непрестанно требовал от меня все больше и больше, хотя у меня ничего уже не было в запасе, кроме одного-единственного золотого кольца с адамантом, которое стоило примерно двадцать крон. Я спустил его за двенадцать, и понеже мог с легкостью вообразить, что им скоро придет конец, ибо в придачу к ним я ничего не выручил, то решил стать врачом. Я купил себе materialia [1] для составления theriacae Diatesseron и приготовил его, чтобы продавать в маленьких городах и местечках. А для пользования мужиков взял я немного можжевелового латверга, смешал его с дубовым листом, ивовыми почками и тому подобными жестокими ингредиентами. Затем приготовил я из трав, кореньев, масла и некоторых жиров зеленую мазь для врачевания ран, да такую, что ею можно было лечить и покалеченную лошадь, item из гальмея, кремня, рачьих жерновок, шмиргеля и трепела — порошок, чтобы чистить добела зубы; далее изготовил я голубой эликсир из щелока, меди, нашатыря и камфары — от цинги, дурного запаху во рту, зубной боли и глазной хворобы, а также приобрел целый ворох жестяных и деревянных коробочек, бумаги и скляниц, дабы рассовать в них свои товары, а чтоб придать себе важности, велел я составить и отпечатать на французском языке

[1] материалы *(лат.)*.

ярлычки, на коих было обозначено, к чему годно то или другое снадобье. В три дня я управился с этой работой, издержав, когда покинул городишко, едва три кроны в аптеке и на покупку склянок. Итак, уложил я вещи и порешил, странствуя от деревни к деревне и сбывая по дороге свои товары, добраться до Эльзаса, а следовательно, до Страсбурга как нейтрального города, а там при случае выйти на Рейн и вместе с купцами отправиться в Кельн, а оттуда своим путем к любезной женушке. Умысел-то был хорош, да предприятие незадачливо!

Когда я первый раз объявился перед церковью с моим знахарством и стал предлагать свои товары, то моя торговлишка пошла из рук вон плохо, ибо был я еще столь прост, что не пожелал пособлять ей ни языком, ни какими-либо шарлатанскими выдумками; однако ж тотчас приметил, что надо взяться за дело иначе, ежели только хочу зашибить деньгу и сбыть это дерьмо. Я пошел со своим хламом в трактир и за столом узнал от хозяина, что после полудня под липами у его дома собирается народ, тут я мог бы кое-что продать, ежели у меня хорошие товары; однако по всей стране шатается столько обманщиков, что люди туго расстаются со своими денежками, покуда воочию не увидят надежной пробы, что териак отменной доброты. Когда я услышал, в чем заминка, то раздобыл стеклянный стакан превосходной страсбургской водки и поймал особого вида лягушку, из тех, что зовут жерлянка, или монашка, кои по весне да и летом заводятся в нечистых лужах и там поют; они золотисто-желтые или почти что красно-желтые, а внизу на брюхе с черными пятнами, весьма невзрачные с виду. Одну такую я и посадил в скляницу с водою и поставил рядышком с моими товарами под липами. Когда люди стали собираться и столпились вокруг меня, то многие полагали, что я примусь выдирать зубы клещами, которые позаимствовал у трактирщика; я же повел такие речи: «Э, господа и добры други (ибо я еще совсем скверно говорил по-французски)! Я не какой-нибудь там Выдери-мне-зуб, а есть у меня в запасце славная примочка для глаз, чтоб они не были красны да не было из них течи».— «Вот, вот,— ответил мне один,— сие сразу видно по твоим очам, они горят, как болотные огни!» Я сказал: «То правда; но когда б у меня не было этой примочки, то я бы и вовсе ослеп. Впрочем, я не торгую этой водою; я продаю териак и порошок для белых зубов и мазь от ран, а примочку я даю в придачу. Я не какой-нибудь там шарлатан или Обсерись-народ. Я продаю этот териак, ибо учинил ему пробу, и коли он тебе не нравится, то тебя никто не неволит его покупать». Меж тем велел я одному из обступивших меня людей выбрать коробочку с териаком, вынул из нее катышек размером с горошинку, опустил его в стакан с водкой, кою

зрители почитали простою водою, растер его там и, вытащив щипцами лягушку из скляницы, сказал: «Гляньте-ко, добры други! Когда сия ядовитая тварь напьется териака и не околеет, то снадобье ни к чему не годно, и вы его у меня не покупайте!» С такими словами взял я бедную лягушку, коя родилась и взращена была в водной стихии и никакого другого элемента или ликвора не могла вынести, и сунул в стакан с водкой, прикрыв лоскутом бумаги, дабы она оттуда не выскочила. Тогда зачала она там яриться и корчиться куда жесточе, чем если бы я ее бросил на раскаленные уголья, ибо водка была для нее чересчур крепка; и после того как она некоторое время потрепыхалась, то потихоньку околела, протянув все четыре лапы. Тут мужики разинули рты и кошельки, ибо своими собственными очами увидели надежную пробу. Они возомнили, что на всем свете нет лучшего териака, нежели у меня, и тут было немало хлопот заворачивать в ярлыки эту дрянь и считать деньги. Тут сыскались и такие, что покупали по три, по четыре, по пять и по шесть заверток, чтобы запастись таким превосходным противоядием на случай какой нужды; и они закупали также для своих друзей и родственников, живших в других местах, так что я глупейшим образом, ибо тогда был не базарный день, выручил в тот же вечер десять крон и еще сохранил больше половины своего товара. В ту же ночь я подался в другую деревню, ибо находился в опасении, чтобы какой-нибудь мужик не оказался столь любопытен и не опустил жабу в воду, учинив пробу моему териаку, а когда она не удастся, не наклал мне по загривку. Мне ведь не было надобности употреблять такие обманства, которые раскрывает высокоученый Маттиолус в шестой книге Диоскорида «De veneris», когда пишет о базарных лекарях и шарлатанах. И покуда я мог находить сказанных монашек, мне не было нужды держать обезьяну или какое другое редкостное животное, чтобы морочить глупых людей. А в Париже научился я у одного немецкого фигляра проделывать преизящные фокусы на картах, чтоб собирать зевак и завлекать их до тех пор, покуда не учиню вышеописанным образом пробу моему териаку и не подстрекну народ растрясти мошну. А чтоб я мог доказать отменную доброту моего противоядия также и другим манером, изготовил я из муки, шафрана и чернильного ореха желтый мышьяк, а из муки и купороса — Mercurium sublimatum. И когда я хотел учинить пробу, то ставил на стол две совершенно одинаковые скляницы с водою, подмешав в одну из них aqua fortis, либо spiritus vitrioli. В сей скляница я разбалтывал малую толику моего териака, а затем натирал в обе того и другого яду, сколько было потребно. От этого вода, в которой не было териака, а значит, и не было селитряной кислоты, становилась черной, как чернила, дру-

гая же оставалась чистой, как была, по причине селитряной кислоты. «Эге! — говорил тогда народ.— Гляди-ко, то поистине славный териак, да еще задешево!» А когда я потом сливал оба стакана вместе, то все снова становилось прозрачно. Тут-то добрые мужики и развязывали кошельки и покупали у меня, что не только пришлось весьма кстати для моего истомившегося желудка, но и посадило меня на коня, да еще к тому же снабдило немалыми деньгами на дорогу, и таким образом я счастливо достиг немецкой границы. А посему, любезные крестьяне, не верьте с такою легкостию чужестранным площадным шарлатанам! А не то будете ими жестоко обмануты, ибо они заботятся не о вашем здравии, а подбираются к вашим денежкам.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Симплициус, лекарь, немало болтал,
К имперским солдатам в лапы попал.

Пока я пробирался через Лотарингию, разошлись все мои товары, а так как я опасался городов, где стояли гарнизоны, то не мог запастись другими. Того ради принужден был я взяться за что-либо иное, покуда не улучу случай снова изготовлять териак. Я купил две мерки водки, подкрасил ее шафраном, разлил по скляницам — каждая по полулоту — и продавал людям, выдавая за превосходную золотую воду, весьма пользительную при лихорадке, выручив за нее тридцать флоринов. И когда мне стало недоставать пузырьков, а я прослышал про стекловарню во Флекенштейне, то отправился туда, чтобы запастись необходимым снаряжением; и меж тем, как я кружил окольными путями, меня захватил филиппсбургский разъезд, что тогда стоял в замке Вагельнбург; итак, я лишился всего, что сумел вымотать у простофиль во время этого путешествия. А как мужик, который пошел со мною показать дорогу, объявил молодцам, что я медикус, то и повезли меня как доктора в Филиппсбург наперекор всем чертям.

Там мне учинили допрос, а я вовсе не побоялся признаться, кто я такой, но мне не хотели верить, полагая, что я более важная птица, чем на самом деле; и я не иначе как доктор. Я клялся, что принадлежал к имперским драгунам в Зусте и был взят в плен шведами из Л., item что от противника, который не захотел отпустить меня за выкуп, я ушел в Кельн, дабы произвесть экипировку, а оттуда противу своей воли попал во Францию, теперь же возвращаюсь в свой полк. А о том, что я взял себе жену на стороне противника и еще должен там получить прапор, я искусно

умолчал в надежде, что мне удастся отговориться и получить свободу. Хотелось мне тогда спуститься вниз по Рейну и снова отведать вестфальской ветчины. Но все обернулось совсем иначе, ибо мне ответили, что императору надобны солдаты как в Зусте, так и в Филиппсбурге; мне надлежит остаться у них, покуда не представится удобный случай воротиться в полк. А ежели сие предложение мне пришлось не по вкусу, то я могу довольствоваться темницей, где, покуда не освобожусь, со мной будут обходиться, как с доктором, которого ведь они и взяли в плен.

Итак, я пересел с лошади на осла и принужден был противу моей воли стать мушкетером. Тогда пришлось мне солоно, ибо командиром там был скряга и солдатский паек страх как мал. Я не зря сказал: страх как мал, ибо всякое утро, когда я его получал, на меня нападал страх, ибо я знал, что должен довольствоваться им весь день-деньской, тогда как я без малейшего труда мог умять его зараз. И сказать по правде — прежалкая это тварь мушкетер, который принужден подобным образом провождать жизнь в гарнизоне и довольствоваться разлюбезным черствым хлебом, да еще впроголодь. Да ведь это все одно, что пленный, который влачит свою печальную жизнь на хлебе и воде. И пленнику даже живется лучше, и он куда счастливее; ибо он не должен ни бодрствовать, ни ходить дозором, ни стоять на карауле, а полеживает себе спокойно, и у него ровно столько же надежды когда-нибудь со временем выбраться из такой тюрьмы, как и у бедной гарнизонной крысы. Хотя были там и такие, что умели самым различным манером несколько поправить свой достаток; однако ни один из таких способов, которые я мог выбрать, чтобы насытить утробу, не был пристойным. Ибо некоторые в такой беде брали себе жен (хотя бы то были отставные потаскухи) затем только, чтобы они могли их прокормить шитьем, стиркой, пряденьем либо мелочной торговлей, плутнями, а то и воровством. Там среди баб была одна фендрикша, которая получала жалованье, как гефрейтер; другая была повитуха и своим ремеслом доставляла себе и мужу изрядные угощения. А другие умели стирать и крахмалить; они полоскали у холостых офицеров рубахи, чулки, подштанники, и не знаю, что еще, отчего получали особые прозвища. Иные продавали табак и набивали молодчикам трубки, когда у них в том была нужда; а другие торговали водкой, и шла слава, что они разбавляют ее водою, которую сами дистиллируют, отчего она, однако ж, не теряет во вкусе. А иные умели шить и могли выделывать всякие стежки и модели, чем и зарабатывали деньги; а были и такие, которых кормило поле: зимою выкапывали улиток, весною сеяли салат, летом обирали птичьи гнезда, осенью же умели добывать всякие лакомые кусочки. Некоторые таскали на себе дрова на

продажу, как вьючные ослы, а другие промышляли какой ни на есть торговлишкою. Снискивать подобным образом себе пропитание и насыщать утробу было не по мне, ибо у меня уже была своя жена. Иные молодчики промышляли игрой, ибо знали всякие кунштюки почище любого жулика и умели облапошивать своих простофилей-камрадов фальшивыми костями и картами, но подобные профессии мне претили. А другие рыли шанцы и ломили, как лошади, но я был на то слишком ленив. А еще другие занимались всякими ремеслами, я же, олух, не знал ни одного. Правда, ежели бы понадобился музыкант, то я пришелся бы тут кстати; но в такой голодной обители обходились одними дудками да барабанами. Некоторые несли караульную службу за других и день и ночь не отлучались с караулов; я же предпочитал лучше голодать, нежели так изнурять свое тело. А иные перебивались тем, что участвовали в разъездах, но мне ни разу не доверили выйти за ворота. Были такие, что умели подстерегать добычу лучше кошки; но я ненавидел подобные промыслы хуже чумы. Одним словом, куда бы я ни повернулся, ни за что не мог ухватиться, чтобы насытить утробу. А что мне всего более досаждало, так то, что я еще принужден был сносить насмешки, когда парни говорили: «Что это за доктор, у которого подвело живот?» Под конец заставила меня нужда выудить несколько отменных карпов из крепостного рва, но как только проведал о том полковник, то я принужден был погарцевать на деревянном осле, и мне запретили показывать свое искусство под страхом виселицы. Под конец чужое несчастье обернулось мне счастьем, ибо стоило мне вылечить кое-кого от желтухи и лихорадки из тех, кто особенно уверовал в мое врачевание, как мне было разрешено отлучаться из крепости под тем предлогом, что мне надо собирать травы и коренья для моих лекарств. Вместо того я ставил силки на зайцев, и мне особенно посчастливилось, ибо в первую же ночь поймал сразу двух; я преподнес их полковнику и получил за это в подарок не только талер, но и дозволение уходить из крепости ловить зайцев, когда хочу, если только не назначен в караул. А как тогда вся страна порядком запустела и никого не было, кто охотился бы за зайцами, хотя они здорово размножились, то вода снова потекла на мою мельницу, ибо все казалось не иначе, как если бы шел снег из зайцев или я загонял их в свои силки каким-либо колдовством. А когда офицеры убедились, что мне можно доверять, то мне снова дозволили отправляться в разъезды. Тут повелись у меня деньки, как бывало в Зусте, хоть теперь я уже не командовал отрядом и не вел его за собою, как в Вестфалии, ибо сперва надобно было вызнать все дороги и тропинки, равно как и течение Рейна.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций, свалившись в бурный поток,
Дает добродетели строгой зарок.

Прежде чем поведаю я о том, как избавился я от мушкета, хочу рассказать еще несколько историй: одну о превеликой опасности для жизни и телесного здравия, коей я по милости божией избежал, другую об опасности душевной погибели, в коей я жестоковыйно застрял, ибо я не желаю скрывать свои пороки, так же как и добродетели, не затем только, дабы полнота моей повести не потерпела ущерба, но и того ради, чтобы неискушенный читатель узнал, сколь диковинные сумасброды бывают на свете, что мало помышляют о боге.

Как в конце предыдущей главы было уже сказано, дозволили мне принять участие в разъездах, ибо в гарнизоне доброхотствовали не всяким беспутным ветрогонам, а заправским солдатам, которые могут понюхать пороху. Итак, однажды вышли мы, девятнадцать молодцов, через Унтермаркское графство, выше Страсбурга, дабы подстеречь корабль из Базеля, на котором должны были тайно находиться несколько веймарских офицеров и всякое добро. Выше Оттенхейма мы нашли рыбачью лодку, чтобы перебраться на ней и залечь на Вердере, откуда было весьма удобно принудить приближающееся судно пристать к берегу, ибо десятеро из наших уже были счастливо перевезены рыбаком. Но когда один из нас, который, впрочем, хорошо мог управлять лодкой, переправлял остальных девятерых, среди коих был и я, то лодка нечаянно перевернулась, и мы все внезапно очутились в Рейне, да притом в наиопаснейшем месте, где самое сильное течение. Я не больно-то печалился о других, а подумал о самом себе. И хотя я напрягал все силы и пустил в ход всю сноровку хорошего пловца, могучий поток швырял меня, как мяч, и то подбрасывал вверх, то тащил в бездну. Я сражался с волнами столь доблестно, что нередко едва мог перевести дух; будь вода похолоднее, то я ни за что бы так долго не продержался и не уцелел. Часто пытался я достичь берега, но водоворот не дозволял мне сего, бросая из стороны в сторону; и хотя вскорости меня отнесло к Гольдшейеру, время, которое ушло на это, показалось мне столь долгим, что я почти потерял надежду на спасение. Но когда миновал деревеньку Гольдшейер и уже приготовился к мысли, что меня живым или мертвым вынесет к страсбургскому мосту через Рейн, то завидел я большое дерево, выставившее из воды свои ветви совсем неподалеку от меня. Поток стремительно несся прямо на него; того

ради употребил я все остающиеся силы, чтобы подплыть к дереву, в чем мне была удача, ибо вода и мои старания посадили меня на большой сук, который я сперва принял за целое дерево. Однако кипение вод и волны так его терзали, что он беспрестанно трещал, отчего в животе моем происходило такое сотрясение, что, казалось, могло извергнуть легкие и печень. Я прежалостно держался на нем, ибо у меня диковинным образом зарябило в глазах; тут выворотило из меня наружу все, что я съел еще во Франции и Вестфалии; и меж тем, когда я блевал, словно пес у кожевника, штаны мои также стали полнехоньки, но все это добро тотчас смыли и унесли прочь волны Рейна, ибо сук, на котором я сидел, поминутно окунался в воду. Я и сам снова охотно бросился бы в воду, но здраво рассудил, что было бы недостойно мужчины не осилить того, что было сущей безделицей по сравнению с тем, что я уже выстоял; того ради принужден был остаться, питая непрочную надежду на нечаянное избавление, которое ниспошлет мне бог, ибо иначе придется мне распроститься с жизнью. Однако совесть моя не подавала мне к сему твердого упования. Меж тем как я выговаривал самому себе, что я уже не один год нерачительно пренебрегал такою спасительною благодатию, все же надеялся я на лучшее и принялся так истово молиться, как если бы получил воспитание в монастыре: я решил вести впредь благочестивую жизнь и давал различные обеты. Я отрекался от солдатской жизни и заклялся навеки от разъездов, также забросил патронташ и ранец и повел себя не иначе, как если бы вознамерился снова стать отшельником, дабы искупить грехи, воссылая благодарение божественному милосердию за чаятельное свое спасение. И меж тем, как я провел в таком страхе и надежде на том суку два или три часа, показался шедший вниз по Рейну тот самый корабль, который я должен был подстеречь. Тут принялся я прежалостно вопить и взывать о помощи ради самого бога и Страшного суда; и когда корабль проходил неподалеку от меня, а посему мое бедственное положение и опасность, в какой я находился, тем явственнее предстали очам, так что всех побудил к милосердию, ибо они тотчас же отправились к берегу, чтобы посоветоваться, как мне пособить.

И как по причине великого течения и водоворота, производимого корнями и сучьями дерева вокруг меня, нельзя было без опасности для жизни ни подплыть ко мне, ни приблизиться на большом или малом судне, то для моего спасения потребно было немалое время, чтобы поразмыслить. Тут всякий легко уразумеет, каково было у меня тогда на душе. Наконец послали они двух молодцов на челне, которые зашли по реке выше меня и бро-

сили мне по течению канат, оставив у себя один его конец; другой же конец выловил я с превеликим трудом и обвязал вокруг туловища так крепко, как только смог, и так потянули меня, как рыбу на удочке, сперва в челн, а потом доставили на корабль.

И когда таким образом по божией милости я избежал смерти, то, по справедливости, должен был на берегу пасть на колени и возблагодарить божественную благость за свое спасение, а также положить начало к исправлению, согласно зароку и обету, что я дал, обретаясь в жестокой беде. Но ах, жаль! Я, бедный человек, пренебрег сим. И когда меня спросили, кто я такой и как попал в такую опасность, то зачал так лгать, что небо могло почернеть, ибо я подумал: «Когда ты им откроешь, что намеревался их ограбить, они тотчас же снова бросят тебя в Рейн»; итак, выдал себя за выгнанного органиста и сказал, что когда я поспешил в Страсбург, чтобы подыскать за Рейном должность учителя или какое другое место, то меня захватил разъезд, обобрал и бросил в реку, которая и вынесла меня к этому дереву. И после того как я сумел всячески приукрасить эту ложь и подтвердить клятвами, мне в том крепко поверили, дали кушанье и питье, чтобы я мог подкрепить свои силы, в чем я тогда изрядно нуждался. У страсбургской таможни большинство людей сошло на берег и я вместе с ними; и когда я изъявлял им глубокую благодарность, то приметил среди прочих молодого купца, чье лицо, походка и мины позволяли заключить, что я не раз видел его и раньше, хотя и не мог вспомнить где, однако же догадался по разговору, что он был тот самый корнет, который (прежде сего) взял меня в плен. По правде, я не мог взять в толк, как из такого молодого бодрого солдата получился купец, особливо же потому, что он был прирожденный дворянин. Охота узнать, обманули меня глаза и слух или нет, побудила меня подойти к нему и сказать: «Мусье Шёнштейн, это он или не он?» А он мне ответил: «Я никакой не Шёнштейн, а купец». Тогда я сказал: «Так ведь и я не Егерь из Зуста, а органист или, вернее, нищенствующий побродяга».— «О брат! — воскликнул он.— Так какого черта тебе тут надобно? Где ты шатаешься?» Я сказал: «Когда самим небом тебе назначено было помочь спасти мне жизнь, как то уже случалось дважды, то, нет сомнения, мне суждено быть неподалеку от тебя». Засим взялись мы за руки, как два верных друга, которые прежде того поклялись во взаимной приязни до самой смерти. Я принужден был у него остановиться и все рассказать, что со мною сталось с тех пор, как я уехал из Л. в Кельн за своим сокровищем; не умолчал я и о том, каким образом отправился с разъездом подстерегать их корабль и что с нами приключилось. Однако ж о том, какую жизнь вел я

в Париже, молчал как рыба, из опасения, что он может проболтаться в Л., отчего наживу я у моей жены худую славу. В свой черед, и он открыл мне, что был послан гессенским генералитетом к герцогу Бернгарду, князю Веймарскому, по различным делам особливой важности касательно дел военных, дабы составить реляцию и учинить конференцию о предстоящей кампании и приготовлениях к оной, что все он должным образом исправил, и в обличье купца, как то я видел собственными очами, возвращается восвояси. Также рассказал он мне, что, когда уезжал, моя дражайшая была на сносях и находилась в добром здравии, равно как ее родители и родственники; item что полковник все еще сохраняет для меня прапор, и поддразнивал, уверяя, что как мое лицо сильно изрыла оспа, то моя жена и другие женщины в Л. еще более возомнят об Егере и встретят его с особливою куртуазностию и т. д. Засим уговорились мы, что я останусь с ним и с такою оказиею возвращусь в Л., чего я так сильно желал. И так как я был в лохмотьях, то он дал мне взаймы немного денег, чтобы я экипировался как лавочный слуга.

Но, говорят, чему не бывать, то и не случится. Сие сбылось и на мне, ибо когда мы плыли вниз по Рейну и наш корабль в Рейнхаузене был подвергнут визитации, то меня тотчас же опознали филиппсбуржцы, схватили и увезли в Филиппсбург, где я принужден был снова стать мушкетером, как и прежде, что весьма огорчило доброго моего корнета, равно как и меня самого, ибо нам пришлось разлучиться. Но он не посмел вмешаться в мои дела, ибо ему самому пришлось подумать о том, чтобы не попасться.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций решает прибегнуть к обману,
Не хочет поверить грехи капеллану.

Итак, благосклонному читателю уже ведомо, в какой опасности для жизни и здравия я находился. А что касается опасности для моего душевного спасения, то надобно знать, что, стоя под мушкетом, я порядочно одичал и стал человеком, который больше не печалуется ни о боге, ни о своем слове: не было такого злодейства и такой недоброй выходки, коих я не был бы способен совершить. Тут были забыты все милости и благодеяния, когда-либо ниспосланные мне богом; я не творил молитвы ни о временном, ни о вечном блаженстве, а, положась на старого императора, жил, как скот. Никто не поверил бы мне, что я воспитан был благочестивым отшельником. Редко посещал я церковь, и вовсе не для

исповеди; и так как нимало не помышлял о своем душевном спасении и всех божественных предметах, то тем горше досаждал своим ближним. Я порицал людей не только тайно, но оскорблял их явно, едва представится к тому случай. Где б ни довелось мне зацепить кого-нибудь, уж я не упущу того, и я даже похвалялся, что, почитай, никто не избежал моих насмешек. За это меня частенько дубасили, а еще чаще приходилось мне гарцевать на деревянном осле, и мне даже грозили виселицей и удавкой, но ничто не помогало: я продолжал безбожное житие, так что казалось, будто я поставил все на карту и со всем старанием мчусь прямо в ад. И хотя я и не свершил никакого злодеяния, коим заслужил бы себе смерть, однако ж был столь нечестив и порочен, что, не считая колдунов и содомитов, навряд ли можно было повстречать другого более беспутного человека.

Сие приметил наш полковой капеллан, и понеже он был поистине благочестивый пастырь, радевший о душевном спасении, то послал он на пасхальной неделе за мною, дабы узнать, чего ради я не явился к исповеди и не причащался святых даров. Я же после его многих чистосердечных увещеваний обошелся с ним так же, как перед тем с пастором в Л., так что сей добрый и честный господин не мог ничего от меня добиться. И когда казалось, что вода и елей были потрачены на меня напрасно, то сказал он напоследок: «О, бедный человек! Я-то думал, что ты заблуждаешься по неведению, ныне же примечаю, что ты закоснел в грехах по нечестию и злому умыслу. Ах, кто же, думаешь ты, возымеет сострадание к твоей бедной душе и пожалеет о ее погибели? Со своей стороны во всеуслышание объявляю перед богом и людьми, что не несу вины за твою погибель, ибо пекусь и буду неусыпно печься о том, чтобы обрести тебе вечное спасение. Но ежели бедная твоя душа покинет тебя в теперешнем твоем закоснении, то мне не останется ничего более, как погрести тебя не на освященной земле вместе с прочими благочестивыми христианами, а подле живодерни, куда сволакивают околевшую скотину, или же в таком месте, где закапывают таких же заблудших и умерших без покаяния».

Сия суровая угроза столь же мало подействовала на меня, как и прежде увещевания, и не по иной какой причине, кроме той, что я стыдился исповеди. О, какой же я был дурень! Я нередко рассказывал о своих проделках целой компании, да еще прилыгал к тому немало, а теперь, когда должен был покаяться и смиренно признаться в своих грехах одному-единственному человеку вместо бога, получить отпущение, то молчал, как ожесточившийся немой! Я молвил правильно: ожесточившийся, ибо и впрямь ожесточился, сказав в ответ: «Я служу императору как солдат,

и когда я умру по-солдатски, то не диво, что меня, подобно другим солдатам (коих отнюдь не всегда погребают на освященной земле, а частенько где-либо на поле, в канавах, а то и в желудках волков и воронов), похоронят не на церковном кладбище».

Итак, отошел я от сего духовного лица, который со всем своим святым усердием о спасении моей души ровнешенько ничем от меня не поживился, кроме того, что однажды я преподнес ему зайца, о чем он часто просил меня под тем предлогом, что ему не подобает самому ставить силья, ибо если петля захлестнет его самого и лишит жизни, то будет неприлично предать его как удавленника погребению на освященной земле.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций встречает Херцбрудера снова,
Незыблемо дружбы и верности слово.

Итак, мое исправление в нравах не воспоследовало, и я, напротив, час от часу становился все непутевее. Однажды полковник сказал мне, что так как я не хочу вести себя добропорядочно, то он с позором прогонит меня, как негодяя. Но понеже я хорошо знал, что это сказано не взаправду, то ответил ему: «Сие не токмо что с легкостию и без особливых издержек учинить можно, но и без ущерба для меня самого, когда только он соблаговолит отпустить со мною помощника профоса». Итак, оставил он все по-прежнему, ибо отлично уразумел, что меня нельзя застращать наказанием, а можно удержать только добром, дав мне полную волю; а посему принужден был я скрепя сердце остаться мушкетером и терпеть голод, покуда не наступило лето. Однако чем ближе придвигался со своею армиею граф фон Гёц, тем более приближалось мое освобождение, ибо когда он расположил главную свою квартиру в Брухзале, то мой Херцбрудер (коему я как верный друг помог деньгами в лагере под Магдебургом) был послан генералитетом с некоторыми поручениями в нашу крепость, где его приняли с превеликим почетом. Я как раз стоял на карауле перед покоями полковника, когда там давали славную пирушку; и хотя Херцбрудер был одет в черный бархатный камзол, я тотчас узнал его с первого взгляда, однако ж не отважился тотчас же заговорить с ним, ибо опасался, что он при таком стечении важных гостей постыдится меня или же вообще не захочет со мною знаться, ибо, судя по платью, был в больших чинах, я же был вшивым мушкетером. Но меня сменили, я справился у слуги об имени и

звании его хозяина, дабы быть в совершенной уверенности, что не принял за него другого, но и тут не собрался с духом заговорить с ним, а написал ему нижеследующее письмецо, которое поутру отдал для вручения его камердинеру:

«Monsieur etc. Когда высокородному моему господину угодно будет также и ныне спасти из наибедственнейшего в свете положения, в которое забросила его игра непостоянной Фортуны, того, кого он однажды своею доблестию избавил от уз и оков во время битвы при Виттштоке, то сие не токмо не потребует от него особливых трудов, но и доставит ему вечно благодарного и без того повсегда преданного ему слугу, ныне же наинесчастнейшего и покинутого

С. Симплициссимуса».

Едва прочитал он сию цидулку, как велел тотчас же впустить меня и сказал: «Земляк, а где тот малый, что дал тебе это письмо?» Я отвечал: «Господин, он сидит в плену в сей крепости».— «Ладно,— сказал он,— так ступай к нему и скажи, что я намерен ему пособить, даже если на него уже надели петлю!» Я сказал: «Господин, к тому нет нужды, однако ж благодарю за такую редкостную готовность». И понеже я видел, что он столь снисходителен, то продолжал свою речь и сказал: «Я ведь тот самый бедный Симплициус, который пришел теперь, чтобы возблагодарить за избавление у Виттштока, а также и с просьбою снова освободить его от мушкета, который принужден был взять противу своей воли». Он не дал мне всего досказать и, обняв меня, уверил, сколь готов он оказать мне помощь. Одним словом, он сделал все, что только может сделать верный друг; и, еще не расспросив меня, как я попал в крепость и принужден был нести такую службу, послал он своего слугу к тамошним евреям купить для меня коня и платье. Меж тем поведал я ему, что со мной приключилось с того времени, как его отец умер под Магдебургом, и когда он услышал, что я и был тот самый Егерь из Зуста (о котором он немало наслышался хвалебных солдатских россказней), то пожалел, что не узнал об этом раньше, ибо уже тогда мог бы пособить мне получить хорошее местечко.

А когда явился еврей, навьюченный целым ворохом всевозможного солдатского платья, то Херцбрудер выискал для меня самое лучшее, велел мне его надеть и отправился вместе со мною к полковнику. И он сказал ему: «Господин! В вашем гарнизоне встретил я сего стоящего перед вами солдата, коему я обязан столь многим, что не могу допустить, чтобы он оставался в столь низком звании, хотя бы он по своим качествам и не заслуживал лучшего;

того ради прошу господина полковника, не соизволит ли он доставить мне такую угодность: либо обеспечить ему лучшее произвождение, либо разрешить мне взять его с собою, чтобы помочь продвинуться по службе в армии, к чему, быть может, господин полковник здесь и не располагает случаем». Полковник перекрестился от удивления, когда услышал, что кто-то меня похвалил, и затем сказал: «Да не прогневается высокочтимый мой господин, ежели я думаю, что ему угодно только испытать меня, готов ли я услужить ему так же, как он того стоит; и когда он так мыслит, то пусть потребует что-либо другое, что находится в моей власти, дабы оказать ему всю мою готовность. А что касается до этого малого, то, по его словам, он собственно принадлежит не мне, а к полку драгун, да к тому же это детина столь дурной и замысловатый, что с тех пор, как он здесь, у моего профоса прибавилось работы больше, чем прежде было на весь полк, так что я и впрямь думаю, что его ни в какой воде не утопить!» Кончил на сем свою речь, засмеявшись и пожелав мне успехов на поле брани.

Однако ж сего было моему Херцбрудеру не довольно, и он попросил еще полковника, не будет ли он против того, чтобы пригласить меня к столу, на что получил согласие. А в довершение всего рассказал в моем присутствии полковнику все, о чем наслышался обо мне в разговорах от графа фон дер Валя и коменданта в Зусте, расписав таким родом, что все присутствовавшие должны были почесть меня наилучшим солдатом. Притом я держался так скромно, что полковник и его подчиненные, которые знавали меня прежде, не могли иначе подумать, как то, что вместе с новым платьем я стал совсем другим человеком. А когда полковник пожелал узнать, откуда ко мне пристало прозвище «Доктор», как меня тогда обыкновенно называли, то поведал я обо всем своем путешествии от Парижа до Филиппсбурга и сколько мужиков я обманул, чтобы насытить свою утробу, чему они немало посмеялись. Наконец признался напрямик, что возымел намерение всяческими злокозненными инвенциями, наглостью и докуками так его, полковника, истомить и измучить, чтобы он в конце концов принужден был спровадить меня из гарнизона, дабы обрести покой и избавиться от множества нареканий на меня.

Засим рассказал полковник о несчетных проделках, которые я учинил за то время, что находился в гарнизоне, а именно, как я наварил гороху, сверху залил топленым салом и продал за подлинный шмальц; item полный мешок песку за чистейшую соль, наложив песок на дно, а сверху насыпав соли; далее, как я водил за нос то одного, то другого и донимал народ всякими пашквилями, так что во весь обед только обо мне и шла речь, что породило изумление и немало смеху. Однако ж не будь у меня столь значи-

«Симплициссимус». Книга четвертая, глава пятая.

тельного друга, то все бы мои деяния почтены были бы достойными наказания. При сем случае получил я надлежащий пример того, как ведется при дворе, когда иной негодный плут в фаворе у короля.

К тому времени, когда окончилась трапеза, еврею не удалось раздобыть лошади, как о том распорядился Херцбрудер, но понеже он был в такой чести, то полковник, не желая лишиться его благоволения, одарил его из своей конюшни, придав также седло и сбрую, на какового коня воссел господин Симплициус и вместе с любезным Херцбрудером поскакал из крепости. Некоторые камрады кричали ему вдогонку: «Счастливого пути, брат, счастливого пути!» Другие же, завидуя моему счастию, говорили с ненавистью: «Удачливый плут не наденет хомут!»

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций попал в лихую компанью,
О ней повествует со всем стараньем.

По дороге Херцбрудер уговорился со мною, что я буду выдавать себя за его двоюродного брата, дабы приобрести себе больше уважения; к тому же обещал он мне промыслить еще одну лошадь вместе с конюхом и отправить меня в Нейнекский полк, где я могу определиться свободным рейтаром, покуда в армии не освободится офицерская должность, занять которую он мне поможет.

Итак, снова против всякого чаяния я скоропалительно стал таким молодцом, который не уступит ни одному доброму солдату; однако ж тем летом не учинил ничего особенного, не считая того, что то там, то здесь в Шварцвальде помогал угонять коров и порядком изведал местность в Брейсгау и Эльзасе. Во всем же прочем звезда моя потускнела; ибо с тех пор, как под Кенцингеном веймарцы полонили моего конюха вместе с лошадью, принужден был я своего второго коня так жестоко гонять, что заездил его до смерти, так что должен был сопричислить себя к ордену братьев мародеров. И хотя Херцбрудер охотно помог бы мне снова экипироваться, но понеже я так скоро распростился с первыми лошадьми, то удержался и решил дать мне побарахтаться, покуда я научусь получше распоряжаться своим добром. Да и я этого от него не домогался, ибо обрел у своих новых сотоварищей столь приятную компанию, что, покуда мы не стали на зимние квартиры, и не желал для себя лучшего промысла.

Мне все же надобно малость порассказать, что за народ братья мародеры, ибо, нет сомнения, найдутся такие, особливо же не

изведавшие войны, кому ничего о них не известно. И мне самому до сих пор еще не повстречался ни один писака, который в своих сочинениях сообщил бы что-нибудь об их повадках и обычаях, правах и привилегиях, невзирая на то что было бы весьма полезно не только теперешним полководцам, но и мужицкому сословию знать, что это за цех такой. Во-первых, что надлежит до их прозвища, то я не хотел бы думать, что оно позорит честь того самого храброго кавалера, под командой коего они его получили, иначе я не стал бы столь открыто навязывать сие на нос первому встречному. Мне довелось видеть особого рода башмаки, на коих вместо дырок были понаделаны кривые швы; их называли мансфельдовыми башмаками, ибо изобрели их мансфельдовы конюхи, чтобы удобнее было шлепать по навозу. Но ежели по сей причине кому вздумается самого Мансфельда обругать навозным сапожником, того я почту диковинным сумасбродом. Точно так же нужно понимать и это прозвище, которое не забудется, покуда немцы воюют. Но тут сокрыто особливое обстоятельство. Когда помянутый кавалер привел в армию новонавербованный полк, то его молодцы были так слабы, что, подобно французским бретонцам, едва держались на ногах, так что не могли выдержать ни маршей, ни иных тягот, которые должен переносить в поле солдат; того ради их бригада была такой слабой, что едва могла прикрыть знамя; и бывало, где только ни повстречают — на базаре, в дому или за тыном и забором — такого больного либо увечного ткача-основу да спросят: «Какого полку?», то получат в ответ: «Мероде!» Отсюда и повелось, что под конец всех, будь кто болен или здоров, ранен или целехонек, ежели только отбился от походной колонны и не залег на биваке вместе со своим полком, стали звать братьями мародерами, каковых молодцов прежде прозывали кабанниками да медорезами. Ибо они, подобно трутням в ульях, что, утратив свое жало, больше ни к чему не годны, не приготовляют меда, а только жрут его. Когда рейтар лишится своего коня, а мушкетер здоровья, или заболеют у него жена и ребенок и он захочет с ними остаться, то вот и готово еще несколько мародеров, той самой сволочи, которую ни с чем лучше нельзя сравнить, как с цыганами, ибо они не только по своей воле шатаются всюду в армии и вокруг нее, но еще и схожи с ними своими нравами и повадками. Вот они целым выводком посиживают друг подле друга (как рябчики зимою) где-нибудь под забором в холодке или, по своему обыкновению, на солнышке или разлеглись у костра, покуривают трубочки, лодырничают, когда заправский солдат где-либо в ином месте претерпевает жару, жажду, голод, мороз и всевозможные напасти. А там выступает целая ватага, чтобы поразжиться всяким добром, в то время как бедный солдат изнывает от усталости под тяжестью

оружия и вот-вот рухнет и испустит дух. Они рыщут повсюду, тащат все, что подвернется впереди, вокруг и позади войска; а чем не могут попользоваться, то портят. Так что солдаты, следующие с полком, когда занимают квартиры или становятся лагерем, то частенько не найдут и глотка воды; а когда помянутая братия вздумает где-либо осесть со своим багажом, то частенько оказывается, что он потяжеловесней, чем вся армия. И когда они всем скопом маршируют, квартируют, таборуют и торгуют, то нет у них ни вахмистра, чтоб подавать команду, ни фельдфебеля или экзекутора, чтоб наложить им по горбу или, вернее, себе в торбу, ни капрала, который бы их будил, ни барабанщика, который бы им зорю бил и напоминал о караулах и патрулях, словом, никого, кто бы заместо адъютанта расставлял их в баталии или заместо фурьера разводил по квартирам, так что они жили, как бароны. Но когда дело доходило до раздачи солдатского пайка, то они получали его первыми, хотя вовсе того не заслужили. Напротив того, начальники караулов и главные смотрители в лагере были для них сущею чумою, ибо, когда они чересчур разбушуются, накладывали им на руки и на ноги железные оковы, а то и жаловали их пеньковым воротником да приказывали вздернуть за разлюбезную шею.

И они не несли караулов, не рыли шанцев, не ходили на приступы и не становились ни в какие боевые порядки и, однако, находили себе пропитание! А какой урон был от них полководцу, селянину и самой армаде, в коей скопилось много подобной сволочи, то и описать невозможно. Самый никудышный конюх у рейтара, который ничего другого и не делает, как только добывает фураж, куда полезней для полководца, нежели тысяча братьев меродеров, превративших сие дело в промысел и безо всяких трудов провождающих свое время в праздности. Их угоняет в плен противник, а кое-где им крепко дают по рукам мужики, по каковой причине армия редеет, а враг матереет; и когда такой беспутный лежебок (я разумею тут не бедных больных, а пеших рейтаров, которые нерачительно губят своих лошадей и затем идут в меродеры, чтобы спасти свою шкуру, холить свою лень и нежиться в праздности) за лето отобьется, то с ним приходится поступать не иначе, как заново экипировать к зиме, чтобы в будущем походе он опять что-нибудь потерял. Надобно их всех сажать на одну веревку, как гончих собак, и учить воевать, сидючи в гарнизоне, а то и приковывать к галерам, коли они не хотят нести службу своему господину в пешем строю, покуда снова не заполучат коня. Я здесь умалчиваю о том, сколько деревень было ими спалено как от нерадения, так и с умыслом, сколько молодцев из своей армии они поснимали с лошадей, ограбили, тайно обворовали, а то и поубивали, сколько заводилось среди них шпионов, едва только кто-

нибудь из них прознает, как называется один полк или отряд во всей армаде. Подобным честным молодцем был я тогда и оставался таким до самой битвы под Виттенвейером, когда главная квартира была расположена в Шюттерне; а когда я вместе с несколькими камрадами отправился в Герольдек, намереваясь угнать коров или быков, как то было у нас в обычае, то меня самого захватили веймарцы, которые умели лучше обходиться с такими молодцами, ибо они взвалили нам на плечи мушкеты и рассовали по полкам. Я попал к солдатам, что находились под командою полковника Хатштейна.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций дерется с разбойником лютым,
Обоим в той схватке приходится круто.

Вот тогда-то я и смог уразуметь, что рожден для несчастия, ибо примерно за четыре недели до помянутого сражения услышал я, как несколько зауряд-офицеров промеж себя толковали о войне; тут сказал один: «Без потасовки это лето не пройдет! Побьем мы врага, так будущей зимой заберем Фрейбург и Лесные города; а ежели поколотят нас, то все едино получим зимние квартиры». Из сего предсказания сделал я верное заключение и сказал самому себе: «Ну, Симплиций, радуйся, будешь ты по весне попивать доброе заморское и пеккарское винцо и попользуешься всем, что заполучат веймарцы». Однако ж я весьма обманулся, ибо с того самого часа, как я стал веймарцем, был я приуготовлен судьбою осаждать Брейзах, понеже сия осада была полностью произведена тотчас же после многократ упомянутого сражения под Виттенвейером, и тогда я, подобно другим мушкетерам, принужден был день и ночь нести караул да рыть шанцы и не приобрел от сего никакой пользы, кроме того, что научился, как надлежит делать вокруг крепости апроши, на что под Магдебургом мало обращал внимания. Во всем прочем дело мое было вшивое, понеже вши сидели на мне в два, а то и в три ряда, одна на другой, кошелек мой был пуст и празден; вино, пиво и мясо стали сущими раритетами, яблоко и жесткий заплесневелый хлеб (да и то в обрез) — вот что служило мне заместо лакомой дичины.

Сие было мне весьма несносно, по каковой причине помышлял я о египетской мясной похлебке, сиречь о вестфальской ветчине и копченых колбасках в Л. Я никогда не думал так много о своей жене, как в то время, когда лежал в своей палатке, почти окоченев от мороза. Тогда-то частенько говорил я самому себе: «Ну, Симплициус, впрямь ли ты думаешь, что тебе будет оказана

несправедливость, ежели кто-нибудь отплатит тебе тем же, что чинил ты в Париже?» Подобными мыслями терзал я самого себя, как всякий ревнивый рогоносец, тогда как мог быть уверен, что моей жене приписать возможно одну токмо честь и добродетель. Под конец сделался я столь нетерпелив, что открылся своему капитану, как обстоят мои дела, отправил также с почтою письмо в Л. и в ответ получил от полковника С. А. и моего тестя известие, что они подавали прошение князю Веймарскому и добились того, что мой капитан отпустит меня с пашпортом.

Примерно за полмесяца до рождества замаршировал я с добрым мушкетом за плечами из лагеря вдоль Брисгау в намерении получить во время той же святочной ярмарки в Страсбурге двадцать талеров, посланных мне тестем, а затем отправиться вместе с купцами вниз по Рейну, ибо по пути было расположено немало имперских гарнизонов. Но когда я проходил мимо Эндингена и приблизился к одному дому, то в меня выстрелили, да так, что пуля прострелила край моей шляпы и вслед за сим тотчас же выскочил из дома дюжий широкоплечий детина и заорал, чтобы я сложил оружие. Я отвечал: «Клянусь богом, землячок, не подумаю!» и взвел курок. Он же выхватил из ножен вещичку, коя скорее походила на меч палача, нежели на шпагу, и поспешил ко мне. А как я приметил, что тут дело нешуточное, то выстрелил и так залепил ему в лоб, что он завертелся кубарем и под конец рухнул наземь. И дабы не оплошать, я быстро вырвал у него из кулачища меч и собрался вонзить в его тушу; но сие мне не удалось, ибо он внезапно вскочил на ноги и сгреб меня в охапку, а я его; однако его меч я уже отбросил в сторону, и он не мог им воспользоваться. Тут пошла у нас столь серьезная потеха, когда каждый со всем ожесточением напрягал силы, однако ж никто не мог одержать верх. То я лежал под ним, то он подо мною, то в мгновение ока мы оба были на ногах, но не долго, ибо каждый хотел смерти и погибели другого. Кровь то и дело заливала мне нос и рот, и я отплевывал ее в лицо врагу, который так сильно ее жаждал; сие пошло мне на пользу, ибо мешало ему видеть. Итак, катали мы друг друга в грязи и снегу часа полтора и до того умучились, что бессилие одного не могло одолеть усталость другого одними кулаками, и никто не мог только своею силою безо всякого оружия убить другого до смерти.

Борецкое искусство, в коем я частенько упражнялся в Л., пришлось мне тогда весьма кстати, ибо иначе, нет сомнения, я был бы в накладе и задал карачуна, ибо мой враг оказался куда сильнее меня и крепок, как скала. И когда мы друг друга истомили почитай что до смерти и мне уже больше недоставало силы держать под собою противника, он наконец взмолился: «Уймись, братец,

сдаюсь под твою власть!» Я сказал: «Сперва тебе надобно было мне уступить дорогу!» — «Какая тебе прибыль,— отвечал он,— оттого что я умру?» — «А что бы ты приобрел, ежели бы меня пристрелил, ведь у меня все равно нет ни единого геллера в мошне?» На сии слова попросил он у меня прощения, так что я умягчился и дозволил ему подняться, после чего он поклялся мне всеми правдами, что не токмо будет соблюдать мир, но и хочет стать моим верным другом и слугою. Однако ж я не верил ему и не полагался на его слова, ибо мне памятны были учиненные им бездельнические поступки и злодейские ухватки.

Когда мы оба поднялись, то подали друг другу руку, обещаясь предать забвению все, что произошло, и взаимно дивились, что сыскался такой мастак, ибо каждый мнил и воображал о себе не иначе, как если бы наши шкуры были заколдованы от ран. Я постарался оставить его в сей уверенности, чтобы он, ежели бы я отдал ему оружие, еще раз не попытался на меня насесть. От моего выстрела он заполучил большую шишку на лбу, а я был весь в крови; но ничему так не досталось, как нашим загривкам, которые так были разделаны, что ни один из нас не мог как следует поднять голову, столь изрядно таскали мы друг друга за волосы.

А как время шло к вечеру, то и мой противник сказал мне, что я не повстречаю да самого Кинцинга ни единой кошки или собаки, а еще меньше того какого-нибудь человека; он же живет неподалеку от дороги в уединенном домике и может предложить добрый кусок жаркого и глоток винца, так что я позволил себя уговорить и отправился вместе с ним, меж тем как он то и дело со многими вздохами уверял, сколь ему горестно, что он меня оскорбил.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций, взяв верх, узнает в изумленье,
С кем дрался в лесу он в таком озлобленье.

Бравый солдат, который посвятил себя тому, чтобы подвергать опасности свою жизнь и мало о ней печалиться, подобен самой глупой скотине, что, словно овца, дозволяет вести себя на бойню. Можно перебрать тысячу молодцов, среди коих не сыщешь ни одного, кто б отважился пойти неведомо куда в гости к человеку, который только что напал на него как убивец. Я спросил по дороге, в чьем он войске; тогда он сказал, что теперь нет над ним господина, а воюет он за самого себя; и, в свой черед, захотел узнать, чей я буду. Я ответил, что был веймарским, а нынче полу-

чил абшпд и намерен податься домой. Засим спросил он, как меня зовут, и когда я ответил: «Симплициус», то обернулся ко мне (ибо я, не доверяя ему, пустил его впереди себя) и пристально поглядел мне в лицо. «А не зовут ли тебя еще Симплициссимусом?» — «Да,— сказал я в ответ,— тот негодяй, кто отрекается от своего имени. А как зовут тебя?» — «Ах, брат! — сказал он.— Я Оливье, которого ты знавал под Магдебургом»,— отшвырнул в сторону мушкет и пал на колени, умоляя простить его за то, что он вознамерился так худо поступить со мною, сказывая, что он не может и помыслить, что обретет когда-либо в целом свете лучшего друга, ибо я должен доблестно отомстить за его смерть, как предвещал старый Херцбрудер. Я же, напротив, не мог надивиться столь редкостной встрече, но он сказал: «Сие не в диковинку; это лишь гора с долиной никогда не сходятся; но удивительно мне то, что мы оба столь переменились, понеже из секретаря и бравого офицера сделался я лесным рыболовом, а ты из забавного дурня храбрым солдатом. Эх, когда б удалось собрать тысяч десять таких молодцов, как ты да я, то, поверь, мы уже завтра поутру взяли бы Брейзах, а в конце концов овладели бы всем светом».

Посреди такого дискурса дошли мы, когда уже наступила ночь, до небольшой уединенной хижины, где обычно живут поденщики, и хотя мне претило подобное хвастовство, однако ж я ему поддакивал, особливо же как мне был ведом его лукавый, притворный нрав. Мне надобно было поддерживать расположение его духа, дабы он не учинил вероломства, покуда я от него не избавлюсь. И хотя я не верил ему ни на волос, однако ж последовал за ним в сказанную хижину, где в то время какой-то мужик топил печку. Оливье спросил: «Ты чего-нибудь сварил?» — «Нет,— отозвался мужик,— но у меня припасен жареный телячий огузок, что я сегодня раздобыл в Вальдкирхе».— «Ну, ладно,— сказал Оливье,— ступай и волоки сюда все, что у тебя завелось, да прихвати еще бочонок вина!»

А когда мужик ушел, то я сказал Оливье: «Брат (я назвал его так, чтоб уверенней быть от него в безопасности, хотя не прочь был свернуть ему шею, чтобы отомстить за Херцбрудера, когда б только мог сие учинить), у тебя усердный трактирщик».— «Плуту повезло,— сказал он,— я кормлю всю его семью, а к тому же он и сам весьма добычлив. Все платье, которое мне достается, я отдаю ему на потребу». Я спросил, а куда мужик подевал свою жену и детей, на что Оливье ответил, что хозяин спровадил их во Фрейбург, где навещает два раза в неделю и привозит оттуда съестные припасы, порох и дробь. Далее поведал он мне, что давненько промышляет разбоем и теперь ему куда лучше живется, нежели когда он служил какому-либо господину, так что он не

намерен оставить этот промысел, покуда не набьет хорошенько мошну. Я сказал: «Брат, ты пустился в опасное ремесло, и когда тебя захватят за разбоем, то как, мнишь, с тобою поступят?» — «Ба,— воскликнул он,— что я слышу! Ты все еще прежний Симплициус; а что до меня, то я знаю: когда играют в кегли, надо ставить на кон. Но тебе надобно знать, что господам в Нюрнберге, прежде чем кого повесить, нужно его сперва заполучить». Я отвечал: «Но положим, брат, что тебя не поймают (что, однако ж, весьма сумнительно, ибо известно — повадился кувшин по воду, сломить ему голову), то все же жизнь, которую ты ведешь, наибесчестнейшая во всем свете, так что я не поверю, чтобы ты желал закоснеть в ней до самой смерти».— «Что,— воскликнул он,— бесчестнейшая? Да уверяю тебя, бравый мой Симплициус, что разбойничество — это самое наиблагороднейшее ремесло во всем свете, какое только может быть в наше теперешнее время. Скажи-ка мне, много ли королевств или княжеств не добыто или не приобретено разбоем? И где, и какому королю или князю почли позором или поставили в вину, когда он пользуется доходами со своих земель, кои все добыты или приобретены разбоем? А что еще можно назвать благороднее того промысла, в который я теперь пустился? Разве не видишь ты каждодневно своими очами, как даже величайшие венценосцы то и дело грабят друг друга? Разве ты не видишь, как сильнейший норовит запихать в мешок более слабого? Я примечаю, что ты охотно возразил бы мне, многих таких за учиненные ими убийства, разбой и татьбу колесовали, перевешали, обезглавили; про то я знаю наперед, ибо так повелевают законы; однако ты не увидишь на виселице никого, кроме бедных и ничтожных воришек, что и справедливо, ибо они покусились на столь превосходное дело, которое приличествует и подобает только храбрым душам. Доводилось ли тебе когда-либо видеть, чтобы юстиция покарала какую-нибудь знатную персону за то, что она чересчур отягощала свою страну? Да что там, разве наказан хоть один ростовщик, который тайно предается этому дивному искусству, и притом еще под покровом христианской любви! Разве достоин я наказания, когда по доброму старонемецкому обычаю открыто занимаюсь своим ремеслом без малейшего притворства и утайки? Любезный Симплициус, ты еще не читал Макиавелли. Я человек прямодушный и предаюсь сему образу жизни с полной откровенностью и безо всякой боязни. Я сражаюсь и подвергаю опасности свою жизнь, подобно героям древности, притом знаю, что деяния, при коих творящий их подвергает себя опасности, допустимы. А понеже я подвергаю свою жизнь опасности, то из сего неопровержимо следует, что и мое упражнение в сем искусстве дозволительно и справедливо».

На это я отвечал: «Положим, татьба и разбой, будь они тебе дозволены или нет, как мне ведомо, противны закону натуры, по коему ни один не должен чинить другому того, чего не хочет, чтобы причинили ему самому. И подобные несправедливые поступки также противны и мирским законам, которые повелевают вешать татей, рубить головы разбойникам и колесовать убийц. И напоследок, сие также противно богу, что важнее всего, ибо он ни единого греха не оставляет без воздаяния».— «Сие означает, как я уже говорил прежде, что ты все еще Симплициус, который не штудировал Макиавелли,— отвечал мне Оливье,— а когда мог бы я на таковых принци́пах основать монархию, то желал бы поглядеть, кто потом стал бы мне против сего особо проповедовать». Мы немало еще диспутировали бы о сем предмете, но подоспел мужик с кушаньем и питьем, и мы уселись за стол и насытили наши утробы, что мне тогда было весьма надобно.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций рядится в новое платье,
Ему Оливье набивается в братья.

Трапезой послужил нам белый хлеб и жареный холодный телячий огузок; а при сем еще добрый глоток вина и вдобавок теплая комната. «А что, Симплициус,— сказал Оливье,— здесь получше, нежели в апрошах под Брейзахом?» Я ответил: «Конечно, когда б только можно было вести такую жизнь с большею честию и в некоторой безопасности». На что он расхохотался во все горло и сказал: «А разве бедняги, что сидят в апрошах, пребывают в большей безопасности, нежели мы, и не приходится ли им каждую минуту ждать вылазки? Любезный Симплициус, я, правда, вижу, что ты сбросил дурацкий колпак, однако сохранил на плечах дурацкую башку, а ей никак невдомек, что хорошо, а что худо; не будь ты Симплициус, который, согласно предвещанию старого Херцбрудера, должен отомстить за мою смерть, то ты б у меня сразу согласился, что я веду благородную жизнь, не хуже иного барона». Я подумал: «Что-то будет? Тут надобно выбирать другие слова, а не то сей изверг с такой подмогой, как этот мужик, тебя укокошит». А потому сказал: «Слыханное ли дело, чтоб подмастерье лучше понимал ремесло, нежели сам мастер? Вот что, брат, раз уж, по твоим словам, ты ведешь столь благородную и счастливую жизнь, то ради старого нашего товарищества приобщи меня к своему благополучию, ибо неотменное счастие мне весьма надобно». На что отвечал Оливье: «Брат, будь уверен, что я люблю тебя

столь же свято, как самого себя, и то оскорбление, какое я нанес тебе сегодня, причиняет мне еще горшую боль, нежели твоя пуля, которая задела мой череп, когда ты защищался от меня, как подобает удалому молодцу; чего ради мне негоже тебе в чем-либо отказывать. Оставайся у меня, коли это тебе любо; я буду о тебе заботиться, как о себе самом; а коли нет у тебя охоты, то дам тебе деньжат и провожу туда, куда ты пожелаешь. А чтобы ты уверился, что сии слова идут от чистого сердца, то поведаю тебе, по какой причине я так искренне полюбил тебя и так высоко ценю, хотя почитать кого-либо вовсе не в моем обыкновении. Ты, конечно, помнишь, как верно все предвещал старый Херцбрудер; вот, видишь, под Магдебургом он сделал предсказание, которое я до сих пор прилежно храню в памяти: «Оливье, погляди хорошенько на нашего дурня, придет час, когда он своею храбростию вселит в тебя страх и выкинет с тобой такую штуку, какой не доведется тебе повстречать за всю свою жизнь, ибо ты его к тому понудишь в такое время, когда вы оба не узна́ете друг друга. Однако он не только дарует тебе жизнь, которая будет всецело в его власти, но и по прошествии некоторого времени явится на то место, где тебя убьют; и будет там столь удачлив, что как победитель отомстит за твою смерть». И вот, любезный Симплициус, ради этого прорицания готов я разделить с тобою последнюю рубашку, и подобно тому как уже исполнилась первая часть его предвещания о том, что я неведомо для себя самого подал тебе причину выстрелить, как и подобает бравому солдату, мне прямо в голову и отнять меч, чего, разумеется, еще никто со мной не учинил, а также даровать мне жизнь, когда я лежал под тобою и истекал кровью, то и не сомневаюсь, что точнехонько сбудется и все остальное, что было предсказано о моей смерти. И сие отмщенье позволяет мне, любезный брат, заключить, что ты мне самый верный друг и станешь им еще больше, ибо не будь ты таковым, то и не обременил бы себя сей местью. Вот перед тобою раскрыт чертеж моего сердца, а теперь скажи мне, что ты предпринять намерен». Я помыслил: «Пусть тебе сам черт поверит, только не я! Ежели возьму я у тебя денег на дорогу, то ты, чего доброго, меня укокошишь, а останусь с тобой, должен буду опасаться, чтобы нас вместе не четвертовали». А посему решил провести его за нос и остаться у него, покуда не представится случай улизнуть; того ради сказал, что ежели он готов снести мое присутствие, то хотел бы пробыть у него покамест с недельку, дабы посмотреть, приобыкну ли я к такой жизни; полюбится она мне, то он получит во мне верного друга и исправного солдата, а не полюбится, то мы можем во всякое время подобру разойтись. Тут приступил он ко мне с вином; я же не доверял ему и представился упившимся до того, как

захмелел, чтобы увидеть, не учинит ли он мне какой каверзы, когда я больше не смогу защищаться.

Меж тем меня изрядно допекали живульки, коих я порядком набрался в Брейзахе; ибо они отошли в тепле и не хотели больше довольствоваться моими лохмотьями, а выбрались наружу, чтобы разгуляться на воле. Сие приметил Оливье и спросил, не завелись ли у меня вши. Я ответил: «Конечно, и даже больше, чем я когда-либо в жизни нахватаю дукатов».— «Ну, не зарекайся! — сказал Оливье.— Когда ты у меня останешься, то заполучишь больше грошей, чем теперь у тебя вшей». Я ответил: «Это столь трудно, как избыть вшей, что меня сейчас безжалостно точат».— «Эва,— воскликнул он,— будет и то и другое!» — и тотчас же велел крестьянину принести платье, которое было запрятано в дупле неподалеку от дому. Там были серая шляпа, рейтарский колет из лосиной кожи, пара красных кармазиновых штанов и серый камзол; чулки и башмаки он обещал дать мне утром. Увидав такое его благодеяние, я возымел уже к нему большее доверие и весело пошел спать.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций идет с Оливье на добычу,
Не хочет одобрить безбожный обычай.

Рано поутру Оливье сказал: «Вставай, Симплициус! Пойдем во имя божие поглядим, чем можно будет поживиться!» — «Боже мой! — подумал я.— Неужто должен я с твоим пресвятым именем отправиться на разбой? Да и прежде, с тех пор как оставил отшельника, не был я столь дерзок, чтоб без содрогания мог услышать, как один зовет другого: «Пойдем-ка, брат, разопьем во имя божие чарку вина», ибо почитал двойным грехом, когда кто-либо напьется во имя твое! Отец небесный, о, сколь же я переменился! Преблагий боже, кем же я стану, ежели не обращусь на путь правый? Пресеки же неправедную стезю, что приведет меня прямо в ад, ежели я не покину ее и не покаюсь!» С такими словами и мыслями последовал я за Оливье в деревню, где не было ни единой живой души; там взобрались мы для лучшего обозрения местности на колокольню, так что святой храм послужил нам заместо разбойничьего замка или вертепа. Здесь схоронил он чулки и башмаки, которые обещал мне вечером, а также два каравая хлеба, несколько кусков вяленого мяса и полбочонка вина, с каковым запасом он мог тут за милую душу отсидеться целую неделю. Меж тем, покуда я натягивал на себя его подарки, поведал он мне, что имеет обыкновение подстерегать хорошую добычу, того ради он

и запасся тут провиантом, присовокупив, что у него есть еще несколько таких же удобных пристанищ, кои все обеспечены снедью и напитками на тот случай, когда из одного места уйдет святой Влас, он мог бы сыскать его в другом. Правда, я принужден был похвалить его благоразумие, однако ж дал ему понять, что не нахожу пристойным подобным образом осквернять благое место, которое посвящено богу. «Что,— воскликнул он,— осквернять? Церкви, когда только могли бы они заговорить, поведали бы, что все учиненное мною в их стенах почесть можно сущею безделицею по сравнению с теми беззакониями, что творились там прежде. Как ты легко рассудить можешь, сколько всякого люда, мужчин и женщин, входило в сей храм с тех пор, как он был воздвигнут под видом служения богу лишь затем, чтобы покрасоваться новым платьем, взрачною фигурою, высоким саном, да мало ли еще чем! Вот приходит в церковь некий человек, разряженный, как павлин, и подступает к самому алтарю, словно хочет отбить всех святых от царствия небесного; там стоит в уголку другой и вздыхает, словно мытарь в храме, однако ж его вздохи предназначены его возлюбленной, в очи которой он не может наглядеться, и ради нее он сюда и пришел. А третий прибрел в церковь, когда ему вздумалось, со связкою долговых писем, словно тот, кто собирает деньги на погорельцев, лишь для того, чтобы напомнить о себе своим должникам, а не затем, чтобы молиться; когда бы он не знал, что его должники соберутся в церковь, то преспокойно остался бы сидеть дома, просматривая свои реестры. Да и нередко случается, когда власти намерены предписать что-либо деревенской общине, должен о сем объявить в воскресенье перед церковью особый бирюч, отчего многие крестьяне трепещут перед церковью сильнее, нежели бедный преступник перед лобным местом. Разве ты не думаешь, что многие из тех, кои погребены в церкви, не заслуживали бы скорее меча, виселицы, костра и колеса? Многие не довели бы до конца свои любовные шашни, ежели бы им не способствовала в том церковь. Когда надо что-нибудь продать или ссудить, то в некоторых местах прибивают о том объявление к церковным дверям. Когда у иного ростовщика не достает времени на неделе обдумать все свои козни, то сидит он в церкви во время богослужения, измышляет и прикидывает, куда ему метнуть ростовщичье копье. А иные сидят кучками и во время мессы и проповеди дискутируют друг с другом, как если церковь для того только и была построена, и там нередко обсуждают и решают такие дела, о коих поостереглись бы говорить в ином приватном месте. Некоторые сидят там и дрыхнут, как если бы на то подрядились. А у иных только и дела, что судачить о людях и говорить: «Ах, как ловко сегодня в проповеди священник намекнул на того

пли другого!» А иные с большим прилежанием следят за проповедью, но не затем, чтобы исправиться, а для того чтобы можно было, ежели их отец духовный в чем-нибудь (по их разумению) собьется, его укорять и над ним насмехаться. Я умалчиваю уже об историях, какие вычитал в книгах, о любовных делах, которые с помощью сводников начинаются и кончаются в церквах; сейчас мне и не вспомнить всего, что я мог бы еще сказать об этой материи. Однако ж надлежит тебе еще знать, что люди не токмо при жизни грязнят церковь своими пороками, но и после смерти наполняют их тщеславием и глупостью. Едва зайдешь в какой-нибудь храм, как тотчас же увидишь по надгробным плитам и эпитафиям, как еще чванятся те, кого уже давно сожрали черви. А взглянешь вверх, то перед тобой замелькает столько гербов, щитов, мушкетов, шпаг, знамен, сапог, шпор и других подобных вещей, что не сыщешь и в оружейной палате, так что не диво, если кое-где во время этой войны мужики, засев в церкви, оборонялись, как в крепости. Так чего ради, спрошу тебя, не дозволено мне как солдату исправлять в церкви свое ремесло, если некогда два духовных отца из-за одного только первенства учинили в храме кровавую баню, так что дом божий скорее походил на бойню для скота, нежели на святое место? Я-то хоть еще не учиняю этого, когда отправляют богослужение, ибо я человек мирской, а те как духовные лица не оказывают никакого решпекта его кесарскому величеству. Так чего ради следует запретить мне снискивать себе пропитание, обращаясь к помощи церкви, когда она кормит столько людей? Разве справедливо, что иной богач за немалые деньги погребен в самой церкви, дабы засвидетельствовать свою спесь и удовлетворить тщеславие своей родни, тогда как бедняк, который такой же христианин, да, пожалуй, еще более благочестивый человек, но у которого ничего нет, закопан в дальнем углу за ее стенами? Тут уж как кто изловчится. Когда я знал бы, что тебя смутит, что я подстерегаю добычу в церкви, то хорошенько обдумал бы, что надо тебе сказать; меж тем довольствуйся пока этим, покуда мне не представится случай убедить тебя другими аргументами!»

Я охотно возразил бы Оливье, что то самые беспутные люди, в том числе и он сам, которые оскверняют церкви и уже одним тем уготовили себе воздаяние. Но как я и без того не доверял ему и у меня не было охоты еще раз схватиться с ним, чтобы защитить свою жизнь, то дозволил ему одержать надо мной верх. Засим пожелал он, чтобы я поведал ему обо всем, что со мной приключилось с того времени, как мы разошлись под Виттштоком, и откуда у меня взялось дурацкое платье, в коем я заявился в Магдебургский лагерь. Но как я был весьма скучен по причине болезни в горле, то привел сие в извинение и попросил его, не захочет ли

он прежде поведать о забавных приключениях своей жизни, коих, верно, у него было довольно, и в том мне повезло, ибо Оливье согласился и нарассказал мне о таких вещах, что я с легкостью заключить мог: ежели я до того объявил бы ему обо всем, что учинил с тех пор, как стал солдатом, то он, нет сомнения, сбросил бы меня с церковной башни, о чем читатель узнает из нижеследующих глав.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплициус слышит рассказ Оливье,
Как был тот воспитан в купецкой семье.

«Мой отец,— начал Оливье,— родился неподалеку от Аахена от людей незнатных, того ради в юности принужден был он поступить на службу к богатому купцу, который торговал медью. Он показал себя столь благонравным, что купец обучил его писать, читать и считать и поставил во главе всех своих дел, подобно тому как в прежние времена Потифар поставил Иосифа управителем всего своего домашнего хозяйства. Сие послужило ко благу и преуспеянию того и другого, ибо прилежание и предусмотрительность управителя час от часу приумножали богатство патрона и гордость моего отца, который все больше превозносился, так что стал даже стыдиться своих родителей, на что они тщетно сетовали. Когда же отцу моему исполнилось двадцать пять лет, купец умер, оставив старуху вдову и единственную дочь, которая незадолго перед тем оплошала и дозволила себя обрюхатить лавочному служителю, родив мальчишку, вскорости последовавшего за своим дедом в могилу. Когда мой отец увидел, что дочь осталась без отца и ребенка, однако ж не без денежек, то не поглядел на то, что она свалялась до брака, а, подсчитав ее богатство, подбился к ней в мужья, что вдова охотно дозволила не только для того, чтобы прикрыть венцом грех, но и потому, что мой отец был сведущ во всякой торговле, а также умел ловко метать ростовщичье копье. Итак, нечаянным образом после такой свадебки стал мой отец богатым купцом, а я его первым наследником, коего он по своему достатку взрастил в роскоши. Меня наряжали, словно дворянина, кормили, как барона, а во всем прочем обходились со мною, как с графом, за что должен был я возблагодарить медь и цинковую руду более, нежели серебро и злато.

Прежде чем пришел я в отроческий возраст, открылись мои задатки, ибо молодая крапива рано жжет. Никакое плутовство и бездельничество не казались мне недозволенными, и ежели мне представится случай сыграть какую-нибудь шутку, то я уж не

времину ее учинить, ибо ни отец, ни мать никогда меня за них не наказывали. Я носился со своими сверстниками и сорванцами постарше сломя голову по улочкам и уже смело лез в драку с более сильными, чем был тогда сам; а когда, бывало, мне надают тумаков, то мои родители негодовали: «Что же это? Такой большой болван, а колотит младенца!» А когда я брал верх (ибо царапался, кусался и бил куда ни попадя), то они говорили: «Наш Оливерко станет изрядным молодцом!» Отчего дерзость моя возрастала чрезвычайно. Для молитвы был я еще малехонек, а когда ругался, как возница, то это значило, что я еще несмышленыш. Итак, становился я час от часу несносней, покуда меня не отправили в школу. Тут, что б ни измышляли злые сорванцы, которые, однако ж, из опасения розог сами побаивались это учинить, я тотчас же исполнял. Когда я рвал книги или ставил на них кляксы, то мать доставала мне новые, на что мой скупой отец, однако, не гневался; а когда я чинил наглые проказы, к примеру, выбивал камнями у людей окна (от чего также себя не удерживал), то умел так жалостливо отговориться, что и тут у отца руки на меня не подымались. Учителю своему досаждал я свыше всякой меры, а он не осмеливался держать меня в строгости, ибо получал изрядные подношения от моих родителей и отлично знал об их необузданной безрассудной любви ко мне. Летом ловил я полевых кузнечиков и тайком напускал их в школу, чтобы они устраивали нам добрую музыку; а зимою крал сушеную чемерицу и сыпал ее возле того места, где ученикам задавали розги. А когда наказываемый начинал барахтаться, что бывает нередко, то мой порошок разлетался повсюду, и все принимались чихать, что доставляло мне немалую потеху. Однажды я убил сразу двух зайцев, что мне отлично удалось, а именно: подстроил учителю хорошенькую штучку и тотчас же сумел свалить ее на другого, который выдал меня, когда я стрелял из просверленного ключа, зарядив его порохом. Послушай только, как я это славно устроил! Я подобрал промерзший катышек из тех, что мужики накладывают у забора, пришел пораньше в школу, распорол кожаную подушку на стуле у нашего учителя и зашил в нее находку. А иголку с зеленой ниткой, торчавшей еще в ушке, воткнул под воротник моему врагу, когда мы грелись у печки, да так, что нитка свисала наружу. И как только учитель расселся на моем подарочке, размял и согрел его, то пошла такая вонь, какую, казалось, никто не мог снести. Тут пошла изрядная потеха, ибо все стали обнюхивать друг у друга задницы, словно собаки при встрече; наконец сыскали горчицу в том самом месте, куда я ее подложил. А учитель по зеленой нитке тотчас же приметил, что дельце свеженькое, да и по самой работе видно было, что трудился не искусный портной. Меж тем всяк клялся в свое оправ-

дание, что то учинил не он, учитель же распорядился произвести обыск, чтобы сыскать иголку. Их, правда, нашли у нескольких мальчиков, но все с белыми нитками, так что ни один из них не сделал стежков на коже. А когда уже все думали, что опасность миновала, мальчики увидели зеленую нитку, высунувшуюся из-под воротника моего недруга, о чем тотчас же было объявлено, и невинному как неопровержимо уличенному преступнику задали прежалостную порку, меж тем как я смеялся в кулак. После того мне уже казалось слишком легким устраивать обыкновенные проделки, и все свои плутни я учинял по сказанному образцу. Нередко случалось, что я украду что-нибудь у одного и суну в мешок другому, когда хочу подвести под колотушки; таким манером мне удавалось вытворять все тихонько так, что я, почитай, ни разу не засыпался. Мне не для чего сейчас рассказывать о баталиях, которые мы учиняли обычно под моей командой, item о тумаках, что мне частенько доставались (ибо я вечно ходил с расцарапанной рожею и шишками на голове); ведь всякому и без того хорошо известно, что вытворяют мальчишки. Так что ты по рассказанным приключениям судить можешь, как и во всем прочем вел я себя в юности».

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплициус слушает новую повесть,
Как жил Оливье, позабыв честь и совесть.

«Так как богатство отца моего приумножалось день ото дня, то объявилось у него великое множество объедал и подлипал, кои изрядно выхваляли мои отменные способности к учению, а обо всех моих дурных склонностях и повадках помалкивали или сыскивали оправдание, ибо чуяли, что ежели будут поступать иначе, то не сыщут благоволения ни у моего отца, ни у матери. Того ради родители мои не могли нарадоваться на свое дитятко, подобно птице мухоловке, которая высидела кукушонка. Они наняли мне собственного гувернера и послали с ним в Люттих больше для того, чтобы я обучался там языкам, нежели каким-либо наукам, ибо хотели воспитать из меня купца, а не богослова. Наставник мой получил приказание не очень строго со мной обращаться, дабы не привить мне боязливого, рабского духа. Он не должен был отвращать меня от общества молодых людей, дабы я не стал робким, и памятовать, что они хотят воспитать из меня не монаха, а светского человека, который умеет отличить черное от белого.

Однако помянутый наставник не нуждался в подобной инструкции, ибо сам был склонен ко всякому вертопрашеству; как

мог он что-либо мне воспретить или укорить за ничтожный проступок, когда вытворял куда более паскудные? Более всего привержен был он к пьянству и волокитству, тогда как я по своей натуре был более склонен ко всяким стычкам и драке; а посему провождал я время с ним и подобными ему студиозусами шатиссимо и болтаниссимо по улицам и вскорости обучился всем порокам куда лучше, нежели латыни. А что касается до учения, то я больше полагался на изрядную свою память и быстрое соображение и оттого становился все нерадивее, погрязнув во всех пороках, плутнях и бесчинствах; а совесть моя стала такой широкой, что сквозь нее уже мог проехать воз с сеном. Я не вменял себе в грех, ежели во время проповеди в церкви читал Берни, Бурчелло или Аретино, и во всем богослужении самыми сладостными были для меня слова: «Ite, missa est» [1]. Притом я вовсе не почитал себя свиньей, а, напротив, человеком весьма светским. Всякий день у нас шла пирушка, как в вечер святого Мартина или на масленице; и так как я корчил из себя совершенного кавалера и смело пускал на ветер не только деньги, коими щедро снабжал меня мой родитель, но и кровные сбережения моей матушки, то стали нас приманивать к себе девицы, особливо же моего наставника. У этих потаскушек научился я волочиться, распутничать и бросать кости; буйствовать, драться и учинять свалку умел я и раньше, а мой наставник не удерживал меня от обжорства и выпивки, ибо и сам охоч был ко мне присоседиться и возле меня полакомиться. При столь благородной и свободной студенческой жизни навешали мы на себя потаскушек больше, чем монахи-якобиты раковин, хотя я был еще довольно молод. Развеселая эта жизнь продолжалась полтора года, покуда не узнал о ней отец, уведомленный обо всем своим фактором в Люттихе, у которого мы на первых порах столовались. Он получил от отца моего приказание взять нас под строгий присмотр, прогнать наставника, посильнее натянуть повода и не давать мне зря тратить денег. Сие привело нас обоих в великую досаду, и хотя гувернер мой получил отставку, однако ж всяческими путями сходились мы вместе днем и ночью. А так как мы не могли больше швырять деньгами, как прежде, то и пристали к компании таких молодцов, которые по ночам раздевали на улице людей, а то и топили их в Маасе. Все, что таким образом добывали мы с превеликою для себя опасностию, мы тотчас же проматывали с нашими любушками, почти совсем забросив всякое учение.

А однажды, когда мы, по своему обыкновению, шныряли ночью по улице, отбирая у студентов плащи, то нас самих одолели, закололи моего наставника, а меня вместе с пятеркой отъявлен-

[1] «Идите, служба окончена» *(лат.)*.

ных плутов схватили и заключили под стражу. А когда на следующее утро нам учинен был допрос и я назвал фактора, который посредничал у моего отца и был человек весьма почтенный, то послали за ним и, справившись обо мне, отпустили ему на поруки; однако ж впредь до окончательного приговора должен был я находиться в его доме под арестом. Меж тем похоронили моего наставника и наказали тех пятерых, как татей, разбойников и убийц, а моего отца известили о моих поступках. Он поспешил в Люттих, уладил с помощью денег мои дела, сурово отчитал меня, выговаривая, какой тяжкий крест, огорчение и несчастье принес я ему, item что моя мать уверяет, что своим дурным поведением я поверг ее в полнейшее отчаяние, грозил также, что ежели я не исправлюсь, то он лишит меня наследства и прогонит ко всем чертям. Я обещал исправиться и поехал с ним домой, на чем и закончилось мое обучение».

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций узнал, сколь злые фокусы
Чинил Оливье, стакнувшись с профосом.

«Когда отец привез меня домой, то нашел, что я испорчен до мозга костей. Я вовсе не стал почтенным domine, как он, верно, надеялся, а хвастуном и спорщиком, который возомнил, что отлично все разумеет и превзошел всех умом! Не успел я малость обогреться у домашнего очага, как отец объявил мне: «Слушай, Оливье, я приметил, что ослиные уши у тебя час от часу отрастают все длиннее; ты бесполезное бремя на земле, ты ни к чему не способный вертопрах. Обучать такого верзилу ремеслу поздно; отдать в услужение какому-нибудь господину — так для этого ты слишком груб, а чтобы постичь мое дело и вести его, ты и вовсе негоден. Ах, что приобрел я, издержав на тебя столь великое иждивение? Я-то надеялся сделать тебя настоящим мужчиною и обрести в старости себе утешение; а мне пришлось выкупать тебя из рук палача, и вот к величайшему своему прискорбию принужден я смотреть, как ты на глазах у меня шманаешься и шалберничаешь, как будто ты на то и создан, чтобы отяжелить крест мой. Стыд и срам! Самое лучшее, ежели я перетер бы тебя с перцем и заставил отведать miseriam cum aceto [1], покуда ты не заслужишь иной участи, искупив свое дурное поведение».

Сии и другие подобные проповеди принужден был я выслушивать каждодневно, так что под конец мне это прискучило, и я ска-

[1] беды, да еще с уксусом *(лат.)*.

зал отцу, что во всем виноват не я, а он сам и мой наставник, который меня совратил; а то, что он не обретет во мне утешение, будет справедливо, поелику и его родители не получили этого от него, ибо он допустил их умереть в нищете и голоде. Он же схватился за плетку, дабы вознаградить меня за такое предвещание, и стал клясться всеми святыми, что отправит меня в тюрьму в Амстердам. Тогда я сбежал и укрылся первую ночь на мельнице, недавно купленной отцом, и, улучив случай, ускакал в Кельн на самом лучшем коне, который только стоял на мельничном дворе.

Сказанного коня я продал и снова попал в общество продувных мошенников, плутов и татей, подобных тем, коих оставил в Лютихе. Они сразу спознали меня по тому, как я вел игру, а я их, ибо у нас есть на то свои приметы. Я тотчас же поступил в их цех и пособлял по ночам объезжать на кривой. А после того как вскорости одного из наших сцапали, когда он собирался подтибрить толстый кошель у некоей знатной дамы на старом рынке, и мне довелось с полдня глазеть, как его выставили в железном ошейнике у позорного столба, отрезали ему ухо и наказали батогами, то сие ремесло мне опротивело; того ради дозволил уговорить меня пойти в солдаты, ибо как раз в то время полковник, у которого мы были под началом в Магдебурге, набирал молодцов, чтобы пополнить свой полк. Меж тем отец мой проведал, куда я утек, а потому написал своему фактору, чтобы он точнейшим образом все разузнал об мне. Сие случилось как раз, когда я уже получил денежки на ладонь; фактор сообщил об этом моему отцу, который распорядился снова откупить меня, чего бы это ни стоило. Когда я про то услыхал, то испугался, как бы не угодить в тюрьму, и не захотел, чтобы меня откупили. Чрез то и полковник прознал, что я сын богатого купца, и так натянул поводья, что мой отец отступился и оставил меня в полку, полагая, что когда я малость побарахтаюсь на войне, то, быть может, еще пожелаю исправиться.

Спустя немного времени у нашего полковника помер копиист, и я был взят на его место, в каковой должности ты меня и застал. Тогда начал я возноситься в мыслях в такой надежде, что буду восходить от ступеньки к ступеньке, так что под конец сделаюсь генералом. Я учился у нашего секретаря, какое надлежит мне иметь обхождение, и мое намерение возвыситься побудило меня вести себя более чинно и не предаваться, как то прежде было у меня в обыкновении, различным дурачествам, плутням и лени. Однако ж дело не шло вперед, покуда не помер наш секретарь; тут я помыслил: «Надобно мне постараться заполучить это место». Я щедро раздавал подарки и подмазывал, где только мог. А когда моя мать узнала, что я взялся за ум, то стала присылать мне деньги. Эти-то кровные сбережения моей матери пускал я в ход всюду,

где это, как мне казалось, могло пойти мне на пользу. А так как юный Херцбрудер приболел к сердцу нашего полковника и он предпочел его мне, то я тщился убрать его с дороги, ибо прознал, что полковник окончательно решил отдать ему секретарскую должность. Такая проволочка с моим произвождением, коего я с таким пылом домогался, сделала меня столь нетерпеливым, что я открыл нашему профосу свое крепкое, как булат, намерение учинить дуэль с Херцбрудером и заколоть его шпагою. Но мне никаким манером не удавалось к нему подступиться. Да и наш профос отговаривал от такого умысла и уверял меня: «Когда ты его прикончишь, то сие принесет тебе больше вреда, нежели пользы, ибо ты убьешь самого любимого слугу нашего полковника», подав мне совет украсть что-нибудь в присутствии Херцбрудера и доставить ему, профосу, то он уж сумеет промыслить, что тот выйдет из милости полковника. Я последовал его совету и во время крестин у полковника стянул позолоченный кубок и отнес профосу, который, воспользовавшись им, сумел отстранить юного Херцбрудера, что ты, верно, и сам хорошо помнишь, когда в большой палатке у полковника он и тебе напустил в штаны собачонок».

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплициус слышит: Оливье — солдат,
Искусный наездник и тверд, как булат.

Желтые и зеленые круги поплыли у меня перед глазами, когда пришлось мне из собственных уст Оливье услышать, как поступил он с бесценным моим другом Херцбрудером, а я не смел отомстить за него. И я еще принужден был таить свою печаль, чтобы он ничего не приметил, и того ради попросил его рассказать, что приключилось с ним после битвы при Виттштоке, понеже мне хорошо известно, как до того проходила его жизнь.

«Во время сего сражения,— сказал Оливье,— вел я себя не как канцелярская крыса, которая только и умеет, что чинить перья для чернильницы, а как заправский солдат, ибо я был искусный наездник и тверд, как булат, а так как я не был приписан ни к одному эскадрону, то решил показать свой кураж, как человек, который возымел намерение либо проложить себе путь к возвышению своею шпагою, либо сложить голову. Я носился, как вихрь, вокруг нашей бригады, упражняясь в ратном деле и доказывая нашим, что мне более приличествует держать в руках палаш, нежели перо. Но это не помогло; превозмогла шведская Фортуна, и я должен был разделить наше злополучие, поелику принужден был пойти

на постой к неприятелю, хотя я незадолго перед тем никому не давал пардону.

Итак, погнали меня вместе с другими пленными пешком в полк, что стоял на отдыхе в Померании, а как там было множество желторотых новобранцев; я же показал немалый кураж, то меня тотчас же произвели в капралы. Но я порешил там долго не копить навоза, а поскорее податься к имперским, на чьей стороне мне было более по душе, хотя, нет сомнения, что у шведов меня ожидало скорейшее производжение. Свое намерение я осуществил таким манером: я был отряжен вместе с семью мушкетерами на наши отдаленные квартиры, дабы, учинив там надлежащую экзекуцию, выжать приличную контрибуцию. Добыв таким образом более восьмисот гульденов, показал их своим молодцам, так что у них зубы загорелись, и мы стакнулись поделить денежки между собою и задать стрекача. А когда мы так поступили, подговорил я трех из них помочь мне укокошить четырех остальных, и, учинив сие, поделили денежки так, что каждому досталось по двести гульденов. Засим замаршировали мы в Вестфалию. Дорогою улестил я одного из моих сотоварищей помочь мне также пристрелить еще двоих, а когда мы принялись делить добычу, придушил и последнего, после чего, забрав все деньги, преблагополучно отправился в Верле, где изрядно пображничал и повеселился.

Когда же мои денежки стали подходить к концу, а я весьма пристрастился к пирушкам, так что готов был коротать в них день и ночь, особливо же как пошла кругом слава о некоем молодом солдате из Зуста, который собирал изрядную добычу во время разъездов, то и я заохотился последовать его примеру. А как был одет он во все зеленое, то прозвали его Егерем; того ради и я справил себе зеленое платье и грабил под его именем как по его, так и по своим собственным квартирам, учиняя всевозможные непотребства, так что нам обоим хотели воспретить подобные разъезды. Егерь, правда, залег дома, я же продолжал хищничать под его флагом сколько душе было угодно, так что по этой причине сказанный Егерь послал мне вызов; но пусть с ним дерется сам черт, ибо он, как мне передавали, был весьма дюж и мог бы уничтожить мою стойкость.

Но мне все же не удалось избежать его хитростей, ибо он с помощью своего конюха заманил меня и моего камрада в овчарню и хотел принудить вступить с ним в единоборство при полном лунном свете и в присутствии двух всамделишных чертей в качестве секундантов. Но понеже я на то не согласился, то учинили они надо мной самую что ни на есть на свете гнусную насмешку, о чем мой камрад распустил всеобщую молву, коей я так устыдился, что сбежал оттуда в Липпштадт и поступил на службу к гес-

сенцам; однако же пробыл у них недолго, ибо они мне не доверяли, после чего перешел в голландскую службу, где хотя и получал изрядную плату, но скучная военная лямка не пришлась мне по нутру, ибо нас содержали, как монахов, и мы принуждены были вести себя благонравнее монахинь.

Понеже я более не осмеливался пристать ни к имперским, ни к шведам, ни к гессенцам, ибо в таком случае по доброй воле подверг бы себя опасности среди бела дня попасть под арест, а у голландцев не мог долее мешкать, ибо насильным образом низложил непорочность одной девицы, что по всем приметам скоро должно было обнаружиться, то и порешил искать пристанища у испанцев в надежде улизнуть тайком и от них, чтобы поглядеть, как поживают мои родители. Но когда я с таким намерением пустился в путь, то мой компас так вздурился, что я ненароком попал к баварцам. С ними я, замешкавшись среди братьев мародеров из Вестфалии, отмаршировал до Брейсгау, кормясь тем, что поворовывал или выигрывал в кости. Заводились у меня денежки, то днем бросал я их на игорный стол, а ночью швырял маркитанткам; а не было ни гроша, так крал где что подвернется. Доводилось мне на дню уводить по две, а то и по три лошади как с пастбища, так и с конюшен на постоях, продавать и тут же спускать все, что удавалось выручить; я тайком прокрадывался ночью к палаткам и выуживал оттуда самое ценное прямо из-под подушек. А во время похода в узких ущельях поглядывал я бдительным оком на кожаные чемоданы, которые возили за собой женщины, срезал эту кладь и пропадал с глаз долой, покуда не случилось сражение при Виттенвейере, когда меня захватили в плен и снова погнали пешком и запихали в полк, на сей раз веймарским солдатом. Однако ж лагерь под Брейзахом не пришелся мне по вкусу, а посему я заблаговременно смотал удочки и ушел оттуда, чтобы отныне воевать за самого себя, как ты и видишь. И знай, брат, что с той поры уложил я немало кичливых молодцов и зашибал немало деньжат, от чего не отстану, покуда не увижу, что больше и брать ничего не осталось. А теперь твой черед поведать мне о своей жизни».

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплиций дивится божьему промыслу,
Устремляет к нему все свои помыслы.

Когда Оливье таким образом закончил свою повесть, то не мог я довольно надивиться божественному промыслу. И я постиг, как прежде всего в Вестфалии преблагий бог токмо отечески хранил меня от сего изверга, но еще и к тому направил, что вселил в него

передо мной ужас. Тут только я уразумел, какую штуку я выкинул с Оливье, о чем ему предвещал старый Херцбрудер, и что он, Оливье, как то можно усмотреть в главе 16, к моей немалой выгоде истолковал по-своему. Ибо когда б этой бестии стало ведомо, что я был Егерем из Зуста, то уж, верно, он отплатил бы мне за то, что я тогда учинил с ним в овчарне. И я рассудил также, сколь мудро и темно излагал Херцбрудер свои предсказания, и помыслил про себя, что хотя его предвещания обычно неотменно сбываются, однако ж маловероятно и весьма диковинно, чтобы я должен был отмещевать смерть такого человека, который заслужил виселицу и колесо и за свой беспутный нрав недостоин ступать по земле. Я нашел также, что мне весьма было на пользу, что я наперед не поведал ему о своей жизни, ибо тогда я сам открыл бы ему, чем я его перед тем оскорбил; также заключил из сего, что преблагий бог еще не оставил меня своею милостию, и возымел надежду, что он снова ниспошлет мне счастливое и непостыдное избавление. Меж тем, как я предавался таким мыслям, приметил я на лице у Оливье несколько шрамов, которых под Магдебургом у него еще не было, того ради вообразил, что эти рубцы были отметинами, поставленными еще Шпрингинсфельдом в то время, когда он в обличье черта расцарапал Оливье всю рожу, а потому спросил его, откуда у него эти зарубки, присовокупив, что хотя он и поведал мне всю свою жизнь, однако ж я с легкостию мог догадаться, что он умолчал о самом любопытном, ибо еще не объявил мне, кто же его так пометил. «Эх, брат,— отвечал он,— когда я стал бы тебе пересказывать все мои проделки и плутни, то нам обоим, тебе и мне, это рано или поздно прискучило бы. Однако ж, чтобы ты уверился, что я ничего не утаил от тебя из своих приключений, то хочу тебе сказать всю правду и об этом, хотя, кажется, что сие было учинено мне в насмешку.

Я совсем уверовал, что мне еще в утробе матери было предустановлено ходить меченым, ибо уже в юности школяры раскорябали мне рожу, когда я с ними сцепился. Также прежестоко досталось мне и от одного из тех чертей, которые подстерегли меня с Егерем из Зуста, поелику следы от его когтей заживали на моем лице добрых шесть недель; но мне все же удалось свести их начисто. А эти шрамы, которые ты сейчас еще видишь на моем лице, приобрел я совсем по иной причине, а именно: когда я еще стоял на квартире у шведов в Померании и завел себе красивую метреску, то хозяин дома принужден был покинуть свою постель и предоставить ее нам. А его кошка, которая привыкла каждый вечер забираться в ту же самую постель, учиняла нам каждую ночь великое неудобство, ибо вовсе не собиралась уступить нам законное свое место с такою же легкостью, как ее хозяин и хозяйка. Сие

привело мою метреску (которая и без того терпеть не могла кошек) в такую досаду, что она поклялась всеми клятвами, что ни под каким видом не окажет мне своей любви, покуда я прежде не спроважу кошку, что ежели хочу и далее наслаждаться ее благосклонностью, то уж не только исполню ее желание, но и отомщу хорошенько этой кошке, доставив самому себе приятное упражнение; того ради не без больших хлопот запихал ее в мешок, взял с собою двух здоровенных крестьянских собак (которые и без того весьма свирепы до кошек, а мною были приручены) и оттащил мешок на привольный широкий луг, где собирался устроить веселую потеху и забаву, ибо полагал, что раз нет поблизости ни одного дерева, куда могла бы сия кошка ретироваться, то собаки погоняют ее по ровной местности, словно зайца, чем изрядно меня потешат. Но, о злополучная планета! Тут пришлось мне тошнехонько, и я узнал не только собачью, как обычно у нас говорят, но и кошачью жизнь (каковая невзгода мало изведана, а иначе, нет сомнения, давно сложили бы о том пословицу), ибо кошка, едва только я развязал мешок, очутившись в чистом поле, где рыщут ее злейшие враги, не увидела никакой верхушки, где могла бы найти себе пристанище; того ради, не желая оставаться внизу, где ее мигом разорвали бы в клочья, прыгнула мне прямо на голову, ибо не могла сыскать более высокого места; а когда я стал от нее отбиваться, то с меня слетела шляпа. Чем больше силился я ее от себя отодрать, тем крепче она запускала в меня когти. Жадные и без того лютые на кошек псы не взирали равнодушно на такое наше сражение, а вмешались в игру; они скакали с разверстыми пастями вокруг нас, норовя схватить кошку, которая ни за что не хотела покинуть меня, изо всех сил вцепившись когтями не только в волосы, но и в лицо. А когда она, отбиваясь от собак, промахнется своим когтистым кастетом, то уж наверняка съездит по мне. А так как ей все же иногда удавалось садануть псов по носу, то и они старались своими лапами стащить ее вниз и ненароком весьма чувствительно раздирали мне лицо. А когда я сам хватал кошку обеими руками, чтобы оторвать от себя, то она кусалась и царапалась, что было сил. Итак, попал я в переделку сразу и к кошкам и к собакам, которые меня всего искусали, исцарапали и так изуродовали, что я, почитай, уже не походил на человека; а самое скверное, я все время был в опасности, что псы, ярясь на кошку, могут ухватить меня за нос или за ухо и откусить напрочь. Мой воротник и колет так залило кровью, как на кузнице у столба, где холостят жеребцов и пускают им кровь в день святого Стефана; и я не мог измыслить никакого средства, как мне спастись от такой муки. Под конец принужден был я, ежели не хотел больше оставлять свой капитолиум ареной такого сражения, по доброй

воле упасть на землю, чтобы псы могли схватить кошку. И хотя они разорвали ее, однако ж я не получил от этого столь отменной потехи, на какую надеялся, а одно только посмеяние и такое лицо, как ты еще и по сю пору мог увидеть. Того ради я так озлился, что вскорости пристрелил обеих собак, а мою метреску, которая подала случай к сему дурачеству, так отшелушил, что из нее можно было жать масло, после чего она сбежала, ибо, нет сомнения, не могла долее любить такую мерзкую образину».

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Симплициус зрит: Оливье сколь жесток,
Решает уйти, дай только срок!

Я охотно посмеялся бы над историей, поведанной мне Оливье, но принужден был показать к нему сожаление. А когда я своим чередом приступил к повести о моей жизни, завидели мы приближающуюся повозку с двумя всадниками; того ради спустились мы с церковной башни и засели в дом, расположенный у самой дороги, и потому весьма удобный для нападения на проезжающих. Свой мушкет я держал заряженным про запас, а Оливье сразу уложил одним выстрелом лошадь и одного всадника, прежде чем они нас открыли, после чего другой сразу утек; а когда я с взведенным курком подступил к кучеру и заставил его слезть с козел, подскочил Оливье и одним махом рассек ему палашом голову до самых зубов и хотел также прикончить женщину и детей, забившихся в карете и уже более похожих на мертвецов, нежели на живых. Я же решительно тому воспротивился и напрямик отрезал ему, что ежели он хочет исполнить свое намерение, то должен сперва умертвить меня. «Ах,— воскликнул он,— неразумный Симплициус, вот уж никогда не подумал бы, что ты и впрямь такой пентюх, каким себя выставляешь!» Я отвечал: «Брат, какой вред могут причинить тебе эти невинные дети? Когда б то были взрослые молодцы, которые могли бы защищать себя, тогда другое дело».— «Что? — возразил он.— Когда яйца на сковородке, из них не выведешь цыплят! Я-то отлично знаю этих юных кровососов; их отец майор — сущий живодер и злейший Обломай-дубина, какой только был на свете!» С такими речами он все еще порывался убивать и хотел прирезать бедных детей; но я удерживал его до тех пор, покуда он наконец не смягчился. Там были жена майора, ее служанка и трое пригожих детей, коих мне было от всего сердца жаль; а чтобы они нас вскорости не выдали, их всех заперли в погреб, где они не могли сыскать себе иного

пропитания, кроме брюквы и других овощей, покуда кто-нибудь их не освободит. Засим ограбили мы повозку и угнали семерку отличных лошадей в лес, в самую чащу.

А когда мы привязали лошадей и малость огляделись, завидел я неподалеку от нас молодчика, тихонько стоявшего у дерева; я показал на него Оливье, полагая, что надобно поостеречься. «Эх, дурень! — сказал он.— Да ведь это жид, которого я тут привязал; он, плут, давным-давно замерз и околел». Меж тем подошел он к нему, двинул кулаком под челюсть и сказал: «Ну, пес, и ты мне немало дукатов принес». И когда он его таким манером пошевелил, высыпалось у него изо рта несколько дублонов, которые бедный плут туда запрятал и держал до самой смерти. Оливье немедля засунул ему в пасть руку и вытащил двенадцать дублонов и превосходный рубин. «Этой добычей,— сказал он,— обязан я тебе, Симплиций». И засим подарил мне рубин, а сам отправился за своим мужиком, наказав мне оставаться у лошадей, но смотреть в оба, чтобы мертвый жид меня не покусал, чем втер мне за мое мягкосердечие и намекнул, что нет у меня такого куража, как у него.

А покуда Оливье ходил за мужичком, я стал предаваться докучливым мыслям и рассудил, в сколь опасное попал я положение. Я решил вскочить на лошадь и удариться в бегство, но возымел опасение, что Оливье застанет меня за исполнением сего намерения и сразу пристрелит, ибо я подозревал, что он теперь лишь испытывает мое постоянство и где-либо затаился поблизости, чтоб меня подстеречь. Взошло мне на ум уйти оттуда пешком, но я принужден был поразмыслить и о том, что ежели мне сейчас и удастся сбежать от Оливье, то я беспременно попаду в лапы крестьян в Шварцвальде, о коих шла слава, что они учиняют солдатам крепкую нахлобучку. А заберешь ты, раздумывал я, всех лошадей, чтобы отнять у Оливье средство к погоне, а тебя захватят веймарцы, то не избежать тебе колеса, как уличенному злодею. Одним словом, не мог я измыслить надежного способа к своему бегству, особливо же очутившись в густом лесу, где не знал я ни дороги, ни тропки; сверх того пробудилась моя совесть и терзала меня, ибо я остановил кучера и послужил причиной, что его так безжалостно лишили жизни, и представились моим очам обе женщины и невинные дети, запертые в погребе, где они, быть может, обречены на смерть и погибель, подобно сему еврею. И я, несчастный, хотел утешить себя своей невиновностию, ибо действовал против собственной воли и по принуждению; но моя совесть представила мне, что я всеми другими своими худыми делами давно уже заслужил, чтобы меня в сообществе с этим архизлодеем предать в руки юстиции, дабы получить справедливое наказа-

ние, быть может, праведный бог и определил мне такую кару. Под конец возымел я великое упование на благость божию и молил спасти меня от напасти; и когда я исполнился умиления, то сказал самому себе: «Дурень! Ведь ты не под замком и не привязан; весь необъятный мир открыт перед тобою. Али мало у тебя лошадей, чтобы пуститься в бегство? А когда не пожелаешь ехать верхом, разве не проворны твои ноги, чтобы унести тебя отсюда?» Меж тем, как я подобным образом терзал и мучил себя, не решаясь на что-либо, воротился Оливье вместе с нашим мужиком. Он проводил нас вместе с лошадьми на мызу, где мы подкрепились и по очереди один за другим проспали несколько часов. После полуночи мы поскакали дальше и к полудню достигли внешних постов швейцарцев, где Оливье хорошо знали и устроили нам великолепное угощение. И покуда мы веселились, послал наш хозяин за двумя евреями, которые купили у нас лошадей, хотя и за полцены. Все было совершено так приятно и толково, что не потребовало особых разговоров. Самое главное, о чем спросили евреи, было: «Чьи это лошади — имперские или шведские?» А когда узнали, что они достались нам от веймарцев, то рассудили: «Так нам надобно гнать их не в Базель, а в Швабию к баварцам!», немало подивив меня своею превеликой осведомленностью и откровенностию.

Мы пировали по-барски, тамошние лесные форели и отличные раки изрядно пришлись мне по вкусу. А как уже наступил вечер, то мы снова отправились в путь, нагрузив нашего крестьянина, словно осла, жарким и другими припасами; со всем этим мы на другой день завернули на уединенный крестьянский двор, где нас приняли весьма дружелюбно; и мы провели там несколько дней по причине худой погоды, ибо ветер, дождь и снег — плохие попутчики. Потом пробрались мы сплошным лесом и окольными тропинками снова к той самой хижине, куда меня Оливье привел спервоначала, когда он меня взял с собою.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Симплиций глядит: Оливье убит,
За лютую смерть люто и мстит.

Когда мы там засели, чтоб отдохнуть и утолить голод, Оливье отослал мужика купить съестных припасов, а также порох и дробь. Когда тот ушел, Оливье снял камзол и сказал: «Брат, не могу я больше таскать один эти чертовы деньги»,— после чего отвязал пару валиков, или колбасок, которые он носил прямо на

голом теле, бросил их на стол и сказал: «Ты также должен потрудиться и поносить это, покуда наберем, что хватит нам обоим, да и пошабашим; а то эти проклятущие деньги натерли мне бока; так что я уже не могу их таскать на себе». Я отвечал: «Брат, было бы у тебя их столько, как у меня, они не натерли бы тебе бока».— «Что? — перебил он меня.— Знай, что мое, то и твое, а что мы добудем вместе, то поделим пополам!» Я поднял оба мешочка и почувствовал, что они тяжелехоньки, ибо набиты чистым золотом. Я сказал, что все сие весьма неудобно укладено, и ежели ему угодно, то мог бы так все ушить, что носить будет куда легче. А когда он предоставил сие на мою волю, то я пошел с ним к дуплистому дубу, где у него были схоронены ножницы, иголки и нитки; там смастерил я из пары штанов себе и ему нараменники, или наплечья, и упаковал в них славные красные монетки. И после того как мы надели эти наплечья под рубахи, получилось не иначе, как если бы на нас спереди и сзади были надеты золотые панцири, что было весьма ладно, ибо мы были теперь в большей безопасности ежели не от пули, то, по крайности, от клинка. Я же тому дивился и спросил его, по какой причине нет при нем серебра, узнав в ответ, что у него запрятано в дупле более тысячи дукатов, над коими дозволил он хозяйничать своему мужику, и не ведет им счет, ибо ни во что не ценит подобные овечьи орешки.

Когда с этим было покончено и деньги уложены, отправились мы в наш ложемент, где ночью варили себе пищу и грелись у печки. А днем, около часу, когда мы этого меньше всего ожидали, в нашу хижину, широко распахнув дверь, вломилось шестеро мушкетеров с капралом с оружием на изготове и зажженными фитилями и заорали, что мы должны им сдаться. Однако Оливье (который так же, как и я, держал во всякое время рядом с собой заряженный мушкет, а при себе острый меч и как раз сидел за столом, тогда как я стоял за дверью у печки) ответил им несколькими пулями, отчего двое свалились на землю, я же двумя равномерными выстрелами уложил третьего и покалечил четвертого. Затем Оливье выхватил из ножен свой меч, выручавший его из любой беды, и такой острый, что резал волос (и может быть сравнен со славным Калибурном — мечом английского короля Артура), и разрубил пятого от плеча до живота, так что у него вывалилась вся требуха и он отвратительнейшим образом на ней распластался. Меж тем треснул я шестого по голове прикладом, так что он разом протянул ноги. Подобную же штуку учинил седьмой с Оливье, да с такой силой, что у него мозги вылетели; я же в свой черед так саданул убившего, что и он, подобно своим камрадам, растянулся, составив компанию мертвецам. А когда раненый, которого я подстрелил поначалу, увидел такой удар и

приметил, что я поворотил мушкет и хочу вышибить из него дух, то бросил свое оружие и дал такого стрекача, как если бы за ним гнался сам черт. И на все это сражение ушло времени не более, чем понадобилось бы на то, чтобы прочитать «Отче наш», за который срок семеро храбрых солдат успело сложить свои головы.

И когда таким образом я один завладел всем полем, то осмотрел Оливье, чтобы удостовериться, не осталось ли в нем хоть на каплю жизни, но когда нашел его совсем бездыханным, то рассудил, что не приличествует оставлять мертвому телу столько денег, в коих ему нет никакой нужды; того ради снял я с него золотую шкуру, которую только вчера ему изготовил, и повесил на плечи поверх собственной. И понеже мой мушкет был разбит, то забрал я оставшийся после Оливье, а также его острый боевой меч; вооружившись всем этим на случай опасности, я дал тягу, и притом по той дороге, по которой, как я знал, должен был воротиться наш мужик. Я сел в сторонку неподалеку от того места, чтобы его дождаться, а также поразмыслить, что мне надлежит предпринять в будущем.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций встречает названого брата,
Что нищим скитался в жалких заплатах.

Не просидел я и получасу, погрузившись в размышления, как объявился наш мужик, пыхтевший, как медведь; он бежал изо всей мочи и не приметил меня, покуда я его не нагнал. «Чего спешишь? — спросил я.— Что стряслось?» Он сказал: «Тикай отсюдова поскорее! Сюда идет капрал с шестью мушкетерами, а у них приказ взять под стражу тебя и Оливье и живыми или мертвыми доставить в Лихтенек. Они захватили меня в полон и принуждали провести к вам, но мне посчастливилось удрать и прибежать сюда». Я подумал: «Эге, плут! Ты нас предал, чтоб завладеть деньгами Оливье, спрятанными в дупле»; но не показал виду, ибо нуждался в проводнике, а потому сказал, что Оливье и все, кому надлежало его взять под стражу, лежат мертвыми. А как мужик не хотел тому поверить, то я оказал ему доброту и пошел с ним на место, где он мог увидеть бедственное зрелище — семь ювержденных тел. «Седьмому из тех, кто хотел нас захватить, я дозволил убежать, и видит бог, ежели я мог бы снова оживить тех, кто здесь полег, то я не преминул бы так поступить!» Мужик оторопел от ужаса и удивления и воскликнул: «Что же делать?» Я отвечал: «Что делать, уже решено! Выбирай одно из трех: либо

ты тотчас проведешь меня надежными тропами через лес в Филлинген, либо покажешь дупло, где схоронены деньги Оливье, либо умрешь на месте и составишь добрую компанию этим мертвецам! Ежели проводишь меня в Филлинген, то тебе одному достанутся все деньги, а покажешь дупло, то я разделю их с тобою пополам, а не учинишь ни того, ни другого, то я пристрелю тебя и пойду своею дорогою». Мужик с большой охотой улизнул бы от меня, но страшился мушкета и того ради пал на колени и предложил провести меня через лес. Итак, отправились мы со всею поспешностию и безо всякой пищи, питья и самого короткого отдыха шли весь тот день и следующую ночь, ибо, на наше счастье, было довольно светло, а под утро завидели город Филлинген, где я отпустил мужика. На сем пути мужика подгонял страх, а меня желание спасти жизнь и свои денежки, так что я принужден был почти уверовать, что золото сообщает человеку большую силу, ибо хотя я нес на себе порядочную тяжесть, однако ж никакой особой усталости не чувствовал.

Я почел счастливым предзнаменованием, что в то самое время, когда я подошел к Филлингену, городские ворота были открыты. Караульный офицер учинил мне допрос, и когда услышал, что я назвал себя вольным рейтаром из того самого полка, куда меня определил Херцбрудер, освободив от мушкетерства в Филиппсбурге, а также что я сбежал из лагеря под Брейзахом от веймарцев, куда попал после того, как был взят в плен у Виттенвейера и затолкан в их войско, и теперь хочу снова воротиться в свой полк к баварцам, то снарядил со мною мушкетера, который отвел меня к коменданту. Тот еще почивал в постели, ибо за полночь прободрствовал за делами, так что пришлось мне прождать добрых полтора часа перед его квартирою, но как люди шли от ранней обедни, то меня обступили со всех сторон горожане и солдаты, и всяк домогался узнать, как идут дела под Брейзахом; от этого крика пробудился комендат, который без дальнейших проволочек велел пустить меня к себе.

Он учинил мне новый экзамен, а я ответил все то же, что перед тем сказал у городских ворот. Засим спросил он меня об особливых частностях касательно осады и прочем, и тут признался я во всем, а именно, что я недели две находил прибежище у одного молодца, который тоже был из беглых, и с ним вместе напали на повозку и ограбили ее, намереваясь добыть у веймарцев столько, чтобы снова обзавестись конями и, должным образом экипировав себя, явиться каждому в свой полк; однако ж только вчера на нас внезапно напал капрал с шестью мушкетерами с тем, чтобы нас захватить, вследствие чего мой камрад и еще шестеро, посланных от противника, полегли на месте, седьмой же бежал,

равно как и я, притом каждый на свою сторону. О том же, что я намеревался пробраться в Л. в Вестфалии к своей женушке и что на мне надеты два изрядно начиненных наплечья, молчал я, как мертвый. И, по правде, нимало того не совестился, что смолчал, ибо какое ему до того было дело? Он также не спрашивал меня о сем, а только дивился и почти не хотел верить, что мы вдвоем с Оливье уложили шестерых человек, а седьмого обратили в бегство, хотя мой камрад и заплатил за это своею жизнью. Во время сего дискурса представился мне удобный случай завести речь и о превосходном мече Оливье, который я носил при себе и не мог им нахвалиться. И он так полюбился коменданту, что я, ежели хотел отойти от него добрым манером и получить паспорт, принужден был поменяться с ним на шпагу. И, по правде, то был изрядный меч, красивый и добрый, и на нем был нагридирован целый вечный календарь, так что меня не переспорить, что он не был выкован самим Вулканом в hora Martis и уж, конечно, был изготовлен, как описано в «Сокровищнице героев», по какой причине все другие клинки ломаются об него и самые неустрашимые неприятели и храбрые, как львы, мужи пускаются наутек, словно робкие зайцы. Когда же он меня отпустил и приказал выписать мне паспорт, отправился я кратчайшим путем на постоялый двор, где не знал, то ли мне завалиться спать, то ли поесть. Однако решил сперва утолить голод и потому велел принести мне какие ни есть кушанья и напитки, раздумывая, как я устрою свои дела и при моих деньгах уж наверное доберусь до Л. к своей жене, ибо у меня было ровно столько же охоты ворочаться в полк, как и сломить себе шею.

Меж тем как я предавался в своем уме подобным спекуляциям и затевал в мыслях различные другие хитрости, в горницу приковылял какой-то молодчик с костылем в руке: у него была обмотана голова, а руки на перевязи и столь жалкое рубище, что я не дал бы за него ни единого геллера. Едва трактирный слуга завидел его, то хотел тотчас же прогнать, ибо от него шла нестерпимая вонь и он был до того осыпан вшами, что ими можно было усеять всю швабскую степь. Он же молил дозволить ему, ради самого бога, хоть малость обогреться, но тщетно. Но когда я сжалился над ним и попросил за него, то его подпустили к печке, как нищего. Он смотрел на меня, как мне показалось, томясь от голода и с большим благоговением, как я наворачиваю, и притом несколько раз тяжко вздохнул: и когда трактирный слуга вышел, чтобы принести мне жаркое, то подошел к моему столу и протянул мне глиняную кружку. Так как я легко мог вообразить себе, зачем он пришел, то взял у него кружку и налил сполна пивом, прежде чем он успел попросить. «Ах, друг,— сказал он,— ради

Херцбрудера дай мне также немного поесть!» Когда я сие услышал, у меня захолонуло сердце, и я уразумел, что то сам Херцбрудер. Я едва не повергся в обморок, когда увидел его в столь бедственном положении, но скрепился, бросился ему на шею и усадил рядом с собою, ибо нам обоим застили глаза слезы, мне от сожаления, ему от радости.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА

Симплициус слышит про муки и беды,
Какие Херцбрудер в походах изведал.

Нечаянная наша встреча до того нас всполошила, что не могли мы ни есть, ни пить, а только спрашивали друг друга, что приключилось с тех пор, когда мы в последний раз виделись. Однако ж мы не могли пуститься в откровенную беседу, ибо трактирщик и его слуга беспрестанно сновали взад и вперед. Трактирщик дивился, что я не гнушаюсь такого обовшивевшего малого, я же сказал, что на войне у заправских солдат то за обычай. Так как я уразумел, что Херцбрудер до сего обретался в гошпитале и жил подаянием и что раны его весьма худо перевязаны, то уговорился с хозяином, чтобы он отвел ему особливый покой, уложил Херцбрудера в постель и велел позвать к нему лучшего костоправа, которого можно сыскать, а также портного и швею, чтобы приодеть его и вывести всех вшей, которые его до костей источили. У меня в кошельке еще водились дублоны, которые Оливье вытащил из глотки у мертвого еврея. Я хлопнул ими по столу и сказал Херцбрудеру так, чтобы слышал трактирщик: «Гляди, брат, вот мои деньги; я хочу истратить их на тебя и проесть вместе с тобою»,— так что хозяин стал нам весьма усердно прислуживать. А цирюльнику я показал рубин, также вынутый из помянутого еврея, ценою примерно в двадцать талеров, и сказал: «Понеже те малые деньги, которые я при себе имею, уйдут на наше пропитание и на платье моему камраду, то намерен я дать ему сей рубин, ежели он вскорости поставит на ноги помянутого камрада»; чем цирюльник был весьма доволен и потому употребил самое лучшее лечение.

Итак, ухаживал я за Херцбрудером, как за своим вторым «я»; отдал сшить ему простое платье из серого сукна, но сперва отправился к коменданту из-за пашпорта и поведал, что встретил тяжко раненного камрада и хочу дождаться, покуда он совсем не выздоровеет; оставить же его тут не осмеливаюсь, дабы не держать ответ за него в полку. Комендант похвалил такое мое намерение и дозволил остаться, сколько мне надобно, обещав снабдить нас

Schau deß Simplex
Glückes Regen,
Wem nicht liebet solcher
Segen
Laß den Fürwitz unter
wegen.

«Симплициссимус». Книга пятая, глава девятая.

добрым паспортом, когда мой камрад сможет пуститься в путь вместе со мною.

А когда я воротился к Херцбрудеру и сел у его ложа, то попросил не таясь поведать мне, как попал он в столь бедственное положение; ибо я вообразил, что по какой-либо важной причине или совершенной им оплошности он был лишен прежнего высокого звания и чести и вторгнут в теперешнее злополучие. Он же сказал: «Брат, ты ведь знаешь, что я был самый любимый и доверенейший друг и фактотум графа фон Гёца; тебе также довольно ведомо, сколь злополучно окончилась минувшая кампания, в коей он был главный генерал и командир, когда мы не только проиграли битву под Виттенвейером, но к тому же не смогли высвободить из осады Брейзах. И понеже о том пошли по всему свету различные толки, наипаче же, как упомянутого графа призвали к ответу и повезли в Вену, то я от стыда и страха добровольно поверг себя в такое ничтожество и часто желаю себе либо умереть в сей бедности, либо жить в сокрыве, покуда не обнаружится, что названный граф ни в чем не повинен, ибо, насколько я знаю, он всегда сохранял верность римскому императору. А что он прошедшим летом не был счастлив, то, как я думаю, надлежит приписать скорее предопределению всевышнего (который ниспосылает победу тому, кому хочет), нежели оплошности графа.

Когда вознамерились мы освободить от осады Брейзах и я увидел, что у наших дело идет ни шатко ни валко, то вооружился и пошел на осадный плавучий мост, как если бы один мог все привести к окончанию, в чем тогда не был сведущ и что не вменялось мне в обязанность; однако ж я хотел тем подать пример остальным, а как прошедшим летом нам ничего не удалось исполнить, то, по счастью или, вернее, несчастью, я оказался в первых рядах нападавших, и мне первому довелось столкнуться с неприятелем, тут и пошла потеха. И хотя я был первым в нападении, однако ж оказался последним в защите, ибо мы не выдержали неистового натиска французов, и потому раньше всех попал в руки врагам. Меня поразил выстрел в правую руку и тотчас же другой в бедро, так что я не мог ни бежать, ни выхватить шпагу; и как теснота места и великая опасность не дозволяли ни просить, ни давать пардону, то получил я еще удар в голову, от которого рухнул наземь, и так как на мне было весьма доброе платье, то меня с остервенением раздели и сбросили, как мертвого, в Рейн. В такой беде воззвал я к всевышнему и совершенно предался его святой воле, и когда я давал различные обеты, то почувствовал его заступление: Рейн выбросил меня на берег, где я заткнул свои раны мохом, и хотя едва не замерз, однако ж ощутил в себе особенную силу, так что смог уползти оттуда, поелику мне помогал

бог, так что я, хоть и прежалостным образом изувеченный, попал к братьям мародерам и солдатским женкам, которые возымели ко мне сожаление, хотя вовсе не знали меня. Они уже не помышляли о счастливом освобождении крепости, что мне причиняло боль сильнейшую, нежели мое увечье. Они покормили и обогрели меня у костра, снабдив платьем, и прежде чем я успел толком перевязать свои раны, как должен был узреть, что наши приготовились к позорному отступлению и признали дело проигранным, что меня весьма сокрушало; того ради решил я никому себя не открывать, дабы и на мою долю не досталось насмешек, а посему пристал к нескольким раненым из нашей армии, с которыми шел фельдшер; ему я отдал свой золотой крестик, еще висевший у меня на шее, за что тот перевязал мне раны. Так и влачил я, дорогой Симплициус, до сих пор сию бедственную жизнь, положив намерение никому не открываться, покуда граф фон Гёц не выиграет свое дело. И теперь, видя твою верность и добросердечие, обретаю я великое упование, что милосердный бог еще не покинул меня, понеже сегодня утром, когда я шел от ранней обедни и увидел тебя возле комендантской квартиры, то представилось мне, что бог ниспослал тебя ко мне вместо своего ангела, который должен прийти ко мне на помощь во всяческой моей скудости».

Я утешал Херцбрудера, как только мог, и открыл ему, что у меня куда больше денег, чем те несколько дублонов, которые я показал, и что все это теперь к его услугам; и меж тем рассказал я ему о падении Оливье и каким образом принужден был я отомстить за его смерть, и сие так взбодрило его дух, что споспешествовало и его телесному здравию, ибо день ото дня раны его заживали все лучше.

1-я гл. Симплиций, проведав, что друг дал обет,
Решает по дружбе идти ему вслед.

2-я гл. Симплиций завел с сатаной канитель,
Страхом объятый, лезет в купель.

3-я гл. Симплиций с Херцбрудером живут, как братья,
Проводят время в полезных занятьях.

4-я гл. Симплиций снова Фортуну пытает,
Но на войне не преуспевает.

5-я гл. Симплиций в Кельне в роли Меркурия,
Юпитера речи — смесь ума и дури.

6-я гл. Симплиций, давно позабыв все обеты,
На Кислых водах вытворяет курбеты.

7-я гл. Симплиций друга отнес на кладбище,
Себе утешенье с крестьянкою ищет.

8-я гл. Симплициус снова не прочь ожениться,
Узнав, кто он родом, не стал сим гордиться.

9-я гл. Симплицию двух сыновей и то много,
А третий подброшен лежит у порога.

10-я гл. Симплицию врут мужики-ротозеи,
Что ведомо им о делах Муммельзее.

11-я гл. Симплициус слышит: честят эскулапов,
Не хочет попасть он в их хитрые лапы.

12-я гл. Симплициус дышит в воде невозбранно,
Он с сильфом уходит на дно Океана.

13-я гл. Симплиций, плывя с князьком Муммельзее,
На много чудес дивится, глазея.

14-я гл. Симплиций дорогою дискурс ведет
О том, как у сильфов жизнь их идет.

15-я гл. Симплиций в беседе на дне Океана
Не может ответить царю без обмана.

16-я гл. Симплиций отправился в Маре-дель-Сур,
Где жемчуг с кулак и в бездне пурпур.

17-я гл. Симплиций из озера вышел тишком,
Сам невредим и в платье сухом.

18-я гл. Симплиций во сне ненароком подмок,
Источник под ним не на месте потек.

19-я гл. Симплиций встречает перекрещенцев,
По нраву ему жизнь сих отщепенцев.

20-я гл. Симплиций со шведским воякой спознался,
С ним до Москвы он легонько добрался.

21-я гл. Симплиций готовит мушкетное зелье,
В чужом он пиру получает похмелье.

22-я гл. Симплиций на Волге нежданным манером
К татарам попал, а затем на галеры.

23-я гл. Симплиций зрит жизни суетный плен,
Все для него здесь тщета, прах и тлен.

24-я гл. Симплиций от мира сего отрекается,
Строгим отшельником жить собирается.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплиций, проведав, что друг дал обет,
Решает по дружбе идти ему вслед.

Когда Херцбрудер совсем поправился и исцелился от ран, поведал он мне, что, обретаясь в жестокой беде, дал он обет свершить паломничество в Эйнзидлен. А как теперь он и без того находится неподалеку от швейцарской границы, то и вознамерился сие исполнить, питаясь в дороге милостынью; мне же было весьма приятно о том услышать; того ради предложил я ему деньги и свою компанию и хотел тотчас же купить двух клеперков, дабы отправиться с ним в путешествие, правда, не по той причине, что меня побуждало и наставляло к сему благочестие, а потому что желал поглядеть Швейцарскую республику, которая была единственной страной, где процветал вожделенный мир. Меня также немало обрадовало, что мне выдался случай во время такого путешествия услужить Херцбрудеру, ибо я возлюбил его, как самого себя; он же отверг и то и другое: и мою помощь, и мое общество под тем предлогом, что паломничество надо было свершить пешком, и притом насовав в сапоги гороху. А ежели я хочу составить ему компанию, то не только тем нарушу его благоговение, но и доставлю себе самому превеликое неудобство ради его медленного и тяжкого передвижения. А помощи от меня он не примет, ибо совесть не дозволяет ему во время такого святого путешествия содержать себя на деньги, добытые смертоубийством и разбоем; а сверх того не желает он вводить меня в великие протори и объявляет мне непритворно, что я уже сделал для него более, нежели я был ему должен, а он того ожидал. Тут зачали мы приятельскую

перебранку, и сие было так мило, что ничего похожего я еще не слыхивал; ибо мы не употребляли иных доводов, кроме того, что каждый уверял, что еще не доставил своему другу ничего, что надлежало бы ему сделать, и благодеяния, которые оказал один другому, еще не оплачены. Херцбрудер более всего сетовал на то, что я, как он говорил, осыпаю его щедротами и изъявляю ему свою услужливость и неложную дружбу такою мерою, что он никогда не сможет воздать мне тою же; я же упрекал его в том, что ныне, когда мне представился случай услужить ему и доказать на деле свою благодарность за все его благодеяния, что я его неложный друг и усердный слуга, то отвергает он меня как недостойного его службы, напомнив ему последнюю волю блаженной памяти его родителя, и как мы оба под Магдебургом скрепили клятвами нашу дружбу, каковой ныне он меня лишает, и тем нас обоих сразу хочет соделать клятвопреступниками. Но все сие нимало не склонило его принять меня товарищем своего путешествия, покуда я не приметил, что ему претит не токмо золото Оливье, но и моя безбожная жизнь. Того ради прибег я ко лжи и уговорил его, что меня побуждает к паломничеству в Эйнзидлен мое намерение исправиться: а ежели он удержит меня от этого доброго начинания и я умру нераскаянным, то он будет в тяжком за то ответе. Таким манером удалось мне его уломать, так что он напоследок согласился посетить святые места вместе со мною, особливо же как я показывал (хотя все то было ложью) великое раскаяние о своей беспутной жизни, а также уверял его, что я сам вознамерился наложить на себя епитимью и вместе с ним свершить паломничество в Эйнзидлен, шествуя в сапогах, набитых горохом.

Едва окончилось сие препирательство, как началось другое, ибо Херцбрудер был чересчур добросовестен. Он не соглашался, чтобы я выправил у коменданта для нас обоих пашпорта на мой полк. «Что? — воскликнул он.— Разве не возымели мы намерение исправиться и пойти на покаяние в Эйнзидлен? И посуди, бога ради, ты хочешь положить сему начало обманом и запечатать очи людей ложью! Кто отречется от меня в сем мире, от того отрекусь и я перед отцом моим небесным, сказал Христос! Разве мы трусливые зеваки? Когда бы все мученики и исповедники Христовы так поступали, то мало было бы святых на небе. Ежели мы отправимся с именем божиим и под его покровом, куда направят нас его святая воля и назначение, и предадим себя его благому промыслу, то уж наверное бог проведет нас туда, где наши души обретут успокоение!» Но как я ему представил, что нам не следует испытывать бога, а применяться ко времени и употреблять средства, от коих мы не можем отказаться, особливо же потому, что

паломничество среди солдат не за обычай, и когда мы откроем свое намерение, то почтут нас дезертирами, а вовсе не пилигримами, что может доставить нам немалое беспокойство и несчастье, а также подвергнуть опасности наше здравие и самую жизнь, наипаче же как святой апостол Павел, с коим мы никак не можем себя поравнять, удивительным образом применялся ко времени и обычаям мира сего, то под конец Херцбрудер уступил мне, так что я получил паспорт, чтобы отправиться в свой полк. Имея оный паспорт, вышли мы с надежным провожатым из города в то время, как закрывались ворота, как если бы собирались в Роттвейль, но вскорости свернули на окольную дорогу и в ту же ночь перешли швейцарскую границу, а на следующее утро завернули в деревню, где экипировались, купив себе долгополое черное платье, паломнические посохи и четки, а нашего провожатого отпустили домой с хорошим вознаграждением.

Все в этой стране показалось мне весьма дивным, не как в других немецких землях, словно бы я очутился в Бразилии или в Китае. Я узрел, как там, в мире и тишине, всяк занят своим ремеслом, хлевы полны скотиною, мужицкие дворы кишат курами, утками и гусями; улицы безопасны для путешественников, в трактирах полным-полно людей, предающихся веселию. Там живут, не ведая страха перед неприятелем, опасения грабежа и заботы лишиться своего добра, здравия, а то и самой жизни; всяк живет беспечно среди своих смоковниц и виноградников и, ежели сравнить с другими немецкими землями, в полном довольстве и радости, так что я почел сию страну земным раем, хотя по своим обычаям она казалась порядком грубой. Сие произвело, что я всю дорогу только и делал, что глазел по сторонам, в то время как Херцбрудер перебирал четки; того ради я иногда получал от него укоризны, ибо он желал, чтобы я беспрестанно творил молитвы, к чему я никак не мог привыкнуть.

В Цюрихе он проведал все мои хитрости и посему весьма сухо выложил мне всю правду, ибо когда мы прошедшей ночью заночевали в Шаффхаузене (где у меня от гороху жестоко разболелись ноги), то поутру я забоялся идти на горохе и велел его сварить, а затем снова запихал в сапоги, после чего весело дошел пешком до Цюриха: он же с трудом волочил ноги и сказал мне: «Брат, на тебе почиет великая благодать божия, ибо ты, невзирая на горох в сапогах, шагаешь с таким веселием».— «Всеконечно,— ответил я,— достопочтенный и любезный Херцбрудер, я его сварил, а не то б не смог отмахать такой путь».— «Боже милостивый! — воскликнул он.— Что ты натворил? Ты бы лучше вовсе выбросил его из сапогов, ежели только не пожелал бы учинить

насмешку. Мне надо позаботиться, чтобы бог не покарал нас обоих, тебя и меня. Не вмени сие во зло, друг, когда я по братской любви скажу тебе с немецкой прямотою все, что у меня залегло на сердце, а именно: я о том горюю, что если только ты не перестанешь гневить бога, то лишишь себя вечного спасения. Признаюсь с охотою и уверяю тебя по правде, что я никого так не люблю в целом свете, как тебя, однако ж не хочу таить от тебя, что ежели ты не исправишься, то принужден буду устыдиться продолжения сея дружбы». Я онемел от страху, так что, казалось, больше не мог вымолвить ни единого слова; наконец открыто повинился ему, что положил горох в сапоги не ради благочестия, а единственно ему в угодность, чтобы он взял меня с собою паломничать. «Ах, брат! — отвечал он.— Вижу я, что ты далеко отошел от стези спасения, когда бы даже не было тут никакого гороху. Да ниспошлет тебе бог исправление, ибо без него не устоит наша дружба».

С того самого времени следовал я за ним в глубокой печали, подобно человеку, коего ведут на виселицу; совесть начала отягощать меня, и когда я раздумывал, то вставали перед моими очами все бесчестные мои проделки, которые я учинил в течение жизни. Тут прежде всего оплакал я свою простоту, с какою вышел из лесу и которую потом всячески расточил в мире; и мое сетование еще умножило то, что Херцбрудер был молчалив и только взирал на меня со вздохами, отчего было мне не иначе, как если бы он ведал о вечном моем осуждении и сожалел о сем.

ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплиций завел с сатаной канитель,
Страхом объятый, лезет в купель.

Таким-то образом добрели мы до Эйнзидлена и зашли в храм как раз в то время, когда священник заклинал бесноватого, что мне было внове и в диковинку, того ради оставил я Херцбрудера преклонить колени в молитве, сколько ему вздумается, а сам ради куриозности пошел поглядеть на сей спектакулум. Но едва я успел немного приблизиться, как злой дух завопил из бедняги: «Эге, парень, и тебя принесла нелегкая? Я-то думал, что, воротившись восвояси, повстречаю тебя в нашей адской обители в компании с Оливье; да вот вижу, ты объявился здесь, ах ты, беспутный, прелюбодей и смертоубийца! Али ты и впрямь вообразил, что тебе удастся улизнуть от нас? Эй вы, попы! Не принимайте его к себе, он лжец и притворщик почище меня самого, он только и делает,

что водит за нос и глумится над богом и религией». Заклинающий беса повелел злому духу замолчать, ибо ему, как архилжецу, и без того никто не поверит. «Вот, вот! — выкрикивал он.— Спросите-ка спутника беглого сего монаха, он вам наверняка расскажет, что сей атеист не устрашился сварить горох, на коем он пожелал бы прийти сюда по обету». Я совсем потерял голову, когда услышал такие слова, и все на меня уставились; но священник заклял беса и заставил его умолкнуть, однако не смог его в тот день изгнать. Меж тем приблизился и Херцбрудер, как раз в то время, когда я совсем помертвел от страху и, колеблясь между надеждой и отчаянием, не знал, как мне поступить. Херцбрудер утешал меня, как только мог, и притом уверял собравшихся вокруг нас, а особливо патера, что я никогда в жизни не был монахом, а всего-навсего солдат, который, быть может, и натворил больше зла, нежели добра, присовокупив, что дьявол — лжец и всю историю с горохом представил куда горше, нежели то было на самом деле. Я же был так смятен духом, что чувствовал себя не иначе, как если бы меня уже жег адский пламень, так что и священникам стоило немалого труда меня утешить. Они увещевали меня исповедаться и принять причастие, но злой дух снова возопил из бесноватого: «Вот-вот, он славно исповедуется! Да ведь он и понятия не имеет, что такое исповедь! Чего вы от него добиваетесь? Он еретическое отродье и давно наш, его родители были даже не кальвинисты, а перекрещенцы и т. д.». Но экзорцист еще раз повелел злому духу замолчать и сказал ему: «В таком случае тем досадительнее будет тебе, когда бедная заблудшая овца будет вырвана из твоей пасти и вновь возвратится к стаду Христову». Тут бес так ужасно завопил, что жутко было слышать, из какового мерзостного песнопения почерпнул я немалую отраду, ибо подумал, что когда бы не было у меня более надежды на милость божию, то дьявол так бы жестоко не корчился.

И хотя тогда я не отважился пойти к исповеди, да и никогда во все дни не питал такого намерения, ибо от стыда меня брал такой страх, как черта перед распятием, однако ж ощутил я в то мгновение такое раскаяние в содеянных грехах и столь горячее желание покаяться и отказаться от своей злонравной и безбожнической жизни, что тотчас же пожелал призвать к себе духовника, каковое внезапное обращение и исправление весьма обрадовало Херцбрудера, ибо он приметил и отлично знал, что я до сего времени не принадлежал ни к какой религии. Засим я объявил во всеуслышание, что принимаю католическую веру, пошел к исповеди и, получив отпущение грехов, причастился, после чего у меня стало так легко и хорошо на сердце, что я и сказать не могу. А что было всего удивительнее, так то, что с тех пор злой дух,

мучивший бесноватого, оставил меня в покое, ибо до исповеди и причастия он беспрестанно укорял меня различными проделками, которые я чинил, как если бы он только затем и был приставлен, чтобы вести счет моим грехам; однако ж никто из слышавших не верил ему, как лжецу, ибо мое достойное пилигримское одеяние представляло очам совсем иное.

Мы провели полных две недели в благодатном сем месте, где я благодарил вышнего за свое обращение и размышлял о сотворенном там чуде, что довольно подвинуло меня к умилению и благочестию. Однако ж сколь бы долго ни была преисполнена сим моя душа, понеже мое обращение возникло не из любви к богу, а из боязни и страха вечного осуждения, то стал я мало-помалу впадать в леность и нерадение, ибо исчезал из памяти тот ужас, который нагнал на меня злой дух, и когда мы вдоволь насмотрелись на святые реликвии, облачения и другие достопримечательные предметы дома господня, то отправились в Баден, дабы там перезимовать.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Симплиций с Херцбрудером живут, как братья,
Проводят время в полезных занятьях.

В Бадене снял я для нас обоих веселенькую светлицу с каморкой, какие обыкновенно снимают, особливо же в летнее время, богатые швейцарцы, которые приезжают на воды более затем, чтобы позабавиться и покрасоваться, нежели ради каких-либо своих немощей. Также уговорился я и о нашем коште, и когда Херцбрудер увидел, что я широко размахнулся, то стал толковать мне о бережливости, напоминая о долгой суровой зиме, которая нам еще предстоит, ибо не был уверен, что моих денег достанет на́долго. Мне еще, уверял он, надобно приберечь деньги на весну, когда мы захотим отсюда выбраться; деньги уходят проворно, ежели только брать и ничего обратно не класть; они исчезают, как дым, чтобы никогда больше не воротиться, и пр., и пр. После таких чистосердечных увещеваний не мог я далее скрывать от Херцбрудера, каким богатством набит мой кошель и что я намерен из него удовольствовать нас обоих, понеже происхождение и приобретение сих денег таково, что на них и без того не почиет благодать, так что я не помышляю купить на них мызу; и поелику я не собираюсь вложить во что-либо деньги, чтобы содержать моего лучшего на земле друга, то было бы только справедливо, ежели бы он, Херцбрудер, получил из денег Оливье удовлетворение за бесчестие, по-

несенное от него под Магдебургом. И так как я чувствовал себя в совершенной безопасности, то снял оба наплечья и вылущил оттуда дукаты и пистоли, после чего сказал Херцбрудеру, что он может располагать этими деньгами, как ему заблагорассудится, употреблять и делить их на части, как, по его мнению, будет всего полезнее для нас обоих.

Когда он не только увидел, какое я питаю к нему доверие, но и такую уйму денег, с помощью коих я и без него мог бы стать порядочным господином, то сказал: «Брат, все время, сколько я тебя знаю, ты только и делаешь, что оказываешь мне свою деятельную любовь и верность! Однако ж скажи мне, как, по-твоему, смогу я снова тебе за все отплатить? Дело не только в деньгах, коими ты меня одалживаешь, ибо со временем, быть может, их удастся возвратить, но чем воздам я тебе за любовь и верность, особливо же за твою высокую ко мне доверенность, чему нет цены? Сие понуждает меня покраснеть от стыда, ибо я должен признаться, что никогда ни одному человеку в целом свете не доверял настолько, как ты мне. Одним словом, брат, твой добродетельный нрав обращает меня в твоего раба, и то, что ты делаешь для меня, более приводит в удивление, нежели дозволяет отплатить тебе. О честнейший Симплициус, коему в наши безбожные времена, когда мир полон вероломства, не всходит на ум, что бедный и обретающийся во всякой скудости Херцбрудер может присвоить себе порядочный куш денег и самого его вместо себя ввергнуть в нищету! Будь уверен, брат, что твоя неложная дружба более привязывает меня к тебе, нежели богач, который дарил бы мне тысячи. Однако же прошу тебя, брат мой, оставайся ты владыкой, хранителем и даятелем своих денег; с меня довольно, что ты мне друг!» Я отвечал: «Что за диковинные речи, высокочтимый Херцбрудер! Ты изустно объявляешь мне и даешь уразуметь, что ты привязан ко мне и противишься тому, чтобы я без пользы расточал наши деньги ко вреду тебе и себе самому». И так вели мы подобные ребячливые речи, ибо были преисполнены взаимной любви, так что я готов был поверить, что плоха та любовь и доверенность у людей, когда они порой не мелют между собою всякого вздора. Итак, стал мой Херцбрудер в одно и то же время моим наставником, моим казначеем, моим слугой и моим господином, а в досужее время поведал он мне историю своей жизни, каким способом стал он известен графу фон Гёцу и получил от него произвождение, после чего и я рассказал Херцбрудеру все, что приключилось со мною после того, как умер его блаженной памяти родитель, ибо раньше еще не было у нас такого досуга; и когда он узнал, что у меня в Л. осталась молодая жена, то упрекнул меня в том, что я не отправился к ней вместо того, чтобы

идти с ним в Швейцарию; ибо сие мне куда более приличествовало и подобало. Я же оправдывался тем, что не мог совладать со своим сердцем и покинуть в такой беде своего лучшего на земле друга, после чего уговорил он меня написать моей жене и поведать ей мои обстоятельства с обещанием вскорости к ней возвратиться, к чему присовокупил я еще свои извинения ради долгого моего отсутствия, что довелось мне испытать многоразличные препятственные приключения, и с какою бы охотою я вместо того пребывал у нее.

Когда же до Херцбрудера дошли вести, что обстоятельства графа фон Гёца весьма поправились, особливо же что он оправдался перед его императорским величеством и снова вышел на свободу и даже вскорости получит командование армией, то послал ему в Вену рапорт о своем положении, а также написал в армию баденского курфюршества о своем имуществе, которое оставалось еще там, и стал возлагать надежду на свою фортуну и дальнейшее счастливое произвождение; того ради порешили мы будущею весною расстаться, ибо он собрался отправиться к сказанному графу, я же в Л. к своей жене. А чтобы зима не проходила в праздности, изучали мы у здешнего инженера фортификацию, да так, что ни испанский, ни французский король не мог бы настроить столько крепостей, сколько возвели мы на бумаге. Попутно свел я знакомство с некоторыми алхимистами. Приметив, что у меня водятся денежки, они вознамерились обучить меня, как делать золото, лишь бы я взял на себя издержки, и, я думаю, им бы удалось меня уговорить, когда бы Херцбрудер их не спровадил, сказав им, что тому, кто обладает подобным искусством, незачем бродить попрошайками и клянчить у других деньги.

Меж тем как Херцбрудер получил из Вены от вышепомянутого графа приятный ответ и надежные обещания, я же — ни единого словечка из Л., невзирая на то что писал различные письма in duplo. Сие весьма меня раздосадовало и послужило причиной того, что весною я не направил свои стопы в Вестфалию, а упросил Херцбрудера взять меня в Вену, чтобы насладиться ожидаемым счастьем. Итак, на деньги, что были у меня, обзавелись мы платьем, лошадьми, слугами и оружием, словно два кавалера, и отправились через Констанц в Ульм, откуда поплыли по Дунаю и через восемь дней счастливо пристали в Вене. По пути мне не удалось приметить ничего особенного, ибо мы очень торопились, не считая того, что бабенки, жившие по берегам, когда проплывающие мимо задирали их криками, ответствовали не токмо словесно, но и показывая такие доводы, что было на что подивиться.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Симплиций снова Фортуну пытает,
Но на войне не преуспевает.

Как все диковинно повелось в переменчивом сем мире! Обыкновенно говорят: «Тот, кто знал бы все, скоро бы разбогател», я же скажу: «Кто умел бы всегда приноровиться ко времени, тот скоро бы стал великим и могущественным. Иной живодер или сквалыга (ибо сии почтенные титулы дают скрягам) быстро разбогатеет, ибо знает и умеет находить всюду выгоды, однако никогда не войдет в честь, а пребывает и будет пребывать в жалком ничтожестве, как до сего обретался в бедности. Но кто умеет возвыситься и стать могущественным, за тем богатство гонится по пятам». Фортуна, которая дарует власть и богатство, весьма милостиво взирала на меня и, когда я пробыл в Вене с недельку, не раз представляла мне случай без малейшей препоны взойти по ступеням чести; но я не свершил сего. Почему? Я полагаю, оттого, что мой фатум назначил мне иную стезю, а именно ту, по коей меня повело мое фатовство.

Граф фон дер Валь, под чьим командованием я некогда отличился в Вестфалии, обретался как раз в Вене, когда мы с Херцбрудером туда прибыли; на банкете, где наряду с прочими имперскими военными советниками и самим графом фон Гёцем был и помянутый командир, зашла речь о различных замысловатых людях, находчивых солдатах и удачливых дозорных, также вспомнили о Егере из Зуста и порассказали о нем немало историй с такою похвалою, что многие дивились его младости и сокрушались, что лукавый гессенский полковник С. А. надел ему на шею хомут, дабы он либо отложил в сторону шпагу, либо взял в руки шведский мушкет. Тут помянутый граф фон дер Валь подробно объявил, как сей полковник в Л. обошел меня. Мой верный Херцбрудер, который случился при той беседе и весьма хотел споспешествовать моему благополучию, попросил извинить его и дозволить ему вставить слово, объявив, что он знает Егеря из Зуста лучше, нежели любой человек во всем свете, и что это не токмо добрый солдат, который не страшится понюхать пороху, но также изрядный наездник, искусный фехтовальщик, отличный стрелок и пушкарь, а сверх того не уступит ни одному инженеру; он оставил в Л. не только жену, с коей его сочетали таким поносным манером, но и все свое достояние и теперь снова желает вступить в имперскую службу, понеже в прошедшую кампанию находился под командою графа фон Гёца, и когда сего Егеря захватили в плен веймарцы и он хотел снова перейти к имперским, он и его

товарищ уложили капрала и шестерых мушкетеров, посланных за ними в погоню, да еще и поживились; и понеже он сам прибыл с ним в Вену, дабы снова сражаться с врагами римского императорского величества, однако же на таких кондициях, которые были бы для него пристойны, ибо он не желает больше служить посмешищем как рядовой.

Тогда вся сия знатная компания уже до того воспламенилась от приятных напитков, что пожелала удовольствовать свое любопытство и поглядеть на Егеря, ибо Херцбрудер был столь проворен, что доставил меня туда в своей повозке. По дороге он наставлял меня, как надлежит мне держать себя в столь знатном обществе, ибо от этого зависело мое произвождение и будущее благополучие. Того ради отвечал я, когда мы пришли, на все вопросы коротко и афористично, так что кругом стали дивиться, ибо я не говорил ничего лишнего, а ежели уж и говорил, то глубокомысленно. Одним словом, я оказал себя так, что был каждому приятен, ибо и без того граф фон дер Валь похвалил меня как доброго солдата. Но тут я захмелел и стал куражиться и думаю, что дал приметить, как мало я еще бывал в свете. Кончилось все тем, что один пехотный полковник обещал мне роту в его полку, отчего я не отказался, ибо подумал: «Заделаться капитаном взаправду дело не шуточное». Но на другой день Херцбрудер выговаривал мне за мое легкомыслие и сказал, что когда б только я смог подольше продержаться, то продвинулся бы еще выше.

Итак, в чине капитана я был представлен роте, которая, хотя и была полностию укомплектована начальством со мною in prima plana [1], однако ж насчитывала не более семи караульных. Узрев сие, сказал я самому себе: «Когда б я был полководцем и у меня завелся такой капитан, у коего под командою было не больше, чем у тебя, то я прогнал бы его ко всем чертям!» А к тому же еще мои унтеры были по большей части старыми песочницами, так что мне пришлось из-за них почесать себе затылок; и вскорости меня с этой командой тем легче растрепали во время жестокой перепалки, когда граф фон Гёц лишился жизни, Херцбрудер поплатился своими тестикулами, которые у него отстрелили, а я получил свою часть в бедро, что, впрочем, было не ахти какой уж раной. Посему отправились мы вдвоем в Вену, чтобы полечиться, ибо там было оставлено все наше имение. Кроме той раны, что получил Херцбрудер и которая скоро зажила, впал он в весьма опасное состояние, которое медики не сразу сумели распознать, ибо у него отнялись сразу все конечности, словно у холерика, у которого испортилась желчь, хотя по своей комплекции он был менее всего

[1] на первом месте *(лат.)*.

предрасположен к гневливости. Тем не менее ему присоветовали полечиться на кислых водах, а именно в Грисбахе в Шварцвальде.

Так нечаянно переменилось счастье: Херцбрудер незадолго перед тем решил жениться на благородной девице и на такой конец стать бароном, а меня возвести в дворянство. Теперь же принужден был он помышлять совсем об ином; и вот, понеже он утратил то, что потребно для продолжения рода, а вдобавок его разбил паралич, грозивший долгим недугом, при коем он не мог обойтись без помощи доброго друга, то составил он завещание, объявив меня единственным наследником всего своего имения, особливо же как увидел, что я ради него презрел свою фортуну в Вене и расступился со своим батальоном, дабы сопровождать его на Кислые воды и там ухаживать за ним, пока он не поправит своего здоровья.

ПЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций в Кельне в роли Меркурия,
Юпитера речи — смесь ума и дури.

А когда Херцбрудер снова смог сесть на лошадь, перевели мы наличные наши деньги (ибо с того времени у нас была одна казна) векселем на Базель, обзавелись лошадьми и слугами и отплыли вверх по Дунаю в Ульм, а оттуда на помянутые Кислые воды, ибо как раз наступил май и самое веселое время для путешествия. Там сняли мы себе ложемент, я же поскакал в Страсбург не только затем, чтобы получить там часть денег, которые мы перевели из Базеля, но и для того, чтобы отыскать там искусных медиков, которые прописали бы рецепты и дали наставления, как надлежит пользоваться водами Херцбрудера. Они отправились вместе со мною на Кислые воды и нашли, что Херцбрудера опоили, и понеже яд оказался не настолько силен, чтобы умертвить его сразу, то поразил его конечности, откуда сей яд можно эвакуировать с помощию лекарств, противоядий и потовых бань, и на такое лечение понадобится недель восемь. Тут Херцбрудер тотчас же вспомнил, кто и когда его опоил, именно те, кои охотно заступили бы его место, а так как он еще услышал от врачей, что для лечения его вовсе не надобно было посылать на Кислые воды, то непоколебимо уверился, что его полевой медикус был подкуплен теми же самыми его ривалями, сиречь соперниками, дабы спровадить его куда подальше; однако ж решил он закончить лечение на Кислых водах, ибо там был не только здоровый воздух, но и многоразличное приятное общество среди съехавшихся на воды гостей.

Столько времени я не хотел провести понапрасну, ибо испытывал сердечное желание повидаться со своею женою, и так как Херцбрудер не особенно во мне нуждался, то я открыл ему свою печаль. Он похвалил мое намерение и подал совет не откладывать сего, а навестить ее, и чем скорее, тем лучше, дал мне также некоторые драгоценности, которые я должен был преподнести ей от его имени, и с тем испросить у нее извинения за то, что он послужил причиною, что я не наведался к ней раньше. Итак, поскакал я в Страсбург, где не только запасся деньгами, но и порасспросил, как надежнее всего совершить мне дальнейший путь, узнав только, что никак нельзя ехать верхом, ибо было весьма неспокойно от разъездов среди стэль многих гарнизонов обеих воюющих сторон; того ради выправил паспорт для страсбургского нарочного и сочинил несколько писем моей жене, ее сестре и родителям, как если бы я собирался их с ним отправить в Л., и, представив, словно я переменил свое намерение, выманил паспорт у посыльного, отослал обратно со слугой свою лошадь, переоделся в белую с красным ливрею и на корабле добрался до Кельна, каковой город в то время соблюдал нейтралитет.

Прежде всего пошел я проведать давнишнего своего знакомого Юпитера, который когда-то объявил меня своим Ганимедом, дабы разузнать, как обстояло дело с моими вещами, оставленными на хранение. Но он снова повредился в уме и гневался на весь род человеческий. «О Меркурий! — залопотал он, как только меня увидел.— Какие новые ведомости принес ты из Мюнстера? Не вознамерились ли люди наперекор моей воле заключить мир? Не бывать тому! Они наслаждались им, почто же они его нарушили? Разве, когда они побудили меня наслать на них войну, пороки их не преисполнили всякую меру? Чем же они с тех пор заслужили, чтобы я вновь даровал им мир? Разве с той поры они раскаялись? Разве не стали еще злее и не стекались на войну, как на ярмарку? Или же раскаялись они от дороговизны, которую я наслал, отчего перемерло столько тысяч народу? Или, быть может, их устрашил жестокий мор (что унес миллионы людей), так что они исправились? Нет, нет, Меркурий, те, что уцелели и своими очами видели прежалостное бедствие, не только не исправились, а стали куда злее, нежели были когда-либо прежде! Но ежели они не исправились после стольких суровых испытаний и под тяжким крестом и посреди напастей не перестали вести безбожную жизнь, то что учинят они, когда я вновь ниспошлю им златосмеющийся мир? Мне надобно поостеречься, дабы они, как некогда гиганты, не попытались низринуть небеса! Но я не премину загодя пресечь их дерзкое своеволие и обречь их еще немалое время мерзко прозябать в войнах».

Но как я довольно знал, что у сего громовержца сразу завшивеет язык, ежели его как следует подзудить, то сказал: «Боже праведный, однако ж весь свет вздыхает о мире и дает обет исправиться, почто же хочешь с ним еще помедлить?» — «Вот, вот,— отвечал Юпитер,— они-то вздыхают, да ради самих себя, а не меня; и не для того, чтобы сидеть под виноградными лозами и фиговыми деревьями, воссылая хвалы богу, а чтобы поедать их благородные плоды в доброй тишине и в полном удовольствии. Намедни спросил я некоего шелудивого портняжку, должен ли я даровать мир? Он же отвечал, что ему все едино, и в мирные и в военные времена фехтует он ножницами. Схожий ответ получил я и от медеплавильщика, который сказал, что, когда мир, ему не дают лить колокола, а когда война, то у него только и дела, что отливать пушки да мортиры. Также ответствовал мне и кузнец, который сказал: «Ежели в военные времена мне не доводится ковать шкворни для мужицких телег, зато мне вдоволь нагонят рейтарских коней и военных повозок, так что я могу обойтись и без мира». Так вот рассуди, любезный Меркурий, чего ради должен я даровать им мир? Правда, немало найдется таких, которые вожделеют мира, но, как уже сказано, ради своего спокойствия и чревоугодия; напротив того, немало и таких, которые хотят сохранить войну не потому, что такова моя воля, а ради своего прибытка. И подобно тому как каменщики и плотники желают мира, дабы строить и возрождать из пепла разрушенные дома и тем зашибить деньгу, точно так же и те, кои не надеются в мирные времена сыскать себе работу, домогаются продолжения войны, дабы хорошенько пограбить».

Когда Юпитер пустился в подобные рассуждения, то я с легкостью заключить мог, что при таком замешательстве его ума я немного разузнаю тут о своих близких, а посему не открылся ему, а взял от ворот поворот, да и побрел окольными путями, кои все были мне хорошо ведомы, в Л., где сперва справился о моем тесте, словно сторонний посыльный, и тотчас же узнал, что он вместе с моей тещей за полгода перед тем распрощался с белым светом и что любимая моя жена, после того как разрешилась от бремени сыном, который сейчас находится у ее сестры, вскоре же после родов также покинула временную сию юдоль. Засим вручил я моему свояку письма, которые я сам написал тестю, моей женушке и тому же свояку; он же пожелал меня приютить, дабы разузнать как от посыльного, в каком теперь положении и что поделывает Симплиций Симплициссимус. Я долго вел дискурс о сем предмете с моею свояченицею и весьма красноречиво выложил все, что только знал за собою хвалы достойного, ибо оспины до того изуродовали и изменили мое лицо, что меня уже не мог признать ни один

человек, кроме фон Шёнштейна, который был моим лучшим другом и потому набрал полный рот воды.

После того как я подробнейшим образом нарассказал, что у господина Симплициуса множество прекрасных лошадей и слуг, в какой он чести и как расхаживает в черной бархатной шляпе, расшитой золотом, свояченица воскликнула: «Ну вот, я всегда думала, что он не столь низкого происхождения, как себя выдавал. Здешний комендант уговаривал моих блаженной памяти родителей выдать за него мою сестру, а та была весьма благонравной девицей, и обнадеживал их большой от себя выгодой, так что я никогда не ожидала, что сие приведет к доброму концу; тем не менее он подавал тут добрые надежды и решил вступить в шведскую или, лучше сказать, гессенскую службу в здешнем гарнизоне, ибо намеревался забрать сюда имущество, оставленное в Кельне. Но вышла заминка, и его самым бесчестным образом спровадили во Францию, а он оставил тут беременную мою сестру, которая и знала-то его меньше месяца, да еще обрюхатил с полдюжины мещаночек; так что все по очереди (а моя сестра последняя) разродились одними мальчишками. А как потом померли мои родители, а у меня и мужа нет надежды на потомство, то мы и объявили племянника наследником всего нашего достояния, а с помощью здешнего господина коменданта заполучили все имение его отца, оставленное в Кельне, которое примерно составит 3000 гульденов, так что, когда мальчонка придет в совершенный возраст, ему не будет надобности записываться в солдаты. Я и муж мой полюбили мальчика так сильно, что не отдадим его отцу, даже если бы он сам за ним явился и захотел забрать его с собою; сверх того он самый красивый из всех своих побочных братьев и похож на отца, как вылитый; и я знаю, что ежели бы мой зять знал, какой у него здесь пригожий сын, то ничто бы не удержало его от того, чтобы приехать сюда (хотя бы он опасался увидеть всех остальных своих выблядков), чтобы только поглядеть на любезное свое серденько».

Такими и другими подобными речами дала мне свояченица почувствовать свою любовь к моему дитяти, которое бегало кругом еще в первых штанишках и тешило мое сердце. Того ради вынул я драгоценности, которые отдал мне Херцбрудер, чтобы я преподнес их от его имени своей жене; их-де (сказал я) послал со мною господин Симплициус, дабы вручить его ненаглядной, как привет от него; но как она умерла, то, я полагаю, будет справедливо, ежели я оставлю сии драгоценности ее ребенку, что мой свояк и его жена приняли с радостию, заключив посему, что я не нуждаюсь в средствах и птица совсем иного полета, нежели они до того воображали. Меж тем, покончив с этим делом, я попросил распи-

ску, и когда получил ее, то пожелал от имени Симплициуса поцеловать его юное чадо, чтобы потом поведать о том его отцу. А когда моя свояченица мне сие дозволила, то у нас обоих, у меня и дитяти, вдруг кровь потекла из носу, отчего у меня готово было разорваться сердце; но я затаил свои чувства и, дабы не дать времени для размышлений о причине подобной симпатии, поскорее удалился и через две недели с превеликим трудом воротился на Кислые воды в рубище нищего, ибо по дороге был обобран дочиста.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

Симплиций, давно позабыв все обеты,
На Кислых водах вытворяет курбеты.

Возвратившись, увидел я, что здоровье Херцбрудера скорее ухудшилось, хотя доктора и аптекари пичкали его настойчивей, чем гуся на откорм; сверх того я приметил, что он стал совсем как дитя и едва волочит ноги. Я, правда, ободрял его, как только мог, да не больно-то успешно: он сам понимал, что силы его тают и он долго так не протянет. Самым большим утешением для него было то, что я останусь с ним, пока он не смежит очи навеки.

Я же, напротив, прилепился к прежним веселостям и искал ветреные забавы всюду, где только мог их найти, однако ж так, чтобы не помешать уходу за любимым моим Херцбрудером. А так как я теперь знал, что сделался вдовцом, то моя привольная жизнь и молодость раззадоривали меня на волокитство, чему я тогда изрядно предался, ибо все обеты, какие я надавал в Эйнзидлене, были давно позабыты. На Кислых водах повстречал я некую прекрасную даму, которая выдавала себя за благородную, однако, по моему разумению, была не столько nobilis[1], а скорее mobilis[2]. Сей мужеловке принялся я изрядно угождать, ибо она показалась мне весьма пригожей, так что вскорости я не только получил к ней свободный доступ, но и все утехи, каких только мог желать и домогаться. Но вскорости же я почувствовал отвращение к ее ветрености и старался пристойным образом от нее избавиться, ибо мне показалось, что она больше намеревалась подрезать мой кошелек, чем заполучить меня в мужья. К тому же, куда бы я ни шел и где бы я ни появлялся, она награждала меня нежными пламенными взорами и другими свидетельствами ее жгучей склонности, так что я принужден был стыдиться за нас обоих. На тех же водах

[1] благородная *(лат.)*.
[2] подвижная; здесь: распутная *(лат.)*.

находился также некий знатный и богатый швейцарец, у коего утащили не только что деньги, но и все уборы жены его из золота, серебра, жемчуга и драгоценных камней. И так как с подобными вещами расстаются с такою же неохотою, как тяжело они приобретаются, то сказанный швейцарец пускался на всевозможные средства и хитрости, чтобы вернуть украденное, и для того призвал из Гейсхаута прославленного чернокнижника, который своими заклинаниями так донял вора, что тот собственной персоной принес похищенное добро на надлежащее место, за что ворожéй и получил в подарок десять рейхсталеров.

Я охотно повидал бы сего чернокнижника и имел с ним конфиденцию, однако ж без ущерба для моей репутации (ибо тогда мнил я о себе, как о весьма добропорядочном человеке); того ради, проведав, что он превеликий охотник до вина, подучил я своего слугу пображничать с ним тем же вечером, дабы поглядеть, не смогу ли я таким манером свести с ним доброе знакомство и выудить у него что-либо для меня небесполезное, ибо мне нарассказали о нем такое множество всяких диковин, что я не мог тому поверить, покуда сам от него не услышу. Я переоделся странствующим торговцем из тех, что продают снадобья, и подсел к нему, чтобы узнать, догадается ли он или подскажет ему черт, кто я такой. Но я не приметил ни малейшего следа его проницательности, ибо он беспрестанно пил и обходился со мной сообразно моему платью, так что и мне поднес несколько стаканчиков и оказывал мне меньше решпекту, нежели моему слуге. Сему последнему открыл он по тайности, что ежели бы тот, что обокрал швейцарца, самую малость из того бросил в проточную воду и таким образом выделил праздному черту его долю, то не было бы никакой возможности ни назвать вора, ни воротить назад похищенное.

Слушал я о такой дурацкой примете и дивился тому, как коварный и искусный в бесчисленных хитростях враг бедного рода человеческого завлекает в свои когти столь ничтожными уловками. Я с легкостию мог усмотреть и без труда заключить, что сия проделка лишь одно из условий того пакта, который колдун заключил с дьяволом, и мог рассудить, что сие искусство не поможет вору, когда, чтобы открыть кражу, позовут такого чернокнижника, в чьем договоре нет такой клаузулы; посему велел моему слуге, который умел воровать почище любого цыгана, чтобы он напоил до бесчувствия нашего ворожея и затем похитил у него десять рейхсталеров, но тотчас же несколько грошей бросил в Ренх. Сие слуга мой учинил с великим прилежанием. А когда рано поутру ворожей хватился своих денежек, то отправился на берег дикого Ренха, нет сомнения, затем, чтобы посоветоваться со своим spiritu fa-

miliari [1], но был столь жестоко отделан, что воротился с синяками и расцарапанной рожей, чем меня бедный старый плут так разжалобил, что я воротил ему деньги и велел наказать, что отныне, когда он узрел, какой обманщик злой дух есть дьявол, должен он от него отречься и не водить с ним компанию, и не услужать ему, а снова обратиться к богу. Но от сего увещевания вышло для меня мало проку, ибо с того самого времени мне ни в чем не было ни счастья, ни удачи; вскорости пали лучшие мои лошади, которые были испорчены колдовством. Да и, по правде, чем тут можно было воспрепятствовать? Жил я безбожно, словно эпикуреец, и никогда не отдавал себя под покров божий; так отчего бы этому ворожею и не отомстить мне?

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций друга отнес на кладбище,
Себе утешенье с крестьянкою ищет.

Чем дольше жил я на Кислых водах, тем больше входил во вкус, ибо не только день ото дня умножалось число гостей, но и самое то место и весь образ жизни пришлись мне весьма по душе. Я перезнакомился с самыми веселыми людьми из приезжих и стал обучаться куртуазным речам и комплиментам, на что всю жизнь не обращал особливого внимания.

Меня принимали за дворянина, так как мои слуги величали меня господин капитан, а таких должностей не часто достигают солдаты Фортуны, да еще в столь молодом возрасте, в каком я тогда был. А посему богатые щеголи не только заводили со мною, а я с ними знакомство, но и заключали братскую дружбу, так что всякие потехи, игры, пирушки и попойки были в то время главным моим делом и заботою, на что уходило немало славных дукатиков, однако ж я не очень-то за сим примечал и о том печалился, ибо мешок с наследством Оливье все еще был тяжеленек.

Меж тем здравие Херцбрудера час от часу все ухудшалось, так что в конце концов он должен был возвратиться в лоно природы, после того как его покинули врачи и аптекари, которые немало от него поживились. Он еще раз подтвердил свое завещание, оставив мне все, что ему самому досталось от его блаженной памяти родителя; я же похоронил его с полным великолепием, а его слуг распустил по домам, наградив поминальным платьем и деньгами.

---

[1] Здесь: домашний дух *(лат.)*.

Его кончина сокрушила мое сердце, особливо же потому, что его извели ядом, и хотя сего я не мог никак изменить, но сие изменило меня самого, ибо я день ото дня удалялся от всякой компании, все более горевал и искал уединения, чтобы предаться печальным мыслям. На такой конец хоронился я куда-либо в кустарник, рассуждая не только о том, что я потерял друга, но и что никогда в жизни не обрету подобного ему. При сем строил я всякого рода предположения, как надлежит мне расположить будущую мою жизнь, и ни к какому решению не приходил. То я снова собирался на войну, но невзначай вспоминал, что самому ничтожному крестьянину в здешних местах живется лучше, чем полковнику, ибо тут не рыщут дозоры. Также не мог я довольно вообразить, что бы тут могла натворить армия, дабы вконец разорить эту страну, где еще всякий крестьянский двор цел и крепок, как в мирные времена, а хлева полны скотиной, тогда как в долинах в деревнях уже не повстречаешь ни кошки, ни собаки.

Однажды прилег я между дорогой и речкой в траву под толстым тенистым деревом, чтобы послушать соловьев, чье пение лучше всего утешало меня в моей печали; ибо я слушал их прекрасную трель не оплошно, а с большим прилежанием по укоренившейся привычке и всякий раз дивился, как из столь узенькой дудочки, или горлышка, исторгается такой светлый высокий голос и благозвучная гармония. И когда я уже довольно долго увеселял себя слушанием, воображая, что соловей сладостным своим пением завораживает других птиц, понуждая их умолкнуть и внимать только ему, подошла к противному берегу красавица, которая (ибо она носила простое крестьянское платье) более привлекла меня, чем пригожая барышня. На голове она несла корзину с кругами свежего масла, чтобы продать его на Кислых водах; она прополоскала это масло в воде, чтобы оно не растаяло от жары; меж тем села она на траву, отбросила прочь покрывало и крестьянскую шляпу и утирала пот с лица, так что я мог хорошо ее наблюдать, насыщая свои нескромные очи сим зрелищем. Тогда помнилось мне, что за всю жизнь не довелось мне еще увидеть такой красавицы; пропорции ее тела были совершенны и безупречны, руки и кисти белы как снег, лицо свежее и приятное, а черные, полные огня глаза метали пленительные искры. Когда она снова уложила масло в корзину, я крикнул ей: «О дева! Ты своими прекрасными руками остудила масло в воде, но твои светлые очи повергли мое сердце в пламень!» Едва только она меня заслышала и увидела, как тотчас же бросилась бежать со всех ног, словно за нею была погоня, и не промолвила в ответ ни единого слова, оставив меня обремененного всеми теми дурачествами, которые обыкновенно обуревают всех влюбленных фантастов.

Мое страстное желание погреться подольше в лучах этого солнца не только побудило меня покинуть уединенное место, которое я себе избрал, но и произвело во мне то, что соловьиное пение почел я теперь стоящим внимания не более, чем вой волков. Того ради помчался я на Кислые воды и послал своего слугу отыскать крестьяночку и приторговываться к маслу, покуда я не поспею. Он смекнул свое дело, а я, когда подошел, свое; однако ж я встретил каменное сердце и такую холодность, какой никогда бы не ожидал от крестьянской девушки, отчего я тем сильнее влюбился, невзирая на то что, побывав в подобных переделках, с легкостию мог себе представить, что ее не так-то просто провести.

В то время не было у меня ни лютого врага, ни доброго друга; врага, чтобы я, устремив все свои помыслы против него, позабыл о шальной своей любви, или друга, который присоветовал бы мне что-либо иное и отговорил бы меня от того дурачества, которое я собрался учинить. Но вот горе! У меня ничего не было, кроме денег, своих и Херцбрудера, которые меня ослепляли, безоглядных желаний, которые меня соблазняли, ибо я снял с них узду, и грубого безрассудства, которое погубило меня и ввергло во всяческое злополучие. Я обратился к сводникам и сводницам в надежде хотя бы с их помощию достичь своей цели и, впав в еще горший грех, получить сатисфакцию грешным моим желаниям; однако ж я не попал в мишень, в которую целился, а уведался, что сия деревенская девка отвергла с презрением все то, чего как раз от нее добивались другие, что меня почти сводило с ума. Но я, глупец, должен был хотя бы по нашим одеждам, как по некоему дурному предзнаменованию, вывести заключение, что мне не повезет с ее любовью; ибо как я потерял Херцбрудера, так и у этой девицы умерли родители, и посему мы оба, когда впервые увидели друг друга, еще носили траурное платье, то какие это могло предвещать нам любовные утехи? Одним словом, я сильно увяз в тенетах Венеры, или, лучше сказать, в силке для дурней, и того ради совсем ослеп и лишился разума, как дитя Купидо, и так как я не надеялся утолить скотскую свою похоть иначе, то принял решение жениться. «Что ж? — подумал я.— По своему происхождению ты мужицкий сын, и все равно у тебя никогда не будет наследного замка; страна здесь благодатная и по сравнению с другими цвела и благоденствовала во все время этой жестокой войны; сверх того у тебя еще достанет денег купить в сей местности наилучший крестьянский двор; ты женишься на честной крестьянской девушке и спокойно заживешь, как барин, среди крестьян. Где еще сыщешь ты столь приятное обиталище, как не вблизи Кислых вод; ибо по причине частых приездов и отъездов гостей каждые шесть недель открывается перед тобой новый мир и ты

можешь вообразить, что то шар земной сменяет одно поколение за другим». Множество таких и подобных мыслей теплилось в голове моей, пока наконец я не стал склонять свою любимую к браку и, хотя не без труда, получил на то согласие.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Симплициус снова не прочь ожениться,
Узнав, кто он родом, не стал сим гордиться.

Я изрядно приготовился к свадьбе, ибо был на седьмом небе от блаженства; я не только выкупил полностью крестьянский двор, где родилась моя невеста, но и принялся возводить новую красивую постройку, как если бы собрался завести тут большое хозяйство; и, еще не справив свадьбу, поставил свыше тридцати голов скота, ибо как раз столько можно было продержать там круглый год. Словом, я устроил все как ни на есть лучше и даже обзавелся самою дорогою утварью, какую только могла промыслить моя дурость. Но вскорости моя дудочка шлепнулась прямо в грязь, ибо в то самое время, когда я думал, что с попутным ветром заведу свой фрегат в узкую бухточку в Англии, попал я против всякого чаяния в просторный канал в Голландии, и тут-то, однако ж слишком поздно, узнал, по какой причине моя невеста с такою неохотою пошла за меня замуж; а всего более мне досаждало, что я никому не мог посетовать на смешное свое горе. Правда, теперь мог я рассудить, что мне пришлось по справедливости расплатиться за свои старые грехи, однако ж такой приговор не подвинул меня к смирению, тем менее к благочестию, напротив, увидев себя столь бесчестно обманутым, решил я обманывать сию обманщицу и принялся пастись на всякой травке, где только ее находил; сверх того свое время провождал я более в приятном обществе на Кислых водах, нежели у себя дома; одним словом, я повел свое хозяйство спустя рукава; да и моя супружница также была весьма нерадива: был у нее бык, которого я велел забить на нашем дворе и засолить мясо в бочонках; а когда она захотела попотчевать меня молочным поросенком, то умудрилась общипать его, словно птицу, а также порывалась варить зайчатину, жарить на решетке раков и на вертеле форелей. По сим примерам с легкостию судить можно, сколь рачительно я с нею жил. Также с большой охотою попивала она вино и подносила его другим добрым людям, что предвещало мне грядущую погибель.

Однажды, прогуливаясь, спустился я с несколькими щеголями в долину, чтобы проведать общество, собравшееся на водах;

по дороге повстречался нам старый крестьянин, который вел на веревке козу на продажу; и как мне помнилось, что я когда-то видел этого мужика, то спросил его, откуда он идет с этой козой. Он же сдернул шляпенку и ответил: «Благородный барин, про то не могу тут молвить». Я сказал: «Ты верно ее не украл?» — «Нет,— продолжал мужик,— я-то веду ее из местечка, что там, в долине, а из какого, не могу молвить при барине, раз у нас речь зашла о козах». Сие повергло всю компанию в смех, и как я изменился в лице, то все подумали, что я приведен в досаду или устыдился, что мужик меня так ловко поддел. Но у меня были другие мысли; ибо по большой бородавке, которая торчала у мужика посреди лба, словно рог, я уверился, что то был мой батька из Шпессерта, и того ради захотел сперва, прежде чем открою ему себя и порадую таким знатным сыном, каким я тогда казался по платью, разыграть ворожея, а потому спросил: «Любезный мой старый батюшка, а ты, часом, не из Шпессерта?» — «Да, барин!» — отвечал мужик. Тогда я сказал: «А не у тебя ли лет эдак восемнадцать тому назад всадники разорили и сожгли дом?» — «Да, боже ты милостивый! — воскликнул мужик.— Неужто с тех пор прошло столько времени?» Я же продолжал: «А не было ли у тебя в ту пору двух детей, взрослой дочери и мальчонки, который у тебя пас овец?» — «Барин,— отвечал батька,— девка вправду была моей дочерью, а мальчонка нет; я хотел вырастить его себе заместо сына». Тут из его слов я уразумел, что не был сыном этого грубого пентюха, что меня отчасти обрадовало, но также и опечалило, ибо мне взошло на ум, что я, должно быть, байстрюк или подкидыш; того ради спросил батьку, где он раздобыл себе этого мальчонку или по какой причине решил он вырастить его заместо сына. «Ах,— отвечал он, с ним вышло все диковинно: мне принесла его война, и война же его у меня отняла». Но понеже был я в опасении, что тут может выйти наружу какая-нибудь диковинная история о моем рождении и повредит моей репутации, то повернул я наш дискурс снова на козу и спросил, не собирается ли он продать ее трактирщице на кухню, что мне весьма странно, ибо гости, съезжающиеся на Кислые воды, не жалуют старой козлятины. «Э, нет, барин! — отвечал мужик.— У трактирщицы-то полно коз, и она не даст за нее ни гроша. Я веду ее к графине, что там купается на водах, а дохтур Ко-всякой-бочке-затычка прописал ей всякие травы, так что коза должна их жрать, а молоко от нее берет дохтур и готовит лекарство, а графиня должна то молоко пить и от него выздороветь. Бают, что у графини хвороба в утробе, а коли ей коза пособит, то от козы будет больше проку, нежели от дохтура и его хаптекаря». Слушая сию реляцию, обдумывал я, каким образом мне устроить, чтобы еще поговорить с

мужиком, а потому предложил за козу на талер больше, чем ему за нее давал доктор или графиня, на что мужик сразу же согласился (ибо и малейший барыш скоро переменяет людские намерения), однако ж с условием, что он должен сперва объявить графине, что я предложил ему талером больше; захочет она тогда взять за эту цену, то ее почин, а нет, так он отдаст козу мне и вечером обскажет мне, каков был торг.

Итак, пошел мой батька своею дорогою, а я со всей компанией своей; но я никак не хотел, не мог и не был в силах долее с ними прогуливаться, а своротил в сторону и пошел туда, где повстречал мужика, который все еще стоял с козой, ибо те, что рядились с ним, за нее так много не дали, так что я на таких богатых людей подивился, но не стал от этого скупее. Я отвел его на свой новокупленный двор, заплатил за козу, и когда мы это дельце спрыснули и он был под хмельком, то спросил его: а откуда взялся у него тот мальчонка, о котором мы сегодня утром баяли. «Ах, барин,— отвечал он,— мансфельдова война меня им одарила, битва при Нёрдлингене опять забрала». Я сказал: «Забавная, должно быть, история!», и попросил, коли уж нам не о чем больше говорить, то рассказать мне ее скуки ради. Тогда он поведал мне следующее: «Когда Мансфельд проиграл сражение под Хёхстом, то его разбитое войско рассыпалось повсюду, ибо не знали, куда им ретироваться. Много их забрело в Шпессерт, где они прятались в кустарниках, но, избежав смерти в долине, обретали ее в наших горах, и понеже обе воюющие стороны почитали справедливым грабить и убивать друг друга на нашей кровной земле, то и мы давали им нахлобучку. Тогда редко какой мужик ходил по зарослям без мушкета, ибо когда корчуешь да пашешь, то не приходится сидеть дома. Во время этой заварухи, после того как послышалось несколько выстрелов, набрел я неподалеку от нашего двора в диком нечищеном лесу на красивую молодую женщину на дородной лошади; я сперва почел ее за мужчину, так молодцевато скакала она верхом, но когда я увидел ее очи и руки, воздетые к небу, и услышал, как она прежалостно лопочет не по-нашему и взывает к богу, то опустил мушкет, хотя уже собрался в нее стрелять, но отвел курок, ибо ее крики и мины уверили меня, что эта женщина в горе, чем она и склонила меня к сожалению. Тут приблизились мы друг к другу, и, завидев меня, она сказала: «Ах! Когда ты честная христианская душа, то, прошу тебя, ради бога и его милосердия, ради самого Страшного суда, перед коим мы все предстанем и дадим отчет о наших делах и поступках, отведи меня к честным женщинам, которые бы с божиею помощию помогли мне разрешиться от беремени». Сие напоминовение о столь священных предметах совокупно с ласковым словом и хотя печальным, но все

же прекрасным лицом побудило меня к такому сожалению, что я взял под уздцы ее лошадь и вывел через все заросли и кустарники в самую чащобу, куда сам укрыл свою жену, ребенка, челядь и скотину. Там-то не далее как через полчаса и родила она мальчонку, о котором мы сегодня толковали».

Такими словами закончил рассказ батька, отхлебнув разок, я же щедро ему подливал. Когда же он опорожнил стакан, я спросил: «Ну, а что сталось потом с этой женщиной?» Он же отвечал: «Когда она разрешилась от беремени, то позвала меня в кумовья, и как я хотел вскорости отнести дитя крестить, назвала мне свое и мужнино имя, чтобы записать их в церковные книги; меж тем открыла она свой чемодан, в котором было много отличных и драгоценных вещей, и подарила мне, моей жене, дочери и служанке и еще одной, случившейся тут женщине столько всего, что мы остались ею весьма довольны. Но меж тем, как она с нами обходилась и рассказывала о муже, умерла она у нас на руках, вверив нам сына. Но как по всей стране было великое нестроение и беспокойство, так что никто не осмеливался остаться дома, то нам едва удалось сыскать пастора, который был бы при погребении и крестил младенца; когда же все свершилось, то наш староста и священник наказали мне, что я должен воспитать ребенка, покуда он не подрастет, и за свои труды и иждивение взять все после родильницы, кроме четок, некоторых драгоценных камней и всякой мелочи, что надлежит отдать дитяти. И вот вскормила моя жена этого младенца козьим молоком, и мальчонка нам так полюбился, что мы думали, когда он подрастет, отдать за него в замужество нашу дочь; но после битвы при Нёрдлингене потерял я обоих, девочку и мальчонку, вместе со всем, чем только владел».

«Ты поведал мне,— сказал я своему батьке,— премилую и весьма куриозную историю, но позабыл самое лучшее: ты не объявил мне, как звали эту женщину, ее мужа и мальчонку».— «Ах, барин,— отвечал он,— да мне и невдомек было, что тебе охота о сем знать. Благородную женщину звали Сюзанна Рамзай, мужа — капитан Штернфельс фон Фуксгейм, а как меня самого зовут Мельхиором, то я при крещении младенца нарек этим именем и велел записать его в церковные книги Мельхиором Штернфельсом фон Фуксгеймом».

Из сего рассказа я достоверно уведомился, что довожусь моему отшельнику и сестре губернатора Рамзая любимым сыном; но, ах горе! Слишком поздно, ибо родители мои были оба мертвы, а о моем дядюшке Рамзае я не мог ничего разузнать, кроме того, что ганауерцы его выдворили из города вместе со всем шведским гарнизоном, так что он от досады и гнева повредился в уме.

Я напоил своего крестного отца допьяна, а на другой день велел позвать и его жену. А когда я им открылся, то они этому поверили не прежде, покуда я не показал им на груди волосатое пятно, которое было у меня от рождения.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Симплицию двух сыновей и то много,
А третий подброшен лежит у порога.

Вскорости после того взял я своего крестного к себе и отправился с ним верхом в Шпессерт, дабы раздобыть себе достоверное свидетельство и документы о своем происхождении и рождении в законном браке, что я и выправил без особливых трудов по церковным книгам и свидетельству моего крестного. Я сразу же завернул к священнику, который жил в Ганау и призрел меня там. Сей выдал мне письменное свидетельство о кончине блаженной памяти моего родителя, и что я находился при нем до самой его смерти, а потом под именем Симплициуса некоторое время пребывал у господина Рамзая, губернатора в Ганау; и я позаботился, чтобы вся моя история была собрана из всех устных свидетельств и обстоятельно изложена в документе, заверенном нотариусом, ибо помыслил: «Кто знает, зачем тебе это еще может понадобиться!» Сия поездка обошлась мне в четыреста талеров, ибо на обратном пути нас захватил, спе́шил и ограбил разъезжий отряд, так что я и мой батька, или крестный, воротились домой наги и босы и едва не лишившись жизни.

Меж тем и дома все пошло неладно; ибо как только женка моя узнала, что ее муж дворянин, то не только стала корчить знатную госпожу, но и своим нерадением расточала все в доме, что я сносил молча, ибо она тогда ходила на сносях; сверх того пришла беда в хлев, и у меня пала лучшая скотина.

Все сие еще можно было снести, но — o, mirum! [1] — ни одна беда не приходит одна: в тот самый час, когда жена разрешилась от беремени, лежала в родах и служанка. По правде, дитя, которое она принесла, было весьма со мной схоже, а то, что родила моя жена, походило, как две капли воды, на нашего батрака. Вдобавок и та самая дама, о коей выше было рассказано, в ту же самую ночь подложила к моим дверям младенца с письменным извещением, что я довожусь ему отцом, так что я одним махом заполучил троих детей, и мне уже казалось, что не иначе, как из каждого угла повылезет еще по одному, отчего можно было поседеть.

[1] о, диво! *(лат)*.

Но такова, а не иная какая участь ждет тех, кто повел столь безбожную и распутную жизнь, какой я предавался в то время, следуя своим скотским вожделениям.

Ну чем тут пособить? Я принужден был окрестить детей, да к тому же еще стерпеть наложенный на меня по закону штраф, и так как власть тогда была шведская, я же до того служил имперским, то мне тем дороже пришлось платить за чужое похмелье, но все это, однако, было только прелюдией моей новой погибели. И в то время, как сии нечаянные беды меня чрезвычайно огорчали, жена моя мало о том печалилась и вдобавок еще день и ночь меня донимала, терзала и мучила за веселенькую находку у нашего порога и за то, что мне пришлось заплатить столько денег штрафу. А когда бы она дозналась, какие шашни завел я со служанкой, то уж, наверно, тиранила бы меня еще злее; но добрая девка была так простодушна, что поладила со мною ровно за ту же самую сумму денег, какую я должен был бы уплатить из-за нее штрафу, и согласилась приписать своего младенца одному щеголю, который в прошлом году у меня пировал на свадьбе, но во всем прочем ее совершенно не знал. Все же ей пришлось убраться из дому, ибо моя жена подозревала меня в том, что я подумывал о ней и работнике, но не могла ни к чему подкопаться, ибо я ей втолковал, что не мог в один и тот же час быть и у нее, и у этой девки. Меж тем во время всех этих препирательств мучился я мыслью, что должен буду взрастить дитя, прижитое от работника, а мое собственное не станет моим наследником, и что я еще принужден помалкивать и радоваться, что никто о сем ничего не проведал. Подобными мыслями терзал я себя каждодневно, тогда как моя жена ежечасно ублажала себя вином, ибо с самой свадьбы не расставалась с кружкой, так что редко отнимала ее ото рта, и каждую ночь отправлялась спать в изрядном подпитии. И так она безвременно споила в гроб свое дитя и произвела в своей утробе такое воспаление, что вскорости снова сделала меня вдовцом, что я так близко принял к сердцу, что едва не заболел со смеху.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Симплицию врут мужики-ротозеи,
Что ведомо им о делах Муммельзее.

Когда я таким образом обрел наконец старую свободу, кошелек мой порядочно отощал, а все мое домоводство отягощено множеством скота и челяди; посему принял я в дом моего крестного как отца, мою крестную как мать, а бастрюка Симплициссимови-

ча, которого мне подбросили к дверям, объявил своим наследником, передав обоим старикам дом и двор со всем моим имуществом, кроме малой толики рыжичков да кое-каких драгоценностей, которые я еще сберег и отложил на случай крайней нужды; и я получил такое отвращение к сожительству и самому обществу женщин, что решил, раз уж мне с ними пришлось так солоно, никогда более не жениться. Сия престарелая чета, с коей in re rusticorum [1] никто не мог бы сравняться, тотчас же перекроила все мое хозяйство на совсем другой образец; они сбыли со двора всю бесполезную челядь и скотину и обзавелись всем тем, от чего можно было ожидать прибыток. Мой старый батька, или новый крестный, вместе с моею маткою нажелали мне всяческого добра и обнадежили, что ежели я оставлю их тут хозяйничать, то они всегда будут держать для меня лошадь в стойле и так все устроят, что я в любое время смогу с честным человеком распить бочонок вина. Я тотчас же приметил, кому препоручил свой двор: крестный с челядью принялся распахивать поле, промышлять торговлею и барышничать скотом, лесом и смолою похлеще любого еврея, а моя матка ходила за скотиной и столько выручала и откладывала в кубышку, сколько не могли мне принести десять скотниц, которых я держал. В короткое время мой двор был удостаточен необходимой утварью всякого рода, а также крупной и мелкой скотиной, так что прослыл самым лучшим во всей той местности. Я же мог спокойно разгуливать и производить различные обсервации, ибо видел, что моя крестная больше выколачивала из пчел воском и медом, нежели моя жена получила от рогатого скота и свиней и пр., то и мог с легкостью себе представить, что и во всем остальном ничего не прозевают.

Однажды отправился я прогуляться на Кислые воды скорее затем, чтобы побывать у источника, нежели для того, чтобы, по своему старому обыкновению, свести знакомство со щеголями, ибо я стал прислушиваться к сетованиям своих приемных родителей, которые мне отсоветовали особенно водиться с такими людьми, что бесплодно проматывали свое и родовое имение. Однако ж я попал в компанию людей среднего достатка, ибо они вели между собой дискурс о редкостном предмете, а именно о Муммельзее, бездонном озере, расположенном поблизости на одной из самых высоких гор; они также подозвали нескольких престарелых крестьян, которые могли порассказать, что доводилось им слышать о диковинном сем озере, чьи реляции слушал я с великим удовольствием, хотя и почитал их пустыми выдумками, ибо они казались

[1] в сельском хозяйстве *(лат.)*.

мне столь же лживыми и смехотворными, как некоторые басни у Плиния.

Один уверял, что если взять нечет горошин, камешков или все равно чего и завязать в носовой платок, а затем спустить в озеро, то вытащишь чет, а опустишь чет, то вытащишь нечет. Другой, а за ним и прочие утверждали и приводили тому примеры: когда кто бросит в озеро один камень, а то и несколько, тотчас же подымется, какая бы перед тем ни была ясная погода, жестокая буря с ужасающим ливнем, градом и ветром. Засим перешли они на всевозможные странные истории, которые там приключились, и какая там диковинная блазнь от гномов и водяных, и о чем они толкуют с людьми. Один поведал, что в то самое время, когда некие пастухи пасли скот возле озера, из него вышел бурый бык и тотчас же вошел в стадо, а затем выскочил крохотный человечек и стал загонять его в озеро, а когда бык заартачился, то человечек пригрозил, что ежели он не воротится, то на его голову падут все человеческие беды, и после таких слов они нырнули обратно. Другой рассказал, что в то самое время, когда озеро уже замерзло, некий мужик безо всякого вреда переехал по нему на быках, которые везли несколько горбылей для настилки полов, а когда за ним побежала его собака, то лед под ней проломился, только ее и видели. А еще один уверял за правду, что некий стрелок шел за дичью по следу до самого озера, где на берегу сидел крохотный водяной, а у него полны колени золотых монет, которыми он забавлялся; а когда охотник собрался в него выстрелить, человечек пригнулся и молвил: «Когда бы ты меня попросил помочь тебе в твоей бедности, то ты бы разбогател со своею семьею. А за такую проделку ты и все твои потомки навеки останутся бедняками». Но самым баснословным из всего, что они нарассказали, было следующее: «Давным-давно поздним вечером пришел к одному мужику в Хайдехёфе крохотный человечек и попросил приютить на ночь; мужик извинился, что у него нет лишней постели, но ежели гость довольствуется скамейкой или сеновалом, то он охотно пустит его переночевать. В ответ человечек попросил лишь дозволить ему проспать ночь в мочильне для конопли, где ему более любо, нежели в самой мягкой постели. «По мне,— сказал мужик,— ночуй хоть в рыбном садке или водопойном корыте, ежели тебе это сгодится». С таким дозволением человечек на глазах у мужика отправился на мочильню и забился меж стеблей и грязи, словно лягушка или тот, кто в студеную пору зарывается в стог сена, чтобы провести ночь. Когда же рано поутру мужик поднялся, чтобы будить батраков на работу, то сказанный человечек вылез из воды и стал перед ним в совершенно сухом платье, в каком он забрался в мочильню, чему мужик весьма подивился и сказал:

«До чего же странный и диковинный гость забрел ко мне!» — «Всеконечно,— отвечал человечек,— может статься, что тут лет сто никто вроде меня не ночевывал». Гуторя таким образом, дошли они в своих речах до того, что человечек наконец признался, что он-де водяной, который потерял свою жену и хочет теперь сыскать ее в Муммельзее, упрашивая сделать ему такую угодность и проводить туда, на что мужик охотно согласился, ибо по платью своего гостя приметил, что то, должно быть, важная персона и ему тут доведется увидеть еще немало всяких диковин. По дороге малыш нарассказал мужику немало всяких удивительных историй, что и как ведется по озерам, где он уже искал, но не нашел свою похищенную жену, особливо же какое множество водится там всяких гадов, наипаче же в Черном озере, где живут жабы величиною с хлебную печь. Когда же они пришли к Муммельзее, то человечек нырнул туда, но сперва попросил мужика подождать, покуда он не воротится или не подаст ему какой-либо знак. А когда он прождал примерно два-три часа возле озера, то вдруг посреди его показался из воды посох, который имел при себе человечек, и появилась кровь целыми пригоршнями, так что мужик легко мог уразуметь, что то обещанный ему знак, после чего распрощался с озером и поспешил домой».

Сия и другие подобные ей истории, коих я немало наслушался, показались мне сказочными, которыми тешат детей, так что я смеялся над ними и не мог поверить, что́ может быть на вершине горы такое бездонное озеро; но тут случились и другие крестьяне, и притом старые, достойные доверия люди, которые рассказывали, что еще на их памяти и на памяти их отцов высокие княжеские особы подымались в горы, дабы осмотреть сие озеро, а однажды правящий герцог Вюртемберга, и прочая, и прочая, и прочая велел построить плот и проплыть на нем на середину, чтобы измерить глубину озера; но после того как мерильщики спустили с грузилом девять мотков суровой пряжи (мера, с коей шварцвальдские крестьянские женки лучше управляются, нежели иные геометры) и не достали еще дна, стал их деревянный плот, вопреки всякой натуре, погружаться в озеро, так что те, кто был на нем, принуждены были спасаться на берег, где и по сей день можно видеть обломки плота, княжеский герб Вюртемберга и всякие другие изображения, высеченные на камне в память об этом происшествии. Другие уверяли меня, ссылаясь на многих свидетелей, будто эрцгерцог Австрии, и прочая, и прочая, и прочая собирался даже спустить озеро, что ему всячески отсоветовали и по предстательству земских чинов от того удержали из опасения, что вся страна будет затоплена и погибнет. Сверх того помянутые князья пове-

лели сбросить туда несколько чанов с форелями; однако ж не прошло и часу, как все они передохли и были вынесены течением из озера, невзирая на то, что река, которая протекает в долине под горою, где расположено озеро, и носит то же название, от природы кишит теми же рыбами и берет в нем свое начало и ту же самую воду.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплициус слышит: честят эскулапов,
Не хочет попасть он в их хитрые лапы.

Сие последнее сказание произвело то, что я почти всему поверил, и оно так распалило мое любопытство, что я сам вознамерился осмотреть диковинное озеро. Среди тех, кто вместе со мною внимал этим россказням, всяк судил по-своему, что явствовало из их многоразличных и противоречивых мнений. Я, правда, сказал, что немецкое название Муммельзее довольно дает уразуметь, что тут, как на машкараде, все сокрыто под обманчивою личиною, так что не всякий сможет узнать его истинную сущность, так же как и глубину, которая так до сих пор и не вымерена, хотя сие и предпринимали столь высокие особы; после чего я отправился на то место, где в прошлом году впервые повстречал покойную мою жену и вкусил сладостный яд любви.

Там лег я на зеленую мураву в тени, но не внимал, как бывало прежде, тому, что насвистывают соловьи, а размышлял о том, какие я претерпел перемены. Тут представилось моим очам, как я на этом самом месте положил начало тому, что из свободного молодца стал рабом любви, так что из офицера превратился в мужика, а из богатого мужика в бедного дворянина, из Симплициуса в Мельхиора, из вдовца в молодожена, из молодожена в рогоносца, из рогоносца опять во вдовца; item что я из мужицкого сына стал сыном добропорядочного солдата и опять снова сыном своего батьки. Тогда взошло мне на ум, как рок лишил меня любезного Херцбрудера и, напротив, даровал мне престарелую супружескую чету. Я помыслил о богоугодном житии и кончине моего родителя, о прежалостной смерти моей матери, а также о многоразличных превратностях, коим я подвергался в жизни, так что не мог удержаться от слез. И тут вспомнил я также, сколько перебывало у меня денег и как бесполезно расточил я их и пропустил через глотку, и едва только стал о том сокрушаться, как приблизились ко мне двое дородных обжор и пьяниц, коим подагра разложила суставы, отчего они охромели и теперь нуждались в купаниях и кислых водах. Они сели неподалеку от меня, ибо там было приятное

место для отдохновения, и, полагая, что они одни, стали жаловаться друг другу на свои беды. Один сказал: «Мой доктор послал меня сюда, либо потеряв надежду на мое выздоровление, либо потому, что должен был ублаготворить трактирщика, который намедни прислал ему в презент бочонок масла; по мне так уж лучше бы я его вовсе никогда не видел или, по крайности, присоветовал бы он мне спервоначалу отправиться на Кислые воды, то либо у меня осталось бы больше денег, нежели сейчас, либо я был бы здоровее, ибо Кислые воды мне сильно пособили».— «Ах! — отвечал другой.— Я благодарю создателя за то, что он не ущедрил меня деньгами больше, чем их было; ибо когда бы мой доктор почуял, что у меня водятся деньжата, то еще долго бы не посылал на Кислые воды, покуда не поделил бы их с аптекарем, который недаром же каждый год его подмазывает, а я бы оттого окочурился и помер. Эти скупердяи присоветуют нам целебное место не прежде, чем убедятся, что больше не могут и не знают, чем помочь, или же когда уже нечем больше поживиться. И если уж говорить по правде, то те, кого они возле себя удерживают и чуют, что у них водятся денежки, выгодны им лишь тогда, когда они больны».

Сии двое еще долго честили своих докторов, но я не расположен все то передавать, ибо, чего доброго, господа медики на меня озлобятся и пропишут мне такое проносное зелье, которое изгонит мою душу из тела. И я привожу их дискурс потому только, что один из пациентов вознес благодарение создателю за то, что тот не ущедрил его деньгами, и сие меня так утешило, что я выбил из своей головы все заботы и тяжелые раздумья из-за денег или чего-либо иного, что почитают в мире. И я принял намерение философствовать и прилежать богоугодному житию, также оплакивать свою нераскаянность и дерзать, подобно моему блаженной памяти родителю, подняться на высшую ступень добродетели.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплициус дышит в воде невозбранно,
Он с сильфом уходит на дно Океана.

Мое желание осмотреть Муммельзее возросло еще более, когда я узнал от моего крестного, что он там бывал и дорога туда ему ведома. Но когда он услышал, что я беспременно хочу сам туда отправиться, то сказал: «А что ты там добудешь, ежели доберешься? Господин сын и его батька ничегошеньки там не увидят, кроме своего отражения в озере, которое укрылось в густом лесу, и

когда ты за свою теперешнюю охоту заплатишь тяжелой досадой, то ничего не приобретешь взамен, кроме раскаяния, натруженных ног (ибо верхом туда навряд ли доедешь) и ходьбы в оба конца. Меня бы ни один черт туда не загнал, ежели бы не привелось мне туда спасаться бегством, когда доктор Даниель (он хотел молвить Дюк де Ангиен) со своими вояками забирал всю долину под Филиппсбургом». Однако ж мое любопытство не поддалось его увещаниям, и я подрядил одного малого, чтобы он проводил меня до озера. Когда же батька увидел, что я не отложил своего намерения, а как овес был уже посеян и не надобно было ничего ни корчевать, ни пахать, то пожелал сам показать мне туда дорогу; ибо он возымел ко мне такую любовь, что не хотел упускать из очей, и так как все тамошние жители думали, что я его кровный сын, то кичился мною и готов был ради меня на все, что только способен бедняк сделать для своего сына, который ковал свое счастье без его поддержки и вспоможения.

Итак, побрели мы через горы и долины, покуда менее чем через шесть часов не пришли к Муммельзее, ибо крестный мой был человек крепкий и отменный ходок, словно юноша. Сперва мы отдали честь кушаньям и напиткам, что взяли с собою, ибо дальняя дорога и крутизна горы, на которой расположено озеро, весьма нас утомили и заставили проголодаться. А когда мы подкрепились, то я осмотрел озеро и сразу же нашел несколько струганых жердей, которые мы с батькой почли за весла с вюртембергского плота. Я прикинул или измерил длину и ширину озера с помощью геометрии, ибо было весьма затруднительно идти вокруг озера и мерять его шагами и стопами, и начертил его границы в уменьшенном масштабе на аспидной дощечке; а когда я с этим покончил, то захотел, ибо небо было чистое и воздух безветрен и тепл, испытать, сколь правдив слух о том, что ежели бросить в озеро камень, то подымется непогода; ибо я по минеральному вкусу воды уже заключил, что молва о том, что в озере не могут жить форели, справедлива.

Для учинения такой пробы пошел я налево вдоль озера к тому месту, где вода, которая, впрочем, прозрачна, как кристалл, по причине ужасной глубины кажется черной, словно уголь, и потому имеет столь устрашительный вид, что жутко смотреть; там принялся я бросать в озеро самые большие камни, какие только мог поднять и донести. Мой крестный, или батька, не только не захотел пособлять мне в этом, но просил и увещевал, покуда еще возможно, отступить от сего намерения; я же усердно продолжал свое дело, и те камни, которые не в силах был из-за их величины и тяжести поднять, скатывал вниз, покуда не накидал их более тридцати. Тут зачал дуть ветер и небо стали затягивать черные

тучи, из коих доносился ужасающий гром, так что мой батька, что стоял по другую сторону озера у истока и причитал, глядючи на мои труды, закричал мне, чтобы я оттуда поскорее ретировался, дабы нас не захватили дождь и непогода или не стряслась иная какая еще горшая беда. Я же крикнул ему в ответ: «Батька, я тут останусь и дождусь, чем все кончится, хотя бы с неба метали копьями».— «Эва,— ответил батька,— ты ведешь себя, как все сорвиголовы, коим на все начхать, хоть пропади весь свет!»

Меж тем как я безо всякого внимания слушал его руготню, однако ж не сводил взора от омута, полагая, что со дна озера забулькают пузыри, как то обычно бывает, когда бросают каменья в глубину стоячих или текучих вод; но я не увидел ничего подобного, а приметил, что в самой бездне крутятся и трепыхаются какие-то создания, схожие с лягушками, взметываются и рассыпаются, словно швермеры из запущенной ввысь фейерверочной ракеты, когда она рвется в воздухе; и чем ближе они подплывали ко мне, тем все более росли у меня на глазах и становились по обличью своему похожими на людей, что сперва привело меня в удивление, а под конец, когда узрел я их совсем близко, повергло в великий ужас, страх и содрогание. «Ах! — сказал я тогда самому себе, полон страха и изумления, однако ж так громко, что мой батька, что стоял по другую сторону озера, мог хорошо расслышать, хотя прежестоко гремел гром.— Сколь дивны и велики творения создателя даже во чреве земли и в бездне морской!» Едва успел я вымолвить сии слова, как один из этих сильфов уже подпялся из воды и ответил: «Гляди, ты признаешь сие, еще ничего не увидав; что же речешь ты, когда спустишься в centrum terrae [1] и узришь селения наши, которые так тревожат твое суемудрие?» Меж тем то здесь, то там во множестве выныривали крохотные пловцы, пучили на меня глаза и тащили обратно камни, которые я набросал в озеро, чему я несказанно дивился. Первый и самый знатный среди них, в одеянии, сверкавшем от чистого золота и серебра, бросил мне самоцвет величиною с голубиное яйцо и такой зеленый и прозрачный, словно смарагд, сказав такие слова: «Возьми сей драгоценный камень, дабы было тебе потом что порассказать о нас и об этом озере!» Но едва я его подхватил и спрятал, как сперло у меня дыхание, как будто сам воздух сдавил и душил меня, того ради не смог я даже устоять на ногах, а завертелся, как мотовило, и наконец бултыхнулся в озеро. Но едва я очутился в воде, как тотчас же оправился и под действием силы, заключенной в камне, что оставался при мне, стал дышать водою, словно

[1] центр земли *(лат.)*.

воздухом; и я смог столь же легко и без малейших усилий плавать в озере, как и водяные человечки, ибо вместе с ними ушел в пучину, подобно тому как если бы стайка птиц из вышних слоев нагретого воздуха слетала на землю.

Когда мой батька увидел сие чудо (а именно то, что произошло над водою) и мое внезапное погружение, помчался он сломя голову прочь от озера, словно за ним гнались по пятам, прямо домой, где поведал обо всем происшествии, особливо же о том, что водяные человечки повытаскивали обратно все камни, которые я побросал в озеро, и, невзирая на ужасную грозу, разнесли их по прежним местам и что потом уволокли меня с собою на дно. Некоторые, слушавшие его, верили, а бóльшая часть почитала сие за басню; нашлись и такие, которые вообразили, что я, словно второй Эмпедокл Агригентский (бросившийся в жерло Этны, дабы каждый подумал, понеже его нигде не могли сыскать, что он вознесся на небо), сам низринулся в озеро, а своему отцу наказал распустить обо мне такие басни, чтобы обессмертить свое имя; также по моей меланхолии давно можно было заключить, что я пришел в такое отчаяние и т. д. Иные же, кто не знал телесной моей силы, охотно поверили, что мой приемный отец, как старый скупердяй, сам меня укокошил, дабы навсегда отделаться от меня и завладеть всем моим имением. Так что в то время на Кислых водах и по всей стране ни о чем другом больше не толковали и не судили вкривь и вкось, как только о Муммельзее, обо мне, моем нисхождении в пучину и моем батьке.

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций, плывя с князьком Муммельзее,
На много чудес дивится, глазея.

Плиний в конце второй книги своей «Historiae naturalis» сообщает о геометре Дионисии Дорусе, что его друзья нашли в его гробнице письмо, написанное им, Дионисием, в коем он уведомляет, что достиг из своей могилы до самого центра земли и нашел, что до него 42 000 стадий. Однако князь Муммельзее, который меня сопровождал и вышереченным образом затащил в бездну, несумнительно объявил, что из centri terrae через половину земного шара до поверхности будет как раз 900 немецких миль, все равно, отправиться ли в Германию или к антиподам, каковые путешествия должны они свершать через подобные озера, коих то здесь, то там по всему свету наберется числом столько же, сколько дней в году, и все сии бездны сходятся возле дворца их повели-

теля. И такое ужасное расстояние мы одолели меньше чем за час, так что столь скорое путешествие ничуть или на самую малость отставало от течения луны; и сие произошло без всякого отягощения, так что я не только не почувствовал никакой усталости, но и при таком мягком парении мог еще вести дискурс о разных материях с вышепомянутым принцем Муммельзее; ибо когда я приметил его дружелюбие, то спросил его, чего ради взяли они меня с собою в столь дальнюю, опасную и ни одному человеку не привычную дорогу. Тогда ответил он мне весьма учтиво, тот путь не далек, который за час прогулки свершить можно, да и не опасен, ибо меня сопровождает он сам и его свита, а кроме того, меня хранит врученный мне превосходный камень; а что мне сие непривычно, то это нисколько не удивительно; впрочем, он взял меня с собою не только по повелению своего короля, который пожелал со мной побеседовать, но и затем, чтобы мог я узреть чудеса натуры в водах и под землею, коим уже дивился на ее поверхности, еще едва увидев только их тень. Засим попросил я его объявить мне, чего ради преблагий творец создал такое множество диковинных озер, понеже от них, как мне мнится, нет никакой пользы людям, а скорее может произойти вред. Он же отвечал: «Поистине ты спрашиваешь пристойно о том, чего не знаешь или не разумеешь. Сии озера созданы по троякой причине: во-первых, посредством их все какие ни есть моря, и особливо великий Океан, пришиты к земле словно гвоздями; во-вторых, через эти озера (подобно каналам, трубам и насосам, коими пользуются люди в гидравлическом художестве) нами перегоняется вода из бездны Океана во все источники земли (что является делом, к коему мы приставлены), откуда выходят все ключи во всем свете, текут большие и малые реки, орошают землю, увлажняют растения и напояют людей и скот; в-третьих, мы живем здесь, как разумные твари, сотворенные всевышним, исполняем наши дела и славим бога в его дивных чудесах. Для того-то и созданы сии озера, которые и будут стоять до Страшного суда. Когда же мы в эти последние времена по той или иной причине прекратим сии дела наши, к коим мы сотворены и определены богом и натурою, пресечем и оставим, то весь мир необходимо должен будет сгореть в огне, что, чаятельно, наступит не прежде, чем Луна (donec auferatur luna. Psal. 71) [1], Венера или Марс перестанут быть утренними и вечерними светилами, ибо должны сперва погибнуть generationes fructuum et animalium [2] и все воды исчезнуть, прежде чем Земля сама от солнечного жара воспламенится, подвергнется

[1] (пока Луна исчезнет. Псалом 71) *(лат.)*.
[2] роды растений и животных.

кальцинации и вновь регенерирует. Но сие ведомо одному только богу, а нам не приличествует знать, кроме того, что мы можем лишь предполагать или почерпнуть из того, что о своем искусстве бормочут ваши химики».

Когда я услашал такие речи и что он приводит слова Священного писания, то спросил, смертные ли они создания, кои чают после временного сего мира будущей жизни, или же они духи, кои исполняют возложенные на них дела, покуда стоит свет. Он отвечал: «Мы не духи, а смертные человечки, кои, правда, как и вы, люди, наделены разумом, однако ж умираем вместе с нашими телами и пропадаем. Бог столь дивен в своих твореииях, что сего не может изъяснить язык никакой твари, все же, что надлежит до нас, намерен я поведать тебе все так, чтобы ты мог постичь, насколько мы отличны от других созданий божьих. Пречистые ангелы справедливы, разумны, свободны, целомудренны, светлы, прекрасны, ясны, скоры и бессмертны, они суть подобие божие и для того созданы, дабы в вечной радости хвалить, величать, чтить и прославлять его святое имя, а в сей временной жизни на земле услужать церкви божией и исполнять наисвятейшие божественные повеления, по какой причине и называют их иногда благовестниками. И создано их было сразу столько сот тысячей тысяч миллионов, сколько было угодно божественной мудрости. После же того как несчетное множество их обуяла гордыня и они, возмутившись, отпали, сотворены были богом прародители людей с такою же разумною и бессмертною душою по подобию божию и наделены телом, дабы они могли сами плодиться, покуда их род не сравняется с числом павших ангелов. На такой конец и был создан мир со всеми остальными тварями, дабы земной человек, размножившись до числа павших ангелов, восполнил его и, живя на земле, прославлял бога среди всех прочих созданных на ней тварей, господином над коими бог его поставил, дабы они служили для пропитания его бренного тела. Тогда получил человек отличие от святых ангелов в том, что был наделен бременем земного тела и не знал, что есть добро и зло, и посему не мог обладать ни силою, ни быстротою ангелов, однако ж не было у него ничего общего и с неразумными тварями. Когда же человек после грехопадения в раю обрек на смерть свое тело, стал он, как мы почитаем, посредником между святыми ангелами и неразумными тварями. Ибо подобно тому как оставившая тело бессмертная душа земного, однако ж озаренного небесным светом человека обладает всеми прекрасными свойствами святых ангелов, так и лишившееся души тело земного человека подвержено тлению, подобно всякой другой падали неразумного зверя. Нас же самих мы почитаем посредниками между вами и всеми прочими живыми тварями на сем свете,

поелику мы, хотя и обладаем душами, наделенными разумом, однако же они умирают вместе с нашими телами, подобно тому как исчезает живой дух неразумных тварей вместе с их смертию. Правда, нам ведомо, что предвечный сын божий, который также и наш создатель, наивеличайшим образом вознес вас, приняв ваш облик, и, свершая божественную справедливость, успокоил гнев отца своего и вновь открыл вам вечное блаженство, что ставит род ваш высоко над нами. Но я поминаю и разумею тут не вечность, коей мы вкусить не сподобимся, а одну лишь временную сию жизнь, в коей всеблагий создатель довольно одухотворил нас, наделив как добрым и здравым умом со способностию познать пресвятую волю божию, насколько то нам надобно, так и здоровым телом и долголетием с благородною свободою, необходимыми науками, художествами и разумением всех естественных вещей; и наконец, что наипаче всего, мы безгрешны, а посему не подпадаем ни гневу, ни наказанию божьему и не подвержены никакой наималейшей болезни; что я тебе столь пространно изъясняю, вспомянув при сем святых ангелов, земных человеков и неразумных животных, дабы ты все как можно лучше уразуметь мог».

Я отвечал, что не могу взять в толк, раз они не совершают никаких проступков и, значит, не подвержены наказаниям, зачем им нужен король; item как они могут рождаться и потом умирать, когда не испытывают ни страданий, ни болезни. Принц сказал в ответ, что у них король не для того, чтобы вершить суд и юстицию, и не затем, чтобы ему услужали, а он у них, как матка в пчелином улье, направляет все их деяния, и подобно тому как их жены in coitu [1] не испытывают плотского вожделения, то не чувствуют и муки во время родов, что я могу некоторым образом представить себе на примере наших кошек и могу увериться, что они зачинают в муках, а рожают с наслаждением. Также и умирают они не в муках и не в преклонном возрасте от дряхлости или болезней, а потухают, как свеча, когда она отсветила свое время, и тела их исчезают вместе с душою. А со свободою, кою он прославлял, не сравнится свобода самого великого монарха на земле, коя не более, как тень; ибо ни они сами и ни одна тварь на свете не в силах никого из них умертвить или принудить, склонить к чему-либо, что им не любо, и еще менее того заточить в тюрьму, ибо они могут проходить сквозь огонь, воду, воздух и землю безо всякого труда и усталости (о коих они даже не ведают). Тут сказал я: «Когда вы так устроены, то ваш род еще более вознесен и одухотворен нашим создателем, нежели род люд-

[1] во время полового акта *(лат.)*.

ской».— «О нет! — возразил принц.— Тот прегрешает, кто так думает, ибо приписывает благость вышнего вещам, кои ее не имеют; род людской одухотворен неизмеримо более, нежели наш, ибо вы созданы для вечного блаженства и беспрестанного созерцания лика божия, в каковой райской жизни один из вас, кто ее достигнет, в единое токмо мгновение вкусит более радости и блаженства, нежели весь наш род от начала творения и до самого Страшного суда». Я сказал: «А что от того тем, кто проклят?» Он же привел мне такое возражение: «А разве причастна к сему божественная доброта, когда один из вас напояет себя ядом, предается всем постыдным вожделениям, не держит в узде свои скотские похоти и тем равняет себя с неразумными тварями, более того, таким непослушанием богу становит себя ближе к адским духам, нежели к блаженным? И такой осужденный на вечные муки, в кои он вверг себя сам, не умаляет величия и благородства рода людского, поелику такой человек, как и всякий другой в своей временной жизни, мог достичь вечного блаженства, когда бы только пожелал пойти назначенной к тому праведною стезею».

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций дорогою дискурс ведет
О том, как у сильфов жизнь их идет.

Я сказал князьку, что понеже мне еще на поверхности земли доводилось слышать о сей материи больше, нежели могло послужить мне на пользу, того ради хотел бы я попросить его, не соизволит ли он объявить, по какой причине подымается иногда непогода, когда в подобные озера бросают камни; ибо я вспоминаю такие же рассказы о Пилатовом озере в Швейцарии, да читал я и об озере Камарина в Сицилии, о коем пошло присловье: «Camarinam movere». Он отвечал: «Понеже все, что имеет тяжесть, не перестает падать до centri terrae, покуда не упадет на твердую почву, на коей остается лежать, а сии озера все бездонны и открыты, то камни, брошенные в них естественным образом, с необходимостью падают на селения наши и будут лежать там до тех пор, покуда мы не вынесем их наружу на то же самое место, откуда они к нам попали; и мы исправляем сию работу с такою свирепостию, дабы устрашить и обуздать тех, кто, побрасывая камни, чинит нам такое помешательство, ибо сие есть одна из благороднейших частей нашего дела, ради коего мы и созданы. А ежели мы будем попущать или безропотно сносить, что нам кидают камни, и безо всякого возмущения выволакивать их обратно, то в конце концов у

нас ничего иного не останется, как только возиться с подобными своевольниками, кои потехи ради посылают нам со всего света каменья. И по сему одному только делу, которое мы исправляем, ты заключить можешь, сколь необходимо существование нашего рода, поелику ежели бы мы сказанным образом не выносили наверх камни, а каждодневно бы через подобные озера, что расположены здесь и там по всему свету, набрасывали их к центру земли, где мы обитаем, то в конце концов были бы разрушены все связи, коими моря скреплены и утверждены на земле, и все проходы, по коим устремляется вода из бездны моря в источники и расходится по земле, были бы заперты, что могло бы привести лишь к постыдному конфузу и погибели всего мира».

Я поблагодарил его за такое пояснение и сказал: «Как я уразумел, что ваш род через подобные озера снабжает водою всю поверхность земли, то хотел бы также получить объяснение, отчего воды не все одинаковы, а различны по запаху, вкусу и пр., а также силе и действию, хотя, как я понимаю их круговращение, все берут свое начало из бездны великого Океана, куда снова потом изливаются. Ибо некоторые источники несут приятные кислые воды и полезны для здравия; а другие хотя и кислы, однако же не благоприятны и вредны для пития, а иные даже ядовиты и смертельны, как тот родник в Аркадии, из коего Иолла намеревался отравить Александра Великого. Некоторые источники тепловаты, другие горячи, как крутой кипяток, а иные холодны как лед; встречаются и такие, что разъедают железо, словно селитряная кислота, как источник близ Цепузиума или в графстве Ципс в Венгрии; другие же, напротив, исцеляют все раны, как тот, что должен находиться в Фессалии; а некоторые воды претворяются в камень, соль, а иные в купорос. Озеро неподалеку от Циркница в Каринтии полно водою только в зимнюю пору, а летом совершенно пересыхает; а ручей у Энгстлена бежит только летом и только в те часы, когда поят скот; ручей Шёндлебах у Оберненхейма полон воды только в такую пору, когда на всю страну пришла какая-нибудь беда. А Fluvius Sabbathicus в Сирии пресекает свое течение всякую субботу, чему я весьма дивился, когда размышлял о сем предмете, и не мог доведаться причины».

На сие ответил князь, что все сии вещи имеют свои натуральные причины, кои довольно испытаны естествословами рода людского и по большей части по многоразличным свойствам этих вод, их запахам, вкусу, силам и действиям выведаны, объявлены и известны на земной поверхности. «Когда воды из недр, где они пребывают, устремляются к своим выходам, кои мы называем источниками, и проходят через различные каменные породы, то остаются сладкими и холодными; когда же на своем пути встречают

они металлы (ибо великое чрево земли в различных местах обладает различными свойствами), как-то: золото, серебро, медь, цинк, свинец, железо, ртуть и пр., или полуминералы, а именно: серу, соль во всех ее родах, как-то: sal gemmae, sal nativum, sal radicum, sal nitrum, sal ammoniacum, sal petrae etc. белого, красного, желтого и зеленого цветов, также victril, marchasita aurea, argentea, plumbea, ferrea, lapis lazuli, alumen, arsenicum, antimonium, risigallum, electrum naturale, chrysocolla, sublimatum etc., то принимают они их вкус, запах, свойство, силу и действие, так что становятся либо целебными, либо вредными для людей. И именно посему располагаем мы столь различными солями, из коих одни хороши, другие дурны. В Червии и Комакио соль довольно черна, в Мемфисе красновата, в Сицилии бела как снег, из Чентаропио пурпурного цвета, а Каппадокийская отдает желтизною. А что касается до теплых вод, продолжал он, то принимают они свой жар от огня, который горит в чреве земли и, так же как наши озера, имеет свои дымоходы или каминные трубы, как можно заключить по знаменитой горе Этне в Сицилии, Гекле в Исландии, Гумапи в Банду и многих других. А что до Циркницского озера, то воды его в летнюю пору находят у антиподов Каринтии, а вода источника Энгстлена в известные часы и время года появляется на других местах земной поверхности, дабы ею могли пользоваться так же, как то заведено у швейцарцев. Подобным же свойством обладает и ручей Шёндлебах в Оберненхейме, источником коего ведают и управляют люди нашего рода по воле и установлению бога для умножения его хвалы. А что касается до Fluvium Sabbathicum в Сирии, то у нас пошло обыкновение, когда мы почием в седьмой день недели, делать привал и отдыхать в его истоке и каналах, как в самом привольном месте всего нашего акватория, и того ради помянутый ручей пресекает свое течение до тех пор, покуда мы пребываем там во славу божию».

По окончании сего дискурса спросил я принца, может ли он возвратить меня в мир не через Муммельзее, а в другое место на земле. «Вестимо,— отвечал он,— отчего же нельзя, когда на то будет соизволение божие? Ибо таким образом в древние времена праотцы наши перенесли в Америку несколько ханапеян, которые бежали от меча Иосии и в смертельном отчаянии бросились в подобное озеро, понеже потомки их по сей день показывают озеро, из коего вышли и произошли их предки». А когда я приметил, сколь дивится он моему удивлению, как если бы во всем его рассказе не было ничего удивительного, то спросил его, разве не дивятся также они сами, когда примечают у нас, людей, что-либо редкостное и необычайное. На сие он ответил: «Мы ничему так не дивимся у людей, как тому, что вы, созданные для вечной бла-

женной жизни и нескончаемых небесных радостей, дозволяете так ослепить себя временными земными наслаждениями, кои редко бывают без досады и скорбей, как розы без шипов, что теряете уготованное вам на небе, лишаете себя блаженного созерцания пресвятого лика божия и вместе с падшими ангелами ввергаете себя в осуждение вечное! Ах, когда б род наш мог оказаться на вашем месте, то как бы всяк из нас тщился в каждое мгновение ничтожного и скоропреходящего временного бытия вашего выдержать искус лучше, нежели вы. Ибо жизнь, которую вы ведете, это не ваша жизнь; ибо ваша жизнь или смерть будет дарована вам тогда только, когда вы покинете сию временную юдоль; а то, что вы сейчас называете жизнью, это всего лишь момент или мгновение, кое отпущено вам, дабы познать бога и приблизиться к нему, дабы он взял вас к себе. Посему считаем мы мир пробирным камнем бога, на коем всемогущий испытывает человеков, так же как богач ставит пробу на золоте и серебре после того, как изведает их качество по густоте штриха или, очистив их на огне, отделяет добрые и знатные сорта золота и серебра и берет их в небесную сокровищницу, худые же и поддельные бросает в вечный огонь, что ваш спаситель и наш создатель довольно изъяснил и возвестил в притче о пшенице и плевелах».

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций в беседе на дне Океана
Не может ответить царю без обмана.

Таков был конец нашей беседы, ибо мы приблизились к королевской резиденции, куда я был доставлен безо всяких церемоний или проволочки. Тут было у меня довольно причин подивиться его величеству, ибо я не узрел там ни благоустроенного придворного штата, ни какой-либо пышности, ни, по крайности, ни одного канцлера или тайного советника, ни толмачей или трабантов или лейбгвардии, ниже́ шута, повара, погребщика, пажа, ни единого фаворита или лизоблюда; а вокруг него парили только князья различных озер, что рассеяны по всему свету, причем каждый из сих князей был облачен в одеяние той страны, в коей находится подвластное ему озеро, простирающееся от центра земли. А посему узрел я зараз подобия китайцев и африканцев, троглодитов и жителей Новой Земли, татар и мексиканцев, самоедов и обитателей Молукских островов и даже тех, что живут под полюсами Арктики и Антарктики, что было зрелищем весьма диковинным. Те двое, что имели смотрение за Диким и Черным озерами, были, разумеется,

наряжены так же, как и тот князь, что меня сюда конвоировал, ибо их озера расположены неподалеку от Муммельзее; тот же, что надзирал за Пилатовым озером, носил чинную широкую бороду и шаровары, как добропочтенный швейцарец, и те, что были поставлены над помянутым выше озером Камарина, были по платью и ухваткам так похожи на сицилийцев, что можно было поклясться чем угодно, что они никогда не покидали Сицилии и не знали ни единого слова по-немецки. Итак, глядел я словно в альбоме одеяний на обличье персов, японцев, московитов, финнов, лапландцев и всех других наций, какие только есть на свете.

Мне не надобно было изъявлять много учтивостей, ибо король сам заговорил со мною на отменном и превосходном немецком языке, и первое, что он мне сказал, было: «По какой такой причине осмелился ты с таким своевольством набросать такую груду камней?» Я ответил коротко: «Понеже у нас каждому дозволено стучать в запертые двери». На это он сказал: «Ну, а что ежели тебе придется расплатиться за твою допытливую наглость?» Я отвечал: «Меня нельзя покарать более чем смертию; но поелику я уже узрел столько чудес, сколько не посчастливилось увидеть ни одному из множества миллионов людей, то, ежели я умру или приму смерть, сие нельзя почесть или назвать наказанием».— «О, жалкая слепота! — воскликнул король и возвел очи горé, словно от удивления, после чего сказал: — Вы, люди, можете умереть лишь единожды, и вы, христиане, должны встретить смерть не прежде, чем посредством веры и любви к богу обретете твердое упование, что как только смежит очи бренное ваше тело, то ваши души сподобятся узреть лик вышнего! Однако ж я на сей раз хочу побеседовать с тобою об ином».

Засим сказал он: «Мне представили экстракт о делах земных людей, особливо же о том, что вы, христиане, ожидаете скорого прихода Страшного суда, ибо не только исполнились все предсказания, наипаче же те, что оставили Сивиллы, но также все живущее на земле погрязло в столь ужасных беззакониях, что всемогущий бог не станет более медлить с концом света. Но понеже и наш род погибнет в огне вместе со всем миром, хотя мы и живем в воде, то и мы немало ужасаемся перед приближением столь страшного времени и того ради повелели мы доставить тебя сюда, дабы услышать, какие тревоги и упования ожидают нас. Мы, правда, еще не могли заключить по звездам или приметить по движению шара земного, что близится такая скорая пертурбация, а посему принуждены получать известия у тех, кому некогда сам их спаситель поведал некоторые знамения своего будущего пришествия, того ради просим тебя со всею учтивостью объявить нам, сохранилась ли еще на земле та вера, которую грядущий судия

едва ли найдет при своем пришествии?» Я отвечал королю, что он вопрошает о таких материях, кои для меня недостигаемы, ибо будущее, а особливо срок второго пришествия, знает один токмо бог. «Ну, ладно,— продолжал король,— тогда поведай нам, как отправляют на земле свою должность различные сословия, дабы мог я посему заключить, ожидать ли всему миру и нашему роду скорой погибели или же предстоит, по слову моему, всем нашим и мне самому долгая жизнь и счастливое правление. За это покажу я тебе все, что еще тут смотрения достойно, а затем отпущу тебя с таким подарком, который будет увеселять тебя всю жизнь, ежели только ты откроешь мне всю правду». А когда я на сие промолчал и задумался, то король стал меня подбадривать и сказал: «Ну же, ну же, начни с самых высших и закончи низшими; надо же тебе отважиться, ежели ты и впрямь хочешь выбраться на поверхность земли!»

Я отвечал: «Коли уж того не миновать и мне должно рассуждать о высших, то по справедливости начать надо с духовных. Сии все, какого бы они ни были вероисповедания, обыкновенно таковы, как о них пишет Евсевий в своей проповеди, а именно: «Истинные презрители косности, удаляющиеся от похоти, усердные в своей должности, снисходительные в осуждении и ревностные к чести, бедные имуществом, богатые совестью, смиренные в своих доблестях и высокомерные ко греху»; и точно так же стараются они услужать богу и привести в его царство не столько словом, сколько своим примером, и других людей, и потому светские высокие особы и управители пекутся лишь о любезной им юстиции, кою они соблюдают, невзирая на личность, сплошь и напрямик оказывая и воздавая справедливость бедному и богатому. Теологи все кряду чистейшие Иеронимы и Беда, кардиналы — сущие Борромеи, епископы — Августины, настоятели — новые Илларионы и Пахомии, а все остальное духовенство подобно сообществу отшельников в Фиванской пустыне. Купцы торгуют не из жадности или прибыли, а для того, чтобы снабдевать своих ближних товарами, которые доставляют из далеких стран с превеликими трудами и опасностями. Трактирщики занимаются своим промыслом не затем, чтобы разбогатеть, а для того, чтобы творить дела милосердия усталым и обессилевшим людям и все алчущие, жаждущие и путешествующие могли у них подкрепиться. Также и медики не ищут своей пользы, а пекутся токмо о здравии своих пациентов, к чему стремятся и аптекари. Ремесленники и слышать не хотят о какой-либо корысти, лжи или обмане, а тщатся снабдить своих заказчиков долговечными и добротными вещами. У портных не рябит в глазах от наворованного, а ткачи по причине своей честности так бедны, что у них даже мышонку нечем поживиться, ежели они не

швырнут в него моток пряжи. У нас и не слыхивали о ростовщиках, а достаточные люди помогают оскудевшим из чистой христианской любви, даже не прошенные о том. И когда бедняк не может уплатить без приметного ущерба и убыли своего пропитания, то богач с легким сердцем прощает ему долги. Никто не чванится, ибо всяк знает, что он смертен. И нигде не приметна зависть, ибо каждый почитает другого образом и подобием божиим, любимым своим создателем. Никто не гневается на ближнего своего, ибо знает, что Христос пострадал и принял смерть за всех. Не слышно ничего и о плотской нечистоте или неположенном плотском вожделении, а все, что случается, происходит единственно от чадолюбия и желания потомства, дабы умножилось царство господне. Не сыщешь также нигде пьяниц и запивох, а ежели один другому поднесет винца, то оба довольствуются вполне христианским хмельком. Также нет нерадения к богослужению, ибо всяк тщится показать неутомимое усердие и прилежание, как он ревнует перед другими в истинном служении господу; и по сей именно причине идут сейчас на земле тяжкие войны, ибо одна сторона полагает, что другая неправедно служит богу. И ныне нет уже больше скряг, а остались только бережливые, нет расточителей, а только щедрые, нет головорезов, которые грабят и разоряют, а одни только храбрые солдаты, кои защищают отечество, нет распущенных ленивых попрошаек, а только презрители богатства и любители добровольной бедности, нет иуд, скупщиков хлеба и вина, а только предусмотрительные люди, кои в избытке делают запасы, дабы на случай голодухи помочь народу изрядно продержаться и воспрянуть».

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций отправился в Маре-дель-Сур,
Где жемчуг с кулак и в бездне пурпур.

Я умолк, дабы перевести дух и поразмыслить, о чем бы мне еще объявить ему, но король сказал, что он столько уже от меня всего наслышался, что ему не надобно знать ничего более или, по крайности, он того не желает ведать. А ежели я хочу, то его подданные тотчас же вынесут меня на то место, откуда я был к нему доставлен; но ежели («Ибо я отлично вижу,— сказал он,— что ты весьма замысловат») я захочу осмотреть сперва то и се в его царстве, что таковым людям, как я, нет сомнения, будет в диковину, то меня в полной безопасности проводят в любое место, находящееся под его юрисдикцией, куда я только пожелаю; а засим он отпустит меня с таким подарком, что я останусь доволен. Но как

я не знал, на что мне решиться, и не мог собраться с ответом, то король обратился к некоторым своим подданным, которые в то самое время отправлялись в бездну Mare del Sur, где, словно в некоем саду или на охоте, они добывали провизию; им-то и повелел король: «Возьмите его с собою и вскорости принесите обратно, дабы еще сегодня он вышел на поверхность земли!» Мне же он предложил тем временем подумать, что бы он мне мог дать из того, что в его власти, в награду и на вечное воспоминание об его царстве. Итак, проплыли мы с сильфами через канал в несколько сот миль длиною, пока не достигли дна выше помянутого Тихого океана. Там подымались коралловые гребни с зубцами, высокими, как дубы; они набрали себе таких, что еще были бесцветны и не затвердели, ибо поедают их, как мы рожки молодых оленей. Там можно было увидеть раковины высотою, как круглая замковая башенка, и шириною, как ворота в сарае; item жемчужины величиной с кулак, которые они поедали заместо яиц; и многие другие морские диковины, так что я даже не сумею их все перечислить; а протекавшие по дну ручейки были усеяны смарагдами, бирюзой, рубинами, алмазами, сапфирами и другими великолепными драгоценными каменьями, что так ценятся у людей, да еще такими большими, как булыжники. Там можно было увидеть могучие утесы, вздымающиеся со дна на много миль ввысь над морем, где они образовали приветливые острова. Сии утесы были опоясаны различными веселыми и куриозными морскими растениями и населены диковинными ползающими, неподвижными и бегающими тварями, подобно тому как поверхность земли людьми и животными; а большие и малые рыбы неисчислимого множества пород, шнырявшие над нами во все стороны, напоминали мне различных птиц, которые в весеннюю и осеннюю пору увеселяют нас на воздухе; и понеже время пришлось на полнолуние и было светло (ибо солнце стояло тогда на нашем горизонте, так что у наших антиподов была ночь, а у европейцев день), то мог я сквозь воду узреть месяц и звезды вместе с Polo antarctico [1], чему я весьма подивился. Однако ж тот, чьему попечению я был поручен, сказал мне, когда б там стоял день, а не ночь, то я мог бы еще больше подивиться, ибо тогда издали видно, какие горы и долины открываются в бездне моря, куда более красивые, нежели самые прекрасные ландшафты на поверхности земли. А когда он увидел, что я дивлюсь на него и всю его свиту, ибо они были одеты, как перуанцы, бразильцы, мексиканцы, японцы, индонезийцы и обитатели островов de los latrones [2], а вдобавок изрядно говорили по-немецки, то ска-

[1] Южным полюсом *(исп.)*.
[2] воровских островов *(исп.)*.

зал мне, что они не только знают по нескольку языков, но и разумеют языки всех народов во всех концах земли, как и их самих все понимают, что происходит потому, что их род не сотворил той глупости, какую учинили люди, вознамерившиеся воздвигнуть Вавилонскую башню.

Когда же мой конвой тут порядком пожировал, то мы через другую расселину возвратились из Тихого океана к центру земли. По дороге рассказал я кой-кому из них, что я полагал, что центр земли внутри пуст и в этой пустой полости, как в зубчатом колесе, бегают по кругу пигмеи и понуждают вращаться весь земной шар, дабы его повсюду освещало солнце, которое, по мнению Аристарха и Коперника, стоит неподвижно посреди неба; за какую простоту был я жестоко высмеян, и мне присоветовали почесть суетным мечтанием как мнения обоих сказанных философов, так и свою собственную выдумку. Мне-де, сказали они, вместо таких материй лучше поразмыслить, какой подарок получить у их короля, чтобы не воротиться на поверхность земли с пустыми руками. Я ответил, что многоразличные чудеса, которые довелось мне здесь увидеть, до того потрясли ум мой, что я не могу опамятоваться и потому прошу их посоветовать мне, что мне просить у короля. Мне казалось, что ежели он управляет всеми источниками на свете, то можно пожелать, чтобы в моем дворе объявился источник целебной воды, как тот, что не столь давно сам собою забил в Германии, хотя только с одною пресною водою. Князь, или регент Тихого океана и его каналов, ответил мне, что сие не подвластно его королю; и хотя бы он мог это сделать, и он хотел бы меня отблагодарить таким образом, но целебный источник не будет долговечным и пр. Я попросил его, ежели сие не в труд будет, поведать мне, по какой же это причине случится. Он сказал: «В земном недре в различных местах образуются пустоты, которые мало-помалу наполняют металлы, ибо сами они рождаются ex exhalatione humida, viscosa et crassa, сиречь из влажных, вязких и жирных испарений; меж тем как происходит сие рождение, поступают из расселин marchasitae aureae vel argenteae, а из центра земли, откуда нагнетаются все источники, вода, которая застаивается между металлами на много сотен лет и принимает в себя их благородные качества и целебные свойства. Когда же воды, устремляющиеся из центра земли, со временем умножаются и с бо́льшим напором ищут и находят выход на поверхность, то вода, сотни и даже тысячи лет заключенная среди металлов, извергается первой и производит в человеческом теле то удивительное действие, которое мы наблюдаем в подобных целебных источниках. Но как только сия первая вода, находившаяся столь долгое время среди

металлов, сойдет, то последующая за ней, хотя она проходит теми же самыми проходами в скором своем течении, не успевает принять доброту или силу металлов, а потому уже не столь целебна, крепка и пользительна для здравия людей». И ежели я,— продолжал он,— так уж пекусь о своем здравии, как то показываю, то надлежит мне упросить короля, чтобы он отрекомендовал меня на лечение королю саламандр, с коим он в самых добрых состоит отношениях; сей умеет очищать человеческие тела и придает им с помощью благородного камня такое свойство, что они не могут сгореть ни на каком огне, словно то удивительное минеральное полотно, какое мы находим в земле и чистим в огне, когда оно загрязнится; и вот сажают такого человека прямо в огонь, как старую осклизлую вонючую табачную трубку, и выжигают дурной гумор и вредоносные жидкости, так что пациент выходит из него молодой, свежий, здоровый и обновленный, как если бы принимал эликсир Теофраста. Я не знал, дурачил он меня или говорил серьезно; однако ж поблагодарил его за благой совет и сказал, что, будучи холериком, опасаюсь, как бы сие лечение не оказалось для меня слишком жарким; мне же ничто так не любо, как если бы я мог вынести на поверхность земли редкостный целебный источник, который доставил бы моим сочеловекам пользу, их королю честь, мне же бессмертную славу и вечную благодарную память. Князь ответил, что когда я сего домогаюсь, то он замолвит за меня доброе слово, хотя король их такого нрава, что честь или поругание, оказываемое ему на земле, в равной мере ему безразличны. Меж тем прибыли мы снова к средоточию шара земного и предстали пред лицом короля, когда он и все принцы как раз собирались трапезовать. То был завтрак, подобный греческим нефалиям, без возлияния вина и каких-либо крепких напитков; заместо того выпивали они жемчужины, как пьют сырые или сваренные всмятку яйца, когда они еще не затвердели, но довольно уже густы или, как говорят мужики, сытненькие.

Там наблюдал я, как светозарное солнце освещает одно за другим бездонные озера и его лучи проникают через них на сию страшную глубину, так что сильфы никогда не испытывают недостатка света. И в этой бездне все освещено солнцем с такою же ясностию, как и на земной поверхности, так что они даже отбрасывают тени, и им, сильфам, их озера служат заместо люков или окон, сквозь которые они получают свет и тепло; и хотя сие не везде исправно, ибо некоторые озера идут криво, однако ж это возмещается с помощию отражения, ибо натура расположила в различных углах скалы из хрусталя, алмазов и карбункулов, которые приносят вниз свет и ясность.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций из озера вышел тишком,
Сам невредим и в платье сухом.

Меж тем приблизилось время отправиться мне восвояси; того ради повелел мне король объявить, чем, по моему мнению, он мог бы одарить меня. Тогда я сказал, что он не мог бы оказать мне большей милости, чем ежели бы соизволил, чтобы на моем дворе забил источник марциальных кислых вод. «Только и всего? — удивился король.— Я-то полагал, что ты возьмешь несколько больших смарагдов из американского моря и попросишь дозволения пропустить тебя с ними на поверхность земли. Днесь вижу, что у вас, христиан, нет жадности». Засим вручил он мне камень диковинно переливчатого цвета и сказал: «Спрячь его у себя, и когда ты положишь его где-либо на земной поверхности, то начнет он искать центр земли и пролагать себе путь через самые удобные минералы, покуда он снова не доберется до нас, а по дороге откроет и пошлет тебе самый великолепный источник кислых вод, кои придутся тебе по нутру и пойдут на пользу так же, как и ты послужил нам, открыв всю правду». Засим князь Муммельзее заключил меня тотчас же снова в свой конвой и проследовал со мною весь прежний путь по озеру, через которое мы спустились.

Сие возвращение показалось мне куда более долгим, нежели первое путешествие, так что я полагал, мы прошли две с половиной тысячи отменных швейцарских миль; однако ж, нет сомнения, время тянулось так медленно по той причине, что я почти ни о чем не беседовал с моим конвоем, узнав только, что они живут до трехсот, четырехсот и даже пятисот лет, никогда ничем не болея. Впрочем, ум мой был полон богатством и величием, которые должны были принести мне кислые воды, так что все мои помыслы и вся моя смекалка были довольно заняты, прикидывая, где я открою источник и какую извлеку из него пользу. У меня уже были наготове планы, какие мне возвести просторные строения, дабы гости, съезжающиеся на воды, с удобством могли расположиться, а я бы огребал с них немалые денежки за постой. Я уже придумывал, как половчее подмазать медиков, чтобы они мои новоявленные чудесные целительные воды предпочли всем другим, даже швальбахским, и наслали мне целую толпу богатых пациентов. Я уже сравнивал с землею целые горы, дабы приезжающих и отъезжающих не обременяла трудная дорога; я нанимал себе продувных слуг для дома, скупых поварих, осторожных горничных, стережливых конюхов, опрятных надзирателей при ваннах и у источника и уже подыскал место неподалеку от моего дома в диких горах, где я разобью увеселительный сад и засажу его всевозмож-

ными редкостными растениями, дабы приезжающие на воды чужестранные господа и их жены могли там совершать променады, больные дышали бы свежим воздухом, а здоровые прохлаждались в различных забавных играх и потехах. Тут медики должны будут за хорошую мзду сочинить на бумаге великолепный трактат о моем чудесном источнике и его преизящных свойствах, каковой трактат я потом отдам напечатать на превосходной бумаге с красивой гравюрой на меди, где будет помещен абрис моего крестьянского двора, так чтобы любой живущий вдалеке больной, прочитав сие, был бы уже наполовину здоров и весьма обнадежен. Я велю собрать всех моих детей, привезти их из Л. и обучить всему, что надлежит до устройства моих новых вод; и никто из гостей не должен отлынивать от пользования водами, ибо я положил твердое намерение хорошенько порастрясти у них если не животы, так кошельки.

С такими изобильными мыслями и счастливыми умствованиями достиг я снова воздушной стихии, ибо многажды помянутый принц Муммельзее высадил меня из озера на твердую землю и, разумеется, в сухом платье; однако же должен был я без промедления вернуть драгоценный камень, который он спервоначала мне дал, когда мы спускались в озеро, ибо иначе я бы задохся в воздухе или же, чтобы дышать, принужден был бы сунуть голову снова в воду, понеже сказанный камень обладал таковым действием. Когда же сие произошло и принц взял камень себе, благословили мы друг друга, как люди, которые расстаются навеки и никогда более не видятся. Он сгорбился и нырнул вместе со своими в бездну; я же пошел прочь со своим lapide [1], что мне дал король сильфов, и такой радостный, как если бы принес оттуда само золотое руно из Колхиды.

Но ах, радость моя, которая напрасно тщилась утвердить себя на прочном основании, была недолгой, ибо едва я отошел в сторону от этого диковинного озера, как начал плутать в дремучем лесу, ибо не имел ни малейшего понятия о том, откуда батька вывел меня к этому озеру. Я уже прошел порядочно, прежде чем приметил, что заблудился, и все еще строил планы: какие кислые воды откроются на моем дворе и как я распрекрасно все расположу и устрою и заживу спокойной господской жизнью. Таким-то образом, чем более, тем все дальше удалялся я неприметно для самого себя от того места, куда более всего стремился, а, что всего горше, смекнул это только, когда солнце уже пошло на закат и я уже ничем не мог себе пособить. И я стоял посреди лесной чащи, как истукан на мосту в Дрездене, без пищи и оружия, в чем я,

[1] камнем *(исп.)*.

глядючи на предстоящую ночь, весьма нуждался. Но меня утешал славный мой камешек, который я принес из самых сокровенных недр земли. «Терпение! Терпение! — говорил я самому себе.— Сей камень возвеселит тебя после всех перенесенных невзгод. Добрый плод не вдруг поспевает, а без забот и труда не вытащишь и рыбку из пруда. Кто хочет полакомиться орешком, сперва должен разгрызть твердую скорлупку, а то любой болван, не попотев и не попыхтев, станет почем зря открывать такие благородные источники, как тот, что у тебя в кармане».

Ободрив себя подобными речами, я вместе с новой решимостью обрел и новые силы, ибо зашагал куда веселее, нежели прежде, хотя ночь и опережала меня. Полный месяц, правда, светил во всю прыть, но высокие ели не пропускали столько света, как прошлую ночь глубокое море. Однако ж я все шел и шел, покуда около полуночи не завидел огонь и не пошел прямо на него, наткнувшись на мужиков-лесовиков, гнавших смолу. И хотя таким молодцам не следовало доверять, но жестокая нужда и моя собственная храбрость побудили меня заговорить с ними; я тихонько подкрался к ним и окликнул: «Доброй ночи, господа, или добрый день, или доброе утро, или добрый вечер! Скажите мне сперва, какое сейчас время, чтобы я мог знатно вас приветствовать!» Все шестеро, что там были, кто стоял, кто сидел, задрожали от страха и не знали, что им молвить; и, должно быть, моя долговязая фигура в черном траурном платье, которое я еще носил по недавно умершей жене, да еще ужасная дубина в руках нагнали на них немалую жуть и ужас. «Как? — воскликнул я.— Никто из вас не хочет мне отвечать?» Они некоторое время еще находились в изумлении, пока один из них не опамятовался и не пробормотал: «Откудова ты взялся, барин?» Тут я смекнул, что они швабы, которых, правда (и совершенно зря), почитают придурковатыми, и того ради сказал им, что я странствующий школяр, который возвращается с Венериной горы, где обучался множеству диковинных вещей. «Эге,— сказал старый крестьянин,— слава богу, теперь я уже верю, что доживу до мирных деньков, раз по свету опять пошли странствующие школяры».

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций во сне ненароком подмок,
Источник под ним не на месте потек.

Итак, вступили мы в разговор, и они встретили меня с такою учтивостью, что позвали к костру и предложили кусок черного хлеба и тощего коровьего сыра, коим я и отдал честь. Наконец про-

никлись они ко мне такою доверчивостью, что стали упрашивать меня как странствующего школяра погадать им без утайки. И как я был немного сведущ в физиогномике и хиромантии, то начал им подряд врать, что, по моему мнению, каждому было бы любо слышать, так как не хотел потерять у них кредит, ибо среди таких лесных молодцов было мне не очень-то спокойно. Они домогались, чтобы я обучил их различным колдовским хитростям, я же, сославшись на то, что утро вечера мудренее, добивался, чтобы они дали мне немного роздыху. Некоторое время я таким образом представлял цыгана, а затем улегся в сторонке, не столько от большой охоты заснуть (хотя меня и изрядно тянуло ко сну), а чтобы прислушаться и узнать, что у них на уме. И чем сильнее я храпел, тем больше они настораживались; они принялись тихонько переговариваться и судить да рядить, кто я такой. На солдата я словно и не похож, ибо на мне черное платье, а горожанином тоже нельзя почесть, ибо я в столь неурочное время забрался в такую глушь до самого Мюкенлоха (ибо так прозывался тот лес). Под конец решили они, что я латынщик-подмастерье, который заплутался здесь, или, как я сам назвался, странствующий школяр, ибо ловко умею гадать. «Эва,— заговорил еще один,— видать, потому-то он и не силен в таких делах; да он беглый вояка и только вырядился школяром, чтобы высмотреть наш скот и все тропинки в лесу. Ах, когда бы мы знали наверно, то спровадили б его спать так, чтоб он забыл проснуться. Доверять нельзя никому: яйца на сковородку — так не выведутся цыплятки!» Но тотчас же нашелся еще один и стал возражать, полагая, что я совсем иного разбору. Я же лежал, навострив уши, помыслив: «Ежели на меня нападут эти пентюхи, то уж я уложу двоих или троих, покуда они меня схватят и прикончат».

И вот, когда они так совещались, а я корчился от страху, внезапно мне показалось, что кто-то улегся рядом со мной и пустил под себя струю; ибо я нечаянно весь подмок. О, mirum! Погибла Троя! И все мои великолепные планы пошли прахом, ибо я тотчас же приметил по запаху, что то мой целебный источник. И я пришел от гнева и досады в такое неистовство, что готов был один броситься на всех шестерых мужиков и начать с ними драку. «Ах вы, безбожные болваны! — закричал я, размахивая дубинкою.— По сему источнику, что сейчас забил подо мною, можете рассудить, кто я такой. Не диво, ежели я так накажу вас, что черти костей ваших не соберут, коли вы посмели замышлять на меня зло!» И притом корчил такие угрожающие и устрашающие мины, что поверг их всех в ужас. Однако ж я тотчас опамятовался и приметил, какую учинил глупость. «Нет уж,— помыслил я,— лучше потерять целебный источник, нежели самую жизнь, которой ты

легко можешь поплатиться, связавшись с этими пентюхами и невеждами»; того ради снова заговорил с ними ласково и сказал: «Гляньте-ка да отведайте из этого превосходного источника кислых вод, что забил в этой глуши и коим отныне по моей милости будут пользоваться все дровосеки и смолокуры!» Они никак не могли взять в толк, что такое я им твержу, а только пучили глаза друг на друга, словно палтусы, пока не увидели, что я преспокойно зачерпнул шляпой и сделал первый глоток. Тут они один за другим поднялись от костра, у коего сидели, подивившись на чудо, и отведали воды, и заместо того, чтобы оказать себя благодарными, принялись поносить меня, сказывая, чтобы я убрался со своими кислыми водами куда подальше; коли их господа прознают об этом, то замучают всю Дорненштедтскую округу повинностями и заставят прокладывать сюда дорогу, отчего им будет великое отягощение. «Совсем напротив,— сказал я,— когда станут им все пользоваться, то вы зашибете больше денег за своих кур, яйца, масло, мясо и все такое прочее».— «Нет, нет,— заладили они,— нет! Барин посадит тут трактирщика, он один и разбогатеет, а мы только будем на него гнуть спины, как дурни, да чистить дороги и тропинки, а никто даже словечка в благодарность не скажет!» Под конец разделились они в мнениях: двое пожелали оставить источник, а четверо полагали, что я должен его снова убрать отсюда и, понеже это в моей власти, открыть его где-либо в другом месте, не впутывая их в такое дело и не помышляя об их прибыли или убытках.

А как тем временем занялся день, и мне там делать было нечего, и я опасался, что ежели мы долго тут будем валандаться, то, чего доброго, еще передеремся, а посему сказал, коли они не хотят, чтобы во всем Байерсбрунне у коров шло кровавое молоко до тех пор, покуда не иссяк этот источник, то должны они немедля вывести меня к Зеебаху, на что они согласились, отрядив двоих провожатых, ибо идти одному со мною было боязно.

Итак, расстался я с сей страною, и хотя вся она была бесплодна, как Аравийская пустыня, и не произрастало там ничего, кроме еловых шишек, однако ж желал ей еще горшей участи, ибо потерял там все свои надежды. Однако ж шел молча со своими проводниками, покуда мы не вышли на вершину горы, где я мог уже оглядеться и немного признать местность. Тогда я сказал им: «Вы, господа, можете получить немалую выгоду от сего источника, ежели пойдете и объявите о нем властям; и вы войдете в большую честь, ибо тогда сам владетельный князь велит тут строить ради своей славы и пользы всей страны и распубликует о нем по всему свету для умножения своей прибыли».— «Эва! — сказали

они.— Мы были бы изрядные дурни, когда б накликали розги на свои собственные задницы; нет уж, мы бы лучше хотели, чтоб черт унес тебя вместе с этим треклятым источником; ты довольно уже наслышался, по какой причине мы не хотим его тут видеть». Я возразил: «Эх вы, злочестивые олухи, ну не заслужили ли вы прозванье вероломных плутов, ибо вы столь далеко отошли от праведной стези ваших благочестивых предков? Они были так преданы своему князю, что он хвалился, он-де может с полным доверием положить голову на колени каждому из своих подданных и спокойно заснуть; а ваши трусливые душонки столь бесчестны, что убоялись даже ничтожной работы, которая вдобавок со временем окупилась бы и доставила бы всем вашим потомкам изрядную утеху, вашему достохвальному князю пользу, а многим страждущим здравие и благополучие, ежели бы открылся сей целебный источник. Что с того, если бы каждому пришлось для этого отбыть несколько деньков барщины и малость попотеть?» — «Что? — закричали они.— Да мы скорее забьем тебя на барщине до смерти, чтоб твой источник остался никому не ведом».— «Эх, пташки,— сказал я.— Мало вас тут слетелось!» — и, взмахнув дубинкой, погнал их ко всем чертям, а сам пошел с горы на запад и полдень; и после превеликих трудов и мучений под вечер пришел к моему мужицкому двору, на деле узнав, что наперед предвещал мне мой батька, а именно, что из сего паломничества ничего не получится, кроме натруженных ног и ходьбы туда и обратно.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций встречает перекрещенцев,
По нраву ему жизнь сих отщепенцев.

Возвратившись домой, повел я уединеннейшую жизнь; самой большой отрадой и утехой стало для меня чтение; я раздобыл множество книг, трактовавших о различных предметах, особливо же таких, кои требовали большого размышления. То, что принуждены твердить школьники и грамотеи, мне скоро прискучило, да и арифметика также надоела; а что касается музыки, то я давно уже возненавидел ее, как чуму, так что вдребезги разбил свою лютню. Математику и геометрию я еще жаловал; но как только они привели меня к астрономии, то я им также дал абшид и на некоторое время прилепился к сей последней науке совокупно с астрологиею, которая меня изрядно увеселяла. Но под конец показалась мне ложной и ненадежной, так что я недолго в ней упражнялся, а ухватился за «Великое искусство» Раймонда Луллия, однако ж

нашел, что там много крику, да мало проку, и как я почел сие сочинение простым извитием риторических речей, сиречь topica, то закинул его и обратился к знаменитой Каббале евреев и к иероглифике египтян, под конец же уразумел, что из всех моих наук и художеств нет ничего лучше теологии, ибо посредством ее научаются любви к богу и служению ему. И, следуя ее предписаниям, открыл я для людей такой образ жизни, который может быть скорее назван ангельским, нежели человеческим, когда бы они составили общество, куда вошли бы холостые и женатые, как мужчины, так и женщины, которые бы на манер перекрещенцев снискивали себе пропитание трудами рук своих под разумным смотрением своего настоятеля, а в свободное время славили бога и заботились о спасении своей души. И как я уже прежде видел подобную жизнь в Венгрии на перекрещенских дворах, и понеже сии добрые люди и им подобные не запутались в еретических мнениях, противных всеобщей христианской церкви, и не погрязли в них, то я по свободной совести пристал к ним или, по крайности, стал почитать их жизнь как самую блаженную во всем свете, ибо они предстали передо мною во всех своих делах и начинаниях такими же, как Иосиф Флавий и другие авторы описывали еврейских ессеев. У них было собрано большое богатство и в изобилии припасы, коих они, однако ж, не расточали по-пустому или без пользы; у них нельзя было услышать проклятий, ропота или нетерпения, даже ни единого пустого слова. Там видел я ремесленников, работавших в мастерских, как если бы они подрядились; их учителя наставляли юношество, как если бы все они были собственные их чада; нигде не видел я, чтобы мужчины и женщины находились вперемешку, а, напротив, каждый пол держался особливо, исполняя возложенную на него работу. Я видел у них покои, отведенные для рожениц, кои вместе со своими детьми безо всякого попечения своих мужей получают необходимую помощь от своих сестер и со всею щедростию обеспечены всем необходимым; другие пречудные залы наполнены там ничем иным, как множеством колыбелей с младенцами, за коими смотрят приставленные к ним няньки, которые их кормят и подтирают, так что их матерям не надобно о них печалиться, когда они трижды на дню приходят, чтобы кормить их обильной млеком грудью; и ходить за роженицами и младенцами препоручено одним только вдовам.

В другом месте видел я женщин, которые были заняты ничем иным, а только прядением, так что в одном покое стояло рядом свыше сотни прялок или пряслиц. Там у всякой была своя работа: одна — прачка, другая — постельница, третья — скотница, четвертая — судомойка, пятая — погребщица, шестая — ключница, что смотрела за чистым бельем, также и все прочие, так что

каждая знала, к чему она приставлена. И подобно тому как рачительно были разделены все должности у женского пола, также и среди мужчин и юношей всяк исправлял свое дело самым достохвальным и непринужденным образом. А когда кто-либо, все равно мужчина или женщина, заболеет, то приставляют к ним особливого служителя или сиделку, а также посылают к ним медика и аптекаря, хотя при похвальной умеренности в пище и добром порядке во всем болезни там редки; ибо мне доводилось видеть у них почтенных старцев, находившихся в полном здравии и весьма преклонных летах, что в других местах повстречаешь нечасто. У них назначены часы на трапезу и отведены часы для сна, но ни единой минуты для игр и гульбищ, кроме юношества, которое ради сохранения телесного здравия прогуливается один час после принятия пищи со своим наставником, в то же время вознося молитвы и распевая духовные песнопения. Там не знали ни гнева, ни досады, ни мести, ни зависти, ни вражды, никаких забот о временном, никакого чванства, скупости, страсти к игре или танцам, никакого душевного сокрушения! Одним словом, то была такая отрадная гармония, коя, казалось, была предназначена, чтобы со всею честностию приумножать род людской и царство божие. Ни один мужчина не видит своей жены до тех пор, покуда в уреченное время не внидет с нею в спальный покой, где найдет приготовленную постель, а кроме того, лишь ночную посудину, кружку с водою и чистое полотенце, дабы мог он помыть руки, отходя ко сну и поднявшись поутру перед тем, как отправиться на работу. Сверх того называли они друг друга братьями и сестрами, однако ж сия честная взаимная доверенность не подавала причины к нарушению целомудрия. И столь благородную и праведную жизнь, кою вели сии еретики-перекрещенцы, я бы охотно повел сам, ибо мне сдается, что она превосходила даже монастырскую. Я помыслил: «Когда бы мог ты завести под своим началом такую честную христианскую жизнь, то стал бы новым Домиником или Франциском!» «Но ах! — вздыхал я частенько.— Когда бы ты мог склонить перекрещенцев, чтобы научили они своей праведной жизни твоих единоверцев, то вот был бы ты святой человек! Или когда бы ты мог уговорить своих сохристиан, чтобы они, подобно сим перекрещенцам, повели такую же, по всей видимости, честную и христианскую жизнь, то чего бы только ты не достиг?» Я, правда, говорил самому себе: «Дурень, какое тебе дело до других людей? Пойди в капуцины. Тебе и без того опостылели все бабы!» Но потом я скоро одумывался: «Ты завтра будешь не тот, что сегодня, и кому ведомо, какие средства будут потребны в будущем, дабы праведно следовать по стопам Христа? Нынче ты одержим целомудрием, а назавтра воспламенишься похотью».

Такие и подобные сему мысли обуревали меня долгое время, и я охотно бы отдал какому-нибудь соединенному христианскому обществу и мой двор, и все мое достояние, чтобы они приняли меня к себе. Но мой батька сказал напрямик, что мне никогда не собрать вокруг себя таких молодцев.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций со шведским воякой спознался,
С ним до Москвы он легонько добрался.

Той же осенью нахлынули к нам французские, шведские и гессенские войска, чтобы отдохнуть, а вместе с тем осадить соседний имперский город, тот что был построен одним английским королем и по имени его назван; по этой причине всяк бежал со своим скотом и самыми ценными вещами в окрестные леса. Я поступил так же, как и мои соседи, оставив довольно пустым дом, в коем расположился шведский полковник на временном жалованье. Сей нашел в моем кабинете несколько книг, ибо я впопыхах не все успел захватить, в том числе и несколько математических и геометрических чертежей и сочинений по фортификации, коими обыкновенно пользуются инженеры, а посему заключил он, что его квартира ранее принадлежала не простому мужику, и того ради начал справляться о моих обстоятельствах и старался заполучить к себе меня самого, так что с помощью куртуазных представлений вперемежку с угрозами удалось ему добиться, что я пришел к нему на свой собственный двор. Там принял он меня с отменною вежливостью и запретил своим людям без нужды что-нибудь у меня губить и портить. Таким дружелюбием склонил он меня к тому, что я поведал ему обо всех своих обстоятельствах, особливо же о своем роде и происхождении. Тут удивился он, что я во время войны обретаюсь среди мужиков и смотрю, как другие привязывают лошадей у моего тына, когда я с большею честию мог бы сам привязать своих коней у других; я должен, говорил он, снова навесить шпагу и не допустить, чтобы талант, дарованный мне богом, заплесневел за печкой и плугом; он уверен, что ежели я вступлю в шведскую службу, то при моих качествах и знании военного искусства вскорости произведен буду в высокие чины и заделаюсь знатным кавалером. Я выслушал сие с полнейшею холодностию и сказал, что произвождение остается за семью горами, когда у человека нет друзей, которые ведут его под руки. На это он отвечал, что отменные мои качества доставят мне то и другое: друзей и произвождение; сверх того, он не сомневается, что

в шведской армии я встречу родственников, которые что-нибудь да значат, ибо там много знатных шотландских дворян. Правда, и ему самому, продолжал он, Торстенсон обещал полк; и когда он его получит, в чем он совершенно не сомневается, то тотчас же назначит меня своим подполковником. Сими и другими подобными речами добился он того, что у меня слюнки потекли, и понеже не было еще доброй надежды, что скоро заключат мир и меня ожидали дальнейшие постои и совершенное разорение, то я и решил снова испытать Фортуну и обещал полковнику отправиться вместе с ним, ежели он сдержит свое слово и доверит мне место подполковника в будущем своем полку.

Так и сварили мы пиво; я велел позвать моего батьку, или крестного, ибо он все еще хоронился вместе с моим скотом в Байришбруннской долине. Ему и его старухе отписал я мой двор и все имущество, однако ж с условием, чтобы после его смерти все сие наследовал мой бастард Симплициус, коего подбросили к моему порогу, ежели не объявятся законнорожденные наследники. Засим достал я себе коня и захватил все деньги и драгоценности, которые еще у меня оставались; и когда я уладил все свои дела и отдал распоряжения о воспитании моего вышесказанного приблудного сына, то затеянная осада была снята, и мы не успели оглянуться, как замаршировали на соединение с главными силами. Я изображал гофмейстера при моем полковнике, командовал лошадьми и конюхами, ведал всем его хозяйством, которое состояло в грабеже и разбое, что по-солдатски звалось фуражировкою.

Торстенсоновы обещания, коими мой полковник так похвалялся на моем дворе, оказались на проверку не столь велики, как он мне наговорил, и сдается мне, на него глядели с презрением. «Ах! — говорил он мне.— Какой шелудивый пес оговорил меня перед генералитетом? Ну, тогда я тут надолго не останусь». И так как он подозревал, что я не собираюсь у него зря околачиваться, то сочинил он письмо, как если бы ему надлежало в Лифляндии, откуда он был родом, навербовать свежий полк, и так сумел уговорить меня, что я отправился с ним в Висмар, а отуда поехал в Лифляндию. Но все это был один пшик, ибо ему не токмо никто не поручал навербовать новый полк, но и сам он оказался пребедным дворянчиком, и было у него только то, что он получил за женою — поместье и приданое.

И хотя уже дважды был я им обманут и завезен в такую даль, однако ж клюнул на его приманку и в третий раз, ибо он показал мне грамоту, которую он получил из Москвы, в коей, как он уверял, предлагали ему сан большого воеводы, ибо он так растолковывал мне по-немецки сие послание и много хвастал, какое обе-

щано ему изрядное жалованье. И так как он поднимался с женою и детьми, то я помыслил: «Ну, зазря он с ребятишками туда не потащится!» И того ради пустился с ним в путь с веселым упованием на будущее, понеже я и без того не видел ни случая, ни средства воротиться в Германию. Но как только мы пересекли русскую границу и нам стали попадаться навстречу отставные немецкие солдаты, особливо же офицеры, то у меня мурашки пошли по спине, и я сказал своему полковнику: «Какого черта нам тут занадобилось? Оттуда, где идет война, мы убрались, а тащимся туда, где царит мир, солдаты не в цене и уволены в отставку!» Он же все еще подбадривал меня добрым словом и сказал, что мне нужно только положиться на него, ибо он лучше меня знает, что надлежит делать, чем эти трусоватые молодчики, от коих мало проку.

Когда же мы благополучно прибыли в стольный город Москву, то я тотчас же приметил, что свершил большую промашку; правда, мой полковник каждодневно имел конференции с тамошними магнатами и притом более с митрополитами, нежели с князьями, так что тут запахло не столько порохом, сколько ладаном, что вперило в ум мой диковинные помыслы и воображения, хоть я и не мог додуматься, куда он метит. Наконец объявил он мне, что война тут ни при чем, а что совесть понуждает его принять греческую веру. И он от чистого сердца советует мне последовать его примеру, ибо отныне он не может больше мне пособить в том, что обещал. Его царское величество уже получил добрую ведомость о моей особе и моих отменных качествах; и ежели я поведу себя надлежащим образом, то буду милостиво пожалован богатым дворянским поместьем со множеством крепостных, от какового всемилостивейшего предложения не следует отказываться, ибо всякому более полезно приобрести в столь великом монархе всемилостивейшего повелителя, нежели неблагосклонного великого князя. Такие речи повергли меня в изумление, и я не знал, что ответить; ибо повстречай я этого полковника где еще, то он получил бы от меня в ответ добрую оплеуху. Однако ж принужден я был держать нос по ветру и приноровиться к месту, где я очутился, словно в плену, и того ради долго молчал, прежде чем решился дать ответ. Наконец я сказал ему, что хотя намерен был служить его царскому величеству как солдат, для чего он, господин полковник, и побудил меня сюда приехать, но как ныне моя служба не нужна государю, то я не могу сие изменить или тем менее пенять на то, что ради него совершил понапрасну столь дальний путь, понеже он не призвал меня грамотою; но ежели бы его царское величество всемилостивейше соизволило оказать мне такую высокую милость, то мне более пристало бы прославлять ее на весь свет,

чем всенижайше принять и заслужить, понеже я еще не могу решиться переменить свою религию, и потому выражал желание воротиться на мужицкий свой двор в Шварцвальде, не доставляя никому хлопот и неудобств. На что он ответил: «Вольному воля, но я думаю, что когда к нему бог и Фортуна милостивы, то следует по справедливости возблагодарить обоих. Когда же человек не кует свое счастье, а сам хочет жить, как принц, то, надеюсь, его таковым и почтут, я же не щадил для него ни трудов, ни иждивения». Засим отвесил он мне глубокий поклон и пошел своей дорогою, оставив меня сидеть на месте и даже не дозволил, чтобы я проводил его до дверей.

А когда я сидел, пригорюнившись, и размышлял о теперешнем своем положении, заслышал я, как к нашему дому подкатили две русские колымаги, а поглядев в окошко, увидел, что мой добрый господин полковник садится в одну из них со своими сыновьями, а в другую госпожа полковница с дочерьми. То была колымага и слуги великого князя, а кроме того, были тут кое-кто из духовенства, которые провожали эту чету и оказывали ей всяческое благоволение.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплиций готовит мушкетное зелье,
В чужом он пиру получает похмелье.

С того самого времени стерегло меня несколько стрельцов, правда, не явно, а тайно, так что я даже ни разу это не приметил, а мой полковник пропал с глаз долой со всею семьею, и я не знал, куда он подевался. Тогда, о чем легко можно догадаться, самые нелепые мысли забирались мне в голову, а на ней прибавилось немало седых волос. Я свел знакомство с немцами, как обретавшимися в Москве по торговым делам, так и с ремесленниками, и посетовал им на свои обстоятельства, и как хитро меня обошли; они утешили меня и присоветовали, как мне воротиться в Германию с надежною оказиею. Но как только они прознали, что царь решил меня оставить в стране и хочет меня к тому приневолить, то все словно воды в рот набрали и так чуждались меня, что мне стало трудно найти себе пристанище, ибо я уже проел своего коня вместе с седлом и уздечкой и тратил один за другим дукаты, которые я мудро зашил про запас в своем платье. Под конец я начал продавать кольца и другие драгоценности в надежде прокормиться до тех пор, покуда не улучу счастливый случай воротиться в Германию. Меж тем прошло три месяца, после чего сказанный полковник был перекрещен в православие вместе со всеми

своими домочадцами и пожалован знатным дворянским поместьем со множеством крепостных.

В то самое время был объявлен указ, воспрещавший под страхом великого неотменного наказания всякое тунеядство как тамошним жителям, так и чужестранцам, и всех праздношатающихся, дабы они не обжирали работающих и не рвали у них кусок хлеба из глотки, выслать из всей страны в течение месяца, а из Москвы в двадцать четыре часа. Итак, собралось нас душ пятьдесят с тем, чтобы сообща с божьей помощью держать путь через Подолию в Германию; однако ж мы не успели удалиться от города на два часа пути, как нагнал нас отряд русских всадников и повоpотил обратно под тем предлогом, что его царское величество весьма прогневалось за то, что мы самовольно и в таком большом числе собрались ватагою и осмелились без пашпортов проезжать по его стране, с присовокуплением, что его величество не почтет несправедливым за такое учиненное нами превеликое бесчинство сослать всех нас в Сибирь. На возвратном пути узнал я, к немалому своему огорчению, сколь плохи мои дела; ибо начальник того отряда всадников сказал мне несомнительно, что его царское величество не дозволит мне выехать из Московии, а посему чистосердечно советует мне склониться перед всемилостивейшей волей его величества, перейти в их веру и, как поступил полковник, не пренебречь взрачным дворянским поместьем с таким уверением, что ежели я от сего откажусь и не пожелаю жить у них, как господин, то противу своей воли принужден буду служить у них, как слуга; и его царское величество никогда не передумает и не выпустит из страны столь сведущего человека таких отменных качеств, как это описал уже многажды помянутый полковник. В ответ на сии слова я стал умолять его и сказал, что господин полковник уж верно приписал мне куда больше добродетелей, наук и художеств, нежели я обладаю. Правда, я затем и приехал сюда, чтобы служить до последней капли крови его царскому величеству и достославной российской нации против его врагов, но на то, чтобы переменить свою веру, я еще не могу решиться. Во всем же прочем, в чем только могу я служить его царскому величеству без отягчения совести, готов я не щадить и последние свои силы.

Меня отделили от всей ватаги и поставили на квартиру к одному купцу и теперь уже открыто держали под стражей, зато довольствовали отменными кушаньями и дорогими напитками со стола его величества, также каждодневно наведывались ко мне различные люди, которые вели со мною разговоры, а то и зазывали в гости, особливо же один лукавый муж, коему, нет сомнения, я был поручен; сей являлся ко мне каждый день и веселил меня дружескою беседою, ибо я уже довольно навострился по-русски. Он

толковал со мной по большей части о различных механических художествах, item о военных и других махинах, о фортификации, артиллерии и пр. Под конец, когда он уже несколько раз меня прощупал, не склонен ли я уступить намерениям его царского величества, и не обрел никакой надежды, что я хоть немного поколебался в своих мыслях, то пожелал и стал склонять меня к тому, что ежели я не хочу перейти в русскую веру, то, по крайности, должен я поведать и сообщить великому царю к чести их нации кое-что из того, чему научен в науках, и государь за такую мою готовность пожалует меня своей высокой царской милостью. На сие ответствовал я, что служить верою и правдою его царскому величеству было всегда моим сокровенным желанием, понеже я для того и прибыл в Московию, и что я еще и посейчас нахожусь в том же намерении, хотя и вижу, что меня содержат тут, как пленника. «Вовсе нет, сударь,— сказал он,— ты не в плену, а токмо его царское величество оказывает тебе такое любление, что не хотел бы расстаться с твоею особою!» — «Так чего же ради,— спросил я,— меня держат под стражею?» — «А для того,— отвечал он,— что его царское величество печется о том, как бы не приключилось тебе какой досады или беды твоему здравию».

Когда же он уразумел мою пропозицию, то сказал, что его царское величество всемилостивейше изволило повелеть в своей стране копать селитру и готовить порох; но как у них не было таких мастеров, которые бы сие умели, то я сослужил бы весьма угодную службу его царскому величеству, ежели бы только мог сие произвести; они бы доставили под мою команду довольно людей и всего, что к тому потребно, и он от себя самого чистосердечно просит меня не отвергать сего всемилостивейшего предложения, понеже получил достоверную ведомость, что я изрядно разумею сие дело. На что я ответствовал: «Господин, я, как прежде, так и нынче, уверяю, что готов всем, чем только могу, служить его царскому величеству и не пощажу никаких трудов, ежели только его величество милостиво соизволит мне остаться в своей вере». Мои слова так развеселили этого россиянина, который был одним из самых знатных князей, что он распил со мною больше вина, нежели любой немец.

На следующий день пришли ко мне от его величества два князя и толмач, дабы окончательно порешить обо всем и одарить меня богатым русским платьем, пожалованным мне царем. Итак, в скором времени принялся я искать селитряную землю и наставлять россиян, кои мне были препоручены, как надлежит извлекать и очищать селитру, а тем временем изготовил я также чертежи пороховой мельницы и обучал, как следует обжигать уголь, так что в короткое время мы стали изготовлять как отменный ручной, так

Gloria in Excelsis Deo
Nostra Vae Damna-
ta Vita.
Pax in terris est
mita:
Schaü, die Teütsche
Friedens-Freüd
Ist des Teüffels Hertzen-
Leid,
Wie deß Simplex Traüm
andeüt.

«Симплициссимус». Книга шестая, глава вторая.

и грубый пушечный порох изрядного качества, ибо у меня на все было довольно людей, а кроме того, и мои диковинные слуги, что должны были мне услужать или, лучше и честнее сказать, меня охранять и стеречь.

А когда, казалось, я так изрядно все наладил, то заявился ко мне со всею пышностию не раз помянутый полковник в дорогом русском платье со множеством слуг, нет сомнения, затем, чтобы сим показным великолепием склонить меня к тому, чтобы я переменил веру. Однако ж я хорошо знал, что платье ссудили ему из государевой казны для того, чтобы у меня слюнки потекли, ибо при царском дворе то была обычная хитрость.

И дабы читатель уразуметь мог, как там обычно идут дела, хочу я рассказать о том на своем примере. Однажды был я на пороховой мельнице, что была мною построена под Москвой на реке, и отдавал распоряжения приданным мне людям, какую кому из них надлежит исправить работу в тот самый и на следующий день; как нежданно поднялась тревога, ибо в четырех милях от нас появились татары, полчище коих в сто тысяч коней разоряло страну и быстро продвигалось вперед. Тогда я принужден был тотчас и безотлагательно отправиться вместе со всеми своими людьми в Кремль, где нас экипировали из царской оружейной палаты и конюшни. Мне, правда, достался вместо кирасы заплатанный шелковый панцирь, который хотя и задерживал стрелы, но мог быть пробит любой пулей; также дали мне сапоги, шпоры, княжеский шлем с пучком перьев и саблю, такую острую, что рубила волос, вдобавок отделанную чистым золотом и усеянную драгоценными каменьями; а из царской конюшни привели для меня превосходного коня, какого я за всю свою жизнь не видывал, не говоря уже о том, чтоб им владеть. И сам я, и конский убор блистали золотом, серебром, жемчугом и драгоценными каменьями; я привесил стальную булаву, которая сияла, как зеркало, и была так хорошо сделана и такая тяжелая, что с легкостью могла убить всякого, на кого обрушится, так что сам царь, ежели бы он отправился на битву, не мог бы снарядить себя лучшим образом. За мною везли белое знамя с двуглавым орлом, к коему со всех сторон стекались ратники, так что не прошло и двух часов, как собралось тысяч сорок, а спустя четыре часа тысяч шестьдесят конников, которые все и выступили против татар. Каждые четверть часа я получал устное приказание от великого князя, коим он всякий раз напоминал мне не о чем ином, как о том, что я должен оказать себя сегодня храбрым солдатом, каким себя рекомендовал, дабы и его царское величество могло почесть и признать меня таковым же. С каждою минутою наше войско умножалось в числе, ибо к нему притекали простые воины и начальники целыми отрядами и поодиночке, так

что в этой суматохе я не мог распознать, кто командует всем корпусом и кому надлежит вести баталию.

Мне неохота рассказывать все обстоятельства этого сражения, ибо оно почти не относится к моей истории; я хочу только поведать, что татары на истомленных лошадях и отягченные множеством добычи были внезапно и когда они того меньше всего ожидали настигнуты и атакованы нами в долине, или довольно глубокой лощине, с такой яростию, что мы поначалу сразу же их разъединили. В первой сшибке сказал я по-русски тем, что следовали за мной: «Ну, с богом! Пусть каждый творит то же, что и я». Они все прокричали друг другу о том же, и я, опустив забрало, ринулся на врагов и первому, кого повстречал, а это был мирза, проломил голову с такою силою, что мозг его, смешавшись с кровью, прилип к стальной моей булаве. Русские последовали сему геройскому примеру так, что татары не устояли противу такого нападения, а обратились во всеобщее бегство. Я же бился, словно бешеный, или как человек, который в отчаянии ищет себе смерти и не может ее обрести. Я валил и крушил всех, кто мне попадался навстречу, не разбирая, татары то или русские. А те, коих царь приставил ко мне, с таким усердием теснились за мной, что все время надежно прикрывали меня с тыла. Воздух был напоен стрелами, словно летел рой шмелей или пчел, из коих одна впилась мне в руку, ибо я засучил рукава, чтобы легче было управляться с саблей и булавой, кромсать и убивать до смерти. И до тех пор, покуда я не перехватил стрелу, сие кровопролитие веселило мое сердце, когда же я увидел, что пролилась собственная моя кровь, то веселие переменилось в ярость. После того как лютые враги были обращены в повальное бегство, то некоторые князья повелели мне по царскому указу доставить радостное известие о том, как мы одолели татар, самому государю. Итак, возвратился я по их слову назад в сопровождении свиты примерно в сто всадников. Я проскакал через весь город к царскому дворцу, встречаемый радостными криками и благословениями всего народа; однако ж как только я доложил о сражении, хотя великий государь был обо всем уже довольно известен, то принужден был бережно снять с себя княжеское одеяние, которое было возвращено в царскую казну, хотя все оно вместе с конским убором было забрызгано и замарано кровью, так что стало ни к чему не годным, и я полагал, что не иначе, как мне его вместе с лошадью пожалуют в награду за то, что в этом сражении я бился как рыцарь; а посему узнал, как у русских обстояло дело со всею пышностию в одеждах, коими щеголял передо мною мой полковник, ибо они были заемными товарами, кои, как и все другие вещи во всем русском государстве, принадлежат одному только царю.

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплиций на Волге нежданным манером
К татарам попал, а затем на галеры.

Все время, пока не зажила моя рана, меня угощали по-княжески; и я все время расхаживал в мурмолке, расшитой золотом и отороченной соболем; и хотя рана моя была вовсе не смертельной и не опасной, за всю жизнь я не пользовался такой жирной кухней, как тогда. Но сие было единственной моей добычей, которую я получил тогда за все труды, не считая похвалы, коей удостоил меня царь, каковая, однако ж, была отравлена мне завистью некоторых князей.

А когда я совершенно поправился, то был отправлен на корабле вниз по Волге в Астрахань, дабы и там учредить приготовление пороха, ибо царю было весьма несподручно всякий раз снабжать эту пограничную крепость свежим и добротным зельем из Москвы, да и столь дальний путь по воде был сопряжен с немалыми опасностями. Я охотно согласился сие исполнить, ибо был обнадежен, что по исправлению сего дела царь отправит меня в Голландию и пожалует меня деньгами сообразно своему величию и моим заслугам. Но горе! Когда мы более всего уверимся в своих надеждах и предположениях, то нечаянно подымется ветер и разом опрокинет все зыбкое строение, которое мы столь долго сооружали.

Воевода в Астрахани потчевал меня так же, как и царь, и вскорости я все там наладил; залежалую амуницию, которая прогнила и заржавела, так что от нее нельзя было больше ожидать никакого эффекту, я переделал заново подобно жестянику, который старые оловянные ложки переливает в новые, что тогда у русских было делом неслыханным; по сей причине, а также и другим моим художествам одни почитали меня колдуном, другие новоявленным святым или пророком, а некоторые новым Эмпедоклом или Горгием Леонтином. Однажды, когда я был занят по горло и заночевал на пороховой мельнице, устроенной за крепостной стеной, меня воровским образом захватила и полонила шайка кочевых татар, которые увели меня вместе со множеством других в глубь своей страны, так что я не только повидал там редкостное растение боранец, но и отведал его. Кочевые татары поменяли меня на различные китайские товары нючьженьским татарам, а те презентовали меня как особую диковинку королю Кореи, с коим они только что заключили перемирие. Там я снискал себе превеликое уважение, ибо никто не мог сравняться со мною в уменье владеть тесаком, и я обучал короля, как изловчиться, чтоб, положив мушкет на плечо и повернувшись к мишени спиной, все же попасть

в самую сердцевину, по каковой причине он стал так милостив, что по моей верноподданной просьбе даровал мне свободу и через Японию отправил в Макао к португальцам, но те немного обо мне печалились; того ради бродил я повсюду, словно овца, что отбилась от своей отары, покуда наконец диковинным образом не был захвачен турецкими или магометанскими морскими разбойниками, а они целый год таскали меня по морям среди невиданных чудных народов, обитавших на восточноиндийских островах, пока не сторговались с несколькими купцами из Александрии в Египте. Они доставили меня вместе со своими товарами в Константинополь, и понеже турецкий султан снаряжал в то время галеры против Венеции, то явилась недостача в гребцах, и многие турецкие купцы принуждены были уступить, однако ж за наличные деньги, своих рабов-христиан, среди коих оказался и я, ибо был молодым и здоровым детиною. Итак, принужден был я научиться грести; но такая тяжелая служба продолжалась не долее двух месяцев, ибо в Леванте нашей галерой рыцарски овладели венецианцы, и я вместе со всеми моими товарищами был вызволен из турецкой неволи. А когда помянутая галера вместе с богатой добычею и несколькими знатными турецкими пленниками была приведена в Венецию, то мне предоставили полную свободу, ибо я вознамерился совершить паломничество в Рим и Лоретто, дабы осмотреть эти места и возблагодарить бога за свое избавление. Для такой цели я с легкостью получил пашпорт, а некоторые благочестивые люди, особливо же немцы, оказали мне изрядную поддержку, так что я был снабжен долгополым пилигримским одеянием и смог отправиться в путешествие.

Засим пустился я кратчайшим путем в Рим, где мне изрядно повезло, ибо я вынищенствовал себе у знатных и простолюдинов немало всякого подаяния; и после того, как провел там примерно шесть недель, отправился я в Лоретто вместе с прочими паломниками, среди коих были и немцы, особливо же из Швейцарии, которые хотели воротиться домой. Оттуда перевалил я через Готтард и пересек Швейцарию, добравшись до Шварцвальда к моему батьке, который сохранял мой двор и своим управлением привел его в наилучшее состояние, тогда как я не принес домой ничего, кроме бороды, отросшей у меня на чужбине.

Я пробыл в отлучке три года и несколько месяцев, за это время переплыл различные моря и нагляделся на многие народы, но повсюду встретил больше зла, нежели добра, о чем можно было бы написать большую книгу. Меж тем был заключен немецкий мир; так что теперь мог я жить у моего батьки в надежном спокойствии; я оставил его хозяйничать и заботиться обо всем, сам же снова засел за книги, кои отныне стали моим упражнением и отрадой.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Симплиций зрит жизни суетный плен,
Все для него здесь тщета, прах и тлен.

Однажды я прочитал, какой ответ дал оракул Аполлона римским послам, когда они вопросили его, что надлежит учинить, дабы с миром править подданными: «Nosce te ipsum», то есть пусть каждый познает самого себя. Сие произвело то, что я оглянулся на прожитую жизнь и возжелал отдать отчет о ней самому себе. «Жизнь твоя была не жизнью, а смертью; дни твои — тяжкие тени, годы — тяжкие сны, наслаждения — тяжкие грехи; твоя юность — мираж, твое благополучие — сокровище алхимика, которое вылетает в трубу и покидает тебя, прежде чем ты успеешь сие уразуметь! Ты испытал бесчисленные опасности на войне, где перепало тебе немало счастия и злополучия, то ты возносился, то падал, то был знатен, то ничтожен, то богат, то беден, то радостен, то печален, то любим всеми, то ненавидим, то в почете, то в презрении. Но ты, о бедная моя душа, что обрела ты в сем странствии? Вот что стало твоим уделом: я оскудел добротою, сердце мое отягощено заботою, я нерадив ко всему доброму, ленив и испорчен, а что горше всего, совесть моя смущена и встревожена, сам же я погряз в скверне греха и беззакония! Тело устало, разум помрачен, невинность исчезла, лучшая пора юности растрачена, золотое время потеряно. Ничто уже не радует меня, и сверх того стал я чужд самому себе. Когда после смерти блаженной памяти отца моего пришел я в мир, то был прост и чист сердцем, прямодушен и честен, правдив, смирен, скромен, воздержан, целомудрен, стыдлив, богобоязнен и благочестив, но вскорости я стал зол, лукав, лжив, заносчив, задирлив и безбожен во всех делах своих, каковым всем пороками обучился я без наставника. Я соблюдал свою честь не ради ее самой, а для того, чтобы возвыситься. Я смотрел на время не затем, чтобы употребить его для душевного спасения, а для того, чтобы ублажать свое тело. Я много раз подвергал опасности свою жизнь, но никогда не печалился о том, чтобы ее исправить, дабы обрести себе непостыдную и блаженную кончину. Я взирал на одну токмо временную жизнь и преходящую пользу и ни разу не помыслил о будущем и еще менее о том, что принужден буду дать отчет перед престолом вышнего!» Такими мыслями терзал я себя каждодневно, и как раз в это время попались мне в руки некоторые сочинения Гевары, из коих я приведу несколько слов, ибо они были столь сильны, что совершенно отвратили меня от мира. И сии слова были следующие:

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Симплиций от мира сего отрекается,
Строгим отшельником жить собирается.

«Прощай, мир! Ибо на тебя нельзя ни положиться, ни надеяться; в твоей обители уже исчезло прошлое, уплывает из рук настоящее, а будущее никогда не приходит, наипостояннейшее рушится, наикрепчайшее разлетается в прах и наивечное приемлет свой конец, так что ты не кто иной, как мертвец среди мертвецов, и за целые века не даруешь нам ни единого часа жизни.

Прощай, мир! Ибо ты пленяешь нас и никогда не отпускаешь на волю; ты вяжешь нас и не развязываешь, ты огорчаешь без утешения, ты грабишь и не отдаешь обратно; ты обвиняешь без причины, ты осуждаешь, не выслушав сторон, и так ты убиваешь нас без приговора и погребаешь без смерти! И нет у тебя ни единой радости без печали, мира без несогласия, любви без подозрения, спокойствия без страха, изобилия без скудости, чести без пятна, имения без нечистой совести, сословия без недовольства и дружбы без лицемерия.

Прощай, мир! Ибо в твоем дворце дают посулы, не помышляя об их исполнении; служат без вознаграждения, ласкают, чтобы умертвить; возвышают, чтобы низвергнуть; поддерживают, чтобы подтолкнуть; чтят, чтобы обесславить; берут в долг, чтобы не возвращать; карают без помилования.

Спаси тебя бог, мир! Ибо в твоем доме низвергают великих господ и избранников Фортуны, предпочитают недостойных, осыпают милостями предателей, а верных держат у порога; злодеев оставляют свободе, а невинных карают; мудрейших и сведущих прогоняют в отставку, а неспособным назначают большое жалованье; лукавым верят, а правдивых и честных лишают всякого кредита; и каждый творит, что он хочет, и никто не делает того, что ему надлежит.

Прощай, мир! Ибо никто в тебе не назван своим настоящим именем; дерзкого называют отважным, трусливого осторожным, настырного прилежным, а малодушного миролюбивым. Расточителя именуют щедрым, а скрягу бережливым, лукавого болтуна и пустобреха красноречивым, а молчаливого дурнем или фантастом; прелюбодея и растлителя девиц нежным вздыхателем, порочного зовут галаном, мстительного горячим и мягкосердечного сумасбродом, так что ты сбываешь нам дельного за бездельника, а бездельника за дельного.

Прощай, мир! Ибо ты соблазняешь каждого: честолюбцам сулишь ты почести, беспокойным перемену, чванливым милость у

князей, нерадивым должности, скрягам превеликое сокровище, обжорам и развратникам наслаждение и сладострастие, враждующим месть, ворам утайку, молодым долголетие, фаворитам беспрестанное княжеское благоволение.

Прощай, мир! Ибо в твоем дворце не обретут себе прибежища ни правда, ни верность! Кто вступит с тобою в беседу, уйдет со стыдом; кто тебе доверится, будет обманут; кто тебе последует, впадет в соблазн; кто тебя страшится, с тем обойдутся горше всех; кто тебя возлюбит, будет худо вознагражден, а кто больше всех на тебя положится, тот больше всех будет посрамлен. Тебя не умилостивить никакими подарками, что дают тебе, и никакою услугою, что тебе оказывают, и никакими ласковыми словами, что тебе говорят, и никакой верностию, что тебе соблюдают, и никакой дружбой, что тебе изъявляют; ты же обманываешь, низвергаешь, растлеваешь, сквернишь, угрожаешь, губишь и забываешь всякого; а посему всяк плачет, вздыхает, стенает, сетует, никнет и обретает себе погибель. В тебе не узришь и не научишься ничему иному, как только ненавидеть друг друга до душегубства, болтать до полной лжи, любить до дикости, торговать до грабежа, просить до обмана и грешить до смерти.

Спаси тебя бог, мир! Ибо тот, кто последует тебе, расточит время в забвении, юность в беготне и скакании, носясь через тын да плетень, по дорогам и тропам, по горам и долинам, по лесам и пустошам, по морям и рекам, в дождь и снег, в жару и холод, в ветер и непогоду. Зрелость изнурит в том, чтоб руду копать и плавить, камни сечь и гранить, лес рубить и плотничать, растения сажать и возделывать, тщиться в помыслах и мечтаниях, судить да рядить, в хлопотах и жалобах, в купле и продаже, в ссорах и раздорах, на войне, во лжи и обмане. Старость иссушит нас в горести и нищете, изнеможет дух, дыхание станет зловонным, лицо покроется морщинами, стан сгорбится, очи померкнут, все члены будут дрожать, на носу повиснет капля, голова облысеет, уши оглохнут, обоняние притупится, вкус пропадет, только и останется, что вздыхать да кряхтеть, гнить да слабеть и, одним словом, до самой смерти, кроме трудов да забот, ничего не иметь.

Прощай, мир! Ибо никто не стремится в тебе к благочестию. Каждодневно казнят злодеев, четвертуют предателей, вешают воров, уличных грабителей и мошенников, рубят головы смертоубийцам, сжигают колдунов, наказывают клятвопреступников и изгоняют возмутителей.

Спаси тебя бог, мир! Ибо слуги твои не ведают иных трудов и потех, как только предаваться лености, глумиться и поносить друг друга, соблазнять девиц, любезничать с женщинами и заводить с ними шашни, играть в карты и бросать кости, бражничать

со сводниками, вздорить с соседями, переносить сплетни, задумывать новые происки, драть ростовщичьи проценты, изобретать новые моды, измышлять новое коварство и вводить новые пороки!

Прощай, мир! Ибо никто не доволен и не удовлетворен тобою. Кто беден, тот хочет разбогатеть; кто богат, тот тщится завладеть еще большим; кто презрен, тот мечтает возвыситься; кто оскорблен, тот жаждет мести; кто в милости, тот стремится повелевать; кто порочен, тот не желает себе ничего иного, кроме бодрости.

Прощай, мир! Ибо в тебе ничто не постоянно. В высокие башни ударяет молния, мельницы сносят потоки воды, дерево точат черви, зерно поедают мыши, плоды — гусеницы, а платья — моль; скот гибнет от дряхлости, а утлый человек от болезни. У одного струпья, у другого рак, у третьего волчанка, у четвертого франц, у пятого подагра, у шестого хирагра, у седьмого водянка, у восьмого камни, у девятого песок, у десятого легочная чахотка, у одиннадцатого лихорадка, у двенадцатого проказа, у тринадцатого падучая, а у четырнадцатого безумие! В тебе, о мир, никто не поступает так же, как другой; ибо когда один плачет, то другой смеется; один вздыхает, другой радостен; один постится, другой бражничает; один пирует, а другой страждет от голода; один гарцует на коне, а другой бредет пешком; один говорит, другой помалкивает; один играет, другой работает; и когда один рождается на свет, другой умирает. И вот каждый живет не так, как другой; один повелевает, другой служит; у одного паства — люди, а другой пасет свиней; один следует за двором, другой идет за плугом; один плавает по морям, а другой путешествует по стране, перебираясь с ярмарки на ярмарку; один трудится у огня, другой копошится в земле; один ловит рыбу в воде, а другой птицу в воздухе; один работает в поте лица, а другой ворует и грабит страну.

О мир, избави тебя бог! Ибо в твоем доме не ведут праведной жизни, а равно и не обретают блаженной кончины. Один умирает в колыбели, другой в юности на постели, третий на виселице, четвертый под мечом, пятый на колесе, шестой на костре, седьмой тонет в вине, а восьмой в реке, девятый задыхается от чревобесия, а десятый обкормлен ядом, одиннадцатый умирает скоропостижно, двенадцатый в сражении, тринадцатый от чародеев, а четырнадцатый топит свою бедную душу в чернильнице.

Спаси тебя бог, мир! Ибо мне прискучила твоя беседа! Жизнь, кою ты нам даруешь,— прежалкое странствие, непостоянное, ненадежное, жестокое, грубое, скоропреходящее и нечистое житие, полное скудости и заблуждений, так что надлежит скорее наречь его смертию, нежели жизнью, в коей мы каждое мгновение умираем от множества пороков преходящего бытия на многоразличных стезях смерти. Ты не довольствуешься горечью самой смерти,

коей ты препоясан и пропитан, но коликое еще множество людей прельщаешь своим ласкательством, подзадориванием и лживыми посулами; из златого кубка, что у тебя в руках, ты даешь им испить горечь и обман, превращая их в слепцов, глухих, бешеных, питухов и безумцев! О, сколь блаженны те, кто бежит твоего общества и не хочет ввергнуть себя в погибель вместе с сим коварным и бессовестным обманщиком. Ибо ты обращаешь нас в темную пропасть, жалкую юдоль, дитя гнева, вонючую падаль, нечистый сосуд в выгребной яме, сосуд тления, полный смрада и мерзости; ибо как только ты заманишь и истомишь нас своими обольщениями, ласками, угрозами, побоями, мучениями, пытками и тиранством, тотчас же предаешь наше истерзанное тело могиле, а душу переселяешь в ненадежные шанцы. Ибо хотя нет ничего вернее смерти, однако ж человек не уверен, когда и как он умрет, и (что всего жалостнее) куда отправится его душа, и каково ей там будет. Горе тогда бедной душе, но что тебе, о мир! Служила, повиновалась и следовала твоему роскошеству и похоти; ибо как только в скором и внезапном страхе разлучится она со своим бренным телом, то окружат ее не друзья и слуги, кои окружали сие тело при жизни, а полчища наигнуснейших ее врагов, которые повлекут ее к дивному Судилищу Христа. Посему, о мир, спаси тебя бог, ибо я твердо знаю, что ты отступишься и покинешь меня не только, когда бедная моя душа предстанет пред ликом строгого судии, но и когда прогремит наиужасающий приговор: «Грядите вы, отверженные, в огнь вечный!»

Прощай, мир! Презренный скаредный мир! О ты, смрадная жалкая плоть! Ибо ради тебя и за то, что следовала, служила и повиновалась тебе безбожная, нераскаянная душа, будет осуждена она на вечное проклятие, в коем во веки вечные ожидает ее заместо быстротечных радостей безутешная мука, заместо обжорства ненасытный голод, заместо пышности и великолепия непроглядная темнота, заместо триумфа и возвеличения беспрестанные вопли, плач и стенание, пекло без прохлады, огнь неугасимый, хлад безмерный и печаль бесконечная.

Спаси тебя бог, о мир! Ибо заместо обетованных тобой радостей и утех наложат на нераскаянную осужденную душу свои лапы демоны и во мгновение ока увлекут в преисподнюю; там не узрит и не услышит она ничего иного, как токмо ужасающие облики дьяволов и осужденных, тьму кромешную и чад, огнь без отблеска, крики, вой, скрежет зубовный и богохульство. С того часу минет всякая надежда на прощение и милость, и никто не воззрит на земную честь и достоинство; чем выше кто поднялся, чем тяжелее его грехи, тем глубже будет он низвергнут и тем жесточе будет его мука. Кому много дано, с того много и спросится,

и кто больше возвеличился в тебе, о скаредный презренный мир, тому больше будет отпущено пыток и мучений; ибо того требует божественная справедливость.

Спаси тебя бог, о мир! Ибо хотя тело и будет некоторое время лежать и гнить в тебе, однако ж в день Страшного суда оно восстанет и по речению последнего приговора соединится с душою в вечном адском пламени. И тогда воскликнет бедная душа: «Будь проклят ты, мир! Ибо по твоему соблазну забыла я бога и самою себя и предала все дни жизни своей твоим роскошествам, злобе, греху и сраму! Проклят будь тот час, в который бог сотворил меня! Проклят будь тот день, в который я родилась в тебе, о скаредный мир! О вы, горы, холмы и скалы, падите на меня и сокройте меня от жестокого гнева Агнца, от лица того, кто восседает на троне судии! О горе и паки горе вовек!»

О мир! Полный скверны мир! Того ради я заклинаю тебя, я умоляю тебя, я увещеваю тебя, я протестую против тебя, чтобы ты ни в чем не был ко мне причастен. И, напротив, я не возлагаю более надежды на тебя, ибо тебе ведомо, что я принял твердое намерение, а именно: «Posui finem curis, spes et fortuna, valete!» [1]

Все сии слова я взял в рассуждение с великим прилежанием и, неотступно размышляя, преклонил себя к тому, что покинул мир и снова стал отшельником. Я бы с большею охотою поселился в глуши у моего источника, но мужики по соседству не захотели того допустить, хотя для меня то была бы отрадная пустыня. Они боялись, что я объявлю об этом источнике и тем склоню власти по случаю заключенного мира понудить их проложить туда дороги и тропы; того ради отправился я в другую дикую местность, где снова повел жизнь, как в Шпессерте; но, пребуду ли я там, как мой блаженной памяти родитель, до конца дней своих, покажет время. Бог да ниспошлет всем нам свою милость и уготовит нам то, к чему нам всем более всего стремиться должно, а именно, блаженный

КОНЕЦ

---

[1] «Я положил конец заботам; надежда и счастье, прощайте!» *(лат.)*

НОВОРАСПОЛОЖЕННОГО И МНОГАЖДЫ
ИСПРАВЛЕННОГО,
ЗАНОВО ПЕРЕЛИТОГО

ЗАТЕЙЛИВОГО СИМПЛИЦИССИМУСА

ПРОДОЛЖЕНИЕ И КОНЕЦ, ИЛИ ШЕСТАЯ КНИГА

РАЧЕНИЕМ

ГЕРМАНА ШЛЕЙФХЕЙМА
ФОН ЗУЛЬСФОРТА

МОМПЕЛЬГАРТ
У ИОГАННА ФИЛЛИОНА, 1671

О ты, непостоянство! Пременчивы дела!
Себя в покое мнишь ты, летишь же, как стрела,
Обманчивый покой ввергает в заблужденье.
О, суета сует, о, скорое паденье!
Познал вещей я тленность и смерти произвол
И на себе самом я сей опыт произвел!
А посему и в книге твержу я неустанно,
Одно непостоянство на свете постоянно.

1-я гл. Симплиций рассказ начинает вступленьем
О том, как живал он чужим иждивеньем.

2-я гл. Симплициус зрит, как Люцифер ярится,
С миром в Европе не хочет примириться.

3-я гл. Симплициус зрит в преисподней парад,
Грехов и пороков пред ним маскарад.

4-я гл. Симплициус слышит в сонном мечтанье
Скряги и Роскоши пререканье.

5-я гл. Симплициус видит двух юношей в гавани,
Оба пустились в опасное плаванье.

6-я гл. Симплиций с Юлием в путь снарядился,
Авар от сего весьма поживился.

7-я гл. Симплиций видит: ворует Авар,
А Юлия долг не кидает в жар.

8-я гл. Симплиций взирает, полон боязни,
Как совершают две страшные казни.

9-я гл. Симплициус дискурс ведет с Бальдандерсом,
С коим в лесу он долго валандался.

10-я гл. Симплиций в пустыне замыслил спроста
Направить стопы во святые места.

11-я гл. Симплиций в месте укромном над дыркой
Беседу ведет с шершавой Подтиркой.

12-я гл. Симплиций внимает продолжению повести,
Поступает с Подтиркою по чистой совести.

13-я гл. Симплициус бюргеру пишет цидулю,
Дабы берегла его вечно от пули.

14-я гл. Симплиций наплел простакам небылицы
О странах диковинных, рыбах и птицах.

15-я гл. Симплициус в замке, где призраки бродят,
Со страху душа его в пятки уходит.

16-я гл. Симплиций из замка выходит на волю,
Зашиты дукаты в новом камзоле.

17-я гл. Симплиций в одежде худой пилигрима
Решает добраться до Иерусалима.

18-я гл. Симплиция водят на цепи по майданам,
Набивают бродяги себе карманы.

19-я гл. Симплициус после кораблекрушения
Обретает камрада себе в утешение.

20-я гл. Симплиций и плотник находят стряпуху,
Подпадают искушению злого духа.

21-я гл. Симплиций и плотник ставят крест,
Который виден далеко окрест.

22-я гл. Симплиций на острове один пребывает,
А друга своего во гроб полагает.

23-я гл. Симплиций кончает другим в назидание
На пальмовых листьях рукописание.

24-я гл. Ян Корнелиссен — голландский капитан
Обрел Симплициссимуса среди диких стран.

25-я гл. Симплиций в неложном страхе и тревоге
Укрылся от матросов в каменной берлоге.

26-я гл. Симплиций и капитан уговор учинили,
Безумным матросам разум воротили.

27-я гл. Симплиций с голландцами простился сердечно,
А сам на острове остался навечно.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплиций рассказ начинает вступленьем
О том, как живал он чужим иждивеньем.

Ежели кто возомнит, что я поведал свою историю только затем, чтобы себе и другим скоротать время или посмешить людей, как то в обычае у лукавых шутов и балагуров, тот весьма ошибается! Ибо когда подымется много смеху, то мне самому тошнехонько, а кто понапрасну упускает благородное невозвратное время, тот расточает без пользы дар божий, ниспосланный нам, дабы мы памятовали и пеклись о нашем душевном спасении. Чего же ради стал бы я споспешествовать такому суетному дурачеству и безо всякой причины понапрасну докучать людям такою потехою? Словно я не знаю, что таким образом делаю я себя сопричастным чужому греху? Любезный читатель, я отважился посвятить себя подобной профессии, дабы хоть немного соделать добро; того ради кто пожелает обзавестись шутом, то пусть приобретет двоих; они и подымут его на смех. А ежели я порой и подпущу какую смешинку, то единственно ради тех неженок, что могут не проглотить целительные пилюли, ежели они сперва не позлащены и не подслащены, не говоря уже о тех высокопочтенных мужах, кои, когда им доведется читать пресерьезное сочинение, скорее выронят из рук книгу, как только им подвернется такая, что иногда побудит их немного посмеяться. А может быть, начнут обвинять меня, что я чересчур ударяюсь в сатиру; но мне вовсе нельзя поставить сие в упрек, ибо многие предпочитают, чтобы всеобщие пороки обличались и казнились генерально, вместо того чтобы кого-либо дружески укоряли в собственных прегрешениях. И такой теологический штиль у господина Аминя (коему я однажды поведал свою историю) в нынешнее время, к сожалению, также не больно-то в чести, чтобы я мог к нему прибегнуть. Сие с легкостию заключить можно,

глядючи на ярмарочных лекарей или шарлатанов (кои сами себя именуют знатными врачами, окулистами, грыже- и камнесечцами, а также имеют о том добрые пергаминные грамоты с привешенными к ним печатями), когда кто-нибудь из них выходит на ярмарочные подмостки вместе с Гансвурстом или Гансом Супом и с первого же выкрика и диковинных прыжков и ужимок своего шута собирает вокруг себя куда больше зевак и слушателей, нежели прилежный пастырь духовный, который со звоном во все колокола трижды созывает вверенных его попечению овечек, дабы прочитать им плодоносную целительную проповедь.

Как бы там ни было, я объявляю перед всем светом, что не почту себя виновным, ежели кто посетует, что я вырядил Симплициссимуса по той моде, которую люди сами требуют, когда хотят наставить чему-нибудь полезному. А коли они тешат себя скорлупкой и пренебрегают скрытым в ней орешком, то хотя и останутся довольны сею повестью, как весьма забавной, однако ж далеко не уразумеют того, что я, собственно, хотел им преподать: засим зри снова слова, коими я довольствовался в конце пятой книги.

Там любезный читатель узнает, что я снова сделался отшельником, а также по какой причине сие произошло; того ради приличествует мне поведать, какую жизнь повел я с того часу. Первые месяцы, покуда было еще тепло, все шло весьма хорошо: жажду плотских утех или, лучше сказать, грехов, коим я прежде усердно предавался, смирял я поначалу без особого труда, ибо с тех пор как я отрекся от служения Бахусу и Церере, то и прекрасная Венус не захотела меня больше посещать. Однако ж таким путем я не достиг совершенства, ибо то и дело претерпевал многоразличные искушения, и когда я, дабы побудить себя к раскаянию, помышлял о своих прежних распутных похождениях, то разом приходили мне на память все утехи, коими я повсюду ублажал себя, что не всегда споспешествовало моему здравию и духовному совершенствованию. Но как я с того времени поразмыслил и рассудил о сем предмете, то праздность, злейший мой враг, и свобода (ибо надо мною не стоял ни один священнослужитель, который пекся бы обо мне и надзирал за мною) были причиною того, что я не всегда твердо стоял на избранной мною стезе. Я поселился на высокой горе, прозванной Моховая голова, что возвышается в Шварцвальде посреди темного елового леса, так что передо мною на востоке открывался прекрасный вид на лощину Оппенау и ее окрестности, на юге Кинцигская долина и графство Герольдсек, где посреди двух соседних гор стоял высокий замок, словно король на кегельбане, на западе я мог видеть верхний и нижний Эльзас, на севере тянулось вниз по Рейну маркграфство Нижний Баден и в той же стороне горделиво подымался город Страсбург с его высокой соборной башней, словно

сердце, заключенное в плоть. Созерцая и наблюдая столь прекрасные местности, я более увеселял себя, нежели усердно молился: к сему меня изрядно приохотила моя першпективная трубка, с коей я не расстался. А когда я по причине темной ночи не мог ею пользоваться, то брал инструмент, который я изобрел для усиления слуха, и прислушивался к тому, как за несколько часов пути от меня брешут деревенские собаки или пробегает дичь поблизости от моего жилья. В таких дурачествах провождал я свое время, но не находил его для трудов и молитвы, чем поддерживали свою плоть и свой дух древние египетские отшельники. Поначалу, когда я был в тех местах еще внове, бродил я от дома к дому в ближних долинах и снискивал себе пропитание милостынью, однако ж не брал ничего сверх того, в чем у меня была нужда, особливо же презирал я деньги, что все окрестные соседи почитали превеликим чудом и как бы своего рода апостольскою святостью. Но как только узнали, где я живу, то кто бы ни отправлялся в лес за своим делом, всегда приносил мне что-нибудь съестное. Они прославляли повсюду мою святость и беспримерную отшельническую жизнь, так что даже люди из более отдаленных местностей, то ли из любопытства, то ли из благочестия, с немалым трудом пробирались ко мне со своими подношениями. Так что у меня не только не было недостатка в хлебе, масле, соли, сыре, сале, яйцах и других подобных припасах, а скорее изобилие, от чего я не становился благочестивее, а напротив, чем далее, тем нерадивее, леностнее и хуже, так что меня уже почти можно было назвать лицемером или продувным святошей. Однако ж я не перестал мысленно рассуждать о пороках и добродетелях и помышлять о том, что мне надлежит делать, ежели я хочу попасть на небо. Но все шло у меня безо всякого толку и надежного совета и также твердого намерения приложить к сему всю серьезность, какую требовало мое исправление.

ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплициус зрит, как Люцифер ярится,
С миром в Европе не хочет примириться.

Мы читаем в книгах, что в давние времена в установленных богом различных христианских церквах мортификация, сиречь умерщвление плоти, преимущественно состояло в молитве, посте и бдении; но как я в первых сих упражнениях был мало прилежен, то и дозволял одолевать себя сладостному дурману сна, когда только мне не вздумается сию вину (которую мы разделяем со всеми тварями) приписать самой натуре. Однажды предавался я ле-

ности в тени под елью и прислушивался к бесполезным моим мыслям, вопрошая, какой грех больше и горше — скупость или расточительство? Я сказал: «Бесполезным моим мыслям» — и повторю еще раз! Ибо, любезный читатель, чего ради надобно было мне печалиться о расточительстве, когда мне нечего было расточать? И какое мне было дело до скупости, когда мое состояние, кое я сам избрал себе добровольно, требовало от меня, чтобы я провождал свою жизнь в бедности и скудости? Но, о, безумие, тогда я так сильно хотел этого дознаться, что уже не мог больше отделаться от сих мыслей, так что посреди них задремал. Чем кто занят, когда он бодрствует, о том он обычно и грезит, и сие как раз и приключилось тогда со мною; едва я смежил очи, как привиделось мне в темной ужасающей пропасти адское полчище во главе с князем тьмы Люцифером, кой хотя и восседал на судейском своем троне, однако ж был окован цепью, дабы не мог оказать над миром свое бешенство; множество адских духов, коими он был окружен, ублажали его адское могущество усердным своим служением. Когда я наблюдал сию придворную челядь, то внезапно по воздуху пролетел скорый гонец, который опустился перед Люцифером и возвестил: «О великий князь! Заключение немецкого мира принесло покой почти всей Европе. Повсеместно возносится к небу «Gloria in excelsis» [1] и «Te Deum laudamus» [2], и всяк, благоденствуя среди виноградных лоз и смоковниц, тщится служить богу».

Когда Люцифер услышал сию ведомость, то сперва повергся в столь жестокий страх, кой можно было поравнять только с его злобою к благополучию рода человеческого, когда же он малость опамятовался и рассудил про себя, какие протори и убытки понесет по всем статьям его адское царство, то пришел в ужасающее неистовство; он скрежетал зубами с такою свирепостью, что все вокруг сотрясалось от страха, а глаза его от ярости и гнева сверкали так люто, что из них, подобно молнии, вырывалось серное пламя и наполняло все адское его обиталище; что поверглись в трепет не токмо бедные осужденные человеческие души и ничтожные адские чины, но и самые знатные князья ада и тайные его советники. Наконец, выставив рога, стал он бросаться на адские скалы, так что содрогалась вся преисподняя, и так бушевал и ярился, что приближенные не могли вообразить ничего иного, как то, что он совсем обеспамятствовал и вздурился, ибо долгое время никто из них не отваживался к нему подступиться и еще того менее прекословить ему хотя бы единым словом.

Наконец Белиал так осмелел, что изрек: «Могущественный

---

[1] «Слава в вышних богу» *(лат.)*.
[2] «Тебя, бога, хвалим» *(лат.)*.

князь! Что означают сии мины вашего бесподобного величества? Что такое? Или великий государь запамятовал самого себя? Что означают сии необычные ухватки, кои не доставят вашему адскому величеству ни пользы, ни славы?» — «Ахти мне! — воскликнул Люцифер.— Ахти мне, мы тут все проспали и по собственной нашей лености допустили, что lerna malorum [1] — любезный наш злак, кой мы, заполнив им Европу, взрастили со столь великими трудами и усердием, всякий раз пожиная сторицею обильную жатву, отныне исторгнут из немецких пределов, и коли мы ничего не предпримем, то надобно опасаться, что будет извержен также изо всей Европы! И среди вас всех не нашлось ни одного, кто бы доподлинно о том сокрушался! Не позор ли вам всем, что те немногие дни, что еще остались до конца света, мы расточаем с таким беспутством? Эх! Вы сонные обезьяны, разве вам неведомо, что в сии последние времена надлежит нам собрать богатейшую жатву? Какая мне будет честь перед самым концом света, ежели мы, как загнанные псы, устанем от охоты и станем ни к чему годны! Начало и течение войны, правда, были нам желанным лакомым куском; но на что нам теперь возложить надежды, когда Марс, за коим следует по пятам lerna malorum, отступил в Европе до польской границы?»

Когда Люцифер скорее выпалил, чем выговорил сие мнение, то хотел снова предаться прежнему бешенству; однако ж Белиал удержал его от этого такими речами: «Надобно нам не терять твердости духа и не поступать, подобно слабым людям, когда им навстречу подует противный ветер. Разве ты не знаешь, о великий государь, что люди более гибнут от вина, нежели от меча? Разве для людей, и притом христиан, благостен мир, что несет на своих раменах похоть, и не более вредоносен, нежели сам Марс? Разве не довольно ведомо, что добродетели невесты христовой никогда не сияют так светло, как в годину великих бедствий?» — «Мое желание и воля,— провозгласил Люцифер,— чтобы люди как во временной сей юдоли претерпевали одни несчастья, так и по смерти были обречены на вечные муки; а не то наша мешкотность приведет к тому, что они будут наслаждаться земным благополучием, а в конце концов еще и наследуют вечное блаженство».— «Эва! — воскликнул Белиал.— Мы оба знаем, какое у меня ремесло, так что у меня редко выдавались свободные деньки, и я мотался всюду, дабы исполнить твою волю и желание, чтобы lerna malorum еще долго пребывала в Европе или ей приключились бы еще какие болячки; но твое величество должно принять в рассуждение, что я ничего не смогу добиться, если Сущий расположит иначе».

---

[1] пучина зла *(лат.)*.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Симплициус зрит в преисподней парад,
Грехов и пороков пред ним маскарад.

Дружеская беседа сих двух адских духов была столь яростной и ужасающей, что произвела суматоху во всей преисподней, понеже вскорости стеклось туда все адское воинство, дабы услышать, не надлежит ли им что-нибудь сотворить. Тогда явились первое чадо Люцифера, Гордыня со своими дочерьми, Жадность со своими детьми, Гнев вместе с Завистью и Ненавистью, Мстительностью, Недоброхотством, Клеветой и всеми прочими родичами, затем Сластолюбие со всею своею свитою, как-то: Похотью, Чревоугодием, Праздностью и прочими, item Леность, Неверность, Своеволие, Ложь, Любопытство, что набивает цену девственницам, Фальшь со своею любимой дочерью Лестью, коя заместо опахала несла лисий хвост,— так что все вместе представили странную процессию и зрелище весьма удивительное, ибо каждый был там наряжен в особливую диковинную ливрею. Одни были разряжены со всею роскошию, другие же одеты, как нищие, а третьи, как Бесстыдство и ему подобные, почти вовсе наги. Один жирен и тучен, как Бахус, другой желт, бледен и тощ, словно старая иссохшая кляча; кто казался мил и приятен, словно Венус, а у кого был такой кислый вид, как у Сатурна, иной свиреп, как Марс, а другой коварен и скрытен, как Меркурий. Кто был силен, как Геркулес, или строен и быстр, как Гиппомен, а иной хром и колченог, как Вулкан, так что, глядя на столь многоразличные диковинные обличья и наряды, можно было вообразить, что то какое-либо неистовое войско из тех, о коих поведали нам древние столько удивительных историй. И, кроме сих, помянутых выше, явилось еще множество иных, коих я не могу ни назвать, ни узнать, понеже некоторые были совсем закутаны или сокрыты под капюшонами.

К сему чудовищному сброду обратился Люцифер с укоризненною речью, в коей порицал как все скопище in genere [1], так и каждую особу в частности за нерадение и упрекал их всех в том, что из-за их мешкотности lerna malorum принуждена была отступить из Европы; он позорил Леность как негодного бастарда, что развратил его собственное стадо, и изгнал ее навеки из адского царства, повелев ей искать себе пристанища на поверхности земли.

---

[1] в общем *(лат.)*.

Засим со всею серьезностью начал он подстрекать остальных с еще большим прилежанием, нежели они до того показывали, вгнездиться к людям; и все сие — со страшными угрозами прежестокого наказания, ежели в будущем он приметит, что кто-нибудь будет исправлять свою должность, хотя бы в самой малости, не согласно с его намерениями и без должного усердия; также роздал им новые инструкции и мемориалы и тем, кто будет прилежно соблюдать оные, обещал изрядные виды на повышение.

А когда сие государственное собрание шло к концу и все адские чины собирались воротиться к своим делам, прискакал на старом драном волке старец, облаченный в рубище и весьма бледен лицом; конь и всадник казались такими оголодавшими, тощими, изнуренными и хилыми, как если бы долгое время пролежали в одной могиле или на свалке для падали. Сей принес жалобу на дородную даму, коя горделиво гарцевала перед ним на неаполитанском скакуне ценою в сотню пистолей. Ее платье и весь конский убор сверкали жемчугом и драгоценными каменьями; стремена, бляхи, все пряжки и застежки, мундштук или уздечка вместе с цепочкою были из чистого золота; копыта у лошади были подбиты не какими-то железными подковами, а наилучшим серебром, сама же она вид имела знатный, пышный и кичливый, лицо ее цвело, как роза на стебле, или, по крайности, можно было подумать, что была она под хмельком, ибо все ее телодвижения отличались отменной живостью. От нее так и разило пудрою, бальзамом, мускусом, амброй и другими благовониями, так что у всякой другой, да только не у нее, от этого перевернулась бы вся утроба. Одним словом, вся она была убрана с таким великолепием, что ее можно было бы почесть могущественною королевою, когда бы только на ней была корона, каковая ей и приличествовала, ибо она самовластно повелевала деньгами, а не деньги ею; и того ради поначалу было мне весьма удивительно, что помянутый жалкий голодранец, притащившийся верхом на волке, осмелился против нее заикнуться; однако он оказался хорохористей, чем я ожидал.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Симплициус слышит в сонном мечтанье
Скряги и Роскоши пререканье.

Ибо он протиснулся к трону самого Люцифера и сказал: «Могущественнейший князь! Почитай, на всей земле не сыщется большего мне супротивника, нежели эта негодница, которая величает

себя перед людьми Щедростию, дабы под сим лживым именем с помощью Гордыни, Сластолюбия и Чревоугодия притеснять меня и ввергнуть в презрение. Это она ставит повсюду мне палки в колеса, дабы учинить мне помешательство во всех трудах и начинаниях и разрушить все, что я с толиким тщанием и заботою воздвиг для славы и процветания твоего государства. Разве не ведомо всему адскому царству, что сами смертные нарекли меня корнем всякого зла? Но какая мне радость, или честь, или утешение от великолепного сего титула, ежели сия молодая сопливка домогается себе предпочтения? Должен ли я,— я говорю это! Я! — заслуженная в твоем совете персона и знатнейший слуга и величайший споспешествователь твоего государства и адских интересов, дожить до того, чтобы в моем возрасте уступить во всем сей негоднице, зачатой в похоти и чванстве, и признать ее преимущество? Нет, никогда! Могущественный князь! Подобает ли твоему величию или отвечает ли твоим высоким намерениям терзать род человеческий, ежели ты дозволишь сей вздурившейся моднице своими поступками нарушать мои права? Я, правда, оговорился, когда сказал нарушать права, ибо по мне все одно, что право, что бесправье; я хотел лишь сказать, что сие приводит к уничижению твоего царства, ибо мое усердие, которое я столь неутомимо прилагаю с незапамятных времен до самого нынешнего дня, награждаемое таким презрением, умаляет мой высокий престиж, почет и уважение у людей, а тем самым под конец и я сам теряю цену, исторгнутый из их сердец! Того ради повели сей юной неразумной побродяжке, чтобы она уступала мне дорогу, как старшему, и не чинила препон моим предприятиям, дозволив мне во имя твоих государственных интересов невозбранно продолжать свое дело по всей мере и форме, как то велось до сего, когда во всем свете о ней еще и не слыхивали».

По изъявлению сего мнения, предложенного Мамоном со множеством других околичностей, ответ держала Роскошь, она же Расточительность, коя выразила безмерное удивление тому, что ее дедушка осмелился с толиким бесстыдством бесчестить свой собственный род, подобно новому Ироду Аскалониту. «Он назвал меня,— возразила она,— негодницею! Сей титул хотя мне и подобает, понеже я довожусь ему внучкою, однако ж по причине моих собственных качеств не может быть мне придан. Старик попрекнул меня тем, что порою я выдаю себя за Щедрость и под такою личиною обделываю свои делишки. Вот пустопорожние бредни старого шута, который более заслуживает осмеяния, нежели мои поступки осуждения! Али не ведомо старому дурню, что среди адских духов не сыщется ни единого, кой бы иногда по насущной нужде и об-

стоятельствам дела не претворял бы себя в ангела света? Пусть мой высокопочтенный предок ухватит за нос да самого себя! Разве он сам, когда стучится к людям и просит пристанища, не именует себя Бережливостью? Надлежит ли мне его за это укорять или даже обвинять? Нет, ни в чем! И того ради не могу я быть ему ненавистна, поелику мы все принуждены пробавляться подобными фортелями и обманами, покуда не откроем себе свободный доступ к людям и неприметным образом не вотремся к ним. И хотела бы я послушать праведного благочестивого человека (ибо нам и надлежит обольщать только таких, понеже безбожные и без того не уйдут от нас), что он скажет, когда кто-нибудь из наших примчится к нему и объявит: «Аз есмь Скупость и хочу тебя спровадить в ад! Аз есмь Расточительность и хочу тебя погубить! Аз есмь Зависть, последуй за мною, и ты обретешь осуждение вечное! Аз есмь Спесь, дозволь мне у тебя поселиться, и я сотворю из тебя подобие черта, который будет отлучен от престола господня! Я тот или этот, ежели ты будешь подражать мне, то не успеешь принести покаяние, ибо тебе уже никогда не удастся избавиться от вечных мук!» Не думаешь ли ты,— обратилась она к Люциферу,— могущественный князь, что такой человек воскликнет: «Проваливай ты во имя всех святых поскорее в тартарары к твоему разлюбезному дедушке, что послал тебя, и оставь меня в покое»? Кто из вас,— сказала она, обратившись ко всем присутствующим,— не будет споважен подобным образом, ежели только осмелится объявить правду, которая и без того повсюду гонима? Должна ли я одна оставаться в дурах и таскаться с правдою, а не следовать нашему престарелому дедушке, обыкшему заарканивать ложью?

Столь же неосновательно хочет умалить меня старый Скряга, когда уверяет, что Гордыня и Сластолюбие — первые мои пособники. И хотя бы они ими были, то токмо по своей должности и для приумножения адского царства. Но удивительнее всего, что он не доброхотствует мне в том, без чего он сам обойтись не может. Разве не свидетельствуют адские протоколы, что сии оба закрадывались в сердце не одному простофиле, дабы проложить дорожку Скупости, прежде чем он, Скряга, успел помыслить или отважиться подступиться к такому бедняге? Стоит только перелистать сии протоколы, как тотчас же обнаружится, что тем, кого совратит Скупость, следует подпустить Спеси, ибо им потребно имение, чтобы было чем чваниться, или вперить Сластолюбие так, чтобы было им надобно кое-что скопить прежде, чем они заживут в роскоши и удовольствиях. Так чего ж ради разлюбезный мой дедушка не хочет дозволить, чтобы они пособляли и мне, когда сослужили ему столь изрядную службу? А что касается до Чревоугодия и Пьянст-

ва, то я не виновна, что жадина Мамон держит подданных своих в черном теле и живется им не так привольно, как моим. Я, правда, мирволю им, ибо таково мое ремесло, и также не прекословлю им, когда они кутят без ущерба для своего кошелька. Однако ж я не скажу, что он чинит какое-либо непотребство, понеже в нашем государстве издавна повелось, что всякий гражданин подает другому руку и мы все вместе образуем цепь. Касательно же титула моего предка, что он ныне и присно и во веки веков должен именоваться корнем всякого зла и что я своим поведением тщусь его умалить или даже быть ему предпочтенной, то на сие отвечу, что я нимало не завидую подобающей и вполне заслуженной им чести, в коей ему не отказывают даже сыны человеческие, и вовсе не стремлюсь оную у него похитить; однако среди всех адских духов не сыщется ни один, который упрекнул бы меня, когда я стараюсь, положась на собственные свои способности, превзойти или, по крайней мере, сравняться со своим дедушкой, что скорее к его чести, нежели сраму, ибо я признаю, что веду от него свой род. Правда, тут он внес сумятицу касательно моего происхождения, ибо стал меня стыдиться; меж тем как я вовсе не дщерь Похоти, как он объявил, а его собственного сына Избытка, который произвел меня на свет от Гордыни, старшей дочери нашего могущественного князя, как раз в то же время, когда и Похоть от Глупости. А посему я по своему роду и происхождению столь же знатна, как и сам Мамон, а к тому же полагаю, что по моим качествам (хотя я кажусь и не столь умна) способна принести такую же и даже бóльшую пользу, нежели старый хрыч, так что не только ни в чем ему не уступлю, но еще обскачу его; также уповаю, что великий князь и все адское воинство одобрят мои поступки и заставят старого Скрягу все взведенные им на меня поносные слова и напраслины взять обратно и впредь не чинить помешательства в моих делах, а оказывать мне всяческую честь и уважение как знатнейшей особе адского царства».

«Кому не горестно,— воскликнул Мамон, восседавший на волке,— породить столь строптивых детей, которые совсем от рук отбились? И я еще должен нишкнуть да помалкивать, когда эта потаскуха не токмо во всем чинит мне наперекор, но таковым ослушанием бесчестит мою старость и тщится надо мною возвыситься?» — «О, старость! — возразила Расточительность.— Нередко случалось и отцу производить на свет детей, которые лучше его!» — «Но чаще всего,— ответствовал Мамон,— родители печалуются на детей незадачливых».

«К чему вся эта перебранка? — сказал Люцифер.— Пусть каждый объявит, какая от него перед другими польза для нашего царства; тут мы и рассудим, кого надлежит предпочесть.

И для такого приговора важна суть, а не старость или младость, пол или еще что; ибо тот, кто больше всего учинит супротивного Вечному и напакостит роду людскому, тот, по нашему старому обыкновению и порядку, и будет самой важной кошкой в лукошке».

«Поелику, великий князь, дозволено мне,— сказал Мамон,— изъявить свои качества и многообразные заслуги перед адским государством и, коли мне удастся, изложить все счастливо и с достодолжной обстоятельностью и меня прилежно выслушают, то не сомневаюсь, что не только все адское царство признает мое превосходство перед Роскошью, но и вновь дарует и пожалует мне честь и место древнего Плутона, под чьим именем я тут почитался высшим начальником, каковой чин мне справедливо подобает получить. Я вовсе не хочу похваляться тем, что род людской прозвал меня корнем всех зол, сиречь причиной, трясиной и паутиной всяческой скверны, коя пагубна и вредоносна для души и тела, а для нашего адского царства, напротив того, весьма полезна, ибо то общеизвестные вещи, о коих знают даже малые дети; не хочу я также чваниться тем, что даже те, кто предан всем сердцем великому Сущему, каждодневно восхваляют и прославляют меня, как прокисшее пиво, чтобы возбудить в людях отвращение ко мне, хотя то немалая для меня честь, когда объявится, что я, невзирая на подобные присносущие гонения, сумел подбиться к людям и так утвердиться в их сердцах, что меня оттуда никаким ветром не выдуешь. Разве не приносит мне довольно чести уже одно то, что я покоряю тех, кого сам Сущий увещевал и предостерегал, что нельзя одновременно служить ему и мне и что слово его сгинет у меня, как доброе семя среди плевел? Однако ж о сем я лучше помолчу, ибо то старая штука, о чем уже говорено и давно ведомо. Но вот чем хочу я похвалиться, что из всех духов и подданных нашего адского царства никто лучше меня не производит в дело намерений нашего адского величества; ибо сей не желает и не требует ничего иного, а только того, чтобы род людской не ведал покоя, довольства и мира в сей временной жизни, а также не унаследовал и не вкусил бы вечного блаженства.

Воззрите и подивитесь, как начинают мучать сами себя те, к коим я обрету доступ; в каком непрестанном страхе находятся те, кто допустил меня поселиться в своем сердце; понаблюдайте хоть малость пути всех тех, кого я полонил и кем завладел вовсе. Засим скажите мне, сыщется на земле хоть единая более жалкая гварь или довелось ли когда-либо единому адскому духу одолеть или совратить сильнейшего или более стойкого мученика, нежели тот, кого я затаскиваю в наше царство? Я беспрестанно лишаю его

сна, коего требует от него собственная его природа; и когда он бывает принужден отдать сей долг натуре, то терзаю и дразню его беспокойными и тягостными грезами, так что он не находит себе покоя и грешит во сне куда более, нежели иной наяву. В кушанье и питье, а также во всем том, что приятно ублажает тело, я так урезываю богачей, что они довольствуются меньшим, чем иные неимущие. И когда я в угоду Гордыне не зажмуриваю один глаз, то они одеваются беднее самого жалкого нищего. Я не дозволяю им вкусить ни единой радости или удовольствия, обрести мир и покой, одним словом, ничего, что можно назвать добром и что послужит к благополучию их тела, не говоря уже о душе, так что даже лишаю их тех чувственных утех, к коим привержены другие дети человеческие и чрез то низвергаются к нам в преисподнюю. Плотские утехи, к коим стремится по самой натуре все, что копошится на земле, я отравляю им горечью, сочетая цветущих юношей со старыми, отжившими потаскухами и, напротив, наикрасивейших девиц с седыми ревнивыми рогоносцами и тем лишая их радостей. Их наибольшая утеха терзать себя в заботах и опасениях, их наивысшее удовлетворение, когда им удастся после жизни, полной трудов и усилий, наскрести немного червонной пыли, кою они, однако ж, не могут унести с собою, чтобы умилостивить ад.

Я не допускаю их до праведной молитвы, еще менее того до дел искреннего милосердия; и хотя они часто постятся или, лучше сказать, претерпевают голод, то происходит сие не из благочестия, а мне в угоду, чтобы что-нибудь скопить. Я ввергаю в опасность их жизнь и здравие не только на кораблях в море, но и тащу их в самую пучину, и они принуждены копаться в глубочайших недрах земли, и когда можно было бы что выловить в воздухе, то они у меня научились бы и этой ловле. Я уже не буду говорить о войнах, на которые я их подстрекаю, ни о бедствиях, отсюда происходящих, ибо обо всем этом известно всему свету; не буду и перечислять, сколько ростовщиков, мошенников, воров, разбойников и убийц я породил, понеже я в особливую ставлю себе заслугу, что все, кто мне предается, принуждены влачить жизнь, полную горестных забот, страха, нужды, трудов и тягот; и подобно тому как жестоко истязаю я их тела, так что не требуется никакого иного палача, я так терзаю их в собственной их душе, что не надобно никакого иного злого духа, дабы они предвкусили адские муки, не говоря уже о решпекте, который они к нам восчувствуют. Я застращиваю богатых, томлю бедных, я ослепляю Юстицию, я прогоняю христианскую любовь, без коей никто не спасется, и при мне умолкает милосердие».

ПЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций видит двух юношей в гавани,
Оба пустились в опасное плавание.

Меж тем как Скряга болтал без умолку, выхваляя себя и домогаясь, чтобы его предпочли Расточительности, прилетел туда адский дух, который иссох, сгорбился, раскорячился и едва держался на ногах от дряхлости; он пыхтел, словно медведь, который только что поймал зайца, чего ради все присутствующие навострили уши, дабы услышать, какую такую принес он новость или словил дичь; ибо среди прочих адских духов слыл он особливым ловчилою. Но, рассмотрев его хорошенько, приметили, что то было *Ничто*, а тут еще и *Когда-б-не-то*, которое и учинило первому помешательство в его намерениях; ибо когда ему велено было объявить реляцию, то тут обнаружилось, что он понапрасну подстерегал Юлия, дворянина из Англии, и его слугу Авара (которые отправились в путешествие во Францию), дабы накрыть их обоих или, по крайности, хоть одного; однако ж не смог он совратить первого из них по причине его благородного нрава и добродетельного воспитания, а второго из-за его благочестивого простодушия; того ради просил Люцифера назначить ему подмогу.

Как раз в то самое время, когда Мамон, по-видимому, собирался закончить свою речь, а Расточительность приступить к дискурсу, Люцифер изрек: «Не надобно расточать столько слов; ма́стера хвалит дело. Каждому из супротивников наказываю взять на себя по англичанину, дабы со всей хитростию и ловкостию его беспрестанно искушать, иссушать, распалять и подстрекать до тех пор, покуда тот или другой из вас его опутает и завлечет в свои сети и спровадит в наше царство; и тот, кто своего подопечного самым надежным и добросовестным образом сюда доставит или приволокет, тот и должен получить приз и преимущество перед другим». Сей приговор был одобрен всеми адскими духами, и оба спорщика по совету Гордыни полюбовно согласились на том, что Мамон приберет к рукам Авара, а Расточительность Юлия с непременным условием и обязательством, что ни та, ни другая сторона не будут чинить друг другу ни малейшего ущерба и не посмеют совращать на противоположный манер, исключая лишь того, когда сие неотменно потребуется в интересах адского царства. Тут было на что подивиться, когда все остальные пороки стали желать сим обоим удачи и предлагать свое сообщество, помощь и услуги. С тем и разошлось все адское сборище, после чего поднялся столь страшный ураган, который во мгновение ока подхватил меня вме-

сте с Расточительностью и Мамоном и всеми их прихвостнями и пособниками в пролив между Англией и Францией и опустил на тот самый корабль, на коем переправились оба англичанина и как раз собирались сойти на берег.

Гордыня прямехонько пошла к Юлию и сказала: «Отважный кавалер! Я госпожа Репутация; и понеже вы теперь вступили в чужую страну, то было бы недурно, ежели бы вы взяли меня своею гофмейстериною. Вы можете своею особливою элегантностию вперить тутошним жителям, что вы не какой-нибудь захудалый дворянин, а происходите из древнего королевского рода, а когда не так, то все же вам приличествует к чести вашей нации показать французикам, каких бравых мужей взрастила Англия».

После сих слов Юлий приказал Авару, своему слуге, расплатиться с владельцем корабля за фрахт золотыми монетами, хотя и грубой чеканки, но все же весьма приятными и взрачными с виду, вследствие чего корабельщик отвесил Юлию нижайший поклон и несколько раз кряду назвал его милостивым государем. Сие Гордыня тотчас же обратила себе на пользу и сказала Авару: «Гляди, как чтят того, у кого водятся такие рыжики!» А Мамон прибавил: «Завелось бы золотце у молодца, так тебе не пристало бы швырять его, как твой господин; куда лучше сотворить запасец, а излишек пустить в известный интерес, чтобы со временем им попользоваться, а не столь бесполезно проматывать во время путешествия, которое и без того полно толиких трудов, забот и опасностей».

Как только оба юноши сошли на берег, а уж Гордыня доверительно уведомила Расточительность, что она не токмо получила доступ к Юлию, но утвердилась в его сердце, едва лишь постучалась к нему, присовокупив напоминовение, что может позаботиться о том, чтоб приобрести и других ассистентов, дабы тем верней и надежней осуществить свое намерение; она, правда, хотела бы всегда быть у нее под рукою, однако ж должна оказывать столь же немалые услуги и ее супротивнику Скряге, какие ожидает от нее и Расточительность.

Мой благосклонный и высокочтимый читатель, когда б должен был я поведать какую-либо историю, то потщился бы изложить ее покороче и не пустился бы в такие околичности. Должен признаться, что собственное мое любопытство неукоснительно требует от всякого пишущего историю, чтобы он своими сочинениями никому долго не докучал; однако ж то, что я предлагаю сейчас, это Видение или Сон и, следовательно, нечто совсем иное. Я не осмеливаюсь тут слишком торопиться, а должен привести и некоторые незначительные частности и обстоятельства, дабы я мог более со-

вершенно изложить все то, что я вознамерился сообщить здешним людям, что все должно послужить не чем иным, как примером, как из ничтожной искры мало-помалу разгорается большое пламя, когда пренебрегают осторожностью, ибо подобно тому как редко кто сразу достигает высшей степени святости, точно так же никто внезапно или, так сказать, во мгновение ока не превращается из благонравного в плута, а исподволь, помаленьку да полегоньку, со ступеньки да на ступеньку, каковые все суть ступени погибели, что в сем моем Видении по справедливости надлежит не оставлять без внимания, дабы каждый мог своевременно поостеречься, на каковой конец я все описываю, понеже с сими двумя юношами обстояло, как с молодою дичью, которая завидит охотника и поначалу не разумеет, надлежит ли ей пуститься в бегство или стоять на месте, а то и падает, сраженная стрелком, прежде чем его распознает. Правда, они попали в сети скорее, нежели то обычно случается, но тому было причиной, что у каждого был заложен сухой трут, который тотчас же воспламенился от искр того и другого порока. Ибо, как молодая скотина, отощавшая за зиму, когда по весне ее выпустят из опостылевшего хлева на привольное пастбище, начинает скакать и взбрыкивать, так что на свою погибель даже может застрять в плетне или какой расселине, так же ведет себя и безрассудная юность, когда выйдет из-под лозы отеческого попечения и, удалившись от глаз родительских, обретает себе долгожданную свободу, обычно не обладая должным опытом и предусмотрительностью.

Все вышереченное Гордыня насказала Расточительности вовсе не от скуки, а сама тотчас же обратилась к Авару, возле коего уже вертелись Зависть и Недоброжелательность, каковых камрадов наслал Скряга, дабы они приуготовили ему путь; того ради она и направила к сему свой дискурс и принялась втолковывать Авару: «Послушай-ка, Авар! Разве ты не такой же человек, как и твой господин? Разве ты не такой же англичанин, как Юлий? Так отчего же это одного величают милостивый государь, а другого зовут его слугою? Разве вас обоих не родила и не произвела на свет Англия, и притом совершенно одинаких? По какой такой причине здесь, в стране чужой и ему и тебе, его принимают как милостивого господина, а с тобой обходятся, как с рабом? Разве вы оба, как один, так и другой, не переплыли море? Разве он так же, как и ты, вы оба, не должны были утонуть вместе со всеми людьми, если корабль потерпел бы крушение? Или же он, будучи дворянином, подобно некоему дельфину, уплыл бы под волнами и укрылся от бури в надежную гавань? Или, может быть, он взвился бы орлом в облака (где сокрыто начало и ужасная причина вашего кораблекрушения) и так спас бы себя от погибели? Нет, Авар!

Юлий такой же смертный, как ты, а ты такой же человек, как он! Чего же ради он так предпочтен тебе?» Тут Гордыню перебил Мамон и сказал: «Разве это дело подстрекать к полету того, у кого еще не подросли крылья, словно никому не ведомо, что вся сила Юлия в деньгах? Деньги, деньги сотворили его тем, кем он стал, и более ничто, говорю я, ничто, кроме того, что сделают из него деньги. Повремени малость, дружок, и давай поглядим, не удастся ли мне с помощью Прилежания и Послушания доставить Авару столько же денег, сколько промотает Юлий, и тем самым сделать его таким же щеголем, как сам Юлий».

В таком облике предстало перед Аваром первое Искушение, к коему он не только преклонил слух свой, но и положил намерение ему последовать; также и Юлий не преминул со всем усердием прилепиться к тому, что вперила в него Гордыня.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

Симплиций с Юлием в путь снарядился,
Авар от сего весьма поживился.

Милостивый государь, то бишь господин Юлий, переночевал в том же местечке, где мы высадились, и пробыл там следующий день и ночь, чтобы отдохнуть и получить деньги по векселю, а также приготовиться к поездке через Испанские Нидерланды в Голландию, каковые Соединенные Провинции он желал не только осмотреть, но и исправить там кое-какие дела, наказанные ему его родителем. Для сего нанял он диковинную карету, правда, только для себя и слуги своего Авара, однако ж Гордыня и Расточительность, а также Скряга и все их прихвостни не пожелали от них отставать и расселись, кто как сумел: Гордыня на крышу, Расточительность рядом с Юлием, Скряга заполз в сердце Авара, а я примостился на запятках, ибо там не случилось Смирения, чтобы занять это место.

Также и мне посчастливилось осмотреть во сне множество красивых городов, сколько наяву едва ли доведется посетить или увидеть. Путешествие шло гладко, и хотя встречались опасные затруднения, однако ж тугой кошель Юлия все их преодолевал, ибо он не стоял ни за какими деньгами и повсегда получал за них (понеже мы принуждены были проезжать через различные враждующие гарнизоны) необходимый конвой и дорожные пашпорта. Я не особенно обращал внимания на то, что в тех странах было достопримечательного, а прилежно наблюдал за тем, как сказанные пороки час от часу все более завладевали обоими юношами и

они им чем дольше, тем более предавались. Тут видел я, как Юлий также подпал соблазну Любопытства и Нецеломудрия (каковое почитается таким грехом, коим карается Тщеславие) и был ими полон, вследствие чего мы частенько заживались в таких местах, где обитали зазорные девки, и тратили денег куда более, чем то было надобно. А тем временем Авар лез из кожи вон, чтобы наскрести деньжат, сколько мог; он не только обжуливал своего господина, но и трактирщиков и гостинников, где ему удавалось; порой становился ловким сводником и не брезгал то здесь, то там обворовывать наших хозяев, даже если ему доводилось подцепить хотя бы серебряную ложку. Таким-то образом проехали мы Фландрию, Брабант, Геннегау, Голландию, Зееландию, Зут, Гельдерн, Мехельн и прибыли на французскую границу, а наконец и в Париж, где Юлий нашел себе роскошные и удобнейшие апартаменты, какие только мог заполучить. Авара разодел он, как дворянчика, да и звал его юнкером, дабы всяк его самого тем выше ставил и полагал, что он немаловажная особа, ибо ему прислуживает благородный, который его величает «милостивый государь», по какой причине его почитали за графа. Он тотчас нанял себе лютенщика, фехтовальщика, танцмейстера, берейтора и мастера в игре в мяч скорее для того, чтобы покрасоваться, нежели затем, чтобы перенять их искусство и умение. Все это были прожженные плуты, которые слыли искусными мастерами обчищать подобных залетных гостей; они скоро свели его с пригожими бабенками, ибо подобные знакомства не обходятся без мотовства, а также втерли в различные компании, где умели порастрясти денежки, а ему одному приходилось развязывать кошелек. Ибо Расточительность призвала на помощь Сластолюбие со всею свитою, дабы они сразились с ним и совсем доконали его.

Правда, поначалу он довольствовался только комедиями и балетом, игрой в мяч, метанием копья и другими подобными дозволенными и честными упражнениями, к коим давно приобык и сам в них участвовал; но когда он огляделся и стал известен, то пустился в такие места, где стал просаживать денежки в кости да карты, пока наконец не взворошил все знатнейшие бордели. А в его апартаментах повелось, как при дворе короля Артура, ибо он каждый день знатно угощал свору прихлебателей не репой и капустой, а дорогими французскими похлебками и гишпанскими olla potrida, ибо нередко один завтрак обходился ему в двадцать пять пистолей, особливо если присчитать к сему музыкантов, которых он обыкновенно нанимал; сверх сего немалых денег стоили ему и новые платья и моды, которые проворно следовали друг за другом, возникали и снова переменялись, каковым дурачеством он тем более красовался, что ему как чужестранному кавалеру не

возбранялись никакие наряды. Все то надлежало расшить золотом и обложить позументами, и не проходило месяца, в коем он не обряжался в новое платье, и ни одного дня, когда бы он не пудрил по нескольку раз на дню свой парик; ибо хотя природа и наделила его прекрасными кудрями, однако же Гордыня уговорила его срезать их и украсить себя чужими, понеже таков обычай; ибо, уверяла она, чудаки, которые довольствуются своими природными волосами, даже когда они красивые, все равно слывут ни к чему не годными бедняками, которые не могут выложить сотню дукатов наличными за дюжину красивых париков. Одним словом, он принужден был все устраивать и заказывать по беспрестанной инвенции Гордыни и наущению Расточительности.

И хотя Скряге, который совсем завладел Аваром, такая жизнь казалась препротивной, однако ж он дозволил, чтобы она ему, Авару, весьма полюбилась, так как он может тут немало поживиться; ибо Мамон уже склонил его предаться Неверности, ежели он хочет тут получить себе профит; по какой причине он не упускал случая, в чем только мог, обирать своего господина, который и без того попусту швырял деньгами. По крайности, он обсчитывал швеек и прачек, коим он убавлял их обычную плату, а все, что у них урвет, шло к нему в карман. Ни один счет за починку платья или чистку башмаков не казался ему слишком ничтожным, чтобы к нему ничего не прибавить, а излишек не сунуть себе в карман; не говоря уже о том, как при больших издержках он всеми правдами и неправдами, per fas et nefas [1] хватал и хапал, сколько мог и хотел. С носильщиками паланкинов, на которых его господин тратил уйму денег, улаживал он дело быстро, ежели они только выделяли ему долю из своего заработка; паштетники, кухмистеры, погребщики, дровяники, рыбники, пекари и все прочие поставщики провизии принуждены были делиться с ним своим барышом, ежели хотели сохранить Юлия своим заказчиком; ибо Авар так возжелал обладать деньгами и имуществом и через то поравняться со своим господином, как некогда сам Люцифер, когда он, возгордившись своими высокими дарованиями, полученными им от творца, покусился на всемогущего бога. И так провождали свою жизнь оба юноши безо всякого чужого подстрекательства, прежде чем познали, как они живут; ибо Юлий был столь же богат всяческими благами преходящего имения, сколь скуден Авар, и того ради каждый из них мнил, что ведет себя, как приличествует и подобает по его состоянию, я хочу сказать, как того требует его состояние и обстоятельства, когда один соразмерно своему богатству чванится роскошью и великолепием, а другой выбивается из бедности и но-

[1] правдами и неправдами *(лат.)*.

Simplex fallax Jacobita;
Nequam duplex est in vita
Schau der betrogne
Jacobs Bruder,
Der Lebens Lang gelebt
im Lüder,
Zeigt der Welt Schein u.
Heuchel Fuder

«Симплициссимус». Книга шестая, глава десятая.

ровит чем-нибудь поживиться, воспользовавшись случаем, который ему доставляет в руки его вертопрашный господин. Однако ж внутренний страж, свет разума, неумолчный свидетель, а именно совесть, не преминул меж тем каждому из них своевременно представить их ошибки и напомнить об иной участи.

«Легче! Легче! — сказано было Юлию.— Воздержись-ка без пользы расточать то, что твои предки приобрели тяжким трудом и старанием, а может быть, и потерей своего блаженства, и так верно стерегли для тебя; и так помести сие, чтобы в будущем мог ты отдать о том отчет богу, честному люду и своим потомкам и т. п.». На такое и ему подобные напоминовения или внутренний добрый глас, который призывал Юлия к умеренности, был дан ответ: «Что? Я не какой-нибудь лежебок или скаредный жид, а кавалер; надлежит ли мне благородные свои упражнения совершать во образе нищего или побродяги? Нет! Не повелось такого обычая или обыкновения! Я тут не для того, чтобы терпеть голод и жажду, и еще менее затем, чтобы торговаться, как старый скупердяй, а жить на свои доходы, как подобает истинному кавалеру!» Когда же добрые помыслы, которые он имел обыкновение именовать меланхолическими раздумьями, не умолкали от таковых возражений, а продолжали его увещевать, то приказывал наигрывать ему песенку: «Насладимся днем насущным, бог лишь знает, что нас ждет!» и т. д. или посещал женщину или какую ни на есть веселую компанию, с которой бражничал допьяна, и чем дальше, тем горше, так что под конец сделался совершенным эпикурейцем.

В свой черед, внутренний голос увещевал и Авара, что сей путь, на коем он вознамерился стяжать себе богатство, сущее вероломство, с напоминовением, что он приставлен к молодому господину не только затем, чтобы ему услужать, но дабы отвращать от него вред, споспешествовать его пользе, возбуждать к добродетели, предостерегать от постыдных пороков, особливо же со всевозможным усердием беречь и соблюдать временное его добро, кое он, напротив, сам расхищает, и к тому же еще пособляет его, Юлия, вторгнуть в пучину всяческих пороков; item разве он не понимает, что будет держать ответ перед богом, которому должен дать отчет во всех своих деяниях, перед благочестивыми родителями Юлия, вверившими ему, Авару, своего единственного сына, наказав смотреть за ним со всею верностию и, наконец, перед самим Юлием, когда он придет в совершенный возраст и рано или поздно уразумеет, что таковое потворство и неверность отвратили его от добра и безо всякой пользы расточили его богатство? «Но и сего, о Авар, еще не довольно; ибо, кроме строгого ответа, который ты будешь держать за деньги и душу Юлия, ты сквернишь себя постыдным

пороком воровства и обрекаешь на петлю и виселицу; ты поверг свою разумную, свою небесную душу в тину земного богатства, вознамерившись стяжать его самым вероломным и наинепозволительнейшим образом, тогда как язычник Кратес Фебанус бросил его в море, дабы оно не погубило его, хотя и приобрел его по праву. И ты легко можешь догадаться, сколь погибельнее будет твое, когда ты хочешь выловить его из пучины твоей неверности! Или ты и впрямь осмелился вообразить, что тебе оно пойдет впрок?»

Сии и другие подобные добрые увещевания здравого разума и совести хотя и зарождались в душе Авара, однако ж у него не было недостатка в оправданиях, дабы приукрасить свои злые поступки и отговориться. «К чему? — воскликнул он вместе с Соломоном, приводя против Юлия притчу двадцать шестую.— К чему глупцам честь, почести и добрые дни? Они не знают, как ими воспользоваться! А к тому же у него, Юлия, и без того довольно, и кто знает, каким путем приобрели себе это богатство его родители? Разве не лучше, ежели я приберу себе то, что он все равно и без меня расточит, чем дозволю разойтись по чужим рукам?»

Итак, оба юноши следовали ослепившим их страстям и утопали в пучине сластолюбия, покуда Юлий не нахватал любезных францей и недельки с четыре принужден был изнурять себя потогонным лечением, разом очищая тело и кошелек, что, однако ж, нисколько не исправило его и не послужило ему предупреждением; ибо он оправдал поговорку: хворь минуется — все позабудется.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций видит: ворует Авар,
А Юлия долг не кидает в жар.

Авар наворовал столько денег, что его пронял страх, ибо он не знал, что с ними поделать, чтобы скрыть свою неверность от Юлия; того ради измыслил такую хитрость, чтобы отвести ему глаза: он поменял часть присвоенного золота на низкопробное немецкое серебро, напихал его в большой кожаный чемодан и прибежал с ним в ночную пору в спальню своего господина с заранее придуманными лживыми речами, а сказать повежливее, с повестью о том, какая ему попалась находка. «Милостивый господин,— объяснил он,— я спотыкнулся об этот чемодан, когда некие галаны прогнали меня от дома вашей возлюбленной, и если бы не звон чеканной монеты, то я готов был бы поклясться, что я перекатился через мертвое тело». С такими словами он высыпал деньги и спро-

сил: «Какой совет подаст мне ваша милость, чтобы мне воротить эти деньги их законному владельцу? Я обнадеживаю себя, что он мне за это пожалует на знатную выпивку».— «Дурень,— ответил ему Юлий,— что взял, то и держи! А какую резолюцию ты принес мне от милой девы?» — «Сим вечером,— сказал Авар,— я не мог с нею поговорить, ибо, как сказано, принужден был с великою опасностию спасаться от ее воздыхателей и ненароком нашел эти деньги». Таким-то образом отолгался, как сумел, подобно прочим молодым неопытным ворам, у коих в обыкновении говорить, что они нашли все, что ими накрадено.

Как раз в то самое время Юлий получил от отца письмо с жестокими укоризнами, что он ведет распутную жизнь и тратит безбожно много денег; ибо английские купцы, которые выплачивали Юлию по векселю и вели корреспенденцию с его отцом, сообщили все, что узнали о поведении Юлия и Авара, за исключением того, что последний обкрадывает своего господина, а тот сего не замечает, от чего старик так закручинился, что впал в тяжкую болезнь. Он написал сказанным купцам, что впредь они не должны давать его сыну денег более того, чем надобно простому дворянину, чтобы тот мог сносно прожить в Париже, с присовокуплением, что ежели они вручат ему больше, то он сего им никогда не выплатит. Юлию же он пригрозил, что ежели он не исправится и не расположит свою жизнь иначе, то лишит его наследства и никогда больше не признает своим сыном.

Юлий, хотя и был тем изрядно обескуражен, однако ж не положил намерения жить бережливо, да и когда бы он захотел удовольствовать своего родителя и воздержаться от обычных своих больших расходов, то это было бы для него невозможно, ибо он уже слишком глубоко залез в долги; тогда б он потерял всякий кредит сперва у постоянных своих заимодавцев, а затем неизбежно у всякого, что ему настойчиво отсоветовала Гордыня, ибо сие весьма повредило бы его репутации, которую он приобрел ценою больших издержек. Того ради обратился он к своим соотечественникам и сказал: «Вы знаете, господа, что мой отец не только имеет свою долю во многих кораблях, которые ходят в обе Индии, Восточную и Западную, но и у нас на родине в своих поместьях стрижет по четыре, а то и по пять тысяч овец, так что с ним не поравняется ни один дворянин в нашей стране, не говоря уже о том, чтобы получить перед ним преимущество; я уже умалчиваю о наличных деньгах и имениях, коими он владеет. Также ведомо вам, что я ныне и присно единственный наследник всего его состояния и что помянутый господин мой отец идет к могиле; кто же может подумать, что я тут должен лежмя лежать? Когда бы так, то разве сие не послужило бы к посрамлению всей нашей нации? Я прошу вас,

господа, не допустить меня до такого стыда, а по-прежнему помогать мне деньгами, которые я вам возмещу с благодарностью, а до полной уплаты предлагаю вам купеческий интерес, а также каждому в отдельности с таким награждением, что он останется много доволен».

Выслушав такие речи, одни пожали плечами и принесли извинение, что часом не располагают деньгами, по правде же, они были честны и не желали прогневить отца Юлия; другие же прикинули, какую птицу смогут они ощипать, ежели заполучат себе в когти Юлия. «Кто знает,— думали они про себя,— сколько еще времени протянет старик? А меж тем денежки трату любят. Захочет отец лишить его наследства, однако ж не закажет ему получить после матери». Одним словом, они ссудили Юлию тысячу дукатов, за что обязался уплатить им то, что они сами потребовали, и положив ежегодно восемь pro cento, что и было по всей форме заключено и подписано. Но с этими деньгами Юлий далеко не ушел; ибо когда он расплатился с долгами и Авар урвал свою долю, то осталось совсем немного, так что вскорости был он принужден снова занимать деньги и выдавать новые обязательства, о чем своевременно уведомили его отца другие англичане, у коих тут не было своего интереса, и чем так разгневали старика, что он послал протест тем купцам, которые, вопреки его приказанию, выдали деньги его сыну, и, напомнив им о своем прежнем письме, не преминул уведомить, что он не только не заплатит им ни гроша, но еще, как только они снова пожалуют в Англию, обвинит их перед Парламентом как развратителей юношества, кои споспешествовали его сыну в подобном мотовстве. Самому же Юлию он собственноручно написал, что отныне отрекается от него, как от сына, и не желает больше его видеть.

Когда пришли такие ведомости, дела Юлия пошатнулись. У него, правда, оставались кое-какие деньги, однако ж недостаточно для того, чтобы поддерживать свое расточительное великолепие или чтобы снарядить себя в путешествие, с тем чтобы на своих конях послужить на войне какому-нибудь господину, на что его усердно подбивали Гордыня и Расточительность; и понеже никто не хотел ему в сем пособить, обратился он с мольбою к верному своему Авару ссудить его по нужде тем, что тот нашел на улице. Авар же ответил: «Вашей милости довольно известно, что я был бедняк бедняком и ничего не имел за душою, покуда намедни мне не послал бог». (Ах, лицемерный плут, помышлял я, разве бог послал тебе то, что ты накрал у своего господина и разве не должен ты прийти к нему на помощь его же деньгами? Тем более что ты, покуда у него они водились, расточал их вместе с ним и пособлял ему их прожрать, пропить, проблудить, проиграть, промотать

и пробанкетировать? Ох, пташка, подумал я, ты хотя и прибыл сюда из Англии ровно овца, но, с тех пор как обуяла тебя Скаредность, стал ты во Франции сущей лисицей, да почитай что и волком.) «Ежели я теперь,— продолжал Авар,— пренебрегу сим даром божьим и не положу надежное основание своему будущему, то надлежит опасаться, что я сделаюсь недостоин того счастья, на которое еще уповаю в своей жизни. Кого милует бог, тот должен быть ему благодарен! Вряд ли когда еще мне приведется найти такое сокровище! Должен ли я определить его туда, куда больше не решаются вложить свои деньги богатые англичане, ибо уже потеряли свои лучшие залоги? Кто мне сие присоветует? К тому же, ваша милость, сами мне сказали, что взял, то и держи; и сверх того я уже поместил деньги в вексельный банк, откуда не могу их забрать, когда заблагорассудится, чтобы не лишиться большего интересу».

Такие речи пришлись весьма не по нутру Юлию, ибо он не привык выслушивать их ни от своего верного слуги, ни от кого бы то ни было; однако ж башмаки, в которые обула его Гордыня и Расточительность, жали ему так жестоко, что он должен был снести сии слова и признать их справедливыми и неотступными просьбами склонить Авара ссудить его всеми наплутованными и наворованными деньгами с уговором, что все его жалованье вместе с теми деньгами, что он мог бы получить за месяц как свой интерес, будет причтено к главной сумме, по которой положено платить восемь pro cento годовых, и дабы сия сумма, а равно и заслуженная им пенсия были должным образом обеспечены, дать ему закладную на поместье, которое завещала ему, Юлию, его тетка с материнской стороны; что тотчас же было заключено по наилучшей форме в присутствии других англичан, приглашенных свидетелями; сумма же достигала шестисот фунтов стерлингов, что в пересчете на наши немецкие деньги составило изрядный куш.

Едва только заключен был помянутый контракт, учинены подписи и выплачены деньги, как Юлий получил известие о радостной печали, а именно, что его господин отец отдал дань натуре, по какой причине Юлий тотчас же облачился в роскошный траур и принял решение поспешно выехать в Англию не столько затем, чтобы утешить свою матушку, сколько для того, чтобы вступить в наследство. Тут смог я подивиться, как вокруг Юлия снова столпилось множество приятелей, коих он завел в прежние деньки. Также приметил я, какой из него получился лицемер; ибо когда он был на людях, то притворялся весьма опечаленным смертию своего родителя; а оставшись наедине с Аваром, сказал ему: «Прожил бы старик еще подольше, то я был бы принужден побираться, особливо же когда ты не пособил бы мне своими деньгами».

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций взирает полон боязни,
Как совершают две страшные казни.

Итак, Юлий поспешно собрался в путь вместе с Аваром, перед этим рассчитав и отпустив с честью всю свою челядь, как-то: лакеев, пажей и прочих бесполезных, испорченных и прожорливых людей. Тут мне пришлось, так как я хотел узнать конец этой истории, отправиться вместе с ним; однако ж мы путешествовали не с одинаковыми удобствами: Юлий гарцевал на взрачном жеребце, ибо ничему так хорошо не научился, как верховой езде, позади него восседала Расточительность, как если бы она была его невестой или возлюбленной. Авар трясся на мерине, или, как их зовут, кладене, а позади себя вез Скрягу; так что все имело такой вид, как если бы площадной лекарь или шарлатан ехал на ярмарку со своей обезьяной. Гордыня же летела по воздуху высоко над ними, словно это путешествие не особенно ее касалось; прочие же ассистирующие пороки маршировали рядом, как то в обычае у челяди; я же по временам хватал за хвост то одну, то другую лошадь, чтобы дотащиться с ними до Англии; захотелось мне страсть поглядеть, что там за сласть, раз уж я, как пострел, столько чужих стран осмотрел. Скоро достигли мы гавани, где мы прежде высадились, и через короткое время с попутным ветром благополучно отплыли в Англию.

Юлий застал свою матушку при последнем дыхании, ибо она в тот же день скончалась, так что он, как единственный сын, который к тому времени достиг совершеннолетия, стал разом господином и управителем всего имения, оставленного по смерти его родителями. Тут снова пошла развеселая жизнь, куда привольней, чем в Париже, ибо он получил в наследство изрядный куш наличными: он зажил как богач в шестнадцатой главе у евангелиста Луки. Да что там, как принц! То у него полно гостей, то он в гостях, и почти каждый день у него прием. Он возил на прогулку по морю и по суше чужих дочерей и жен, как это в обыкновении в Англии, завел собственных трубачей, берейторов, камердинеров, шутов, конюхов, кучеров, двух лакеев, одного пажа, егеря, повара и прочую челядь. Всем он оказывал благоволение, особливо же Авару, коего он как верного своего спутника произвел в гофмейстеры и поставил управляющим или фактором по всем делам, а также отдал в полную его собственность и переписал на него то самое дворянское поместье, которое он перед тем заложил у него за главную сумму, интерес и его жалованье, хотя оно стоило на-

много дороже. Одним словом, он так повел себя с каждым, что я не только подумал, будто он ведет свой род от древних королей, как он похвастался во Франции, но твердо уверовал, что он происходит от родословного древа самого короля Артура, который прославился своею щедростию до конца света.

Меж тем Авар не упускал случая половить рыбку в мутной воде и глядел в оба: он обкрадывал теперь своего господина пуще прежнего и обделывал свои делишки, как пятидесятилетний еврей. Но самой бесстыжей плутней, какую только учинил Авар, было то, что он, спутавшись с одной дамой благородного происхождения, потом свел ее со своим господином, а через девять месяцев приписал ему юного выблядка, которого сам ей сварганил; и понеже Юлий никак не мог решиться взять ее в жены и подвергался большой опасности от всех ее приятелей, то тут снова выступил прямодушный Авар и дозволил себя уговорить покрыть браком честь той, с коею он забавлялся больше, чем Юлий, да и склонил ее к падению, за что выговорил себе самое доходное поместье из всех, что были у Юлия, удвоив такою оказанною верностью благоволение своего господина. И все же он не перестал от случая к случаю щипать перья, покуда был цел павлин, а когда дело дошло до кожицы, то стал обдирать и ее.

Однажды Юлий прогуливался по Темзе на увеселительном судне вместе со своею ближайшею роднею, где среди прочих находился и его дядя по отцу, весьма мудрый и рассудительный господин. Сей разговорился с Юлием с большею дружественною откровенностию, нежели обычно, и самыми учтивыми словами, но с суровою укоризною выговорил ему за его нерадивое хозяйничанье; ему надлежит получше наблюдать за собой и за своим имением, чем до сего, и т. д. Когда бы юность знала то, что ведает старость, то сто раз прикидывала бы прежде, чем издержать один дукат, и т. д. Юлий засмеялся на такие речи, снял с руки кольцо, бросил в Темзу и сказал: «Господин дядюшка, как нельзя снова воротить мне сей перстень, точно так же нельзя мне расточить свое имение!» Но старец вздохнул и ответил ему: «Полегче, господин племянник! Можно расточить и королевское имение и исчерпать колодезь. Погляди, что ты делаешь!» Но Юлий повернулся к нему спиною и возненавидел его за сие отеческое увещевание еще больше, чем он должен был бы его за это возлюбить.

Вскоре после того прибыло из Франции несколько купцов и потребовало уплаты всей суммы, коей ссудили Юлия в Париже, и со всем интересом, ибо они получили неложную ведомость о том, как он проводит свою жизнь, и что богато нагруженное судно, посланное его родителями в Александрию, захвачено в Средиземном

море пиратами. Он расплатился с ними одними драгоценностями, а это послужило верной приметой, что у него туго с наличными; сверх того пришло надежное известие, что и другое его судно разбилось у берегов Бразилии и английский флот, судьбой коего родители Юлия были особенно озабочены, пущен ко дну голландцами неподалеку от Молуккских островов, а уцелевшие корабли захвачены. Все подобные известия скоро разнеслись по всей стране, а посему каждый, у кого были какие-либо претензии к Юлию, потребовал уплаты, так что, казалось, несчастья устремились к нему со всех концов света. Однако все сии бури устрашили его меньше, чем его повар, показавший ему как диковинку золотое кольцо, найденное им в брюхе рыбы, которое Юлий тотчас же признал своим и отлично вспомнил, с какими словами он бросил его в Темзу.

Юлий хотя был весьма опечален и почти впал в отчаяние, однако ж стыдился обнаружить перед людьми, каково было у него на сердце. Меж тем услышал он, что старший сын обезглавленного короля счастливо высадился с войском в Шотландии, где обрел успех и получил немалую надежду отвоевать королевство своего отца. Юлий решил не упускать сего случая, дабы восстановить свою репутацию. Того ради экипировал он себя и своих людей на последние средства, которые у него еще были, и составил изрядный отряд всадников, над которыми лейтенантом поставил Авара, наобещав ему золотые горы, так что тот согласился и все под предлогом сослужить службу своему патрону. Когда все было готово, Юлий быстрым маршем повел свой отряд навстречу юному шотландскому королю и соединился с его корпусом; также немало отличился, ибо королю в то время сопутствовала фортуна. Когда же Кромвель рассеял эту военную силу, то Юлий и Авар бежали, едва сохранив жизнь, и не осмеливались нигде показаться. Того ради принуждены они были, подобно диким зверям, таиться в лесах и промышлять грабежом и разбоем, покуда их наконец не словили на таких делах и не предали казни, Юлия на плахе, а Авара на виселице, кою он уже давно заслужил.

Тут я снова пришел в себя или, по крайности, пробудился от сна и долго размышлял о сем видении или сонном мечтании и наконец решил, что Щедрость легко может стать Расточительностью, а Бережливость Скупостью, когда ими не предводительствует Мудрость, которая управляет Щедростью и Бережливостью с помощью Умеренности и держит их в узде. Однако ж я не могу сообщить, кому достался приз — Скряге или Расточительности, но полагаю, что они и по сей день враждуют друг с другом и спорят о первенстве.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Симплициус дискурс ведет с Бальда́ндерсом,
С коим в лесу он долго валандался.

Однажды прогуливался я в лесу, склоняя слух свой к тщеславным помыслам, как натолкнулся на каменного болвана, распростертого в натуральную величину, так что, казалось, то была какая-нибудь статуя древнего немецкого героя, ибо он был изображен в старинном одеянии римского солдатского покроя с большим нагрудником спереди и, по моему разумению, изваян с чрезвычайным искусством и верностию природе. Когда я там стоял, созерцая сие изваяние, и дивился, как оно могло попасть в эту чащобу, взошло мне на ум, что, должно быть, в этих горах в незапамятные времена стояло языческое капище и сей идол находился в нем, того ради сказал самому себе, а не сыщется ли еще что под его фундаментом, но нигде такового не приметил; а так как я нашел шест, который, верно, был брошен каким-нибудь дровосеком и мог послужить рычагом, то подошел к истукану, чтобы перевернуть его и поглядеть, каков он со спины. Но едва только завел я рычаг ему под шею и начал на него напирать, как он сам зашевелился и сказал: «Оставь меня в покое, я Бальдандерс — На-перемену-скор!» Я, правда, сильно испугался, однако тотчас оправился и сказал: «Вижу я, что ты скор на перемену, ибо только что ты был мертвым камнем, а теперь шевелишься, как живое тело; кто же ты на самом деле: сам черт или его матушка?» — «Нет! — ответил он,— я ни тот, ни другой, а Бальдандерс Всегдашной, понеже ты сам меня признал; да и быть тому не можно, чтобы ты не был со мною знаком, ибо я во всякое время не отлучаюсь от тебя ни на шаг. А то что мне еще не доводилось потолковать с тобою, как с неким сапожником из Нюрнберга по имени Ганс Сакс, примерно в конце июля, в лето от рождества Христова 1534, тому причиною, что ты никогда не замечал меня, невзирая на то что по моей воле был ты, не в пример прочим людям, иной раз велик, иной мал, иной богат, иной беден, иной возвышен, иной унижен, иной весел, иной печален, иной зол, иной добр и, одним словом, иной раз такой, а иной раз другой — всегда на перемену скор». Я сказал: «Когда ты не можешь ничего другого, то на сей раз отвяжись от меня!» Бальдандерс сказал: «Подобно тому как мое происхождение ведется от самого парадиза, а все дела мои и сама сущность пребудут, покуда стоит свет, точно так же я не покину тебя, пока ты снова не станешь прахом, из коего ты родился, все равно, любо тебе это или мерзко». Я спросил его, годен ли он к чему иному,

кроме того чтоб чинить людям во всех их предприятиях наперекор. «О да! — отвечал На-перемену-скор.— Я могу обучить их такому искусству, что они смогут вести беседу со стульями и скамьями, котлами и горшками и всякими прочими вещами, которые от природы немы, понеже я наставил сему Ганса Сакса, как то видно из его книги, где он поведал несколько историй, кои поведали ему золотой дукат и лошадиная шкура!» Тут я сказал: «Любезный Бальдандерс! Когда бы ты с божьей помощью обучил и меня сему искусству, то я был бы тебе благодарен до конца дней своих!» — «Отчего ж нет,— отвечал он,— с большою охотою»,— взял у меня книгу, что я держал при себе, и, превратившись в писца, начертал мне в ней следующие слова:

Аз есмь начало и конец, и повсеместно чтут меня все:

Nanoha jolid ifis arum nanoca zalitan atast sisac hone nahani eriw sale celotah watale sisac halit sisac heliosale jemeni sunoto tolostabas celotah ilamen irio sale marod ifis karatu ritatas sinotu diledi pomono sale metelu gegad erolop retoma walod alaw orat tolostabas celotah torotomo nala dologo tulow oremej eleam uzad usur alast sarak oniorim uzul uzarib otorap ylost salet wopalu.

Когда он сие написал, то превратился в могучий дуб, а вскоре после сего в супоросую свинью, затем проворно в сырую колбасу и внезапно в большую кучу мужицкого говна; потом он обратился в клеверный луг, и не успел я оглянуться, в коровьи лепехи, item в прекрасные цветы или веточку тутового дерева, а засим в красивый шелковый ковер и так много раз, покуда снова не принял человеческий образ, да и его он менял несть числа, как то описано у сказанного Ганса Сакса. И понеже о столь быстром превращении не доводилось мне читывать ни у Овидия, ни у других авторов (ибо многократ помянутого Ганса Сакса я тогда еще не видел), то подумал, что то снова восстал из мертвых старый Протей и блазнит меня своими проделками, или то, быть может, сам черт искушает меня и хочет соблазнить, как отшельника. После того как он мне объяснил, что он к своей чести поместил на своем гербе месяц, подобно турецкому султану, item что Непостоянство — его пристанище, а Постоянство — злейший враг, ради коего он не поступится и самой малостью, ибо частенько обращает его в бегство, Бальдандерс обратился в птицу и улетел прочь, оставив меня в задумчивости.

Тогда присел я на траву и стал прилежно рассматривать те слова, что написал мне Бальдандерс, дабы постичь искусство, которому я хотел у него научиться, однако ж не мог собраться с ду-

хом, чтобы прочитать их вслух, ибо они показались мне схожими с теми, с помощью коих чернокнижники заклинают адских духов и также учиняют различные другие колдовские проделки, понеже казались они мне столь же диковинными, тарабарскими и непонятными. И я сказал самому себе: «Начнешь ты их выговаривать, кто знает, каких призовешь ты сюда призраков? Быть может, сей Бальдандерс сам Сатана, который вознамерился тебя таким образом совратить, али ты не помнишь, что приключилось со старым отшельником?» Однако ж любопытство не оставляло меня, побуждая беспрестанно рассматривать и пялить глаза на сии письмена, ибо я с большою охотою услышал бы, как говорят немые предметы, поелику другие уже разумеют неразумных тварей; и чем далее, тем сильнее приковывало меня к ним, и так как я, скажу без похвальбы, был искусен в тайнописи, так что мне ничего не стоило написать письмо на нитке или даже на волосе, да так, что ни один человек не смог бы его расшифровать или разгадать, к тому же, как и прежде, доводилось мне не раз разбирать потаенные письма и тритемиеву стеганографию; и когда я поглядел на сии письмена здравыми очами, то точас же нашел, что Бальдендерс не только показал мне на деле оное искусство, но и сообщил о сем в приведенной выше записи добрыми немецкими словами с бо́льшим прямодушием, нежели я от него ожидал. Чем я остался весьма доволен, однако ж не уделил особого внимания сей новой науке, а отправился в свою хижину, где принялся читать жития древних святых не столько для того, чтобы взять с них добрый пример, сколько для провождения времени.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций в пустыне замыслил спроста
Направить стопы во святые места.

Первое, что попалось мне на глаза, когда я раскрыл книгу, было Житие святого Алексея; тут прочитал я, с каким презрением к неге оставил он богатый дом отца своего, с благоговением посетил различные святые места и закончил свои странствия и жизнь в величайшей бедности под лестницею, но с несравненным терпением и удивительным постоянством как блаженный. «Ах,— сказал я самому себе,— Симплициус, а что делаешь ты? Ты залег тут, как медведь в берлоге, и не служишь ни богу, ни людям! Того, кто один, ежели он упадет, кто подымет его? Разве не лучше, ежели ты будешь служить своим ближним, а они послужат тебе, вместо того чтобы безо всякой приязни сидеть в одиночестве, как сыч?

Разве ты не станешь мертвым сучком на древе рода человеческого, когда здесь закоснеешь? Да и как сможешь ты перенести тут зиму, когда горы покроет снег и никто из соседей не доставит тебе пропитания? Правда, они сейчас чтят тебя, как Оракула; но когда ты здесь заматореешь, то они перестанут почитать тебя, будут взирать на тебя с презрением и вместо того, что они приносят теперь тебе, будут спроваживать тебя от своих дверей со словами: «Бог подаст». Быть может, Бальдандерс потому и явился тебе собственною персоною, чтобы ты заблаговременно сие предвидел и применился к Непостоянству мира сего». Такими и подобными размышлениями и укоризнами терзал я самого себя, пока наконец не принял решения стать паломником или пилигримом.

Итак, схватил я ненароком ножницы и обрезал полы долгого моего кафтана, который достигал мне до пят и в то время, покуда я был отшельником, служил мне не только одеянием, но и заместо постели и одеяла; отрезанные лоскуты я нашил, где казалось удобно, так, чтобы они пригодились мне, как мешки и карманы, чтобы было куда спрятать все то, что я соберу как милостыньку; и понеже я не мог раздобыть себе соразмерного посоха святого Иакова с искусным витым набалдашником, то довольствовался стволом дикой яблони, коим спокойно мог уложить почивать и того, у кого в руке сабля; и сию богемскую клюку благочестивый кузнец снабдил еще острым наконечником, дабы было чем обороняться от волков, коли они повстречаются мне во время моего странничества.

Снаряженный таким образом, отправился я в Дикий Шаппах и выпросил у тамошнего священника свидетельство или документ, что я жил истым отшельником неподалеку от его пастората, ныне же по своей воле отправился с миром по святым местам, хотя пастор и объявил, что не особенно мне доверяет. «Я полагаю, друг мой,— сказал он,— что ты либо учинил какую-нибудь недобрую проделку, ибо столь внезапно покидаешь свое жилище, либо вознамерился уподобиться Эмпедоклу Агригентскому, который бросился в жерло огнедышащей Этны, дабы подумали, понеже его нигде не могли сыскать, будто он вознесся на небо. Статочное ли дело, если одно из этих предположений справедливо, а я пособлю тебе в нем своим надежным свидетельством?» Однако ж я сумел употребить всю свою хитрость и под покровом набожной простоты и смиренной откровенности склонить его к тому, что он под конец выдал мне просимый документ; и мне показалося, что я почувствовал у него благочестивую зависть или ревность и что он взирает с охотою на избранный мною путь, понеже простолюдины по при-

чине моей необычайно строгой и примерной жизни ставили меня выше некоторых духовных, обитавших по соседству, невзирая на то что я был дурным беспутным малым, ежели бы меня ценить по сравнению с истинными справедливыми священниками и служителями бога.

Тогда не был я еще столь безбожен, как стал впоследствии, но считал себя таким заблудшим, у коего сохранились добрые помыслы и намерения. Но как только спознался я с другими старыми бродягами и повел с ними компанию, то час от часу становился все бесстыднее, так что под конец мог сойти за предводителя, коновода и наставника всего их сообщества, для коего странничество стало ремеслом, дабы снискивать себе пропитание. К тому же мое одеяние и весь мой облик были весьма удобны и немало способствовали тому, чтобы подвигнуть людей к щедрости. Когда я забредал в какое-нибудь местечко или пробирался в город, особливо же по воскресеньям и в праздники, то меня тотчас же обступал стар и млад, словно опытного шарлатана, который возит с собою шутов, обезьян и мартышек. Тогда одни по причине длинных волос и бороды, кою я носил во всякое время года, почитали меня за старого пророка, другие же за диковинного сумасброда, а большая часть полагала, что я Вечный жид, который принужден скитаться по свету до самого Страшного суда. Я не принимал милостыню деньгами, ибо помнил, как пошло мне на пользу сие обыкновение во время моего отшельничества; и когда меня кто-нибудь понуждал их принять, то говорил: «У нищих не должно быть денег!» Таким образом я достигал того, что там, где я с презрением отвергал несколько медяков, мне надают кушаний и напитков куда больше, чем я мог бы купить за пригоршню «головушек».

Итак, прошел я добрым маршем вверх по Гутаху, через Шварцвальд на Виллинген, направляясь в Швейцарию, на каковом пути мне не довелось повстречать ничего достойного памяти или необычайного, кроме того, о чем я только что объявил. Оттуда я уже сам знал дорогу на Эйнзидлен, так что мне не надобно было ни у кого о том спрашивать; и когда я пришел к Шаффхаузен, то был не только допущен в город, но и, после того как народ довольно на меня поглазел и натешился, обрел дружеское пристанище у одного честного зажиточного горожанина; и как раз вовремя, ибо он, как много ездивший по свету дворянин, который, нет сомнения, в своих путешествиях испытал немало радостей и огорчений, подоспел и сжалился надо мною, когда под вечер уличные злые мальчишки принялись забрасывать меня грязью.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций в месте укромном над дыркой
Беседу ведет с шершавым Подтиркой.

Мой радушный хозяин был под хмельком, когда привел меня домой; посему он особенно допытывался от меня: откуда, куда, что у меня за ремесло и пр. И когда он узнал, что я умею порассказать о многих странах, где я побывал и которые не каждому доведется посмотреть, как-то о Московии, Татарии, Персии, Китае, Турции и даже о наших антиподах, то немало тому подивился и изрядно угостил меня чистым велтлинским и этшинским вином. Сам же он повидал Рим, Венецию, Рагузу, Константинополь и Александрию; и когда я смог описать ему множество примет и обычаев сих мест, то он поверил и всему тому, что я налгал ему о далеких странах и городах, ибо я следовал совету Самуеля фон Голау в его виршах, когда он говорит:

Кто хочет врать, соври про даль!
Скачи туда, узнай, кто враль!

И когда я увидел, что это мне так хорошо удалось, то пустился на словах странствовать по всему свету: я сам побывал в густом лесу Плиния, который иногда встречается неподалеку от Aquae Cutiliae, и когда его потом, не щадя никаких трудов, ищут снова, то не могут больше найти ни днем, ни ночью. Я сам отведал дивный диковинный плод боранец в Татарии, и хотя я никогда в жизни его не едал, однако ж так сумел насказать о приятном вкусе моему хозяину, что у него слюнки потекли. Я говорил: «У него мясо, как у рака; цвет, как у рубина или красного персика, и запах, который сразу напоминает о дыне и померанце». Нарассказал я ему также, в каких привелось мне участвовать сражениях, схватках и осадах, причем много к сему прилгал, ибо видел, что он охоч слушать и все эти россказни его тешат, как детей сказки, покуда он под них не заснул, а меня отвели в прекрасно убранную комнату, где была мягкая постель, в которой я заснул без убаюкивания, ибо мне давно не приходилось нежиться на таких пуховиках.

Я пробудился гораздо раньше всех домочадцев, а потому не мог отлучиться из комнаты, чтобы облегчить себя от тяжести, которая хотя и не велика, но весьма обременительна, ежели ее придется носить сверх положенного времени; однако ж сыскал за обоями укромное местечко, которое иногда зовут кафедрой, куда лучше устроенное, чем я мог помышлять в такой нужде. Там поспешно призвал я самого себя на суд и рассудил сидючи, сколько

сей богато убранной комнате предпочтена должна быть благородная моя пустыня, где свой и чужой в любом месте, где ему глянется и не претерпевая такого страха и стеснения, как довелось мне, может прямо присесть на корточки. По отправлении сего дела, когда я как раз подумал о наставлениях и искусстве Бальдандерса, вытянул я из ящика, висевшего надо мною, большой лист из целого свитка бумаги, дабы подвергнуть его экзекуции, к чему он был осужден вместе со многими другими своими камрадами и заточен там. «Ахти мне! — вдруг заговорил сей лист.— Итак, принужден я за верную свою службу и претерпетые столь долгое время многоразличные мучения, перенесенные опасности, труды, страхи, горести и печали познать и принять совокупную благодарность неверного света! Ах, почто в цветущей моей юности меня не склевал зяблик или снегирь, чтобы тотчас же превратить в помет, тогда я сразу воротился бы к моей матери-земле и стал ей служить и через прирожденные мне свойства помог бы ей вырастить прекрасный лесной цветок или травку до того, как буду принужден подчищать задницу такому бродяге и найти свою конечную погибель в нужнике? Или почто не употреблен я в секретном кабинете короля Франции, коему подтирает задницу сам король Наварры, что принесло бы мне куда больше чести, нежели услуга какому-то беглому монаху?» Я отвечал: «Слышу по твоим речам, что ты никудышный бездельник и не достоин никакого иного погребения, кроме того, которое я тебе сейчас уготовлю; да и не все ли едино, погребет ли тебя в вонючем сем месте король или нищий, о чем ты говоришь так грубо и невежливо, я же, напротив, тому весьма радуюсь. Но ежели можешь ты привесть что-либо в оправдание своей невинности и объявить о верных услугах, оказанных тобою роду человеческому, то изволь: я охотно дам тебе аудиенцию, ибо в доме все еще спят, и, рассудив обо всех вещах, сохраню тебя от падения и погибели».

На сие ответил Подтирка: «Предки мои, по свидетельству Плиния, lib. 20, cap. 23, были обретены в лесу, где они жили и, умножая род свой на их собственной земле в первобытной свободе, были приневолены, как дикое племя, служить людям, а они нарекли их Коноплею; от них-то я произошел и созрел как маленькое семечко во дни короля Венцеслава в деревне Золотари, о коей идет молва, что там родится самое лучшее в свете конопляное семя. Там взрастивший меня снял с родительского стебля и продал перед весной лавочнику, который смешал меня с другими чужими мне конопляными семенами и начал нами торговать. Этот лавочник, значит, и продал меня одному крестьянину по соседству, выручив за каждый сéстер по полгульдену золотом, ибо мы нечаянно возросли в цене и подорожали; и, как уже поведано, лавочник был

вторым, кто получил от меня барыш, ибо взрастивший меня, который продал меня сначала, уже получил первую прибыль. Мужик же, который купил меня у лавочника, бросил меня в хорошо возделанное плодородное поле, где я в нестерпимом смраде конского, свинячьего, коровьего и всякого прочего навоза должен был сгнить и умереть; однако ж я произвел из самого себя высокий и гордый стебель конопли, в коем мало-помалу изменялся и наконец сказал самому себе: «Ну, вот и ты, подобно твоим предкам, станешь плодовитым умножателем своего рода и произведешь больше семян, нежели кто-нибудь из них прежде». Но едва малость потешил я себя на свободе подобными самонадеянными мечтаниями, как довелось мне услышать от прохожих: «Глянь-ко-се, какое большое поле висельной травы!», что тотчас почел недобрым предзнаменованием для себя и моих братьев. Однако ж нас приутешили речи некоторых почтенных старых крестьян, когда они рассуждали: «Смотрите, какая славная выросла конопля!» Но ах! Вскорости мы узнали, что люди по своей ненасытной жадности и для удовлетворения жалких своих потребностей не дозволят нам далее продолжать свой род,— особливо же когда мы как раз собирались породить семя,— а с помощью дюжих молодцов самым немилосердным образом повыдергают нас из земли и, словно плененных злодеев, свяжут всех вместе в большие снопы, за каковую работу им причитается надлежащая плата, а значит, в третий раз извлекут прибыль, которую люди привыкли от нас получать.

Наши муки и тирания людей только еще начинались, дабы мы, благородные злаки, были употреблены на то, чтоб подделывать чистую брагу (как иногда называют разлюбезное пиво); ибо потом сволокли нас в глубокую яму, навалили друг на дружку и так придавили камнями, как если бы сунули нас под гнет; и отсюда вышла четвертая прибыль, которую получили те, кто исправлял сию работу. Засим напустили в яму дополна воды, так что нас повсюду залило, как если бы сперва хотели нас утопить, невзирая на то что мы и так уж весьма ослабели. В такой вымочке находились мы до тех пор, покуда не погинула вся наша краса — и без того уже поблекшие и опавшие листья погнили,— а мы сами едва не захлебнулись и не погибли; засим спустили воду и вынесли нас из ямы на зеленый луг, где нас пекло солнце, поливал дождь, продувал ветер, так что даже свежий воздух, словно напоенный нашей горестью и бедой, казалось, переменился и разносил вокруг нас такое зловоние, что, почитай, никто не проходил мимо, кто бы не заткнул нос или, по крайности, не сказал: «Тьфу, пропасть!» Однако ж те, кто с нами возился, получали за это плату, что было уже пятой прибылью от нас. В таком положении принуждены мы

пребывать, покуда солнце и ветер не отнимут у нас последней влаги и вместе с дождем нас хорошенько отбелят; засим наш мужик продал нас конопельщику или конопляному мастеру, получив шестой барыш. Итак, получили мы четвертого хозяина с тех пор, как я был конопляным семенем. Сей мастер сперва сложил нас под навес на короткий отдых, а именно до тех пор, пока не покончит с другими делами и не возьмет поденщиков, чтобы мучить нас далее. Когда же подоспела осень и все прочие полевые работы миновали, стал он нас вытаскивать сноп за снопом и ставить по две дюжины в маленькую каморку за печью, которую так натопил, как если бы мы должны были потом сгонять с себя францей, в каковой адской беде и опасности я часто помышлял о том, что мы, чего доброго, вознесемся в пламени к небу вместе со всем домом, что нередко и случалось. Когда мы от такой жары стали куда более способны воспламеняться, нежели самая лучшая серная спичка, передал он нас в руки еще более жестокого палача, который стал пригоршнями бросать нас под мяло и все наши внутренние жилы сокрушил и изломал на мелкие куски, как то учиняют со злейшим смертоубивцем, когда предают его колесованию, а засим стал колотить нас изо всех сил палкою, чтобы наши разбитые жилы все чистехонько повыпадали, так что, казалось, он совсем взбеленился и у него вырывались вздохи, а также и то, что с ними в рифму. То было седьмое дело, когда мы снова принесли доход.

Мы думали: ну, теперь-то уже ничего нельзя больше измыслить, чтобы доставить нам еще горшую муку, особливо же как мы после сей операции были так разъединены и вместе с тем так сплетены и перепутаны, что всяк не узнавал сам себя и своих родичей, и каждое волоконце, и каждая кожуринка должны были повиниться, что все мы стали мятою коноплею. Но нас еще потащили на трепало, где дубасили, толкли, можжили и корежили, словом, так растерли и растрепали, как если бы хотели превратить нас в амиант, асбест, хлопок, шелк или, по крайности, изготовить из нас льняную кудель. И за эти труды получил конопельщик восьмую прибыль, которую принесли людям я и подобные мне мученики. В тот же день отдали меня как хорошо вытрепанную и провяленную коноплю нескольким старым чесальщицам и молодым ученицам, которые учинили мне величайшую пытку, какой я еще не испытывал; ибо своими многоразличными орудиями они подвергли меня такой анатомии, что и вымолвить невозможно. Сперва вычесали они гребнем грубую паклю, затем прядево, а под конец худые охлопья, пока я не заслужил похвалы как тонкая конопля и добрый купеческий товар и был красиво уложен и упакован на продажу, отнесен во влажный погреб, чтобы, отлежав-

шись, стал мягче на ощупь и тяжелее по весу. Таким-то образом вновь обрел я на короткое время покой и возрадовался, что, претерпев толикие муки и печали, стану наконец материей, которая всем людям столь полезна и надобна. Меж тем сказанные чесальщицы получили от меня девятую прибыль. И сие послужило мне утешением и вперило в меня странную надежду, что отныне (ибо мы выстрадали и достигли до счета девять, каковое число ангельское и наидиковинное из всех чисел) минуют все наши мучения».

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций внимает продолжению повести,
Поступает с Подтиркой по чистой совести.

«В ближайший базарный день отнес меня мой хозяин в некий покой, который называли проверочной палатой, или пакгаузом; там меня осмотрели, признали законным купеческим товаром и взвесили, затем передали маклеру, взяли пошлину, погрузили в повозку, отвезли в Страсбург, где доставили в купеческий дом, снова осмотрели, признали добротным, еще раз обложили пошлиной и продали купцу, который велел отвезти меня на тележке к себе домой, где поместил в чистую комнату, при каковой купле и продаже мой прежний хозяин получил от меня двенадцатую, таможенник тринадцатую, посредник четырнадцатую, возчик пятнадцатую, купеческий дом шестнадцатую, а носильщики, которые доставили меня в дом нового купца, семнадцатую прибыль. Они же забрали и восемнадцатую, когда им заплатили за то, что они отвезли меня в тележке на корабль, на коем был я отправлен вниз по Рейну в Цволле, но я уже не могу рассказать про всех, кто по пути взимал пошлины и другие поборы и, значит, получил от меня прибыль; ибо я был так упакован, что не мог об этом проведать.

В Цволле я снова наслаждался коротким отдыхом; потом был также отделен от среднего или английского товара, вновь подвергнут пытке и анатомии, растерзан в самых внутренностях своих, выбит, расчесан гребнями, покуда не стал таким тонким и нежным, что хоть сучи из меня такие субтильные вещи, как брабантская монастырская нитка. Засим был я отправлен в Амстердам, где меня покупали и продавали, наконец, передали в женские руки, которые меня превратили в нежнейшую пряжу, а притом еще женщины беспрестанно меня целовали и лизали, так что я вообразил, что пришел конец всем моим страданьям; но вскорости меня помыли, намотали в клубок и передали ткачу, навертели на шпу-

ли, пустили в ткацкий станок и выткали из меня тонкое голландское полотно, засим отбелили и продали купцу, который стал торговать мною, отмеривая на локти. Пока я до сего дошел, то претерпел немалый урон. Первая убыль — грубое волокно, что пошло на фитили, которые затем были вымочены в коровьем навозе и сожжены. Вторая убыль — то, что отдано было старым бабам, которые выпряли грубую пряжу на тик и мешковину, третья убыль — грубое прядево, что обыкновенно называют волосянкой, а продают как чистую конопляную пряжу, четвертая — та, что, правда, ушла на более тонкую пряжу и сукно, но не могла со мною сравниться, не говоря уж о громадных канатах, которые свили из других моих камрадов — конопляных стеблей, что пошли на изготовление щипаной пеньки, так что род мой принес людям знатную пользу и я, почитай, не в силах пересказать, какая была еще от него повсеместная прибыль. Последнюю убыль претерпел я сам, когда ткач оторвал от меня и швырнул под стол вороватым мышам несколько мотков пряжи.

У сказанного купца купила меня некая благородная дама, которая разрезала кусок и раздала челяди в подарок на Новый год. Отрез, на который ушла большая часть моего естества, достался горничной девушке, а та сшила из него себе рубашку и очень много кичилась. Тут узнал я, что они не все девушки, как их обыкновенно называют; ибо не только писец, но и сам господин находил к ней дорожку, ибо она была собою пригожа. Но сие тянулось не долго, ибо однажды госпожа сама увидела, что служанка заняла ее место, но она не разбушевалась, а поступила как благоразумная дама, рассчитала горничную и отпустила ее с миром. Дворянину же не пришлось по вкусу, что такой лакомый кусочек вырвали у него прямо из зубов; того ради он стал выговаривать жене, зачем она прогнала эту горничную, которая была так ловка, поворотлива и прилежна в работе. На что жена ответила: «Любезный муженек! Не печалься, теперь всю ее работу я берусь исполнять одна».

Засим отправилась моя девица со всем своим багажом, среди коего находился и я, к себе на родину в Камбре, куда привезла довольно тяжелый узел, ибо немало заслужила и у господина и у госпожи, а также заботливо сберегла и свое жалованье. Там она не обрела такого жирного стола, какой оставила, однако ж подцепила несколько любовников, которые в нее втюрились и таскали ей шить и мыть, ибо она избрала сие своим ремеслом, дабы снискать себе пропитание. Среди них был один молодой баран, которого она заарканила за рожки и так обошла, что за целку сошла. Справили свадебку; но как миновал медовый месяц, то объявилось, что у молодоженов всего их имения и прибытков не хватит, чтобы ее

содержать так, как она привыкла, живучи у господ; к тому же в Люксембурге была недостача солдат, а ее юный супруг был трубач или, лучше сказать, рогач, а все, верно, оттого, что сумели до него протрубить тот рог. Тогда и я стал жить скудно и паскудно, проносился и прохудился; того ради моя госпожа изрезала меня на пеленки, ибо вскорости ожидала наследника. После того как она оправилась от родов, сей пащенок беспрестанно марался, так что нас каждодневно стирали и под конец так истрепали, что мы стали ни к чему не годны, и наша госпожа нас выбросила. Но хозяйка, сдававшая ей жилье, по своей домовитости нас подобрала, отстирала и забросила на чердак, где у нее хранилось всякое тряпье. Там мы принуждены были пребывать, покуда не приехал молодец из Спиналя, который собирал нас повсюду и отвозил на бумажную фабрику. Там нас передали старым женщинам, которые изорвали нас на мелкие лоскутки, так что мы издавали прежалостные вопли, скорбя о своей участи. Но на том наши беды еще не кончились, ибо нас растерли на бумажных мельницах в детскую кашицу, так что нас уже никто бы и не признал коноплей или льном, и в довершение всего нас еще заморили в извести и в квасцах и, наконец, распустили в воде, так что, говоря по правде, мы совсем пропали. Однако же нечаянно был я возведен в тонкий лист писчей бумаги, а по исполнении многих различных работ вместе с другими моими камрадами превратился в тетрадь, затем в стопу бумаги, потом снова попал под пресс, а под конец упакован в кипу и отправлен на предстоящую ярмарку в Цурцах, там был продан купцу из Цюриха, который привез нас к себе домой и ту самую стопу, в коей я находился, перепродал фактору, или домоуправителю, одного важного господина; сей фактор смастерил из меня гроссбух, или счетную книгу. Но пока сие произошло, я тридцать шесть раз перешел из рук в руки с тех пор, как стал ветошью.

Сию книгу, в коей я, как честный лист бумаги представлял две страницы, фактор столь же возлюбил, как Александр Великий Гомера; она была ему заместо Вергилия, коего столь прилежно изучал Август, заменяла ему Оппиана, коего с таким усердием читал Антоний, сын Септимия Севера; служила ему как «Комментарии» Плиния Младшего, которые так высоко ценил Ларгий Лицний, она же была его Тертулианом, которого не выпускал из рук епископ Киприан, была его «Киропедией», которую так ославил Сципион; его Филолаем Пифагорейцем, к коему так благоволил Платон; его Спевсиппом, коего так любил Аристотель, его Корнелием Тацитом, коим так гордился император Тацит; его Комином, которого Карл Пятый предпочитал всем другим писателям, и, одним словом, его Библией, которую он штудировал день и ночь,

правда, не затем, чтобы все счета были верными и справедливыми, а для того, чтобы запутать свои воровские проделки и все так расписать, чтобы все сошлось со счетною книгою.

Когда же помянутая книга была вся исписана, то меня заставили в угол, и я наслаждался долгим покоем, покуда господин и госпожа не ушли путем всех смертных. Когда же оставшееся имущество поделили наследники, то они разорвали счетную книгу и употребили на упаковку, при каковой оказии я был положен на расшитый камзол, дабы предохранить от порчи ткань и позументы, и таким образом был привезен сюда и, после того как все было развернуто, осужден в скаредном сем месте в награду за всю верную мою службу человеческому роду принять конечную погибель и смерть, от чего ты меня, однако, можешь спасти».

Я ответил: «Понеже твое произрастание и размножение берут свое начало, происхождение и пищу из твердой почвы, умягченной экскрементами различных animalia, к тому же раз ты и без того к оной материи привычен и, как великий краснобай, о ней рассуждать умеешь, то будет справедливо, ежели ты возвратишься к своему началу, к чему тебя присудил и собственный твой господин». Сим огласил я свой приговор; но Подтирка сказал: «Подобно тому как сейчас ты судил меня, так же поступит с тобою Смерть, когда снова превратит тебя в прах, от коего ты взят, и никто не даст тебе отсрочки, какую ты мог мне дать на сей раз».

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплициус бюргеру пишет цидулю,
Дабы берегла его вечно от пули.

За прошедшнй вечер я потерял реестр всех моих хитростей и куншгюков, в коих я когда-либо упражнялся, составленный мною для того, чтобы я их не так легко мог забыть; однако там не было записано, каким образом и с помощью каких средств сии куншгюки учинить можно. Для примера приведу здесь начало сего реестра:

«Фитили, или запальные веревки, изготовлять так, чтобы они не воняли, ибо через таковой запах нередко обнаруживали мушкетеров и сводили на нет их умыслы.

Фитили изготовлять так, чтобы они горели, даже когда были подмочены.

Порох изготовлять так, чтобы он не воспламенялся, даже когда сунут в него раскаленную сталь, что особливо полезно в крепостях, в коих принуждены держать большие запасы сих опасных вещей.

В людей и птиц стрелять порохом так, чтобы они сваливались замертво, а через некоторое время безо всякого повреждения могли подняться.

Придать человеку двойную силу, не прибегая к кабаньему корню и другим подобным запрещенным средствам.

Когда во время вылазок не удастся заклепать пушки у неприятеля, то второпях устроить так, чтобы они разлетелись на куски.

Испортить кому-нибудь мушкет так, что он только распугает всю дичь, покуда его не почистят снова известной материею.

Положив мушкет на плечо и повернувшись к мишени спиною, попадать в самую сердцевину лучше, нежели когда кладут его и стреляют по общему обыкновению.

Известный куншток, чтобы тебя не сразила пуля.

Изготовить инструмент, с помощью коего, особливо же в безветренную ночь, диковинным образом услышать в неимоверной дальности всякий звук и голос (что иначе никак невозможно для человеческого слуха), весьма полезно для всякой стражи, особливо же во время осады, и т. д.».

Точно так же в сказанном реестре были перечислены и другие различные кунштуки, каковую бумагу нашел и подобрал мой хозяин; того ради вошел он ко мне в комнату, показал перечень и спросил, статочное ли дело, чтобы все эти хитрости естественным образом учинить было можно; он, правда, не очень-то может сему поверить, однако ж должен признаться, что в юности, когда он еще был пажем у фельдмаршала Шауенбурга в Италии, то ходил слух, что все савойские князья заговорены от пули. Сие захотел испытать помянутый фельдмаршал на принце Томасе Савойском, которого он осаждал в крепости; и когда они заключили на час перемирие, чтобы предать земле мертвых, и имели между собою конференцию, то приказал он некоему капралу из своего полка, которого почитали самым отменным стрелком во всей армии, ибо он мог из своего мушкета за пятьдесят шагов сбить с горящей свечи нагар, не погасив ее, сказанного принца, вышедшего для переговоров на бруствер крепостного вала, подкараулить и, как только пройдет уреченный час перемирия, попотчевать пулею. Сей капрал должен был только прилежно приметить время и не упускать из виду сказанного принца во все время перемирия и, когда с первым ударом колокола оно окончится и каждый поспешит ретироваться в надежное укрытие, дать выстрел. Однако ж против всякого чаяния мушкет отказал, и пока капрал снова заправил его, то принц скрылся за бруствером, после чего капрал показал фельдмаршалу, который спустился к нему в апроши, на одного швейцарца из лейб-гвардии принца, в которого он нацелился и по-

пал так метко, что он только закувыркался, из чего воочию можно было увидеть, что тут дело нечисто, а именно, что никого из князей Савойи не поразит и не заденет никакая пуля. Однако ж достигается ли сие подобным искусством или, быть может, то особливая милость бога, что почиет над княжеским домом Савойи, ибо он, как говорят, происходит от самого царя и пророка Давида, про то он не ведает.

Я отвечал: «Про то я также не ведаю, но знаю наверное, что все перечисленные кунштюки естественные, а не чародейские». И когда он тому не захотел поверить, то я сказал, что ему только надобно объявить мне, который из них он почитает самым наидиковинным и наиневозможным, и я ему тотчас же учиню его, ежели только он не потребует долгого времени и особливых обстоятельств, кои потребны, чтобы произвести сие дело, ибо я должен сразу же продолжать свое путешествие. В ответ он сказал, что самым невозможным он почитает, чтобы порох не воспламенился, когда к нему поднесут огонь, ежели я только перед тем не высыплю его в воду. Когда я сие смогу учинить естественным образом, то поверит он и всем прочим кунштюкам, число коих в том реестре было более шестидесяти, чего он не видал и чему без такой пробы поверить не сможет. Я отвечал, что ему надобно только поскорее доставить заряд пороху и еще кое-какую материю, которая мне потребна для сего дела, а также принести огонь, и он тотчас же увидит, что кунштюк правильный. А когда он сие принес, то я велел ему надлежащим образом все исправить, а потом поджечь, однако ж он смог лишь мало-помалу спалить несколько зерен пороху, хотя и бился с тем добрых четверть часа и достиг только того, что раскаленное железо, служившее ему фитилем, и даже уголья потушил в самом порохе. «Ну, вот!—сказал он наконец.—Теперь весь порох пропал». Я же ответил ему делом и поджег порох без особых усилий, так что он воспламенился скорее, чем кто успел бы сосчитать до шестнадцати. «Ах! — воскликнул он.— Когда в Цюрихе знали бы о сем искусстве, то не понесли бы такого урона, как намедни, когда молния ударила в их пороховую башню».

Когда он доподлинно увидел, что сей естественный кунштюк подтвержден опытом, то вскорости захотел узнать, каким средством можно уберечь человека от пули, но объявить ему о сем было некстати. Он подбивался ко мне со всякими ласкательствами и обещаниями; я же сказал, что мне не надобны ни деньги, ни богатства. Тогда он подступил ко мне с угрозами, я же отвечал, что ему не к чести задерживать паломника, направляющегося в Эйнзидлен. Он укорял меня в неблагодарности за оказанное мне дружеское гостеприимство; напротив, представлял я ему, что он уже довольно от меня научился. Но как он ни за что не хотел от меня от-

вязаться, то вознамерился я его обмануть; ибо тот, кто хотел бы ласкою или силою узнать от меня сие искусство, должен быть весьма высокою персоною. И понеже я приметил, что он оставил без внимания, крестился я или бормотал заклинания в то время, когда он пытался поджечь порох, то и решил околпачить его тем же манером, как меня самого околпачил Бальдандерс, да так чтобы не выставить себя лжецом и все-таки не открыть ему истинного способа, ибо написал ему такую записочку:

Письмена на сей цидуле
Сберегут тебя от пули.

Asa vitom nahores arjes clitira menalem alomade zakam burunan oldit inabl renan nasiore sikur ratam Herodan ani oremi asa vitom ore rahoremathi salet arast vojos oremi elitira nasiore zatam kolyman sacer oremi diled robit lapukar ardes laert asa racel tuhil.

Когда я ему составил сей заговор, то он ему поверил, ибо полагал, что эта такая тарабарщина, которую никто не разумеет. Таким образом удалось мне от него отвязаться, да еще заслужить такую милость, что он пожаловал мне несколько талеров на пропитание в дороге; но я отказался их принять, а пошел от него, довольствовавшись одним завтраком. Итак, зашагал я вниз по течению Рейна к Эглизау, однако ж присел по пути у водопада, где река, с превеликим шумом и гулом пенясь и кипя, низвергает свои воды.

Тут взяло меня сомнение, не учинил ли я моему хозяину, который так радушно приютил меня, слишком большую пакость, отдарив его таким куншtюком. Ведь, может быть, размышлял я, он впоследствии вручит эту цидулку и дурацкие слова как надежное средство своим детям или каким-либо друзьям, которые потом, положившись на него в беде и опасности, прежде времени сложат головы; кто тогда будет повинен в их ранней смерти, как не ты? Спохватившись, хотел бежать назад, чтобы сделать отмену, да поостерегся, рассудив, что когда я снова попаду к нему в лапы, то он обойдется со мной куда жестче, нежели прежде, или, по крайности, отплатит мне за обман, а посему продолжал свой путь в Эглизау; там выпросил я себе пищу, питье и ночлег, а также пол-листа бумаги, на коем написал следующее: «Благородный, благочестивый и высокочтимый господин! Я благодарю еще раз за добрый приют и молю бога, дабы он тысячерицею воздал за него господину. Впрочем же, питаю опасение, что впредь господин может ввергнуть себя в опасность и начнет испытывать бога, ибо он перенял от меня изрядное искусство уберечь себя от пули; должен

предостеречь господина и пояснить ему сие искусство, дабы оно ему ненароком не причинило вреда. Я написал:

Письмена на сей цидуле
Сберегут тебя от пули.

Сие надлежит господину уразуметь правильно и, вынув из каждого тарабарского слова, которые все не волшебные и не обладают никакой силой, средние буквы, сложить их по порядку одну за другой, и тогда получится: «Стой там, куда никто не стреляет, и ты цел будешь».

Сему пусть следует господин, поминает меня добром и не почитает меня обманщиком, ибо я вверяю нас обоих под покров бога, который один хранит того, кого захочет. Datim etc.».

На следующий день меня не хотели выпустить, так как у меня не было денег, чтобы уплатить пошлину, того ради принужден был просидеть битых два часа, покуда не пришел почтенный муж, который уплатил за меня во имя божие что надлежало. Но то, должно быть, случился не кто иной, как палач, ибо сборщик сказал ему: «Не сдается ли тебе, мастер Христиан, что этот малый попадет к тебе в переделку?» — «Не знаю! — отвечал мастер Христиан.— Я еще не показал своего искусства ни на одном пилигриме, равно как и подобном тебе мытаре». Сборщик, таким образом, остался с носом, а я убрался прочь, направившись в Цюрих, где первым делом отправил свое послание в Шаффхаузен, ибо у меня было неспокойно на душе с таким делом.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций наплел простакам небылицы
О странах диковинных, рыбах и птицах.

Тогда-то узнал я, как худо приходится на свете тому, у кого нет денег для поддержания своей жизни, даже тогда, когда он с полною охотою желал бы от них отказаться. Прочие паломники, направлявшиеся в Эйнзидлен, у которых водились деньги, сели на корабль, дабы переправиться через озеро; я же принужден был тащиться пешком окольными путями не по иной какой причине, кроме той, что мне нечем было заплатить перевозчику. Однако ж меня это нимало не раздосадовало, а напротив, я шел с прохладцей, довольствуясь любым пристанищем, когда его находил, хотя бы мне пришлось переночевать в склепе. Когда же меня пускал к себе какой-нибудь любопытный хозяин, привлеченный моею странною внешностью, дабы услышать от меня что-нибудь дико-

винное, то я угощал его такими историями, какие он больше всего хотел услышать, и навирал ему с три короба о том, что мне довелось видеть, слышать и испытать во время моих странствий, причем не стыдился пересказывать выдумки, басни и бредни древних писателей и поэтов, выдавая все за правду, как если бы я сам был всему и повсюду соучастник и очевидец; например, я сам видел понтийское племя, прозванное фибеями, у коих в одном глазу два человеческих глазных яблока, а в другом лошадиное, и в доказательство ссылался на свидетельство Филарха; я был у истоков Ганга, где обитают астомеи, которые ничего не едят, да и не имеют для сего ртов, а, согласно свидетельству Плиния, вкушают через нос запахи и тем питают себя; item у вифинских женок в Скифии и трибалиев в Иллирии, у коих по два глазных яблока в каждой глазнице, понеже о них сообщали Аполлонид и Исигон. За несколько лет перед тем я спознался с жителями горы Милас, у коих, как уверял Мегасфен, ноги, как у лисиц, а на каждой ноге по восемь пальцев; и у троглодитов на западе я взаправду бывал, у коих, о чем повествует Ктесий, нет ни головы, ни шеи, а глаза, рот и нос помещаются на груди, а также у моносцелиев и скиоподибов, у коих только одна нога, которой они прикрывают свое тело от дождя и зноя, но могут на той одной большой ноге перегнать оленя. Я видел антропофагов в Скифии и кафров в Индии, что поедают человеческое мясо; андабатов, что воюют с закрытыми глазами и бьются кучею; агриофанов, что пожирают мясо львов и пантер; аримфеев, что без опасения спят под деревьями безо всякой стражи; бактриев, которые живут так умеренно, что у них нет более ненавистного порока, чем пьянство и чревоугодие; самоедов, которые живут за Москвой под снегом; островитян в Персидском заливе у Ормуза, кои по причине нестерпимой жары спят в воде; гренландцев, у коих жены ходят в штанах; берберов, кои всех, кто достигает у них пятидесяти лет, закалывают и приносят в жертву своим богам; индейцев за Магеллановым проливом на Mare pacificum [1], чьи жены носят короткие волосы, а сами мужчины длинные косы; кондеев, что питаются змеями; язычников, что живут за Лифляндией и в известные времена года превращаются в оборотней; каспиев, которые заморивают голодом своих стариков, когда они достигнут семидесятилетия; черных татар, у которых рождаются дети с зубами; гетов, у которых все общее, в том числе и жены; гимантоподов, которые ползают по земле, как змеи; бразильцев, что встречают чужеземцев вином; и мосинеков, что потчуют своих гостей колотушками. Да что там, я видел даже селениток, которые, как утверждает Геродот, кладут яйца и выси-

[1] Тихий океан *(лат.)*.

живают из них людей, а те в десять раз больше, нежели мы в Европе.

Точно так же довелось мне узреть множество диковинных источников, как тот, откуда берет начало Висла, и воды сего источника затвердевают в камень, так что из него строят дома; item источник у Цепузио в Венгрии, чьи воды разъедают железо, или, лучше сказать, претворяют его в материю, из коей впоследствии выплавляют медь, ибо дождь там превращается в купорос; и еще там же ядовитый источник, вода коего то прибывает, то убывает, словно месяц, и где он увлажнит землю, произрастает одна только волчья трава; и еще там же источник горячий в зимнюю пору, а летом холодный, как чистый лед, в коем можно охлаждать вино. Я видел два родника в Ирландии, и кто изопьет воды из одного, тот станет стар и сед, а из другого — юн и пригож, также ручей у Энгстлена в Швейцарии, который течет только в то время, когда скот приходит на водопой; item различные источники в Исландии: один горячий, другой холодный, третий сернистый, четвертый несет растопленный воск; еще колодцы у святого Стефана, что насупротив Зааненланда в Швейцарском Союзе, куда люди смотрят, как в календарь, ибо вода там темнеет, когда собирается дождь, и, напротив, светла, когда погода должна проясниться; также ручеек Шёндлебах у Оберненхейма в Эльзасе, который начинает течь только в то время, когда на всю страну надвигается большая беда, как-то: глад, мор или война; ядовитый родник в Аркадии, что отнял жизнь у Александра Великого; воды Сибара, что возвращают черный цвет седым волосам; воды Синесваны, что излечивают женщин от бесплодия; воды на острове Энария, что изгоняют песок и камни из почек; воды Клитумно, от коих белеют быки, когда их там выкупают; воды Соленио, кои исцеляют любовные раны; родник Алеос, что разжигает любовный жар; родник в Персии, источающий чистое масло, и наш в Кронвейсенбурге, извергающий один только деготь и колесную мазь; воды острова Наксос, опьяняющие тех, кто их пьет; родник Аретузы, источающий сладкую воду. Также проведал я обо всех знатных топях, озерах, болотах и трясинах, как-то об озере у Циркница в Каринтии, где водятся рыбы, достигающие двух локтей длины, а когда оно высыхает к лету, то все они остаются на дне, и их собирают крестьяне, которые потом засевают озеро, жнут и собирают урожай; а после с осени оно само собою наполняется водою на восемнадцать локтей глубины и к будущей весне снова кишит рыбами; о Мертвом море в Иудее, озере Леомондо на Лемносе, которое простирается на двадцать четыре мили в длину и на нем немало островов, а среди них и плавающий остров, гонимый ветром вместе с пасущимся на нем скотом и всем, что там находится. Я мог

порассказать о Федерзее в Швабии, о Бодензее в Констанце, о Пилатовом озере на хребте Фрактмонт, об озере Камарина в Сицилии, Лаку Бебейде в Фессалии, Гигео в Лидии, Мареото в Египте, Стимфалид в Аркадии, Асканио в Вифинии, Икомед в Эфиопии, Феспротио в Амбракии, Трасименто в Умбрии, Меотид в Скифии и еще о многих других.

И точно так же повидал я все знатные реки на свете: Рейн и Дунай в Германии, Эльбу в Саксонии, Молдаву в Чехии, Инн в Баварии, Волгу в России, Темзу в Англии, Тахо в Испании, Амфриз в Фессалии, Нил в Египте, Иордан в Иудее, Гипаним в Скифии, Багряду в Африке, Ганг в Индии, Рио-де-ла-Плата в Америке, Эврот в Лаконии, Евфрат в Месопотамии, Тибр в Италии, Кидн в Киликии, Ахелой между Этолией и Акарнанией, Борисфен во Фракии, Саббатикус в Сирии, что течет шесть дней, а на седьмой исчезает; item реку в Сицилии, в которой, по свидетельству Аристотеля, задушенные и задохшиеся в силках птицы и звери снова оживали; а также Галлум во Фригии, который, по словам Овидия, наводит безумие на того, кто пьет из него. Я видел также плиниев источник Додона, и сам произвел пробу, узрев, как над ним горящие свечи потухают, а потухшие возгораются. Был я также и у источника в Аполлонии, который прозван чашей Нимфеи и тому, кто изопьет из него, по словам Теопомпуса, открывает все предстоящие ему несчастья.

Подобным же образом знал я и умел насказать с три короба о множестве наидиковиннейших вещей на свете, как-то о Каламинских лесах, кои странствуют с места на место, куда им заблагорассудится; был я также и в Циминском лесу, где остерегся воткнуть посох в землю, ибо там все, что туда попадает, сразу пускает корни, так что обратно не выдернешь, и разрастается в большое дерево. Видел я и два леса, о которых упоминает Плиний, где стволы деревьев то треугольны, то четвероугольны, а то подобны трапециям, а также скалы, которые то можно столкнуть, едва пошевелив пальцем, а то и не сдвинешь никакою силою.

Summa summarum я не только умел наврать кое-что о редких и диковинных вещах, но и сам видел все собственными очами, хотя бы то были прославленные строения, слывшие семью чудесами света, Вавилонская башня и тому подобные, которые уже много сот лет как исчезли с лица земли. Так же поступал я, когда доводилось мне говорить о птицах, зверях, рыбах, земных недрах, чтобы потешить моих хозяев, развесивших уши. Когда же я встречал сведущих людей, то старался не пересаливать, и так полегоньку добрался до Эйнзидлена, где свершил богомолье, и отправился в Берн, не только для того чтобы осмотреть сей город, но и затем, чтобы оттуда пробраться через Савойю в Италию.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплициус в замке, где призраки бродят,
Со страху душа его в пятки уходит.

Мне изрядно повезло, ибо по дороге я встречал чистосердечных людей, кои давали мне от щедрот своих пищу и пристанище, и чем далее, тем охотнее, ибо видели, что я не прошу и не принимаю денег, хотя бы мне давали всего один или два энгстера. В Берне приметил я весьма молодого разряженного человека, вокруг которого резвились дети, называвшие его папою, чему немало подивился, ибо еще не знал, что такие молодчики для того так рано женятся, чтобы тем скорее заделаться государственными персонами и пораньше засесть в префектуре. Сей увидел, как я побираюсь под окнами, и когда я собирался пройти мимо него с почтительным поклоном (ибо не мог снять шляпу, потому что ее на мне не было), вместо того чтобы по бесстыжему нищенскому обыкновению бежать за ним по улице, то опустил руку в кошелек и сказал: «Эй, чего ж ты не просишь у меня милостыньки? На вот, держи луцер». Я ответил: «Господин, я легко мог вообразить, что ты не носишь при себе хлеб, а потому и не утруждал тебя; а денег мне не надобно, ибо их не подобает иметь нищему». Меж тем обступила нас разношерстная толпа, к чему я уже давно привык; он же возразил мне: «Ты, видать, гордый нищий, ежели отвергаешь с презрением деньги».— «Нет, господин, соизволь мне поверить,— сказал я,— что я отвергаю их, чтобы не возгордиться». Он спросил: «А где обретешь ты ночлег, ежели у тебя нет денег?» Я ответил: «Когда бог и добрые люди соизволят мне отдохнуть в этом сарае, в чем я сейчас весьма нуждаюсь, то вполне буду доволен и ублаготворен сим пристанищем». Он же сказал: «Когда б я знал, что у тебя нет вшей, то приютил бы у себя и уложил в мягкую постель». Я же возразил ему, хотя у меня столь же мало вшей, как и грошей, однако ж не могу рассудить, стоит ли мне почивать в постели, ибо сие может меня изнежить и отвратить от привычки к суровой жизни. Тут подошел весьма взрачный почтенный старик, к коему молодой обратился с такими словами: «Погляди, бога ради, на второго Диогена Циника!» — «Эге, братец! — сказал старик.— Что ты там такое говоришь? Разве он кого-нибудь облаял или укусил? Подай ему милостыньку, и пусть он идет своею дорогою». Молодой ответил: «Господин дядюшка! Он не берет денег и не принимает благодеяния, какое ему хотят оказать». И тут поведал старику обо всем, что я говорил и как поступал. «Эва! — воскликнул старик.— Сколько голов, столько умов!», и затем приказал своему слуге отвести меня на постоялый двор и

пообещать трактирщику заплатить за все, что мне потребуется на эту ночь; молодой же крикнул мне вдогонку, чтобы я непременно снова пришел к нему поутру, он даст мне на дорогу отменный кусочек холодного жаркого.

Итак, сбежал я от обступившей меня толпы, которая куда сильнее улюлюкала, чем я тут описываю; однако я попал из Чистилища в Пекло, ибо в трактире было полно пьяных и вздурившихся людей, которые задали мне такую баню, какую мне еще не доводилось повидать за время моего паломничества. Всяк хотел знать, кто я такой. Один уверял, что я шпион или лазутчик, другой говорил, что я перекрещенец, третий объявил меня дурнем, четвертый почел меня за святого пророка, а большая часть полагала, что я Вечный жид, о чем я уже повествовал раньше, и едва не принудили предъявить доказательство того, что я не обрезан. Наконец трактирщик сжалился надо мною, вырвал меня от них и сказал: «Оставьте вы его в покое, я не знаю, кто из вас больший дурень, он или вы все!» Засим отвел он меня спать.

На другой день отправился я к дому молодого господина, чтобы получить у него обещанный завтрак; но не застал его, а ко мне вышла его жена со всеми детьми, верно, затем, чтобы подивиться на мое странное обличье, о чем ей нарассказал муж. Я сразу понял из ее речей, что он пошел в сенат с нерушимой надеждой заступить в тот же день должность ландфогта или ландамтмана; мне надобно, сказала она, только малость подождать, ибо вскорости он вернется. Пока мы с нею так толковали, вышел он из переулка и, как мне показалось, куда менее веселый, нежели был вчера вечером. Едва только он ступил на порог, жена его воскликнула: «Бесценный мой! Ну, как тебя назвали?» Он же взбежал по лестнице и на ходу крикнул ей: «Гунсвотом меня назвали!» Тут я помыслил: «На сей раз он не окажет тебе особливой милости», и того ради тихонько пошел прочь, однако его дети побежали за мною следом, чтобы вдосталь на меня надивиться; к ним по дороге пристали другие, перед коими они похвалялись с превеликою радостию, какую почетную должность получил их отец. «Вона,— говорили они каждому встречному,— наш-то батюшка теперь стал гунсвотом», на какую их простоту и глупость принужден был я рассмеяться.

А когда я приметил, что в городах мне не столь вольготно, как в деревне, то положил намерение никогда больше не заглядывать ни в один город, ежели только возможно его обойти. Итак, пробавлялся я молоком, сыром, слабым творогом, маслом и куском хлеба, что уделяли мне сельские жители почитай что до самой савойской границы. Однажды странствовал я в тамошней местности и месил грязь до лодыжек, пока не набрел на дворянское поме-

стье, как раз в то время, когда припустился такой дождь, словно поливали из кадки. Когда я приблизился к сказанному благородному замку, то, по счастью, попался на глаза самому его владельцу. Он не только подивился диковинному моему платью, но и моей стойкости; и понеже я при столь сильном ненастье не просился под крышу, хотя был у меня к тому довольный повод, то сперва почли меня за сущего дурня. Однако ж, уж не ведаю, из сострадания или любопытства послал он вниз слугу, который сказал, что его господин желает узнать, кто я такой и по какой причине брожу вокруг его дома в столь ужасную непогоду.

Я отвечал: «Друг мой! Скажи твоему господину, что я мяч преходящего счастья, образ изменчивости и зерцало непостоянства жизни человеческой. А странствую я в такую непогоду не по иной какой причине, кроме той, что с того самого часа, как начался дождь, никто не предложил мне пристанища». Когда слуга передал это своему господину, тот сказал: «Сие не дурацкие речи; к тому же дело к ночи, и в такую худую погоду не гонят со двора и собаку!», того ради велел меня впустить в замок и отвести в людскую, где я вытер ноги и высушил платье.

У сего кавалера служил дворецким, наставником его детей и в то же время писцом, или, как они теперь хотят чтобы их называли, секретарем, некий малый, который стал меня допрашивать: откуда, куда, из какой страны и какого званья. Я же рассказал ему по правде мои дела, где жительствовал и где обитал, когда был отшельником, а теперь возымел намерение посетить святые места. Все сие передал он своему господину, который соизволил меня пригласить отужинать с ним, и меня там угостили на славу, а я, по желанию владельца замка, принужден был повторить все, что раньше поведал его писцу о своем житии и странствии. Он расспрашивал меня обо всех подробностях с такою точностию, как если бы сам там бывал, ровно у себя дома; и когда меня провожали спать, то он сам пошел вместе со слугою, который светил нам, и отвел меня в такой великолепный покой, что почивать там было впору какому-нибудь графу, каковая чрезмерная учтивость повергла меня в изумление, так что я не иначе вообразить мог, что делает он это из одного токмо благочестия, ибо возомнил, что всем своим обличьем я похожу на набожного пилигрима. Но тут крылось совсем другое; ибо когда он был со слугою, державшим свечу в дверях, а я проворно улегся в постель, то сказал: «Ну вот, господин Симплициус! Приятного сна! Я-то знаю, что ты не боишься привидений, однако ж могу тебя уверить, что тех, которые бродят по этому покою, ты не прогонишь никакой плеткой». С такими словами замкнул он покой, оставив меня в смятении и страхе.

Я ломал голову и долго не мог уразуметь, каким образом меня признал сей господин и где видел; ибо доподлинно назвал меня прежним моим именем, пока после долгих размышлений не взошло мне на ум, что однажды, уже после смерти друга моего Херцбрудера, на Кислых водах зашла у меня с несколькими кавалерами и студентами беседа о привидениях, и двое швейцарцев, доводившихся друг другу братьями, поведали диковинную историю, как в доме их отца куролесили духи не только ночью, но нередко и днем; я же тогда возразил им и с большою дерзостью утверждал, что тот, кто страшится привидений, трусливый простофиля, после чего один из сих братьев, вырядившись во все белое, пробрался ночью ко мне в комнату и зачал там греметь, вознамерившись меня напугать и, когда я, помертвев от страха, буду лежать не шелохнувшись, стащить с меня одеяло, а затем по учинению сей шутки жестоко поиздеваться надо мною и тем наказать за дерзкую мою самонадеянность. Но когда он стал колобродничать так, что я пробудился, то выскользнул из постели и, схватив подвернувшуюся под руку плетку, огрел призрак меж лопаток и принялся что есть силы лупить его, приговаривая: «Ого, парень, там, где бродят привидения, девки становятся бабами, но сегодня господин дух прибрел понапрасну!», покуда он в конце концов от меня не вырвался и не убежал.

Когда я вспомнил эту историю и принял в рассуждение последние слова моего Амфитриона, то легко мог уразуметь, откуда ветер дует. И тут я сказал самому себе: «Ежели они сказали тебе правду о страшном привидении в доме их отца, то, нет сомнения, лежишь ты сейчас в той самой комнате, где всего злее бушует всякая нечисть; а ежели они тебе набрехали скуки ради, то уж, наверно, велят отхлестать тебя плетью, так что тебе потом долго не поздоровится». Поразмыслив, вскочил я с постели в намерении выпрыгнуть в окошко; однако ж там повсюду были железные решетки, так что я не мог ничего поделать, и горше всего, что у меня не было при себе никакого оружия, даже моего тяжелого страннического посоха, которым в случае нужды я сумел бы отбиться; а посему снова юркнул в постель, хотя и не мог заснуть, ожидая со страхом и тревогою, что принесет мне сия жестокая ночь.

Около полуночи растворились двери, хотя я надежно задвинул их изнутри на засов. Первым вошел почтенный важный старец с длинною седою бородою, одетый по старинной моде в долгополый талар из белого атласа, расшитый золотыми цветами и подбитый норкою; за ним следовали трое, также мужи весьма почтенные; и когда они вступили в комнату, то сразу стало так светло, как если бы они несли факелы, хотя я не приметил даже свечки

Schau hier des Simplex Geister Plag,
Die ihme listig stellen nach,
Wie er mit ihnen sich vertrag.

«Симплициссимус». Книга шестая, глава пятнадцатая.

или чего еще подобного. Я сунул пос под одеяло, оставив снаружи одни глаза, словно напуганный трусливый мышонок, когда он забился в норку и высматривает, есть ли опасность. Они же, напротив, подступили к моей постели и стали меня прилежно оглядывать, а я их. Сие продолжалось весьма малое время, а затем они все отступили в угол и подняли одну из каменных плит, коими был устлан пол, и вынули из-под нее полный прибор, какой надобен цирюльнику, когда он собирается окорнать у кого-нибудь бороду. С сим инструментарием подступили они ко мне снова, поставили посреди покоя стул и, показывая на него, дали уразуметь, что надлежит мне подняться с постели, усесться и дозволить себя побрить. Но как я все еще тихонько лежал, то самый важный из них стал срывать с меня одеяло, чтобы силой принудить меня сесть на стул; тут каждый может вообразить, какие мурашки побежали у меня по спине. Я уцепился что есть силы за одеяло и сказал: «Господа, что вам угодно? Что вознамерились вы у меня остричь? Я бедный пилигрим, у коего ничего нет, окромя его собственных волос, дабы укрыть голову от дождя, ветра и зноя. Да вы и не похожи совсем на эту сволочь цирюльников; того ради оставьте меня небритым и нестриженым». На мои слова отвечал знатнейший: «Мы-то и есть самые заправские цирюльники; но ты можешь нам пособить и должен нам это обещать, коли хочешь остаться небритым-нестриженым». Я сказал: «Когда сия помощь мне под силу, то обещаю исполнить все, что могу и что для сего надобно; того ради откройте мне, чем же я должен пособить вам». На то старший из них объявил: «Я — предок владельцев здешнего замка и затеял со своим двоюродным братом из рода N. несправедливую тяжбу из-за двух деревенек N.N., кои ему принадлежат по праву, и с помощью всяких хитростей и уловок так повернул дело, что сии трое были избраны криводушными судьями, коих я различными обещаниями и угрозами склонил присудить мне обе сказанные деревеньки. Засим принялся я так стричь, драть и кровь отворять у своих подданных, что наскреб немалую толику денег, они-то и схоронены тут в уголке, а я до сих пор не расстаюсь с сим ремеслом в расплату за свое живодерство. Когда бы эти деньги вернулись к людям (ибо обе деревни тотчас же после моей смерти снова достались законному владельцу), ты бы помог мне так, как ты только сможешь, ежели расскажешь о сих обстоятельствах моему правнуку. А дабы они словам больше поверили, попроси поутру отвести тебя в так называемую зеленую залу; там отыщешь ты мой портрет, перед коим и поведаешь ему обо всем, что ты от меня услышал». Когда он мне все сие объявил, то протянул руку и потребовал, чтобы я дал ему руку в уверение того, что все то исполню. Но понеже я не раз слыхивал, что ни одному

привидению нельзя подавать руку, то сунул ему уголок от простыни, который тотчас же воспламенился и сгорел, едва он к нему притронулся. Духи же отнесли весь свой цирюльничий прибор на старое место, уложили плиту и поставили стул туда, где он стоял прежде, после чего вышли гуськом из комнаты. Я же потел, как жаркое на огне, однако ж у меня достало храбрости снова уснуть посреди таких страхов.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций из замка выходит на волю,
Зашиты дукаты в новом камзоле.

Уже давным-давно стоял белый день, когда владелец замка вместе со своим слугою подошел к моей постели. «Доброго здравия, господин Симплициус,— воскликнул он,— ну, как почивал ты нонешней ночью? Не случилась ли тебе нужда в доброй плетке?» — «Нет, мусье,— отвечал я,— те, что тут обитают, не нуждаются в ней, как те, что собирались подшутить надо мною на Кислых водах».— «Однако, как тут все сошло? — продолжал он расспрашивать.— Ты все еще не боишься привидений?» Я отвечал: «Не буду уверять, что обходиться с привидениями — приятная потеха, но никогда не признаюсь, чтоб оттого я стал их бояться. А как тут все сошло, тому свидетель эта обгорелая простыня, и я обо всем поведаю господину, как только сведет он меня в зеленую залу, где я должен показать ему доподлинный портрет главного призрака, который доселе бродит в здешних местах». Он поглядел на меня с удивлением и мог легко догадаться, что я беседовал с духами, ибо не только помянул зеленую залу, о которой ничего ни от кого не слыхал, но и показал обгорелую простыню. «Теперь-то наконец ты поверил,— спросил он,— всему тому, что я рассказал на Кислых водах?» Я отвечал: «Какая нужда мне верить, когда я сам все испытал?» — «Ну вот! — продолжал он.— Я охотно обещал бы тысячу дукатов тому, кто снимет с меня этот тяжкий крест». Я отвечал: «Пусть господин оставит их при себе; он будет избавлен от сего, не потратив ни единого гроша, да еще получит в придачу добрый куш денег».

Тут я встал с постели, и мы вместе отправились прямо в зеленую залу, которая в то же время служила потешной палатой и кунсткамерой. Меж тем подоспел и его брат, которого я отстегал плетью на Кислых водах; а за ним ради меня посылали гонца, ибо он жил примерно в двух часах пути от замка; и так как он поглядел на меня довольно сердито, то я обеспокоился, не помыш-

ляет ли он о мести. Однако ж я не показал ни малейшего страха, а как только мы пришли в сказанную залу, то сразу отыскал средь прочих искусных картин и редкостей тот самый портрет, ради коего пришел. «Вот,— сказал я, обратившись к обоим братьям,— вот ваш предок, который незаконным образом отсудил у рода N. две деревни N.N., каковые ныне снова принадлежат законным их владетелям. С помянутых деревень предок ваш содрал знатные денежки, которые в том самом покое, где я нонче искупил свой грех, учиненный мною на Кислых водах, когда я натешился плеткою, велел при жизни своей замуровать, по каковой причине он доныне так страшно гремел в здешнем замке вместе со своими пособниками». Когда же они хотят, чтобы он угомонился и дом их впредь обрел покой, то должны они размуровать эти деньги и поместить их туда, где, по их мнению, они послужат добру. Я же хотел только показать им, где лежит клад, и потом с божьим именем отправиться своим путем. И понеже я сказал им сущую правду об их предке и помянутых двух деревнях, то они рассудили, что я не налгал им и о схороненном кладе, того ради отправились мы снова в мою спальню, где подняли каменную плиту, откуда призраки вынули брадобрейный прибор, а потом положили туда же. Однако ж не нашли там ничего, кроме двух глиняных горшков, которые казались совсем новешенькими; один полон красного, а другой белого песку, а посему оба брата принуждены были расстаться с надеждой выудить там какое-либо сокровище. Я же нимало о том не сокрушался, а возвеселился оттого, что мне открылся случай проверить на опыте то, что пишет удивительный Теофраст Парацельс в своих сочинениях в Tom. IX «Philosophiae occultae» [1] о трансмутации потаенных сокровищ; того ради, захватив оба горшка с содержащейся в них материей, я отправился с ними в кузницу, которая стояла на переднем замковом дворе, поставил их на огонь и нагнал надлежащий жар, как то обычно делают при таких процедурах, когда хотят выплавить металл. И когда я дал им самим по себе охладиться, то нашли мы в первом горшке большой слиток дукатного золота, а во втором глыбу четырнадцатилотового серебра, так что не могли узнать, какие это были монеты. Когда мы покончили с этой работой, подоспел обед, во время каковой трапезы мне не только не пошли в горло ни кушанья, ни напитки, но стало так худо, что принуждены были уложить меня в постель; уж не знаю, по той ли причине, что я несколько дней перед тем умерщвлял свою плоть под холодным дождем, или оттого, что меня прошедшей ночью так напугали призраки.

[1] «Оккультная философия» *(лат.)*.

Целых двенадцать дней принужден был я пролежать, не вставая с постели; и не умерев не мог бы проболеть жесточе. Одно-единственное кровопускание и добрый уход изрядно мне помогли. Меж тем оба брата без моего ведома призвали золотых дел мастера и учинили пробу спекшейся массе, ибо опасались какого-нибудь обмана. Но как оба слитка объявились доподлинными, а к тому же ни один призрак больше не бродил по замку, то оба брата прямо не знали, какую бы еще мне оказать честь и услугу, так что даже почитали меня святым человеком, от кого не сокрыто ничего тайного, ниспосланного им самим богом, чтобы вернуть их дому тишину и порядок. Того ради владелец замка почти не отходил от моей постели и был весьма рад, когда мог вести со мной беседу. И сие продолжалось до тех пор, пока ко мне не вернулось совершенное здравие.

В это время владелец замка чистосердечно рассказал мне, что, когда он был еще юным отроком, к отцу его явился некий бродяга, который вызвался заклясть духа и избавить дом от такой нечисти; и для исполнения сего дела заперли его в том самом покое, где мне пришлось провести ночь. Однако ж, когда те же призраки и в том же самом облике, как я их описал, столпились над ним, то выволокли из постели, усадили в кресло и по своему усмотрению постригли и окорнали; и так несколько часов тиранили и стращали, что поутру нашли его полумертвым; за одну ночь у него совершенно поседели борода и волосы, хотя с вечера ложился в постель черноволосый тридцатилетний мужчина; признался мне хозяин и в том, что поместил меня на ночлег в эту комнату не по какой иной причине, а чтоб хорошенько отплатить за своего брата и заставить меня поверить всему тому, что он прежде рассказал об этом привидении и чему я никак не хотел поверить; просил меня о прощении, а также обязался, что всю жизнь пребудет моим верным другом и покорным слугою.

А когда я снова выздоровел и стал собираться в путь, то предложил он мне лошадь, платье и денег на пропитание; а когда я ото всего этого наотрез отказался, то не захотел ни за что отпускать, упрашивая не превращать его в самого наинеблагодарного человека на свете и взять на дорогу, по крайности, хоть немного денег, ежели я только намерен в столь жалком одеянии окончить свое паломничество. «Кто знает,— сказал он,— где они могут понадобиться господину?» На такие его слова я принужден был рассмеяться и сказал: «Господин мой, мне, право, чудно́, что ты называешь меня господином, когда видишь, что я прилагаю все старание, чтобы остаться бедным нищим».— «Будь по-твоему,— ответил он,— но тогда оставайся у меня до конца дней своих и принимай каждодневно милостыню от моего стола».— «Господин,—

возразил я ему,— когда я так поступлю, то стану еще более важным барином, чем ты сам. А что же тогда станется с бренным моим телом, когда я заживу тут без забот, как богач, положась на старого императора? Разве привольные деньки не изнежат его? А ежели господин все же хочет одарить меня, то прошу его распорядиться, чтобы мне подбили кафтан, ибо дело идет к зиме».— «Ну, слава богу,— воскликнул он,— что нашлось хоть что-то, чем я могу оказать свою благодарность!» Засим велел он принести мне халат на меху, чтобы я носил его, покуда мой кафтан подобьют сукном, ибо я не хотел принять никакой другой подкладки. Когда все было готово, он отпустил меня, надавав писем к родным, чтобы я вручил их по пути, не столько для того, чтобы сообщить что-либо важное, сколько затем, чтобы отрекомендовать меня.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций в одежде худой пилигрима
Решает добраться до Иерусалима.

Итак, отправился я странствовать по свету, намереваясь в сем нищем облике посетить наисвященные и знаменитейшие места, ибо вообразил, что сам бог воззрел на меня милостивым своим оком, и полагал, что ему угодны мое терпение и добровольно принятая бедность и он вспомоществует мне, как я всегда незримо чувствовал на себе его помощь и заступление. На первом же ночлеге пристал ко мне некий почтарь, который уверял, что он направляется туда же, куда и я, а именно в Лоретто. И так как я не знал туда дороги, да и не разумел тамошнего языка, он же уверял, что не особенно скор в ходьбе, то мы порешили держаться вместе и составить друг другу компанию. У почтаря также обычно находились дела там, где я должен был представить письма владетеля замка и где нас по-княжески угощали. Когда же ему случалось завернуть в какой-нибудь трактир, то принуждал он меня идти с ним и платил за меня, чего я долго не хотел от него принимать, ибо думал, что таким образом помогаю ему расточать его плату, которую он зарабатывает в поте лица своего. Он же говорил, что угощается там, где я представляю письма, пирует по моей милости и может сберечь свои денежки. Так перевалили мы через горы и пришли вместе в плодоносную Италию, где мой спутник наконец-то признался, что вышепомянутый владетель замка поручил ему сопровождать меня и платить за меня по трактирам; того ради просил меня, чтобы я дозволил ему быть со мною и не презрел добровольной милостыни, которую послал мне вслед его гос-

подип, ибо лучше вкушать от нее, нежели по нужде выпрашивать у разных недоброхотов. Я подивился благородству души сего господина, однако ж не захотел, чтобы мнимый почтарь долее со мною оставался или тратил еще что-нибудь на меня под тем предлогом, что он уже и так оказал мне много чести и благодеяний, за которые никогда не сумею ему отплатить; по правде, же потому, что положил твердое намерение презреть всякое человеческое утешение и в жалком смирении нести свой крест и страдания, положившись на единого бога. Я также не принял бы от своего спутника ни проводов, ни пищи, когда бы знал, что он затем только и был отряжен.

Когда же он увидел, что я наотрез отказываюсь от проводов и, отворотившись, лишь попросил передать от меня поклон его господину и еще раз поблагодарил за все оказанные мне благодеяния, то с немалою печалью простился со мною и сказал: «Ну, ладно, дорогой Симплициус, хотя ты теперь не поверишь, сколь чистосердечно хотел мой господин сотворить тебе добро, однако ж узнаешь о сем, когда порвется подкладка твоего кафтана или ты сам надумаешь его починить». И с тем исчез из глаз моих, словно его подгонял ветер.

Тут я подумал: «Что бы могли означать слова этого малого? Никогда б не поверил, что его господин раскаялся в том, что дал мне подкладку для кафтана. Нет, Симплиций! — сказал я самому себе.— Он не послал бы этого почтаря за свой счет в столь дальний путь, чтобы попрекнуть меня тем, что он велел подбить мой кафтан; тут кроется что-то другое». А когда я учинил осмотр своему кафтану, то обнаружил, что он велел вшить под сукно один за другим дукаты, так что без моего ведома я унес на себе знатную сумму денег. Сие весьма меня обеспокоило, и я бы хотел, чтобы все это лучше осталось у него. Я терялся в мыслях, куда мне девать и на что употребить эти деньги: то думал о том, чтобы воротить их назад, то предполагал снова обзавестись своим домом, то купить себе доходное место; под конец же решил издержать их на путешествие в Иерусалим, которое нельзя совершить без денег.

Следуя сему намерению, пошел я прямой дорогой в Лоретто, а оттуда в Рим. А когда я пробыл там некоторое время, совершил богомолье и свел знакомство с некоторыми паломниками, которые также вознамерились посетить Святую Землю, то отправился вместе с одним генуэзцем на его родину. Там наведывались мы, не представится ли случай переплыть Средиземное море, и после недолгих расспросов нашли судно, груженное купеческими товарами, готовое к отплытию в Александрию и ожидавшее только способного ветра. Какое чудесное, прямо божественное средство день-

ги в руках мирского человека! Патрон, или владелец судна, не хотел взять меня на борт ради нищенского моего одеяния, хотя шел я с золотою молитвою и медным грошем; ибо когда он увидел меня и поговорил со мною в первый раз, то наотрез отверг мою просьбу; но как только показал я ему пригоршню дукатов, кои были назначены на мое путешествие, то мы тотчас же без всяких дальних просьб и не торгуясь ударили по рукам, после чего он сам преподал мне инструкцию, какой надлежит мне запастись провизией, а также о прочих надобностях. Я последовал его наставлениям и с божьим именем на устах отплыл.

Во время всего плавания не испытали мы ни малейшей опасности от непогоды или противного ветра; однако морские разбойники, которые иногда появлялись на виду и обнаруживали намерение на нас напасть, часто побуждали нашего капитана удирать от них, ибо он хорошо знал, что ему надлежит более полагаться на скорость своего корабля и искать спасения в бегстве, нежели в сражении с ними; и так прибыли мы в Александрию быстрее, чем того ожидали все, кто плыл на нашем судне, что я почел добрым предзнаменованием благополучного окончания моего путешествия. Я уплатил за провоз и остановился у французов, которые обосновались в тамошних местах; от них я узнал, что совершить паломничество в Иерусалим на сей раз невозможно, ибо как раз в то самое время турецкий паша из Дамаска возмутился против своего султана и находился тогда in armis [1], так что ни один караван, будь он мал или велик, не мог пройти из Египта в Иудею, даже дерзостно подвергнув себя опасности потерять все.

В то время в Александрии, где и без того нездоровый воздух, свирепствовала прилипчивая болезнь, что принудило ретироваться оттуда многих чужестранцев, особливо же европейских купцов, которые больше страшатся смерти, нежели турки и арабы. С подобной компанией отправился я в Розетту, большое поселение в устье Нила. Там сели мы на корабль и на раздутых парусах поплыли по Нилу до местечка, откуда примерно час пути до большого города Аль-Каира, также называемого Старый Аль-Каир; там высадились мы около полуночи, нашли себе пристанище и дождались утра, когда отправились в теперешний доподлинный Аль-Каир, где я узрел смешение многоразличных наций. Там также можно было встретить столько же диковинных растений, как и людей; но что показалось мне наидиковинным, так то, что жители в разных местах выводят в особо устроенных для того печах цыплят из яиц, к которым не подпускают кур с тех пор, как они их снесли; и заняты таким делом у них старухи.

---

[1] быть вооруженным, находиться в состоянии войны *(лат.)*.

Хотя мне еще не довелось видеть такой большой многолюдный город, где бы можно было дешевле прокормиться, чем в Аль-Каире, но тем не менее дукаты мои мало-помалу исчезали, и, как ни было там дешево, я легко мог рассчитать, что не смогу продержаться до тех пор, пока мятеж, поднятый в Дамаске пашой, уляжется и путь в Иерусалим, куда я направлялся, станет безопасен; того ради я спустил поводья моих желаний поглядеть на различные другие вещи, к чему подстрекало меня любопытство. Среди них было место по ту сторону Нила, где выкапывают мумию; я посетил его несколько раз; item то место, где стоят две пирамиды Фараона и Родопы, и так вызнал дорогу, что хотя был там чужой и никому не ведом, осмеливался ходить туда проводником. Однако последний раз мне не очень-то повезло; ибо когда я отправился с несколькими людьми, чтобы добыть мумию, к египетским могилам, где также стояли пять пирамид, то нас подстерегли разбойники, которые в тех местах грабили охотников за страусами; они захватили нас врасплох и вывели различными окольными путями через пустыню к Красному морю, а там распродали поодиночке.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиция водят на цепи по майданам,
Набивают бродяги себе карманы.

Только меня одного оставили непроданным, ибо когда четверо самых отчаянных разбойников приметили, что глупые люди дивятся на мою косматую швейцарскую или капуцинскую бороду и длинные волосы, то решили обратить это себе на пользу и того ради взяли меня как свою долю в добыче, отделились от всей прочей шайки, содрали с меня кафтан и прикрыли мне стыд, опоясав красивым мохом, который в Arabia Felici[1] обычно растет в лесах, обвивая некоторые деревья, и понеже я и так обык ходить босым и с непокрытой головою, то вид имел весьма диковинный и странный. В таком образе водили они меня как дикого человека по городам и весям по всему Красному морю и показывали всюду за деньги, уверяя, что нашли меня и взяли в плен в Arabia Deserta[2] далеко от всякого человеческого жилья. Я не смел вымолвить на людях ни единого слова, ибо в противном случае они грозили мне смертью; и мне было весьма трудно от того удержаться, так как я уже научился немного лепетать по-арабски; но они разрешали

[1] Счастливая Аравия *(лат.)*.
[2] Пустынная Аравия *(лат.)*.

мне это, когда я оставался с ними один. Тогда я стал им наговаривать, что мне такой их промысел весьма пришелся по нраву, ибо они содержат меня хорошо, и я довольствуюсь теми же кушаньями и напитками, что они сами, по большей части рисом и бараниной. Такими речами склонил я их к тому, что они дозволяли мне по ночам, а иногда и днем на дорогах укрывать себя от холода кафтаном, в коем еще застряло несколько дукатов.

Сим образом переправился я через Красное море, ибо мои четыре хозяина посещали города и майданы по обе его стороны. Мои похитители собрали за короткое время изрядную сумму денег, пока мы наконец прибыли в большой торговый город, где находился двор турецкого паши и было большое стечение народа всех наций со всего света, ибо там выгружали индийские купеческие товары и оттуда через Алеппо и Аль-Каир переправляли на Средиземное море. Там двое моих хозяев, получив разрешение у властей, ходили по знатнейшим базарам того города с дудкою и кричали по их обыкновению, что тот, кто хочет повидать дикого человека, которого поймали в каменной пустыне Аравии, должен направиться в такое-то и такое-то место. Меж тем двое других сидели со мною в нашем пристанище и убирали меня, то есть как можно наряднее взбивали мои волосы и бороду и прилагали к тому больше стараний, нежели я сам за всю свою жизнь, дабы ни единой волос не упал с головы моей, ибо приносил им немалую прибыль. Тем временем собралось отовсюду и столпилось неимоверное множество народу, среди коего, как я приметил по платью, были и европейцы. Ну вот, подумал я, близится час твоего освобождения, и откроются обман и разбойничьи поступки твоих хозяев. Однако я еще долго помалкивал, пока не услышал, что некоторые стали переговариваться между собою на верхнем и нижнем немецком языке, а некоторые по-французски или по-итальянски. Когда же они повысказали обо мне свое суждение, то я не мог больше удержаться и пробормотал, немного запинаясь, по-латыни (дабы меня сразу могли уразуметь все европейские нации), как сумел: «Прошу вас всех, господа, ради Христа нашего спасителя, спасите меня из рук этих разбойников, которые плутовским образом устроили здесь со мной позорище». Едва только успел я вымолвить сии слова, как один из моих хозяев выхватил ятаган, чтобы положить конец моим речам, хотя он и не уразумел, что я сказал; однако честные европейцы помешали его намерению. После чего сказал я по-французски: «Я немец и хотел по обыкновению пилигримов совершить паломничество в Иерусалим, также был снабжен необходимыми подорожными пашпортами к пашам в Александрии и Аль-Каире, однако ж по причине дамасской войны не мог далее совершать путь и некоторое время пребывал в Аль-

Каире, дожидаясь удобного случая, чтобы продолжать мое путешествие, когда меня вместе с некоторыми другими добропорядочными людьми захватили в плен неподалеку от сказанного города, разбойническим образом увели с собою и, до сего времени показывая меня, собрали изрядную сумму денег, обманув несчетное множество народа». Засим обратился я к немцам с просьбою не покидать своего земляка. Меж тем незаконные мои господа не хотели отдать меня добром; но как случились тут в толпе чиновники из Аль-Каира, которые засвидетельствовали, что они полгода назад видели меня в своем отечестве в одежде; засим европейцы пожаловались паше, который принудил четырех моих хозяев предстать перед ним. Паша, выслушав жалобу и ответ, а также показание обоих свидетелей, рассудил и вынес приговор, согласно коему мне была снова предоставлена полная свобода, четверо разбойников, понеже они попрали подорожные пашпорта, пашою осуждены на галеры в Средиземном море, половина же собранных ими денег отходит в казну, другая же половина делится на две части, из коих одну надлежит вручить мне за претерпетые мною несчастья, а другую употребить на выкуп всех остальных людей, которые были вместе со мною взяты в плен и проданы в рабство. Сей приговор не только был оглашен публично, но и тотчас же приведен в исполнение, по коему я получил свободу, мой кафтан и знатную сумму денег.

Когда я избавился от цепи, на которой водили меня эти мошенники как дикого человека, облачился снова в старый кафтан и получил деньги, которые мне присудил паша, то меня хотел взять к себе консул, или резидент, каждой европейской нации: голландцы потому, что считали меня своим соотечественником, остальные потому, что полагали, что я их единоверец. Я же благодарил всех, особливо же за то, что они сообща так по-христиански освободили меня, правда, от шутовского, но тем не менее опасного пленения, и обдумывал, как мне надлежит повести себя, когда я снова против своей воли и чаяния приобрел много денег и друзей.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплициус после кораблекрушения
Обретает камрада себе в утешение.

Мои земляки уговорили меня переменить платье; и понеже у меня не было никакого дела, то перезнакомился я со всеми европейцами, которые как по христианской любви, так и ради моей диковинной судьбы охотно со мною толковали и нередко пригла-

шали в гости. И как все еще было мало надежды, что дамасская война в Сирии и Иудее придет к скорому окончанию и я смогу снова предпринять и совершить паломничество в Иерусалим, то замыслил иное и вознамерился на большом португальском парснике (кой был готов к отплытию на родину с большим грузом дорогих купеческих товаров) отправиться в Португалию и взамен паломничества в Иерусалим посетить святого Якова Компостельского, а затем где-либо поселиться на покое, проживая то, что послал мне бог. И как сие могло быть совершено без особых издержек (ибо едва я получил много денег, как стал скупенек), то и сговорился на судне с португальским главным купцом, что он заберет себе все мои деньги и употребит на свои нужды, а в Португалии вернет их и interim [1] вместо процентов доставит меня домой, а на время плавания возьмет меня к своему столу; напротив того, я неукоснительно обязывал себя ко всем работам на воде и на суше, которые могут потребовать случай или нужда на корабле. Но я устроил пир без хозяина, ибо не знал, что уготовил мне преблагий бог; и я пустился в сие далекое и опасное путешествие с тем большею горячностию, понеже минувшее плавание по Средиземному морю было весьма благополучно.

А когда мы на том корабле вышли из Sinus Arabici, или Красного моря, в Океан, то с желанным способным ветром стали держать путь на мыс Доброй Надежды и плыли под парусами весьма благополучно несколько недель, так что и не могли бы желать себе более благоприятной погоды. Однако, когда мы полагали, что вскорости дойдем до острова Мадагаскар, внезапно налетела такая буря, что мы едва успели спустить паруса. Сия буря умножалась час от часу, так что мы принуждены были срубить мачту и отдать корабль во власть и на волю волн. Они вздымали нас ввысь к облакам и в ту же минуту погружали в бездну, что продолжалось с полчаса, когда мы научились прилежно молиться. Наконец бросило нас на скрытый под водою каменистый кряж с такою силою, что корабль наш с ужасающим треском разбился, наполнив воздух прежалостными стонами и криками. В одно мгновение все вокруг было усеяно ящиками, балками и обломками корабля; повсюду, как на гребнях волн, так и в бездне, можно было увидеть и услышать, как злополучные люди, уцепившись за все, что только подвернулось им под руку в случившейся напасти, с прежалостными воплями оплакивали свою погибель и вручали свои души богу. Я и корабельный плотник лежали на большом обломке судна с уцелевшими перекладинами, за которые мы крепко держались и подбадривали друг друга. Меж тем мало-помалу стих

[1] между тем *(лат.)*.

ужасающий ветер, и постепенно укротились и улеглись бушующие волны рассвирепевшего моря; но засим настала непроглядная ночь со страшным ливнем, так что, казалось, мы будем посреди моря потоплены сверху. Так продолжалось до самой полуночи, когда мы претерпели самую жестокую напасть. Потом небо прояснилось, так что мы завидели звезды, по коим приметили, что ветер относит нас от берегов Африки в Океан ad terram australem incognitam [1], что нас весьма озадачило. Под утро снова стало так темно, что мы не могли видеть друг друга, хотя и лежали совсем близко. В такой темени и бедственной скуке плыли мы все дальше и дальше, покуда нечаянно не сели на мель и не остановились. У плотника за поясом был заткнут топор, коим он проведал глубину и обнаружил, что с одной стороны вода по колено, что нас весьма обрадовало и вселило несомнительную надежду, что бог поможет нам выбраться на землю, и сие подтвердили нам и донесшиеся до нас благовонные дуновения, которые мы почуяли, как только немного пришли в себя. Но так как было еще темно и мы оба пришли в совершенное изнеможение, а близился день, то мы не отважились сойти в воду и плыть на поиски земли, невзирая на то что уже нам слышался щебет птиц, как то и было на самом деле. Но едва только на востоке забрезжил любезный день, завидели мы сквозь мглу совсем близко от нас полоску берега, поросшую кустарником; того ради мы тотчас же спустились в воду против сказанного места и побрели по морю, которое становилось все мельче, покуда наконец, к превеликой нашей радости, не ступили на сушу. Тут упали мы на колени, целовали землю и возблагодарили всевышнего, что он отечески сохранил нас и вывел на сушу. Сим образом я попал на неведомый остров.

Мы еще не знали, попали ли мы в обитаемую или необитаемую страну, на материк или на одинокий остров, однако ж тотчас же приметили, что земля там изобильна и плодоносна, ибо вся поросла деревами и кустарниками так густо, как в конопляннике, так что мы едва пробирались. А когда наступил день и мы углубились в чащу примерно на четверть часа от берега и нигде не приметили человеческого обитания, а только множество повсюду диковинных птиц, которые вовсе нас не пугались, а даже дозволяли хватать руками, то легко могли уразуметь, что попали в неведомую, но весьма плодоносную страну. Мы нашли там лимоны, померанцы и кокосовые орехи, каковыми плодами изрядно подкрепили свои силы; а когда солнце поднялось высоко, вышли на равнину, поросшую пальмами (от коих и происходит vin de palma), что моего камрада, большого охотника до пальмового вина, несказанно обрадова-

[1] к неизвестной южной земле.

ло. Тут присели мы на солнце, чтобы высушить платье, которое сняли и развесили на деревьях, сами же разгуливали в одних рубашках. Плотник подрубил топором одну пальму и нашел, что она полна вина; однако ж у нас не было никакого сосуда, чтобы его собрать, ибо оба потеряли во время кораблекрушения свои шляпы. А когда любезное солнце обсушило наше платье, мы надели его и поднялись на скалистую гору, что расположилась по правую руку от нас на севере между морем и помянутою равниною, где огляделись на все стороны и тотчас же увидели, что находимся не на материке, а на острове, который можно обойти менее чем за полтора часа пути, и понеже ни вблизи, ни вдали мы не увидели ничего, кроме моря и неба, то весьма приуныли и потеряли всякую надежду когда-нибудь снова узреть людей; однако ж утешились тем, что по милости божией попали на сей надежный и плодоносный остров, а не в какое-нибудь иное бесплодное или населенное людоедами место. Тут стали мы раздумывать, что нам предпринять или начать; и понеже мы принуждены жить вместе на сем острове, подобно пленникам, то поклялись друг другу в нерушимой верности. На сказанной горе не только гомозилось и летало множество птиц, но вся она была унизана гнездами с яйцами, чему мы весьма дивились. Мы выпили несколько яиц и взяли еще много с собой, когда спускались с горы, где обрели ручей пресной воды, который тек на восток к морю с такой силой, что мог бы приводить в движение небольшой мельничный жернов, чему мы снова обрадовались и порешили возле сего источника поставить себе жилище.

На все наше новое домашнее обзаведение было у нас двоих утвари: один топор, одна ложка, три ножа, один piron, или вилка, и одни ножницы, а больше ничего. Правда, у моего камрада было несколько дукатов, которые мы все с большою охотою отдали бы за кремень и огниво, когда бы их тут можно было купить; но деньги эти были нам совершенно без пользы, даже еще менее стоили, нежели мой рожок с порохом. Я высушил на солнце порох, ибо он размяк в кашу, отсыпал немного на камень, обложил легковоспламеняющимися материями, как-то: мохом и лыком от кокосовой пальмы, потер ножом порох и высек огонь, который нас так же обрадовал, как спасение от моря. И когда были бы у нас только соль, хлеб и посуда, куда мы наливали бы напитки, то мы почли бы себя наисчастливейшими людьми на свете, хотя всего за сутки могли считать себя среди самых несчастных. Столь неизреченны доброта, верность и милосердие бога нашего, коего чтим во веки веков. Аминь!

Мы тотчас же словили несколько птиц, которые во множестве безо всякой боязни сновали вокруг, ощипали их, вымыли и поса-

дили на вертел. Тут принялся я вертеть жаркое, а тем временем мой камрад подносил топливо и строил хижину, дабы было нам где укрыться на случай нового ливня, ибо индийские дожди, что идут над Африкой, весьма нездоровы; а недостачу соли восполнили мы лимонным соком, приправив им наши кушанья.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплиций и плотник находят стряпуху,
Подпадают искушению злого духа.

Таков был наш первый завтрак, который мы вкусили на нашем острове; и когда мы с ним покончили, то принялись собирать сухой валежник, чтобы поддержать огонь. Мы с большою охотою осмотрели бы весь остров, но изнеможение склонило нас ко сну, так что мы улеглись и проспали, покуда снова не забрезжило утро. А когда мы пробудились, то пошли вдоль ручья или речки вниз до самого устья, где при впадении в море множество рыб величиною с мелкую семгу или крупного карпа плыло вверх по пресной воде, так что казалось, будто кто-то хотел загнать большое стадо свиней (чему мы весьма подивились). И так как мы еще набрели на бананы и бататы, весьма изрядные плоды, то сказали друг другу, что попали в блаженную страну Пролежи-бока (хотя и не встретили четвероногих), ежели только обрели бы добрую компанию, с которой на сем благодатном острове наслаждались бы изобилием плодов земных, а также рыбой и птицами; однако ж не могли приметить ни малейшего следа, что здесь когда-либо обитали люди.

А когда стали держать совет, как нам устроить далее свое хозяйство и как обзавестись утварью, чтобы готовить пищу и собирать пальмовое вино, а затем его выдерживать, чтобы оно могло доставить нам приятность, и, беседуя таким образом, прогуливались вдоль берега, завидели мы — плывет в море нечто, а что именно, не могли разглядеть по дальности, хотя оно и казалось больше, нежели было на самом деле; ибо когда сей предмет приблизился и был выброшен на берег, то оказался полумертвой женщиной, лежавшей на ящике, который она обхватила обеими руками, а мы по христианской любви перетащили ее на сухое место и, решив по платью и чертам лица, что она абиссинская христианка, с тем большим усердием стали приводить ее в чувство, ибо мы, хотя и со всей почтительностью, как в таких случаях приличествует поступать с честными женщинами, поставили ее на голову, пока у нее изо рта не вылилось довольно много воды. И хотя у нас не

было ничего, чтобы подкрепить ее силы, кроме лимонов, мы не премпнули поднести ей к носу спиртуозную жидкость, которая собирается снаружи на лимонной кожуре, а также хорошенько потрясти эту женщину, покуда она не начала сама шевелиться и не заговорила по-португальски. Едва только мой камрад сие услышал и приметил, что на лице ее снова появился живой румянец, то сказал: «Эта эфиопка была на нашем корабле в услужении у знатной португальской госпожи; я их обеих хорошо знал: они жили в Макао и собирались с нами вместе приплыть на остров Аннабон». Едва только услышала она эти речи, то весьма возрадовалась, назвала его по имени и вспомнила не только все путешествие, но и сказала, сколь она обрадована не только тем, что осталась жива, а и тем, что повстречала его как старого знакомого на твердой земле в совершенной безопасности. Засим плотник спросил у нее, что за товары положены в ящик; на что эфиопка ответила, что там несколько кусков китайской материи на платье, различное оружие, а также всевозможная крупная и мелкая фарфоровая посуда, которую посылал в Португалию некий знатный князь. Сие чрезвычайно нас порадовало, ибо то все были вещи, которых нам всего более недоставало. Тут приступила она к нам с просьбою оказать ей такую милость и взять ее к себе; она с превеликою охотою будет нам стряпать, стирать и угождать, как добрая служанка, и подчиняться, как крепостная раба, ежели только возьмем мы ее под свой покров и заступление и дозволим ей вместе с нами вкушать плоды, которые нам ниспошлют в сей местности Фортуна и Натура.

Засим перетащили мы с превеликим трудом и усилиями сказанный ящик к тому месту, которое назначили себе жилищем. Там раскрыли его и нашли такие вещи, обзавестись коими для нашего домоводства мы по тогдашнему нашему положению не могли и помышлять. Все эти товары мы распаковали и разложили сушить на солнце, в чем новая наша стряпуха прилежно и со всею услужливостью нам пособляла. Потом принялись мы бить птицу, варить и жарить; и в то время как плотник отправился добывать пальмовое вино, пошел я в горы собирать яйца, чтобы сварить их вкрутую и употреблять заместо хлеба. Меж тем созерцал я с благоговением и благодарностью превеликие дары и милости господни, ниспосланные нам ныне благостным его промыслом с таким отеческим попечением, дабы мы и впредь их вкушали; и я пал ниц, распростер руки и, вознесясь духом, воскликнул: «О преблагий отец небесный! Днесь узрел я по делам твоим, что ты склоняешься на моления наши и даруешь нам по молитве нашей! И ты, благостный господи, от изобилия щедрот своих изливаешь на нас свои милости неизмеримо большею мерою, нежели мы, бедные твари,

дерзаем просить тебя. О попечительный отец наш, по неизреченной своей благости соизволил ты всемилосердно ниспослать нам свои дары и милости, дабы мы употребили их не иначе, как, согласно святейшей твоей воле, в угодность тебе и во славу и честь твоего неизреченного имени, и тем сопричислить себя к сонму праведных, дабы могли мы в сей временной и в будущей жизни вечно славословить, хвалить и величать тебя!» С такими и еще многими другими словами и мыслями, которые все текли от искреннего и благочестивого сердца из самой глубины моей души, бродил я по горам, пока не насобирал птичьих яиц, сколько было надобно, и не воротился к нашей хижине, где уже был приготовлен знатный ужин на том самом ящике, который мы в тот день выловили в море вместе с нашею стряпухою и который мой камрад употребил заместо стола.

Меж тем, пока я был в отсутствии, собирая сказанные яйца, мой камрад, коему было около двадцати лет от роду, мне же перевалило за сорок, учинил уговор с нашею стряпухою, который должен был послужить к погибели нас обоих. Ибо когда они остались одни и вспомнили про старину, и особливо повели между собою речь о плодородии сего благословенного и, можно сказать, счастливого острова, и какой большой доход он может принести, то пришли к такой взаимной доверенности, что заговорили о том, чтобы им пожениться, о чем, однако, чаемая эфиопка не хотела и слышать, разве только если мой камрад, плотник, станет один владыкою всего острова и уберет меня со своего пути. Нестаточное дело, говорила она, чтобы мы обитали тут в спокойном браке, когда бок о бок с нами будет жить неженатый. «Посуди сам,— говорила она плотнику,— какая начнет тебя терзать подозрительность и ревность, когда ты на мне женишься, а старик будет каждый день со мною беседовать, хотя бы у него никогда не было на уме наставить тебе рога. Правда, я знаю, как все устроить наилучшим образом, коли мне уж придется выйти замуж и умножить род человеческий на сем острове, который может прокормить тысячу человек, а то и больше, а именно, чтобы старик женился на мне, ибо когда так случится, то лет через двенадцать, от силы же четырнадцать, мы вырастим дочку, которую и выдадим за тебя, плотника, замуж. Тогда будешь ты еще не в таких годах, как теперь старик. А меж тем между вами поселится несомнительная надежда, что первый станет тестем второму, а второй зятем первому, что оградит вас от всякого злого подозрения, а меня от всех опасностей, коим я в противном случае могу быть подвержена. Правда, такой молодой женщине, как я, было бы куда приятнее пойти за молодого, нежели за старика. Однако ж нам надобно применяться к обстоятельствам, как того требует

наше теперешнее положение, дабы предусмотреть, чтобы и я, и та, которую я вырожу, бросили вернее кости на́ кон».

Сим дискурсом, который простерся на многие другие предметы и распространился больше, нежели я тут описываю, а также красотою чаемой эфиопки, сиявшей при свете костра в очах моего камрада сильнее, чем когда-либо прежде, и ее живыми минами был мой добрый плотник так одурачен и приведен в такое исступление, что не устыдился сказать, что он скорее бросит старика (меня то есть) в море и распустошит весь остров, чем отступится от такой дамы, как она. Засим и был учинен между ними помянутый уговор, однако ж с тем, что он зарубит меня топором либо сзади, либо во время сна, ибо он страшился моей телесной силы и моего посоха, который он изготовил мне сам наподобие богемской клюки.

После того как они уговорились, стряпуха показала моему камраду неподалеку от нашей хижины залежи первосортной гончарной глины, из коей она умела изготовлять красивую посуду, какую обыкновенно делают индианки, живущие на гвинейском берегу, а также поведала ему множество других своих замыслов, как она на сем острове устроит, прокормит и обеспечит себе и своему потомству до сотого колена спокойную и привольную жизнь. И она не могла довольно нахвалиться, какую пользу сумеют они получить от волокна, что покрывает кокосовые пальмы и доставит одеяние ей и всем ее потомкам.

Я же, злополучный бедняга, вернулся, ни на волос не заподозрив их сделку и проделку, и сел к ним, дабы вкушать то, что было приготовлено, а перед тем по христианскому и весьма похвальному обыкновению произнес застольную молитву. Но едва только я сотворил крестное знамение над кушаньями и моими сотрапезниками и призвал на них божье благословение, мигом все исчезло: и наша стряпуха, и ящик со всем тем, что в нем было, оставив после себя столь страшное зловоние, что мой камрад повалился замертво.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплиций и плотник ставят крест,
Который виден далеко окрест.

Когда же он снова отудобел и к нему воротились все семь чувств, то пал передо мною на колени, сложил молитвенно руки и добрых четверть часа бормотал только: «Ах, отец! Ах, брат! Ах, отец! Ах, брат!» — и, повторяя сии слова, заплакал с такою горячностию, что от рыданий не мог уже вымолвить ни одного вра-

зумительного слова, так что я вообразил, что он, должно быть, от страха и вони повредился в уме. Когда же он не переставал сокрушаться и неотступно просил у меня прощения, то я сказал: «Любезный друг! Что же такое должен я тебе простить, ведь ты во всю свою жизнь ничем меня не обидел? Скажи мне, чем тебе пособить?» — «Прощения,— воскликнул он,— прощения молю я, ибо я согрешил против бога, против тебя и против себя самого». И снова стал горевать по-прежнему и продолжал сие до тех пор, покуда я не сказал, что не ведаю о нем никакого зла, и когда он прегрешил в чем-либо, что томит его совесть, то я не только от всего сердца прощаю и отпускаю ему все, что касается меня, но ежели он преступил против бога, то готов взывать вместе с ним о милосердии и помиловании. После сих слов охватил он мои ноги, целовал колени и взирал на меня с такой тоскою и волнением, что я оттого сам онемел и никак не мог догадаться или узнать, что же все-таки стряслось с бедным малым. Когда же я дружески поднял его и прижал к груди, упрашивая рассказать мне, что с ним такое и чем я мог бы ему пособить, то поведал он мне все до самой малости, какой был у него дискурс с мнимою эфиопкою и какой учинил он на меня уговор, прегрешив против бога, против натуры, против христианской любви и против закона верной дружбы, в коей мы торжественно поклялись друг другу; и сие признание совершил он такими словами и с такими минами, по коим нетрудно было увидеть и распознать его искреннее раскаяние и сокрушенное сердце.

Я утешал его, как мог, и сказал, что, быть может, бог попустил сие нам в предостережение, дабы мы в будущем тем успешнее противились искушениям и соблазнам дьявола и провождали свою жизнь в страхе божьем; и хотя он, плотник, и должен горячо молить бога о прощении по причине злого своего умысла, однако ж еще более обязан он возблагодарить всевышнего за то, что он по своей неизреченной доброте и милости отечески спас его от козней и тенет сатаны и оградил от вечного падения. Отныне надобно нам поступать с большею осмотрительностию, как если бы мы жили в мире среди людей; ибо ежели один из нас или мы оба падем, то никто не вспомоществует нам, кроме бога, коего мы того ради должны тем усерднее вспоминать и беспрестанно молить о помощи и заступлении.

И хотя был он таким и другими подобными увещаниями немного утешен, однако ж, не довольствуясь этим, смиреннейшим образом просил меня наложить на него епитимью. И дабы он немного воспрял духом, сказал я ему, что понеже он и без того по ремеслу плотник и топор у него всегда наготове, то надлежит ему на берегу моря, на том самом месте, где мы выбрались на

сушу и где также обрели дьявольскую нашу стряпуху, поставить крест. И таким образом он не только свершит угодное богу покаяние, но и достигнет того, что злой дух, который страшится святого креста, не подступится с такою легкостию к нашему острову. «Ах! — воскликнул он.— Не только один крест на берегу хочу я поставить, но еще воздвигну два на горе, когда только, отец, снова заслужу твою милость и благоволение и получу надежду на прощение от бога». И он тотчас же с превеликим усердием приступил к работе и не переставал до тех пор, покуда не изготовил три креста, из коих мы один поставили на берегу моря, а два других, каждый по отдельности, водрузили на высочайших вершинах, какие только были на острове, со следующей надписью:

«Богу всемогущему во славу, а врагу рода человеческого в досаду изготовил и воздвиг сей крест Симон Меран из Лиссабона, что в Португалии, по совету и с помощию своего друга Симплициуса Симплициссимуса, немца из Верхней Германии, в ознаменование страданий Спасителя нашего по христианскому обету».

С того времени повели мы жизнь более богобоязненную, нежели до того; и дабы мы могли святить и праздновать день субботний, делал я взамен календаря каждый день зарубку на палочке, а по воскресеньям ставил крест. Тогда садились мы вместе и беседовали друг с другом о святых и божественных предметах; и я был принужден обходиться таким образом, ибо еще не измыслил, чем мог бы пользоваться заместо бумаги и чернил, чтобы записывать что-либо для памяти.

В заключение сей главы должен я вспомнить здесь об одной диковинной вещи, которая нас изрядно напугала и устрашила в тот самый вечер, когда наша учтивая стряпуха с нами распрощалась, и чего мы в первую ночь по причине изнеможения сил и великой усталости не приметили, ибо нас тотчас одолел сон. А было это так: когда очам нашим еще представлялось, какими бесчисленными кознями стремился погубить нас лукавый во образе эфиопки, а посему не могли уснуть и долгое время бодрствовали и творили молитву, как вдруг, едва только стемнело, вокруг нас замерцали и залетали по воздуху целыми роями бесчисленные огоньки, которые источали такой свет, что мы могли отличить на деревьях плоды от листвы. Тут возомнили мы, что то опять какое-либо новое измышление дьявола, чтобы нас помучить, и того ради притихли и не шевелились, однако ж под конец уразумели, что то особого рода ивановы жучки, или светлячки (как их прозывают у нас в Германии), которые копошились на гнилом дереве, растущем на этом острове. И они светят так сильно, что их можно

употреблять заместо самой яркой свечи, ибо я написал при них большую часть сей книги; и когда они расплодились бы в Европе, Азии и Африке, то свечные торговцы получили бы худой барыш.

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплиций на острове один пребывает,
А друга своего во гроб полагает.

И понеже мы увидели, что придется нам заматореть на сем острове, то завели свой домовой обиход совсем по-иному: мой камрад изготовил из черного дерева, которое, когда высохнет, становится совсем как железо, мотыги и лопаты, с помощью коих мы, во-первых, поставили три помянутых креста; во-вторых, отвели от моря канавы, дабы выпаривать с них соль, как мне довелось видеть в Александрии в Египте; в-третьих, принялись насаждать приятный вертоград, ибо считали праздность началом нашей погибели; в-четвертых, запрудили ручей так, что могли по своему желанию отводить воду, обнажая до дна старое русло, и, не замочив ни рук, ни ног, собирать рыбу и раков; в-пятых, нашли неподалеку от сказанного ручья отменно добрую глину, и хотя не было у нас ни гончарного круга, ни колеса, а к тому же ни бурава или какого еще инструмента или устройства, чтобы вертеть на нем всевозможную посуду, и хотя мы оба не учились этому ремеслу, однако ж измыслили такой фортель, что под конец добились своего; ибо, приготовив и хорошенько промяв глину, скатывали мы из нее колбаски такой толщины и длины, как английские курительные трубки; сии лепили мы одну на другую, завивая наподобие улиток, так что получали посуду, какая нам была надобна, большую и малую, горшки и миски, чтобы варить и хлебать из них. А когда нам впервые удалось их обжечь, то не было причины жаловаться на скудость; ибо хотя у нас не было хлеба, зато вволю сушеной рыбы, которую мы и потребляли заместо него. Со временем удалась нам и выдумка с получением соли, так что уже совсем не на что было жаловаться, и мы зажили, как в первый златой век. Мало-помалу научились мы взамен хлеба выпекать из яиц, сухих рыб и лимонной кожуры, перетирая между каменьями сии две последние материи в нежнейшую муку, вкусные лепешки на птичьем сале из водившихся там тошнюх (так прозывали этих птиц). А мой камрад наловчился собирать пальмовое вино в большие горшки и оставлять его на несколько дней, покуда оно не перебродит; после чего он так упивался им, что ходил пошатываясь; и сие учинял он под конец, почитай, каждый день, невзирая на

все мои увещания; ибо он уверял, что ежели вино оставлять дольше, то оно претворится в уксус, что отчасти было и правда. А когда я говорил ему, что не надо зараз собирать столько вина, а брать лишь для утоления жажды, то он возражал, что грех пренебрегать божьим даром; надо своевременно вскрывать жилы у пальмовых деревьев, чтобы они не погибли от избытка собственных своих соков. Итак, принужден был я отдать его во власть собственным желаниям, ибо не мог больше слышать, что не дозволяю ему вкушать от ниспосланного нам изобилия.

Итак, жили мы, как выше объявлено, подобно первым людям, в златом веке, когда благостное небо понуждало землю производить для них все плоды земные, не требуя от них малейшего труда. Но подобно тому как не бывает в сем мире жизнь столь сладостна и счастлива, чтобы порой не горчилась желчью страданий, так случилось и с нами; ибо насколько день ото дня улучшалась наша кухня и погреб, настолько же обносились мы одеждою, покуда она на нас совсем не истлела. Хорошо еще, что мы доселе не ведали зимы, даже не испытали ни малейшего холода, хотя к тому времени, когда мы стали ходить нагишом, провели на сем острове, согласно моим зарубкам, более чем полтора года, однако погода была такой, какая обыкновенно держится у европейцев в мае и июне, за исключением того, когда примерно с конца июля и в августе льют сильные дожди и гремят грозы. Точно так же от одного солнцеворота до другого день и ночь бывают не короче и не длиннее, чем на час с четвертью. И хотя мы жили на том острове одни, однако не хотели ходить по нему нагишом, как неразумные твари, а желали одеваться, как подобает честным христианам в Европе. Ежели на том острове водились бы четвероногие звери, то мы знали бы, как поступить, и облачились бы в их шкуры; но по недостатку оных стали сдирать кожу с больших птиц, как-то: дронтов и пингвинов, из коей изготовили себе штаны. Но как по недостатку инструментов и надлежащих материалов мы не могли их изготовить надолго, то едва успели оглянуться, как они пожухли, заскорузли и прямо сползли с тела. Кокосовые пальмы, правда, доставляли нам довольно волокна, но мы не умели ни ткать, ни прясть; однако мой камрад, который прожил несколько лет в Индии, показал мне на кончиках листьев нечто напоминающее шип, а когда мы его обломили и потянули до ребра листа, подобно тому как стягивают шелуху с турецких бобов, называемых «фазеоли», когда их очищают от волокон, то на этом шипе повисла нить такой длины, как лист или его ребро, так что мы могли употребить его вместо иголки с ниткою. Сие подало мне повод и случай смастерить себе из пальмовых листьев штаны, скрепив их помянутой ниткою, взятой от того же самого растения.

Меж тем как мы таким образом хозяйничали и устроили свои дела так, что у нас не было больше причины сетовать на какие-либо тяготы, скудость, недостачу или огорчения, мой камрад не переставал ни на один день утешать себя пальмовым вином, как он начал, и приобрел к тому привычку, покуда у него наконец не воспалились легкие и печень, и не успел я оглянуться, как преждевременная смерть разом заставила его распроститься и с островом, и с пальмовым вином. Я похоронил его с честию, как только мог, и меж тем, созерцая бренность человеческого бытия и многое другое, сочинил следующую эпитафию:

Погребен я в сем месте, а не в синем море,
Ибо три вещи из-за меня были в споре:
Первая: бушующий великий Океан,
Вторая: враг рода человеческого — шайтан.
Сих двоих избежал я по милости бога,
Да вот пальмового вина пил слишком много.

Итак, остался я один властелином всего острова и стал снова вести отшельническую жизнь, к чему у меня был не только довольный случай, но также твердое намерение и непоколебимая воля. Я, правда, пользовался всеми богатствами и дарами сего острова, воссылая сердечное благодарение господу, благостью и всемогуществом коего был я столь щедро одарен, однако ж старался не употребить во зло сие изобилие. Я часто возносил моление, чтобы честные христиане, которые, подобно мне, дали где-либо обет бедности и нищеты, поселились вместе со мною, дабы вкушать дары господни, ибо хорошо знал, что всемогущий бог мог бы (ежели была бы на то его воля) легчайшим и чудеснейшим образом доставить на сей остров великое множество людей, и сие часто подавало мне повод со всем смирением благодарить господа и его божественное Провидение за то, что он предпочел меня тысячам других и отечески привел в сие спокойное и мирное место.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Симплиций кончает другим в назидание
На пальмовых листьях рукописание.

Не прошло и недели после смерти моего камрада, как я приметил, что вокруг моего дома нечисто. «Ну, ладно, Симплиций! — помыслил я.— Теперь ты тут один-одинешенек, что же, разве злой дух покусится смутить тебя? Не возомнил ли ты, что сей злыдень учинит тебе жизнь несносною? Почто вспоминаешь ты о нем, ко-

гда бог — твой заступник? Тебе надобно только беспрестанно в чем-нибудь упражняться, дабы праздность и преизбыток не привели тебя к погибели; и опричь того нет у тебя иного врага, кроме тебя самого и увеселительного изобилия сего острова. Того ради соберись с мужеством и сразись с тем, кто мнит себя наисильнейшим во всем. И когда ты с помощию вышнего одолеешь сего врага, то, если того захочет бог, по его божественной милости, возьмешь верх и над самим собою».

С такими мыслями бродил я несколько дней вокруг, чем довольно себя укрепил и проникся благочестием, ибо предвидел ратоборство, кое мне, нет сомнения, предстояло совершить с дьяволом. Однако ж на сей раз я вверг в обман самого себя, ибо когда однажды вечером снова приметил кое-что подававшее о себе знать шорохом, то вышел из хижины, стоявшей неподалеку от скалы, под коей проходил главный ручей пресной воды, протекавший с гор через весь остров к морю; там узрел я моего камрада, стоявшего у отвесной скалы и колупавшего пальцем в расселине. Я испугался, как то с легкостью вообразить можно, однако ж скоро совладал с сердцем и, осенив себя святым крестным знамением, предал себя под покров господа, помыслив: «Когда-нибудь должно сие случиться. Лучше сегодня, нежели завтра!»; засим двинулся на привидение и заклял его теми словами, которые обыкновенно употребляют в подобных случаях, однако сейчас же уразумел, что то в самом деле мой умерший камрад, который при жизни запрятал туда свои дукаты, полагая, что рано или поздно наш остров посетит какой-нибудь корабль и тогда он их вытащит и возьмет с собою. Он также дал мне понять, что полагался на малую толику сих денег более, чем на бога, надеясь с их помощью воротиться домой, по какой причине он и не обрел покоя после своей смерти и принужден был, противу своей воли, причинить мне такое неудобство. Снизойдя к его мольбам, я вынул золото из расселины, но презрел его, как пустую вещь, чему тем легче поверить, ибо оно не могло принести мне никакой пользы. Сие был первый страх, коему подвергся я с тех пор, как остался один на острове; однако ж потом напускались на меня и другие духи, кроме сего, о чем не хочу тут распространяться, но объявлю только, что с божиею помощию и милостию не осталось у меня ни единого врага, кроме многоразличных собственных моих мыслей, кои нередко посещали меня, ибо они, как говорят, не без пошлины у бога живут и за них надобно будет ответ держать.

И дабы они не оскверняли меня грехами, старался я не только отгонять от себя негожие мысли, но и назначать себе на всякий день телесное упражнение, которое совершал вместе с обычною молитвою, ибо человек рожден, чтобы трудиться, как птица,

чтобы летать, тогда как праздность повреждает душу и тело тлетворными болезнями и под конец, когда о сем меньше всего помышляешь, ввергает в конечную погибель. Того ради насадил я сад, кой мне куда меньше был надобен, нежели телеге пятое колесо, ибо весь остров можно было назвать не иначе, как благоухающим садом. Вся моя работа состояла не в чем ином, как только привести то или иное в приглядный порядок, хотя иному природный беспорядок произрастений, в каком они смешались между собою, мог показаться куда более приятным для взора, ибо я, как объявлено выше, превозмогал праздность. О, сколь часто, когда я утомлю свое тело и принужден дать ему покой, помышлял я о духовных книгах, в коих обрел бы себе утешение, отраду и наставление; но у меня их не было. Но как довелось мне некогда прочитать об одном святом муже, который сказал, что весь необъятный мир для него великая книга, по коей он познает дивные творения бога и научается воздавать ему хвалу, то решил я последовать сему мужу, хотя, так сказать, уже не принадлежал больше миру. Сей малый остров должен был стать для меня целым миром, и всякая вещь в нем, всякое деревцо служить напоминовением и побуждать к благочестивым помыслам, приличествующим всякому честному христианину. Итак, узрев какое-нибудь колючее растение, приводил я себе на память терновый венец Христа; узрев яблоко или гранат, памятовал о грехопадении наших праотцев и сокрушался о нем; а когда видел, как пальмовое вино источается из древа, то представлял себе, сколь милосердно пролил за меня свою кровь на святом кресте мой искупитель; глядел на море или на горы и вспоминал то или иное чудесное знамение или историю, случившуюся в подобном месте с нашим спасителем; находил я камень, удобный для бросания, или целую их груду, и тотчас же представлял своему взору, как иудеи побивали Христа каменьями; пребывал у себя в саду, то помышлял о скорбном молении на Масленичной горе или у гроба Иисуса, и как он по воскресении явился в саду Марии Магдалине и т. д. Такими и другими подобными мыслями я каждодневно упражнял себя; я никогда не вкушал пищу, не припамятовав о Тайной вечере господа нашего Иисуса Христа, я не сварил ни одной похлебки без того, чтобы сей временный огонь не напоминал бы мне о вечных муках во аде.

Под конец открыл я, что, смешав сок бразильского фернамбука, различные сорта коего произрастали на этом острове, с лимоном, можно изрядно писать на больших пальмовых листах, что меня весьма обрадовало, ибо отныне я мог слагать и записывать порядочные молитвы. И вот, созерцая с сердечным сокрушением пройденную жизнь, вспомнив и представив очам своим плутни и

беззакония, учиненные мною в юности, и что милосердный бог, презрев все тяжкие мои прегрешения, доселе не токмо хранил меня от осуждения вечного, но и даровал мне время и случай исправиться, обратиться на путь правый, испросить у него прощения и возблагодарить его за все его щедроты и милости,— описал я все, что мне вспало на ум, в сей книге, которую я изготовил из сказанных листьев, схоронив вместе с помянутыми выше дукатами моего камрада в сем месте, дабы, когда рано или поздно сюда придут люди, могли бы они их тут найти и узнать, кто некогда населял сей остров. И когда, сегодня или завтра, до моей смерти или после нее, кто-либо обретет и прочитает сие рукописание, прошу я его, ежели здесь встретятся ему какие-либо выражения, которые не приличествует говорить, а не то что писать тому, кто вознамерился свершить покаяние, то пусть не посетует на него, а примет в рассуждение, что повесть о безрассудных поступках и приключениях требует надлежащих слов, дабы о сем поведать. И подобно тому как каменную руту ни один дождь спроста не промочит, точно так же истинный благочестивый дух не смутит, не отравит и не совратит любой дискурс, каким бы он ни был исполнен легкомыслием, и всякий благонамеренный христианский читатель скорее подивится и вознесет хвалу божественному милосердию, когда узнает, что такому беспутному человеку, каким я был, все же дарована богом милость отречься от мира и начать такое житие, в коем он обретает надежды стать сопричастником вечной славы и унаследовать вечное блаженство ради крестной муки спасителя в мирной кончине.

РЕЛЯЦИЯ ЯНА КОРНЕЛИССЕНА ИЗ ГААРЛЕМА, ГОЛЛАНДСКОГО КОРАБЕЛЬНОГО КАПИТАНА, ОТПРАВЛЕННАЯ ГЕРМАНУ ШЛЕЙФХЕЙМУ ФОН ЗУЛЬСФОРТУ, ЕГО ДОБРОМУ ПРИЯТЕЛЮ О СИМПЛИЦИССИМУСЕ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Ян Корнелиссен — голландский капитан
Обрел Симплициссимуса среди диких стран.

Нет сомнения, Получателю еще памятно, по какой причине обещал я Ему при нашем отплытии сообщить о наидиковиннейших раритетах, кои повстречаются мне во всей Индии, а также во время нашего путешествия; и хотя собрал я различные редкост-

ные прозябания моря и земли, дабы Господин мог украсить ими свою Кунсткамеру, однако ж самым наиудивительным и примечания достойным показалась мне прилагаемая книга, кою некий муж, обитающий на одиноком острове посреди моря, написал на верхненемецком языке по причине недостатка бумаги на пальмовых листьях и поведал в оной книге всю свою жизнь. А о том, как попала мне в руки сия книга, и что за человек помянутый немец, и какую он ведет жизнь на острове, должен я сообщить несколько подробнее, хотя он и сам объявил о том с достодолжною обстоятельностию в сказанной книге.

Когда мы с полным грузом отбыли с Молуккских островов и направились к мысу Доброй Надежды, то вскорости приметили, что наше возвратное путешествие не столь удачливо, как мы надеялись поначалу, ибо ветры по большей части были contrari [1] и столь переменчивы, что нас долго носило по морю и понуждало к стоянкам, по какой причине на всех кораблях нашей армады было помногу больных. Наш адмирал дал пушечный выстрел и выкинул флаг, созывая капитанов всей флотилии на свой корабль; там держали совет и порешили постараться достичь острова Святой Елены, где дать окрепнуть больным и дождаться сносной погоды; item в случае, ежели непогода рассеет нашу армаду, как мы не зря ожидали, то первый корабль, который прибудет на сказанный остров, должен дожидаться прочих две недели, что все было обдумано и решено, меж тем как начавшаяся буря так разметала нашу флотилию, что ни одно судно не осталось на виду у другого. А когда я с вверенным мне кораблем остался один при противном ветре, недостаче пресной воды и множестве больных, то принужден был довольствоваться жалким лавированием, что, однако, подавало весьма малую надежду достичь многократно помянутого острова Святой Елены (до коего, мы считали, оставалось примерно четыреста миль), ежели только ветер не переменится.

В таком беспрестанном ношении и тяжкой беде, притом еще отягченные множеством больных, число коих с каждым днем умножалось, завидели мы на востоке далеко в море, как нам показалось, одинокий утес; мы взяли курс на него, в надежде обрести там твердую землю, хотя на наших картах ничего подходящего не было означено. Когда же мы подошли к самому утесу с полуночной стороны, то на первый взгляд решили, что то, должно быть, скалистая высокая бесплодная гора, одиноко торчавшая из моря, так что высадиться или хотя бы пристать с этой стороны показалось нам совсем невозможно; однако ж по донесшемуся до

[1] противные *(лат.)*.

нас благоуханию почувствовали мы, что находимся неподалеку от плодородной земли. Помянутая гора кишела множеством птиц, и когда мы за ними наблюдали, то приметили на самой высокой вершине два креста, почему легко могли заключить, что они воздвигнуты человеческими руками и, значит, на сию гору возможно подняться. Того ради обогнули мы остров и на противуположной стороне сказанной горы нашли, правда, небольшую, но приветливую местность, подобно какой мне не доводилось еще встречать в обеих Индиях. Мы бросили якорь на глубину в десять клафтеров в добрый песчаный грунт и выслали лодку с восемью матросами на берег, дабы разузнать, нет ли там каких свежих припасов.

Они скоро воротились и доставили в превеликом изобилии всевозможные фрукты, как-то: лимоны, померанцы, кокосы, бананы, бататы, и что больше всего нас обрадовало, так ведомость, что на острове нашли они отменно добрую питьевую воду; item хотя они и повстречали на острове одного немца, который, по всей видимости, давно уже там обретается, однако ж сие место полным-полно птиц, которые дозволяют хватать себя голыми руками, так что могли бы их наловить и набить целую лодку. А что касаемо помянутого выше немца, то они полагают, что он учинил на каком-нибудь корабле злодеяние, а посему в наказание высажен на сей остров, с чем мы тогда согласились; сверх того они почитали несомнительным, что тот малый был не в себе и, верно, уж сущий дурень, ибо не могли добиться от него ни единого толкового слова или ответа.

И как от сей ведомости вся команда, особливо же больные, от всего сердца возрадовались, то всяк домогался, чтобы его спустили на берег, дабы подкрепить силы. И я отправлял туда лодку за лодкой не только затем, чтобы вернуть здоровье недужным, но и для того, чтобы снабдить корабль пресной водою, в чем мы тогда весьма нуждались, так что много раз приставали к острову. Мы обрели там скорее земной рай, нежели неведомое пустынное место. Я тотчас же приметил, что сказанный немец вовсе не такой дурень и еще того меньше злодей, каким его сперва почли наши матросы, ибо все деревья, кои по своей породе обладали гладкою корою, покрыл он библейскими и другими благочестивыми изречениями, дабы ободрить к христианской добродетели и вознести к богу дух свой; там же, где не могло уместиться целое изречение, там нашли мы, по крайней мере, четыре буквы, служившие надписью на кресте, INRI [1], или имя Иисуса и Марии, или то или

[1] INRI — Jesus Nasarenus Rex Judeaeorum — Иисус Назареянин, царь иудейский *(лат.)*.

иное орудие мучений Христа, по чему мы предположили, что он, нет сомнения, папист, ибо все это, по нашему разумению, относилось к папежской вере. Где было начертано по-латыни «Memento mori»;[1] в другом месте «Jeschua Hanosri Melech Haijehudim» по-древнееврейски, а еще в ином месте что-либо подобное по-гречески, немецки, арабски или молуккски (каковой язык распространен по всей Индии) не для чего иного, как только для христианского напоминовения о небесных и божественных предметах. Мы нашли также могилу его камрада, о коем помянутый немец довольно сказывает в своем жизнеописании, а также три креста, воздвигнутые ими над морем, по какой причине (особливо же еще потому, что, почитай, на каждом дереве был вырезан крест) наша команда назвала сие место Крестовым островом. Однако ж все сии краткие и замысловатые изречения были для нас загадочны и невразумительны, как сущий оракул, почему мы заключили, что их автор вовсе не дурень, а, должно быть, глубокомысленный поэт, паче же всего благочестивый христианин, который особливо предается созерцанию божественных предметов. Следующие вирши, которые были вырезаны на одном из деревьев, по мнению нашего корабельного пастора, который ходил за мною и многое записал из того, что нам попадалось, были самые превосходные, быть может, оттого что он нашел в них для себя нечто новое; итак, вот они:

Божественная мудрость, одеянная светом,
Ты смертными очами не можешь быть узрета.

Ибо он, наш утешитель страждущих, который был гораздо ученым мужем, сказал: «Сего и не далее достигает в сем мире человек, ибо только бог, по милости своей, открывает ему высшее благо!»

Меж тем мои матросы, которые были здравы, исходили весь остров, собирая различные свежие припасы для себя и наших больных и разыскивая помянутого немца, ибо все офицеры, что были на корабле, весьма хотели его повидать и с ним побеседовать. Однако нигде не могли его сыскать, кроме глубокой пещеры в каменной расселине, наполненною водою, где, как они предполагали, он укрылся, ибо туда вела узкая тропинка. Проникнуть же туда они не могли по причине стоявшей там воды и непроглядной темени, хотя зажигали факелы и смоляные венцы для того, чтобы осмотреть пещеру, но они тотчас же гасли, прежде чем удавалось углубиться в нее далее чем наполовину расстояния от брошенного камня, так что потратили понапрасну немало времени.

---

[1] «Помни о смерти» *(лат.)*.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций в неложном страхе и тревоге
Укрылся от матросов в каменной берлоге.

А когда наши матросы отрепортовали о напрасных своих трудах и я вознамерился самолично осмотреть сие место и рассудить, нельзя ли тут предпринять что-либо, дабы заполучить в руки сказанного немца, то не только все заколебалось от ужасающего землетрясения, так что мои люди решили, что весь остров в одно мгновение погибнет, но и почти вся команда, что была на берегу, пришла в весьма диковинное и тревожное состояние, так что меня со всей поспешностью позвали к ним. Там один стоял с обнаженною шпагою перед деревом, колол его и утверждал, что сражается с великаном; другой, вперив в небо радостный взор, объявлял за сущую правду, что узрел бога и все небесное воинство, ликующее в небесах; третий же с превеликим ужасом и трепетом смотрел на землю, уверяя, что видит в разверзшейся страшной пропасти праздного черта со всеми его присными, кишащими в бездне; а еще один размахивал дубиною, так что к нему нельзя было подступиться, и взывал о помощи против обступивших его волков, которые его хотят разорвать. Один гарцевал верхом на бочке (которую мы доставили на берег, чтобы набрать пресной воды) и пришпоривал ее что есть мочи; а другой сидел с удочкой на сухом месте и хвастал перед товарищами, какая у него клюет крупная рыба. Одним словом, справедливо сказано: сколько голов, столько умов, ибо у каждого была своя диковинная блажь, коя нимало не походила на причуды другого. Ко мне подбежал один и сказал со всею серьезностию: «Господин капитан, прошу тебя ради самого бога, сверши правый суд и огради меня от сего злодея!» А когда я вопросил: кто его обидел? — то он отвечал, показывая рукою на всех прочих, которые столь же вздурились и были повреждены в разуме, как и он сам: «Сии тираны хотят меня понудить сожрать две бочки селедок, шесть вестфальских окороков, двенадцать голландских сыров, да еще бочку масла, и все за один присест! Господин капитан,— продолжал он далее,— как можно сие учинить? Ведь это никак невозможно, и я должен буду лопнуть или задохнуться!» С такими и подобными вздорными мечтаниями бродили они вокруг, что доставило бы немалую потеху, когда наперед можно было бы знать, что все кончится без малого вреда; но меня и всех, кто еще оставался в здравом уме, более всего заботило и вселяло истинный страх то, что таковых безумных людей становилось все более, и мы не ведали, когда избавимся от странного сего сумасбродства.

Наш пастор, который был кротким и благочестивым мужем, а также некоторые другие решили, что многократ помянутый немец, коего наши сперва повстречали на острове, должно быть, святой и угодный богу человек и служитель вышнего, а нам ниспослано с неба такое наказание за то, что мы порубили деревья, обобрали плоды, перебили птиц и тем разорили его обитель; другие же офицеры на корабле полагали, что это, должно быть, волшебник, который с помощью своих чар вызвал землетрясение и мучит нас подобным наваждением, чтобы тем скорее выпроводить нас отсюда или погубить вовсе; всего лучше, говорили они, захватить его в плен и принудить вернуть разум всем нашим. В таком разноречии каждая партия отстаивала свое суждение, от коих мне становилось одинаково боязно, ибо я помыслил: «Ежели он угоден богу и сия кара постигла нас за него, то бог защитит его от нас, а ежели он волшебник и умеет вытворять такие куншткюки, кои сейчас у нас перед очами, и мы восчувствовали их на своей шкуре, то, верно, сможет учинить еще что-нибудь и похлеще, так что мы его никогда не изловим. И кто знает? Не стоит ли он незримо среди нас». Наконец порешили мы поискать его и добром или силою подчинить нашей власти, а посему снова отправились с факелами, смоляными венцами и фонарями в сказанную пещеру. Однако ж с нами случилось то же самое, что было раньше с другими, а именно, нам не удалось занести далеко свет, а мы сами, как ни пытались, не могли пробраться вперед из-за воды, темени и острых скал. Тут одни принялись молиться, а другие изрыгать проклятия, и никто не знал, что надлежит предпринять в таком страхе.

И когда мы стояли так посреди темной пещеры, не зная куда податься, понеже всякий ничего другого не делал, как только сетовал и плакался, заслышали мы, как из темной глубины, еще далеко от нас, стал нам кричать немец, и притом следующие слова: «Эй, господа,— говорил он,— почто тщитесь вы понапрасну проникнуть ко мне сюда в эту пещеру? Разве не видите вы, что сие совершенно вам невозможно? Когда вы не довольствуетесь свежими припасами, что бог ниспослал вам на сем острове, а захотели разбогатеть на мне, бедном голом человеке, у коего нет ничего, кроме жизни, то уверяю вас, что вы вознамерились молотить пустую солому. Посему, прошу вас, ради Христа, спасителя нашего, отступитесь от намерения вашего, вкушайте плоды земные сего острова для вашего выздоровления и, покуда вам, по воле божией, не приключилось напасти, оставьте меня с миром в сем убежище, куда меня побудили укрыться ваши тиранические и угрожающие речи, услышанные мною вчера в моей хижине». Тут пришелся бы в пору добрый совет, однако наш пастор в ответ ему

прокричал: «Ежели кто-нибудь вчера досадил тебе, то нам от всего сердца жаль; сие учинила грубая команда, которая не ведает о скромности. Мы же пришли сюда вовсе не для того, чтобы грабить или получить добычу, а затем только, чтобы испросить совет, как пособить нашим, которые по большей части на сем острове лишились разума, не говоря уже о том, что мы охотно побеседовали бы с тобою, как с добрым христианином и соотечественником, а также оказали тебе по последней заповеди нашего спасителя всяческое любление, честь, верность и дружбу, и коли ты этого захочешь, то доставили бы тебя вместе с нами в твое Отечество».

На сие получили мы в ответ, что, хотя он вчера хорошо расслышал, как мы к нему расположены, однако, следуя заповеди нашего спасителя платить добром за зло, он не станет скрывать от нас, как можно пособить нашим исцелиться от их неразумного сумасбродства; мы должны, продолжал он, тем, кто впал в такое состояние, дать съесть зернышек от тех слив, обожравшись коих они лишились рассудка, то всем им сразу полегчает, что мы и без его совета должны были бы уразуметь, вспомнив о персиках, чье горячительное зерно уничтожает губительный холод мякоти, когда его съесть вместе с нею. А как мы, быть может, не знаем тех деревьев, на коих растут подобные сливы, то надобно нам только обратить внимание на вырезанную на них надпись, которая гласит:

Дивися моей волшебной затее,
Я тут превращаю, подобно Цирцее.

Сим ответом и первыми речами немца уверились мы, что он был напуган нашими матросами, кои первыми высадились на острове, а посему принужден был ретироваться в эту пещеру; item что он муж истинно немецкого нрава, ибо он, невзирая на претерпетую им досаду, тем не менее открыл нам, по какой причине наши лишились рассудка и каким способом можно их снова опамятовать. Тут только с превеликим раскаянием вспомнили мы, какие недобрые мысли и неверные суждения были у нас о нем, вследствие чего мы и понесли заслуженное наказание, попав в эту опасную темную пещеру, откуда, казалось, нельзя было выбраться без света, ибо мы слишком далеко зашли в нее. Того ради наш пастор снова возвысил голос и сказал прежалостно: «О честный соотечественник, те, что вчера вечером оскорбили тебя своими несладными речами, то были грубые, неотесанные люди с нашего корабля; теперь же стоит тут капитан вместе со знатнейшими офицерами, дабы принести извинение, дружески приветствовать и предложить угощение, а также сообщить о своей полной готовности услу-

жить тебе во всем, что только в наших силах, и когда ты сам того пожелаешь, вывезти тебя из досадительного сего одиночества и вместе с нами привезти в Европу». Он же ответил нам, что хотя благодарит нас за доброе предложение, однако ж не хочет принять сию пропозицию; ибо как он по милости божьей уже свыше пятнадцати лет с превеликим удовольствием мог обходиться безо всякой человеческой помощи и сожительства, то вовсе не стремится воротиться в Европу, дабы безрассудным образом сменить теперешнее счастливое и спокойное житие на далекое и опасное путешествие и беспрестанное злополучие.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА

Симплиций и капитан уговор учинили,
Безумным матросам разум воротили.

Выслушав сию отповедь, мы могли бы покинуть сказанного немца, когда только сумели бы выбраться из его пещеры, но то было невозможно; ибо у нас не только не было света, но и надежды на помощь наших матросов, которые продолжали бесноваться на острове. Того ради стояли мы там в превеликом страхе и источали все ласковые слова, чтобы уговорить немца помочь нам выйти из пещеры, что он оставлял без внимания, покуда наконец, после того как мы живо представили ему бедственное положение наших матросов, да и он сам должен был уразуметь, что без его помощи и мы не сможем пособить друг другу, а мы укоряли его перед всемогущим богом, что он по жестоковыйности своей обрекает нас на смерть и погибель, за что придется ему держать ответ на Страшном суде, с присовокуплением, что ежели он не пожелает пособить нам живыми выбраться из сей пещеры, то принужден будет в конце концов, когда мы тут все пропадем и перемрем, повытаскать отсюда мертвыми, и как он еще обретет на острове довольно мертвецов, у коих будут причины взывать о вечном отомщении ему, ибо он не подоспел к ним на помощь, прежде чем они, как мы опасаемся, в безумии наложили на себя руки. Такими уговорами добились мы наконец, что он обещал вывести нас из пещеры, однако ж должны мы ему наперед истинно, твердо и нерушимо, со всей христианскою верностию и старонемецкой честной откровенностию дать слово соблюсти следующие пять пунктов: во-первых, обязуемся мы тех матросов, кои поначалу были посланы на остров, за то, что они покусились на него, ни словом, ни делом не наказывать; во-вторых, напротив того, также простить и предать забвению, что он, немец, укрылся от нас и столь долгое

Der Alte Simplicissimus
Der Knan
Die Meüder
Der Junge Simplicius
Das fromē Ursulle
Simplicissimus sein Sohn sein
Knan und die Meüder stehen
Samt der fromen Ursel hie
wie sie Natürāl aus sehen

Фронтиспис «Вечного календаря».

время не склонялся на наши просьбы и желания; в-третьих, что мы не будем принуждать его как свободную персону, коя никому не подвластна, противу его воли плыть с нами в Европу; в-четвертых, что мы никого из нашей команды не оставим на острове; в-пятых, что мы никому ни письменно, ни устно, а тем более на карте не объявим и не покажем, где и под каким градусом расположен сей остров. После того как мы свято поклялись соблюсти все сие, он тотчас же показался нам, озаренный множеством огней, которые сияли в темноте, как ясные звезды. Мы отлично видели, что это не доподлинные огни, ибо его волосы и борода были целы и не воспламенялись, и того ради решили, что то были чистые карбункулы, которые, как говорят, светятся в темноте. Он переходил со скалы на скалу и в некоторых местах принужден был брести по воде и приближался к нам такими диковинными ходами и кривыми путями, что мы не могли бы их отыскать, даже если бы снабжены были подобными же светильниками. Все сие более походило на сон, нежели на правду, а самого немца скорее можно было принять за призрак, нежели за живого человека, так что некоторые из нас вообразили, что мы, подобно нашей команде на острове, одержимы сумасбродными мечтаниями.

А когда через полчаса (ибо столько времени пришлось ему употребить, карабкаясь вверх и вниз) он подошел к нам, то по немецкому обыкновению подал каждому руку, дружески нас приветствовал и просил простить его за то, что по недоверию он так долго медлил и не вывел нас раньше на белый свет, засим вручил каждому свои светильники, но то были не драгоценные камни, а черные жучки, такие же крупные, как жук рогач в Германии. Под шеей у них было белое пятно величиною с пфенниг, которое в темноте источало свет, более яркий, нежели от свечи, так что мы с этими диковинными светильниками благополучно вышли из ужасной сей пещеры вместе с помянутым немцем.

Был он муж рослый, сильный, хорошо сложенный, с крепкими мускулами; у него был отменно здоровый цвет лица, коралловокрасные губы, приятные карие глаза, звонкий голос и предлинные черные волосы и такая же черная борода, лишь кое-где взбрызнутая сединою; волосы с головы его спадали до самых бедер, а борода простиралась ниже пупа; стыд прикрывал он передником из пальмовых листьев, а на голове у него была широкая шляпа, сплетенная из папоротника и покрытая камедью, так что служила ему заместо парасоля, защищая от дождя и солнцепека; а во всем вид его был подобен тому, как обыкновенно паписты малюют святого Онуфрия. В пещере он не хотел с нами говорить, но как только вышел наружу, то объявил нам причину, а именно

следующую: когда внутри пещеры произвести большой грохот, то от этого содрогается весь остров и происходит землетрясение, а те, что находятся на поверхности, думают, будто им суждено погибнуть, и он много раз учинял сему пробу при жизни своего камрада, что все напомнило нам о глубокой пропасти неподалеку от города Выборга в Финляндии, о чем сообщает в двадцать второй главе своей «Космографии» Иоганн Рауе. Он упрекал нас за то, что мы столь безбожно втроглись в пещеру, а также рассказал, что он и его камрад потратили целый год, прежде чем вызнали дорогу туда, и это им вовек не удалось бы, ежели бы не помянутые светлячки, ибо там гаснет всякий огонь. Меж тем подошли мы к его хижине, которую наши матросы расхитили и разорили, что меня сильно раздосадовало; он же взирал на все с полным хладнокровием и ничем не обнаружил, что это его огорчило. Также утешило его и мое извинение, что все сие было учинено противу моей воли и приказа, бог знает, по чьему произволу, быть может, дабы познать, сколь обрадует его появление и присутствие людей, особливо же христиан, и притом его европейских соотечественников. Вся добыча, кою заполучили разорители в его бедной хижине, не стоит больше тридцати дукатов, что он им охотно прощает; напротив, для него была бы величайшей потерей, какую он перенес, книга, в коей он описал всю свою жизнь и как он попал на сей остров. Засим он сам напомнил нам, что надобно поспешить, дабы вовремя прийти на помощь тем, кто сожрал вместе со сливами свой разум.

Итак, достигли мы помянутых деревьев, где наши как больные, так и здоровые разбили лагерь. Тут узрели мы диковинную замысловатую картину: ни один среди них не был в здравом рассудке, те же, что еще сохранили разум, рассеялись и попрятались от безумцев, кто на корабле, а кто на острове. Первый, кто попался нам навстречу, был оружейник; он ползал на четвереньках, хрюкал, как свинья, и беспрестанно повторял: «Солод! Солод!», упорствуя, ибо он возомнил, что превратился в свинью и мы будем его откармливать солодом. Того ради дал я ему, по совету нашего немца, несколько зернышек тех слив, на которых все они сожрали свой ум, пообещав ему, что когда он их съест, то будет здоров. И только он их отведал и они разогрелись в его утробе, как он снова стал на ноги и заговорил разумно. Подобным же образом менее чем за час привели и всех остальных в полный разум. Тут всяк с легкостью уразуметь может, сколь сильно сие меня обрадовало и сколь я был обязан сказанному немцу, поелику мы без его помощи и совета, нет сомнения, принуждены были бы погибнуть со всем кораблем и всею командою.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций с голландцами простился сердечно,
А сам на острове остался навечно.

Когда же я снова привел все в добрый порядок, то велел трубить в трубы, чтобы созвать всю остальную команду, которая, как было объявлено, хотя и сохранила разум, но в страхе рассыпалась по острову. А когда все собрались, то я убедился, что в этой сумятице никто не пропал; того ради наш каплан, или исповедник, произнес проповедь, в коей он славил чудеса божии, особливо же говорил о вышереченном немце с такою похвалою, которую тот выслушал почти с неудовольствием, что матросы, похитившие у него тридцать дукатов и книгу, сами по своей охоте снова принесли их и положили к его стопам; он же не захотел принять деньги, а попросил меня взять их с собою и отвезти в Голландию, где раздать бедным на помин души его покойного камрада. «Будь у меня целая бочка денег,— сказал он,— я не ведал бы, куда их употребить». А что касается сей книги, то пусть господин примет ее в подарок и сохранит на добрую память о нем.

Я приказал доставить с корабля араку, испанское вино, несколько окороков вестфальской ветчины, рис и другие припасы, варить и жарить, чтобы хорошенько угостить помянутого немца и оказать ему всяческую честь; он же, напротив, не принимал моих учтивостей и довольствовался весьма малым и притом брал только самые скверные кушанья, что, как говорят, даже противно всякому немецкому обычаю и обыкновению. Наши матросы выпили у него весь запас пальмового вина; того ради пробавлялся он водою и не хотел отведать ни гишпанского, ни рейнского; однако ж вид имел радостный, ибо видел, что мы веселились. Самой большой радостью для него было ходить за больными, коих всех он обнадежил скорым выздоровлением и говорил нам, что возрадовался тому, что мог услужить людям, особливо же христианам и особенно своим соотечественникам, коих он уже столько лет не видел. Он был и поваром и лекарем сразу, ибо усердно советовался с нашим медиком и цирюльником, чем и как можно пособить тому или иному страждущему, так что офицеры и команда взирали на него с обожанием.

Я и сам задумывался, чем бы ему услужить; я задержал его у себя и без его ведома приказал нашим корабельным плотникам поставить ему новую хижину, подобно тому как у нас устраивают веселые садовые беседки; ибо отлично видел, что он заслуживает большего, нежели я могу для него сделать или он захочет от меня принять. Его беседа была весьма приятна, однако слишком

немногословна; и когда я спросил его кое-что о нем самом, то он лишь указал мне на помянутую книгу, заметив, что в ней он довольно написал обо всем, о чем ему теперь вспоминать досадно. А когда я напомянул, что лучше было бы ему возвратиться к людям, дабы не умереть тут в одиночестве, подобно неразумной твари, и ему представляется теперь удобный случай отправиться вместе с нами, то он ответил: «О боже! Куда вы влечете меня? Здесь мир — там война; здесь неведомы мне гордыня, скупость, гнев, зависть, ревность, лицемерие, обман, всяческие заботы об одежде и пропитании, ниже́ о чести и репутации; здесь тихое уединение без досады, ссоры и свары, убежище от тщеславных помыслов, твердыня противу всяких необузданных желаний, защита от многоразличных козней мира, нерушимый покой, в коем надлежит служить вышнему и созерцать, восхвалять и славословить дивные его чудеса. Когда жил я еще в Европе, там повсюду (о горе, что сие должен я свидетельствовать о христианах!) была война, пожар, смертоубийство, грабежи, разбой, бесчестие жен и дев и пр.; когда же, по благости божией, миновали сии напасти совокупно с моровым поветрием и голодом и бедному утесненному народу снова ниспослан благородный мир, тогда явились к ним всяческие пороки, как-то: роскошь, чревоугодие, пьянство, в кости игра, распутство, гульба и прелюбодеяние, кои все потащили за собою вереницу других грехов и соблазнов, покуда не зашли столь далеко, что каждый открыто и без стеснения тщится задавить другого, дабы подняться самому, не щадя для сего никакой хитрости, плутни и политического коварства. А всего горше то, что нет и надежды на исправление, ибо каждый мнит, что ежели он раз в неделю присутствует на богослужении и примерно раз в год якобы мирится с богом, то он как набожный христианин не только исправляет все как надлежит, но и бог за такое примерное его благочестие у него еще в долгу. Надлежит ли мне вновь стремиться к таким людям? Не должен ли я помыслить о том, что ежели покину сей остров, куда перенес меня чудесным образом господь, то не приключится ли со мною в море то же, что и с пророком Ионою? Нет, нет,— говорил он,— да сохранит меня бог от такого начинания!»

Когда я увидел, что нет у него никакой охоты отправиться с нами, завел я с пим другой дискурс и спросил, как может он тут один-одинехонек прокормить себя и обойтись со всем; item не страшится ли он тут жить, отлученный на столько сот и тысяч миль от любезного христианского мира; особливо же разве не помышляет он о том, что когда придет его смертный час, кто подаст ему утешение и молитву, не говоря уже о вспомоществующей длани, которая будет ему надобна во время болезни; не помрет ли он то-

гда, покинутый всем светом, подобно дикому зверю или скотине. На сие он ответил: что надлежит до пропитания, то по благости божьей ему ниспослано больше всякой снеди, нежели тысяче других людей; он же может круглый год лакомиться особого сорта рыбою, которая заходит в устье реки метать икру в пресной воде. Сими благодеяниями бога пользуется он и когда снедает птиц, кои время от времени спускаются на остров для кормежки и отдыха или чтобы класть яйца и выводить птенцов; а о плодородии острова нет надобности повещать, ибо сие я видел собственными очами. А что касается помощи от людей, коей он лишится после нашего отплытия, то он нимало о ней не печалится, ибо бог его отрада! Ибо покуда он находился в мире среди людей, то у него всегда было больше огорчений и врагов, нежели приятностей и друзей, да и друзья нередко доставляли ему больше неудобностей, нежели того можно было ожидать от их дружбы. А ежели нет у него тут друзей, которые его любили бы и услужали ему, то нет и врагов, которые его ненавидели бы, да и те и другие легко могут ввести каждого во грех, так что он отрекся и от тех и от других, дабы тем спокойнее служить богу. Правда, поначалу подпадал он немалому искушению как от самого себя, так и от врага всего рода человеческого, однако ж сумел претерпеть и выстоять перед ними, поелику, по божьей милости, в крестных ранах Искупителя обрел единственное свое прибежище, помощь и заступление, утешение и спасение.

В подобных беседах и дискурсах проводил я время с помянутым немцем. Меж тем наши больные час от часу выздоравливали, так что через четыре дня не было никого, кто жаловался бы на какой-либо недуг; мы починили на корабле все, что надобно было исправить, запаслись пресной водой и всем прочим на острове и, довольно отдохнув и набравшись сил, отплыли на седьмой день, направившись к острову Святой Елены, где мы повстречали несколько кораблей из нашей армады, на которых также выхаживали больных и поджидали остальные суда, после чего мы все благополучно возвратились в Голландию.

При сем посылаю для вручения господину также несколько светящихся жучков, благодаря коим я с многократ помянутым немцем посещал сказанную пещеру, которая была вместилищем всяческих чудес. В ней хранился большой запас яиц, ибо, как мне сказал немец, в это время года здесь было самое прохладное место. В самом дальнем углу пещеры поместил он сотни этих светляков, которые давали такой свет, словно в хоромах, где без счету зажгли свечей. Он сообщил мне, что сии жуки плодятся всегда в одно и то же время года на особого рода деревьях, однако в течение месяца всех их пожирают чужестранные птицы чужестранной породы, кото-

рые слетаются на остров выводить птенцов; а посему он был принужден измыслить способ, как сохранить этих светляков, дабы употреблять вместо свечей круглый год, особливо же для посещения сей пещеры. Находясь там, светляки сохраняют свою силу весь год, однако на свежем воздухе светящаяся жидкость высыхает, так что они больше не испускают ни малейшего света, а погибают через неделю. И так как с помощью сих ничтожных жучков немец хорошо вызнал пещеру и обратил ее в надежное убежище, то мы помимо его воли не смогли бы извлечь его оттуда никакою человеческою силою, хотя бы нас было сто тысяч. Мы подарили ему перед отплытием английское зажигательное стекло, чтобы он мог добывать себе огонь от солнца, и то был единственный предмет, который он пожелал от нас получить; и хотя он не хотел больше от нас ничего принимать, однако ж мы оставили ему топор, лопату, кирку, два куска хлопчатой материи из Бенгалии, полдюжины различных ножей, ножницы, два медных горшка и несколько кроликов — испытать, не разведутся ли они на острове, после чего весьма дружественно распростились с ним; и мне сдается, что то был наиздоровейший по климату остров, ибо все наши болящие в течение пяти дней снова обрели силы, а немец за все время, что он там пробыл, не ведал никаких болезней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокочтимый и благосклонный любезный читатель. Сия книга «Симплициссимус» сочинена Самуелем Грейфензоном фон Хиршфельдом, понеже я не только обрел ее после его смерти, но и он сам указывает в ней на самого себя как на сочинителя «Целомудренного Иосифа», а в «Сатирическом пилигриме» на своего «Симплициссимуса», коего он частию написал еще в юности, когда был мушкетером. А по какой причине он изменил свое имя, переставив в ней буквы и обозначив себя на титуле как Герман Шлейфхейм фон Зульсфорт, про то я не ведаю. Впрочем, он оставил после себя весьма искусные сатирические вирши, кои, ежели это сочинение полюбится, можно издать в свет, о чем пусть будет читатель известен. Сие заключение я не мог сделать ранее, ибо первые пять частей были напечатаны еще при его жизни. Будь здрав, читатель! Dat. Рейнек, 22 апреля anno Domini 1671.

Г. И. К. Ф. Г.

П. в Цернхейме.

КОНЕЦ

ПРИБАВЛЕНИЕ И ПЕРВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ. ИЛИ CONTINUATIO ЗАТЕЙЛИВОГО И ВЕСЬМА ДИКОВИННОГО СИМПЛИЦИЯ СИМПЛИЦИССИМУСА

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К ДОСТОПОЧТЕННЫМ И ВЫСОКОЧТИМЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

Преблагосклонный читатель! Хотя и вознамерился я провести остаток дней моих на краю света в страшной безлюдной пустыне в непрестанном созерцании, упражняясь в сочинении дальнейшей повести о моих приключениях, однако ж, по правде, все сие осталось только одними помыслами, с коими моя Судьба и Фатум, однако, не пожелали прийти в согласие, так что я против моей воли принужден был совершить путешествие и начать снова скитальческую жизнь и отличиться перед своими любезными господами соотечественниками и ближайшими родственниками. Но понеже я пожелал в особливом трактатце, который еще находится в печати, представить себя как некую новоявленную птицу Феникс и уже с надлежащею обстоятельностию изложил поистине диковинные и весьма странные приключения моей жизни, то на сей раз хочу тебя, преблагосклонного и печалящегося о моем благополучии читателя, кратко, однако с немалыми подробностями уведомить, как провождал я жизнь в течение двух лет, когда скитался повсюду, появляясь то там, то здесь, подобно летучему страннику, и что повидал на свете примечательного и достопамятного; льщу себя надеждою, что такое мое намерение не будет тебе противно, ибо оно исходит от Симплициссимуса и в высшей степени достойно приятия и благосклонности. Засим живи благополучно и ожидай вскорости новых сочинений о подобных же материях. Adieu.

«Кому вода подступит к самому горлу, тот скоро научится плавать»,— справедливо гласит старая пословица. Я, тертый малый, побывал везде и всюду и, скажу без похвальбы, порядком испытан в свете и его обыкновениях, так что хорошо известный Симплициссимус может спеть о том диковинную песенку. Не в редкость была мне самая крайняя нужда, которая и научила меня измышлять и выдумывать различные никому не ведомые искусства, хитрости, забавные штуки и кунштюки, дабы заработать на кусок хлеба и насытить свой томимый голодом и жаждой желудок; но все сии художества и инвенции пособляли недолго; и стоило мне возомнить, что я малость отудобел и могу доставлять своей утробе каждодневное пропитание (а о большем я и не помышлял), как, не успею я оглянуться, все мои надежды плюхнулись в лужу. Тяжелая работа была не по мне, ибо я неохотно ворочаю бревна, из боязни, как бы нежные мои руки (кои более всего походили на грубый рог) не повредили высыпавшие на них пузыри, а козлиный запах любезного моего пота не привлек ко мне снова пригожих бабенок, которых я порядком возненавидел. Воровать тоже было для меня неподходящей работой, ибо мне уже не раз приходилось от нее солоно и у меня до сих пор перед глазами маячит виселица, которая угнетает меня горше самой смерти. Не раз брался я за ремесло площадного лекаря и морочил людей своими лекарствами от поноса, зубным порошком, семенем от глистов, пастилками, мозольным пластырем, золотою водою, латвергом от яда и тому подобными снадобьями; пробавлялся тем некоторое время недурно. Но вот однажды в некоем весьма знатном городе зашел я в аптеку, дабы купить различные потребные мне материи, и там увидел на столе рецепт, начало коего я прочитал, а там было написано: «Recipe carnes mali medici».

Упаси бог! Как стало мне тревожно и боязно на душе! И из меня даже ушло нечто весьма испортившее приятный аптечный запах, ибо возомнил я ни много ни мало, что добираются до моего живого мяса, распознав во мне бессовестного лекаря, однако мне после растолковали, что там по-латыни было написано не что иное, как: возьми лимонной мякоти! Я со всех ног бросился из аптеки, собрал весь свой хлам и побежал что есть мочи за городские ворота, как если бы за мною гналось по пятам само адское пламя, и вскорости оставил сие, по тогдашнему моему воображению, весьма опасное ремесло, решив, особенно не раздумывая (ибо был довольно находчив), приняться за что-нибудь другое. Я поразмыслил: «Любезный Симплициссимус! В жизни твоей было немало диковинных делишек и забавных, затейливых, даже смехотворных выдумок, кои ты предлагал разумному свету, и, однако ж, не всегда в том раскаивался; а что, ежели ты на старости лет примешься

выкликать ведомости, заведешь повсюду торг календарями, да, не ленясь, хорошенько поработаешь своей собственной глубокомысленной башкой? Ручаюсь, что все получится не так уж глупо и бестолково». Подобные мысли вовсе не смущали меня; напротив того, они мне нравились, да так, что я сразу уселся на лужайке, развязал кошелек и стал пересчитывать оставшиеся у меня денежки, наберется ли у меня столько, чтоб начать такое дельце с ведомостями и календарями. Но у меня сразу упало сердце, когда я увидел, что кошелек у меня тощ, да вспомнил, какое множество календарей печатают повсеместно на продажу и что придется держать по нескольку штук каждого сорта, чего только ни спросят. К примеру, вспомнились мне «Календарь Кометы», польский, шведский, датский календари, испанский, индианский, английский, чешский, календарь погоды, семейный, брачный, мифологический, исторический, театральный, музыкальный, торговый, поваренный, кондитерский, даже заячий календарь и множество иных подобных. Под конец я все же решил преодолеть все препоны и выпустить в свет календарь под моим, слава богу, порядком известным в Европе, если также и не в Азии, Африке и Америке, именем Симплициссимуса, и так его составить и расположить, чтобы он полюбился моим собратьям и друзьям, коих немало обретается по всем градам и весям. Одним словом, чем дольше я обмозговывал это дельце, тем больше у меня к нему было охоты, а когда я еще посоветовался со своим зеркалом, то оно, к моему превеликому удовольствию, представило очам моим совершенный образец искушенного газетира. И понеже как раз подошло такое время года, когда из-под типографского станка выходили свежие и новоиспеченные календари, то я отправился со всею возможною поспешностью в хорошо известный всем и немало прославленный город в Германии, дабы присмотреть себе удобное пристанище, где я мог бы без помехи сплетать печальные ведомости о смертоубийствах, морских сражениях и других подобных происшествиях. Но стоило мне одною ногою ступить в сей город, как отовсюду набежали мальчишки, один тянул меня за рукав, другой дергал бантики на штанах, спрашивая, что это за птички, третий и вовсе вознамерился меня перевернуть, а все вместе полагали не иначе, что я прибыл с Новой Земли, и потому не переставали глазеть на меня с презрительным удивлением. Когда же под конец они меня разозлили, то начал я трясти головою, что обросла вся словно лесом, и подал столь же геройский голос, как обыкновенно жарким летом некие животные в Аркадии. Но едва только вырвались из моей глотки, как из пустой расселины, первые слова, то все пустились наутек в таком страхе, что никто даже не оглянулся, и я спустя малое время остался совсем один, хотя перед тем едва мог отбиться. Немало было

у меня хлопот, чтобы сыскать постоялый двор, куда меня пустили бы ночевать, хотя и было их в том городе больше, нежели дней в году, покуда наконец надо мною не сжалился один балагур-трактирщик, торговавший пивом и приобыкший писать счета двойным мелком; он-то и обещал приютить меня на короткое время. Я скоро спознался со всеми его гостями, коим пришелся по нраву, так что они меня высоко оценили, ибо я умел с превеликою серьезностью рассказать самые наидиковинные истории. Слушая мои россказни, они разевали рты, раздували ноздри, раскрывали глаза и навастривали уши; а иные сидели, обалдев от восхищения. Когда же я кончал рассказ о каком-нибудь приключении, то всяк лез первым меня чем-нибудь угостить, что мне было весьма кстати, ибо деньги в моем кошельке и без того предназначались на другое. Всю ночь обуревало меня множество мыслей, как бы мне счастливо довести до конца свое предприятие. Едва только взошло солнце, я покинул этих гуляк, дрыхнувших на соломе, чтобы получше свести знакомство с трактирщиком и разузнать у него, где обретаются другие сочинители ведомостей и типографщики, а он после вчерашних моих реляций стал ко мне так благосклонен, что предложил пойти вместе со мною и наилучшим образом меня отрекомендовать. Начало было хорошо, да и продолжение нехудо, ибо я нашел у сочинителей ведомостей столько всякой материи, что мне бы и не приснилось. Особливо же в то время, а именно в месяце июне Anno 1668, повсюду шла молва об отменной храбрости венецианцев в известной всему миру крепости Кандии и неистовстве турецкого визиря при осаде и штурме оной. Писцы, которых набивалось душ по десяти в каждой каморке, с таким усердием строчили письма, снимая копии, что всяк, кто только на них посмотрит, мог бы поклясться, что тут кроется нечто такое, от чего зависит благополучие всей Римской империи. Я скоро заполучил всякого сорта ведомости о сказанной материи, поспешно вернулся с ними в мое логово, выбрал самые лучшие, изукрасил их наиприятнейшим манером своим пером, а также принялся сочинять песню, дабы при случае публично распевать ее на базарах, а в ней излагал весь ход морского сражения, которое было дано вторым капитаном венецианской республики Лионом десяти варварским кораблям. И я живо представил, как два венецианских капитана взорвали на воздух свои собственные корабли, дабы погубить вместе с ними и вражеские, а к сему особливо приличествовал мой нежный голос, коим, подобно новому Орфею, можно было побудить к состраданию не только людей, но также и диких зверей. В сей песне я превознес обоих капитанов за их геройскую храбрость превыше звезд и отвел им в загробном мире место рядом с храбрейшим богом войны Марсом; напротив того, когда речь шла о великом визире,

то не жалел ничего, что могло бы послужить к его уничижению, особливо же когда я представлял, как сей свирепый тиран в безрассудной ярости четыре часа кряду штурмует крепостицу Сабионеру, вознамерившись захватить и покорить ее. Засим начинал я радоваться тому, что он, невзирая на все свое бешенство, не преуспел в том, а принужден был, оставив свыше трех тысяч мертвых, отступить со множеством раненых, и в заключение от всего сердца возносил желание, чтобы всевышний и впредь милостиво взирал на великолепных венецианских синьоров и помогал им сражаться против кровавых турецких псов. Как только я с этим покончил, то поспешил, как если бы у меня загорелось под ногами, вместе с моим хозяином, который полюбил меня всею душою за мои побасенки, по пословице: «Одно к одному, вот и пара», прямехонько к типографщику, мысль о коем тотчас же засела и угнездилась в моей голове, как червяк в гнилом сыре. Короче, он не только тотчас же отпечатал сие первое мое произведение (или новую ведомость, хотел я сказать), но и повременил с новым молитвенником, который как раз в то самое время лежал под прессом, дабы мне не было ни малейшего помешательства в осуществлении моего намерения. Меж тем прохаживался я по его каморке, как малый, который привык все вынюхивать, и, оглядевшись, приметил кипы календарей, сложенных на полках, и сие зрелище произвело в моем сердце столь великую радость, что я проворно вскочил на стоявшую там лесенку, но во мгновение ока перекувырнулся и полетел сломя голову вниз, так что в падении мои и без того узкие штаны лопнули с таким треском, как если бы там был запрятан терцероль, или, иными словами, малый итальянский пистолет, и они расползлись по всем швам. Мой хозяин поспешил ко мне на помощь, а также чтобы поглядеть, не приключилось ли мне от сего глухого выстрела какой раны; однако, оглядев меня спереди и сзади, не нашел, как сказано, ничего другого, как только рану на штанах, примерно на пол-локтя в длину, которую лучше всего умеют врачевать портные. Меж тем типографщик так смеялся, что у него все брюхо ходуном ходило, как это в его доме я учинил такой грохот, к чему он, впрочем, порядком привык, ибо едва я снова собрался теперь уже осторожно и тихонечко встать на приступочку, чтобы посмотреть на превосходные календари, как он дружески присоветовал мне этого не делать, а не то опять явлю точно такое же смехотворное зрелище, как незадолго перед тем; и рассказал при этом, какие приключения происходили у него в иные годы с календарями, а именно, что тот или другой как из здешних, так и приезжих не стыдится еще до того, как его календари поступят в публичную продажу, просмотреть их, выбрать что получше и издать в свет под новым титулом, и таким образом па-

живается с немалым для него, типографщика, убытком; так что наконец он изобрел еще средство, дабы отныне его календари никто не перепечатывал; когда же он увидел, что я собирался за ними полезть, то хотел меня верой и правдой предостеречь от сего.

Я, как истый Симплициссимус, не принял сего близко к сердцу, а объявил типографщику, что сам замыслил заняться календарным промыслом и на такой конец покупаю порядочное количество всякого сорта календарей, за которые уплачу наличными деньгами, за чем, собственно, я сюда и пожаловал. Едва мой господин печатник заслышал о деньгах, как с немалым проворством притащил новую лестницу, взобрался на нее и стал подавать мне пачку за пачкой всевозможные новехонькие календари, совсем недавно вышедшие из-под станка. Все они мне чрезвычайно понравились, ибо я увидел, что на титулах, красиво отпечатанных красным шрифтом, обозначено много превосходных вещей. «Ах! — воскликнул типографщик, протягивая календарь, который мне особенно приглянулся.— У меня тут, насколько помню, собралось как раз девяносто девять календарей различных авторов; когда бы я мог еще получить сотый, купить или издать какого-нибудь сведущего в астрологии мужа, то охотно приложил бы к сему знатную сумму и не поскупился бы ни на какие издержки». Тут я тайком подумал: «Вот это для меня пожива! Когда все семь планет мне милостиво благоприятствуют, способствуют и соизволят, то я и впрямь весьма благополучный Симплициссимус». А посему начал столь замысловатый дискурс об астрологии, что мой собеседник слушал и не мог довольно наслушаться. Я говорил: «Что это за сочинители календарей? В некоем весьма отдаленном отсюда месте, где я, скажу без похвальбы, провел целых десять лет, находится сонм астрономов: они столь надежно и совершенно разумеют течение светил, что можно подумать, будто они со всем тщанием переняли свое искусство у селенитов, или обитателей Луны. Ежели кто из них предскажет в календаре на какой-либо день дождь, а в назначенный день он не пойдет или не случится что-либо другое, что там обещано, то такого предсказателя всю жизнь будут почитать за обманщика». Под конец я столь искусно и великолепно повел речь, что типографщик принялся меня уговаривать составить для него календарь и принести ему чем скорее, тем лучше, а все мои труды он возместит такою мерою, что я-то уж буду доволен. Тут я еще наговорил ему всякой всячины о своем искусстве, ибо приметил, что он ценит меня куда больше, чем я того стою, и пообещал как можно скорее представить образчик моего искусства, так что ему не придется раскаиваться, что он увидел меня в своем доме и свел со мною знакомство. Во время этой сделки с календарями (коих я получил безденежно не одну дюжину на мой счет) принес под-

мастерье отпечатанные ведомости; их я тоже забрал добрую пачку и, надавав множество обещаний об особливом усердии, с каким я изготовлю диковинный календарь, простился и отправился вместе с моим трактирщиком к нему домой, продолжая всю дорогу вести разговор о сочинении ведомостей. Там я прежде всего стал держать с ним совет, как мне дальше приняться за дело; он же сразу мне присоветовал разложить мои календари вблизи его дома, который и без того находился неподалеку от базарной площади, на столике, которым он меня ссудит, и, став за ним на скамейку, с веселым и неробким видом бойко выкликать свои новоиспеченные ведомости. Но как в тот самый день по причине худой погоды людей было мало, то я отложил свое намерение на завтра. Меж тем изготовил я добрый кусок обещанного календаря, который мне самому так понравился, что я досадовал на самого себя, зачем раньше не избрал столь великолепное искусство своей профессией. А когда занялся приятный день, в коем я должен был учинить похвальную пробу своему таланту, то постарался, подобно другим искусным певцам, прочистить и промочить свое горло, в чем мне пособил мой хозяин, выставив несколько кружек доброго пива. Снарядившись и заправившись таким образом, отправился я во имя Меркурия, бога всех шарлатанов и обманщиков, на базарную площадь, разложив как можно приглядиее моих превосходных авторов, возгромоздился на скамейку, как на проповедническую кафедру, и стал раздувать и разглаживать бороду, которая закрывала мой рот и подбородок, как несокрушимый болверк, так что прохожие по большей части останавливались ради одного того, чтобы наконец услышать, что же такое я скажу и объявлю после того, как столь долго пыхтел и откашливался. Множество зевак напомнило мне не что иное, как тучу мух вокруг молочного горшка. А когда я приятно и довольно звонко зазвенел своим соловьиным голосом, то стоявший в толпе трубочист принялся так смеяться от всего сердца, что своротил челюсть и не мог закрыть рта. Упаси бог! Какая тут поднялась кутерьма! Одни смеялись еще громче, чем трубочист; другие же перепугались, увидав, что добрый малый не может затворить рот; третьи старались вправить ему челюсть; а иные сердились на меня, что я своей болтовней учинил ему такую напасть. Когда я это приметил, то мне стало весьма не по душе, однако же я не показал виду, а попросил тех, кто стоял ко мне поближе, подвести ко мне этого чернушку и поклялся своею бородою и любезным своим календарным промыслом, что пособлю так скоро, что они и ахнуть не успеют. Когда же они услышали, что я им с таким жаром обещал, то несколько таких же черномазых молодцов подвели ко мне пациента и, по моему приказанию, поставили его ко мне на скамейку; засим я стал держать речь перед народом и ска-

зал: «О любезные мои господа и присутствующие здесь добрые друзья! Не напрасно изрек известный, высокоученый и прославленный муж: «Saepe etiam sub sordido palliolo latet sapientia», сиречь: «Под нечистою тогою нередко скрывается преизящная мудрость». А кто сему не верит, пусть поглядит, что я сейчас учиню.

Скажу без похвальбы, что я не только торгую календарями и не только выкрикиваю ведомости, а также с давнего времени опробованный хирург, врачующий раны и вырезающий грыжи и камни, и с божьей помощью пособил уже многим людям избавиться от их телесных недугов. Но иной, пожалуй, спросит, а почем знать, правда ли все это? Нынче ведь повсюду шатаются целые шайки обманщиков, которые морочат не только отдельных людей, но и всю страну, бахвалятся, что могут творить чудеса, а на самом деле не могут вылечить ни одну паршивую клячу. Не так, не так судите обо мне, милостивые господа! Я не задержу надолго ваше внимание. Вы теперь сами должны на деле убедиться, за кого вы должны меня почитать?» И, разглагольствуя таким манером, влепил я трубочисту такую затрещину, что он, нет сомнения, полетел бы кувырком со скамейки, ежели бы я его со всей силою не держал за руку. Когда все зеваки увидели, как я поступил, то хотели кинуться на меня, чтобы хорошенько отдубасить, но когда они услышали, что мой пациент внятными и ясными словами от всего сердца благодарит меня за оказанное ему лечение, то и все стали расхваливать меня как преизящного мужа; тут всяк приступил ко мне, чтобы накупить календарей, другие хотели доведаться, откуда я пришел и долго ли намерен тут пробыть и т. д. Я же каждому отвечал коротко и завел свою прежнюю песню со столь благим успехом, что в недолгое время распродал все ведомости, да и календарей осталось совсем немного. А так как время подошло к полудню, то я собрал свои вещи и воротился в трактир, где стал дописывать свой календарь с такою поспешностью, как только мог. Когда я с ним управился, то пошел к типографщику и вручил ему свою первую работу, получив от него изъявление, что он считает себя совершенно благополучным, получив от меня подобную материю. Я взял у него еще кипу ведомостей и порядочное количество календарей, по-приятельски распростился с ним, пообещав, что в следующий раз доставлю ему новую, особливо приятную материю. Точно так же я поступил с моим трактирщиком, который почти все время кормил меня безденежно и обещал мне, когда я снова вернусь сюда, дружески и с большою охотою принять к себе. Засим отправился я с именем божиим в дорогу, взвалив все свое добро на спину, и за короткое время исходил не только всю Германию, но и посетил различные чужие страны, где мне привелось увидеть

немало диковинных и забавных историй, которые все тут поведать было бы слишком долго и затруднительно.

Однако ж не могу не объявить об одном, что, странствуя целый год в жару и холод, в дождь и непогоду через Германию, Францию, Испанию, Португалию, Польшу, Московию и другие места, было ли у меня там много или мало дел, я всегда присматривался к обычаям тех стран и все редкие и примечания достойные вещи запрятывал в свой черепной коробок, решив все сии диковинные истории применить к моей профессии и, составив обо всем надлежащий концепт, снова проехать через Германию, сообщив затем обо всем примеченном мною своим любезным соотечественникам.

СИМПЛИЦИАНСКИХ ДИКОВИННЫХ ИСТОРИЙ ВТОРОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ИЛИ CONTINUATIO

Когда я однажды на своем острове, где я жил, словно в стране Пролежи-бока, устав после ловли рыбы или другого подобного занятия и выпив, по своему обыкновению, немного пальмового вина, прилег вздремнуть в прохладной тени некоего дерева, как неожиданно меня разбудило с превеликим шумом шестеро мужчин прегнусного вида, коих я сперва по их отвратительному обличью, безобразным лицам и нескладным фигурам почел за адских духов, и того ради беспрестанно творил крестное знамение. Но как они от него и не подумали исчезнуть, то стал говорить с ними по-малайски, но они не разумели меня; я обратился к ним по-португальски, но они не отвечали, а бормотали мне и между собой на каком-то языке, который больше всего напоминал клекотанье рассерженных индийских петухов. Меж тем как ни я их, ни они меня не могли понять, надавали они мне сильных тумаков под ребра, взъерошили длинную мою бороду и волосы, связали мне руки и ноги и просунули палку между ними, двое взяли ее на плечи и так отправились со мною к берегу моря, где стоял диковинный плот с парусом и рулями спереди и сзади. На плоту находились еще четверо мужчин, три женщины и двое детей, которые все ни на йоту не были красивее первых: руки их от природы скорее были пепельно-серыми, нежели черными, однако так причудливо и нелепо покрыты всевозможными красками, что я даже не знал, с чем бы их можно было сравнить. На них не было никакой одежды, кроме шнура на поясе; ни у кого из них не было бороды, а волос на голове у всех вместе не больше, нежели у меня одного в бороде. В остальном же я приметил, что у них было столько же понятия о благородной стыдливости, как у неразумных скотов. Море в то время

ужасно бушевало, и мне сдается, что эти дикари были принуждены непогодою пристать к моему острову.

Когда же они привели меня на плот, то я увидел, что, покуда я спал, они уже сволокли туда всю мою утварь и всю снедь, что была у меня припасена, битую птицу и рыбу и положили меня рядышком, и еще навалили плодов, дичи, что набили на острове, и тому подобное. Тут я ничего иного не мог вообразить, как только то, что попал к людоедам, в чьих желудках скоро обрету себе могилу; каковыми они, нет сомнения, и были на самом деле. А когда разгневанное море немного утихло и подул приятный восточный ветер, то сии дикари предались ему и поплыли на запад. У них не было компаса, но, как я приметил, они днем шли по солнцу, а ночью по звездам, коих они почитали или, лучше сказать, коим поклонялись со странными церемониями. Подобными же кривляниями и диковинными песнями встречали они поутру солнце; мне же приходилось весьма солоно, ибо я лежал крепко связанный. Когда они ели, то и мне уделяли часть, однако таким манером, как обыкновенно кормят детей кашей или евреи пичкают каплунов, ибо я не мог пользоваться руками. Они пили воду прямо из моря, что противно натуре. Нет сомнения, что я принужден был лежать связанным, потому что они боялись, как бы я не прыгнул от них в море.

Не прошло и трех часов после рассвета, как нас завидел португальский корабль, с коего нам подали сигнал спустить парус. Но дикари сего не уразумели, как и моего языка; не мог я им также растолковать знаками, ибо, как уже сказано, был связан. А посему плыли они напропалую вперед; когда же помянутый корабль к нам приблизился, то с него выпалили из пушки, первое ядро не долетело, зато второе тем вернее поразило плот и не только разнесло две главных балки, но и разбило в щепы мачту, причем двое мужчин и женщина были убиты насмерть и свалились в море. Итак, мы попали к португальцам.

На сем судне были люди самых различных наций и многоопытные мореплаватели, однако среди них не сыскалось ни единого, кто мог бы объясниться с этими дикарями. Некоторые, и даже большая часть, почитали их людоедами, обитающими на островах под сороковыми или пятидесятыми градусами южных широт в неизведанных странах, обычно называемых Terra del fuego, или Огненная Земля. Их всех обратили в рабство, меня же освободили от моих пут и уз, а затем, как диковинного монстра (ибо моя борода достигала колен и волосы свисали до поясницы), доставили на корабль ко всеобщему удивлению, особливо же как я умел немного говорить по-португальски.

Первое, что я учинил,— приготовился к исповеди, ибо на корабле было несколько патеров, а от обращения, коему подвергли меня дикари, я весьма ослабел; и когда я, по просьбе знатнейших, что были на судне, поведал о своей жизни, ибо они желали знать, как я очутился в отдаленнейших сих странах и попал в лапы дикарей, то вдруг на том же судне нашлись и такие, что знавали меня еще в Красном море в ту пору, когда арабские разбойники водили меня напоказ, как дикого человека, и собирали немалые деньги; они-то и помогли мне избавиться от сих разбойников и отправиться на том самом корабле, на коем я потерпел крушение и был выброшен на остров, каковая история весьма подробно рассказана и изложена в моем Жизнеописании. После чего вся команда стала оказывать мне любовь и уважение; знатнейшие пожаловали меня новым платьем и обходились со мною, как с унтер-офицером, пообещав доставить меня вместе с ними в Европу, однако ж с условием, что я буду делать все, что в случае нужды на корабле может быть потребовано от матроса, за что мне будет идти положенная честная плата. Но еще до того как мы достигли острова Святой Елены, умер наш лекарь, или хирург, вследствие чего я должен был заступить его место, разделяя труды с патером, также сведущим в медицине, каковую должность я принял с тем большею охотою, что хорошо знал все снадобья, которые были в нашей аптеке, и получил в помощь ученого и благочестивого мужа.

Хотя мы благополучно достигли сказанного острова Святой Елены, однако ж на борту у нас объявилось много больных, так что мы были вынуждены на долгую стоянку, и еще до того, как мы собирались отплыть, зашли туда два английских корабля, которые намеревались идти через пролив Де-Ла-Мэр в Новую Англию; им-то и продали дикарей, которые взяли меня в плен. Мы простояли примерно две недели на острове сем, который хотя и почитается благодатным, однако не может сравниться с тем, на коем я до того жил и, к несчастью, проспал. Я раньше думал, что никакая армия и никакая человеческая военная сила не может лишить меня этого острова и моего благополучия; но вот эти дикие варвары, которые были больше похожи на неразумных зверей, нежели на людей, показали мне, сколь тщетны были мои самонадеянные помыслы и сколь бесполезна моя хорошо снабженная всякой снедью пещера. Ну, чем тут пособить? Все миновало. Когда наши больные поправились, то мы отплыли в Португалию и через короткое время благополучно прибыли в Лиссабон.

В Лиссабоне обрезал я длинные свои волосы и бороду, однако немало и оставил на лице, как у пышнобородого швейцарца. Владельцы корабля отпустили меня, наградив заместо жалованья порядочною суммою денег, так что я мог быть доволен, а самые знат-

ные и богатые люди в городе одарили меня различными подарками; да, нет сомнения, и сам король милостиво пожаловал бы меня богатыми дарами, когда бы его особа не была отвлечена другими весьма странными и удивительными делами, открывавшимися и распубликованными как раз в то самое время. И понеже мне не на что было там больше надеяться, то я велел сшить себе длинный черный камзол из тонкого сукна, выправил себе паспорт и отправился на богомолье в Компостелу, где повстречал немецких пилигримов-якобитов, которые насказали мне целую кучу добрых вестей из Германии: и о всеобщем-то мире, и о здоровом воздухе, и о полной дешевизне, и о многом другом, так что у меня просто слюнки потекли, и я вообразил, что заживу теперь посреди Германии, как у себя на острове, посему немедля решил снова ее повидать, ибо и без того давно уже таил превеликое желание узнать, как там живет юный Симплиций и люб ли мой род людям, или, говоря честно по-немецки, может ли он еще преуспеть в сем мире.

На сей предмет откупил я себе место на корабле, на коем совершил благополучное плавание из Компостелы до Амстердама, а затем то по воде, то сушею через Нидерландские соединенные провинции, что находились под властью испанского королевства, добрался до Цволле. Оттуда же прошел в Вестфалию, далее в Гессен, item в Веттерау и, наконец, горными дорогами через Нижний Пфальц и маркграфство Баден вверх к моему батьке, моей матке и моему юному Симплициусу в Шварцвальд, где двух первых нашел в глубокой старости, а последнего в цветущей юности, однако все трое вели весьма благоразумную жизнь. Итак, мои высокочтимые, преблагосклонные, возлюбленные господа соотечественники, я снова появился в Европе и вот достиг Германии, что и было концом моего второго путешествия, которое я совершил в дальние страны, согласно тому, как это поведано в моем Жизнеописании.

А что со мною то здесь, то там, то в ином каком месте приключилось странного и диковинного во время последнего путешествия, то все описать не хватило бы двух слоновых шкур, не говоря уже о сем календаре. Но ежели мне удалось бы к моим уже тягостным и досадительным годам добавить единицу и нолик, да поместить сии две ничтожные циферки в надлежащем месте для мультипликации, то я уж сумел бы оставить после себя столько сочинений, что и Сократ через тридцать тысяч лет (когда именно закончит свой цикл великий год Платона и Дионисий будет владычествовать в Сиракузах, а Юлий Цезарь в Риме и других местах, и снова примутся воевать Ганнибал в Италии, Сципион с Карфагеном, Александр Великий с Дарием) нашел бы в них довольно всякой материи. Но понеже сие навряд ли случится, а у меня в запасе

еще несколько пустых страниц, то решил я на сей раз их заполнить и сообщить, что обрел возлюбленных моих детей Симплициев, ибо, чтобы поглядеть на них, я главным образом и воротился, а не видел я их с тех самых пор, как их матери здесь ли, там ли, словом, в разных местах, выродили, то бишь, хотел я сказать, вырастили. И один носил такое же украшение, как Мидас, другой, как Актеон, а третий был словно тот боязливый зверек, коего подают к господскому столу сразу на двух блюдах, перед четвертым гнули спину, пятый, шестой и седьмой и т. д., а посему я не мог приметить, чтобы кому-нибудь из них пошло впрок или повредило их симплициссимуство, а их простота споспешествовала к возвышению или падению того или другого, так что всяк оставался в том состоянии, которое у него было, что с давних времен приписывают безрассудной вещи, кою мир обычно зовет слепым счастьем.

Меж тем во время этого дальнего путешествия мои португальские денежки порядком разошлись по рукам, так что почти подошли к концу, когда я еще не успел пройти Вестфалию. Самый последний дукат я разменял в Касселе, где пристал к возчикам, направлявшимся с купеческими товарами во Франкфурт. Путь, который мне еще предстояло совершить, был для меня по безденежью моему далеконек, ибо мне было нелегко обеспечить себе пропитание; того ради измышлял я способы, как бы мне прокормиться. Нищенствовать, подобно другим братьям святого Якоба, я стыдился и к тому же боялся, что в Гессене и на горных дорогах, где господствовала реформатская церковь, не получу ничего, кроме насмешек, ибо тамошние жители не очень-то уважали пилигримов, обвешанных ракушками. Но когда я особенно страшился, что мне не удастся по дороге найти себе пропитание, то одно нечаянным образом приключившееся несчастье послужило к моему счастью и побудило меня, как некогда во Франции, заделаться врачом. Ибо когда мы заночевали в одном местечке неподалеку от Фрицлара, то как раз у одного тамошнего богача потекла кровь из носа, да так, что страшились за его жизнь; родные его побежали и поскакали по всем окрестным селениям, разыскивая людей и средства, чтобы унять кровь, но все было напрасно! Как только я услышал об этом от трактирщика и его слуг, то сразу прихвастнул, что знаю, как ему пособить. Сие тотчас же передали пациенту и его дворне, и меня, уже на ночь глядя, поспешно позвали к больному. Я нашел его скорее мертвым, нежели живым; ибо он уже весь побледнел, позеленел и посерел, как свинец, не говоря уже о других признаках приближающейся смерти, которые можно было у него приметить. Рядом стояла целая лохань, полная крови, вместимостью, я думаю, в тридцать пять метцев, не считая того, что было повсюду залито и забрызгано. Сверх того, его уже пользовали вся-

ческими самыми крайними средствами: пугали, обливали холодной водой, давали прохладительные и вяжущие снадобья, перетягивали бедра, руки и грудь, словно узнику, даже не пощадили его, отворив ему кровь и наставив по всему телу банок, а также наложив на лоб, нос и виски всякие примочки. Но ничто не помогало, а только пошли у него один за другим обмороки. Когда я увидел, как обстоят дела и что пациент обрел во мне надежду и утешение, то распорядился учинить все наоборот. Я велел укутать его в теплое одеяло, распустить все бинты и повязки, растирать ему руки и ноги, жечь крапивой под мышками и употреблять другие средства, чтобы не допустить обмороков. Меж тем как ему все это делали, я вылил немного его крови на сковородку и поставил на огонь, приготовив ему подобающим образом и согласно своим познаниям столь превосходную нюхательную соль, с помощью какового симпатического средства остановил у него кровь раньше, чем кто-либо мог сосчитать до ста. Таким-то образом я учинил знатное чудо и с тех пор не делал ничего другого, как только врачевал сего больного различными сердцекрепительными и очищающими кровь средствами, кроме того, наружно помогал ему, укутывая теплыми одеялами, и кормил его особо деликатно приготовленными протертыми блюдами, так что к полудню он мог сопричислить себя к здоровым, а я со своими возчиками пуститься в путь. Но так как жена моего пациента и другие его родственники не особенно верили в его излечение и страшились опасного рецидива, то никак не хотели отпустить господина доктора, невзирая на то что я отговаривался поспешностью своего путешествия и тем, что упускаю случай уйти с обозом. Они же сулили мне золотые горы и уверяли, что через несколько дней пойдет новый обоз и по той же самой дороге, что и теперешний, так что уговорили меня остаться, тем более что я без того терпел большую нужду в деньгах, а потому пробыл у них целую неделю, за какое время у больного час от часу прибывало силы и оживал цвет лица. Всеобщая молва об этом лечении распространилась с такою быстротою, что за несколько дней ко мне стеклось множество пациентов из соседних селений, как если бы тут был синьор Борри собственною персоною. Тогда пришлось мне поступить, как всякому, кто не желает потерять кредит. Когда я понимал в болезни, то знал и средство против нее; а когда я не разбирался в состоянии больного, то отсылал его с утешительными словами к доктору или цирюльнику. Те, кого я принимал, обыкновенно выздоравливали, и мне почти кажется, что то происходило по большей части от доброй веры, которую я им внушал. Засим снова пришел обоз, направлявшийся во Франкфурт; с ним я и поспешил в путь, ибо мой кровоточивый пациент собрался с силами и скорее мною тяготился, чем во мне нуждался. Он

отпустил меня, наградив шестью рейхсталерами, невзирая на то что поначалу мазал меня по губам сотнями; я же тем довольствовался, ибо другие больные пожаловали мне немало талеров, так что решил продолжать сие ремесло, деньги же приберечь, дабы употребить их на то, чтобы накупить в ближайшей аптеке всяческих снадобий для такого знахарства. Следуя сему намерению, я на первом ночлеге ел и пил совсем мало; хозяин же постоялого двора поступил со мною, как некая скаредная трактирщица, которая говорила своим гостям: «Кто тут не ест, тот тут и не спит!», ибо не отвел мне постели, а спровадил на конюшню. Там я устроил себе ложе за яслями, как раз перед мордой лошади, ибо другого места не было. Два возчика легли спать в гамаках, подвешенных к потолку в конюшне либо для того, чтобы удобней было вовремя кормить лошадей, либо затем, чтобы их охранять и быть поблизости, если они захрапят или стрясется еще что-либо. Мы все трое заснули без убаюкивания; но когда перевалило за полночь, то меня разбудили стук и шум, который подняли лошади; а когда я приоткрыл глаза, то обомлел от страха, увидев призрак толстой дородной женщины с тускло горевшей свечой в руках, одетой, как обычно в тех местах обряжаются, когда носят траур или о чем-нибудь горюют. Она стояла как раз у меня в головах в углу над яслями и светила, не сводя пристального взора со стены, как если бы хотела разглядеть там блоху. Я внимательно наблюдал за нею и сразу приметил, что это привидение, так что от одной этой мысли у меня волосы зашевелились на голове, как если бы они были живыми или по мне заползали кучи червей. Лошади отпрянули назад, храпели и гремели цепью, которой были привязаны. Возницы же, устав с дороги, продолжали храпеть, словно бились в том об заклад. Когда я довольно нагляделся на привидение, то повернулся лицом к стене и закрыл глаза, с нетерпением ожидая, когда наступит утро или пробудятся возчики, что вскорости и случилось, ибо едва только, как мне мнилось, призрак пошел прочь, то все лошади в конюшне всполошились, отчего один из возчиков закричал на них; а когда я снова повернулся, то кругом была полная темень, привидение исчезло, и лошади утихомирились.

На следующее утро я отозвал трактирщика в сторону и спросил, не завелась ли у него в конюшне какая-либо нечисть. «Что! — закричал он.— Уж не собрался ли ты, бродяга, ославить мой постоялый двор?» Я ответил: «Полегче, господин трактирщик, потише! Не ославить, а избавить тебя от привидения!» — «Ну, тогда другое дело! — сказал хозяин.— Коли ты в таких делах искусен, то не пожалею дать и дюжину дукатов». Я же, напротив того, сказал, что избавлю конюшню от нечисти, но с таким условием, что он мне дозволит взять все, что я там найду, а дюжину талеров

может оставить себе. Трактирщик был малый не промах; когда он увидел, что я намерен взяться за дело без всякого обмана и на свой страх и риск, не требуя от него никаких расходов, то навострил уши и подумал, что в конюшне, должно быть, скрыт большой клад, и потому захотел войти со мной в долю. Я сказал, что он может забрать все один, только ему сперва придется самому поискать и покопать, а я отправлюсь вместе с возчиками. Под конец мы порешили, как он мне сам предложил, что все равно, сыщу я клад или нет, все же он обещает и дает мне двенадцать талеров, коими я и должен довольствоваться, ежели не обрету клад, однако выкурю привидение из конюшни; а ежели обрету клад, то все равно получу двенадцать талеров, однако ж должен поделить с ним клад, как бы велик или мал он ни был. Так мы решили по обоюдному согласию и учинили о сем договор, который потом для верности разрезали по зигзагу, чтобы потом можно было его сложить вместе, и каждый из нас взял себе половинку. А так как, покуда мы уговаривались, возчики убрались и конюшня опустела, то я и направился туда вместе с хозяином и стал долбить стену в том месте, куда с таким благоговением взирал призрак женщины, и вскоре всего после нескольких ударов извлек оловянную коробочку, в которой лежало почти триста дукатов. Трактирщик и радовался и горевал; радовался, потому что мы нашли столько денег, а горевал оттого, что должен был ими со мной поделиться; однако его скоро утешило, что теперь он надежно избавлен от привидения, которое весьма досаждало ему и его домочадцам и распугало у него немало гостей и челяди. Того ради мы поладили и поделили деньги весьма миролюбиво, так что он отдал и обещанные двенадцать талеров и чистосердечно признался, что у него в конюшне переколело лошадей больше, чем на триста талеров, ибо ни одна не оставалась здоровой более чем полгода. И как мой кошель снова был изрядно набит, то я отставил шарлатанство и медицину и с изрядною суммою денег возвратился, как уже сказано, к своему батьке.

ЕЩЕ ОДНА СИМПЛИЦИАНСКАЯ ДИКОВИННАЯ ИСТОРИЯ ТРЕТЬЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ИЛИ CONTINUATIO

Надобно быть крепким малым, чтобы сносить хорошие деньки; эту старую и верную пословицу говаривал мой батька, справедливость коей он испытал на себе, да и на мне она не раз оправдалась, как то довольно ясно можно усмотреть по сему продолжению моего Жизнеописания. Едва успел я, как о том поведано в прошлом году, получить, хотя и с немалым принуждением и околичностями, у трактирщика свою долю в кладе, который я нашел в конюшне, как я снова предался распутной жизни и провождал день за днем в роскоши. Ну и расприволь ное житье пошло тогда у моего батьки, у коего я поселился; ибо раньше-то он всю неделю пробавлялся одним молоком и черствым хлебом, а когда хотел попировать, принужден был валяться в ногах у моей матки, чтоб дала ему овсяной каши, а тут стал я прилежно водить его с собою по трактирам, что бы там ни говорила моя матка, и сие угощенье так пришлось ему по вкусу, что он скоро нажил себе красный загривок и приметно раздобрел. Мы так загуливали на постоялых дворах, что повсюду пошел слух обо мне и моем батьке; особливо же привечали нас хозяева, ибо мы не только заказывали у них лакомые кусочки и промачивали глотки благородным виноградным вином, но и выделывали такие коленца, что потешали всю пьяную компанию и приваживали гостей заглядывать туда почаще. Короче, где был Симплициус, там всегда слышалось, как весело наигрывают брачи, дудки и волынки, стучат кости, шелестят карты и щелкают шашки. Жизнь текла, как в стране Пролежи-бока, и мне ничто так было не любо, как смотреть, когда порою в трактир приходили крестьянские женки и так жестоко чехвостили своих упившихся мужей, что единым духом награждали и меня столь же отменными почетными титулами, да так, что я не мог вставить ни словечушка, на что я, однако, со всеми своими собутыльниками не обращал ни малейшего внимания; когда же их

мельницы начинали трещать и ворчать без умолку, брал я у музыканта волынку и заводил такую кудрявую мелодию, что заглушал всю эту бабью трескотню, и ее почти нельзя было расслышать, не то что понять. Однажды сидели мы с батькой честь честью в трактире и собирались отведать водяных колбасок (как зовут мои земляки угрей) и жареных цыпляток; и я только что подложил целенького на тарелку моему батьке, как — о, злополучная Фортуна! — в горницу ввалилась старая наша матка с сенными вилами в руках и с первого же шага, едва только она вошла и нас завидела, ласково возвысила свой голос, словно мартышка, у коей вздумали отнять детеныша: «Вот, стало, бесстыжая твоя рожа, как ты в поле сено гребешь? Срамотель-то какая, ты тут хлещешь вино, а мы с Уршеле спину гнем, на солнце сопрели, а ты тут прохлаждаешься, словно последний пьянчужка! А ты, Симпел, тут рассиживаешь да небо коптишь, словно вонючая лучина; пошел бы да сочинял свой календарь, а не то опять на войну иди, да моего старика не мути; он совсем ошалел и с панталыку сбился, когда ты тут объявился. Уваливай прочь отсюда, чтоб и духа твово не было!» Когда батька мой услышал такие слова и увидел, как на него наступает старая матка, нос у нее красен, глаза горят, да еще вилы в руках, то задрожал он, словно осиновый лист, и от страха не мог вымолвить ни слова. Я же сказал: «Любезная матушка! Иди с миром! День-то сегодня жаркий, так что мы не стерпели жажды, да и собрались уже по домам. Иди сюда, я тебе поднесу!» — «Ключевой воды испить, хвастун!» — сказала матка, однако не столь уж грозно и проворчала еще что-то, да я не мог разобрать.

Наконец, после долгой перебранки и пререканий наша матка утихомирилась, а я молвил ей ласковое слово и пригласил к столу, а как выпивка пришлась ей по нутру, то не успели мы оглянуться, а она уже сильно захмелела. Тут можно было подивиться, какой вздор болтают и вперемежку ревмя ревут старые бабы, когда не в меру зальют разлюбезным винцом себе глотку. Под конец я с батькой поволок ее домой, да и навряд ли бы мы ее дотащили, когда бы Урселе, которая нам повстречалась на дороге, не подпихивала ее сзади. И так повелось частенько, покуда мой кошелек порядком не отощал и меня стал навещать господин Прореха. Но понеже никакая печаль никогда не крушила моего сердца, так же было со мной и на сей раз, а наш трактирщик хотя и приметил, как обстоят мои дела, однако ж не встречал меня оттого с неохотою, невзирая на то что я стал проедать у него куда меньше прежнего, ибо я ведь и без того принес ему столько прибыли, что он мог бы кормить меня даром всю неделю кряду.

Надлежит мне рассказать о том, какую я учинил штуку, когда совсем расположился на житье у трактирщика, взявшего меня на

даровой стол, чтобы я ему пособлял умножать доход. Однажды под вечер завернуло к нам в трактир несколько торговцев скотом, чтобы устроить пирушку, а ночью при ярком свете месяца продолжить свой путь. Мой хозяин приметил, что у них водится сальце, и не прочь был полакомиться, когда бы только знал, как подступиться к делу, а посему обратился ко мне и сказал, что не поскупится на добрый подарок, ежели я так устрою, что они прображничают всю ночь и ему удастся хорошенько пообщипать сих жирных пташек. Я ответил: «Хозяин! Не ломай понапрасну голову! Не будь я Симплициус, ежели не учиню так, что они беспременно тут заночуют, хотя бы и противу своей воли!» Как все вышло? Через несколько часов гости потребовали, чтобы трактирщик подал счет за выпивку, а он прикинулся, что занят по горло, да приговаривал, что ночью ехать опасно и все такое прочее. Но ничего не помогло, и они стали собираться в путь-дорогу. А когда я увидел, что они собрались расплачиваться, то проворно побежал на конюшню, оседлал стоявшего там большого козла, накинул на себя длинный черный плащ, весь им окутался и вылетел со всею поспешностью, направившись к тому перепутью, где, как я знал, должны были пройти сии скототорговцы. Они уже порядочно отъехали от деревни, а, по счастью, было довольно темно, на что они не обращали внимания, ибо хорошо знали дорогу. Не успели они оглянуться, как я выскочил из кустов на козле и помчался прямо на них, не переставая его щипать и теребить, так что весьма явственно было слышно: мек, мек, мек!

Я хорошо закутался и лишь чуть-чуть выставил лицо, зажав в зубах гнилушку, которая сильно светилась, так что казалось, будто я изрыгаю из пасти огонь. Нет нужды расписывать, какие мины скорчили наши путники, когда завидели в темноте меня с козлом; они помчались опрометью назад, сбившись такой тесной кучей, что я и посейчас дивлюсь, когда о том вспоминаю; и притом еще орали: «Караул, разбой, спасите!» Первый, кто меня увидел, испустил жалобный вопль, так что я сам забоялся, а мой козел и вовсе перепугался, уперся и не пошел вперед, а только блеял. Я же особенно его не понукал, ибо увидел, что все скототорговцы помчались обратно к трактиру; я же только гарцевал на козле почти на одном месте, чтобы они попроворнее ретировались, хотя они и без того делали это с превеликим усердием, так что не потребовалось особых трудов ни мне, ни моему хозяину, чтобы загнать их на наш двор. Я вернулся прежним путем через заднюю калитку, поставил козла в конюшню и принялся ходить взад и вперед по трактиру, как если бы мне надлежало исправить какое-нибудь дело, и зашел в их покой в то самое время, когда они рассказывали о приключившемся с ними несчастье нашему хозяину, который

подливал масла в огонь и увещевал не полагаться впредь с таким легкомыслием на ночь, тем более что у них было надежное пристанище, где им не грозила никакая опасность, и все в том же духе. «Вот, вот! — воскликнул один.— Это мне наука никогда больше не путешествовать по ночам!» — «А привидение,— рассказывал другой,— было такое ужасное и восседало на козле, так что я совершенно уверен, то был сам дьявол — упаси нас от него, господи!» А третий сказал: «А я думал не иначе, что козел наступает мне на пятки, в таком-то я был страхе, да это видно по нам самим».— «Черт побери, а как скакал этот зверь!» — воскликнул первый. «Как мерзко плевал огнем злой дух!» — добавил второй. «А как он мчался на нас,— заметил третий,— словно собрался ни одного в живых не оставить». Я же подумал про себя: «Попали пальцем в небо! Знали бы вы, что эту штуку я вам подстроил, то уж, верно, мне солоно пришлось бы за эту поездочку на козле!» Однако я сказал: «Жаль, что меня тут не было, я предостерег бы господ от этой беды, ибо со мной самим однажды приключилось такое, что козел схватил меня нежданно-негаданно на дороге и донес в зубах до самой конюшни, а потом внезапно исчез, о чем я до нынешнего дня еще никому не сказывал». Они возымели ко мне сожаление, что мне пришлось испытать нечто еще худшее, нежели довелось им самим. Сей перенесенный страх мой хозяин возжелал обратить им в радость, а мне на пользу и потому подносил им кружку за кружкой самого наилучшего вина и угощал их на славу, что они охотно принимали и развеселились так, что пропировали всю ночь и заметно порастрясли кошельки. Хозяин же подумал и обо мне и велел заместо верхового козла приготовить мне отличного индейского петуха, а сам подсел к моему столу и веселился со мною, ибо мы не могли довольно нахохотаться, вспоминая счастливую шутовскую проделку, которую удумали и учинили скототорговцам.

До сих пор знавал я одни только счастливые деньки. А теперь послушайте, что со мною приключилось далее: спустя несколько дней в мое пристанище заявился неведомый врач и площадной шарлатан; он был превеликий хвастун, а в медицине понимал не более меня, не считая того, что не умел так заливать, как я, старый практик Симплициссимус. Я свел с ним знакомство и так как хорошо уразумел, что образ жизни, который вел я до сих пор, не сулит мне ничего доброго в будущем и все сойдет с la на mi, то повел с ним ласковые речи и наговорил ему с три короба о моем искусстве и о том, какие знатные успехи в медицине показал я в разное время в Польше, Москве, Данциге и других местах. «Эге! — сказал врач, который приказывал всем величать его доктором.— Ежели ты пожелаешь оказать мне верную службу и согласишься

стать моим слугою, ибо, как ты говоришь, тебе сейчас приходится туго, то я охотно исполню твое желание; однако ты должен будешь самым прилежным образом соблюдать мой интерес и споспешествовать моему благополучию».— «А как же иначе? — возразил я.— Я уже давно помышлял о таком счастливом случае. Ежели только господин соблаговолит меня принять, то я уже поведу себя так, что у него, когда он меня узнает, не будет причины в том раскаиваться». Тут мы сочинили и подписали контракт; один только мой хозяин был недоволен, что я собрался от него уходить, ибо немало был обязан мне и моим кунштюкам приметным приумножением своих доходов. Я тайком его утешил, сказав, что не пройдет много времени, как я снова буду у него, чему он весьма обрадовался. Мой господин меж тем задумал учинить пробу моему искусству, так ли я его хорошо разумею, как похвалялся; того ради на другой день открыл свой фургон и велел мне выкликать его товары, согласно данной мне полной инструкции, которую я и раньше знал не хуже его. Я постарался на славу, что мне было и нетрудно, ибо я за несколько лет перед тем занимался тем же ремеслом, так что господин весьма дивился и, не мешкая, на другой же день отправился со мною в путь, к великому огорчению моего батьки, матки, Урселе и трактирщика. По дороге я почти что раскаивался, что на старости лет должен буду услужать такому господину, который, как я час от часу примечал все лучше, не понимал и половины того, что я знал, но я все время думал: «Кто знает, что случится? Утешься, Симплициус! — говорил я самому себе.— Все устроится лучше, нежели ты сейчас воображаешь». Мы порядочно поколесили повсюду, и мой господин загребал моими трудами немалые деньги, меня же кормил впроголодь и еще того меньше давал мне выпивки, что было вовсе не по мне, ибо я не мог привыкнуть к такой скряжнической кухне.

Я вздумал разбогатеть на игре в карты, доставляя себе иногда добрый выигрыш с помощью такого искусства, в коем знал толк, что мне порой и удавалось, так что мой кошелек снова был тугонек; однако было у него такое же свойство, как и у ясного месяца: то он полон, то на ущербе, а то я не мог вытянуть из него ни единого геллера, ибо у меня было обыкновение разом все проматывать, либо пропивать, либо спускать в карты, каковые мои добродетели хорошо вызнал мой господин. Однажды сей мой господин и я с ним прискакали в некий знатный польский город в намерении устроить там нужные дела. Там, когда мой господин, притомившись, улегся в постель и пожелал переночевать, пристал я к одной компании, и мы сперва изрядно выпили, а потом принялись, к моему несчастью, играть в карты. Я не только проиграл все деньги, но и свой камзол, красный кушак и т. д., вплоть до

штанов и рубахи. Я пошел полураздетым, ибо уже стемнело, на постоялый двор, и так как мой господин спал крепким сном, то произвел визитацию его кошелька и, забрав денежки, выскользнул как можно проворнее, воротился к своей компании, однако с полным невезением, ибо карты все шли против меня. Не успел я как следует разыграться, чтобы воротить проигрыш — ан, глядь, и эти деньги уплыли, так что я снова принужден был отправиться в трактир, где ночевал мой господин, который меж тем пробудился и тотчас же приметил, что хотя его кошелек на месте, а денежки из него выудили. А когда он за такую неожиданность жестоко выговаривал хозяину, хозяйке и всей челяди, то, на свою беду, пришел я туда в одной рубахе и портках, ибо, как о том уже сказано, проигрался в пух и хотел забрать также и платье моего господина и поставить на карту.

Когда он меня завидел, то стоило поглядеть, как он на меня накинулся, ибо я был столь бесстыден, что еще попросил у него денег выкупить платье. Он призывал тысячу бед на мою голову и добавил, что хочет отправить меня по горячим следам на виселицу, но скоро переменил свое мнение и велел мне поскорее забрать пожитки и больше никогда не попадаться ему на глаза, а не то мне придется весьма худо. Я был в превеликом страхе, ибо увидел, что он поставил свою оседланную лошадь рядом с моею и собирался уехать, а потому стал просить и заклинать его именем божиим не покидать меня в такой напасти; однако ничего не помогло: он ускакал. Я подумал: «Ну вот, как говорится: «Лопай, пташка, или околевай!», и потому побежал что есть мочи рядом с лошадьми, покуда мы не удалились на порядочную дистанцию от деревеньки, а я все еще не переставал клянчить деньги, чтобы выкупить платье, но тщетно. Наконец завидел я несколько мужиков, возвращавшихся домой с полевых работ; тут завопил я прежалостным голосом, чтобы они помогли мне против этого разбойника, который забрал у меня лошадь и все мое добро, а мне взамен бросил свои лохмотья. Мои жалобные крики не прошли мимо слуха этих легковерных людей; они быстро подбежали, и так как почли за сущую правду все, что я им наговорил, то сгребли моего доктора и обошлись с ним весьма круто, отняли у него лошадь, надавали ему крепких тумаков, стащили с него изрядный камзол и вручили его мне, а я его проворно взял и напялил на себя. Что тут врач ни уверял, все было напрасно; мои жалостные вопли и крики «разбой!» совершенно проняли мужиков. Засим я вскочил на лошадь, а другую взял за поводья и повел рядом, поблагодарив мужиков за то, что они вовремя подоспели ко мне на помощь, и, оставив доктора в одной рубахе, ускакал полным галопом с такою поспешностью, как только мог. Но все же, отъехав несколько, обернулся

и крикнул им, чтобы они не причиняли врачу вреда, то будет неправедно, а ссудили бы его платьем, за такое благодеяние он им окажет благодарность. Сказав это, я отпустил вторую лошадь. Итак, я избавился от самой большой беды, в какую только попадал за всю жизнь. Я нигде долго не останавливался, покуда не прибыл снова в ту страну, где мог снова приняться за составление календарей, и за короткое время заработал так много денег, что послал моему врачу, о коем ненароком услыхал, что он пребывает в одном хорошо известном городе в Швеции, по векселю ровно столько, сколько я у него раньше взял, чрезвычайно благодарил его за оказанную мне доброту, пообещав вскорости повстречаться с ним в другом состоянии и принести ему устное извинение в нанесенном ему по причине крайней нужды бесчестии.

Итак, я снова стал сочинителем календарей, и это хорошее дело славно у меня пошло; особливо ж способствовало моему счастью (что, впрочем, в короткое время обернулось весьма плачевно), что я взял к себе столоваться богатого юношу, который весьма пристрастился к составлению календарей, так что я под конец стал его наставником, а он доставлял мне немалую прибыль и оказывал всяческое послушание. Он любил меня от всего сердца, ибо я дозволял ему все, к чему у него была охота. По соседству с нами жила некая весьма приличная девица по имени Цецилия, которая по недостатку денег добывала себе пропитание и насущный хлеб собственными руками и поддерживала свою скудную жизнь тем, что пряла пряжу; на нее-то и устремил свои взоры, чувства и помыслы мой воспитанник Андреолус и через короткое время так пленен был ее ласковыми словами и благонравными минами, что поклялся либо умереть, либо заполучить в свои руки прелестную соседку, связавшись с нею чистыми брачными узами. Он не упускал ни единого случая ни днем, ни ночью, чтобы оказать ей какую-либо услугу и дать понять, сколь сильно любовная страсть снедает его сердце, что Цецилия принимала не то чтоб хладнокровно, но и не слишком горячо, покуда он ее не упросил дать обещание прийти в расположенный неподалеку от нашего дома сад, куда в уреченное время должен был явиться он сам вместе со мною как его гувернером, дабы самым честным образом договориться о будущем бракосочетании. Но все приуготовления привели к нашему величайшему злополучию. Мой Андреолус встретил Цецилию с веселою приятностию, и она ему ответила тем же; в то время как я прогуливался взад и вперед по саду, созерцая редкостные и приятные растения, оба влюбленные уселись под большим красивым кустом шалфея и вели беседу, которую я не всегда мог расслышать. Однако не прошло много времени, как я услышал горестные вопли, плач и крики, чем был весьма озадачен, покуда ко мне не

подбежала Цецилия и, не переставая жалобно рыдать и ломать руки, закричала: «Андреолус! Мой любезный Андреолус мертв! О, горе, он лежит там на траве бледный как смерть!» и пр. С перепугу я не мог вымолвить ни слова, а поспешил со всех ног к тому месту, где мой Андреолус распростерся на траве и, как я его ни тряс и ни тормошил, не подавал никаких признаков жизни, а уже совсем окоченел, распух и весь пошел черными пятнами. «Боже милосердный! — воскликнул я.— Андреолус отравился, и это ты, бесстыжая (показывая на Цецилию), нет сомнения, дала ему яд. О, ты умертвила моего Андреолуса! Кто пособит мне разделаться с тобой и лишить тебя жизни за твою злобу?» В бешенстве я наговорил бы ей еще немало, когда бы на наши крики не сбежались соседи, с удивлением воззрившиеся на сие печальное позорище и все, как один, заподозрившие Цецилию, которая хотя от сердечной скорби и приключившегося несчастья едва не лишилась чувств, однако поклялась самыми святыми клятвами, что совершенно не виновна, и ежели только пожелают ее терпеливо выслушать, то готова поведать до мельчайших подробностей, как все случилось. Я же никак не мог успокоиться, ибо от сердечного сокрушения уже не помнил, что делаю.

Она начала рассказывать, как Андреолус подвел ее к сему шалфейному кусту и после долгих скромных любовных речей оторвал листик, чтобы немного его пожевать, заметив, что шалфей превосходное и весьма здоровое средство для зубов и десен, которое освежает и очищает их от всего, что на них остается от пищи, о чем нередко говаривал мне господин Симплициссимус; после того продолжал вести со мною беседу, но, о, горе! — посреди самых ласковых речей закатил он прекрасные свои очи, побледнел лицом и затем, к моему величайшему испугу и печали, испустил свой благородный дух. «Глядите! — сказала она, сорвав листик шалфея и потерев им зубы,— вот так и он, вот так и он делал». Меня же это еще более раздосадовало, и я сказал, что то пустые отговорки, коими она никогда себя не оправдает за постыдное убийство. Но едва я смолк, как сломленная жестоким горем и скорбью бедная Цецилия внезапно побледнела, как если бы впала в бесчувствие, и поникла на землю, где тотчас же испустила дух к немалому ужасу нас всех, кто тут присутствовал. «О праведный боже! — воскликнул я.— Что же это такое? Что тут сказать? Неужто сегодня напали на меня разом все несчастья? Какие только злоключения не привелось испытать мне в жизни, но никогда еще мне не приходилось так тяжко, как теперь. Ручаюсь головой, что этот шалфейный куст пропитан ядом, что, впрочем, сему растению вовсе не свойственно. Давайте безо всяких проволочек вырвем его с корнем из земли и сожжем!»

Мы немедленно так и поступили, и когда кирками и лопатами отрыли и вытащили куст из земли, что не так скоро нам удалось, то сразу узнали или, лучше сказать, увидели воочию причину смерти обоих любовников; ибо под его корнями нашли преужасную жабу, которая, по всей видимости, своим ядовитым дыханием и отравила куст. Я распорядился тотчас же уведомить о сем прежалостном случае судью тамошнего места, который, опросив очевидцев, велел похоронить столь плачевно погибших особ в одной могиле и предать земле по христианскому обычаю. По сему поводу предался я весьма горестным размышлениям и решил отныне провести остаток дней моих в непрестанной скорби, а также как можно скорее оставить злополучное сие место, что я и совершил. Однако ж первое не мог так скоро исполнить, как бы сильно того ни желал, ибо сему препятствовали различные обстоятельства. Едва я вернулся в свое жилище, как нашел письмо, которое мне прислали мои соотечественники, в коем сообщили, что некоторые сочинители календарей вздумали потешаться над моим и возбудить к нему презрение, отчего мне в голову полезли весьма диковинные мысли. А когда стал я читать далее и узнал, что сыскалось немало и таких людей, коим мои писания наперекор всем завистникам весьма полюбились и приятны, то я успокоился и подумал: «Разве на всех угодишь?», а посему отписал моим соотечественникам, чтобы они уведомили моих недоброхотов, что ежели они не довольны моим календарем (ибо вышло их уже девяносто девять, а мой Симплициссимусовский сотый), то пусть отложат его в сторону и не читают, а увеселяются своими собственными, сколько душе угодно; а я взялся за свое веселое перо в угоду моим соотечественникам, вознамерившись доставить им после тяжких трудов немного отдохновения рассказами о своих приключениях. А ежели мои хулители захотят меня обесславить невеждою, то пусть только не поленятся перелистать мой «Вечный неизменный Календарь» и многие другие глубокомысленные трактатцы и поразмыслят о том, сколь часто под нечистым хитоном скрывается добрый философ, а точно так же порою под простым именем и незначительными словами на дешевой бумаге сокрыто нечто такое, что не всякий сразу уразумеет. Впрочем же, я не могу им ничего лучше присоветовать, как свертеть из моего Календаря цигарку или сделать кулек для перца и других пряностей, меж тем как мои высокочтимые господа соотечественники могут без помехи найти в нем себе увеселение. Написав сие письмо, я собрался в дорогу и вскорости уехал. А что довелось мне увидеть и испытать, о том впредь будет неукоснительно сообщено читателю.

ДОБАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕУДИВИТЕЛЬНОГО СТРАНСТВУЮЩЕГО ПО ВСЕМУ СВЕТУ ВРАЧА СИМПЛИЦИССИМУСА, В КОЕМ ОН КАК ИСПЫТАННЫЙ БРОДЯГА, ИЛИ ВАГАНТ, НА ОСНОВАНИИ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА И ПРАКТИКИ ДАЕТ НАСТАВЛЕНИЕ, КАК ЛЕЧИТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВООБРАЖАЕМЫЕ БОЛЕЗНИ. ВСЕМ ОТЦАМ СЕМЕЙСТВА И ДОБРЫМ ХОЗЯЙКАМ ДЛЯ РАЧИТЕЛЬНОГО, ПОЛЕЗНОГО, УСЕРДНОГО И ГЛУБОКОМЫСЛЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НА БЛАГО ИХ ЧАД И ДОМОЧАДЦЕВ

Хотя уже во времена славного Ганса Сакса жил некий лекарь, что иссекал из чрева глистов, хотя уже лет тридцать назад объявился доктор Глистогон, и в ту же пору изобретен шлифовальный камень для чрезмерно длинных носов и ветряная мельница-моложейка, что перемалывала старух на молодух, а совсем недавно устроен верстак для обтесывания молодых лоботрясов по самоновейшей моде; однако ж на деле все хитрости, инструменты и ма́хины не принесли почитай что никакой пользы. Уж не знаю, оттого ли, что сами мастера не верят своим кунштам или страшатся такого лечения, и потому сами его не употребляют. Того ради я в течение долговременного моего путешествия, побывав в Ост-Индии у яванцев, кои в здравом уме, с хорошей осанкою и сильным телосложением доживают до трех-, четырех- и даже пятисотлетнего возраста (понеже один из них был еще во времена графа Морица в Голландии), подсмотрел их карты и научился у них кое-каким кунштам; и так как я привез в Европу сие искусство на пользу и утешение страждущим, то публично о сем здесь объявлено, дабы подать совет равно как в случае недостатка, так и излишества чего-

либо для их телесного и душевного здравия. А ежели какой беспутный юнец занедужит, то ему пособит весьма сносное (проносное, хотел я сказать) лекарство, приготовленное из затвердевшего березового сока, дабы еще не закосневший дуралей с младых лет избавился от запора невежества, когда у пациента неисправный стул и он бывает принужден лечь животом на лавку. Также пользительно доброе рвотное или отворить кровь, особливо же когда пациент уже вообразит, что малость перерос, чтоб подвергать его вышереченному лечению, и мудрый лекарь прописывает ему на спину прут от вербы (а вовсе не вербену), а ежели будет нужда, то и пятипальцевую мазь для щек и ослиных ушей, а то и на все свиное рыло. А ежели у зараженного сим прилипчивым недугом столь крепкая натура, что сказанные средства на него не подействуют, то самое лучшее сунуть его в печь и всего наново перепечь, id est[1] отнять его от материнской груди и посадить на чужие хлеба, да в такое место, где заведен добрый порядок, а начальником, чего доброго, скупердяй. (Боже, упаси нас от каторжной тюрьмы!) Когда пойдет он своею стезею, подобно блудному сыну, то соскочат с него все паразиты, что точили и губили его и не хотели раньше убраться. А ежели зараза вкоренилась так сильно, что не помогает вся совокупная медицина, ибо пациента давным-давно прозвали Ослоухим, Зайцепасом, глупым, как треска, побродягой, свиным сычугом, Крохобором, Дураком, у которого голова — что чан, а ума ни на кочан, и набита она всяким вздором и дерьмом, дурацкими воображениями и фантазиями, как бочка с сельдями пополам с червями, так что сказанное лечение никак на него не подействует; погляди, как тогда дистиллирует сидящая у печи старость и пропускает материю через искусный и удобный змеевик, так что все улетучивается, словно дым, туман и облака. И подобно тому как для сего надобно время, точно так же принуждены и те, что от природы или по несчастному случаю приобрели зоб, килу, горб, заячью губу и прочее в избытке, или, напротив, недостает им роста, силы, здоровья, красоты и мало чего еще доброго, то лишь в любезной старости сносят все сие и вспоминают, что теперешний хитроумный свет, дабы они могли оставаться в чести и почтении, измыслил для них изрядные преимущества, как-то, например: ежели французы увезли все сено с твоего чердака (о прирожденной парше я умалчиваю), так что у тебя плешь во всю голову, то нахлобучь парик и уверяй, что такова теперь мода. Ежели у тебя глупое лицо, то напяль очки; а шрамы на лице прикрой швейцарской бородою! Зоб прикроет красивый воротник, галстук или брыжи, горб — просторный камзол или китель на французский, поль-

[1] то есть *(лат.)*.

ский или кроатский манер; узкие бедра скроют широкие шаровары; тощие дряблые икры заменят подкладкой в чулках; когда одна нога короче другой, то тут пособит сапожник неравными каблуками. А что касается крошечных карликов, коих обычно прозывают запечными тараканами, то я не знаю для них иного средства, не считая высокой шляпы, как только заново их перелить, будто оконничный свинец, и затем расплющить и раскатать, что можно видеть на изображении моей мастерской. Принимая в рассуждение, что подобное удлинение претерпевает холодный свинец губительного и неумолимого Сатурна, то отчего бы также не подвергнуть ему маленькое тело, содержащее spiritus vitalis[1]? А что касается шлифования носов, то на сие никто не дивится и не досадует; а раз возможно сей дистиллятор мозга во мгновение ока отрубить напрочь безо всякого разумения, то разве нельзя немного отточить с разумом? И если возможно нарастить новый нос из чужого мяса, то отчего бы не отшлифовать по любому фасону свой собственный! Valeat, любезный мой пациент, подумай о своем начале и конце! И соблюдай, или скорее воспитай, в себе терпение, что советует тебе как ртуть изменчивый и все же верный вагант Симплициус Симплициссимус.

КОНЕЦ

[1] эликсир жизни *(лат.)*.

ПРИМЕЧАНИЯ

В основу перевода «Симплициссимуса» положен текст издания 1671 года. Он не только отражает последнюю волю автора, но и является самым полным. Научное издание романа в переводе А. А. Морозова осуществлено в 1967 году издательством «Наука» в серии «Литературные памятники». Переводчик стремился сохранить все художественные особенности языка и стиля «Симплициссимуса» при соблюдении филологической точности, для чего было необходимо воссоздать доступными современному читателю средствами русского языка сложную сказовую форму романа, главной особенностью которого являются смешение книжности и просторечия, обилие устаревших библеизмов, галлицизмов, канцеляризмов, характерных словечек, поговорок, прибауток и каламбуров, а также других особенностей народной речи (в том числе диалектальной). Обоснование принципов перевода дано в статье автора в сборнике «Мастерство перевода» (т. 10, М., 1975).

Для перевода полного титула — «Der abentheuerliche Simplicius Simplicissimus» нами избран вариант «Затейливый Симплициссимус», так как слово «abentheuerlich» во времена Гриммельсгаузена включало целую гамму значений — «хитроумный», «замысловатый», «странный», «диковатый», «проказливый» и др. Перевод «Похождения Симплициссимуса» не только огрубляет название, но и был бы стилистически неверным.

Стихотворение «Феникс» (в начале книги), а также двустишия, предваряющие отдельные главы в книге II (гл. 2, 5—13, 15, 30—31), III (гл. 2, 7, 11, 15, 19, 21, 22), IV (гл. 6, 7), переведены С. В. Петровым. Остальные стихи переведены А. А. Морозовым. В переводе шестой книги и Прибавлений принимала участие Э. Г. Морозова.

БЛАГОРАСПОЛОЖЕННОЕ НАПОМИНОВЕНИЕ

Стр. 23. *...гравюрами на меди, изготовленными по моей инвенции...*— Речь идет о двадцати гравюрах, помещенных в издании 1671 г. Возможно, они были сделаны по замыслу Гриммельсгаузена.

Батька, матка.— Гриммельсгаузен употребляет диалектальные формы «Knan», «Meuder» (веттерауский диалект).

Стр. 28. *Цех сахароваров.*— «Сахаровар» — прозвище главаря шайки воров и мошенников, заимствованное из вышедшей в 1617 г. на немецком языке новеллы Николая Уленхарта «Исаак Винкельфельдер и Иобст фон дер Шнейд».

Стр. 29. *...в древности осмелилась с Минервой самой в прядении состязаться.*— Намек на сказание (первоначально греческое) об искусной пряхе Арахне, которая осмелилась вызвать на состязание Афину (р и м с к. Минерва), за что была превращена в паука. Арахна — по-гречески паук.

Никола Бесстекольный — в оригинале игра слов — «Sant Nitglas» — «Sant Niclas».

...из конопли, либо льняного семени...— то есть промасленной бумаги, заменявшей в бедных домах оконные стекла.

Мурано — городок, принадлежавший Венецианской республике. Славился стеклянными изделиями.

Стр. 30. *Амплистид* (Амфистид) — персонаж греческой комедии, отличительной чертой которого была глупость.

Свида — автор византийского словаря, составленного в X—XI вв. и содержавшего множество сведений энциклопедического характера. О личности составителя словаря почти ничего не известно.

Ялем (г р е ч. м и ф.) — сын Аполлона и Каллиопы. Ему приписывается изобретение особого рода жалобных песен (заплачек).

Стр. 31. *...не мог постичь даже того, что ничего не знаю.*— Использовано изречение Сократа: «Я знаю (только то), что ничего не знаю».

Страбон (66 г. до н. э.—24 г. н. э.) — греческий географ.

Бубульки, Статилии, Помпонии, Витулии, Вителии, Аннии, Капери — фамилии знатных римских родов, этимологически связанные со скотоводством: Bubulcus (волопас) — добавочное прозвание фамилии Юниев, Statilius с дополнительным прозвищем Taurus (бык), Pomponius Vitulus (теленок), Vitellius (теленочек), Annius Caper (козел).

Ромул и Рем — мифические основатели Рима. Вскормлены волчицей и затем воспитаны пастухом Фаустулом.

Лукиан (ок. 120—200 гг.) — греческий сатирик. Имеется в виду его диалог «Суд Париса», где сообщается, что троянский царевич Парис и двоюродный брат царя Трои Приама — Анхис — в юности пасли стада.

Эндимион (г р е ч. м и ф.) — юноша-пастух, взятый Зевсом на небо.

Полифем (г р е ч. м и ф.) — одноглазый великан, живший в пещере со своим стадом, о котором рассказывается в «Одиссее» Гомера.

Люций *Форнутус* (Корнутус) — философ-стоик времен Нерона (I в.). Утверждал, что Аполлон является покровителем стад.

Адмет (г р е ч. м и ф.) — фессалийский герой, участник похода аргонавтов. Аполлон, искупая свою вину (убийство циклопов), служил пастухом у Адмета.

Дафний, или Дафнис (греч. и римск. миф.) — сын Гермеса (Меркурия) и нимфы, сицилийский пастух, которого Пан научил играть на свирели.

Протей (греч. миф.) — морское божество. Обитал на о-ве Фарос, где пас тюленьи стада Посейдона.

Стр. 32. *Меза* (ок. IX в. до. н. э.) — царь моавитян, воевавший с Израилем.

Гигес — царь Лидии. Согласно Геродоту, был пастухом. Однажды нашел перстень, делавший его невидимым.

Исмаил Сефи (1487—1524) — основатель персидской династии Сефевидов.

Филон Иудей (I в.) — философ из Александрии.

...возвращаясь к моему стаду... — восходит к выражению из французского фарса об адвокате Пателене (XV в.) и встречается у Рабле.

Стр. 33. *Фогельсберг* — горная местность в Гессене.

«*Презрен от всех мужичий род*».— Не установлено, является ли эта песня сочинением самого Гриммельсгаузена или переработкой ранее существовавшей народной песни. Ее мотивы известны со средних веков.

Стр. 34. *Кентавры* (греч. миф.) — полулюди-полулошади, обитавшие в лесах. По рассказам конкистадоров, жители Америки, где не было лошадей, принимали испанских всадников за подобные фантастические существа.

Стр. 37. *...путь через Ледяное море от Новой Земли до Китая...*— Северо-восточный морской путь вдоль берегов Сибири. Впервые упоминается в западноевропейской науке Павлом Иовием со слов посланника великого князя Московского Дмитрия Герасимова. Книга Иовия об этом посольстве (1525) была напечатана на немецком языке в приложении к сочинению Сигизмунда Герберштейна «Записки о московитских делах» (Базель, 1556).

Стр. 38. *Святой Вильгельм* (ум. в 1157 г.) — средневековый аскет, совершивший паломничество в Рим и Палестину в веригах и железном колпаке.

Стр. 39. *Антоний Великий* (ум. в 356 г.) — отшельник, живший и умерший в Египте. В его житии описываются фантастические видения и искушения его дьяволом.

Стр. 40. Песня «*Приди, друг ночи, соловей*» сложена на мелодию протестантской песни «Wie schön leuchtet der Morgenstern», сочиненную в 1599 г. Шейдеманном.

Стр. 42. *А ты умеешь молиться?*— В оригинале игра слов: «beten» — «молиться» и «das Bett» — «постель».

...всевышнему...— В оригинале тройная игра слов: «die Kirche» — «церковь», «Kirschen» — «вишни» и «Kriechen» (диалект.) — род диких слив.

Стр. 43. *...красивые снизки и на них белые зернышки* — то есть четки.

Стр. 44. День *святой Гертруды* — 17 марта. По народному календарю, в этот день земля начинает отходить и давать тепло.

Стр. 45. *Aristot., lib. 3. de anima.*— Имеется в виду сочинение Аристотеля «О душе» (кн. 3, гл. 4).

Averroes (Аверроес, 1149—1200) — арабский философ, переводчик и комментатор Аристотеля.

...Cicero, lib. 2. Tuscul. quaest.—Имеется в виду вторая книга сочинения Цицерона «Тускуланские беседы».

Стр. 48. *Гедеон.*— Имеется в виду библейский герой Гедеон (Книга судий, 7).

Стр. 49. *Филлинген* — город в Бадене. В 1633—1634 гг. трижды подвергался осаде. Во время последней осады (с 16 июля по 9 сентября 1634 г.) шведы соорудили дамбу, чтобы, запрудив реку Брейзах, затопить город.

Стр. 52. *Зауерландцы* — жители Зауерланда, местности, занимающей часть Рейнской провинции в Вестфалии.

Стр. 55. *...по окликам признали...*— Во время Тридцатилетней войны не существовало единой формы, по которой солдаты узнавали бы, что они принадлежат к одному войску.

Стр. 56. *Клафтер* — мера длины, приблизительно равная старой русской сажени.

...твердого фитиля.— Фитили для поджигания пороха у пушек и мушкетов делались из конопляных веревок, пропитанных «свинцовым сахаром».

Протазаны — копье с топорищем (род алебарды или бердыш).

Стр. 58. *Копейщики* — самые низшие чины пехоты, вооруженные одними пиками.

Стр. 60. *leg. honor. dig. de honor.*— Имеется в виду Lex 14, Digestorum «De muneribus et honoribus» (lib. L, tit. IV), то есть § 14 дигест «О должностях и почестях», кн. 50, тит. 4 (Corpus juris civilis).

Иоанн Платеа (XV в.) — болонский ученый-юрист.

«Beata terra, cujus rex nobilis est».— Приведенное место находится не в библейской книге Сираха, а в приписываемом Соломону «Екклезиасте». Гриммельсгаузен спутал принятые в латинской Библии обозначения: Eccli (Ecclesiasticus) и Eccle (Ecclesiastes).

Faustus Poëta — Публий Фаустус Андрелини (ок. 1450—1517 гг.), итальянский новолатинский поэт.

Стр. 61. *Иоганн де Верд* (ум. в 1652 г.) — баварский, а с 1646 г. имперский полководец. По происхождению из крестьян.

Штальганс (ум. в 1644 г.)—шведский генерал. В молодости был портным.

Маленький Якоб — Якоб Мерсье (ум. ок. 1633 г.), гессенский полковник. По преданию, до начала военной карьеры был сапожником.

Сант Андреас Даниель — комендант Липпштадта, который, как предполагают, раньше был пастухом.

Тамерлан — Тимур (1336—1405), полководец и завоеватель. Легенда о том, что Тамерлан был сыном пастуха и сам пас овец, была распространена в средневековой литературе.

Агафокл (361—289 гг. до н. э.) — тиран в Сиракузах.

Телефас (Телефан) — раб одного возницы в азиатском городе Кумесе. Был избран, согласно предсказанию оракула, царем Лидии.

Валентиниан I — римский император с 364 по 375 г.

Маврикий Каппадокиец (ум. в 602 г.) — восточноримский император.

Стр. 62. *Иоанн Цимисхий* — византийский император (с 969 по 976 г.).

Флавий Вописк (ум. ок. 292 г.) — римский историк.

Боноз — Квинт Боноз (ум. в 281 г.), римский полководец, провозглашенный императором.

Гиперболус — афинский демагог, изгнанный из Афин в 416 г. до н. э. Прозвание «князь Афин» к нему не относится.

Юстинус — восточноримский император (518—527) Юстиниан (527—565) — преемник Юстинуса.

Гуго Капет (ок. 938—996 гг.) — король Франции, основатель третьей династии французских королей (Капетинги). Сыном «мясника» его называла враждебная традиция.

Писарро — Франциско Писарро (1475—1541), завоеватель Перу.

Стр. 63. *Гельнгаузен* — город в Гессене на р. Кинциге. Родина Гриммельсгаузена.

Нёрдлинген — город в средней Франконии. Битва при Нёрдлингене произошла 6 сентября 1634 г. Шведы под командованием Бернгарда Веймарского были разбиты имперскими войсками.

...отправился я первым делом в Гельнгаузен...— При описании Гельнгаузена в романе смешаны два события: нападение на город после битвы при Нёрдлингене в сентябре 1634 г. и взятие и разорение его в январе 1635 г. имперскими войсками, когда и был уничтожен полк драгун (о чем сообщается в следующей главе).

Стр. 64. *Ганау* — город на р. Кинциге при впадении ее в Майн. Был обнесен крепостными стенами с пятью воротами. Крепость, занятая в 1634 г. шведскими войсками, в 1635—1636 гг. (по 13 июня) находилась в осаде.

Святой Вильгельм — см. прим. к стр. 38.

Стр. 65. *Фернамбук* — бразильская красная краска.

Стр. 66. *Когда я был приведен к губернатору...*— Губернатором и комендантом в Ганау был шведский генерал-майор Якоб Рамзай (1589—1639). Родом из Шотландии. В 1630 г. поступил на шведскую службу в чине полковника. 2 октября 1634 г. вошел в Ганау во главе шведских и гессенских войск. Граф Моритц фон Ганау утвердил его губернатором, или первым комендантом крепости и города. В 1638 г. Рамзай по военным соображениям отказался передать Ганау его владельцу. Был захвачен в плен, отвезен в Дилленбург, где вскоре умер.

Стр. 68. *...суриком и киноварью для моих век...*— Подбор красок для гротескного портрета Симплициссимуса, в котором красные служат для изображения век, синие для губ, темно-желтые для зубов и т. д., контрастирует с обычными эпитетами высокой литературы барокко («кораллово-красные уста», «белые зубы» и т. д.). *Индиго* — краска темно-синего цвета, раститель-

ного происхождения. *Лазурь* — здесь в значении темно-синей краски. *Аурипигмент* — минерал лимонно-желтого или оранжевого цвета, употреблялся для приготовления «королевской желтой краски». *Сандрак* — смола винно-желтого или красновато-бурого цвета. Применялась для приготовления лаков. *Умбрия* — бурая краска минерального происхождения.

Стр. 70. *Свояк здешнего губернатора* — шведский генерал-вахтмейстер Дромонд.

...в Шоттенландии.— Возможно, намек на Шоттен в Фогельсберге (Гессен), на родине Гриммельсгаузена.

Хёхст — город на Майне, где 20 июня 1622 г. имперские войска под командованием Тилли разбили войска герцога Христиана фон Брауншвейга.

Стр. 71. *Мансфельд* Эрнст граф фон (1585—1626) — полководец. С 1610 г. примкнул к протестантскому союзу.

Стр. 75. *Седьмая заповедь* — порядок заповедей в протестантском катехизисе иной, чем в православном.

Стр. 77. *...nОсла.*— В оригинале gEsel (графическая игра слов: Gesell — малый, парень, подмастерье, и Esel — осел). Эта шутка не является изобретением Гриммельсгаузена. Ее можно найти в книге Бурхарда Вальдиса «Басни Эзопа» (1548, I, 90).

Insecta — Симплиций относит к классу насекомых улиток и лягушек.

Ecce Homo — Се человек. Здесь — изображение распятого Иисуса Христа.

...бумажное полотнище, размалеванное в Китае... — Вещи из Китая являлись большой редкостью.

Стр. 78. *«Любите врагов ваших...»*— Евангелие от Матфея, V, 44—47.

Стр. 79. *...другую ланиту* — то есть подставить другую щеку по евангельскому учению (Евангелие от Матфея, V, 93).

Не клянитесь...— Евангелие от Матфея, V, 34—37.

Стр. 81. *Самуель.* — Священник имеет в виду отшельника, который носил это имя.

Стр. 83. *Кошель Фортуната.*— Фортунат — персонаж немецкой народной книги (издана в 1590 г.), обладавший волшебным кошелем, который никогда не иссякал.

Стр. 85. *Змий на Назика...*— Назики — прозвание ветви римского патрицианского рода Сципионов. К кому из них относится это упоминание, не установлено.

Менелай, сын Атрея, вместе со своим братом Агамемноном изгнал *Эгиста* (убийцу их отца). Позднее Эгист, ставший возлюбленным Клитемнестры, вместе с нею вероломно убил ее мужа Агамемнона (г р е ч. м и ф.).

Палудус на Кореба.— Кореб (Корейбос) — герой Аргоса, убивший фантастическое чудовище Пэна (г р е ч. м и ф.).

Несс — кентавр, перевозивший через реку Геракла и Деяниру, оскорбил ее и был убит стрелой Геракла. Умирая, открыл Деянире, что его кровь

может вернуть ей любовь Геракла, если она ее потеряет. Деянира послала мужу вытканные ею одежды, пропитанные ядовитою кровью кентавра, что и привело к гибели героя (г р е ч. м и ф.).

Алтея (Алфея) (г р е ч. м и ф.) — мать участника похода аргонавтов Мелеагра. Согласно мифу о Калидонской охоте (на чудовищного вепря, посланного разгневанной Артемидой), Мелеагр убил во время спора брата своей матери, и она в ярости бросила в огонь головню, которую вынула из костра при рождении сына, ибо ей было предсказано, что он умрет, как только головня догорит, и таким образом навлекла на него смерть.

Ионафан — сын Саула, полюбивший Давида после его победы над Голиафом. Ионафан защищал Давида от происков своего отца, который намеревался его убить (Первая Книга царств, 17—20).

...je pète...— Этот французский глагол встречается также у Мошероша.

Стр. 86. *Браунфельс* — замок в Гиссене у Ветцлара. 3 декабря 1634 г. граф Конрад Людвиг фон Браунфельс после переговоров с фельдмаршалом имперских войск Филиппом фон Мансфельдом открыл ворота своего замка и впустил туда значительный гарнизон. Браунфельс был «освобожден» шведами в январе 1635 г.

...кушанье благородных судейских...— В оригинале «Schüppenessen», что может быть истолковано в связи со словом «Schöppe» (заседатель в судах) и как «несъедобное кушанье».

Стр. 87. *Капуцины* — монахи ордена францисканцев.

Олла потрида — испанское национальное блюдо (из овощей и различных сортов мяса).

Эней Манлий — римский консул (II в. до н. э.), вел войны в Азии.

Стр. 88. *...гохгеймерское, бахерахское и клингенбергское...*— Гохгейм и Бахерах — города на Рейне; Клингенберг — на Майне.

Стр. 89. *...не взирая на бедного Лазаря...*— Имеется в виду притча о бедном Лазаре (Евангелие от Луки, XVI). Традиционное противопоставление бедного богатым.

КНИГА ВТОРАЯ

Стр. 98. *Проносная каша* (в оригинале «Latwerg») — лекарство, изготавливавшееся в виде особого мусса.

Стр. 101. *Полынное, шалфейное, девятисиловое, квитоловое* — горькие вина, употреблявшиеся для возбуждения аппетита. Девятисил (девясил) — трава с горьким корнем. Квитоловое вино — настоянное на айве.

Гиппократова настойка — настойка на различных травах. Названа по имени древнегреческого врача Гиппократа.

Стр. 102. *Сатурнический* — здесь «свинцовый», налитый свинцом. Сатурн у алхимиков обозначал свинец.

Стр. 103. *Полутелеги* — то есть лафеты. Гофмейстер языком Симплиция рассказывает о пушечной пальбе.

Стр. 104. *...до пяти и до девяти...*— Имеется в виду счет при выбивании дроби на барабане. Проделки, о которых сообщается в этом эпизоде, были в ходу как в шведском, так и в имперских войсках. В конце войны многие офицеры заносили в списки свою челядь в качестве рядовых солдат, чтобы получить за них деньги, причитавшиеся при роспуске войск.

Стр. 106. *...выпала мне доля сокола, коего неволят без сна...*— Один из способов приручения охотничьих соколов состоял в том, что их лишали сна, чтобы отбить память о жизни на воле.

Стр. 107. *Эвмениды* — здесь Эриннии (греч. миф.), богини мщения, обитавшие в Аиде. Преследовали убийц и клятвопреступников, насылая на них безумие. У Еврипида названы три Эриннии: Тисифона, Алекто и Мегера.

Атаманта (греч. миф.) — царь в Беотии, возлюбленный богини облаков Нефелы, которая родила ему Фрикса и Геллу. Дочь Кадма Ино, став женой Атаманта, с помощью колдовства наслала засуху и, ссылаясь на оракул, уговорила мужа принести в жертву своих детей от Нефелы. Гера приказала Тисифоне навлечь на него безумие.

Стр. 112. *Симонид Меликус* (556—467 гг. до н. э.) — греческий поэт, родом с о-ва Кеос. Ему приписывается изобретение мнемоники — искусства запоминания.

Метродор Сцепсий (150—70 гг. до н. э.) — греческий философ. Разрабатывал приемы мнемоники.

Стр. 113. *Кир* — древнеперсидский царь (558—529 гг. до н. э.). О его обширной памяти сообщал Плиний (кн. 7, гл. 24).

Люций Корнелий *Сципион* Азиатский (II в. до н. э.) — римский консул, младший брат Сципиона Африканского, воевавший в Азии против Антиоха, царя Сирии.

Митридат VI Евпатор (132—63 гг. до н. э.) — понтийский царь, ведший войны с Римом. Отличался необычайной памятью и мог говорить со всеми народами своего царства на их родном языке (то есть на двадцати двух языках).

Марк Антоний *Сабелик* (1434—1506) — новолатинский поэт и писатель. Автор поэмы энциклопедического содержания «О делах и искусстве изобретателей» (1507).

Хармид — греческий философ. По свидетельству Цицерона, отличался необыкновенной памятью.

Люций Сенека свидетельствует о своей необыкновенной памяти в предисловии к первой книге «Controversiae».

Иоанн *Равизий* Текстор (1480—1524) — французский филолог. Его сочинение «Мастерская, или Театр истории и поэзии» («Officina, sive Theatrum historicum et poeticum», 1522) содержит рассуждение о памяти.

Ездра (V в. до н. э.) — первосвященник иудеев, упоминаемый в Библии.

Euseb.— Евсевий (270—340), христианский епископ в Палестине, церковный историк. Цитата из «Хроники» Евсевия (кн. I, гл. 18) заимствована из книги Т. Цвингера «Зрелище жизни человеческой» («Theatrum

vitae humanae». Basel, 1565), где приведена неточно. В итоге — нелепая ссылка в «Симплициссимусе».

Фемистокл (525—460 гг. до н. э.) — афинский полководец, победитель в битве при Саламине.

Красс (вероятно, Марк Лициний Красс) — римский консул 70 и 55 гг., союзник, а затем соперник Цезаря и Помпея.

Элий Адриан — римский император с 117 по 138 г. По словам Аврелия Виктора, «обладал невероятной памятью и мог по имени назвать своих солдат».

Порций Латрон — римский оратор, друг Сенеки.

Иероним (331—420) — христианский богослов.

Антоний — см. прим. к стр. 39.

Colerus, lib . . .— Имеется в виду составленная Иоганном Колерусом (ум. в 1639 г.) популярная книга о сельском хозяйстве, выдержавшая большое число изданий.

Марк Антоний Муретус (1526—1585) — французский филолог, долго живший в Италии. Заимствованный Колерусом рассказ находится в его книге «Variarum lectionum» (lib. III, cap. 1).

Plinius, lib. 7, cap. 24...— Приведенные слова находятся не в 7-й, а в 37-й книге «Естественной истории» Плиния.

Стр. 114. Рассказ об *ученом афинянине* приведен в первой книге «Естественной истории» Плиния.

Валерий *Мессала Корвин* (69 г. до н. э.— 9 г. н. э.) — римский оратор и полководец, покровитель многих римских поэтов.

...fasciculo Historiarum...— по-видимому, неточное или вымышленное название.

Иоганн Вирус — Иоганн Вейер (1515—1588), немецкий юрист, врач и философ, ученик Агриппы Неттесгеймского. В своей книге «Об обманах демонов» защищал память своего учителя от обвинений в занятиях черной магией и выступил против процессов ведьм.

Каллисто (г р е ч. м и ф.) — нимфа, возлюбленная Зевса, родившая ему сына Аркада (по другим сказаниям, Пана). Ревнивая Гера превратила ее в медведицу.

Стр. 115. *...красовались, словно Бартель.*— Известно несколько пословичных выражений с упоминанием Бартеля («Знать, откуда Бартель берет винцо» и др.), связанных с днем святого Бартоломея (24 августа), когда обычно начинали сбор винограда. К этим дням приурочены различные шутливые рассказы и прибаутки. Согласно средневековой легенде, во время пира в Кане Галилейской, когда не хватило вина и Христос превратил в него воду, виночерпием был Бартоломей, или Бартель. Большие кружки, в которых вино («Most») приносят из погреба, также называли «Бартель».

Стр. 116. *...матушка Катарина* — лютый понос, народное выражение, возникшее из шуточного переосмысления греческого слова «κατάρρους» — «течь»).

Стр. 117. *Навуходоносор* (604—563 гг. до н. э.) — царь Вавилона. По библейскому сказанию, в конце жизни впал в безумие и пожирал траву, как бык.

Стр. 118. *Квинт Курций* Руф — римский историк I в., составивший «Историю деяний Александра Великого» в десяти книгах.

...1 152 000 воинов положил в битвах.— У Плиния приведено другое число воинов (1 192 000) и 846 кораблей.

Марк Сергий Сил — римский полководец, участник второй Пунической войны, потерял в сражении правую руку и сделал себе железную.

Люций Сиккио Дентат — о нем сообщает Плиний.

Спурий Турпей и *Авл Этерний* — римские консулы в 454 г. до н. э. Гриммельсгаузен называет их «бургомистрами».

Марк *Манлий Капитолиний* — римский политический деятель. В 390 г. до н. э. защищал Капитолий от галлов. Был обвинен в намерении объявить себя царем и убит.

Стр. 119. *Зевксис* (IV в. до н. э.) — греческий живописец. Согласно легенде, изобразил кисть винограда с такой верностью, что птицы слетались ее клевать.

Сапор (Шапур) — имя нескольких царей из персидской династии Сасанидов. Вероятно, Шапур Великий (310—381).

Архит из Тарента (первая половина IV в. до н. э.) — математик, завершивший работу Эвклида.

Альбертус Магнус — Альберт Великий (род. в 1193 г., по другим данным, в 1206—1207 г., ум. в 1280 г.) — средневековый естествоиспытатель.

Мемнонов столп — колосс в Египте, о котором сообщает Плиний. Издаваемое им «ворчание» объясняется резкой переменой в температуре воздуха, наступающей с восходом солнца.

...всю «Илиаду» Гомерову в сто тысяч стихов...— О писце, который уместил «Илиаду» Гомера на малом листе бумаги, сообщает Плиний. Он же сообщает об искуснике, сделавшем миниатюрный корабль.

Ты подобен псу...— Басня о завистливом псе на стоге сена приведена в книге Бурхарда Вальдиса «Басни Эзопа» (I, 64).

Стр. 121. *Орб* — город в южной части Гессен-Нассау. 17 декабря 1634 г. был захвачен войсками Рамзая и разорен. Многие жители перебиты или обложены контрибуцией.

Штаден — город в Обер-Гессене. Взят шведами 25 мая 1635 г. Симплициссимуса к тому времени уже не было в Ганау. Город не был сожжен войском Рамзая, а только разграблен.

Стр. 122. *Симонид* (559—469 гг. до н. э.) — греческий поэт.

Паникулум — здесь: правитель.

Утика — римская колония на севере Африки, где республиканец *Катон* покончил с собой, узнав о победе Цезаря.

Ганнибал (247—182 гг. до н. э.) — карфагенский полководец во время

второй Пунической войны с Римом. После заключения мира был вынужден в 195 г. до н. э. бежать из Карфагена.

Демосфен (384—322 гг. до н. э.) — древнегреческий оратор и политический деятель.

Стр. 123. *Сократ* (469—399 гг. до н. э.) — греческий философ, афинянин. Был приговорен к смерти и выпил чашу с ядом.

Марк *Камилл* (403—365 гг. до н. э.) —римский полководец, победитель галлов в 390 г. до н. э. Был обвинен в присвоении военной добычи и подвергнут изгнанию.

Солон (ок. 630—599 гг. до н. э.) — афинский законодатель.

Двенадцатая глава.— Содержащиеся в этой главе примеры мудрости животных восходят к античным писателям (Аристотель, Плиний, Элиан, Плутарх, Гален и др.).

Стр. 125. *Хирогулли* (б и б л.) — кролики.

Стр. 127. *Писано бо в книгах про одного...*— Истории о безумствах и маниях часто встречаются в энциклопедических сочинениях и литературных сборниках XVII в. Среди вероятных источников— новелла Сервантеса «Лиценциат Видриера».

Стр. 129. *Ришелье* Арман-Жан (1585—1642) — кардинал, возглавлявший внешнюю политику Франции. В 1636 г. заключил военный союз со Швецией. Для того времени, когда Симплициссимус находился в Ганау, обещание презентовать его Ришелье — явный анахронизм.

Бернгард фон Саксен-Веймар (1604—1639) — герцог. С 1630 г. состоял на шведской службе. Отличился в битве у Люцена, во время которой (после гибели шведского короля Густава Адольфа) принял командование армией. С 1633 г. начальствовал над шведскими войсками во Франконии. В том же году занял Регенсбург. С 1638 г. в его подчинении находилась крепость Брейзах.

Стр. 130. *...ревился... на льду перед крепостью...*— Зима 1634/35 г. была суровой. Протоколы ратуши Ганау подтверждают, что с середины января 1635 г. крепостные рвы замерзли.

...нелегкая нанесла на нас отряд кроатов...— В январе 1635 г. полковник Корпес, командовавший отрядом кроатов (хорватов), производил разведку в окрестностях Ганау.

...покуда один не сказал по-моравски...— Солдаты говорят на народном чешском языке, искаженном в передаче Гриммельсгаузена: «Возьмем-ка мы этого дурня с собою, отвезем его к господину полковнику».— «Вот и ладно, посадим его на лошадь; полковник разумеет по-немецки, ему будет от него потеха».

Бюдинген — город в Гессене в трех милях к северо-востоку от Ганау. Далее через восемь миль — Хиршфельд (Херсфельд), где находилось бенедиктинское *аббатство Фульда.*

Стр. 131. *Корпес* Марко—полковник одного из десяти кроатских полков в армии полководца Тридцатилетней войны генерала Пикколомини. Полк Корпе-

са насчитывал около 720 всадников и в декабре 1634 — феврале 1635 г. базировался в Хиршфельде. В конце мая 1635 г. войска, находившиеся под командованием генерала Изолани, оставили Хиршфельд и Фульду. В апреле 1635 г. кроаты (в том числе полк Корпеса) попали в засаду в Эшвеге (горная местность), что привело их в ярость; они сожгли дотла 14 деревень и порубили саблями население. В отместку шведы, захватив у Зонтра тринадцать кроатов, сожгли их живьем.

Стр. 132. *Меландер* — собственно Хольцапфель (1585—1648), генерал-лейтенант ландграфа Гессен-Кассельского. В 1645 г. перешел в имперские войска, где получил чин фельдмаршала.

...отсылал в Кассель.— Кассель был штаб-квартирой гессенских войск.

Стр. 136. *Флейта-траверс* (в оригинале «Zwerchpfeife»). — Гриммельсгаузен, вероятно, имеет в виду «Querflöte», то есть поперечную флейту, или флейту-траверс, на которой играли, держа инструмент наискось.

Стр. 138. *Симон Волхв* — легендарный волшебник I в., упоминаемый в «Деяниях апостолов» (VIII).

Ремигий (Николай Ремигиус) — юрист и теолог XVI в. История об Иоганне Хембахе и Катарине Превоции приведена в его книге «Demonolatria», Francfurt a. M., 1598.

Симон *Майолус* — епископ Волторарии и Монте Корбино (с 1572 по 1597 г.). Его книга «Dies canicularis...» (Mainz, 1607) переведена на немецкий язык под названием «Отдохновение в знойные дни» (1650).

...намазался ее мазью...— История о сожителе ведьмы, который подсмотрел за нею и решил, подобно герою «Золотого осла» Апулея, испытать на себе снадобье, переносившее ее на шабаш в Лотарингию, рассказана в книге Жана Бодена «De demonomania magorum» («О демономании»), переведенной на немецкий язык И. Фишартом (1581).

Олаус (Олай) *Магнус* (1490—1558) — шведский архиепископ, историк.

Хадингус (Хадинг) — легендарный датский король. Саксон Грамматик в своей «Истории Дании» рассказывает, что Один (верховное божество скандинавской мифологии) перенес на своем коне Хадинга по воздуху.

Торквемада Антонио де — испанский юрист и писатель XVI в. Его книга занимательных историй переведена и издана членом «Плодоносного общества» ландграфом Гессен-Кассельским Германом IV (1652).

Гриландус Паоло — юрист и теолог XVI в. Автор трактата о колдовстве («Tractatus de hereticis». Lugdunum, 1536), выступал по процессуальным вопросам суда над ведьмами.

Стр. 139. *Доктор Фауст.*— Историческая личность Фауста, странствующего прорицателя и «чернокнижника», обросла легендами, которые могли быть известны Гриммельсгаузену и в устной традиции. Вероятно, он знал и народную книгу о Фаусте в обработке Иоганна Шписа (1587) или Георга Рудольфа Видмана (1599). Рассказы о полете Фауста перенесены на него из христианской легенды о Симоне Маге (Симоне Волхве).

...о некоем дворянине из Ломбардии...— Рассказ приведен в девятой новелле десятого дня «Декамерона» Боккаччо.

Стр. 140. *...отправились в лагерь под Магдебургом...*— В 1635 г. по Пражскому миру епископство Магдебургское должно было поступить под власть курфюрста Саксонского, перешедшего к императору, но шведы, занимавшие город, не захотели его добровольно оставить. В апреле 1636 г. саксонские и имперские войска начали осаду города. Согласно хронологии романа, Симплициссимус появился в лагере под Магдебургом в конце мая.

Цербстское пиво.— Цербст — город в Ангальте неподалеку от Магдебурга. Цербстское пиво прославляет Фишарт в своем переводе «Гаргантюа» Рабле (гл. 4).

Стр. 141. *...как в саксонском, так и в имперском лагере...*—Сведения о том, что осаждавшие Магдебург войска стояли отдельными лагерями, отсутствуют в печатных источниках и, вероятно, приведены Гриммельсгаузеном на основании личных наблюдений.

Стр. 143. *Среди фальшивых костей...*— При игре в кости каждый пользовался своими, что давало возможность обманывать противника. Симплициссимус перечисляет различные виды «фальшивых костей».

«*Нидерландцы*» — кости, у которых плоскости с очками «пять» и «шесть» были сделаны выпуклыми, с кантом посередине.

...хребты тощих деревянных ослов...— Деревянный осел с острой спиной применялся до середины XVIII в. в армии и помещиками. Провинившихся сажали на деревянного осла и привязывали к нему ремнями.

«*Оберландцы*» — кости, у которых, вероятно, на месте «пятерок» и «шестерок» были сделаны углубления.

Стр. 147. *Тираса* — сетка для ловли птиц.

Крылатый приплод.— Гриммельсгаузен пародирует заимствованный из античной мифологии образ грифонов, обладающих львиным туловищем и головою орла.

Фудер — мера жидкостей (преимущественно для вина), различная в разных местностях, «воз вина» — от 5 до 24 ведер. В Гессене и Франкфурте фудер вина содержал 6 амов, или 480 кружек.

...за один день сволочить город в другое место.— Пародируется следующее место из Библии: «А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка» (Вторая Книга царств, XVII, 13).

Стр. 148. *Иовы* — по имени библейского долготерпеливого Иова.

Актеон (г р е ч. м и ф.) — охотник, заставший Диану во время охоты. Разгневанная богиня превратила Актеона в оленя, и его растерзали его собственные собаки.

Стр. 149. *Профосам*, ведавшим наказаниями, как и палачам, приписывали в XVII в. знакомство с колдовством и уменье заговаривать от пуль.

Стр. 150. *...вертеть решето...*— вид ворожбы, служившей для раскрытия преступлений, особенно воровства. Вороживший брал двумя пальцами щипцы

и клал их на решето, произнося заговор. При упоминании подозреваемого решето начинало дрожать, вращалось и указывало на преступника.

...напустить в поле целые эскадроны всадников — то есть вызвать с помощью чар мираж.

Сатурн (р и м с к. м и ф.) — бог посевов (отождествленный с Кроном). Изображался старцем с длинной седой бородой, на костылях и с косой в правой руке.

Конъюнкция Сатурна и Меркурия — астрологическая констелляция светил. Пронырливый Оливье сравнивается с Меркурием.

Стр. 153. *...был он ...изрядный физиогномист и хиромант...*— В отличие от «чернокнижника»-профоса, старый Херцбрудер посвящен в область гаданий, считавшихся дозволенными христианством (астрология, хиромантия, физиогномика и др.).

Стр. 155. *Курфюрст Саксонский* — Иоганн Георг I (1585—1656). После Пражского мира (1635) примкнул к имперским силам.

Мельхиор фон Хатцфельд (1593—1658) — генерал имперских войск.

Стр. 156. *Валленштейн* был убит 25 февраля 1634 г. в *Эгере* (ныне Хеб в Чехословакии).

Ликомед — царь на о-ве Скирос. В послегомеровских сказаниях мать Ахилла Фетида отправила его к Ликомеду, чтобы удержать от участия в Троянской войне.

Магдебург был взят впервые войсками Тилли в 1631 г. и окончательно разрушен 18 января 1632 г. Паппенгеймом.

Хавельберг — городок в провинции Бранденбург (на Хавеле). 25 августа 1636 г. взят имперскими войсками.

Перлеберг — город в провинции Бранденбург. В середине сентября 1636 г. перешел к имперским войскам.

Стр. 159. *Иоганн Банер* (1593—1641) — шведский генерал, отличившийся в битве при Виттштоке (24 сентября 1636 г.) против саксонских войск и в битве под Хемницем 4 апреля 1639 г. против имперских войск.

Стр. 161. «*Domine, non sum dignus.*— Формула, употребляемая священниками во время мессы.

Стр. 166. *Гамм* — город в Вестфалии.

Зуст — город в Вестфалии на р. Хельвеге.

...оба меча на больших пальцах...— то есть ногти.

Стр. 167. *Храбрый портняжка* — персонаж немецкой народной сказки, известной по сборнику братьев Гримм.

...должен был стать его отроком — то есть исполнять обязанности конюха.

Парадиз — здесь: «райская обитель», монастырь в окрестностях Зуста, который после Вестфальского мира был поделен между католиками и протестантами.

Бломайзер — народное название серебряной монеты стоимостью в одну восьмую талера, чеканившейся на Нижнем Рейне с первой трети XVI в. По-

видимому, происходит от наименования «blaue Mäuse» (дословно «синие мышата»), так как слово «blau» употреблялось для обозначения низкой цены и скверного качества.

Ослиное седло — см. прим. к. стр. 143.

Стр. 168. *...монеток с медведем...*— серебряная монета, часто с изображением медведя, стоимостью до одной трети талера. С 1620 г. была обесценена.

Симпрехт — имя образовано по аналогии с Рупрехт и др.

Битва при Павии — 15 февраля 1524 г., когда император Карл V победил французского короля Франциска I.

Стр. 169. *Липпштадт* — город в Вестфалии на р. Липпе. Был занят гессенцами еще в 1633 г.

Стр. 172. *Граф фон Гёц* Иоганн Венцель (1595—1645) — фельдмаршал имперских войск. В его армии Гриммельсгаузен пришел из Вестфалии на Верхний Рейн.

Дорстен — городок на р. Липпе.

Косфельд — город в Вестфалии к западу от Мюнстера.

Стр. 173. *Остенде* — город во Фландрии, в 1601—1604 гг. был осажден испанцами. Осажденные дрались с таким мужеством, что их сравнивали с троянцами.

...как дьявол сало скрал у попа...— История о похищении сала принадлежит к числу мотивов, часто встречающихся в сборниках шванков. Его можно найти у Ганса Сакса, в сборнике «Отврати печаль» (1563) Ганса Нирхгофа, в народных театральных представлениях и песенках.

Стр. 174. *Реклингузен* — город в Вестфалии. В 1636 г. был занят гарнизоном имперских войск.

Стр. 177. *Стóла* — церковное облачение, надевавшееся поверх стихаря.

Стр. 178. *...черти охотнее всего являются в зеленом платье.*— В народных немецких поверьях зеленый цвет часто связывался с духами земли, леса и т. д. Согласно швабским сказаниям, по лесам незадолго до наступления времени охоты проносится со своей свитой «зеленый охотник». Впоследствии эти сказания были перенесены на дьявола, являющегося людям в зеленом платье. Поэтому на процессах ведьм его часто называли в показаниях просто «зеленым».

КНИГА ТРЕТЬЯ

Стр. 184. *Бандельеры* — ремни для сумок, где хранились рожок с порохом, кошелек с пулями и деревянными патронами. Мушкетеры носили их через плечо.

Стр. 186. *Верле* — городок в Вестфалии неподалеку от Зуста.

Стр. 188. *...дома ли святой Влас...*— Святой Власий считался покровителем животных. Здесь в значении «не грозит ли какая опасность».

Стр. 189. *Контребуха* — контрибуция (в оригинале «Konterbission»).

Стр. 190. *...Распятого бога и его золотое опоясание...*— крест пяти футов высотою с фигурой Христа из серебра, находившийся в Мюнстере и похищенный оттуда.

Йове — неправильный звательный падеж от Jovis — Юпитер.

Стр. 191. *Стикс* (греч. миф.) — река подземного царства.

Ганимед (греч. миф.) — сын дарданского царя Троя. Любимец и виночерпий Зевса, похитившего его на небо.

Ликаон (греч. миф.) — царь Аркадии. По одному из мифов, предложил богам, желая испытать их, угощение, приготовленное из человеческого мяса, за что Зевс превратил его вместе с сыновьями в волков. Миф разработан Овидием в «Метаморфозах».

Стр. 192. *Нарцисс* (греч. миф.) — сын речного бога Кефиса и нимфы Лириопы. Восхищенный своим отражением в реке, влюбился в него и умер от любовной тоски.

Адонис (греч. миф.) — сын кипрского царя Кинира, юноша, славившийся своей красотой.

Hora Martis — часы (суток), находящиеся под знаком Марса, а потому наиболее благоприятные для дел, связанных с войной.

Швейцарская миля считалась в 5000 шагов, немецкая — в 4000.

Стр. 193. *Елисейские поля* (греч. миф.) — поля блаженных в загробном мире.

Геликон — горный хребет в Беотии, где обитали музы.

Стр. 194. Кай *Фабриций* Люсцинус (III в. до н. э.) — римский консул. Был направлен в качестве посла в Тарент к царю Пирру, который склонял его на свою сторону. Имя его вошло в историю как пример честности и неподкупности.

Геллеспонт — пролив Дарданеллы.

Манoа — легендарный город, отождествлявшийся со «страной золота» (Дорадо).

Великий Могол — наименование властелинов основанного в 1525 г. мусульманского государства в Восточной Индии.

Священник Иоанн в Африке — легендарный «царь-священник», местопребыванием которого в XII в. считалась Индия и Передняя Азия. Рассказы о его могуществе волновали Европу, надеявшуюся на его помощь во времена крестовых походов. В мнимом послании святого Иоанна императору Византии Мануилу Комнину рисовалась утопическая картина счастливого и не знающего войн государства. С конца XIV в. государство священника Иоанна перенесено легендой в Африку, и представление о нем стало сближаться с христианской Эфиопией.

Стр. 195. *Страна Пролежи-бока* — страна лентяев в немецких сказках.

Эрисихтон (греч. миф.) — сын царя Фессалии Триопа. Осквернил священную рощу Деметры, вырубив в ней деревья, чтобы построить себе дворец, за что был наказан вечным неутолимым голодом.

Мом (г р е ч. м и ф.) — олицетворение злословия и насмешки. По преданию, лопнул от злости, не сумев найти в Афродите недостатков.

Зоил (III в. до н. э.) — греческий ритор из Македонии, стяжавший известность мелочными придирками к Гомеру.

Феон — язвительный человек, которого упоминал Гораций.

Гиппонакс (VI в. до н. э.) — представитель ранней ямбической поэзии, писавший острые, язвительные стихи.

Баттум — пастух, который обещал Меркурию не разглашать, что тот крал быков из стад Аполлона, но все же выдал его, за что был обращен в камень.

Lapis philosophorum — «философский камень» алхимиков, с помощью которого можно было бы совершать трансмутацию металлов.

Стр. 196. *Птолемей Филадельф* (309—246 гг. до н. э.) — египетский царь, покровительствовавший наукам и искусствам. При нем был осуществлен греческий перевод Библии семидесятью двумя сирийскими и израильскими учеными. Согласно легенде, хотя они работали разобщенно, их переводы совпали дословно.

Конклав — помещение, предназначенное для избрания папы советом кардиналов. Также название самого собрания.

Стр. 197. *...подарить на Новый год Плутону.*— То есть отправить в преисподнюю.

Дедал (г р е ч. м и ф.) — механик, строитель и скульптор, которому приписывалось изобретение различных ремесел. Изготовил крылья, скрепленные воском, для полета человека.

Мосх — здесь, вероятно, то же, что Мом. См. прим. к с. 195.

Стр. 198. *Дафит* (III в. до н. э.) — грамматик из Тельмесса в Карии. Порицал Гомера, высмеивал дельфийский оракул и пергамского царя, за что, по его повелению, был распят у горы Торак.

Анаксарх (IV в. до н. э.) — греческий философ родом из Абдеры, ученик Демокрита. Сопровождал Александра Македонского в его походах. Тиран Крита Никокреонт приказал его за вольнодумство истолочь в каменной ступе.

Фаларис — тиран в Агригенте (в Сицилии), правивший в 565—549 гг. до н. э. По преданию, приказывал сжигать живьем людей в медном быке, сделанном скульптором Периллом. Крики сжигаемых заживо людей, вырывавшиеся из пасти быка, походили на рев быка. Фаларис первым сжег скульптора, чтобы испытать его изобретение.

Пандора (г р е ч. м и ф.) — изготовленная Гефестом (по повелению Зевса) из земли и воды женщина, которой были приданы человеческий голос и движения. Боги наградили ее ларцом, куда были заключены все бедствия и несчастья. Она нечаянно выпустила их, когда ее принял к себе брат Прометея.

Алекто, *Мегера*, *Тисифона* — Эриннии, см. прим. к с. 107.

Стр. 199. *Каллисто* — см. прим. к с. 114.

Ио (г р е ч. м и ф.) — возлюбленная Зевса, превращенная Герой в корову.

Стр. 199. *Европа* (г р е ч. м и ф.) — дочь финикийского царя Агенора, похищенная Зевсом, явившимся в виде быка.

...Аполлон через своего ворона.— Ворон, служивший Аполлону, известил его о неверности его возлюбленной Коронис. Аполлон проклял ворона, который стал черным.

Стр. 201. *Кокит* (г р е ч. м и ф.) —река в преисподней, приток Ахерона.

...о той битве, какую вели лапифы с кентаврами...— На свадьбу царя лапифов *Перифоя* были приглашены кентавры, и один из них хотел увести невесту, из-за чего между лапифами и кентаврами разгорелся бой. Мотив использован Гомером в «Одиссее» и Овидием в «Метаморфозах».

Стр. 202. *Картель* — договор между двумя неприятельскими войсками о выкупе или размене пленных.

Иоганн де Верд — см. прим. к с. 61.

Стр. 203. *Фон дер Валь* (ум. в 1644 г.) — баварский полководец. В 1637 г. продвинулся со своим корпусом из Верхнего Пфальца в Вестфалию.

Фехт — река в Вестфалии, протекает через Ганновер.

Меппен — город в Ганновере на р. Эмсе.

Линген — город на р. Эмсе.

Падерборн — город на р. Падере (приток Липпе).

Стр. 205. *Принц Оранский* Фридрих Генрих (1584—1647) — голландский полководец. Штатгальтер Соединенных Нидерландов. Поддерживал шведов, которым в 1634 г. прислал вспомогательный корпус.

Эмс — город в Висбадене.

Стр. 206. *Сигай-через-плетень* (в оригинале «Stigelhupfer») — насмешливое прозвище мушкетеров.

Замарай-голенище (в оригинале «Stiefelschmierer») — насмешливое прозвище рейтаров.

Стр. 207. *Гермафродит.*— Намек на то, что драгуны сражались пешим строем, а походы совершали на лошадях.

Стр. 211. *Фальконет* — небольшая пушка, стреляющая ядрами в 3—4 фунта.

Картаун — короткая пушка, стреляющая ядрами в 25 фунтов.

Стр. 212. *Отводной караул* — караул, выставляемый в опасном месте (во время военных действий).

Стр. 213. *...святого рыцаря Георгия.*— Георгий Победоносец, принц из Каппадокии (III в.), согласно средневековой легенде, победил змея (дракона), напавшего на город, и принял мученическую смерть от императора Диоклетиана.

...на белом поле...— Основными элементами герба были щит, шлем, намет, корона, щитодержатель, девиз, мантия и др. Шлем помещался над щитом. Щит делился на поля различных цветов, по-разному расположенные. На нем помещались как геральдические (условные), так и негеральдические изображения. Герб, описываемый Симплициссимусом, пародийный.

Стр. 215. *Царица Савская* — полулегендарная царица сабеев, живших в Счастливой Аравии (на юго-западе Аравийского полуострова). Согласно библейскому сказанию, посетила царя Соломона. Ее имя — Никаула — приведено Иосифом Флавием в «Иудейских древностях».

...ничтожнейший мальчишка с конюшни может убить наихрабрейшего в целом свете героя...— В «Дон Кихоте»: «Благословенны счастливые времена, не знавшие чудовищной ярости этих сатанинских огнестрельных орудий, коих изобретатель, я убежден, получил награду в преисподней за свое дьявольское изобретение, с помощью которого чья-нибудь трусливая и подлая рука может отнять ныне жизнь у доблестного кабальеро» (М. Сервантес. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 1. М., 1961, с. 436).

...как в offensive, так и в defensive.— То есть в нападении и в обороне.

Стр. 217. *По всеобщей молве, там спрятан железный сундук...*— Рассказы о кладах принадлежат к числу распространенных народных легенд и побывальщин. Во время Тридцатилетней войны в окрестностях Зуста было найдено несколько кладов.

Стр. 219. *...свойства, коими наделены драгоценные камни...*— Чудесные свойства драгоценных камней приписывались им со времен глубокой древности (Египет и Вавилон). Они приводятся у Плиния, Альберта Великого, Винцетия из Бове («Зеркало природы», XIII в.), Конрада фон Мегенберга («Книга природы», XIV в.) и др. Драгоценные камни употреблялись как амулеты и с лечебной целью. Объяснения их действия также связывались с астрологическими представлениями и религиозной символикой.

...подобно смарагду, возбуждают охоту и любовь к ученым занятиям...— По античным воззрениям, смарагд — камень Гермеса (так же как ртуть — его металл). На смарагдовых скрижалях начертаны основы тайной мудрости, раскрывающей сущность всех вещей, якобы составленные Гермесом Трисмегистосом (восходящим к египетскому богу Тору). Правила «смарагдовой доски» легли в основу алхимических представлений, согласно которым смарагд играл такую же роль в превращении минералов, как ртуть в превращении металлов.

Подобно рубину, они уничтожают робость...— В средние века полагали, что рубин предохраняет от злых чар.

Гранат со времен Альберта Великого относится к пяти медицинским камням. Ему приписывали различные свойства (укрепление сердца, усиление пульса и пр.).

Гиацинт, или яшма — согласно Мегенбергу, сообщает владельцу «силу, прогоняет печаль и сердечный страх и сохраняет путешествующего в чужих странах, предохраняет человека от смерти во время чумы и от змеиного яда и делает того, кто его носит, приятным богу и людям».

Сапфир — в христианской и восточной символике считался камнем, отражающим свойства самого неба. Защищает от неверности и испуга.

Аметист — употреблялся как амулет, в частности, предохраняющий от опьянения.

Стр. 219. *Сардус* — коричнево-красный минерал из группы халцедонов. Служил амулетом против колдовства.

Стр. 224. *...в крепость...*— в Липпштадт.

Стр. 225. *...как некогда нашему полковому писарю Кирияку* — см. кн. 2, гл. 29.

Стр. 226. *Н. де С. А.*— полковник Даниель Сант Андреас, который до 9 ноября 1637 г. был комендантом крепости Липпштадт.

Стр. 234. «*Аркадия*» — пастушеский роман английского писателя Филиппа Сиднея (1554—1586).

...ловить на клейкий прут перепелочек.— Имеется в виду особый вид птичьих силков. Здесь в значении соблазнять девушек.

Томас Томеи (Томмазо Томаи) — врач и писатель из Равенны. Его книга «Вертоград мира» в 1620 г. переведена на немецкий язык.

Стр. 235. *...Аврора преследовала Клита...*— Симплициссимус перечисляет имена юношей, любви которых добивались богини.

Главкус — предводитель ликийцев в Троянской войне.

Ясион — сын Зевса и Электры, супруг Деметры (Цереры).

День святого Мартина — 10 ноября (согласно хронологии романа — 1637 г.).

Стр. 237. «*Иосиф*» — роман Гриммельсгаузена «Целомудренный Иосиф» (1667).

Зелиха — жена упоминаемого в Библии вельможи Потифара, соблазнявшая прекрасного Иосифа.

Святой Фельтен — святой Валентин, покровитель влюбленных.

«*Временное благополучие*» — земное, в отличие от «вечного спасения».

Стр. 238. *...мне же хочет присоветовать Женеву...*— Женева была центром кальвинизма.

Стр. 239. *...не подходил к престолу господнему ни у нас, ни у лютеран.*— Из этих, а также дальнейших слов священника явствует, что он принадлежит к реформатской церкви. Однако в Липпштадте в 1637—1638 гг. не было реформатской общины — она появилась там после 1659 г. Фигура реформатского священника введена в роман для иллюстрации бесплодности споров об «истинной вере» между христианскими вероисповеданиями.

...уповая на старого императора...— Поговорка, сложившаяся в Германии после смерти императора Фридриха II (1250) со значением: жить, не заглядывая в будущее, наобум, беспечно.

Конрад Феттер (ум. в 1622 г.) — баварский иезуит, автор полемических сочинений против Лютера.

Иоганн Наз (1534—1590) — францисканец, автор сочинений, направленных против лютеран.

Кириак *Шпангенберг* (1528—1604)—протестантский богослов и историк.

Франциск Ассизский (1182—1226) — монах и писатель. Основатель ордена, получившего его имя.

Стр. 240. *Анания* — родом из Дамаска, обратил в христианство апостола Павла.

...подполковник, ожидавший себе должности...— то есть еще не включенный в штат и не получающий твердого жалованья.

Стр. 241. *День трех волхвов* — 6 января (нового стиля). Был установлен согласно легенде о приходе трех восточных мудрецов (царей) к колыбели Христа. В Европе к этому дню приурочивалось устройство так называемых вертепов (у Гриммельсгаузена — «Царства»).

Стр. 246. *...подобно Пифагору...*— Ямвлих в «Жизнеописании Пифагора» сообщает, что тот составил завещание не в пользу своего зятя.

Стр. 247. *Гёц* (см. прим. к с. 172) устроил свою штаб-квартиру в Дортмунде в январе 1638 г.

Иоганн де Верд — см. прим. к с. 61. Был разбит герцогом Бернгардом Веймарским (см. прим. к с. 129) 3 марта 1638 г. в сражении при Брисгау (Брейсгау) в южной части Шварцвальда, что побудило и графа Гёца оставить (21 марта) Дортмунд и покинуть Вестфалию.

Стр. 251. *Филемон* — комедиограф Филемон из Сиракуз (ок. 360—265 гг. до н. э.), якобы умер, закатившись смехом над собственной остротой.

Демокрит (ок. 460—410 гг. до н. э.) — греческий философ, прозванный «смеющимся».

Стр. 252. *Мафусаил* — упоминаемый в Библии «праотец», якобы проживший 969 лет.

Жирный монашек (в оригинале «Fettmönch») — народное название мелкой серебряной монеты, чеканившейся с конца XVI в. на Нижнем Рейне, стоимостью в восемь геллеров.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Стр. 258. *...каменный болван, что на мосту в Дрездене...*— На старом мосту через Эльбу в Дрездене была помещена статуя присевшего на корточки человека.

Стр. 260. *...полковнику де С. А...*— то есть полковнику Сант Андреасу (см. прим. к с. 226).

...в Л.— то есть в Липпштадте.

Стр. 261. *Quintia essentia* (л а т.) — квинтэссенция. Пятая, наиболее чистая возгонка у алхимиков.

Стр. 262. *Collatio* (л а т.) — вечерняя встреча монахов, философов и пр. Здесь: в значении «пирушка».

Лувр — дворец в Париже, где в XVII в. давались театральные представления.

Стр. 263. *Табулаторная книжица* — нотная тетрадь к лютне. Указывает не тон, а место прикосновения пальцев к струнам.

Стр. 263. *Орфей* (г р е ч. м и ф.) — фракийский певец. Муж нимфы Эвридики, которая умерла от укуса змеи. Желая вернуть ее из Аида, Орфей спустился в подземное царство и своим пением так растрогал Персефону, что она позволила взять ему Эвридику с собой на землю, но с условием не оглядываться на тень Эвридики и не говорить с нею, покуда они не выйдут на дневной свет. Орфей нарушил запрет и навсегда потерял Эвридику. Миф об Орфее разрабатывали в многочисленных произведениях поэзии и живописи. Излюбленный сюжет в итальянской опере XVII в., проникшей во Францию. Гриммельсгаузен имеет в виду какую-то музыкальную драму, возможно, с балетом (на что указывает конец главы).

Стр. 264. *Ахелой* (г р е ч. м и ф.) — речной бог. Сражался за обладание дочерью калидонского царя Оинея с Гераклом, приняв облик быка. Маска Ахелоя (бородатое лицо, изо рта бьет струя воды) — излюбленное украшение фонтанов.

Стр. 265. *Четвертая глава.*— В этой и следующей главе разработан мотив из новеллы итальянского рассказчика XVI в. Банделло «Как поступает богатая, благородная и отменно красивая дама, когда она становится вдовою» (новелла 26 VI части сборника Банделло). К Гриммельсгаузену мотив дошел из сборника Харсдерфера «Великое позорище отдохновительных и поучительных историй» (1660).

Стр. 265. *...производил реверберацию...*— Симплициссимус перечисляет химические операции алхимиков и фармацевтов-практиков XVII в. Реверберация — продолжительное обжигание уже превращенного в порошок тела направленным на него пламенем. Производилась в отражательных печах. *Перлютация* — изготовление пилюль. *Коагуляция* — затвердение, загустение. *Дигерирование* — обработка огнем или умеренным равномерным жаром. *Кальцинирование* — прокаливание.

Стр. 268. *Камбре* — город на Шельде (на севере Франции). Славился своим полотном.

Стр. 272. *...нахватал любезных францей...*— заболел «французской болезнью».

Стр. 273. *Господин Корнелиус* — то есть бельмо на глазу. См. «Третье продолжение, или Continuatio».

Стр. 275. *Theriaca Diatesseron* (л а т.) — териак, средство против отравы, преимущественно от укусов змей и других ядовитых животных, из крови и яда которых оно и приготовлялось. В XVII в. считали также универсальным противоядием и средством от многих болезней. Изготовлением териака славилась Венеция.

Латверг — густой сок, приготовлявшийся в лечебных целях из различных растений.

Гальмей (каламин) — минерал (кремнекислый цинк).

Рачьи жерновки — затверделые тельца, встречающиеся в желудках у раков. Находили применение в старинной медицине.

Шмиргель — наждак, порода, состоящая из мелких зерен корунда (природного глинозема).

Трепел — белая порошковидная порода (инфузорная земля), состоящая из остатков панцирей диатомий.

Стр. 277. *Маттиолус* Пиетро Андреас (1500—1577) — итальянский врач и ботаник, прославившийся комментариями к сочинениям древнегреческого медика Диоскорида.

Желтый мышьяк — аурипигмент.

Mercurium sublimatum (л а т.) — сулема, хлорная ртуть. Приготовлялась нагреванием смеси ртути с обезвоженным железным купоросом и поваренной солью в колбе. «Способ» Симплициссимуса ничего общего с этим не имеет.

Aqua fortis (л а т.).— крепкая водка, селитряная кислота (азотная кислота).

Spiritus vitrioli (л а т.) — купоросный спирт (серная кислота).

Стр. 278. *Золотая вода* — вода, в которой остужали раскаленное золото, также настой из различных трав, в которые пускали плавать хлопья листового золота (фольги). Средство старинной медицины.

Флекенштейн — баронское владение в Васгау (в Нижнем Эльзасе). Гриммельсгаузен получил от баронов Флекенштейн в ленное владенье местечко Финкенгартен, которым его потомки пользовались еще в XVIII в.

Вагельнбург.— По-видимому, замок Вагхензель, расположенный к северо-востоку от Филиппсбурга.

Филиппсбург — город и крепость на правом берегу Рейна. В 1638 г. его занимали имперские войска.

Стр. 281. *Унтермаркское графство* находится в Баден-Дурлахе.

Оттенхейм — город на правом берегу Рейна, к юго-западу от Оффенбурга.

Вердер — остров на Рейне.

Гольдшейер — деревня на правом берегу Рейна к северу от Оффенбурга. Ее жители занимались промывкой золотоносного песка.

Стр. 283. *Таможня* Страсбургского епископства находилась в одной миле от Гольдшейера (вниз по течению).

Стр. 284. *Герцог Бернгард* — см. прим. к с. 129.

Рейнхаузен — город в Бадене неподалеку от Филиппсбурга.

Стр. 286. *Брухзаль* — город в Бадене, где в июне 1638 г. находилась штаб-квартира Гёца.

...в лагере под Магдебургом...— см. прим. к с. 140.

Стр. 289. *Нейнекский полк* — конный полк имперских войск. В 1638 г. поступил под командование баварского полковника Александра фон Нейнека, раненного под Брейзахом.

Кенцинген — город на р. Эльце в Бадене.

...братьев мародеров...— солдатская острота. Ее происхождение связывают как с именем генерала имперских войск графа Иоганна фон Мероде

(1589—1633), действовавшего в 1622 г. в Германии, так и шведского полковника Вернера фон Мероде, войска которого в 1635 г. грабили и бесчинствовали.

Стр. 290. *Мансфельд* — см. прим. к с. 71.

«*ткач-основа*» — бранная кличка, распространенная среди солдат во время Тридцатилетней войны. Ткачи слыли людьми робкими и боязливыми. (Здесь в значении «трус», «тряпка»).

Стр. 291. *И они не несли караулов...*— Пародируется изречение из Евангелия: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и отец наш небесный питает их» (Евангелие от Матфея, VI, 26; Евангелие от Луки, XII, 24).

Стр. 292. *Виттенвейер* — деревня на Рейне в Бадене, где 9 августа 1638 г. состоялось сражение, во время которого Бернгард Веймарский разбил войска Гёца и герцога Савелли.

Шюттерн — местечко в Бадене, где в бывшем бенедиктинском монастыре расположился штаб Гёца накануне битвы под Виттенвейером.

Герольдсек — графство и замок в Бадене.

...рассовали по полка́м.— Во время Тридцатилетней войны противники нередко включали пленных в свои войска.

Филипп Евстахий *Хатштейн* — полковник веймарских войск (убит под Фрейбургом 3 августа 1644 г.).

Лесные города — группа городов в Южном Бадене: Рейнфельден, Зекинген, Лауфенбург и Вальдсхут.

Неккарское винцо — названо так по имени р. Неккар.

Брейзах — город и крепость на правом берегу Рейна, считавшаяся твердыней католической лиги. В 1637 г. ее осадил Бернгард Веймарский, трижды разбивший имперские войска, которые спешили к ней на помощь, и наконец вынудивший ее к сдаче 19 декабря 1638 г.

Апроши — зигзагообразные траншеи, служившие для подступа к позиции противника.

Стр. 293. *Эндинген* — городок в Бадене к северо-западу от Фрейбурга.

Стр. 294. *Кинцинг* (Кинциг) — река в Бадене, приток Рейна.

Стр. 295. *Вальдкирх* — городок в Бадене на р. Эльце.

Стр. 296. *...господам в Нюрнберге...*— то есть судьям из Нюрнберга, которым молва приписывает изречение, приведенное Оливье.

...что разбойничество — это самое наиблагороднейшее ремесло...— Подобные рассуждения нередки в сатирической литературе XVII в. В «Филандере» Мошероша разбойник и вор говорят, что они грабят для поддержания своей чести, ибо воровать достойнее, нежели нищенствовать. Нищий уверяет, что он попрошайничает, чтобы сохранить свою честь, ибо лучше нищенствовать, чем воровать.

Николо *Макиавелли* (1469—1527) — итальянский историк и политик. В своей книге «Князь» выступил как теоретик абсолютизма. Оливье отражает

вульгаризованное представление о Макиавелли как о проповеднике коварства в политике и дипломатии.

Стр. 301. *...об историях, какие вычитал в книгах...*— Намек на «Гусмана из Альфараче», где рассказывается, как отец Гусмана и его мать (любовница рыцаря духовного ордена) завели знакомство в церкви.

...два духовных отца...— Вероятно, Гриммельсгаузен имеет в виду распрю епископа Ветцеля фон Хильдесхайма и настоятеля Видерада фон Фульда в соборе в Госларе в 1063 г.

Стр. 302. *Рассказ Оливье* построен по типу «назидательных притч». Гриммельсгаузен использует литературную традицию истории «о дурной жизни».

Потифар — упоминаемый в Библии вельможа, у которого служил Иосиф.

Стр. 304. *Люттих* (Льеж) — город во Фландрии.

Стр. 305. *Берни* Франческо (ок. 1497—1535 гг.) — итальянский поэт. Сочинял фривольные стихи, в которых пародировал образы героической поэзии.

Бурчелло Доменико ди Джованни (ок. 1390—1448 гг.) — итальянский поэт, цирюльник во Флоренции.

Пиетро *Аретино* (1492—1556) — итальянский поэт, драматург, памфлетист. Его стихи изобиловали непристойностями.

«*Ite, missa est*» — «Идите, служба окончена», слова, заканчивающие мессу.

Монахи-якобиты — паломники, отправлявшиеся в Сантьяго-де-Компостела (в Испании). Приносили с собой множество раковин, которые продавали верующим.

Стр. 306. *Domine* (от лат. «dominus» — «господин») — обращение к священнику или ученому (особенно в Голландии).

Стр. 308. *Во время сего сражения...* — Оливье описывает со своей точки зрения события, изложенные во второй главе третьей книги «Симплициссимуса».

Стр. 312. *День святого Стефана* — 3 августа. В этот день лошадей кормили освященным сеном, пускали им кровь, которую потом хранили как средство от разных болезней.

Стр. 315. *...купили у нас лошадей...*— Торговля краденными лошадьми во время Тридцатилетней войны велась в широких масштабах через Швейцарию.

Стр. 316. *Калибурн* — волшебный меч короля Британии Артура, вокруг имени которого сложился цикл эпических сказаний.

Стр. 317. *Лихтенек* — замок в Брейсгау в одной миле от Эндингена, в долине Кинцига. Был занят веймарцами вскоре после сражения под Виттенвейером.

Стр. 318. *Филлинген* — город в восьми милях западнее Эндингена. С 21 мая 1638 г. штаб-квартира Гёца.

Стр. 319. «*Сокровищница героев*».— Какую книгу имел в виду Гриммельсгаузен, не установлено.

Стр. 321. *Гёц*.— В декабре 1638 г. Гёц был арестован и отправлен в Ингольштадт. В августе 1640 г. оправдан и вернулся в имперские войска.

КНИГА ПЯТАЯ

Стр. 325. *Эйнзидлен* (Эйнзидельн) — аббатство бенедиктинцев к югу от Цюриха. Основано в IX в. графом Мейнардом.

Стр. 327. *Роттвейль* — город в вюртембергском Шварцвальде.

Стр. 329. *Экзорцист* — изгоняющий бесов.

Стр. 330. *Баден* — здесь городок в кантоне Ааргау в Швейцарии.

Стр. 332. *Констанц* — город в Баден-Вюртемберге на границе с Швейцарией.

Ульм — город в Баден-Вюртемберге на левом берегу Дуная.

Стр. 334. *In prima plana*.— Имеется в виду ротный список, где на первом листе перечислено все начальство (капитан, лейтенант, фендрик, фельдфебель, капрал, писарь, фельдшер).

...жестокой перепалки, когда граф фон Гёц лишился жизни.— Граф Гёц убит в сражении при Янкау 6 марта 1645 г.

Ств. 335. *Грисбах* — курортное местечко в Ренхтале.

Стр. 338. *Фон Шёнштейн* — корнет, упоминаемый в кн. 4, гл. 10.

Стр. 339. *...у нас у обоих... вдруг кровь потекла из носу*...— По суеверной примете, неожиданное кровотечение из носа выдает близкое родство.

Стр. 340. *Чернокнижник из Гейсхаута* — историческая личность (упоминается в решении ратуши от 5 февраля 1649 г.).

Стр. 342. *О дева!* — Гриммельсгаузен пародирует стилистику галантных и пастушеских романов.

Стр 345. *...из местечка*...— из Гайсбаха, где Гриммельсгаузен жил как управляющий имением Шауенбургов и держал трактир. Крестьянин лукаво шутит и, отказываясь назвать местечко, фактически его называет, раз «речь зашла о козах» (Gaisbach — козий ручей).

Стр. 346. *Битва при Нёрдлингене* — см. прим. к с. 63.

...лопочет не по-нашему...— мать Симплициссимуса (сестра Рамзая) — шотландка.

Стр. 349. *...власть тогда была шведская*...— В 1643—1648 гг. долина Ренхталь находилась под юрисдикцией шведов.

Муммельзее — озеро в Шварцвальде на высоте 1032 м над уровнем моря. Издавна было овеяно преданиями и легендами.

Стр. 351. *Хайдехёфе* (Хайдехоф) — местечко неподалеку от Каппельродека (в Бадене).

Стр. 353. *Немецкое название* озера «Mummelsee» в народной этимологии связывается с именем «водяного духа» («Mummel») и значением

слова «die Mumme» — маска, личина (об этом и говорит Симплициссимус).

Стр. 355. *Дюк де Ангиен* — герцог Энгиенский, принц Конде; одержал победу под Фрейбургом 3—5 августа 1644 г., а 25 августа того же года подступил к Филиппсбургу.

Стр. 356. *Швермеры* — шутихи, рассыпающиеся мелкими искрами фейерверочные огни.

Стр. 357. *Эмпедокл* (V. в. до н. э.) — греческий философ. Предание, что он бросился в жерло Этны, восходит к античности.

Дионисий Дорус — греческий геометр, родом с о. Мелос.

Стадия — греческая мера длины. 40 стадий равнялось примерно одной немецкой миле. Сильф указывает расстояние «до центра земли» — 36 000 стадий.

Стр. 358. Donec auferatur luna. Psal 71.— Имеется в виду псалом 71, ст. 5 («Доколе пребудут солнце и луна»).

Стр. 359. *Регенерирует* — восстановится.— Имеется в виду химический процесс восстановления из окалины.

Стр. 361. *Пилатово озеро* — небольшое озеро в Швейцарии в кантоне Люцерн. О нем ходили легенды, близкие по мотивам к сказаниям о Муммельзее.

Камарина — озеро или, вернее, болотистое место с нездоровым климатом на южном берегу Сицилии. Жители близлежащего одноименного города хотели осушить топь, однако были предупреждены оракулом, чтобы они этого не делали, но не послушались, за что были наказаны: враги подступили к городу с этого конца и захватили его. Отсюда пословица: «camarinam movere» — сердить, раздражать оз. Камарина, то есть накликать на себя беду.

Стр. 362. *Иолла* — кравчий Александра Македонского, по преданию, отравил его, поднеся чашу с водой из этого родника.

Цепузиум — латинское наименование венгерского графства Липс в Карпатах, в XV—XVIII вв. принадлежавшего Польше. Ныне входит в состав Словакии. Славится горными выработками.

...в Фессалии — на севере Греции.

Циркниц — озеро в Каринтии.

Энгстлен — озеро в кантоне Берн в Швейцарии.

Шёндлебах — река в Эльзасе.

Fluvius Sabbathicus (л а т.) — ручей в Палестине. Иосиф Флавий в «Иудейской войне» сообщает, что ручей течет только в субботу, тогда как Плиний утверждал, что он в субботу пресекает свое течение.

Стр. 363. *...sal gemmae...* (л а т.) — то есть каменную соль, микрокосмическую соль, соль из корней растений, природную селитру, нашатырь, селитру из погребов.

...victril, marchasita aurea... и т. д.— то есть купорос, марказиты золотистый, серебристый, свинцовый, железный, лазуревый камень, квасцы,

мышьяк, сурьмяный блеск, реальгар, природный янтарь, хризоколла (бура, также медная зелень), сулема. Речь идет о минерализации подземных пресных вод.

Червия — город и епископство в Равенне; *Комакио* — город в Ферраре. Славились соляными месторождениями.

Чентаропио (Кентурипа) — древний город к юго-западу от Этны, где добывалось много соли.

Каппадокия — город в Малой Азии.

Гекла — огнедышащий вулкан в Исландии.

Гумапи в Банду — Гунонг Апи, вулкан в Индонезии.

...перенесли в Америку несколько хананеян... — После открытия Америки, чтобы согласовать существование там людей с библейскими рассказами, были предложены фантастические объяснения. Гриммельсгаузен связывает эти легенды с оз. Титикака на границе Перу и Боливии.

Иосия — предводитель израильтян во время завоевания Ханаана.

Стр. 364. *Притча о пшенице* — в Евангелии от Матфея, XIII.

Троглодиты — пещерные люди. Античные писатели так называли обитателей Эфиопии и Судана, живших в горах.

Дикое и Черное озера.— Первое — в Оберкирхе в Ренхтале. Второе — вероятно, Малое Муммельзее (Вильдзее).

Стр. 365. *...ожидаете скорого прихода Страшного суда...* — Имеются в виду россказни о конце света, распространившиеся во время Тридцатилетней войны (см. начало романа).

Сивиллы — предсказательницы в Древнем Риме. В средние века были популярны «сивиллины книги» — сборники изречений и пророчеств.

Стр. 366. *Евсевий* — см. прим. к с. 112.

Иероним — см. прим. к с. 113.

Беда Достопочтенный (672—736) — англосаксонский теолог.

Карло *Борромео* (1538—1584) — кардинал и архиепископ Милана.

Августин (354—430) — епископ Гиппонский, прославившийся своими богословскими сочинениями.

Илларион (291—371) и *Пахомий* (ум. ок. 348 г.) — проповедники аскетизма: вслед за святым Антонием насаждали монашество в Фиванской пустыне (в Египте).

Стр. 368. *Mare del Sur* (*Zur*) — Южное море, староиспанское название Тихого океана.

De los latrones— Марианские острова в Тихом океане.

Стр. 369. *Пигмеи* — легендарный народ античных сказаний.

Аристарх (III в. до н. э.) — греческий философ и астроном, родом из Самоса. Архимед в сочинении «Исчисление песчинок» сообщает, что Аристарх полагал, что «неподвижные звезды и Солнце не меняют своего места в пространстве, что Земля движется по окружности около Солнца, находящегося в ее центре», и, таким образом, был провозвестником гелиоцентрической системы мира, обоснованной Коперником (1473—1543). Сильфы осмеивают эти

«мнения», что, однако, не означает, будто бы сам Гриммельсгаузен был сторонником принятой в средние века системы Птолемея. Скорее всего, здесь сказалась ироническая позиция Гриммельсгаузена по отношению к утопическому царству сильфов.

...источник целебной воды...— В июне 1633 г. в Гессене забил источник, как о том сообщал «Theatrum Europeum» (III, 78).

Стр. 370. *Минеральное полотно* — асбест.

Гумор — по античным представлениям, жидкость (род лимфы).

Филипп Аврелий *Теофраст* Парацельс де Хоенхейм, прозванный Бомбаст (1493—1541),— швейцарский врач и философ.

Нефалии — жертвоприношения без вина, которые приносились нимфам, Эвменидам и музам.

Стр. 371. *Швальбах* — курорт с минеральными водами в Гессен-Нассау.

Стр. 373. *Венерина гора.*— На этой горе Венера обитает во дворце, полном всякой роскоши. Кто туда попадает, ведет блаженную жизнь, но ценой вечной погибели (сказание о Тангейзере).

Стр. 375. *Дорненштедт* — городок в Шварцвальде.

Байерсбрунн — деревня на р. Мурге в Вюртемберге.

Зеебах — деревня в Шварцвальде в Бадене к юго-западу от Муммельзее.

Стр. 376. *...так преданы своему князю...*— Герцог Вюртембергский Эберхард Бородатый (1445—1496) уверял, что он не побоится в самом глухом лесу переночевать у любого своего подданного.

Раймонд Луллий (1235—1316) — каталонский философ, алхимик и поэт. В своей книге «Великое искусство» («Ars magna») пытался создать «логическую машину» для комбинирования различных понятий и вывода всех возможных истин с помощью вращающихся кругов, треугольников и других механических приспособлений. Симплициссимус воспринимает наставления «Великого искусства» Луллия как риторические ухищрения.

Стр. 377. *Topica* (л а т.) — топика, в схоластической риторике учение об искусстве пользоваться общими местами.

Каббала — мистическое учение, распространившееся среди евреев в диаспоре и включавшее в себя вульгаризованные представления пифагорийцев о тайном смысле чисел.

...видел подобную жизнь в Венгрии...— В Венгрии (Южной Словакии) еще в середине XVII в. встречались разрозненные общины перекрещенцев, состоявшие из ремесленников, главным образом изготовлявших керамики. Гриммельсгаузен внес в описание этих общин черты других «перекрещенцев», в том числе немецких «хутеровских братьев» (гернгутеров), у которых существовала общественная собственность (производственная и потребительская). К описанию примешиваются представления, восходящие к «Утопии» Томаса Мора, «Государству Солнца» Т. Кампанеллы и «Христианополису» Андреэ.

Стр. 377. *Иосиф Флавий* (ок. 37—95 гг.) — историк, составивший на греческом языке описание Иудейской войны (66—73 гг.).

Ессеи — древнееврейская аскетическая секта, отрицавшая частную собственность. Проповедовали безбрачие.

Стр. 378. *Доминик* (1170—1221) — испанский монах, основатель ордена доминиканцев.

Франциск — Франциск Ассизский. См. прим. к с. 239.

Стр. 379. *...соседний имперский город...*— Город Оффенбург, по преданию, построен в 600 г. английским королем Оффой. С февраля по сентябрь 1643 г. был осажден веймарскими войсками.

Стр. 380. Леннарт *Торстенсон* (1603—1651) — граф, командовавший шведской армией на территории Германии в 1641—1646 гг.

Стр. 381. *...нам стали попадаться навстречу отставные немецкие солдаты...*— Главным источником сведений о России Гриммельсгаузену послужило «Описание путешествия в Московию и Персию» секретаря голштинского посольства Адама Олеария (гг. 1647, 1656 и 1663 и др. издания). Олеарий сообщал, что по пути в Москву в августе 1634 г. голштинское посольство повстречало немецких солдат и офицеров, возвращавшихся на родину после окончания войны под Смоленском.

...совесть понуждает его принять греческую веру.— Канвой для рассказа о поведении «шведского полковника» в России и его перехода в «греческую веру» (православие) послужила сообщенная Олеарием история полковника Александра Лесли из Шотландии. Поступив на русскую службу, Лесли получил поместье на Волге и перевез туда жену и детей. Новопожалованные помещики так жестоко обращались с крестьянами, что вызвали бунт. Лесли, чтобы удержать за собой имение, объявил о своем желании принять русскую веру. Но крестьяне продолжали волноваться, и имение было передано «новокрещеному французу» Антонию де Грону. Хотя переходящие в православие получали различные льготы и подарки, однако русское правительство не ставило условием принятия на службу иноземцев перемену религии.

Стр. 383. *Подолия* — здесь: южная Украина.

Стр. 384. *...искать селитряную землю...*— Селитряное дело в России XVII в. развивалось не на минеральном сырье, а на основе переработки отвалов на месте былых поселений. «Емчугу» (селитру) варили уже в XVI в. в Москве, Перми, Сольвычегодске и других местах.

Пороховые, или *«зелейные»*, мельницы известны в России со второй половины XVI в. (1583, Новгород). В Москве в 1626 г. уже была пороховая мельница. Особенное развитие пороховое дело в России получило в царствование Алексея Михайловича (1645). Не может быть и речи, что в это время какой-либо иностранный мастер мог чуть ли не впервые «наладить» производство пороха.

В середине XVII в. в России различали и производили три сорта пороха: грубый пушечный, мушкетный и пищальный.

Стр. 385. *...в четырех милях от нас появились татары...*— Согласно хронологии романа, Симплициссимус попал в Московию около 1645 г., так как возвратился на родину после заключения Вестфальского мира (1648 г.), проведя в странствиях около трех лет. В эти годы, после ухода казаков из Азова (1642 г.), возобновились вторжения крымских татар, достигшие особой силы в 1644—1645 гг. Однако ни о каком приближении стотысячного войска к самой Москве в то время не могло быть и речи.

Стр. 387. *Горгий Леонтин* (ок. 496—400 гг. до н. э.)— греческий философ и ритор из Леонтии (в Сицилии).

Боранец.— Описание растения боранец (баранец) встречается у многих иностранных писателей, в том числе и побывавших в России: Герберштейна (1549), Маржерета (1605), Олеария (1647), Стрейса (1676). В XVI—XVII вв. в существовании его не сомневались даже ботаники.

Нючьженьские татары — маньчжуры. Источником для Гриммельсгаузена скорее всего послужила книга иезуитского миссионера Мартино Мартини (1614—1661), описавшего историю завоевания Китая маньчжурами и установления новой маньчжурской династии, «История татарской войны» (1654).

Стр. 388. *...турецкий султан снаряжал в то время галеры против Венеции...*— Венецианско-турецкая война продолжалась с 1645 по 1669 г.

Левант — общее обозначение стран и берегов, лежащих к востоку от Италии на Средиземном море.

Лоретто — городок поблизости Анконы в Италии со «Святым домом», в котором якобы проживала дева Мария, а в XIII в. он был перенесен сюда из Назарета ангелами.

...заключен немецкий мир...— то есть Вестфальский мир 1648 г.

КНИГА ШЕСТАЯ

Стр. 399. *Теологический штиль.*—Гриммельсгаузен имеет в виду лишенный конкретности богословско-риторический стиль назидательных сочинений.

Стр. 400. *Гансвурст* — шут, персонаж немецкого народного (ярмарочного) театра («Wurst» — по-немецки «колбаса»); *Ганс Суп* — перевод имени французского ярмарочного персонажа Jean Potage.

Моховая голова (die Moos) — гора в Шварцвальде юго-западнее Ренхталя (873 м).

Оппенау — небольшой город на Ренхе в Шварцвальде.

Кинцигская долина тянется от Хазлоха до истоков р. Кинцига.

Графство и замок *Герольдсек* в Бадене в отличие от одноименного замка в Эльзасе назывались Высокий Герольдсек. В 1689 г. замок разрушен французскими войсками.

Маркграфство Нижний Баден — Баден-Дурлах.

Стр. 401. *Египетские отшельники* — христианские пустынножители в Фиваиде.

Стр. 402. *...среди виноградных лоз и смоковниц...*— формула благоденствия, заимствованная из Библии.

Стр. 403. *Белиал* — имя подземного божества, позднее один из верховных дьяволов.

Lerna malorum.— Лерна — оверо в Пелопоннесе, где Геракл убил многоглавую гидру.

Стр. 404. *Гиппомен* (греч. миф.) — герой, сын Нептуна, победивший в состязании в беге аркадскую охотницу Аталанту.

Стр. 406. *Мамон* — халдейское божество, хранитель подземных сокровищ. Олицетворение скупости.

Ирод Аскалонит — Ирод Великий (62 г. до н. э.— 2 г. н. э.), царь Иудеи, предавший смерти жену Марианну, зятя Аристобула и трех сыновей.

Стр. 409. *Плутон* (рим ск. миф.) — бог подземного царства. Отождествлялся с Плутосом, ведавшим урожаем хлебных злаков и позднее обособившимся в самостоятельное божество богатства, что и имеет в виду Мамон, путая его с Плутоном.

Стр. 411. *Авар* — имя произведено от лат. «avarus» — скупой, жадный.

Стр. 415. *Геннегау* — область в Нидерландах, южная часть которой в 1659 г. отошла к Франции.

Король Артур — см. прим. к с. 316.

Olla potrida — см. прим. к с. 87.

Стр. 418. *Кратес Фебанус* (IV в. до н. э.) — греческий философ из Фив, последователь Диогена.

Сту. 420. *Купеческий интерес* — то есть проценты.

Pro cento.— Речь идет о восьми процентах по векселю.

Стр. 424. *...золотое кольцо...*— Намек на рассказ о Поликратовом перстне.

...обезглавленного короля...— Имеется в виду Карл I, казненный в 1649 г. Сын его Карл II пристал 23 июня 1650 г. к берегам Шотландии, чтобы завоевать престол, но был разбит войсками Кромвеля 3 сентября того же года под Уорчестером.

Стр. 425. *Ганс Сакс* (1494—1576) — немецкий народный поэт и драматург. Гриммельсгаузен имеет в виду стихотворение Г. Сакса «Зовусь я Бальдандерс...». В нем рассказано о встрече поэта на берегу Рейна со странным существом, постоянно изменявшим свой облик.

Стр. 426. *...кои поведали ему золотой дукат и лошадиная шкура!*— История «золотого дуката» изложена Г. Саксом в стихотворении «О потерянном говорящем дукате». О «лошадиной шкуре» рассказывает стихотворный шванк Ганса Сакса.

Аз есмь начало и конец...— Криптограмма, которую пишет Бальдандерс, состоит из бессмысленных слов, однако первые и последние буквы каждого слова образуют фразу: «Найди сам назначение всех вещей и сочини о сем дискурс, суди посему, где правда, вот что надо твоему дурацкому любопытству».

...не доводилось мне читывать ни у Овидия...— Имеются в виду «Метаморфозы» Овидия.

Протей — см. прим. к с. 31.

Стр. 427. *Стеганография* — искусство «тайнописи». Немецкий историк Иоганн Тритемий (1462—1516) издал книгу «Steganographia» (1499 г.).

Житие святого Алексея — средневековая легенда (ок. V в.) о сыне богатого горожанина, оставившем брачные покои и родной дом и ставшем нищим странником.

Стр. 428. *Посох святого Иакова* — отличительный знак паломников, направлявшихся на поклонение в монастырь Сантьяго-де-Компостела.

Богемская клюка — первоначально обозначение чешского посоха с топориком.

Дикий Шаппах — деревенька к юго-востоку от Моховой головы, неподалеку от вюртембергской границы.

Эмпедокл — см. прим. к с. 357.

Стр. 429. «*Головушки*» — немецкое название французских и итальянских тестонов (крупные серебряные монеты с изображением королей).

Гутах — приток Кинцига.

Стр. 430. *Этшинское вино* — тирольское вино.

Самуель фон Голау — анаграмма немецкого поэта Фридриха фон Логау (1604—1635).

...в густом лесу Плиния...— в «Естественной истории» Плиний сообщает о «странствующем» лесе, который постоянно перемещается.

Aqua Cutilia — озеро неподалеку от Контильяно в Средней Италии.

Стр. 431. «*Предки мои...*» — О происхождении конопли говорится в «Естественной истории» Плиния (XX, 97). Возделывание конопли было распространено в Ренхтале.

Венцеслав (Венцель) (1361—1419) — германский император.

Сестер — мера зерновых. В Эльзасе равнялась четырем квартам, или фирлингам.

Стр. 433. *...сгонять с себя францей...*— имеется в виду потогонное лечение сифилиса.

Амиант — горный лен (разновидность асбеста).

Стр. 434. *...каковое число ангельское...*—Имеются в виду так называемые девять чинов ангельских.

Цволле — город в Нидерландах.

Стр. 435. *Фитили* вымачивались в коровьем навозе и затем высушивались (для лучшей воспламеняемости).

Стр. 436. *Спиналь* (Эпиналь) — город в Вогезах.

Цурцах — город в Швейцарии в кантоне Аргау.

Оппиан (II в.) — греческий дидактический поэт, живший во времена Марка Аврелия. Автор поэмы «О рыбной ловле». Другой Оппиан, сириец, живший во времена Каракаллы, был автором поэмы об охоте. Кого из них имеет в виду Гриммельсгаузен, судить трудно.

Антоний (II в.) — по-видимому, Антоний Каракалла, сын Септимия Севера.

По словам *Плиния Младшего*, рукопись «*Комментариев*» его дяди была оценена в 400 000 сестерций.

Тертулиан (II в.) — христианский писатель.

Киприан (200—258) — епископ Карфагена.

«*Киропедия*» («Воспитание Кира») — сочинение греческого историка Ксенофонта (ок. 445—353 гг до н. э.).

Филолай Пифагореец (V в. до н. э.) — греческий философ, ученик Пифагора.

Спевсипп (ок. 409—339 гг. до н. э.) — греческий философ, племянник и последователь Платона.

Корнелий Тацит (54—117) — римский историк. Император Марк Клавдий Тацит (275—276) был его потомком.

Филипп де *Комин* (1447—1509) — французский хронист.

Карл Пятый (1500—1558) — германский император.

Стр. 438. *Кабаний корень.*— Его якобы отыскивают больные кабаны. Обладатель такого корня не испытывает усталости.

Ганнибал *Шауенбург* (ум. в 1634 г.) — фельдмаршал имперских войск, защитник Брейзаха.

Томас Савойский (1596—1656) — принц Савойи.

Стр. 439. *...когда молния ударила в их пороховую башню.*— В Цюрихе 10 июня 1652 г. взорвалась пороховая башня, причем было убито восемь человек.

Стр. 440. *Эглизау* — городок на Рейне в кантоне Цюрих.

Стр. 442. *Понтийское племя.*— Здесь и далее имеются в виду народы, живущие вокруг Черного моря, в Скифии и на Кавказе. Известия о народах, обитавших к северу от скифов, разукрашивались фантастическими подробностями. Аристей из Проконесса (VI в. до н. э.), по преданию, совершивший путешествие в страны Севера, в своей поэме «Аримаспея» сообщает об «иссидонах», которых он смешивает с «аримаспами».

Филарх (II в.) — греческий историк. Его сочинения не сохранились, но ими пользовался Плутарх.

Астомеи.— В сочинении писателя II в., которого принято называть Псевдо-Плутарх, «Беседа о лице, видимом на диске Луны», сообщалось, что «люди, которые не едят, не пьют, безротые и зажигают фимиам, чтобы питаться запахом», населяли «коренную Индию».

Иллирия — Далмация.

Тимон *Аполлонид* (I в.) — географ и историк.

Исигон — древнейший греческий географ, родом из Никеи.

Милас — гора в Сицилии.

Мегасфен — греческий историк и географ IV—III вв. до н. э., составивший изобилующий фантастическими подробностями свод сведений об Индии, бассейне Ганга и Инда.

Ктесий (V—IV вв. до н. э.) — греческий врач, историк и географ, живший при персидском дворе. В своих историко-географических сочинениях поместил много фантастических сведений.

Кафры — африканское племя. Какие племена названы Гриммельсгаузеном кафрами в Индии, не установлено.

...язычников, что живут за Лифляндией...— Имеются в виду литовские сказания об оборотнях.

...как утверждает Геродот...— Ссылка на Геродота не соответствует действительности.

Стр. 443. *Колодцы у святого Стефана* — в кантоне Берн.

Сибар — река в Южной Италии.

Синесвана — река в Кампанье.

Энария — остров у берегов Кампаньи, славившийся теплыми источниками.

Клитумно — река в южной Умбрии, близ Сполето, описанная Плинием в «Естественной истории».

Соленио и *Алеос* — источники, упоминаемые у Плиния без указания местностей, где они протекают.

Кронвейсенбург — Вейсенбург в Эльзасе.

Наксос — самый большой из Цикадских островов в Эгейском море. Славился своим вином.

Аретуза — источник в Сиракузах, названный по имени нимфы Аретузы.

Циркниц — см. прим. к с. 362.

Стр. 444. *Федерзее* — озеро неподалеку от Бухау в Вюртемберге.

Пилатово озеро — см. прим. к с. 361.

Камарина — см. прим. к с. 361.

Лаку Бебейде — Бебеидское озеро в Фессалии.

Амбракия — местность в Эпире.

Трасименто — озеро, расположенное не в Умбрии, а в Этрурии.

Меотид — Азовское море.

Гипаним — Буг.

Баграда — река на севере Африки, в Утике (в нескольких милях от Карфагена).

Лакония (Лаконика) — страна в юго-восточной части Пелопоннеса.

Киликия — страна на юго-востоке Малой Азии.

Ахелой — река в Акарнании (западной области Эллады).

Додона — источник в Эпире.

Аполлония — город в Иллирии, где находится местечко Нимфеум, святилище, посвященное речным нимфам.

Теопомпус (IV в. до н. э.) — греческий историк родом из Хиоса.

Каламинские леса — см. прим. к с. 430.

Циминский лес покрывал горный хребет в Этрурии.

Стр. 445. *Энгстер* — народное название швейцарской серебряной монеты стоимостью около двух пфеннигов.

...государственными персонами...— Мотив заимствован из ученой сатиры Якоба Грависета «Hentelia», выпущенной анонимно в 1658 г., где отмечен обычай швейцарского патрициата при занятии выборных должностей отдавать предпочтение семейным перед холостыми (независимо от заслуг).

Луцер — мелкая серебряная швейцарская монета с изображением креста и девы Марии, чеканившаяся с середины XVII в. епископством и городом Кур и получившая широкое хождение в качестве разменной монеты по всей Швейцарии.

Диоген (414—324 гг. до н. э.) — греческий философ из Синопа.

Стр. 446. *Гунсвот* («Hundsfott») — немецкое ругательство, считавшееся страшно обидным.

Слабым творогом называют в Швейцарии второй творог из козьей сыворотки, остающейся после приготовления первого сыра.

...положась на старого императора? — см. прим. к с. 239.

Стр. 455. *Розетта* — город в устье Нила.

Аль-Каир — Каир.

Стр. 456. *Мумия* употреблялась для приготовления красок и в аптечном деле.

Фараон — здесь: Амасис (Яхмос II), египетский фараон в саисскую эпоху (ум. в 525 г. до н. э.) *Родопа* — гречанка из Кирены, танцовщица, одна из жен Амасиса.

Arabia Felix.— В древности так называлась прибрежная Аравия (нынешний Йемен). *Arabia Deserta* — к югу от Пальмиры.

Стр. 459. *Якова Компостельского* — см. прим. к с. 428.

Стр. 460. *Terra australis incognita.*— Представление о существовании к югу от экватора огромного континента восходит к античной географии. Южная земля становилась удобным местом действия для различных «воображаемых путешествий» и утопий, как, например, в «Истории северамбов» Дени Вераса, первая часть которой вышла в Англии в 1675 г.

Описание необитаемого острова, на который попал Симплициссимус, восходит к пятой части «Восточной Индии» де Бри (1601), в особенности к описанию о-ва Св. Маврикия, который голландцы обследовали в сентябре 1598 г. Они обнаружили там два ручья, сбегающих с гор, много рыбы и птиц.

...лимоны, померанцы и кокосовые орехи...— Упоминание об этих плодах встречается в различных томах «Восточной Индии» де Бри при описании Бали, Бенина, Гвинеи и др.

Стр. 462. *Страна Пролежи-бока* — см. прим. к с. 195.

Стр. 463. *Макао* — португальская колония на юге Китая.

Аннабон — остров в восточной части Гвинейского залива.

Стр. 465. *...мигом все исчезло.*— Аналогичный мотив в романе Гриммельсгаузена «Дитвальд и Амелинда», где некий «отшельник» исчезает, оставив после себя смрад, как только Дитвальд произносит имя божие.

Стр. 467. *Светлячки.*— О подобных светляках часто сообщали европейские путешественники.

Стр. 468. *Тошнюхи* — то есть дронты. Дронт (додо) — крупная птица, водившаяся на островах Св. Маврикия и Родригес. Вес до 12 кг. Вымерла к концу XVII в. Неуклюжая, с едва развитыми крыльями, неспособная летать, она становилась легкой добычей. Моряки приставали к о-ву Св. Маврикия, чтобы запастись ее мясом. (В Зоологическом музее Академии наук в Ленинграде имеется «макет» дронта.)

Стр. 469. *Пингвины* (невозможные в описываемых в «Симплициссимусе» широтах) упоминаются в «Восточной Индии» де Бри.

Стр. 472. *...мир для него великая книга...*— Представление о мире, как открытой книге бога, было распространено в средние века как на Западе (Ориген, Августин, Винцент Бове, Бонавентура, Бертольд фон Регенсбург и др.), так и на Востоке (Григорий Наизанин, Василий Великий).

Терновый венец.— Здесь и далее Гриммельсгаузен использует эмблематику и символику католического барокко.

Стр. 473. *Ян Корнелиссен.*— В описании «Восточной Индии» де Бри упоминается, что во главе флотилии стоял корабль «Маврициус» с адмиралом Якобом Корнелиусом Неком, а на седьмом корабле был капитаном Ян Корнелисс. 8 августа неподалеку от мыса Доброй Надежды буря рассеяла флотилию. Далее следовало пять судов до Мадагаскара, куда прибыли 24 августа. 20 сентября достигли о-ва Св. Маврикия. В реляции Яна Корнелиссена события следуют в обратном порядке, чем в издании де Бри, и он попадает на остров Симплициссимуса на возвратном пути с Молуккских островов.

Стр. 479. *...обожравшись коих они лишились рассудка...*— Сведения о дурманящих растениях Гриммельсгаузен заимствовал из четвертой части «Восточной Индии» де Бри, где сообщается о «траве Dutroa», которая «весьма распространена в Индии и растет повсюду в полях». Гриммельсгаузен заменил по художественным соображениям «траву» на дерево, так как ему понадобилось поместить на нем надпись о превращении людей, подобно тому, как это творила древняя волшебница Цирцея (Киркея), упоминаемая в «Одиссее».

Стр. 481. *Онуфрий* — имя одного из отшельников в Фиванской пустыне.

Стр. 482. *Иоганн Рауе.*— «Космография» Иоганна Рауе вышла в 1612 г.

Стр. 483. *Арака* — род пальмы, плоды которой употребляются при жевании вместе с бетелем, а также для приготовления крепкого вина.

Стр. 484. *Пророк Иона* — упоминаемый в Библии пророк; провел несколько дней во чреве кита.

ПРИБАВЛЕНИЕ И ПЕРВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ИЛИ CONTINUATIO

Стр. 488. *...в особливом трактатце...*— Имеется в виду второе продолжение, предназначенное для следующего года издания.

...подобно летучему страннику...— Намек на книгу «Летучий странник» (1659), которая ошибочно приписывалась Гриммельсгаузену.

Стр. 489. *Recipe carnes mali melici.*— Симплициссимус понял дословно текст этого невинного рецепта, прочитав его, как «возьми мясо дурного медика», тогда как «malum» означает древесный плод, а «malum medici» — лимон. Рецепт гласил: «Возьми мякоть лимона».

Стр. 490. *...выкликать ведомости...*— Продавцы газет и календарей на ярмарках выкликали нараспев важнейшие известия в газетах. На гравюре, приложенной к Первому Продолжению, изображен торгующий календарями Симплициссимус, стоящий на помосте перед большой толпой.

...прославленный город в Германии...— Здесь: Нюрнберг, где находилось издательство Вольфа Эбергардта Фельсекера.

...животные в Аркадии.— Имеются в виду ослы.

Стр. 491. *Кандия* — главный город и крепость на о-ве Крит. После продолжительной осады, начатой еще в 1645 г., турки взяли Кандию 27 сентября 1669 г.

...ход морского сражения...— Имеется в виду сражение, которое в августе 1668 г. дал туркам венецианский флот, посланный на помощь Кандии.

Стр. 495. «*Под нечистою тогою нередко скрывается преизящная мудрость*».— Изречение восходит к Цицерону.

СИМПЛИЦИАНСКИХ ДИКОВИННЫХ ИСТОРИЙ ВТОРОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ИЛИ CONTINUATIO

Стр. 499. *Пролив Де-Ла-Мэр* (также пролив Св. Винцента) — между Огненной Землей и островом Де-Лос-Эстатодос.

Стр. 500. *...странными и удивительными делами...*— В 1667 г. в Португалии произошел дворцовый переворот, в результате которого король Альфонс VI был вынужден отречься от престола.

...о всеобщем-то мире...— Симплициссимус возвратился в Европу после заключения Вестфальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне.

Веттерау — равнина в Гессене.

Великий год Платона.— Согласно представлениям античных писателей, существовал особый космический цикл, в течение которого все расположение светил возвращалось к первоначальному положению, а вместе с тем каждый раз полностью повторялись вся предшествовавшая жизнь и все события, происходившие на Земле.

Стр. 501. *Мидас* (греч. миф.) — фригийский царь. Был судьей на музыкальном состязании между Аполлоном и Паном, присудил победу последнему. Разгневанный Аполлон наградил Мидаса ослиными ушами, которые тот был вынужден скрывать под фригийским колпаком.

Боязливый зверек — заяц.

Фрицлар — городок в Касселе.

Метц — мера сыпучих тел и жидкостей. Различался большой метц (3,44 л) и малый (различного объема).

Стр. 502. *Синьор Борри* — Джузеппе Франческо Борри (1627—1695) — итальянский авантюрист, алхимик и медик.

ЕЩЕ ОДНА СИМПЛИЦИАНСКАЯ ДИКОВИННАЯ ИСТОРИЯ. ТРЕТЬЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ИЛИ CONTINUATIO

Стр. 505. *...как о том поведано в прошлом году...*— то есть в «Календаре» за предыдущий год.

Стр. 510. *...побежал что есть мочи рядом с лошадьми...*— Подобная же проделка описана в «Декамероне» Боккаччо (День девятый, новелла 4).

Стр. 513. *...предать земле по христианскому обычаю.*— История Андреолуса и Цецилии написана на «бродячий сюжет», встречается в «Декамероне» (День четвертый, новелла 7), у Ганса Сакса («История, как двое любовников померли от листа шалфея») и др.

ДОБАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕУДИВИТЕЛЬНОГО СТРАНСТВУЮЩЕГО ПО ВСЕМУ СВЕТУ ВРАЧА СИМПЛИЦИССИМУСА

«Добавление» известно и как самостоятельный «летучий лист» большого формата с гравюрой. Прототипом для листовки о враче Симплициссимусе послужила гравюра 1648 года, осмеивающая «иатрохимиков» (врачей, которые, следуя за Парацельсом, вводили в медицину лечение химическими препаратами). На ней изображена лаборатория с круглой дистиллярной печью посредине. В отверстие, сделанное в печи, кавалер в ботфортах вставил голову. Шпага отброшена в сторону. С противоположной стороны старик в очках и длинном балахоне поддерживает огонь в печи. Из «шлема» печи вместе с густыми клубами дыма вылетают «вздоры» и «фантазии», от которых надлежит избавить пациента, скрещенные шпаги и т. д. В гравюру летучего листа «Симплициссимус — врач» внесено больше различных мотивов. На первом плане в центре дистиллярная печь, покрытая различными надписями. Охватив ее обеими руками, в нее уткнулся пациент. С другой стороны старик с бородой, в круглых роговых очках, помешивает крючкообразной кочергой в печи. Позади точило, на котором укорачивают нос другого кавалера. Кругом изображены в действии и другие аппараты для исправления физических недостатков. Слева группа калек с клюками и батожками дожидается очереди. На заднем плане виднеется широкое устье другой печи, куда на деревянной лопате засовывают еще одного пациента. В клубах дыма, застилающего лабораторию, изображено множество предметов: игральные карты, игорная доска, кости, ракетка с мячом, нож, рожок, сердце с крылышками, пронзенное стрелой, дама в длинном платье, карета, каменный дом, замок, корабль, спеленатый младенец, две головы в шутовских колпаках, оленьи рога, кабанья, ослиная и заячья головы, голубь, змеи, мухи и другие крылатые насекомые, книга, над которой вьется надпись: «Grobianus», и др. Здесь нашли отражение и некоторые фольклорные мотивы (переделка стариков на молодцов и т. д.).

Стр. 514. *Доктор Глистогон* — персонаж сатирической литературы XVII в., в «алхимической кухне» которого и происходило лечение «фантастов», изображенное на гравюре 1648 г.

...верстак для обтесывания молодых лоботрясов.— Намек на вышедшую около 1660 г. сатирическую книжку «Подновленный и приметно улучшенный новомодный верстак».

Граф Мориц (1567—1625) — принц Оранский, возглавивший борьбу Нидерландов против испанского владычества.

Стр. 515. *Боже, упаси нас от каторжной тюрьмы.*— Это выражение связано с рассказом «Утихомиренный в каторжной тюрьме крестьянский сын», помещенным в «Календаре диковинных историй» на 1671 г., который был выпущен с приложенным к нему «летучим листом».

Стр. 516. *...на изображении моей мастерской...*— Имеется в виду гравюра, изображающая «мастерскую» врача Симплициссимуса.

А. Морозов

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

В настоящей книге воспроизводятся гравюры на меди, помещенные в издании «Симплициссимуса» 1684 г.: «Aus dem Grab der Vergessenheit wieder erstandene Simplicissimus... Durch German Schleifheim von Sulsfort... Nürnberg, druckts und verlegts Johann Jonathan Felßecker. 1684» («Вновь восставший из могилы забвения Симплициссимус... Сочинено Германом Шлейфхеймом фон Зульсфортом... Нюрнберг, напечатал и издал Иоганн Ионатан Фельсекер. 1684»).

На фронтисписе — иллюстрация из «Вечного календаря», изображающая самого Симплициссимуса, а также его «батьку», «матку», сестру Урселе и «наследника».

СОДЕРЖАНИЕ

А. Морозов. «Затейливый Симплициссимус» и его литературная судьба 5

СИМПЛИЦИССИМУС

Перевод Александра Морозова

Благорасположенное напоминовение 23
Книга первая 25
Книга вторая 95
Книга третья 181
Книга четвертая 255
Книга пятая 323
Книга шестая 397

Примечания *А. Морозова* 519

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 46

Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен
СИМПЛИЦИССИМУС

*

Редактор С. Шлапоберская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректор
Г. Киселева

*

Сдано в набор 5/VIII 1975 г. Подписано к печати 5/II 1976 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 35 печ. л. 32,66 усл. печ. л. 35,26 + 1 вкл. + 7 накидок = 36,1 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Заказ № 3170. Цена 1 р. 85 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Граверные работы
Ю. Стольцера

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома
при Государственном комитете
Совета Министров СССР
по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28